

## № 1. В. С. Печерин — родителям

Клапам<sup>1</sup>  
12 (24) августа 1851

Дражайшие Родители.

Пословица русская говорит: гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдется. Вот так и со мною случилось. Дал Бог увидеться с братом Федором Федоровичем<sup>2</sup>, да и где же? в Лондоне! Братец так был добр, что предпринял это путешествие, чтобы доставить мне удовольствие обнять его, а потом он уже сам лично расскажет Вам о моем житье-бытье. Я нашел здесь для него маленькую квартиру в нескольких шагах от нашего монастыря, и мы каждый день ездили с ним осматривать достопримечательности Лондона. Крайне сожалею, что мои занятия не всегда позволяли мне посвятить на это столько времени, сколько бы я желал. Братец расскажет вам, что за место Клапам, где я живу. Это — предместье Лондона, и по его словам оно в отношении к Лондону то же, что Молдовановка в отношении к Одессе. Но здесь воздух прекрасный, и мы живем почти как в деревне. Я, слава Богу, здоров и чувствую, что с годами становлюсь крепче. Здесь все совершенно спокойно, и если вам случится читать в газетах, что католиков преследуют в Англии, будьте уверены, что это существует только на бумаге и на словах. Наш кардинал и наши двенадцать епископов<sup>3</sup> продолжают исправлять обязанности своего сана без малейшего затруднения. Английское самолюбие подняло эту тревогу из ничего, и все это ничем кончится.

Надеюсь, что наши письма застанут вас в совершенном здоровье. Я воображаю себе, какое будет для вас утешение увидеть брата в Одессе, тем более что он намерен провести там зиму. В долгие зимние вечера вы вспомните подчас обо мне, а рассказы брата представят живо пред вашими глазами и Лондон и Клапам, и весь наш здешний быт. А я между тем в моей келье также вспомню об вас и помолюсь за вас. Дай Бог только, чтобы путешествие, а особенно пребывание в Одессе поправило здоровье брата. Теперь покамест оно довольно плохо. Но, может быть, он слишком много лечился. Чем дальше от лекарей, тем лучше.

Вчера было воскресенье, и я обедал у брата на его квартире. С нами еще обедала одна француженка, очень почтенная девица, моя старая знакомая. Мы много говорили о России и особенно об вас, дражайшая маменька. Брат уезжает завтра или послезавтра, и вероятно скоро после этого письма вы увидите его самого. Его присутствие будет для вас большим утешением, тем более что он привязан к вам нежнейшею привязанностью сына.

Погода стоит здесь прекрасная. Давно уже в Лондоне не видали мы такого жаркого и постоянного лета. Утро прекрасное. Я снова отправляюсь к брату начать наши дневные разъезды. И потому спешу заключить это письмо. Я скоро надеюсь получить от Вас несколько строчек. Молитесь за меня грешного, а я молюсь каждый день

за вас, особенно за обедню, когда жертва бескровная приносится за грехи мира<sup>4</sup>. Прошу вашего родительского благословения и с глубочайшим почтением и сыновнею любовью пребываю,

дражайшие Папенька и Маменька,

ваш преданный сын

В. Печерин.

## № 2. В. С. Печерин — родителям

[Начало 1852]

Дражайшая Маменька.

Ваше письмо вместе с письмом любезного братца доставило мне большое утешение. Особенно меня порадовало, что Бог хранит ваше здоровье и что вы так же деятельны и бодры, как прежде. Ваше время, как я вижу, разделено между молитвою и трудом. Вы исполняете Евангельское правило: *бдите и молитесь!*<sup>5</sup> Я очень рад, что портрет мой вам понравился, этим вы обязаны доброму сердцу Федора Федоровича. Он не щадил издержек, чтобы доставить вам это удовольствие. Когда вы взглянете на портрет и вспомните обо мне, помолитесь за вашего грешного сына. Ваши молитвы должны быть очень приятны Богу. Несмотря на беспрестанные труды, я, слава Богу, пользуюсь совершенным здоровьем. Бог дает нам здоровье и силы, когда мы творим его святую волю и подвизаемся в его винограднике<sup>6</sup>. Нет большего утешения на земле, как творить волю Божию и жить не для себя, но для других. Сын Божий сделался нашим слугою, нашим рабом из любви к нам — зрак рабий прияв<sup>7</sup>, — так и мы должны быть служителями всех и положить душу за спасение многих. Бог знает, что ожидает нас в этой стране: кажется, война и долгая война неизбежна — грозные смуты висят над этим гордым королевством; я одного желаю — добре подвиг совершить, веру сохранить и приять венец правды в жизни вечной. Люди могут отнять все от нас, но одного не отымут, не отымут веры и надежды и любви, не отымут Креста Спасителя, с которым мы живем и умрем.

Я должен заключить это письмо. Время приближается к служению обедни и проповедованию слова Божия. Благословите вашего сына, дражайшая Маменька,

ваш преданный сын

В. Печерин.

Дражайший Папенька.

Благодарю вас за письмо ваше и за родительское благословение. Очень рад слышать, что вы в совершенном здоровье. Я теперь в постоянных занятиях. В Ирландии открылось для меня новое поле. Так как теперь везде в Англии готовятся к войне<sup>8</sup>, то меня и просили дублинские священники приехать в Дублин проповедовать ирландским солдатам, дабы таким образом приготовить их к войне. Я чрезвычайно люблю ирландских солдат: они вместе и храбры и набожны. Ирландцы составляют лучшую, отборную часть английской армии. В Индии, в Африке, во всех английских колониях, на всех полях битвы ирландцы отличаются своею храбростью. Итак, вы видите, я снова припомню старые времена, когда я жил между военными, и постараюсь говорить этим храбым солдатам языком воинственным.

Поздравляю вас с наступившим новым годом. Многого все ожидают от 1852-го года. Все в руке Божией. Приготовимся принять от сей отеческой руки что ни пошлет она. Аще благая от Господа прияхом, злых ли не потерпим?<sup>9</sup>

Благословите вашего сына

В. Печерин.

### № 3. В. С. Печерин — родителям

Клапам подле Лондона

16 (4) июля 1852

Позвольте, дражайшие Родители, поздравить вас обоих с днем вашего Ангела<sup>10</sup>. Драгоценное письмо ваше застало меня в больших хлопотах в Ирландии. Я не мог тотчас отвечать на него. Крайне прискорбно было мне читать, что ваше здоровье, дражайшая Маменька, в весьма плохом состоянии. Но я утешаю себя мыслию, что это было только вследствие холодной и сырой погоды; надеюсь, что летнее время восстановит ваши силы. У нас стоит прекрасная погода, но жары нестерпимые. Многие умерли от жару, а некоторые помешались в уме. Я возвратился вчера из Ирландии. Хорошая погода обещает богатую жатву — это важный пункт в Ирландии, где люди во многих местах умирают с голоду или переселяются сотнями и тысячами в Америку. Вся Англия в большом волнении. Везде делаются выборы новых членов парламента. Во многих местах были смуты и даже кровопролитие<sup>11</sup>. Но мы уже привыкли к подобным вещам в этой стране. Мы продолжаем проповедовать слово Божие, а политические перемены мало касаются до нас. Здесь часто меняются правители царства — сегодня лорд Дерби, завтра лорд Джон Россель<sup>12</sup>, но Провидение правит всем, и един влас главы нашей не падет без воли Отца нашего небесного<sup>13</sup>.

Я провел более десяти дней на Мельерейской горе в Ирландии. Там в пустыне стоит монастырь. Монахи соблюдают первобытное правило Св[ятого] Венедикта<sup>14</sup>. Встают в час по полуночи и поют всенощную и утреню<sup>15</sup>. Не едят ни мяса, ни рыбы, ни масла целый год, питаются только овощами, сваренными в воде. Соблюдают молчание непрерывное. Копают землю в огороде, пашут и орут<sup>16</sup>. Собственными руками выстроили свой монастырь и церковь. С большим радушием принимают путешественников. В окрестности нет никакого жилища. Все тихо и спокойно — ничего не слышно, кроме пения птиц лесных. Мне жалко было расстаться с этою пустынею. Хотел бы остаток дней моих провести в этом приятном уединении. Но мы не знаем, что есть воля Божия. Да совершится Его святая воля повсюду и всегда.

Я проведу, может быть, месяц и более в Англии, а потом снова возвращусь в Ирландию и останусь там до конца года. Так в беспрестанных трудах и путешествиях улетает наша жизнь.

Любезнейший брат Федор Федорович.

Крайне сожалею, что путешествие не поправило твоего здоровья. Но есть случаи, где все человеческие средства тщетны, остается только положить все упование на Божие милосердие. Ты имеешь ежедневно пред глазами твоими пример ангельского терпения и совершенного повиновения воли Божией. Учись от нее, как переносить краткие страдания сей жизни. Порадуйте меня скорым ответом на это письмо. Я никогда не забываю Вас в моих грешных молитвах. Обещаю Вам, что тотчас буду отвечать на ваше письмо. M[ademoiselle] Dupont здорова и кланяется тебе.

Благодарю тебя за интересные твои замечания касательно твоего путешествия. Я нашел в маленьком городке в Ирландии в приходской церкви настоящий русский образ Св[ятого] Николая Чудотворца<sup>17</sup>. Он писан на стекле. Работа и краски мастерские и надпись по-славянски.

Дражайший Папенка и Маменька! Пожелав вам доброго здоровья, пребываю  
ваш преданный и покорный  
сын В. Печерин.

#### № 4. В. С. Печерин — родителям

Шефильд (Sheffield)<sup>18</sup>  
(nord de l'Angleterre)  
13 авг[уста] 1852

Не моя вина, любезнейший брат, что вы письма моего не получили. Я писал к вам месяц тому назад и не могу вообразить, каким образом письмо мое могло затеряться: этого никогда еще не случалось. Но я надеюсь, что оно дойдет. Благодарю тебя и добрых моих родителей за ваше доброе воспоминание и за поздравление меня с днем Ангела<sup>19</sup>. Право, я не заслуживаю такой любви. С моей стороны я постараюсь по крайней мере частыми письмами доказать вам, что я не вовсе нечувствителен к вашей родственной привязанности. Письмо твое мрачными красками изображает и твою болезнь, и дряхлость моих родителей. Если мои письма могут быть облегчением и утешением в ваших страданиях, от всей души я готов писать к вам каждые два месяца и даже каждый месяц, если вы того желаете. Я теперь почти чужой в Лондоне, постоянно путешествую по Англии и Ирландии, хотя действительно принадлежу к монастырю в Клапаме. Теперь я на севере Англии в городе Шеффилде (Sheffield), который славится своими стальными товарами. Вечный дым поднимается из многочисленных фабрик и носится как туман над городом. Окрестности прекрасные — зеленые холмы покрыты рощами, садами и дачами. Недостает только для этой картины прозрачности итальянского неба. Ровно через месяц отправлюсь снова в Ирландию: там главная сфера моих трудов. Там небо яснее и воздух чище, и люди любезнее. Так в беспрестанном странствии проходит жизнь, и мы все более или менее приближаемся к концу нашего земного путешествия. Все, что мы любили на земле, исчезло или исчезает как сон. Есть одна любовь неугасимая: пламенный ее зажигается на земле и горит непрерывно в небесах в блаженной вечности. Этот пламенный — любовь Божия. Она есть истинный и твердый союз сердец: она вяжет души, разделенные морями и течением годов.

Я получил два весьма интересные письма от г[осподина] Шемиота<sup>20</sup>. Ты знаешь, вероятно, с его сестрами в Одессе. Он пишет, что они посещают моих родителей. Я виделся с M[ademoiselle] Dupont накануне моего отъезда из Лондона. Она намеревалась писать к тебе. *C'est un excellent coeur*\*.

Здание всемирной выставки<sup>21</sup>, которым ты любовался в прошлом августе, теперь разобрано по кускам и перенесено за 6 миль<sup>22</sup> от города в прекрасные окрестности Норвуда<sup>23</sup>, и в нем сделают зимний сад для гулянья лондонских жителей.

Как мы теперь чаще будем переписываться, то я заключаю теперь это письмо, пожелав тебе — чего? восстановления твоего здоровья, если Богу так угодно;

\* Это добрейшее сердце — *фр.*

если же нет — терпения в твоих страданиях; это последнее есть лучшая и высшая благодать.

(Адрес по-прежнему)

Твой преданный брат

В. Печерин.

Дражайшие Родители!

Я не пишу к вам сегодня особого письма потому, что надеюсь вскоре опять написать к вам. Крайне сожалею, что не получая писем от меня вы беспокоились обо мне. Я, слава Богу, здоров и беспрестанно в трудах. Поздравляю вас, дражайший Папенька, с прошедшим днем вашего Ангела 5-го июля. Мы в Англии собираемся праздновать с большим торжеством праздник Успения Пресвятыя Богородицы<sup>24</sup>. Утешительно читать, как во Франции народ возвращается к религии. День Успения будут праздновать в Париже с необычайным торжеством. Как в давние времена, так и ныне в смутах народных мы прибегаем под кров Богоматери. Она верная заступница всех прибегающих к ней. Завтра в день Успения я помолюсь за обедню за вас, дражайшие Родители. Да покроет вас пресвятая Дева своим матерним покровом. Пребываю с глубочайшим почтением и сыновнею любовью

ваш преданный сын

В. Печерин.

### № 5. В. С. Печерин — родителям

Адрес по-прежнему: Londonderry<sup>25</sup>  
Ireland

Marble Hill. Ireland<sup>26</sup>  
17 (5) декабря 1852

Дражайшие Родители,  
Любезнейший братец.

Пишу к вам с берегов Атлантического моря между дикими скалами Северной Ирландии. Под черною скалою между густыми деревьями на берегу уединенного залива приютился небольшой домик: здесь мы живем и отдыхаем от наших трудов. Мы здесь в совершенной глуши: нет вблизи никакого человеческого обиталища. На море буря, ветер и дождь бьет в наши окна, я сижу с моим товарищем у камелька и пишу письмо на родину. Хозяин наш — молодой человек, недавно женат, капитан в английской армии. Он был долго на острове Ямайке<sup>27</sup>, разбогател там сахарными заводами. Вышел в отставку, возвратился в Ирландию, женился и теперь живет в этом уединенном домике со своею тещею и шурином. У него двое детей — весьма умные двухлетняя девочка и мальчик восьми месяцев. С нами здесь гостит епископ здешней епархии, человек весьма примечательный. Ему более 70 лет, но он бодр и свеж и каждый день ходит три мили пешком. Много он видел перемен в своей жизни. Он помнит время, когда в Ирландии служили обедню в лесу и в пещерах на неприступных горах<sup>28</sup>. Весьма дружен он был с папою Григорием XVI<sup>29</sup> и даже беседовал в Тюльерийском дворце<sup>30</sup> с покойным королем Людовиком Филиппом<sup>31</sup>. Перстень на руке его тот самый, который триста лет тому назад был носим епископом здешней епархии на Тридентинском соборе<sup>32</sup>. Образ жизни в богатых фамилиях здесь и в Англии очень прост и приятен. Мы служим здесь обедню в восьмом

или девятом часу, в десять часов колокол сзывает всех на завтрак. После завтрака каждый занимается чем ему угодно. В пять часов звонят колоколом к обеду, все собрались, епископ дает свое благословение, и мы садимся за стол. После обеда мы остаемся несколько времени в гостиной, беседуем с нашим епископом и с нашими добрыми хозяевами. Между тем дети играют вокруг нас. В 9 часов мы читаем вечерние молитвы, при которых присутствуют наши хозяева и вся их прислуга. Вот патриархальный образ жизни наших гостеприимных хозяев.

Я неожиданно был обрадован вашим письмом, которое я получил в конце ноября. Мои занятия помешали мне отвечать скорее. Благодарю вас, дражайшая маменька, за драгоценные строчки, начертанные собственною вашею рукою. Слава Богу, что ваше здоровье снова поправилось. Я, благодаря Богу, всегда здоров. Правда, наши труды почти беспрестанные, но вы видите, какой приятный отдых нам дает ирландское гостеприимство. Я пробуду здесь четыре или пять дней, но к Рождеству<sup>33</sup> снова возвращусь в Лондондерри проповедовать слово Божие.

Очень буду благодарен любезному брату за обещанную проповедь. Я прочту ее с большим удовольствием, и она освежит в моей памяти воспоминания русского языка. Что касается до *моей* проповеди, теперь еще не могу сказать как скоро я буду в состоянии перевести ее — так многочисленны мои занятия. Слухи о моем *повышении* не имеют никакого основания, никакого другого основания кроме, может быть, чрезвычайного доброжелательства некоторых членов английского дворянства.

Не знаю, как это случилось, что ты так мало заплатил за мое последнее письмо. Я не платил ничего, но подозреваю, что наши хозяева в Лондондерри заплатили. Таково ирландское гостеприимство, что никаким образом от него ускользнуть невозможно.

Зима здесь не холодная, но весьма непостоянная. Беспрестанные бури и проливные дожди. Мы приехали сюда вчера ввечеру. Мы путешествовали в открытой таратайке<sup>34</sup> — обыкновенный в Ирландии экипаж, и все промокли до костей. Вот уже более суток льет проливной дождь. Как приятно теперь сидеть дома перед пылающим камином. Одна только мысль беспокоит меня: четыре из наших братьев отправились морем в Англию, и если они теперь на море, они много пострадают и будут даже в опасности между скалами у берегов Ирландии.

Вот вам краткий отчет о моем житье-бытье. Остается теперь пожелать Вам счастливого Нового Года и веселых праздников. Годы бегут, бегут, и жизнь наша как река быстро утекает в море вечности. Счастлив, кто умеет с пользою провести краткое время здешней жизни. Помолимся друг за друга. Остаюсь преданный сын и брат

В. Печерин.

## № 6. В. С. Печерин — родителям

Лимерик<sup>35</sup>, Ирландия  
1 октября 1855

Дражайшие Родители.

Пишу к вам наудачу, не зная, дойдет ли мое письмо или нет. Вот уже три года, что я не получаю от вас никакого известия. Неужели эта несчастная война<sup>36</sup> навеки пресечет всякое сообщение между вами и мною? Я полагаю, что военные события в вашем краю есть единственная причина Вашего молчания. Но невозможно ли вам написать, по крайней мере, несколько строчек, утешить вашего сына известием о ва-

шем драгоценном здравии? Для вас самих в Ваших преклонных годах было бы приятно слышать о вашем сыне, что он, слава Богу, здоров и продолжает свои труды на службе Божией. Вот уже два года как я в Ирландии, где, вероятно, останусь надолго. Я люблю ирландский народ, и народ ирландский любит меня. Я беспрестанно путешествую из одного места в другое, проповедуя слово Божие. Я никогда не забываю молиться за вас. Не будучи уверен, дойдет ли письмо мое, я не могу писать более, но жадно буду ожидать вашего ответа. Не лишите меня этого счастья. Жизнь моя быстро улетает: вот уже мне 48 лет. Желал бы хоть раз еще получить ваше родительское благословение.

Пребываю с глубочайшим почтением,  
дражайшие Родители,  
вашим преданным сыном  
Владимир Печерин.

Mon cher cousin Theodore.

Je ne sais quelle est la raison de votre long silence. Je n'en trouve point d'autre sinon les tristes événements de la guerre. Je ne puis m'imaginer aucun autre motif qui aurait pu mettre fin à une correspondance si consolante pour mes vieux parents et si douce pour moi-même. Je tremble à la pensée que la mort ne m'ait enlevé une de ses chères têtes et que jamais je n'en aurai les nouvelles. Au nom de Dieu écrivez moi si c'est possible; à moins que votre santé même ne soit tellement ébranlée que la chose vous serait trop difficile. Je fais toutes sortes de suppositions. Des charitables étrangers me demandent des nouvelles de ma famille et je ne sais que répondre. De grâce écrivez moi quelques lignes. En revanche je vous promets une longue lettre en réponse à la votre. Je suis toujours à Limerick. Voici encore une fois mon adresse:

Rév[éren]d Vladimir Pétchérine,  
Limerick, Ireland  
votre très dévoué cousin  
V. Pétchérine.

*Перевод*

Мой дорогой кузен Федор.

Я не знаю, какова причина вашего долгого молчания. Я не нахожу никакой другой, кроме печальных событий войны. Я не могу вообразить себе никакого другого мотива, который мог бы положить конец переписке, столь утешительной для моих старых родителей и столь же приятной для меня самого. Я содрогаюсь от мысли, как бы смерть не отняла у меня одного из этих дорогих мне людей, и что я никогда бы об этом не узнал. Ради Бога напишите мне, если это возможно, если только ваше здоровье не до такой степени расшатано, что подобная вещь представляется вам чрезвычайно затруднительной. Я делаю разного рода предположения. Милосердные иностранцы спрашивают у меня новости о моей семье, и я не знаю, что отвечать. Соблаговолите написать мне несколько строк. За это я обещаю вам большое письмо в ответ на ваше. Я все еще в Лимерике. Снова оставляю мой адрес:

Преподобный Владимир Печерин  
Лимерик, Ирландия  
Ваш чрезвычайно преданный кузен  
В. Печерин.

## № 7. В. С. Печерин — родителям

Лимерик  
17 (29) июля 1856

Дражайшие Родители.

По заключении мира<sup>37</sup> надеялся получить от вас письмо. Не знаю, получили ли мое письмо, отправленное в начале настоящего года через русское посольство в Брюсселе. Может быть, оно затерялось, а между тем я крайне беспокоюсь, не получая от вас никакого известия. Порадуйте меня, хотя одною строчкою. Прошедшее воскресенье в праздник Св[ятого] Владимира в день моих именин<sup>38</sup> я получил странный подарок. Ирландский солдат, только что возвратившийся из Крыма, принес мне кусок мрамора из Севастополя. Это воспоминание из родины. Мы намерены положить этот камень в основание нового монастыря, который мы теперь начинаем строить. Благое провидение сохранило вас и ваш город невредимыми в продолжение всей войны. Надеюсь, что письмо мое найдет вас в совершенном здоровье. В моей жизни ничего нового: я по-прежнему странствую из города в город, из села в село, проповедуя слово Божие. Солдаты и рабочий народ — вот предметы моего усердия и моей любви. Я часто говорил солдатам, что мой отец полковником в русской службе и что с пятилетнего возраста я был между военными и привык слышать звук барабана. Это чрезвычайно интересовало моих добрых солдат и заставляло их слушать меня с большим вниманием. Многие из них, отправляясь на войну, приходили просить моего благословения; и многие теперь почивают в могиле под стенами Севастополя. Слава Богу, что мир заключен. Русское воинство покрылось бессмертною славою; но это стоило много крови с обеих сторон, и здесь не одна вдова и не одна мать плачется о муже или о сыне, и теперь это наш священный долг утешать тех, которые пострадали от сей войны.

Я, слава Богу, совершенно здоров и не замечаю в себе никакого уменьшения сил или душевной бодрости. Иногда приходит мне на мысль, что, может быть, еще прежде смерти увижу родину. Но когда и как? — не знаю. В руце Божией сердца наши и судьбы наши.

Помолитесь же за меня, дражайший Папенька и дражайшая Маменька, и напишите, ради Бога, хотя несколько строчек. Я не забываю вас в моих грешных молитвах и, прося вашего родительского благословения, пребываю с глубочайшим почитанием и сыновнею любовью

ваш покорный сын  
Владимир Печерин.

Мой адрес: Rév[éren]d Vladimir Pétchérine  
Limerick  
Ireland

## № 8. В. С. Печерин — родителям

Лимерик (Ирландия)  
8 января 1857

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Чувствительно вас благодарю за ваше приятнейшее письмо от 9-го сентября<sup>39</sup>. Вскоре по получении оно я заболел — это была сильная горячка (тифус), почти отчаялись в моей жизни, во всех церквах Ирландии публично молились за меня,



усердные молитвы ирландского народа избавили меня от смерти<sup>40</sup>. Теперь я совершенно здоров и крепок как прежде. Я получил эту болезнь от бедного крестьянина, которого я навещал, не зная, что он имел тифус. Не могу довольно нахвалиться великодушным гостеприимством, которое мне оказали в доме священника, где я был болен. Он сам заплатил за меня доктору и взял на себя все издержки моей болезни. Все жители этой деревушки принимали нежнейшее участие во мне: их слезам и их молитвам я обязан моею жизнью.

Поздравляю вас с наступившим новым годом и желаю вам провести его в совершенном здравье. Почерк вашего письма показывает, что ваши силы нисколько не ослабели, несмотря на ваши преклонные лета. Наша жизнь быстро улетает. В этом году мне будет ровно 50 лет! Видите, что и я стареюсь. Я не много ценю мою жизнь: почти себя счастливым, если могу принести ее в жертву Богу для спасения многих душ, искупленных кровью Спасителя нашего Иисуса Христа. Я хотел бы умереть на поле битвы между солдатами. Три из наших священников умерли в Крыму во время войны. Солдаты никогда не забудут их любви и самоотвержения. Генерал предложил каждому из них верховую лошадь, но они отказались и шли в поход с ранцем на плечах как простые солдаты. Они разделили с войском все труды и опасности. Когда последний из них умер (отец Стрикланд), вся дивизия — 6000 человек — были на его похоронах, и его опустили в могилу со всеми военными почестями. Солдаты сложились и на собственный счет соорудили ему прекрасный памятник недалеко от Балаклавы<sup>41</sup>.

Я буду вам чрезмерно благодарен, если вы сообщите мне какие-нибудь интересные подробности о вашем городе Одессе и о вашем собственном житье-бытье в вашем домике и с вашим садиком. Ваш Воронцов<sup>42</sup> умер. Племянник его Бутурлин<sup>43</sup> был здесь недавно в Ирландии, но я не имел случая его видеть. Он коротко знаком с моим приятелем капитаном артиллерии, который прежде был в гвардии Папы в Риме, а теперь принадлежит к здешнему военному ополчению.

Благодарю вас за ваше родительское благословение. Я никогда не забываю вас в моих грешных молитвах. Пребываю с глубочайшим почтением ваш преданный сын  
Владимир Печерин.

Дражайшая Маменька Пелагея Петровна.

Мне чрезвычайно прискорбно видеть из вашего письма, что вы очень слабы. Да подкрепит вас рука Всемогущего. Я, слава Богу, совершенно здоров и крепок, хотя и был опасно болен два месяца тому назад. Добрые ирландцы столько молились за меня, что Бог услышал их молитвы и возвратил мне жизнь и здравье. Вы напрасно беспокоились о том деле, о котором вам читали в какой-то французской газете. Оно кончилось год тому назад весьма благополучно и к большому стыду тех, которые меня обвиняли. Присяжные единогласно оправдали меня, и народ в восторге провожал меня до моего жилища с криками радости. Я особенно обязан моему адвокату г[осподину] Огегану<sup>44</sup>, который произнес в мою защиту весьма красноречивую речь. Отчет об этом деле напечатан в особенной книге на английском языке<sup>45</sup>.

Поздравляю вас с наступившим новым годом. Да продлит Бог ваши лета и да подкрепит он ваши силы. Да покроет вас своим покровом Мать Божия пресвятая Богородица Дева! Надеюсь скоро получить опять несколько строчек от вас. Прошу вашего материнского благословения и с глубочайшим почтением и любовью пребываю ваш преданный сын

В. Печерин.

## № 9. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Лимерик  
14 июля 1858

Дражайший батюшка Сергей Пантелеевич.

Мне крайне прискорбно было читать ваше письмо, в котором уведомляете меня о смерти дражайшей матушки моей Пелагеи Петровны. Она скончалась как она жила, как истинная христианка. Да успокоит Господь душу ея. Она была вам верная супруга, а мне нежная мать. Я уже предчувствовал ее кончину, видя из ваших писем и из писем г[осподина] Дроздовского, что она чрезвычайно слаба и что ежедневно силы ее исчезают. Ее последнее письмо ко мне написано дрожащею рукою. Несмотря на ее слабое сложение, она достигла глубокой старости. Да продлит Бог вашу жизнь, дражайший папенька, на многие лета. Вы одни остались мне на земле. Я ничего не слышу о наших родных в Киеве. Кто жив, кто умер, ничего не знаю. Жив ли еще брат Симоновский<sup>46</sup>, который вступил в гвардию, в то время как я уехал за границу?

Если увидите г[осподина] Дроздовского, поклонитесь ему от меня: я крайне сожалею, что не имел случая познакомиться с ним. Не поедет ли он снова за границу?

Я, слава Богу, здоров и продолжаю мои обыкновенные труды довольно успешно с благословением Божиим.

Поздравляю вас с прошедшим днем вашего Ангела: я не забываю, что это 5-го июля. Да укрепит Всевышний ваше здоровье.

У нас ничего нового нет. В Индии дела идут очень плохо<sup>47</sup>. Солдаты умирают как мухи от несносного жару, а число индийской армии нисколько не уменьшается. Бунтовщики (как англичане их называют) движутся повсюду большими колоннами в 25 или 30 тысяч человек, а англичане едва могут поставить против них 5 тысяч. Правительство вынуждено было согласиться на требования католиков и назначить 19 новых священников при армии с большим жалованием. Наши бедные солдаты будут, по крайней мере, иметь утешение умереть с обрядами их религии.

Королева<sup>48</sup> отправляется во Францию для свидания с императором Наполеоном<sup>49</sup>. Говорят, что несколько русских кораблей будет там при этом случае. Англичане боятся Наполеона и особенно опасаются его союза с Россиею.

Не забудьте меня, дражайший Папенька, и напишите ко мне, каково вы поживаете. Да утешит вас Бог утешитель и да покроет святым своим Покровом.

Пребываю с глубочайшим почтением ваш преданный сын

В. Печерин.

## № 10. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Рим  
17 (29) января 1859

Дражайший Папенька.

Без сомнения вам покажется удивительно получить от меня письмо из Рима. Я оставил Ирландию в прошедшем месяце. Это было желание Его Святейшества Папы<sup>50</sup>, чтобы я прибыл сюда для того, чтобы проповедовать на русском и на английском языках. В день Св[ятого] Иоанна Златоуста<sup>51</sup> я имел счастье видеть Папу и получить Его благословение в соборе Св[ятого] Петра<sup>52</sup>. Здесь необычайное

собрание русских. Между прочим, княгиня Витгенштейн (она католичка)<sup>53</sup> весьма желала меня видеть.

Поздравляю вас с прошедшим праздником Рождества Христова и с наступившим новым годом. Да дарует вам Всевышний здравие души и тела на многие лета. Не забывайте меня и пишите ко мне от времени до времени. Я никогда не забываю молиться за вас. В прошедшем месяце я имел странное посещение. Некто Лещинский, дячок Институтской церкви в Одессе<sup>54</sup>, писал ко мне из Лондона, что он весьма коротко с вами знаком и что он имеет весьма важные новости мне сообщить. Я отвечал ему, чтобы он объяснил мне причину его поездки в Англию или приехал бы сам в Лимерик, дабы свидеться со мною лично. То он и приехал в Лимерик, и что ж оказалось после его со мною свидания? Он нарочно приехал, чтобы просить у меня денег, рассказывая мне, что его будто бы обворовали в Лондоне. А где же у меня деньги? Я живу в монастыре и ни гроша за собою не имею: только одежду и пищу получаю от настоятеля. Натурально я ничего ему не дал, потому что ничего дать не был в состоянии. Пожалуйте, напишите мне, что он за человек. Я признаюсь, никакого к нему доверия не имею. Я не понимаю, как он может путешествовать, не зная ни слова по-английски и весьма мало по-французски. В Лондоне он свиделся с весьма подозрительными людьми. Что и думать о нем, не знаю. Он имеет паспорт от русского правительства из Одессы. Вы крайне меня обяжете, если объясните мне эту особу.

Будущею весною русского Государя ожидают в Париже. Во Франции и в Италии поговаривают о войне<sup>55</sup>. В России также, как слышно, приготавливаются важные происшествия. Счастливы вы, батюшка, что в ваших преклонных летах вы удалились от службы и теперь спокойно живете в вашем маленьком домике в приятном городе Одессе. Молитесь Всевышнему, дабы Он укрепил ваши силы, дабы вы могли совершить подвиг вашей жизни и достигнуть блаженного конца к спасению души вашей. Жизнь коротка, и каждый день и час приближают нас к концу. «Будьте готовы, — говорит Священное Писание, — понеже не знаете ни дня, ни часа, внегда сын человеческий придет»<sup>56</sup>.

Мне очень бы хотелось знать, что делает брат Федор Федорович. Я давно уже ничего о нем не слышу. Крайне прискорбно видеть близких родных, разделенных меж собою. Он бы должен с христианским смирением стараться примириться с вами.

Я, слава Богу, здоров и наслаждаюсь здесь прекрасным итальянским климатом. Здесь совершенная весна. Не только тепло, но даже жарко около полудня. Я останусь, вероятно, полгода в Риме, а потом снова возвращусь в любезную Ирландию, где меня ожидают с нетерпением. Пожалуйста, напишите ко мне в Рим.

Прошу вашего благословения и пребываю с глубоким почтением,  
Дражайший Родитель,  
ваш преданный сын  
В. Печерин.

Мой адрес: R[évéré]n]de Padre Pétchérine  
Villa di Caserta Presso S[ant]a Maria Maggiore  
Roma\*

\* Преподобный отец Печерин, вилла Казерта вблизи церкви Святой Марии Маджоре в Риме — *ит.*

**№ 11. В. С. Печерин — С. П. Печерину**

Лимерик, Ирландия  
9 июня 1860

Дражайший Папенька.

Необыкновенные занятия и сильная простуда, от которой я страдал в начале нынешней весны, не позволили мне писать к вам прежде. Смутные обстоятельства, в которых находится теперь глава католической церкви<sup>57</sup>, наполняют сердце горестью и отнимают охоту делать что-либо. Мы живем в беспрестанном опасении: война еще не началась, но мира также нет. Из нашего острова отправляются ежедневно сотни молодых людей, настоящие рыцари средних веков, готовые пролить кровь свою до последней капли в защиту католической веры. Они уже составили в Риме ирландскую бригаду<sup>58</sup>, которая под начальством великого генерала Ламорисьера<sup>59</sup> покажет чудеса храбрости. Мое одно желание было бы следовать за ними, но еще не знаю, как Богу угодно будет. Может случиться, что вы снова получите от меня письмо из Рима или из какого-нибудь другого пункта Италии.

Невозможно описать любовь и привязанность, которую оказали ирландцы к особе Святого Отца Папы в настоящих смутных обстоятельствах. В одном городе Дублине собрали 11000 фунтов стерлингов на помощь Папе. Каждая епархия Ирландии послала в Рим не менее 5 или 7000 фунт[ов] ст[ерлингов]. А теперь мы посылаем к Папе наше драгоценнейшее имущество — кровь сынов Ирландии. Мать радостно разлучается с единственным сыном, жена посылает мужа на поле битвы. Едва ли найдется в истории другой пример такого великодушного порыва. Это весьма похоже на крестовые походы, когда вся Европа поднялась как один человек на защиту гроба Христова<sup>60</sup>.

Не знаю, что может случиться в несколько месяцев, но я прошу вас адресовать ваше письмо по-прежнему в Лимерик.

Надеюсь, что письмо это найдет вас в добром здоровье, равно как и любезнейшего брата Федора Федоровича. Я не перестаю поминать вас в моих грешных молитвах.

Прошу вашего отеческого благословения и пребываю с глубочайшим почтением,  
дражайший Папенька,  
ваш покорный сын  
Владимир Печерин.

Адрес: The Rév[éren]d Vladimir Pétchérine  
Limerick  
Ireland

**№ 12. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову**

Лимерик в Ирландии  
11 июля 1860

Любезнейший племянник Савва Федосеич<sup>61</sup>.

Ваше письмо<sup>62</sup> пробудило в душе моей приятнейшие воспоминания. Я очень хорошо помню вашу матушку Надежду Ивановну. Ее кроткая и любезная физиономия рисуется в сию минуту перед моими глазами. Она часто меня сажала на колени, ласкала и, как мы говорим по-русски, баловала меня. Одно слово в вашем письме

тронуло чувствительную струну моего сердца. Я думал, что 25-тилетнее отсутствие охладило любовь мою к родине. Но как же эта любовь оживает, когда я слышу, что мое имя не совсем погребено на земле русской и что молодое поколение вспоминает меня и повторяет слова мои. Это чрезвычайно меня трогает. Я душевно люблю юность русскую, я завидую участи нового поколения. В мое время юность гибла невозвратно: прекрасные таланты и доблестные сердца задохнулись в душной атмосфере той эпохи. Теперь, слава Богу, вы дышите вольным воздухом. Время нам воспрянуть от сна, говорит Св[ятой] Павел<sup>63</sup>. Восстань же, юность русская! твое время пришло. Широкое поприще открыто для вас: отчизна ждет от вас высоких помыслов и доблестных дел.

Моя участь — смотреть на вас издали и следить взором братской любви успеха вашего гражданского развития и молиться пред алтарем святым о мире всего мира и о благосостоянии великого русского народа. Великое будущее готовится для моей отчизны. Я вижу — теперь поднимается заря великого дня, но восхода вашего красного солнца мне не видать...

Примите, любезнейший Савва Федосеич, выражение моей душевной благодарности за родное внимание и попечение, которое вы оказываете моему дражайшему родителю. Он остался один на здешнем свете: какое же утешение для него иметь подле себя таких добрых родных. Да вознаградит вас Господь сторицею за ваше радушие. Да ниспошлет Он свое святое благословение на вас, на вашу супругу и на ваших любезных детей.

Я почитаю моим священным долгом поминать вас ежедневно в моих грешных молитвах пред престолом Божиим.

Пребываю с истинным почтением вашим преданным слугою

Владимир Печерин.

### № 13. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Лимерик  
3 января 1861

Дражайший Папенька.

В настоящих смутных обстоятельствах Европы я не хочу надолго откладывать мою переписку с вами. Бог знает, что может случиться в начале весны<sup>64</sup>. Спешу поздравить вас с наступившим Новым Годом. Мне приятно было видеть из вашего письма, что вы, слава Богу, здоровы. Да продлит Господь ваши дни и да сохранит вас надолго во здравии души и тела. Чем дольше мы живем, тем скучнее становится жизнь. Вы теперь остались одни на свете. Меня поразила смерть брата Федора Федоровича. Хотя, правду сказать, его здоровье было так расстроено, что он не мог долго жить.

Мне приятно слышать, что вы имеете таких добрых родных, которые часто навещают вас. В ваших преклонных годах это большое утешение. Я очень благодарен г[осподину] Пояркову и его супруге за их внимание к вам. Да вознаградит их Господь за их христианскую и родственную любовь. Я очень хорошо помню Надежду Ивановну Пояркову и никогда не забуду, как она ласкова была ко мне в моем детстве.

Вы знаете из газет несчастные обстоятельства Италии<sup>65</sup>. Наши бедные ирландцы были совершенно разбиты<sup>66</sup> и попали в плен, где весьма жестоко с ними поступали. Около 900 из них возвратились в Ирландию в жалком состоянии. В Париже

все жители оказали им большое человеколюбие. Богатейшие дамы снабдили их пищею и одеждою. Они готовы снова сражаться за Папу, если бы это было нужно и возможно. Но владения Папы, кажется, безнадежно потеряны<sup>67</sup>: Англия рассыпает золото в Италии, дабы развратить народ и сделать их протестантами<sup>68</sup>. От французского же императора ничего хорошего ожидать нельзя<sup>69</sup>. Папа может потерять свои владения, но никакая сила в мире не может лишить его духовной власти, власти, которая не зависит от владык сего мира, но которая дана ему свыше в сих словах: Ты еси Петр, и на камне сем воздвигну церковь мою, и врата адовы не преодолуют ея<sup>70</sup>. В настоящих смутных обстоятельствах истинное могущество Папы показывается в великом блеске. Теперь со всех частей света посылают ему денежные пособия. Католики в Австралии обещали послать каждый год в Рим 10000 фунтов стерлингов. Папа не будет принужден прибегать к монархам и министрам: верные сыны его во всех частях света найдут средства поддержать достоинство общего их Отца.

Я постараюсь написать к вам снова в июле или августе. Между тем, пожелав вам доброго здоровья, прошу вашего благословения и пребываю с глубочайшим почтением,

дражайший Папенька,  
ваш преданный сын  
В. Печерин.

#### **№ 14. В. С. Печерин — С. П. Печерину**

Лимерик  
20 мая 1861

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Не знаю, что и думать о вашем молчании. Я писал к вам в прошлом январе и по сию пору не получил ответа. Это заставляет меня беспокоиться о вашем здоровье. Но может быть, вы затеряли мой адрес, и это, вероятно, было причиною вашего молчания.

Я, слава Богу, здоров. Вот уже два месяца мы наслаждаемся прекраснейшею погодою, какой мы давно не видали в Ирландии. Настоящее лето, и уже становится очень жарко. Я продолжаю мои занятия по-прежнему. Дела католического мира в весьма печальном положении. Со дня на день мы ожидаем какого-то разгрома в Риме. Со всех сторон готовятся к войне<sup>71</sup>. Отпущение на волю крепостных людей<sup>72</sup> сделало много шуму в Европе, и теперь везде возносят до небес императора Александра II<sup>73</sup>. Я от всего сердца желаю ему счастливый успех в его великодушных намерениях.

Не откажите же мне удовольствия получить еще несколько строчек от вас, почтеннейший и дражайший Родитель. Жизнь коротка, не знаю, как долго я буду в состоянии писать к вам или вы отвечать мне. Наше отечество вступает в новую эпоху великолепного развития, а мы, последние нашего рода и имени, не оставим никого после себя наслаждаться плодами сего нового развития России. Время уже припомнить, что мы странники на сей земле, истинная отчизна наша не здесь, а в небесах. Я оставил отчизну в юности моей из чистой любви к правде и странствовал в чужих землях для того, чтобы отыскать истинное отечество бессмертной души. Я нашел истину и нашел спокойствие духа и теперь, приближаясь к концу моего земного поприща, я желал бы удалиться в пустыню и там, в глубоком уединении окончить жизнь мою в молитве и покаянии. Но человек предполагает, а Бог располагает.

Я не пишу более теперь, не зная, получите ли вы письмо мое или нет. Напишите же хоть одну строчку о себе, что вы живы и здоровы. Поклонитесь от меня всем нашим родным и знакомым.

Прошу вашего родительского благословения и пребываю с глубочайшим почетом,

дражайший Папенька,  
вашим преданным сыном  
В. Печерин.

Адрес: Rév[éren]d Vladimir Pétchérine  
Limerick  
Ireland

### № 15. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Лимерик, Ирландия  
11 июня 1861

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Я не позабыл еще, что день ваших именин 5-го июля старого стиля, спешу поздравить вас с праздником Святого Сергия<sup>74</sup>: да дарует вам Бог праздновать этот день многие и многие годы. Я не удивляюсь, что ваши ноги начинают побаливать: в ваших летах это весьма обыкновенное явление, особенно у старого воина, который переходил через Альпы и видел Аустерлицкую битву<sup>75</sup>. В приложенном при сем письме<sup>76</sup> я благодарю Савву Федосеича за его родственное усердие к вам; это благодать Божия иметь таких добрых родных.

Меня чрезвычайно трогает благородный поступок Ивана Петровича Корчеса. Вот настоящая военная дружба и солдатское радушие! Ваш адъютант не забыл своего старого командира и за 800 верст<sup>77</sup> приехал навестить вас в вашем уединении. Когда отпишете к нему, поблагодарите его за его доброе родственное воспоминание обо мне. Поблагодарите также Никифора за его усердный поклон: как же это трогает меня, что мой добрый Никифор не забывает меня<sup>78</sup>. Мы все уже стареем: нет нам надежды увидеться на сем свете, да дарует нам Бог увидеться в небесах.

У нас было прекрасное лето: жаркие ясные дни и обилие всяких плодов. На политическом небосклоне собираются густые облака. Здоровье Папы в весьма сомнительном положении. Рим в критическом состоянии. Смерть Папы в настоящих обстоятельствах произведет всеобщий разгром. Не время теперь ехать в Рим. Там всякую минуту ожидают переворота<sup>79</sup>. Мы здесь покамест вне опасности. Почтенный священник, недавно приехавший из Италии, сказал мне, что враги католической веры приготавливают нападение на Ирландию, они смотрят на этот остров как на последнее укрепление католической церкви. Здешний народ сохранил первобытную простоту нравов и неколебимую веру отцов своих, и он умеет соединять и ту и другую с высоким образованием и широкою гражданскою свободою. Вот почему нелегко одолеть ирландского народа. Но в руках Всемогущего мы и судьбы наши!

Вспомните меня в ваших молитвах: я помолюсь о вас перед святым алтарем Господним. Прошу вашего благословения и пребываю

ваш преданный сын  
Владимир Печерин.

P. S. Сберегите мой прежний адрес. Где бы я ни был, если адресуете в Лимерик, письмо ваше дойдет до меня.

№ 16. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Дублин. Ирландия  
17 февраля 1862

Дражайший Папенька.

Последнее письмо ваше я получил в прошлом октябре. Обязанности моего призвания заставили меня предпринять путешествие во Францию<sup>80</sup>. Я посетил Париж и Лион, и вот причина, почему я не писал к вам прежде. Спешу теперь поздравить вас с наступившим Новым Годом. Надеюсь, что письмо мое найдет вас в совершенном здоровье. Мне кажется, что наступивший 1862-й год будет весьма примечателен в истории России. Журналы приносят нам слухи о великих переменах, приготовляющихся у вас. Адрес московского дворянства<sup>81</sup> к императору весьма примечательный документ. Это первое начало вольного управления. Рано ли, поздно ли у вас необходимо будет Народное Собрание или Парламент. Время нашей отчизне занять почетное место в ряду образованных европейских наций. Честь и слава Москве, что она первая подняла знамя вольного гражданского развития. Но при всем том надобно припомнить, что великие государственные перемены требуют великих жертвований. Дай Бог, чтобы все спокойно прошло. Я от всего сердца благодарю Бога, что он продлил мою жизнь до сего времени, так что, может быть, увижу, по крайней мере, зарю возрождения России.

Франция представляет картину народного благосостояния. Иностранцы не узнают Париж. В десять лет он совершенно переменялся. Целые улицы вновь перестроены<sup>82</sup>. Между прочим, замечателен прекрасный *Севастопольский* бульвар<sup>83</sup>. Теперь Париж, без сомнения, прекраснейший город в Европе. Утешительно видеть успех религии. Церкви наполнены народом.

Я переселился на время в нашу столицу. Дублин прекрасный город. Прекрасное местоположение — Дублинский залив с окружающими живописными горами не уступает в красоте Неаполю. Я посвящаю большую часть моего времени на службу страждущего человечества. Почти ежедневно посещаю госпитали, которые здесь находятся в руках Сестер Милосердия. Там несчетные недуги тела и души, и часто одно утешительное слово религии вливает надежду и покой в душу страдальца и сильно содействует к исцелению тела. Наши ирландцы в полном смысле *верный* народ. Вера их единое утешение. Столетия жестокого угнетения не переменили сердца народа. Все потеряли, но вера осталась.

Здесь носится слух, что наша вдовствующая королева<sup>84</sup> располагает принять католическую веру и для того откажется от престола тотчас, как ее сын принц Алфред<sup>85</sup> достигнет совершеннолетия, т[о] е[сть] в ноябре сего года. Это будет великое событие в истории Англии. Будущий король весьма хорошо был принят в Риме и показывает благосклонное расположение к католикам.

Мы были в большой опасности завязаться в войну с Америкою. К счастью, американцы уступили<sup>86</sup>. Это была бы плачевная война. Третья часть английской армии состоит из Ирландии, а в Соединенных Штатах теперь находится *сто тысяч* ирландских солдат. Это была бы настоящая гражданская война: отец против сына, брат против брата. Великие перевороты приготовляются в целом мире: счастлив человек, который претерпит до конца и спасет душу свою, умирая в мире Господнем.



Мой поклон и благословение любезнейшему племяннику Пояркову и его супруге и детям. Не забудьте меня в ваших молитвах. Пребываю с глубочайшим почтением

ваш преданный сын  
В. Печерин.

Адрес: Rév[éren]d Vladimir Pétchérine  
Angel Hôtel  
Dublin  
Ireland

### **№ 17. В. С. Печерин — С. П. Печерину**

Дублин в Ирландии  
4 января 1863 года

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

В июне прошлого года я написал к вам письмо. Я не сам его отдал на почту, а послал с мальчиком. Может быть, оно затерялось<sup>87</sup>. Не знаю, что и думать, не получая от вас ни строчки в продолжение целого года. В то письмо вложено было другое к племяннику Савве Досифеевичу<sup>88</sup> Пояркову. Я думаю, что если бы письмо дошло, он, наверное, мне бы отвечал. Не знаешь, что и как писать в Россию, особенно когда пишешь из-за границы.

Спешу поздравить вас с наступившим Новым 1863 годом. Вот еще один год потонул в вечности, и мы более и более приближаемся к концу нашего земного странствия. Надеюсь, что письмо мое найдет вас в совершенном здоровье. Я, слава Богу, здоров и веду здесь весьма уединенную и спокойную жизнь, посвящая большую часть моего времени исполнению священных обязанностей моего призвания, а в досужное время занимаюсь науками. Я принялся теперь изучать арабский язык и уже сделал некоторые успехи. Читаю русские журналы и книги, какие можно достать здесь. Мы наслаждаемся здесь тем спокойствием и благосостоянием, какие можно найти только в благоустроенном и свободном государстве. Я каждый день благодарю Провидение, что оно бросило мне жребий жить под покровом английской конституции. Английские законы — плоды высочайшей мудрости человеческой; ни в каком столетии и ни в какой стране ничего подобного не было. Здесь решена трудная задача: как соединить совершенную вольность с совершенным порядком. Здесь все делается в духе чрезвычайной кротости и, во всяком случае, и везде уважают достоинство человека. Но мое удивление к Англии нимало не уменьшает моей любви к отечеству. Хотелось бы еще раз увидеть Россию, но теперь уже поздно: в мои лета не делают больших планов. Не удастся мне сказать с пророком Симеоном: «ныне отпускаеши раба твоего с миром, яко видеша очи мои спасение Израиля!»<sup>89</sup> Мне остается молиться о будущем благосостоянии России. Я принадлежу к числу тех русских, которые живут в будущем.

Напишите же ко мне, дражайший батюшка! Порадуйте хоть одною строчкою. Скажите, живы ли, здоровы ли вы. А не то не знаю, что и думать, да просите Савву Федосеевича написать ко мне.

В Англии приготовляются праздновать великое торжество. Наследник престола принц Вельский женится на датской принцессе<sup>90</sup>. Виндзорский дворец<sup>91</sup> убирают с необыкновенным великолепием. Говорят, что королева отречется от престола и вот у нас будет юный король, который очевидно любимец народа.

Я не пишу больше потому, что не уверен, дойдет ли мое письмо или нет. Я стараюсь застраховать это письмо. Прилагаю адрес и карточку мою для большей верности.

Прошу вашего родительского благословения и пребываю с глубочайшим почтением и сыновнею преданностью

вашим покорным сыном  
В. Печерин.

Адрес: Rév[éren]d Vladimir Pétchérine  
103 Chapel Street  
Dublin  
Ireland

### № 18. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Дублин. Ирландия  
29 июня 1863

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Вы сделали мне прекрасный сюрприз. Неожиданно после вашего письма я получил ваши портреты. Очень благодарен вам и любезному племяннику. Они очень хорошо сделаны и делают честь фотографическому искусству в Одессе. Они теперь стоят в золотых рамочках на моем камине, и когда я гуляю с книгою в руках по комнате, я часто поглядываю на них. Теперь могу сказать, что лично познакомился с Саввою Федосеичем. Но все-таки мне кажется, чего-то еще недостает. Стыдно, право, набиваться с новою просьбою, но все ж таки попытаюсь. Теперь как вижу черты племянника, хотелось бы увидеть и любезную племянницу, его супругу, так чтобы иметь перед глазами всех родных, с которыми я теперь в частых сношениях. Вот видите, что человек никогда недоволен тем, что имеет, а все желает иметь больше.

Весьма трудно найти написать вам что-нибудь новое. Мы живем здесь в крайнем уголке Европы, покрытые великою тенью Англии. Мирские бури не достигают наших уединенных берегов. Но ирландский дух никогда не может быть спокоен. Он все требует новой пицци для своей народной жизни. Каждый год видит какое-нибудь новое предприятие. Теперь мы заняты сооружением великолепного памятника бессмертному О'Коннелю<sup>92</sup>. Кто не знает О'Коннеля! В продолжение 20 лет он был истинным царем Ирландии, ему недоставало одной короны. Он своим красноречием вынудил Англию даровать католикам равные права с протестантами<sup>93</sup>. Эта чрезвычайная революция не стоила ни одной капли крови. Впрочем, надобно отдать честь кому честь. Удивительная мудрость английского правительства состоит именно в том, что оно знает, *когда* уступить. Как скоро общественное мнение громко и единогласно заговорит против какого-нибудь злоупотребления, правительство тотчас спускает паруса и уступает требованиям народа. Против О'Коннеля была сильная протестантская партия в парламенте и в целом государстве. Король<sup>94</sup> и руками и ногами отбивался и не хотел уступить. Правительство ждало. Между тем О'Коннель разъезжал по Ирландии, витийствовал пред народными собраниями в 10 и 20 тысяч человек. Когда наконец Веллингтон<sup>95</sup> увидел, что и солдаты начинают кричать О'Коннелю ура! тогда он сказал: «теперь нечего ждать больше. Я не отвечаю за спокойствие Ирландии, мы должны уступить». И король принужден был подписать *освобождение католиков*<sup>96</sup>. Вот этому-то О'Коннелю, бессмертному освободителю отчизны, мы собираемся воз-

двинуть огромную статую в наилучшей части города. Любопытно знать, как вещи здесь делаются. Во Франции, например, для подобного предприятия необходимо бы написать просьбу к министру внутренних дел и ожидать его *благоклонного* ответа; а здесь ведь мы никого не спрашивались, просто сошлись да потолковали, да и начали собирать деньги. Теперь уже собрано около 6000 фунтов стерлингов, считайте-ка, сколько это на русские деньги. Еще больших сумм ожидают из Америки. Когда денег будет довольно, мы пригласим наилучшего художника в Европе, и он сделает нам статую, какой свет еще не видал, и мы поставим ее на великолепной площади. И все это делается без малейшего сношения с правительством.

Давно уже не было здесь такого прекрасного лета. Все обещает богатую жатву. Я очень рад, что мой добрый Никифор жив и здоров и душевно благодарю за его поклон. Я не забываю, что 5-го июля Св[ятого] Сергия чудотворца. Поздравляю вас с днем вашего Ангела и, пожелав вам доброго здоровья и всех благ, пребываю,

ваш преданный сын,  
В. Печерин.

### № 19. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Dominick Street  
Dublin  
20 ноября 1863

Любезнейшая племянница.

Чувствительно вам благодарен за письмо и портрет. Теперь с помощью фотографа я могу сказать, что лично с вами познакомился, потому что вижу вас лицом к лицу, а ваше любезное письмо заменяет изустную речь. Надеюсь, что вы схватите первый случай, когда будет возможно снять портрет с ваших малюток: мне очень бы хотелось увидеть и заочно обнять их.

Я получил два первые номера «Московских ведомостей»<sup>97</sup>. Князь Петр Долгоруков<sup>98</sup> так был добр, что прислал мне их из Лондона и в то же время предложил мне отвечать в его журнале<sup>99</sup>. Мне невозможно было молчать. Есть обстоятельства, в которых честному человеку необходимо должно объясниться. Мое письмо к кн[язю] Долгорукову напечатано в №12 «Листка»<sup>100</sup>. Не знаю, дойдет ли оно до вас. Вам трудно понять мое положение, но как женщина вы, может быть, лучше других поймете, что значит верность священным убеждениям и долг чести. Если имени моему суждено остаться в памяти ваших детей, пусть же оно дойдет до них незапятнанным никакою подлостью.

У нас теперь прекрасная осень. Ясные теплые дни, а о зиме и слуху нет. Здесь теперь строят так называемый *зимний сад*. Это будет великолепное здание: кабинет для чтения, зала для концертов и сад с фонтанами и каскадами под стеклянным сводом.

Прощайте, любезная племянница, память об вас будет жить в моем сердце и моих грешных молитвах за вас и ваше дорогое семейство. К вашему супругу и к бабюшке я напишу немножко позже.

Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

P.S. Ваше письмо дошло исправно, хотя оно было адресовано на мою старую квартиру, которую я оставил в прошлом марте. Мое настоящее жилище означено в заглавии письма.

**№ 20. В. С. Печерин — С. П. Печерину**

47 Dominick Street  
Dublin. Ireland.  
1 (13) января 1864

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Вот снова Бог привел поздравить вас с наступившим новым годом. Благодарю Бога, что он сохранил вас в добром здоровье до сего времени. Чем долее мы живем на сем свете, тем более увеличивается долг нашей благодарности к Всевышнему. Каждая минута жизни есть дар небесный, и за каждую минуту мы должны будем отдать отчет, как добрый и верный раб отдает своему господину отчет во вверенном ему сокровище.

Начало нового года не очень отрадно. Густые тучи собираются на европейском горизонте, уже слышны отдаленные раскаты грома, война неизбежна<sup>101</sup> и Бог знает, чем и когда она кончится. Одно я знаю и искренно верю, что во всех этих переворотах Россия непременно выиграет. Она молода, она только что начинает жить, а молодому человеку все легко с рук сходит<sup>102</sup>. Мы здесь в крайнем углу запада, кажется, менее других подвержены опасности, но может случиться, что Америка захочет сделать высадку на наших берегах<sup>103</sup>. А этого я очень боюсь: непременно последствием этого будет междоусобная война, одни возьмут сторону Англии, а другие — Америки. Большинство народа будет в пользу американской республики. Духовенство также будет разделено на два стана. Не забудьте, что в Америке сто тысяч ирландских солдат. Если высадят здесь 60 т[ысяч], то как же ирландцам идти против своих же братьев. Вesy Европы теперь в руках Провидения. Все устроится по вечным законам вечного правосудия, и русская пословица говорит: пуля виноватого найдет.

Покамест я очень спокойно здесь живу, разделяя время между умственными занятиями и делами христианской любви. Погода стоит прекрасная. У нас были здесь лихие морозы, т[о] е[сть] барометр был на точке замерзания, а ниже не спукался. Но при всем том для здешнего народа это очень суровая зима. Бедные люди здесь привыкли к дождю и мокроте, а мороз едва ли могут переносить при их легкой одежде и скудном отоплении.

Прощайте, дражайший батюшка, не забудьте меня в ваших молитвах и дайте мне ваше отеческое благословение,

ваш преданный сын  
В. Печерин.

Любезнейший племянник.

В прошлом месяце я писал к вашей любезной супруге и послал ей мои карточки. Поздравляю вас и с новым годом и с тем новым участием, которое по призванию отечества вы принимаете в преобразовании системы управления. Муниципальное управление и выборы<sup>104</sup> — счастливая новость в России. Это первый рассвет нового дня. Но получив свободные учреждения, не забудьте, что должность гражданина — хранить их как зеницу ока и не позволять, чтобы кто-либо дерзнул нарушить их. Эта бдительность особенно необходима в начале свободы: самодержавие неохотно покоряется народной воле, но народу стоит только сказать «быть по сему», т[о] е[сть] по-нашему, и оно будет. Смелым Бог владеет. Постоянство и терпение все преодолевают. Впрочем, события, приготовляющиеся в Европе, очень помогут возрождению России. Теперь не царские

фамилии, а *народы* решают судьбы мира. *Глас народа — глас Божий*. Так стоит в заглавии той грамоты, которую Михаил Романов был выбран в русские цари<sup>105</sup>.

Прощайте, ваш преданный  
В. Печерин.

## № 21. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

Доблин  
29 июня 1864

Любезнейший племянник.

Душевно благодарю за портрет и за ваше интересное письмо.

Мне вовсе нет охоты касаться щекотливых политических вопросов. Я искренно желаю благоденствия России. Но пути к этому благоденствию различны. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Народ — наилучший судья в собственном деле. По учению католического богословия народ есть единственный источник власти в государстве. Без сомнения, «несть власти яже не от Бога»<sup>106</sup>. Но Бог сообщает свою власть народу, а народ из своей среды избирает *исполнителей* этой власти. Я не могу разделять вашего доверия. Я помню слова Св[ященного] Писания: не уповайте на князей мира сего<sup>107</sup>. Я знаю немножко историю и приобрел некоторую опытность — в продолжение 30 лет я жил с людьми всех политических партий и очень хорошо знаю, что свобода не даруется, а должна быть взята силою. Льготные грамоты или хартии дают рабам, а свободные люди сами мечом отбивают свободу и потом сами делают свои законы. Помните пословицу: дареному коню в зубы не смотрят. В настоящих обстоятельствах России легко ошибиться: что вы принимаете за голос русского народа, может быть не что иное, как голос русского (петербургского) правительства, переодетого в либеральных журналистов, точь-в-точь как полицейские шпионы переодеваются в порядочных людей. Впрочем, вы, может быть, мне скажете: «в чужой монастырь со своим уставом не ходи».

Солнце Божие сияет для всех равно. Места довольно на широкой земле. Св[ятой] Павел говорит, что Бог назначил каждому народу свои пределы: каждому народу он дал свой язык, свой нрав, свою землю<sup>108</sup>. Вместо того, чтобы отбирать чужое и покорять единоплеменников ненавистному рабству, пусть все славянские племена соединятся братским союзом, сохраняя каждое свою независимость в пределах, предписанных природою. А ведь сколько степей еще не населенных! Есть где разгуляться славянскому племени, есть место для всех и даже для чужеземцев. Пришла заветная пора для России. Женщина в родах чувствует сильную боль, жизнь ее кажется в опасности; но все забыто, когда родился младенец — новый человек родился на свет. Всякое рождение есть кризис — жить или умереть, а остановиться невозможно. Придется ли мне пить мед на крестинах новорожденного русского младенца? Придется ли мне сказать: «ныне отпускаем раба твоего с миром, яко видеша очи мои спасение Израиля». Как бы то ни было, я умру с сознанием, что всю жизнь остался верным убеждениям моей юности. «Я любил правосудие и ненавидел беззаконие, а потому умираю в ссылке»<sup>109</sup>.

Вот видите, как заговорился — от полноты сердца уста глаголют. Засвидетельствуйте мое почтение вашей любезной супруге.

Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

№ 22. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Дублин  
17 марта 1865

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Давно уже я собирался писать к вам и поздравить вас с новым годом и новым счастьем, но зима наступила так внезапно и с таким суровым холодом, что я сильно простудился и не был в состоянии ничего делать. Теперь, слава Богу, я совершенно здоров, да и погода уже настала весенняя. У нас ничего нового нет. Только готовляемся к всемирной выставке, которая откроется 9 мая наследником престола принцем Вельским. Королева едва ли показывается в публике, да и траура своего она еще не сложила<sup>110</sup>. Это, может быть, единственный пример вдовы, так долго оплакивающей своего мужа. Прошлым летом приезжал сюда князь Петр Владимирович Долгоруков — посмотреть Ирландию и со мною свидеться<sup>111</sup>. Я провел с ним несколько дней очень приятно. С тех пор он постоянно присылает мне русские журналы: «Голос», «День» и «Современную Летопись»<sup>112</sup>, так что я теперь очень хорошо знаю все, что делается в России. Признаюсь, есть чему порадоваться, видя, как Россия подвинулась вперед в последнее десятилетие. А вот недавно на днях посетил нас другого калибра соотечественник — некто Сергей Михайлович Фокин. Выдавал он себя за богатого помещика: «у меня-де в Симбирской губернии 4000 душ, и деньги нипочем, я с государем за одним столом обедал и пр[очее] и пр[очее] и пр[очее]». И вот на другой же день он приходит ко мне просить денег: «ужасно как растратился в дороге; вы знаете, батюшка, жена и дети, мне непременно надо выехать из Дублина, а присылки денег ожидать некогда, так сделайте милость, одолжите несколько фунтов на короткое время, я не замедлю вам их переслать»<sup>113</sup>. Я вдруг сметил, какая это птица; денег я ему не дал, а тотчас же написал в Лондон к кн[язю] Долгорукову, чтоб собрать сведения об этом человеке. Через день получаю ответ, что почтенный Сергей Михайлович просто мошенник, который сидел в тюрьме в России и там-то в тюрьме познакомился с какою-то мерзавкою, которую он теперь называет своею женою. Оба они убежали из России с фальшивым паспортом (украденным у Давыдова) и разъезжали за границей под именем г[осподи]на и г[оспо]жи Давыдовых. В Лондоне он на имя Давыдова сделал фальшивый вексель на 2000 фунт[ов] ст[ерлингов], надул русского священника на 15 фунт[ов] ст[ерлингов], также и в Париже прошлую осенью обманул кого-то на весьма значительную сумму<sup>114</sup>. Крайне сожалею, что не написал в Лондон двумя днями ранее; ему все-таки удалось обмануть не меня, а здешних отцов иезуитов, которые через свой кредит достали ему из банка 60 фунт[ов] ст[ерлингов]. Вот как отличаются наши русские за границей! Нечего сказать, надо отдать честь Сергею Михайловичу. Он любого французского или английского плута за пояс заткнет. Да как же! ведь России же не отставать от других держав! И мы-де, русские, умеем себя показать! И нам природа в гении не отказала. Я написал в Лондон, чтоб дали знать полиции об его проделках<sup>115</sup>. Может быть, удастся его поймать. Да где же? Он теперь, вероятно, за тридевять земель в тридесяти царстве.

Поверите ли, что теперь в Париже проживают не менее 50000 русских? Ведь это маленькая Россия. Года два тому назад отец Гагарин<sup>116</sup> приглашал меня переселиться в Париж. Если найду средства жить там, я бы охотно это сделал. Может быть, я мог бы быть чем-нибудь полезен некоторым из моих молодых соотечественников

и таким образом, по крайней мере, под конец моей жизни, заплатить священный долг родине<sup>117</sup>.

Надеюсь, что письмо мое застанет вас в добром здоровье. Душевно кланяюсь любезным племяннику и племяннице Поярковым. Я буду писать к ним, когда получу ответ от вас. Не откажите мне в счастье читать ваши драгоценные строки,

ваш преданный сын  
В. Печерин.

Прилагаю карточку с моим адресом.

### № 23. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Одесса  
18 апреля 1865

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас со Светлым праздником Христова Воскресения. К сожалению, праздник этот застал нас не вполне в приятном положении. Сергей Пантелеич сильно простудил себе ноги и с 9 марта в постели. Теперь ему гораздо лучше. Главная болезнь прошла, и хотя он еще не оставляет постели, но всякая опасность миновалась, и с переездом с начала мая на хутор (приморская дача) можно быть положительно уверенным, что болезнь совершенно пройдет. По крайней мере, состояние здоровья во всем корпусе совершенно восстановлено и главная задержка к выздоровлению в дурной погоде.

Из газет Вы, вероятно, уже знаете о важных реформах, предпринятых в России<sup>118</sup>. Теперь вводятся везде земские учреждения<sup>119</sup>. В основание их положен вполне демократический характер, так что реформы эти вызывают опасение, что будущие судьбы России будут находиться в руках крестьян, сословия, как Вам известно, и завистного и малоразвитого. В России дворяне сохранили еще значение в глазах крестьян, но в Малороссии целые уезды не выбрали ни одного дворянина, и как в России вообще еще не имеют понятия о self-government\* и все выборные должности с содержанием, то приманка содержания легко может извратить сущность реформы и выборных лиц обратить в чиновников того старого времени, где ловкий секретарь заправлял всем делом. Вообще на земские реформы, направленные против дворян, мы смотрим со страхом, а не с надеждою.

Гораздо более можно ожидать от судебной реформы, в основание которой положено много начал из английского судопроизводства, но как и здесь все дело в мировом институте<sup>120</sup>, то недостаток в людях, не говоря уже юристах, но просто здравомыслящих, знакомых притом сколько-нибудь с законодательством, не говоря уже о науке законоведения, делает и эту реформу крайне сомнительною. А известно, что неудачный выбор первых мировых судей окончательно погубит значение реформы. Достаточно Вам сказать, что адвокатов для России нужно, по крайней мере, 10000, а кончивших курс юридических наук с 1835 года только 6000, но живы ли они все?

Жена и я, свидетельствуя Вам искреннее почтение, просим Вашего благословения. Ваш племянник

С. Поярков.

Милай друг валодя я болен нагою мались за меня богу даю тебе мое благославление Атец твой Сергей Печерин<sup>121</sup>.

\* Самоуправление — *англ.*

№ 24. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
20 мая 1865

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Чувствительно вам благодарен и за поздравление меня со Светлым праздником, и за известие о здоровье батюшки. Надеюсь, что теперь с возвращением хорошей погоды его здоровье совершенно поправилось.

Чрезвычайно интересны для меня ваши замечания касательно земских учреждений. Что «в основание их положен вполне демократический характер», это меня нимало не удивляет: оно иначе и быть не могло. Суженого конем не объедешь. Герцогиня Морни (Трубецкая)<sup>122</sup> сказала кому-то в Париже, что Россия — самая демократическая страна в Европе. Это кажется странно, но ведь она сущая правда. Где у нас аристократия и ее влияние? Где у нас средний класс? Вся жизнь сосредоточена в нижнем слое общества. Конечно, есть неудобство в преобладании «зависимого и малоразвитого класса». Но ведь все это переварится со временем. Ведь надо же с чего-нибудь начать. Нельзя же выучиться плавать, не бросившись прежде в воду. От ученых и литераторов я не ожидаю многого; но я верю в гениальность русской природы. Нам уже так на роду написано: у нас все идет самоучкою. Может быть, из среды народа возникнет у нас какой-нибудь православный бородач Линкольн<sup>123</sup> или Кобден<sup>124</sup> и своим здравым смыслом он заткнет за пояс всех дипломатов Англии и Франции. Напрасно противу рожна прати<sup>125</sup>. Перст Божий виден на всех современных событиях. Везде аристократия осуждена на неминуемую гибель, ее дни сочтены. Скажите, например, кого мы победили в Польше<sup>126</sup>? Мы победили аристократию, мы нанесли ей смертельный удар и на место ее воцарили демократию. Даже в самой Англии (этой аристократической республике) народные волны подымаются все выше и выше и начинают уже подмывать твердые основы ее великолепной аристократии. Чему быть, тому не миновать. Мне кажется, русское правительство очень хорошо понимает знамения времен, и потому все его действия клонятся к *устройению* демократии, т[о] е[сть] к исполнению непреложных судеб Божиих, и в этом смысле оно чисто орудие провидения.

15-го декабря 1825 по утру, когда 14-е декабря было совершенно покончено (я был в Петербурге), старик Никифор вошел в мою комнату и заявил свое мнение о прошедшем событии: «Ведь это все дворяне от жиру бесятся». Вот демократический взгляд на 14-е декабря!

Извините, заболтался и забыл вам сказать, что у нас было торжественное открытие нашей международной выставки. Наследник принц Вельский представлял королеву. На первый же день он ужасного дал промаху. Вообразите себе: улицы битком набиты народом; все окна изукрашены дамами и разноцветными флагами; народ ждал часа два, три и что же? Принц проехал в закрытой карете, так что его никто не видал. Ведь это просто курам на смех. Вот что значит не иметь, напр[имер], наполеоновского такта. За то уж ему отплатили ввечеру: когда он ехал на бал к градоначальнику (лорду Мейору<sup>127</sup>), толпа его просто освистала — и поделом! На другой день он поправился и, несмотря на дурную погоду, выехал в открытой коляске. Уж как-то им не везет в Ирландии. Да и трудно сладить с ирланд-



цами. Они просто переселяются в Америку. Каждую неделю из *одной* Коркской гавани<sup>128</sup> выезжает около 1000 человек — ведь это в год составляет 52 т[ысячи]. Целая армия!

Напомните вашей любезной супруге, что она обещала мне прислать фотографии ваших детей, как скоро это можно будет сделать. Не забывайте меня в ваших молитвах: я от всего сердца молюсь за вас.

Ваш преданный  
В. Печерин.

На этот раз, дражайший Папенька, пишу к вам только несколько строк. Надеюсь, что весенний морской воздух совершенно поправил ваше здоровье, и ожидаю в скором времени получить от вас собственноручное письмо, которое меня уверит в совершенном восстановлении вашего здоровья.

Прошу вашего отеческого благословения.

Ваш преданный сын  
В. Печерин.

### № 25. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Одесса  
20 августа 1865

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Я долго медлил писать Вам единственно из желания сообщить Вам приятную новость о состоянии здоровья Сергея Пантелеевича. Он долго не соглашался переехать за город, наконец, в начале июля докторам удалось убедить дедушку переехать ко мне на дачу. Дача моя на берегу моря верстах в пяти от города. В первые же недели после переезда сделалось очевидным, что морской свежий воздух и морской песок — самые радикальные средства в лечении болезни дедушки. У него после параличного поражения ног в марте месяце начала быстро образовываться водяная в ногах. Теперь морской песок и муравьиные втирания совершенно вытянули воду и уничтожили водянистые опухоли; организм восстановлен совершенно как был лет за пять пред сим. Дедушка сам кушает, сам переворачивается с боку на бок на постели, но стоять и ходить может только при помощи других. Мы пробудем на даче по 15 октября, и к тому времени я надеюсь, что дедушка будет ходить сам с палкою. Жаль, что нельзя было склонить дедушку переехать за город в апреле или, по крайней мере, в мае.

Позвольте поздравить Вас, хотя с минувшим, днем Вашего ангела. В этот день мы вспоминали об Вас, и общие наши желания были увидиться когда-нибудь с Вами.

Демократическое назначение нашей родины прививается что-то очень плохо. Земские наши собрания составились наполовину от крестьян<sup>129</sup>. Можете вообразить, что от этого выходит. Если общий уровень нашего образования слаб до того, что в Одессе не знают, кого бы выбрать в мирные судьи, то какой же может быть смысл в собраниях, где треть кое-как обучена, треть умеет подписать только фамилию, а треть и того не умеет. Собраниях, в которых, по крайней мере, треть не освобождена от телесных наказаний<sup>130</sup>. Правда, что и аристократическая Англия уступает духу времени и все более и более расширяет права демократии; но уступки эти делаются тогда, когда масса значительно подготовится к принятию

этих прав. По существу же наших реформ придется разве сокращать права крестьян, потому что безграмотности даны права, а научный ценз не допускается ни городской, ни земскою реформами. Нет, не наша задача осуществить демократизм. Я нисколько не против уничтожения сословий и рангов, принесших уже столько зла России, но не думаю, чтобы настало время сказать, что задача наша в чем-либо выяснилась. Вот у нас открыт в Одессе университет, а студентов нет<sup>131</sup>. Как бы Вы думали, на филологическом факультете до 15 профессоров, а студентов — один. Для судебной реформы требуется до 10000 юристов, а всех студентов, кончивших юридический факультет с 1833 года, до 6000, а, выключая из этого числа умерших, обленившихся и бездарностей, останется не более 1500. Так можно судить, по крайней мере, по тому, что никакое юридическое сочинение, само собою тоже переводное, не расходуется в большем против 1500 экземпляров количестве<sup>132</sup>.

Свидетельствую Вам мое и жены моей искреннее почтение и прошу Вашего благословения, Ваш племянник

С. Поярков.

**№ 26. Ф. В. Чижов<sup>133</sup> — В. С. Печерину**

Москва

[Между 27 и 29 августа 1865]

«Снова слышу голос милый  
Песнь приветную поет,  
И как Лазарь<sup>134</sup> из могилы  
Тень минувшего встает»<sup>135</sup>.

Твоими стихами давнишними, когда-то ко мне писанными, приветствую тебя, мой милый, мой дорогой друг, брат Печерин. Сколько лет прошло, я не имел от тебя, ни о тебе, ни слуху, ни духу; не раз пытался узнавать: одни говорили мне, что ты уехал в Америку<sup>136</sup>, другие, что ты где-то в Англии, но что негде узнать о тебе. Я был два раза в Лондоне в последние годы, кажется, в 1857 и 1860, не мог ничего узнать о тебе. Но ни разлука, ни различие убеждений во многих и для тебя и для меня самых существенных вопросах жизни, ничто не только не истребило живого, родного чувства к тебе, а даже и не помяло его. Ты мне тот же Печерин, которого я любил и люблю в душе страстно, во внешних сношениях холодно, такова уже моя природа; тот же чистый, едва только непорочный Печерин, которого я ругаю, как ругаю и ругивал немногих. Не знаю как ты, а я бел как лунь; сед совершенно, не знаю, постарел ли, сам не вижу, но знаю, что ты и старому мне тот же Печерин, едва ли не больше и не ближе, чем был молодому. Не передать мне тебе, как слезы редкие в моей положительной жизни лились, когда Аксаков читал мне твои стихи<sup>137</sup>. Ты должен написать мне, мне мало знать, что я тебе дорог, надобно прочесть это написанное твоею рукою. Жду твоих строк — единственный твой брат и брат истинный

Твой Чижов.

Вот тебе мой адрес: В Москву  
В Правление Московско-Ярославской дороги  
г[осподину] Директору

№ 27. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

16 сентября 1865

Я вижу, что и в наше время чудеса совершаются и мертвые воскресают. Нет! Это дурно сказано, мертвых тут вовсе не было. Истинная дружба никогда не умирает, и после тридцатилетней разлуки она также молода и свежа как в начале. Благодарю, благодарю, дорогой друг моей юности! Благодарю и за письмо, и за те слезы, которым в сию минуту мои слезы отвечают. Как юно русское сердце! Твое письмо это доказывает. Когда в первый раз твое имя встретилось в журнале, все воспоминания молодости нахлынули на сердце. Не без некоторой зависти читал я твои дельные статьи<sup>138</sup>; я думал: вот он сделался полезным членом общества, а я ... но тут нечего рассуждать: есть неизбежные судьбины, от которых человеку никак нельзя оборотиться. Что такое *fatum*\*? Это необходимое сцепление причин и действий, которых никакая сила не может расщепить, точь-в-точь как сцепление нервов и мускулов в нашем теле или атомов и *molecules*\*\* . В эти тридцать лет я прошел через все возможные эволюции человеческого духа; я пережил всю историю от потопа до наших времен. Честь имею донести, что на голове моей нет ни одного седого волоса, а сердце-то ужасно как молодо! Того и гляди, что я затею какое-нибудь новое преобразование. Мне невозможно остановиться; я непременно должен идти вперед. Да вот лучше я выпишу тебе отрывок из моих записок (которые я начал было писать, но едва ли буду продолжать)<sup>139</sup>.

Вот извини, целый лист исписал, а, кажется, довольно было бы написать: «Ты мне действительно дорог, единственный, незабвенный друг моей юности».

№ 28. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Одесса  
16 сентября 1865

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Только третьего дня получен у нас в Одессе 29 № газеты «День», в котором помещено Ваше стихотворение «Miltown park авг[уст] 1865»<sup>140</sup>, и уже сколько переговорено о нем. Первым мне вестником был, кто бы Вы подумали? протоиерей кафедрального собора Иоанн Знаменский<sup>141</sup>. Вчера он пришел ко мне с номером газеты еще так рано, что я спал... Вообще редкие визиты его, а этот крайне ранний и притом бесцеремонный прямо в спальную мою комнату, очень смутил меня, и смущение это еще более увеличилось, когда вместо обычного здравствуйте о[тец] Иоанн начал свою речь словами: «я отопру Вам ставни, а Вы прочтите-ка вот эту статейку. Как Вам не стыдно, что Вы до сих пор не сообщили нам подробных библиографических сведений об этой русской жемчужине». Не стану передавать Вам, с какою жадностью я прочел поданную мне статью, с каким волнением читал и перечитывал Ваше стихотворение и каким тяжелым упреком были для меня слова о[тца] Иоанна,

\* Судьба, рок — *лат.*

\*\* Наименьшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства (от *лат.* moles — масса с уменьшительным суффиксом cula).

тем более что зная его прямой характер я видел в словах его только сочувствие родного сердца. Я показал ему все письма, полученные мною от Вас, и все письма, какие только мне удалось найти у Сергея Пантелеича; но письма эти, составляя мою семейную драгоценность, далеко недостаточны для составления какого бы то ни было биографического очерка, тем более что все усилия мои пополнить скудные мои сведения о Вашем прошлом словесными беседами с дедушкой не привели ни к какому результату, так как старик не только не знал, но и не подозревал значения и сущности той среды, в которую Вы были поставлены воспитанием и выбор которой, сколько можно догадываться, шел вразрез намерениям Вашего батюшки. Но не говоря уже об умственной и душевной Вашей биографии, где самобытность материала требует, чтобы он был вполне выпонят и прочувствован пишущим биографию, а между тем в отношении русских до сих пор еще справедливо замечание Kohl, что мы и не подозреваем, до какой глубины дошло уже развитие ума (Kohl's Russia 1842)<sup>142</sup>, и у нас до сих пор еще во всей силе изречение Соломона<sup>143</sup>: *augmenter sa science, c'est augmenter sa peine\**, я даже не имею возможности восстановить хронологическую верность тех немногих обстоятельств Вашей жизни, которые мне сколько-нибудь известны, так как и в этом отношении память Вашего батюшки самый ненадежный источник, так что даже те скудные сведения, которые помещены в 29 № «Дня», не согласны с моими заметками.

Вечером 15 сентября мне удалось застать у проректора университета Богдановского<sup>144</sup>, воспитанника Московского университета, несколько профессоров, из коих два тоже из Московского университета. Разговор еще до моего прихода шел об Вас, и на столе лежал 29 № «Дня». С моим приходом посыпались мне те же самые упрёки, которые я слышал утром от о[тца] Иоанна. Беседа наша тянулась за полночь; много дельного и замечательного было сказано об Вас; но отличительная сущность сказанного была не та холодность, которая в Вашем стихотворении встречает странника у хижины родной, а горячая сыновняя приязнь. Он наш, отдайте нам его. Он наш, потому что не изменил служению мысли даже в то время, когда свободно бродил только зверь, а человек ходил пугливо. Он наш, потому что годы испытания не ожесточили его сердца, а, обогатив только ум, привязали еще более к нам. Он та самая краса, которой он сам так тщетно искал, но внутреннему голосу которой так искренно служил. Вот то или, по крайней мере, слабый отблеск того, что было об Вас сказано. В этот день, который следует назвать Вашим днем, хуже всего было мое положение; все требовали от меня сведений, и к стыду моему я меньше всех мог удовлетворить общему желанию, так как мне непростительно было бы сообщать, может быть, неточные сведения, которые не стеснялись сообщать другие. Я возвратился домой с крайне болезненным чувством полной невозможности удовлетворить электрически возбужденному Вашим стихотворением чувству и потому решаюсь обратиться к единственному источнику — к Вам самим. Вам в течение короткого времени удобно сделать то, что для меня вовсе невозможно; тем более что Ваша биография состоит из внутренней борьбы ума и чувства. Само собою, я желал бы получить эту биографию в полную собственность и напечатать ее от моего имени. Только таким путем я могу удовлетворить общему желанию, и только этим

\* Преумножать свое знание значит преумножать свои горести — *фр.* (Книга Екклесиаста, 1. 18: «Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»).

путем до Вас дойдут в печати все отголоски сочувствия к Вам русских. Время, кажется, уже созрело, и мне кажется, Вам необходимо будет узнать истинный взгляд, как он сам собою выскажется.

Поручая себя и семейство мое молитвам Вашим, я с нетерпением буду ожидать Вашего ответа. Не нескромность, а родственное чувство и общая к Вам симпатия побуждают меня просить Вас не отвергнуть моей просьбы.

Ваш племян[ник] С. Поярков.

Здоровье дедушки в одном и том же положении. Ходить не может, а организм укрепился.

Адрес мой — лучше всего в дом дедушки, на Ремесленной улице.

## **№ 29. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

Москва

17 сентября [1865]

Да, Печерин, после тридцати лет ты опять для меня тот же Печерин. Больше 30 лет наших сношений были так чисты, так просто безрасчетны, что тут опыт заставляет верить твердости дружбы. Без опыта на земле трудно чему-нибудь верить. У тебя ни одного седого волоса, у меня борода была безукоризненна, седина волос на голове кое-где сереет остатками юности. Ты пишешь, да и я иногда говорю себе, что я молод, но молодость наша не есть уже молодость юности. Помнишь, лет 25 тому назад мы были уверены и уверяли всех, что мы опытные; нам не верили, и мы оба на разных путях жизни доказали, что так только нам казалось. Теперь мы также уверяем себя, что мы молоды; оно, быть может, и совершенная правда, только прежде мы в этом ни себя не уверяли, ни других не заставляли этому верить. Лично для меня ты был прекрасен в юности — чем? как? Я этого не спрашивал, а пленился и пленялся твоею нравственною красою, и чудно прекрасный образ всего твоего существа поселился в душе моей — умереть там он не может. Мне сдается, судя по последнему твоему письму, что твой двойник, обитающий в душе моей, немного разошелся с действительным Печериным; но может быть потому только, что в нем больше юности. Теперь ты мне тоже прекрасен, прекрасен тем, что успел из жизни вынести себя чистым, так что жизни и людям не удалось несколько тебя испортить. Я пережил менее внешних треволнений, чем ты; привезенный с жандармами из-за границы<sup>145</sup>, был несколько лет почти в ссылке<sup>146</sup>, после сделался редактором журнала<sup>147</sup>, потом отдал себя железным дорогам, ни разу не вступив в государственную службу. Досадно мне, что у меня нет теперь фотографической своей карточки, я послал бы ее тебе собственно для того, чтоб получить твою. Да, твой выпуклый лоб устроил твою жизнь так, что ты все учил Бога и подсказывал ему, какую устроить тебе обстановку. А Бога не подкупишь: прейдет небо и земля, но ни одна йота из закона не прейдет<sup>148</sup>. Это так неизменно справедливо, что казалось бы при твоих треволнениях ты непременно поскользнешься, а нет, ты чист во всем и остался чист после всего.

Тот же ты паровик, что и был, ни количество паров не уменьшилось, ни силы их не убавилось; досадно мне одно, что жизнь не успела ввести в твой внутренний механизм махового колеса, которое могло бы [нрзб] твоею большою жизненною силою. Тогда порывы были бы в тебе, а в действительности виден был бы отблеск той правильности, какую Бог дал мирозданию, не лишив его ни огня, ни взрывов скрытой силы.

Не могу передать тебе, как я был рад встретить в твоём письме «Не посрамим земли Русския»<sup>149</sup>. И тут ты старый, т[о] е[сть] прежний Печерин; помнишь, когда по выходе из университета ты со многими были юною Россиею. Те же горделивые надежды; но для меня дорого то, что когда теперь ты, как ты пишешь, начинаешь разыгрывать последнюю роль — быть самим собою, ты невольно являешься русским. Содержание всей моей жизни, моих надежд и мечтаний — конец слов, тобою приведенных: но ляжем костями ту, мертвые бо срама не имут<sup>150</sup>. Россия так нераздельно и неразъединимо слита с моим существом, что я не понимаю и не могу вместить даже в мечте не только деятельности, ничего решительно без России. Твое письмо, перенесшее меня в род всего прошедшего, наполнило меня полнейшим наслаждением, когда я, мысленно беседуя с тобой, передавал тебе, что во всем ходе жизни, кроме страстной любви к России, никогда, ни на одну минуту, не было ничего корыстного ни в действительной жизни, ни в надеждах. Всю жизнь я прожил трудом, и во всяком труде была одна путеводная звезда — служение России. Без России не умел я себе представить жизни.

“Pellegrino, io vidi citta diversi  
Ma nessuno a lasciato memoria  
Che parlasse al cor  
E d’oqni lusgo mi sembro piu bella  
La terra dove tornasse il mio pensier”\*

Лечь костями в моей России, лечь, принеся ей всего себя, вот одно мое счастье. Верь мне, Печерин, да ты поверишь, что в моей не блестящей деятельности все была Россия. Думаю ли я о рельсах и паровозах, кажется, я слышу в них на языке, понятном мне, и, кажется, даже вижу, как они претворяются в часть ее и с нею сливаются. Пропущу ли я что-нибудь без внимания, каждый камешек щебня, мною не обдуманый, вливается в грудь моей матери России. Я собственно не вхожу в техническую часть; но заботы о всем не дают мне покоя ни днем, ни ночью. Теперь меня занимает одно — построить дорогу до самого Ярославля, построить наивозможно дешево как можно лучше; и здесь ты мне поверишь, что самолюбие на самом заднем плане, — опять-таки я не техник и не строитель. Но эта дешевизна, соединенная с достоинством постройки, покажет и докажет возможность у нас дешевой постройки дорог; совестно уже будет строить так дорого, как строятся дороги. А дороги видимо осязательно разносят благоденствие по России и видимо облегчают бедных тружеников. У вас это так не видно; у вас уже забыты мучения бездорожья; у нас они еще поглощают бесследно труды бедного крестьянина.

Прости, я веду тебя по какой-то давно тобою забытой дороге. Я не хочу этим ни укорять, ни даже сколько-нибудь оскорбить тебя — тебя оторвала судьба от России; мне грустно, но ты мне дорог, и к счастью ты ни разу не оскорбил того Печерина, который живет во мне; ни разу не направил ты своих сил против моей России. Правда, я не понимаю служения души иначе, как служения Богу; а для моего земного

\* «Я, скиталец, видел разные города,  
Но ни один не оставил памяти,  
Которая говорила бы с моим сердцем.  
И где бы я не находился,  
Мне кажется самой красивой та земля,  
Куда бы могла вернуться моя мысль» — *ит.*

существования Он слит с моею Россиею, Он Сам сотворил во мне это слияние и Сам всегда являлся мне в этом слитом образе. Тебе судьба сулила иное.

“Lungi dal proprio ramo,  
Povera foglia frale,  
Dove vai tu? Dal faggio  
Là dov’ io nacqui, mi divise il vento.  
Esso, tornando, a volo  
Dal bosco alla campagna,  
Dalla valle mi porta alla montagna.  
Seco perpetuamente  
Vo pellegrina, e tutto l’altro ignoro.  
Vo dove ogni altro cosa  
Dove naturalmente  
Va la foglia di rosa,  
E la foglia d’alloro”\*.

А Леопарди<sup>151</sup> тоже много выстрадал.

Вот тебе, мой Печерин, длинное воспоминание молодости. Прошу тебя не прерывай больше наших сношений, я надеюсь тебя видеть. Быть может, когда ты заживешь самим собою, тогда Россия перестанет тебе быть воспоминанием, а сделается живым и сильным магнитом для твоей осиротелой души.

Хотел бы я видеть твою карточку. Не оставляй твоих записок, переживи в них с всею искренностью всю пеструю твою жизнь со всеми ее увлечениями. Это будет дорогой дар — немного приносилось жизни столько чистоты в самых увлечениях и столько полного бескорыстия. Обнимаю тебя, обнимаю моего Печерина.

Твой Ф. Чижов.

### № 30. В. С. Печерин — С. П. Печерину

Дублин  
1 октября 1865

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Поздравляю вас с восстановлением вашего здоровья. Да продлит Бог вашу жизнь еще на многия лета. Благодарю Бога, что он даровал вам таких добрых родственников, которые в ваших преклонных летах пекутся о вас с истинно детскою любовью. Теперь

---

\* Стихотворение «Подражание» (“Imitazione”, 1827) Джакомо Леопарди (см ком. № 151) является вольным переводом стихотворения «Листья» французского драматурга и поэта А. Арно:

«От дружной ветки отлученный,  
Скажи, листок уединенный,  
Куда летишь?.. «Не знаю сам;  
Гроза разбила дуб родимый;  
С тех пор по долам, по горам  
По воле случая носимый  
Стремлюсь, куда велит мне рок,  
Куда на свете все стремится,  
Куда и лист лавровый мчится  
И легкий розовый листок» (пер. В. А. Жуковского).

как вы, слава Богу, здоровы, позвольте мне позабавить рассказом о том, что у нас здесь делается. Без сомнения, журналы уже возвестили вам об открытии здесь заговора. Вот в чем дело. Несколько молодых, очень молодых людей из подмастерьев, лавочников, работников и т[ому] п[одобное] составили заговор — да и какой еще? — не больше не меньше как оторвать Ирландию от Англии, превратить ее в республику и присоединить к Соединенным Американским Штатам. Для исполнения этого плана они собирались по ночам при лунном свете в уединенных местах на полях и учились так по-нашему раз-два<sup>152</sup> и маршировать по-солдатски, разумеется, без всякого оружия и амуниции. Они говорят, что их здесь в Ирландии 200000, да ожидают 300 т[ысяч] из Америки, ну вот так и завладеем островом. Все это, разумеется, существует только в их воображении. Правительство дозволяло им забавляться несколько времени, но, наконец, всему же есть предел, даже и детским шалостям. Ну, вот теперь их арестовали. При этом оказалось, какая выгода для самого правительства иметь вольную печать и вольное слово. Ведь полиции вовсе не было никаких хлопот открыть этот заговор. Эти господа сами ясно высказали все свои планы частью в своем журнале, частью на общих сходках, где всякому было вольно войти и слушать. Единственный заговор в истории, где сами заговорщики заблаговременно объявляют, что они намерены сделать. Теперь как все открыто и следствие сделано, громкий смех раздается по сю и по ту сторону Атлантического океана, в Ирландии и в Америке<sup>153</sup>. Гора разрешилась от бремени и родилась мышь<sup>154</sup>. Американские журналы начинают подшучивать над английским правительством, что оно де подвинуло армию и флот против шайки безоружных мальчишек. Оно так; но я не вижу, как правительство могло действовать иначе. Нельзя же было оставить без внимания подобные шалости. Счастлива та страна, где заговоры оканчиваются общим смехом!

У нас все еще лето. Даже очень жарко. Чистое безоблачное небо и давно уже не было дождя. Город наполнен иностранцами, приехавшими видеть выставку. Есть прекрасные вещи, особенно из Италии — статуи и картины. Русское отделение очень бедно: просто несколько чемоданов от какой-то петербургской фирмы в Лондоне.

Надеюсь, что хорошая погода окончательно восстановит ваше здоровье. Прошу вашего благословения, дражайший папенька, и пребываю

ваш преданный сын  
В. Печерин.

Вы извините меня, дорогой племянник, что так без церемоний пишу к вам на том же листе. Я должен заявить вам и вашей дорогой супруге мою живейшую благодарность за ваши нежные попечения о моем престарелом родителе. Бог один может достойно вознаградить вас за ваше родственное усердие. Вы, мне кажется, смотрите с мрачной стороны на развитие русского народа. Если народ и невежествен и учиться не хочет, то что же тут делать? Нельзя же насильно его образовывать. Ведь петровская система никуда не годится<sup>155</sup>. Тут надобно иметь терпение. Хорошие доктора, когда видят, что сами не могут помочь больному, оставляют действовать природу. Как ни уродливы теперь кажутся наши земские собрания<sup>156</sup>, а ведь они-то и будут способствовать к развитию народа, приучая его к самоуправлению. Вот что говорит один из величайших умов Англии Стюарт Милль<sup>157</sup>. По его мнению, развитие массы народа зависит не столько от школьного образования, сколько от постоянного участия в общественных делах. Возьмите, напр[имер], афинян. Вероятно, большинство не умело читать, а какой же остроумный народ! Ведь надобно было быть Демосфеном<sup>158</sup>, чтоб



нравиться им. А от чего? оттого, что они ежедневно упражнялись в управлении республикою. Есть и современные примеры. Возьмите Германию. Ведь уж каких там школ нет! и каким премудростям там не учат! А поставьте немца из низшего или среднего сословия наряду с англичанином или американцем тех же сословий: он покажется ужасным неотёсою, он не сумеет двух слов сказать. От чего? оттого, что в Германии нет общественной жизни, а в Англии и Америке человек с детства привыкает говорить в публической и ежедневно обсуживать важнейшие общественные вопросы.

С истинным почтением к вам и вашей дорогой супруге остаюсь

ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### № 31. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
3 октября 1865

Любезнейший Александр Васильевич<sup>159</sup>!

Стихи мои<sup>160</sup> имели неожиданный успех: они доставили мне счастье получить письмо от вас<sup>161</sup>. Неужели вы думаете, что я когда-либо мог забыть вас? Это была бы черная неблагодарность. Я считаю вас в числе моих *спасителей*. Не будь вы, я, может быть, погряз бы в пошлости обыкновенной петербургской жизни. Вы протянули мне руку, вы призвали меня на ваши вечера, вы сохранили священный огонь в душе моей. Как же мне забыть эти вечерние беседы (по вторникам, кажется)<sup>162</sup> там где-то в глуши позади старого университета близ Семеновской площади<sup>163</sup>. Там-то развилась моя судьба. Говорите что хотите, а есть неизбежные судьбины, от которых человеку никак нельзя оборониться. Это зародыш, который еще образуется в чреве матери и развивается в жизни по непреложным законам. Я, мне кажется, прошел через все возможные состояния человеческой жизни, через все *эволюции* человеческого духа; я сделал практический курс истории философии и могу сказать, что я

«все испытал  
И ничему не покорился»<sup>164</sup>.

Осталась только непобедимая вера в ту невидимую силу, которая привела меня на Запад и ведет *путем незримым* к какой-то высокой цели, к какому-то концу, где все разрешится, все уяснится и все увенчается.

Я живу здесь в глубоком уединении. Я заведую больницею вместе с сестрами милосердия и имею случай изучать все возможные формы человеческих страданий и смерти. В досужные часы (которых у меня много) я почти исключительно занимаюсь восточными языками: санскритским, арабским и персидским. Это богатая руда для религии, философии и истории человечества.

Несмотря на лета сердце еще ужасно как молодо. Мне кажется, я готов на новую деятельность, на новую борьбу, если нужно. Я не изменил убеждениям моей юности.

Я очень хорошо помню вашу супругу, даже очень живо припоминаю ее черты. Очень благодарен за ее воспоминание.

Теперь вы видите, что я не потерял памяти сердца и что я по-прежнему вам искренно преданный

В. Печерин<sup>165</sup>.

№ 32. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

Дублин  
13 октября 1865

Любезнейший племянник!

Знаете ли, чего вы от меня требуете? Ни больше, ни меньше как прислать вам *несколько томов* моей биографии. Оно бы, кажется, не трудно бегло рассказать главные факты моей жизни; но как же описать постепенное, медленное, много-сложное развитие духа? Как размотать эти тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неумолимою логикою жизни? Ведь это почти то же, что написать целую историю философии. Для этого надобно время и терпение. В прошлом году я начал было писать свои записки; но после бросил. Может быть, снова за них примусь. Теперь же, чтобы удовлетворить вашему и ваших друзей желанию, я посылаю вам два из них отрывка — как *задаток*. Для остального надо время и терпение.

Первые воспоминания. 1812 год.

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок<sup>166</sup>. Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там, бывало, с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай, и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты — это был размен пленников. У нас была одна большая комната с огромными шкафами во всю длину стены: в одном из этих шкафов меня клали спать. Тут на турецком диване я сидел с указкою в руках: сам отец учил меня грамоте. Первую книгу мне дали в руки — «Сто четыре священные истории» Гибнера<sup>167</sup>. История смерти Спасителя сделала на меня чрезвычайное впечатление. Солнце померкло — земля потряслась — мертвые встали из гробов — завеса храма раздралась надвое<sup>168</sup>, это зрелище потрясло всю душу, какой-то священный трепет пробежал по всему телу, волосы стали дыбом. Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности, я не испытывал подобного ощущения. Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста<sup>169</sup>, было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на остальную жизнь! Впрочем, кроме «Священной истории» я читал все, что мне попадалось в руки. У отца моего была маленькая библиотека, состоявшая из драм Коцебу и романов г[оспо]жи Жанлис<sup>170</sup>. Здесь же в крепости Килии я в первый раз выступил на сцену. У нас зимовала небольшая Дунайская флотилия<sup>171</sup>. Флотские офицеры зимою завели реду<sup>172</sup> и театр. В одной пьесе Коцебу требовалась роль ребенка около моих лет. Мне предоставили эту роль. Я вышел на сцену, сказал выученные мною слова, получил два калача в руки и удалился за кулисы. Кроме отца, у меня был еще другой учитель — флотский офицер с деревянною ногою — достопочтенный и незабвенный Залеский: он учил меня писать и рисовать носы и глаза. В одно прекрасное утро раздался гром пушек со всех укреплений, так что у нас все стекла треснули. Это было известие об изгнании французов из России<sup>173</sup>.

1815. Одесса в казармах.

Полковой доктор Зоммер (разумеется, немец), заведовавший здоровьем моей матери, сказал ей однажды: «Этот ребенок будет или поэтом, или актером». Хорош пророк! Впрочем, он, может быть, и не совсем ошибся. Я действительно был поэтом — не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения я задумал и развил длинную поэму жизни и по всем правилам искусства сохранил в ней совершенное единство. Несмотря на разнообразные события, *одна идея* господствует над всем — это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызвала меня на Запад и теперь *ведет путем незримым* к какой-то высокой цели\*, где все разрешится, все уяснится и все увенчается. Я был также и актером. Я разыгрывал всевозможные роли. Я был подканцеляристом Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени<sup>174</sup> у Синего моста<sup>175</sup> и был посажен под арест за нерадение к службе — кутил с гвардейскими подпрапорщиками<sup>176</sup>, потом вдруг перебрался на 5-й этаж в Гороховой улице<sup>177</sup> и жил там бедным студентом, пустынным, был членом Профессорского института<sup>178</sup> и *почти* профессором Московского университета<sup>179</sup>, бродил бесприютным нищим по Франции, продавал ваксу на улицах Люттиха (Liège)<sup>180</sup> в Бельгии, был секретарем у английского капитана и за это получал пять франков<sup>181</sup> в неделю, наконец, я был республиканцем школы Ламенне<sup>182</sup>, коммунистом, сен-симонистом<sup>183</sup>, миссионером-проповедником, теперь, вероятно, я вступил в последнюю роль — она лучшая из всех и близшая к идеалу: я разделяю труды сестер милосердия и вместе с ними служу страждущему человечеству в больнице\*\*<sup>184</sup>.

Но что же было поводом доктору Зоммеру произнести такое обо мне пророчество? В Одессе меня повезли в театр. Там играли «Эдип в Афинах» Озерова<sup>185</sup>. Теперь еще помню начало:

«Постой, дочь нежная преступного отца!  
Опора слабая несчастного слепца!  
Печаль и бедствия всех сил меня лишили»<sup>186</sup>.

Надобно заметить, что мне *ничто даром не проходило*. Какая-нибудь книжонка, стихи, два-три подслушанные мною слова делали на меня живейшее впечатление и определяли иногда целые периоды моей жизни. Возвратившись домой, я набросил на плечи шаль моей матери и начал расхаживать по комнате как греческий царь. Высокие идеи театрального правосудия шевелились в голове моей. Мне хотелось быть правосудным царем — оправдывать невинных, разбивать оковы узников. У нас

\* В отрывке, отправленном Ф. В. Чижову в письме от 16 сентября 1865 года (№27), эта мысль была выражена несколько иначе — «...непобедимая вера в Того, Кто вызвал меня из моей родины на запад и ведет меня таинственным путем к какой-то высокой цели, Ему одному известной, к блаженному концу...»

\*\* В адресованном Ф. В. Чижову аналогичном отрывке (письмо от 16 сентября 1865 года № 27), В. С. Печерин эту же сентенцию передал другими словами — «...и — à la fin des fines (в конце концов — *фр.*) — монахом и миссионером в продолжение 20-ти лет. Теперь все это прошло и, может быть, могу сказать о себе, что я

«Все испытал

И ничему не покорился» (см. ком. №164).

Теперь, кажется, я начинаю разыгрывать последнюю роль, то есть самого себя. Пора».

была какая-то большая белая книга: я начал в ней писать свои мысли и иллюстрировать их. Я нарисовал царя в венце и багрянице, сидящего на престоле; перед ним проводят пленников: он их прощает и велит снять с них оковы. С тех пор я каждый день представлял или греческих царей, или чувствительную драму «Кора и Алонцо»<sup>187</sup>. Мне было 8 лет. С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становлюсь посредником между тиранами и их жертвами\*...

Тут же в Одессе умер наш полковой командир Андрей Карлович Мольтрах — горький пьяница. Какой-то полковой поэт написал ему следующую эпитафию:

Стой, прохожий! Стой!  
Вижу — у тебя штоф непустой;  
Сжался и мне немного отлей!  
Здесь лежит пьяный Андрей.

Было какое-то торжество в одесском соборе. Все офицеры в большом параде. Был тут и герцог Ришелье<sup>188</sup>. Отец подвел меня к нему и ДЮК\*\* (так его звали в Одессе) погладил меня по головке: вот я и получил благословение французского легитимиста!<sup>189</sup>

#### ПРОБУЖДЕНИЕ<sup>190</sup>

Что я слышу? — голос милый  
Песнь знакомую поет,  
И, как Лазарь из могилы,  
Тень минувшего встает.  
Прояснися, прояснися,  
Ранний сумрак вешних дней!  
Сквозь туманы улыбнися,  
Солнце юности моей!  
После долгих треволнений  
Вижу снова брег родной,  
И толпа святых видений  
Вновь мелькает предо мной.  
Чудная звезда светила  
Мне сквозь утренний туман.  
Смело я поднял ветрило  
И пустился в океан.  
Солнце к западу склонялось,  
Вслед за солнцем я летел:

\* В отрывке, предназначенном Ф. В. Чижевскому (письмо №27), после этих слов следовало продолжение — «По благому русскому обычаю отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как их драли в конюшне. Мать подсылала меня к отцу ходатайствовать за Васюку или Яшку. Я плакал, целовал руки отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы.

С тех пор много воды утекло, но *единство* духа сохранилось. Я тебе сказал, что мне невозможно остановиться, надобно идти вперед. В последние три года я исключительно занимался изучением санскритского, арабского, персидского и других языков. Я пустился в широкое море восточной литературы. Может быть, ты спросишь: да к чему все это? А кто знает? Во всяком случае, не посрамям земли Русския» (см. ком. № 149 и 150).

\*\* Дюк — от *фр. duc* — герцог.

Там надежд моих, казалось,  
Был таинственный предел.  
Запад, запад величавый!  
Запад золотом горит!  
Там венки вьются славы!  
Доблесть, правда там блеснит!  
Мрак и свет, как исполины,  
Там ведут кровавый бой:  
Дремлют и *твои* судьбины  
В лоне битвы роковой!  
В броне веры, воин смелый,  
Алмазным\* щитом  
Отобьешь ты вражьи стрелы,  
Слова поразишь мечом!  
Вот блеснит хоругвь свободы!  
И цари бегут, бегут;  
И при звуке труб народы  
Песнь победную поют.  
Разорвался плен суровый!  
Кончилась навек война!  
Узами любви Христовой  
Сочетались племена.  
Гряньте звонкими струнами!  
Где ты, гордый фараон?  
Моря Черного волнами  
Конь и всадник поглощен!  
Ныне правда водворится  
В нашей Скинии<sup>191</sup> святой!  
Вечным браком съединится  
Небо с юною землей!  
Духов тьмы исчезнет сила.  
И взойдет на небеса  
Трисиянное светило —  
Доблесть, истина, краса!

Август  
1864

В этих стихах целая программа: все мечты и планы, с которыми я оставлял Россию.

С МОНТЕ-ПИНЧИО<sup>192</sup>  
(1834)

Там, над куполом святым,  
Звездочка любви всходила  
И на свой любезный Рим  
Взором матери светила.  
Но подчас она бледнела  
И, как факел меж гробов,

---

\* Алмаз — греч.

Тусклым пламенем горела  
Над могилами сынов.  
И сокрылося, как сон,  
Рима дивное виденье,  
И ты снова погружен  
В жизни мутное волнение!  
И к Неаполя брегам  
Ты летишь с печальной думой:  
Там, гуляя по гробам,  
Прояснишь ли взор угрюмый?  
Нет! напрасно ты бежал  
От души глухого стога  
Под навес швейцарских скал  
И под купол Пантеона!<sup>193</sup>  
Все прекрасное пройдет!  
Ветерок струит ветрило,  
И к Германии унылой  
Быстрый челн тебя несет.

Это было напечатано, кажется, в 35 или 36 году в «Московском наблюдателе» в статье: «Отрывки из путешествий доктора Фуссгангера»<sup>194</sup>.

**ЖЕЛАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРА**  
(Из Шиллера)<sup>195</sup>

Ах! из сей долины тесной,  
Хладною покрытой мглой,  
Где найду исход чудесный?  
Сладкий где найду покой?  
Вижу: холмы отдаленны  
Зеленью цветут молодой...  
Дайте крылья! к вожденной  
Полечу стране родной!  
Вижу, там златые рдеют  
Меж густых ветвей плоды;  
Зимни бури там не веют  
И не вянут век цветы.  
Слышу звуки райской лиры,  
Чистых пение духов,  
И разносят вкруг зефиры  
Благовония цветов.  
Вот челнок колышет волны,  
Но гребца не вижу в нем!  
Прочь боязнь! надежды полный  
В путь лети! уж ветерком  
Паруса надулись белы...  
Веруй и отважен будь!  
В те чудесные пределы  
Чудный лишь приводит путь.

№ 33. А. В. Никитенко — В. С. Печерину

Петербург  
14 (26) октября 1865

После более четверти столетия я встречаюсь с вами лицом к лицу в заочной беседе, бесценный Владимир Сергеевич. Я праздную в моем сердце это святое возрождение нашей дружбы, и этот праздник делается для меня торжественнее от утешительной и высокой мысли, что *истинное* в человеческом чувстве может не поддаваться ни времени, ни превратностям жизни. Вы выдержали тяжелые испытания судьбы, да и я как американский кацик<sup>196</sup>, брошенный испанцами на корабль, отвечая своему собрату на его жалобы, могу сказать: «смотри, и я не на розах возлежу»<sup>197</sup>. Мы оба попали в страшный водоворот века, где все удручающие человечество вопросы разом вырвались из своих тайников, как бури из пещеры Эоловой<sup>198</sup>, и бешено, неукротимо требуют себе решений, как будто они могут быть решены вдруг и как будто многие из них могут быть когда-нибудь решены на земле. Все, что окружает человека и что пребывает в нем самом, все превращено в тревоги и недоумения, как будто человек никогда не мыслил, не веровал, ничему не учил и не научился, не строил общество, как будто он должен переделаться в какое-то совершенно другое существо, выворотить себя наизнанку или поставить себе нос там, где у него затылок, и глаза передвинуть на бороду. И, однако, человек — муж, существо мысли и воли, должен остаться неприкосновенно тем, чем судило ему быть Провидение — подвижником истины, добра и красоты. Там ли, где вы установили свою точку опоры, или там, где нахожу ее я, в великом царстве духа она существует, и дух приосеняет и соединяет равно тех, которые ищут его над этим хаосом страстей и всяческих превратностей. Вот что сближает нас и соединяет друг с другом, незабвенный Владимир Сергеевич, несмотря на всякие расстояния. Думая о вас, я всегда веровал в это соединение, а теперь осязаю его моим сердцем. Скрепленное лучшими силами и верованиями юности, оно и не прекращалось и только уединялось от невозможности проявиться. Но жизнь богата средствами; так или иначе, рано или поздно она выразится реально. Мы можем писать друг другу. Получать от вас вести, подобные тем, которыми меня обрадовали вы несколько дней тому назад, будет для меня отраднейшим событием в жизни. Как хотелось бы мне знать все, что касается вас! Не знаю, придется ли мне еще раз побывать за границу, а если это случится, мы увидимся, непременно увидимся. В предвестие этого посылаю вам мою *парсону*, как говорится в наших старых хрониках, т[о] е[сть] фотографическую карточку, которая, как говорят мои знакомые, есть точная с меня копия. Взамен этого прошу вашей. Умоляю вас не отказать мне в моей просьбе, которая не должна показаться вам сентиментальною, если вы верите, что я вас люблю, как любил прежде, как любил всегда.

Жена моя благодарит вас душевно за память о ней, а мои две девочки или, лучше сказать, девицы<sup>199</sup>, из которых одна вся погружена в литературы английскую и итальянскую, спрашивают у меня: Папа! кто это Печерин, о котором ты так часто и так гордо говоришь? Видите ли, любезнейший друг, есть на свете целая семья, в которой вы не чужой. Жена моя просит и для себя вашей карточки. Но уж это как вы там знаете. Прощайте! обнимаю вас всем моим сердцем и всею мыслию.

Ваш А. Никитенко.

№ 34. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
21 октября 1865

Любезнейший Чижов.

Вот тебе и карточка. Ее-то я ожидал и потому не писал скорее. Но вспомни русскую поговорку: долг платежом красен. Я твоей карточки буду ожидать.

Мне непременно надобно рассказать тебе события последних годов для того, чтобы объяснить мое настоящее положение. Я оставил конгрегацию редемптористов<sup>200</sup> четыре года тому назад (1861), почему и как — это долго было бы объяснять<sup>201</sup>. Довольно сказать, что эта конгрегация перешла в руки австрийцев, которые все переменили по-своему: и букву, и дух прежнего устава. Вначале 1859, незадолго до итальянской войны<sup>202</sup>, меня позвали в Рим. Для чего? — для того, чтобы говорить проповедь для русских и на русском языке в день Богоявления<sup>203</sup>. Я решительно отказался. Я никак не мог принять на себя такой глупой роли. Ты не можешь вообразить себе, до какой степени простирается ослепление или просто глупость русских католиков. Княгиня Витгенштейн сказала мне: “Il faut leur, faire un sermon de manière a les écraser d’un seul coup”\*. Какое безумие! Проповедовать русским необходимость подчиняться папе — и где же? В Риме! ввиду французских штыков<sup>204</sup>!! Это из рук вон; тут нет ни капли здравого смысла. Мой отказ произвел неприятное впечатление в высших сферах. При этом случае я узнал, что в монастыре шпионство процветает точь-в-точь как у нас в старые годы. Каждый шаг, каждое слово были замечены и донесены начальству. Три месяца я прожил в Риме. Трудно было бы описать, что я вытерпел в это время. С пламенным сочувствием к итальянскому делу<sup>205</sup> я должен был жить в обществе закоренелых австрийцев. Тут мне пришла на мысль жалкая доля славянских племен: везде и всегда они под гнетом немцев. Я чувствовал себя славянином и ненавидел австрийцев. Мне почти грозили отлучением от церкви за две ужасные ереси: 1-я — республиканские стремления, 2-я — отсутствие всякого сочувствия к светской власти папы (le rouvoir temporel). Еще бы сочувствовать этой власти, побывав в Риме! Я решил во что бы то ни стало отделаться от этого несчастного вопроса. Чтобы избежать его, я решил похоронить себя заживо. Вот я и отправился в пресловутую Картузианскую пустыню<sup>206</sup> — la grande Chartreuse près Grenoble. Тут меня ждало совершенное разочарование. Эти почтенные пустынники — просто богатые фабриканты. Они нашли какой-то секрет составлять из горных трав отличный ликер, который теперь в большой моде во всех французских cafes под именем la chartreuse. Эта промышленность доставляет им миллион фр[анков] чистого дохода. При всем этом они с большим умилением говорят: Nous pauvres chartreux! \*\* — точь-в-точь как в Тартюфе Мольера Оргон<sup>207</sup> восклицает pauvre homme! \*\*\*. Так как я никогда не имел большой склонности делаться миллионером, то я тотчас же решил возвратиться в Ирландию. На обратном пути в Париже иду однажды где-то в quartier latin \*\*\*\*<sup>208</sup> в шляпе с широкими по-

\* Нужно дать им отповедь таким образом, чтобы сразу же сокрушить их — фр.

\*\* Мы — бедные картезианцы — фр.

\*\*\* Бедный человек — фр.

\*\*\*\* Латинский квартал — фр.



лями и с каким-то странным посохом; мне попадается навстречу молодой человек, вероятно, студент и, глядя на меня, говорит *voilà le juif errant*\*. Ведь это ужасно как метко! Злодей! Он, должно быть, имел откровение свыше! *juif errant*<sup>209</sup>! Это сущая правда. В Ирландии я отправился к моим старым друзьям — траппистам<sup>210</sup> Mount Milleraies. Тут я нашел свой идеал. Все, что мы читаем о первобытных временах христианства, о святых отшельниках Фиваиды<sup>211</sup>, все это там находится действительно и буквально. Они разделяют время между псалмопением и работой на полях. Своими трудами они превратили каменистую бесплодную гору в цветущий сад. У них совершенное равенство и братство. Все делается по большинству голосов. Настоятель не может ни шагу ступить без согласия братии. Он каждый день в капитуле отдает отчет об управлении обители. Это первобытный идеал христианской республики. Мне казалось, здесь я найду совершенное счастье. Все шло отлично, пока оно имело прелесть новости; в физическом отношении эта жизнь мне была по силам: я вставал вместе с ними в час пополуночи; после псалмопения мы шли копать землю — все прекрасно, но через три месяца я понял однажды навсегда, что мне невозможно жить без умственной деятельности. У траппистов она на точке замерзания. Это просто жизнь рабочего человека, которому некогда мыслить. Но тут действовало на меня и другое влияние. Одна любезная петербургская дама вышла замуж за ирландского gentleman. Они живут недалеко от монастыря. Прежде, нежели я заперся в пустыне, я гостил у них несколько дней. M[ada]me Foley рассказала мне многое о России, показывала мне русские книги, иллюстрированные журналы, русские изделия и пела мне русские песни. В первый раз тогда (1861) я услышал, как быстро Россия подвинулась вперед. Вот эти-то мысли смущали меня среди вечного молчания траппистов. «Теперь начинается возрождение России; поднимается заря великого дня; а тебе его не видать, и даже слух о нем не проникнет сквозь эти стены». Не без сожаления оставил я моих добрых траппистов — единственный орден, который сохранил свое первобытное значение. Благое провидение так распорядилось, что лишь только я приехал сюда, мне тотчас предложили место, наиболее соответствующее моим желаниям и ближайшее к моему идеалу, т[о] е[сть] заведовать двумя больницами вместе с сестрами милосердия. Теперь я живу в совершенном уединении и совершенной независимости. Все мое время строго распределено между делами христианской любви в больнице и умственными занятиями дома. Мыслить и любить — вот главная задача жизни! *Régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs* (G. Sand<sup>212</sup>)\*\* — вот высшая цель честолюбия! а совершенное блаженство, как говорит Данте<sup>213</sup>, состоит в

“Luce intellettuale, piena d' amore,  
Amor di vero ben pien di letizia”.  
(Parad.)\*\*\*

\* Вот — Вечный Жид — *фр.*

\*\* «Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами» (Ж. Санд) — *фр.* В. С. Печерин приводит фразу из романа Ж. Санд «Спиридион». В подлиннике она звучит так: “*Régner par l'intelligence sur les esprits, par le coeur sur les coeurs, vivre en un mot comme Platon ou Spinosà*”.

\*\*\* «Умопостижимый свет, где все — любовь,  
Любовь к добру, дарящая отраду...» — *ит.*

Данте. Божественная комедия. Рай. XXX, 40–41 (пер. М. Лозинского).

Мне чрезвычайно нравится твоя деятельность. Железные дороги — существенная потребность России. Это артерии для ее кровообращения. Пора России перестать младенчествовать и обезьянничать Францией или Англией. Ей должно идти самостоятельным путем практического материального развития. Наша тесная дружба с Северной Америкой есть одно из знамений времени. Может быть, не в очень далеком будущем свет увидит две исполинские демократии — Россию на Востоке, Америку на Западе: перед ними смолкнет земля.

Со смертью Пальмерстона<sup>214</sup> открывается новая страница в истории Англии — разумеется, более в демократическом направлении. Я благословляю тот день и час (1-е янв[аря] 1845), когда я вышел на английский берег. Двадцатилетним опытом я узнал, что нет на земле страны, где более господствует правосудие, истина и христианская любовь в частной и общественной жизни, как в Англии.

Твой В. Печерин.

### **№ 35. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину**

Одесса  
30 октября 1865

Очень благодарен Вам, дорогой дядя Владимир Сергеевич, за присылку Вами задатка, который сам по себе так уже ценен, что вполне ручается за выполнение Вашего драгоценного обязательства. Стихотворение Ваше, напечатанное в 29 № «Дня», произвело на всех читавших его у нас столь сильное впечатление, что как только я заявил близким моим знакомым, что имею дополнительные от Вас сведения и стихотворения, то дня чрез три должен был носить Ваше письмо постоянно при себе, чтобы удовлетворить желанию всех обращавшихся ко мне за прочтением этого письма. Вчера я отправил статью Ивану Сергеевичу Аксакову в Москву, редактору «Дня». Впрочем, я скоро сам буду видеться с ним, потому что полагаю поехать в Петербург около 15 ноября чрез Москву. Не знаю, выслал ли Вам Аксаков 29 номера «Дня». Я ему писал об этом вчера. В Петербург я еду один; семейство мое остается в Одессе. Я не знаю даже, как долго я там пробуду, так как нужно осмотреться, что у нас делается и чего можно ждать? Во всяком случае, по приезде в Петербург я буду Вам писать немедленно. До Петербурга я тоже располагаю ехать долго. Хочу погостить у сестры жены в Екатеринославской губернии, потом в Харькове разузнать историю, наделавшую страшного шума. Вам известна постоянная фабрикация наших кредитных билетов в Англии и Франции<sup>215</sup>; но у нас вышла лучшая штука. Родовое русское дворянство принялось за подделку государственных серий в громадных размерах. И притом не то дворянство, которое давно уже было разорено, а с освобождением крестьян осталось нищим, а Солнцевы, Бахметьевы<sup>216</sup> и т[ому] под[обные]. Например, Бахметьев, владелиц 22000 десятин земли в лучшем Бахмутском уезде, человек одинокий, получающий до 50000 годового дохода. Господин, едущий даже в тюрьму шестериком<sup>217</sup> и в перчатках и с папироскою, объясняющий высокое свое призвание, выполненное им не из корыстных видов, так как он не может прожить и своих доходов, а из чистой любви к отечеству. Действительно, Никифор прав, что эти дворяне от жиру бесятся. Вообще кредит наш находится в ужасном положении. С одной стороны, наши бумажки пали, значит, их много более чем нужно для внутреннего потребления и потому они должны быть дешевы, а между тем их вовсе нет; затрудне-

ния в текущих платежах дошли до *plus ultra*<sup>\*</sup>, заграничный курс неслышанно низкий, так что, напр[имер], дорога из Одессы чрез Вену и Варшаву в Петербург 145 р[ублей], а между тем, платя бумажками, нужно заплатить 217 р[ублей]. Золота же и серебра и в помине нет. С другой стороны, постоянная подделка кредитных билетов и государственных бумаг как в России, так и за границею, дошедшая до громадных размеров в харьковском обществе, имеющая разветвления до того широкие, что главные виновники не знают своих сообщников, сделало то, что государственных кредитных билетов 1861 г[ода] и серий вообще нельзя реализовать никакими судьбами.

Но я слишком отвлекся грустною минутою. Подражание Франции нам не принесет никакой пользы. Больше, нежели прав Милль и Маколей<sup>218</sup>, сказавший, что свободе можно только научиться на свободе; но наша свобода разъяснена положительно в этом году. Общественным управлениям из трех функций деятельности: где, как и когда, предоставляется только вторая; а первая и третья зависят от указаний администрации<sup>219</sup>.

В письме от 8 января 1857 года Вы писали покойной матушке Вашей, что процесс Ваш кончился год тому назад весьма благополучно, присяжные оправдали, народ проводил Вас до жилища, и что отчет об этом деле напечатан в особенной книге на английском языке<sup>220</sup>, и что Вы бы его выслали, если бы кто мог его прочесть. Об этом процессе постоянно спрашивают меня, но мне удалось узнать только со слов Федора Федоровича самые отрывочные сведения; а как я читаю по-английски довольно свободно, то очень, очень обязан был бы Вам за высылку этого отчета, и если у Вас нет, то, по крайней мере, за указание его заглавия и места, откуда можно его выписать. Вообще английские газеты довольно распространены теперь у нас между читающими людьми по весьма простой причине, что наука и простота изложения нигде не доведены до такого развития, как у англичан. Есть у нас и переводы с английского, но можете представить, что с ними делает цензура. Например, ко второму тому «Истории» Бокля<sup>221</sup> везде архимандрит Макарий в выписках прибавил проклятия так думающим<sup>222</sup>. Я имею Маколя, Милля и Бокля в подлиннике и только на днях ознакомился с попечительными прибавками о[тца] Макария.

Я распорядился, чтобы и без меня письма Ваши тщательно собирались, а те, которые будут ко мне, высылались бы ко мне туда.

С истинным почтением остаюсь Ваш искренно преданный племянник

С. Поярков.

### № 36. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street

Dublin

5 ноября 1865

Как же мне не благодарить Бога, любезнейший Александр Васильевич? После четверти столетия я снова нахожу старых друзей. Промежуток исчез, и далекое прошедшее соединилось с настоящим. Я заплатил долг благодарности, называя вас моим спасителем. Но у меня была также и спасительница — кто ж она такая?

---

\* Последней степени, предела, крайности — *лат.*

Незабвенная и несчастная баронесса Розенкампф<sup>223</sup>. Она решительное на меня имела влияние. Она окончила мое воспитание. Хоть этот венок брошу на ее могилу! Вот, видите ли, как это странно! порядочные люди думают, что воспитание зависит просто от учителя или от профессора, говорящего с кафедры, или от толстых книг, в которых мы учимся, а на деле-то выходит иначе. Наше воспитание делается тихомолком, неофициально в каком-нибудь закоулке в тайной беседе с друзьями или в гостиной в обществе умной женщины.

Кстати, о влиянии женщины. Одна любезная петербургская девушка вышла замуж за ирландского джентльмена здесь в Ватерфордском графстве (County Waterford)<sup>224</sup>. Они познакомились самым романтическим образом в Неаполе в Hôtel de Russie. Я гостил у них несколько дней в 1861. Тут в первый раз я узнал, как быстро Россия двинулась вперед после 1855 г[ода]. М[is]s Foley многое мне рассказала о Петербурге, показывала мне русские иллюстрированные журналы, разные русские изделия и пела мне русские песни. Тут я встретил старых и очень старых знакомых, напр[имер], «Вот мчится тройка удалая» и «Трава шелковая» и даже «Талисман»<sup>225</sup>. Эти русские звуки раздавались в уединенном ирландском коттедже между дикими горами недалеко от монастыря трапистов, в котором я провел три месяца в земледельческих упражнениях и где я видел собственными глазами в настоящей действительности совершенный идеал первобытной христианской республики. Может быть, я бы и навсегда остался бы у этих добрых трапистов, если бы не песни г[оспо]жи Foley! Мне ужасно как хотелось узнать, что делается с Россиею!

Мне очень приятно слышать, что ваша дочь занимается английскою литературою. Дай Бог, чтоб эта литература более распространилась в России. Ее влияние было бы очень благотельно и могло бы противодействовать не всегда хорошему влиянию французской сирены. Я благословляю тот день и час, когда я в первый раз вышел на английский берег (1-го янв[аря] 1845). Двадцатилетним опытом я узнал, что нет на земном шаре страны, где правосудие, истина и христианская любовь господствуют в такой степени, как в Англии. Я просто благоговею перед английскою конституциею. Под этим я разумею не ту конституцию, которая напечатана в Блэкстоне<sup>226</sup>, но тот живой закон, который столетия начертали на сердцах великодушного английского народа. Вот этой-то конституции никак нельзя переложить на русские нравы. Никакое подражание невозможно. Каждый народ должен развиваться изнутри, из самого себя, а петровские ухватки никуда не годятся<sup>227</sup>. Вот уж если вам вздумается снова съездить за границу, то надобно побывать в Англии. Правду сказать, трудно узнать Англию *проездом*. Чтобы оценить англичан, надобно проникнуть в их внутреннюю жизнь, надобно видеть их семейный быт, надобно следить за их судопроизводством. Добродетели семейной жизни и правосудие в судах — вот незыблемые основы, на которых покоится великолепное здание этой аристократической республики. Я нарочно употребил это выражение, потому что королева здесь ничего не значит, это просто титул (как титулярный советник<sup>228</sup>), и двор не имеет ни малейшего влияния на общественную жизнь. О здешнем дворе мы также мало заботимся, как и о дворе китайского императора.

Теперь наместником в Ирландии лорд Вудгоуз<sup>229</sup>, тот самый, что был посланником в Петербурге в 1856. Он, кажется, немножко знает по-русски. По крайней мере, он не пропускает случая похвастаться этим знанием.

Виктор Гюго<sup>230</sup> (старый знакомый) выпустил новый том стихотворений “*Chansons des bois*”\*. Я наотрез вам скажу, что они *нестерпимо* дурны. Поэт совершенно исписался. Он просто нанизывает звонкие рифмы без всякого уважения к здравому смыслу. Может быть, этот приговор покажется вам слишком *высокомерным*. Но так как я изучал Шекспира<sup>231</sup> и Данте и довольно знаком с лучшими произведениями современной литературы, то мне кажется, что вопреки г[осподи] ну Молчалину

«мне можно сметь  
Свое суждение иметь»<sup>232</sup>.

Благодарю вас за вашу карточку. Она напомнила мне главные черты прошедшего. Посылаю вам две карточки — одну для вас, другую для вашей супруги. Есть русская поговорка — ведь надо же и честь знать. Если б не эта поговорка, то я, может быть, осмелился бы даже просить карточки вашей супруги. Но ведь надо же и честь знать! И с этой честью остаюсь

ваш преданный  
В. Печерин<sup>233</sup>.

Я слышал, что вы членом Императорской Росс[ийской] Академии<sup>234</sup>. Я не нахожу нужным вас с этим поздравлять. Это место давно вам принадлежало по вашим талантам и трудам.

### № 37. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
22 декаб[ря] 1865

Милый мой Печерин, долго я не отвечал тебе единственно потому, что непременно хотел послать свою карточку, а ее у меня не было, да и не люблю я их делать. Отнял у одного приятеля и посылаю. Поймешь ли ты не умом, а сердцем и душою, что мне сделалась необходимою потребностью внутренне жить с тобою, и всякое твое письмо до того усиливает эту потребность, что часто все свободные минуты я переживаю с тобою, во мне живущем. Как ты, я люблю внутреннюю тишину. И между тем живу в совершенном омуте почти безупокойной внешней деятельности. Я не спрашиваю себя, что я делаю? как я делаю? вызванный на дело, потому считаю себя вызванным и призванным, что отдаюсь делу без всякой сделки, не ищу ни богатства, ни значения, и, слава Богу, не имею ни того, ни другого. Вызванный на дело, я просто работаю, и, кажется, более вижу в нем опьянение, забвение жизни, нежели самую жизнь. Ты прав, мой милый, мой славный Печерин: Россия ожила, все зашевелилось. Но долгий гнет не проходит бесследно. Веришь ли ты, что лучшие деятели из нашего поколения и, вероятно, будут из подрастающего, еще не вступающего на деятельное поприще. Прошедшее вяло, гнило, подло и до того ко всему равнодушно, что даже не сыщешь между ними и подлого подлеца, а все добрые подлцы и подлые добряки. Прости мне, мой Печерин, переполнилось сердце отвращением от скудоумия, но еще

\* «Песни лесов» — фр. Полное название сборника — “*Les Chansons des rues et des bois*” («Песни улиц и лесов»).

больше от вялости и бессилия. Бывало, искали чинов, крестов и всех пошлостей; теперь тоже, но открыто не смеют уже ни произнести, ни показать, что они дают всей этой пошлости цену. Любви, простой любви, хотя бы только к объятиям, и того не встретишь, и то вяло и безжизненно.

Ты поймешь, как при таком моем взгляде на моих соотчичей часто я ругаю тебя; но при всей самой резкой брани никогда не посягаю на твою полную свободу. Невольно ругаю за то, что ты отнял себя у моей родной матери России. Как чудно хороша она, Печерин! Народ ее — истинные сыны Божии! Что мне за дело, что они искажены историею, — пути Провидения неисследимы<sup>235</sup>; ему пришлось все получать путем страдания. Ты указываешь мне на демократию Америки. Мой милый Печерин! там демократы, т[о] е[сть] отрицательный полюс, предполагающий другой — аристократию; здесь, т[о] е[сть] в народе, — люди, просто люди, то великое создание Божие, которое на земле было видимо в одном Спасителе мира. Тебе, может быть, одному и еще сильно любимой женщине могу я сказать все это — почему? Потому что беспредельная любовь требует своего рода целомудрия; она не пойдет с наглостью шляться пред всяким, дабы не осквернил он ее нечистым помыслом. Не гордость тут, Печерин, хотя бывали и пошлые минуты гордости, тут сознание и душевная грусть, что не достоин быть одним из такого народа, что как блудный сын<sup>236</sup> промотал все великое достояние, промотал за побрякушки тщеславного знания, за подлое раболепие пред блеском Запада. Мой милый, мой дорогой Печерин, скажи, положи руку на твое всегда честное, всегда чистое сердце, могу ли иногда не ругать тебя при таких моих заповедных убеждениях. А все-таки не думай, чтобы даже и в мысли я посягнул на твою полную свободу. Я все отдал за мою внутреннюю независимость; мне ли отнимать ее у кого бы то ни было?

### **№ 38. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
16 февраля 1866

Как твои черты не изменились! За исключением бороды, ведь это точь-в-точь тот самый Чижов, которого я видел 22 года тому назад (1844), когда ты навестил меня в Виттеме<sup>237</sup>. Теперь твоя карточка в золотой рамочке стоит на моем камине, и я каждый день на нее гляжу. Ведь здесь камин с вечно пылающим огнем — единственная утеха зимою. Вот так сижу и гляжу на странные революции огня и думаю о не менее странных переворотах жизни и иногда повторяю пророческие слова, написанные тридцать лет тому назад:

«Гори, гори, мой факел томный!  
Но вспыхни пред концом живей!  
И на мой жребий грустный, тёмный  
Сиянье тихое пролей!  
Вся жизнь моя — одно желанье,  
Несбывшийся надежды сон,  
Или художника мечтанье,  
Набросанное на картон»<sup>238</sup>.

Как хорошо я угадал!

Я чрезвычайно уважаю твой патриотизм; но признаюсь, никак не могу следовать за тобою в твоём *идолопоклонстве* русскому народу. Тут очевидно влияние московских идей<sup>239</sup>. Ах! господа москвичи, не во гневе вам будь сказано, ведь вы просто *иудействуете*<sup>240</sup>. Вы хотите сделать из России какую-то исключительную Палестину, какие-то святые места<sup>241</sup>, к которым должно ходить на поклонение. Вы, разумеется, избранный народ, собор святых, а все прочие народы — богомерзкие языки. Как жалко, господа, что вы родились после Римской империи и после Рождества Христова! Римляне весь род человеческий слили в одну империю, а Христос из него сделал одно семейство и всем нам велел называться братьями; св[ятой] Павел во всеуслышание провозгласил, что древняя стена разделения рухнула и что нет уже различий между иудеем, греком и варваром<sup>242</sup>; а вы так и хотите восстановить эту древнюю стену. Нет! нет! господа, не удастся вам! Вы опоздали, слишком опоздали, девятнадцать веками опоздали! Хотите ли, не хотите ли, а Россия пойдет своим путем, т[о] е[сть] путем всемирного человеческого развития.

Вы говорите, что здесь на Западе все мишура, а у вас одних чистое золото. Да где же оно? Скажите, пожалуйста! В высшей ли администрации? В неподкупности ли судей? В добродетелях семейной жизни? В трезвости и грамотности народа? В науке? В искусстве? В промышленности? Где же? Скажите ради Бога! А! понимаю: это золото кроется где-то в темных рудниках допетровской России. С Богом! господа: разрабатывайте эту руду, а мы покамест за неимением лучшего удовольствуемся и мишурую. И при всем вашем патриотизме вы все ж таки обезьянничаете. Вы прикидываетесь какими-то английскими консерваторами, вы хотите из ничего создать аристократию, тогда как пора ее давно прошла в остальной Европе, точь-в-точь как провинциалы надевают парижские моды, когда в самом Париже давно об них и помину нет. Вы хотите, чтобы дворянских детей учили писать греческие стихи, как это делают в Итонской школе<sup>243</sup> — ха! ха! ха! и тут вы опоздали — пятью или шестью веками опоздали! Нет! господа, мы за вами не попятимся в средние века. Нет! нет! Я вечно останусь пантеистом<sup>244</sup>! Мне надобно жить всемирною жизнью, мне надобно каждую минуту слышать, как бьется пульс человечества в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, в Австралии. От Шпицбергена до мыса Доброй Надежды, от Дублина до Калифорнии<sup>245</sup>, вдоль и поперек земного шара я всех людей обнимаю как братьев, но ни за каким народом не признаю исключительного права называть себя сыновьями Божьими. Заключение себя в каком-нибудь уголку белокаменной и проводить жизнь в восторженном созерцании каких-то доселе еще неоткрытых тайных прелестей древней Руси — это вовсе не по мне! Я скажу с Шиллером: «Столетие еще не созрело для моего идеала: я живу согражданином будущих племен»<sup>246</sup>. Все это написано без малейшего намерения тебя оскорбить, а так просто, чтобы бросить искру жизни в письмо: без борьбы нет жизни!

Но что мне нравится, это радушный прием, сделанный московским купечеством американскому посланнику. Это прекрасно! От всей души разделяю ваше сочувствие к великой американской республике. К сожалению, я не имел случая читать произнесенных при этом случае речей: английские журналисты только намекнули об них. И твоя речь (Tchijoff) заменена в «Saturday Review». Критик не согласен с тобою касательно запретительного тарифа; но в этом вы лучше знаете, что полезно для России и что нет<sup>247</sup>. Все старые друзья оторвались. Никитенко писал ко мне. Жив ли академик Грефе<sup>248</sup>?

**№ 39. В. С. Печерин — С. П. Печерину**

Дублин  
23 (11) февраля 1866

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Давно уже собирался писать к вам и поздравить вас с новым годом. Да в холодное время как-то не пишется. Надеюсь, что с новым годом и с Божиею помощью здоровье ваше восстановится. Не знаю, какова у вас была зима, а здесь вовсе не было ни снегу, ни морозов, а теперь уже совершенная весна. У нас все спокойно. Правительство принуждено было принять строгие меры. Около сорока человек было арестовано. Их судили с всевозможным беспристрастием и снисхождением, и судьи показали даже ангельское терпение. Но доказательство их участия в заговоре было ясно как солнце. Они осуждены приговором присяжных кто на 20, кто на 10 лет тюремного заключения и тяжелой работы<sup>249</sup>. Все это произошло вследствие последней американской войны<sup>250</sup>. Пропавшие ирландцы служили там в армии, и вот теперь, как им нечего делать, то они и вообразили себе, что с несколькими револьверами и пулями они в состоянии будут завоевать Англию. Вообразите себе: два-три мальчика 18 или 20 лет сидят в кухне и льют свинцовые пули на сковороду: вот амуниция для войны с Англиею! Полиция застает их за работою и спокойно берет их. На днях арестовали вдруг более ста человек, но ведь ни один не оказал ни малейшего сопротивления. К несчастью надобно признать, что Ирландия точь-в-точь как Польша: она никогда не будет спокойна. Положим, что правительство сделало бы все возможные уступки, все же оно никак бы их не удовлетворило. Ирландцы требуют совершенной независимости, а дайте им эту независимость сегодня, то завтра же заварится такая каша, что надобно будет опять призвать ту же Англию для восстановления порядка. Многолетним опытом я узнал, что ирландцы вовсе неспособны к самоуправлению. Они никак не могут ни в чем согласиться между собою, вечные споры! Все, что есть хорошего в Ирландии, они этим обязаны Англии: от Англии они получили образованность, промышленность и торговлю. Без английского закона, английской науки и английских капиталов Ирландия сделалась бы дикою пустынею.

Все мои старые университетские товарищи из Петербурга и Москвы писали ко мне<sup>251</sup>. Меня это чрезвычайно обрадовало. Я очень благодарен Никифору за его память обо мне. Я также очень хорошо помню его привязанность ко мне и добрые услуги, оказанные мне в Петербурге. Я не пишу теперь к племяннику Савве Федосеичу потому, что полагаю, что он еще не возвратился из своей дальней поездки. Но, пожалуйста, засвидетельствуйте мое почтение любезнейшей племяннице<sup>252</sup>.

Поручаю себя вашим молитвам и прошу вашего родительского благословения  
ваш покорный сын  
В. Печерин.

**№ 40. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину**

Одесса  
21 марта 1866

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Наконец и я возвратился домой после четырехмесячного отсутствия. Я десять лет не выезжал из Одессы; поэтому поездка моя доставила мне столько новых впе-



чатлений, как будто бы я совершил путешествие в неведомые мне места, а не простой проезд по своей родине. Правда, дороги наши остаются еще в том первобытном состоянии, как воспел их лорд Байрон<sup>253</sup>, и до сих пор только высший рок остается наблюдателем их; но умственные грузы заметно потянулись уже и по этим дорогам; крестьянский вопрос расшевелил спячку, и три года этой реформы так подействовали на мозговые нервы тех, кого коснулась эта реформа, что они незаметно для себя из детства прямо перешли в возмужалый возраст. Действительно, эта великая реформа составит эпоху в развитии России, и если бы только не экономическое расстройство России, против которого не приняли нужных мер после Крымской кампании, то и все другие реформы, может быть, принесли бы ту пользу, которой от них можно было ожидать, а теперь вся надежда только на судебную реформу, если удастся Министерству Юстиции осуществить ее так, как она проектирована в Высочайше утвержденных Уставах<sup>254</sup>. Эти Уставы выработаны лучше всех выходивших у нас в России законоположений; осуществление их вверено в надежные руки, и потому все благомыслящие люди возлагают надежду на чудодейственную силу этих Уставов и в отношении действий администрации, потому что экономические невзгоды естественно должны были вызвать недовольство, которое в глазах подозрительной администрации кажется далеко не тем, чем оно есть в самом деле, и от этих недоразумений общественные действия крайне стеснены; а как в последние три года мыслительные способности и самосознание у нас значительно развились, то эти стеснения, естественно, должны были вызвать, по крайней мере, со стороны людей развитых и печати оппозицию, а оппозиция — карательные меры. Наши и без того жалкие газеты (кроме «Московских Ведомостей»), запуганные административными предостережениями, штрафами и запрещениями<sup>255</sup> боятся всего, не зная, что можно и чего нельзя. Я имел случай познакомиться с некоторыми редакциями и лично убедиться в их страхе. Петербургские редакции затруднились даже напечатать Ваши воспоминания. Московские более свободны, но «День» должен был прекратить свое издание, истощась в неравной борьбе<sup>256</sup>, и только одни «Московские Ведомости» действуют вполне самостоятельно, гарантированные от предостережений и запрещения своими капитальными заслугами по польскому вопросу<sup>257</sup>, по пробуждению в русских национального сознания и теперь по преследованию немецких тенденций<sup>258</sup>. За это они состоят под непосредственным покровительством императрицы<sup>259</sup>. Правда, это орган ультраклассицизма и дворянства; но в последнем отношении едва ли они неправы. Я коротко знаком с Одесским городским собранием и побывал проездом в нескольких земских собраниях и убедился, что проводить к общественной деятельности плебеизм можно только тем путем, как это делается в Англии, а нашим путем плебеизм обратится только в гири для помехи разумным стремлениям.

По возвращении в Одессу я застал состояние здоровья дедушки удовлетворительным. Прошлогодний недуг его, по-видимому, прошел; он ходит; но само собою лета не позволяют восстановиться силам в желательной степени.

Старик Никифор очень тронут Вашим воспоминанием о нем. По этому случаю, он рассказал мне много воспоминаний за время Вашей жизни в Петербурге. Его стараниям я обязан отысканием превосходной Вашей идиллии «Руфь»<sup>260</sup>. Помните ли Вы этот Ваш труд? Года на нем не помечено. Я тщательно собираю все Ваши труды и уверен, что Вы не откажете мне в присылке продолжения Ваших воспоминаний. Мне хотелось бы побольше собрать материала для журнальной статьи, потому что

журналы «Современник» и «Отечественные Записки»<sup>261</sup> охотно берутся напечатать статью из Ваших сочинений. В настоящую мою поездку я убедился в необходимости ежегодно бывать в Петербурге, чтобы постоянно находиться au courant\* тех впечатлений, которые подобно расходящимся кругам на воде хотя и доходят и до нас, но не давая точного понятия причин, вызвавших эти круги; поэтому мне хотелось бы к следующей моей поездке подготовить желаемую статью.

Со следующим письмом я посылаю Вам портреты моих детей, которые уже готовы.

Поздравляю Вас со Светлым Праздником и поручаю себя и семейство мое Вашим молитвам. Ваш преданный племянник

С Поярков.

Милой Мой валодя Поздравляю тебя Мой Милой друг С праздником желаю тебе быть здоровым цалую тебя твой Атец Сергей Печерин<sup>262</sup>

#### № 41. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
20 апреля 1866

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Как и где почтенный Никифор отрыл этот литературный кириоз — идиллию «Руфь» — вовсе не понимаю. Это представляется мне как сон. Одно только помню — в моем уединенном жилище на Гороховой улице часто по вечерам при захождении солнца я мечтал о патриархальных сценах из Библии. Исаак, Иаков и Лаван возвращались со стадами своими домой, к ним, вероятно, присоединилась и Руфь<sup>263</sup>. Ах! какая странная судьба! Ведь запад в самом материальном смысле имел решительно влияние на мою жизнь. Бывало, на степях Херсонской губернии или в Бессарабии я любил следить за солнцем, как оно медленно спускалось за край степи, пропадало за густою травой; душа рвалась вслед за ним с неизъяснимою и непобедимою грустью; иногда я бросался на колени, простирал руки к заходящему солнцу, и какой-то внутренний голос говорил мне: туда! туда тебя зовут! Когда наши горнисты учились в поле, эти звуки, казалось, звали меня куда-то... Объясните это, как хотите. Я просто даю вам факты.

В другое время я, может быть, поговорю с вами о вашем интересном путешествии, а теперь только поблагодарю вас за доброе известие о здоровье батюшки, которым он, без сомнения, обязан вашим и вашей супруги усердным попечением. С нетерпением ожидаю портретов ваших милых детей. Посылаю вам *начало* другого отрывка, это тоже нечто вроде идиллии, хотя и имеет комическую сторону, как, вероятно, и все идиллии.

Русское печатное слово сделалось для меня такою жизненною потребностью, что, несмотря на дороговизну, я выписываю «Голос» и к крайнему моему удовольствию получаю его очень исправно каждый день через три дня после выпуска в Петербурге. Что ни говорите, а ведь Петербург все-таки средоточие нашей умственной жизни. Да сверх того, будучи сам воспитан в Петерб[урге], все мои сочувствия, естественно, клонятся к этой стороне. А вот и «Московск[ие] Ведомости» получили

\* В курсе — фр.

предостережение!<sup>264</sup> И эта блаженная привилегированная и высочайше гарантированная газета не избегла общей участи смертных! Невольно улыбнешься. Прощайте до будущего письма.

В. П.

Мой роман. Г. Липовец, Киевской губернии<sup>265</sup> 1821 год.

Ihr naht euch wieder,  
Schwankende Gestalten...  
*Gёте\**

Принесли посылку с почты. — Откуда это? — Из Житомира<sup>266</sup>, от книгопродавца Глюксберга. — Да что же это такое? — Это, должно быть, учебные книги для сына командира 2-го батальона 35-го Егерского полка майора Печерина. Дайте ж развернем, посмотрим, какие это *учебные* книги. — Вот они: 1. “Discours sur l’histoire universelle” p[ar] Bossuet. 2. “Lettres à Emilie sur la Mythologie” par Demoustier. 3. “La Henriade” de Voltaire. 4. “Emile” de J. J. Rousseau\*\*<sup>267</sup>. Вот и все. Впрочем, «Эмиль» был не для меня, а для моего учителя как *руководство*. Да! Судьба и мой учитель решили, что мне непременно надобно быть воспитанным по Эмилю.

И чему тут удивиться? Учителю моему было около 24 лет от роду. Он был молодой человек очень приятной наружности с маленькими усиками и империалкою<sup>268</sup>. Происхождением он был немец из Гессен-Касселя<sup>269</sup>, но отлично говорил по-французски. Его звали *Вильгельм Кесман*. О религии его нечего и говорить. А в политическом отношении он был пламенным бонапартистом<sup>270</sup> и вместе с тем отчаянным революционером.

За каких-нибудь 50 руб[лей] в месяц достать учителя и гувернера, все что угодно, — отлично говорящего по-французски и по-немецки, с отличными манерами — ведь это для небогатого русского дворянина просто была находка!

Я страстно полюбил моего учителя. Это была моя первая любовь. Он также привязался ко мне пламенною дружбою. Он действительно любил меня. Бог знает, что он думал обо мне, чего от меня ожидал и какие планы строил для меня в будущем! Вот один образчик! Вот что он однажды писал ко мне: «Учитесь, развивайтесь, поезжайте в университет. Кто знает, что вам суждено в будущем? Может быть, какая-нибудь благодарная нация выберет вас своим первым Консулом<sup>271</sup>, а я, ослесливленный этим событием, радостно окончу дни свои подле вас!»

Каково? — Вот и Дон-Кихот с его островом<sup>272</sup>. И вот в каких идеях воспитывался сын бедного русского майора! — Впрочем, тут, может быть, была задняя мысль революции, как увидим после...

Однако ж позвольте — не лучше ли было бы, например, вместо какого-нибудь немца, француза, отдать мальчика на воспитание какому-нибудь доброму священнику?

В этом позволено сомневаться. Ведь я всего попробовал — даже православного воспитания. Вот, например, в 19-м году в Дорогобуже, Смоленской губернии<sup>273</sup>, мы стояли на квартире в доме протопопа благочинного<sup>274</sup>. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал меня ему в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, —

\* «Вы снова здесь, изменчивые тени...» — *нем.*

И. Гёте. «Фауст». Посвящение (пер. Б. Пастернака).

\*\* 1. «Рассуждения о всеобщей истории» Боссюэ. 2. «Письма к Эмили о мифологии» Демуте. 3. «Генриада» Вольтера. 4. «Эмиль» Ж.-Ж. Руссо — *фр.*

разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто как разгуляется, так хоть святых вон носи, так и пойдет в потасовку со своим сыном парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя. Но и тут, как везде, женщина является добрым ангелом или благодетельною феею. Милая дочь протопопа девушка лет 25-ти очень меня полюбила и кормила меня вяземскими пряниками<sup>275</sup> в великий пост<sup>276</sup>. А пряников-то была бездна! Вся кладовая была переполнена сверху донизу, все полки были уставлены ими словно какое-нибудь книгохранилище. А откуда же взялись эти пряники? А вот видите — накануне великого поста прихожане приходили на поклон к протопопу. Каждый бил челом святому отцу и подносил ему пряник, и вот эти пряники-то мы с Наташею и кушали.

А вот и другой образчик духовного воспитания. Где-то в Белоруссии на страстной неделе<sup>277</sup> мы с маменькой пошли на исповедь к сельскому священнику. Он был какой-то ухарский молодец. Выслушав мою исповедь, он дал мне следующее поучение: «Будьте добрым мальчиком, ведите себя хорошо, и Бог вас наградит и, когда вы подрастете, он дарует вам прекрасную жену!!» Ей Богу, это слово в слово так! Вот и духовное поощрение 10-летнему мальчику! Вот и надежда лучших благ!

А о нашем полковом священнике так нечего и говорить. Он был разбитной малый совершенно в уровень со своим военным положением. Как загнет, бывало, двусмысленную шутку, так что твой уланский вахмистр!<sup>278</sup> Извините эти педагогические отступления — это просто так, для сравнения двух систем. Учитель преподавал мне французский и немецкий языки, а остальные сведения я сам почерпал из разных источников: читал “Conversations Lexicon”<sup>279</sup>, немецкую Библию<sup>280</sup>, “Siècle de Louis XIV” de Voltaire, “Pucelle d’Orlean”, “Astronomie” de Mauportuis\* и романы Августа Лафонтена<sup>281</sup>. Ах! какую глубокую истину сказал Пушкин:

«мы все учились понемногу  
чему-нибудь и как-нибудь!»<sup>282</sup>

## № 42. В. С. Печерин — С.Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
30 апреля 1866

Любезнейший племянник.

Сделайте милость, поздравьте от меня батюшку со Светлым праздником. Я не пишу к нему особенного письма потому, что мне непременно хотелось окончить и переслать вам вдруг весь отрывок. С этими листками я вручаю вам заветные воспоминания и драгоценнейшее достояние души моей. Мало я забочусь о том, будут ли они когда-либо напечатаны; но счастливым себя почту, если они сохранятся как родное воспоминание в вашем семействе. Есть некоторые вещи, о которых *покамест* я никак не могу говорить, хотя, может быть, в них-то и заключается главная тайна моей жизни; но вы узнаете их *со временем*, если Бог продлит мне жизнь. Душевно благодарю вас и вашу любезную супругу за портреты ваших детей: они

\* «Век Людовика XIV» Вольтера; «Орлеанская девственница»; «Астрономия» Мопертюи — *фр.*

действительно драгоценный подарок для меня. Все, кому я показывал эти фотографии, не могли налюбоваться вашими милыми детьми, особенно девочка — она уж так неописанно мила!

У нас все слухи о войне — да едва ли избежать Европе всеобщего пожара<sup>283</sup>. Впрочем, в настоящих обстоятельствах лучше не распространяться об этих предметах.

Прощайте, любезнейший Савва Федосеич. Остаюсь ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### Мой роман (продолжение).

У Кессмана была оригинальная метода. Он заставил меня писать на немецком языке дневник, т[о] е[сть] записывать маленькие события дня и мои собственные о них мысли, а потом он это поправлял. Для развития мысли и слога, мне кажется, это отличная метода — без сомнения, несравненно лучше так называемых тем или школьных задач, где, например, вам скажут: напишите-ка описание бури или похвалу скромности, или расскажите сражение между Горациями и Курияциями<sup>284</sup> (как мне задано было на французском экзамене в университете). К чему это ведет? Просто к фразам и амплификации<sup>285</sup>, этой чуме истинного красноречия. Человек должен с младенчества учиться говорить правду, т[о] е[сть] выражать свои собственные мысли и чувствования и говорить только о тех предметах, которые ему совершенно известны, а не красть чужие слова или просто быть попугаем.

Но отложим в сторону педагогию и поговорим о более серьезных предметах, paulo maiora sanamus!\*

Кессман жил на квартире у липовецкого городничего<sup>286</sup> отставного поручика Сверчевского. Они были задушевные друзья, и оба были глубоко замешаны в революционных проделках.

В то время все подготовлялось к взрыву. Стихии были в брожении. Воздух напитан был электричеством. Может быть, одни близорукие в высших сферах не замечали этого. Говорили очень вольно — даже в наших военных кружках. «Недаром же в русском гербе двуглавый орел и на каждой голове корона: ведь и у нас два царя — Александр I да Аракчеев I<sup>287</sup>». — Даже простой народ громко роптал на Аракчеева. Приближалось 14 декабря<sup>288</sup>, и как все великие события бросало тень перед собою. Полковник Пестель был нашим близким соседом<sup>289</sup>. Его просто обожали. Он был идолом 2-й армии<sup>290</sup>. Из нашего и других полков офицеры беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. «Там свобода! Там благородство! Там честь!»

Кессман и Сверчевский имели ко мне неограниченное доверие. Они без малейшей застенчивости обсуждали передо мною планы восстания и как легко было бы, например, арестовать моего отца и завладеть городом и пр[очее]. Я все слушал, все знал, на все был готов: мне кажется, я пошел бы за ними в огонь и воду...

Здесь рождается любопытный вопрос: а что бы я сделал, если б действительно пришлось к делу? Остался бы верным дружбе до конца? — или, может быть, по русской натуре я сподличал бы в решительную минуту, предал бы друзей и постоял бы за начальство? Ей Богу, не знаю! Трудно отвечать.

\* «Петь начинаем важнее предметы» — *лат.* Вергилий. Буколики. IV, 1 (пер. С. Шервинского).

Учение Кессмана совершенно меня преобразило. Идеи вольности и христианского равенства глубоко запали в душу, и я решился привести их к буквальному исполнению. У меня, разумеется, был мальчик — Ониська — который ходил за мною, подавал мне умываться и пр[очее]. Я решительно отказался от его прислуги к крайнему неудовольствию моего отца. Я не хотел иметь рабов — я сам себе прислуживал. Когда солдаты делали мне фронт (а как же? майорскому-то сыну!), я снимал картуз и учтиво раскланивался. Это было смешно и совершенно неприлично. Мне надлежало бы пройти мимо с надменным видом, не обращая на них ни малейшего внимания. Все это было так из рук вон, что даже Афонька, камердинер нашего полкового командира, потерял терпение и в каком-то порыве священного холопского негодования сделал мне выговор. «Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! Ведь вы вовсе не как следует русскому барину: словно какой-нибудь француз или итальянец!» Ах! если б в эту минуту я замахнулся и дал бы ему оплеуху, он, наверное, глубоко бы передо мною преклонился и признал бы меня за истого русского дворянина!

Я даже сделал попытку революционной пропаганды и политического красноречия. Какие-то мужики работали около нашего сада. Вот я так и грянул им речь о свободе! Это тотчас же донесли в главную квартиру. Маменька сделала мне выговор, но с таким умом и тактом, которые очень хорошо показывали, что она вовсе не против свободы ... Ах! она была святая женщина — гораздо выше своего времени и той среды, в которые она поставлена была судьбою.

Вот так-то я развивался по Эмилию — все, кажется, хорошо — одного недоставало: у Эмиля была *Юлия*<sup>291</sup>! Да как же? Ведь надобна же юноше чистая и святая привязанность для того, чтобы предохранить его от нечистой любви; нужен ангел-хранитель, чтобы спасти его от порока<sup>292</sup>. Но как и где найти ее? Вот в том-то и дело! Найти женщину — как отец Анфантен искал ее даже на отдаленном востоке<sup>293</sup>. Но ведь русская пословица говорит: на ловца и зверь бежит. И Юлия нашлась! Но для этого надо перенести сцену в другую местность.

Хмельник, Подольской губернии<sup>294</sup>, 1823 год.

“Und herrlich in der Jugend Prangen,  
Wie ein Gebild aus Himmelshohn,  
Mit zuchtigen, verschämten Wangen  
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn”.

Шиллер\*

Мне было 16 лет. Я только что воротился из Киевской гимназии<sup>295</sup>, где я пробыл около года<sup>296</sup>, — к крайнему огорчению моей доброй маменьки. Да и было отчего огорчаться! Уж чего я не слышался между офицерами и солдатами; но признаюсь, никогда в армии я не слышал подобных мерзостей, как в этом благородном пансионе (у директора гимназии<sup>297</sup>). А ведь тут был цвет южного дворянства из Херсонской и других губерний. О, русское дворянство!

\* «И здесь, как неземное диво,  
Вдруг видит юный пилигрим:  
Ресницы опустив стыдливо,  
Подруга детства перед ним» — *нем.*

Ф. Шиллер. «Песнь о колоколе» (пер. И. Миримского).

«Изрекли уж Эвмениды  
Приговор свой роковой,  
И секира Немезиды  
Поднята уж над тобой!»<sup>298</sup>

Учитель-надзиратель (он был коренной русский) пансиона рассказывал нам с большим вкусом — *con gusto*\* — великие подвиги Екатерины II — не те подвиги, которые история записала на своих скрижалях, а другие, принадлежащие к тайной придворной хронике. Придворная жизнь со всеми ее подробностями была в глазах его высоким идеалом, к которому всем должно стремиться. Он же научил нас петь следующую песенку:

On parle de philosophie,  
On ne sait pas la définir,  
Mais la seule digne d'envie  
La mienne enfin — c'est de jouir,  
Sourire à l'aimable folie  
Pour mieux jouir, être inconstant,  
C'est ainsi qu'on descend gaiement  
La fleuve de la vie.  
Les anciens sages de la Grèce  
N'étaient pas sages tous les jours,  
On a vu souvent leur sagesse  
Echouer auprès des amours.  
Sourire à l'aimable folie etc.\*\*

Вот в каких принципах воспитывалось русское дворянство. В этом случае я отдаю пальму Кессману: он, по крайней мере, дал моему уму более серьезное направление. Чего уж не преподавали в этой пресловутой гимназии! Даже психологию и римское право! Но все — ужасно поверхностно! Никто и ничему не учил и не учился основательно<sup>299</sup>. Это была фразеология, фантазмагория, *пыльглазбросание* — словом, умственный разврат! Если не ошибаюсь, таков был дух всех *лицеев, школ, гимназий* того времени. Невольно подумаешь со Скалозубом, что уж лучше было бы учить там по-нашему: раз-два, а книги сберечь для важных лишь okazji<sup>300</sup>.

---

\* С удовольствием — *ит.*

\*\* Все толкуют о философии,  
Но никто не может сказать, что это такое,  
Тогда как единственная философия, достойная подражания,  
Моя философия — это наслаждаться,  
Улыбаться милому безумству,  
Чтобы наслаждаться еще лучше, быть непостоянным.  
Именно так человек весело плывет по течению  
Реки жизни.  
Мудрецы древней Греции  
Не всегда были мудрыми,  
И известно, что часто их мудрость  
Отступала перед любовью.  
Улыбаться милому безумству и т. д. — *фр.*

Приближалось светлое Христово воскресенье. Вся природа воскресла. Теплый весенний воздух призывал к новой жизни и к тоске по родине. Прислали за мной Никифора привезти меня домой. Знаете ли, что такое Хмельник? Тут была в старину турецкая крепость на пригорке на берегу Буга<sup>301</sup>. В 1823 еще видны были ее остатки. На месте крепости стоял довольно красивый господский дом. В нем жил отставной полковник Гофмейстер, управлявший имением графа Киселева<sup>302</sup>. У него была жена и дети: мальчик лет девяти и девочка 12 или 13 лет — очень умненькая и очень недурная собою: роскошные каштановые волосы упали на ее плечи, голубые глаза, греческий нос, розовые щечки. Ее обыкновенно звали Бетти, а официально Елизаветою Михайловною. Вот она-то предстала предо мною как светлое видение в незабвенный светлый праздник 1823 года.

«Мы не сказали ничего,  
Но уж друг друга знали»<sup>303</sup>.

Да и действительно так было. Кессман был теперь учителем в доме Гофмейстера. Драма нашей любви была им подготовлена — роли розданы и заучены. Все делалось буквально по Руссо. Едва ли кто теперь читает «Новую Элоизу» (“Nouvelle Eloise”), но если вы ее читали, то знаете, что там есть знаменитая сцена первого поцелуя в боскете<sup>\*304</sup>. Вот эту-то сцену мы и скопировали. В один прекрасный майский день часов около трех пополудни, когда почтенные родители почивали, я пробрался заднею калиткою в сад управителя, перешел через деревянный мостик на Буге, повернул направо в рощицу. Там она ожидала меня с учителем. Учитель скрылся за деревьями — Бетти бросилась в мои объятия. Все это было очень глупо, очень натянуто, смешно — как хотите — но совершенно невинно. При этом она вручила мне письмецо с локоном ее волос и колечком. Долго, долго, почти до конца моего университетского курса я хранил это сокровище. Как и где они погибли, не знаю, вероятно, они канули вместе с прочим в омуте петербургской жизни. Сцена в рощице повторялась каждый день. Под вечер я приходил в учебную комнату к концу уроков, маленького братца высылал вон, учитель прятался за кулисы, и мы оставались с ней одни на несколько минут. Бог мне свидетель! Никогда никакая дурная мысль не посещала меня в ее присутствии. Никакое облачко не помрачало этого ясного майского дня. Я приближался к ней с таким же благоговением, с каким у нас прикладываются к святым мощам и иконам...

“O, zarte Sehnsucht, süßes Hoffen!  
Der ersten Liebe gold'ne Zeit!  
Das Auge sieht den Himmel offen,  
Es schwelgt das Herz in Seligkeit”<sup>\*\*\*</sup>

Я не могу не цитировать Шиллера, — его стихи вошли у меня в сок и кровь, перевелись с моими нервами: словом, вся моя жизнь сложилась из стихов Шиллера, особенно из двух поэм: “Sehnsucht” и “Der Pilgrim”<sup>\*\*\* 305</sup>.

\* От *фр. bosquet* — роща.

\*\* «О грезы счастья, трепет тайный!  
Любови первый светлый сон!  
Душе открылся мир бескрайний,  
И взор блаженством озарен!» — *нем.*

\*\*\* Ф. Шиллер. «Песнь о колоколе» (пер. И. Миримского).  
«Желание» и «Путешественник» — *нем.*



План жизни моей был готов. Я еду в университет, оканчиваю курс, получаю диплом, возвращаюсь в Хмельник и женюсь на ней. Каков план для сына русского майора, у которого за душою было около 60-ти душ в сельце Навольковом, Позняки тож<sup>306</sup>! Ведь это хоть какому английскому лорду под руку!

Но мы рассчитывали без хозяина. Роман наш продолжался три месяца и кончился самым трагическим образом. Родители Бетти как-то узнали о наших проделках, вероятно, маленький братец донес. Учителю отказали от дома. Он приготовился к отъезду. Вот тут влияние гимназии отозвалось на мне. Место бескорыстной самопожертвованной дружбы заступил какой-то холодный расчетливый эгоизм. Как скоро я узнал, что Кессман попал в немилость, я охладел к нему. Я хотел быть порядочным человеком и стоять хорошо в глазах начальства. Я равнодушно смотрел на его приготовления к отъезду. Вот это-то равнодушие нанесло ему смертельный удар. Бедный Кессман! Не первый ты и не последний, что обманулся в русском юноше! Да где нам! Какого благородства от нас ожидать? Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами и умрем.

«Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песен не поют»<sup>307</sup>

За несколько дней до отъезда он попросил меня перевести ему на французский Тассовы «Ночи»<sup>308</sup>. Накануне отъезда ввечеру он заперся в свою комнату, хватил бутылку вина, зарядил пистолет, приставил к груди и — прямо в сердце! Его нашли лежащим на полу, куски его сердца были разбросаны, подле него лежали Тассовы «Ночи», забрызганные его кровью. Мне не позволили видеть его труп. Священник отказался похоронить его на кладбище. Вот так его и зарыли в одном из курганов около Хмельника. Я ходил после на его могилу не то чтобы плакать, а так, чтобы совершить сентиментальный долг и покончить роман. Никто не мог совершенно объяснить, что его побудило к этому отчаянному поступку. Думали, что он слишком был замешан в революционных проделках и не знал, куда деваться. Так погиб несчастный Кессман. Не мне его судить. Он заронил искру, которая еще не погасла. Он навсегда предохранил меня от несчастья сделаться верноподданным русским чиновником николаевского времени.

Вскоре после этого мы оставили Хмельник, и я расстался с нею навсегда.

А что же сделалось с Сверчевским, задушевым приятелем Кессмана? Сверчевский? — Он моим же отцом расстрелян был в 1831 году<sup>309</sup> там, где-то недалеко от Липовца. А что делала в это время моя добрая маменька? Она оставалась тем, чем всегда была — ангелом мира и жертвою искупления. Ее гостиная в то время (1831) была набита польскими дамами. Они со слезами на коленях умоляли о пощаде отцу, мужу, сыну — но что же она могла сделать против железной русской судьбы, которой представителем был командир 2-го батальона?

Ну, что ж? удалась ли система Руссо<sup>310</sup>? и какой был ее последний вывод? А вот посмотрим! В 1825 году я поехал в Петербург и попал там в странное общество — общество гвардейских подпрапорщиков, мелких чиновников, актеров, балетных танцоров, игроков, пьяниц, *Выжигиных* всякого рода — да что тут говорить о *Выжигиных*? Даже сам великий отец *Выжигиных* — Ф. В. Булгарин<sup>311</sup> жил в одном со мною этаже в доме Струговщиковой<sup>312</sup> — хотя, впрочем, я не достиг до высокой чести быть лично с ним знакомым. (Только за несколько дней до 14-го декабря я видел, как он из окна разговаривал с Федором Глинкою<sup>313</sup>, стоявшим на улице).

От этого нелепого общества я убежал в свой внутренний мир, в идеал, в Хмельник — к *ней!* Единственным утешением моим было читать «Новую Элоизу» Руссо... Да, господа, смейтесь, сколько хотите: но все-таки согласитесь, что общество Сен-Пре, Юлии и лорда Эдуарда<sup>314</sup> все-таки лучше семьи Выжигиных. В страницах Руссо я дышал свободнее, я очищался, *умывался* от грязи «Северной пчелы»<sup>315</sup> и других произведений той эпохи. Среда, в которой я жил, проскользнула только снаружи, не коснувшись моей внутренней жизни: *она* меня спасла! Когда, наконец, в порыве благородного негодования я прервал всякую связь с этим безобразным обществом и удалился в пустыню на пятый этаж в Гороховой улице, она золотила мою темную конуру, ее светлый образ рисовался на стене, исписанной философскими изречениями. Когда я начал изучать Канта<sup>316</sup> и в первый раз испытал *упоение* философского мышления (*Der Wahn des Denkens*)\*, *она* улыбалась мне из-за философских проблем и благословляла меня на *путь*...

“Aus der Wahrheit Feuerspiegel  
Lächelt sie den Forscher an.  
Zu der Tugend steilem Hügel  
Leitet sie des Dulders Bahn”.

Шиллер\*\*

Она участвовала во всех высоких помыслах, во всех благороднейших стремлениях души моей. Я перестал о ней думать — когда? — когда, утомленный неравною борьбою с бедностью, я очертя голову бросился в казенные студенты<sup>317</sup> и просто канул в грязную действительность... Но и тут еще раз она вспыхнула передо мною!.. Один из товарищей, знавший мою тайну, встретил ее где-то в петербургской гостиной. Она была в то время взрослою девицею во всем блеске юности и красоты. С тех пор я никогда уже о ней не слышал. «И навеки след ее исчез»<sup>318</sup>. И если теперь, когда я пишу эти строки, при мысли о ней слезы брызнули из глаз моих — кто дерзнет меня порицать?

#### Эпилог.

В 1839 [оду] в один прекрасный летний день я проходил по одной из улиц города Литтиха (Liège) в Бельгии — в старом сюртуке, с бородою и длинными волосами — я в то время был благочестивым сен-симонистом. Попадается мне навстречу человек с младенцем на руках. Малютка загляделся на меня, как на какое диво, и протянул ко мне обе ручонки. Отец с досадою и довольно громко сказал: “Ne le regarde pas, mon enfant! C’est un fou!”\*\*\* Может быть, любезный племянник, прочитавши эти записки, вы согласитесь с мнением этого почтенного гражданина гор[ода] Литтиха!

\* Грёза мышления — *нем.*

\*\* «В ярком истины зеркале  
Образ твой очам блеснит;  
В горьком опыта фиале  
Твой алмаз на дне горит» — *нем.*

Ф. Шиллер. «К радости» (пер. Ф. Тютчева).

Фиал (от *греч.* *phiale*) — чаша, кубок.

\*\*\* Не смотри на него, дитя мое! Это — сумасшедший! — *фр.*

№ 43. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Одесса

11 июня 1866, суббота

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Со времени последнего письма Вашего у нас так быстро идут капитальные события, что почти каждый день приносил что-нибудь новое, существенное для внутренней жизни России. Покушение 4 апреля<sup>319</sup> заставило восторженно всю Россию. Первые шаги Муравьевского следствия<sup>320</sup> достаточны уже были для того, чтобы видеть во всей наготе результаты фальшивого либерализма. Недостаток общей умственной подготовки, результаты минувших лет воздействовали самым губительным образом на наши неустановившиеся умы. И странно сказать, единственный светоч, ясно видевший все это и так отчетливо предсказавший неминуемые последствия, были «Московские Ведомости». Но Вам известна судьба этой газеты или, лучше сказать, издателей ее<sup>321</sup>. Никто у нас никогда не сомневался ни в благородстве редакторов «Московских Ведомостей», ни тем более в разумной их любви к родине и в том, что именно они спасли Россию от разделения, что они пробудили сознательный патриотический дух, бичуя бессознательный космополитизм и даже преувеличивая попытки сепаратизма; но таково свойство истины, что она часто находит себе в тех врагов, в ком должна бы иметь искренних друзей<sup>322</sup>. Трудно исчислить, не будучи очевидцем, сколько истинной пользы принесла последняя редакция «Московских Ведомостей»; и чтобы Вам не показались слова мои преувеличенными, я укажу Вам на то влияние, которое оказала она на умы еще не испорченные, на умы молодежи, которая еще только что начинает свою общественную карьеру. В бытность мою в Петербурге и Москве я видел совершенную реакцию молодого поколения против ложных стремлений либерализма. Это было странно встретить рассудительность и опыт в противоречии между собою, но как я сказал в начале письма, поколение прежних лет вырабатывалось по воле судеб и даже хорошие зачатки не принесли зрелых плодов; а молодое поколение, далекое может быть еще от истинного развития, обогатилось, по крайней мере, ошибками отцов. Это заметно даже и между юношеством. Давно ли вышел новый университетский устав<sup>323</sup>, а между тем само юношество находит его либерализм обратно пропорциональным их развитию. Устав этот не создал ученых, установив тяжелые мытарства для профессуры; поэтому кафедры остались только за старыми профессорами, большинство кафедр незанято<sup>324</sup>, а внезапная бесконтрольность занятий студентов привела значительное большинство их к мысли, что в университетах можно заниматься только для формы<sup>325</sup>. Прямым следствием этого оказалось значительное большинство не средних, а слабых успехов. Все это предвидел Катков. Все это теперь всем ясно. С падением Каткова заслуги его до такой степени сделались рельефны, что к нему более, нежели к кому другому применимы слова поэта:

«Со всех сторон его клянут,  
И только труп его увидя,  
Как много сделал он, поймут,  
И как любил он, ненавидя»<sup>326</sup>.

С таким чувством отнеслись к нему даже честные враги его, напр[имер], «Rigasche Zeitung»<sup>327</sup>. Время же покажет еще больше незаменимость этой потери, и можно опасаться, что благотворное направление поколения, начавшего свою обще-

ственную карьеру без такого регулятора, каким был Катков, легко может *измельчиться* в самолюбии и выйти на торную дорогу бюрократизма.

Но как бы то ни было, падение Каткова и Леонтьева свершилось. Мне нельзя ясно высказать теперь эти причины. Вы их найдете, впрочем, и в истории более знаменитого собрата “Times’a”<sup>328</sup>, могшего сохранить свое блистательное существование только в Англии. Во всяком случае, это падение было падением гиганта, так что самая лебединая песнь его (статья «Разве?» в «Современной Летописи» от 8 мая<sup>329</sup>) оставила по себе такой глубокий след, что вызвала *profession de foi*\* самого императора, выраженное в знаменитом рескрипте на имя князя Гагарина от 13 мая<sup>330</sup>. Это единственный у нас открыто заявленный акт внутренней политики, восторженно принятый друзьями государственного порядка и произведший сумятицу в [нрзб] лагере, обязан своим появлением тому же Каткову. Государь, прочтя статью «Разве?» и сообразив ее со следствием Муравьева, потребовал от Каткова более положительных доказательств. Доказательства эти представлены Катковым<sup>331</sup> на двенадцати [нрзб], и Государь убедился, что с развившимся в России ложным либерализмом шутить нечего. Те, кому неприятен рескрипт Государя, забили тревогу, что наступила реакция. Но кто хорошо знаком с нашим либерализмом, для того рескрипт этот кажется актом государственной мудрости и нисколько не обещает вредной реакции, в чем лучшая порука — благородство сердца самого императора.

Каткову предложено попечительство Новороссийского учебного округа<sup>332</sup>.

Ваши письма составляют для меня неоценимое приобретение, а Ваша откровенность в прожитом и прочувствованном по доверию и расположению ко мне и моему семейству возвышает меня в собственных моих глазах. Едва ли многим не только у нас, но и в опередивших нас государствах выпадает счастливый жребий иметь такие семейные записки. Поверьте, что эта святыня будет храниться и передаваться в семействе моем вместе с наследственными святыми образами. Мои дети приучены уже произносить Ваше имя с чувством семейной гордости. Я собираю все, касающееся Вас, с чувством ненасытного скряги. Ваш портрет масляными красками, о котором Вы, вероятно, теперь и не помните, и времени присылки коего мне никто не мог объяснить<sup>333</sup>, поступил в мою собственность и занимает средину между лицами, близкими моему сердцу. За неимением портрета моей матери Ваш портрет, напоминая мне Вас, напоминает мне и ту, которая учила меня любить Вас и благоговеть перед Вашим именем. Она говорила мне: есть в нашем роде и почетные, и достаточные, но только один светильник. И эти детские воспоминания глубоко напечатлелись в душе моей, и когда опыт жизни заставил изучить жизнь и жизненную обстановку, детская заповедь сознательно воскресла в душе, и зароненное в детстве чувство, несмотря на треволения жизни, только окрепло и усилилось. При переезде дедушки к нам на хутор мне удалось найти еще несколько Ваших писем, и особенно для меня важно от 23 марта 1836 из Москвы, в коем поименовано, в каких номерах «Московского Наблюдателя» и «Энциклопедического словаря» помещены Ваши труды<sup>334</sup>. При проезде чрез Москву непременно отыщу эти номера. Хочется еще о многом писать и потому следующее письмо пришлю вслед за сим.

Поручая себя и семейство мое молитвам Вашим, остаюсь искренно любящим Вас племянником

С. Поярков.

\* Символ веры (изложение убеждений) — *фр.*

**№ 44. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину**

Одесса  
12 июня 1866

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Бог весть, удастся ли мне увидеться с Вами; но мне хотелось если не самому, то, по крайней мере, чрез близкого приятеля передать Вам словесные сведения о себе и о своем житье-бытье. Молодой одесский доктор, успевший уже, впрочем, составить себе имя замечательными женскими операциями, Николай Васильевич Склифасовский<sup>335</sup> послан правительством на два года за границу. Настоящий год он намерен провести в Германии, а к 1 января 1867 года переезжает в Ирландию и именно в Дублин, и так как в Дублине специальность тех операций, которые составили ему имя (вынутие желудочных женских наростов), то он предполагает провести в Дублине весь 1867 год. Не имея никого в Англии знакомых, он убедительно просил меня рекомендовать его Вам; а как Николай Васильевич короткий приятель нашего семейства, то я воспользовался случаем рекомендовать Вам человека, который может сообщить Вам подробные сведения об нас, и решился без Вашего позволения дать ему к Вам письмо.

22 июня

Мне не удалось до сих пор кончить письма к Вам, потому что ко мне приехал знакомый из Москвы профессор Петровской Земледельческой Академии И. А. Стевуд<sup>336</sup>. Он недавно оставил центр русского тяготения — Петербург, и потому мы не успели еще наговориться до сих пор. Стевуд пробудет у меня до августа ради морских купаний, и притом он, подобно мне, большой любитель пеших странствований по окрестностям, так что все [вечера] после обеда у нас посвящены таким странствованиям.

31 июня

Настоящему моему письму суждено заставить меня не сдержатъ своего слова писать к Вам вскоре за отсылкою предыдущего письма. Причиною второго перерыва был приезд сестры моей жены. Все съехались пользоваться морскими купаниями. Наша дача на самом берегу моря в местности, которая была в Ваше время пустырем, именно в местности, называемой Средним фонтаном, в 5 верстах от города<sup>337</sup> у самой черты бывшего последнего порто-франко<sup>338</sup>. Эта местность обстроилась и заселилась уже при мне в течение последних пяти лет по упразднении черты порто-франко. В настоящем году здесь столько живущих, что буквально нет свободной комнатки ни на одной даче, даже на более отдаленных от моря. У нас даже есть своя церковь, против самой нашей дачи. Дедушка по-прежнему живет у нас на даче. Его комната выходит прямо к морю. Свежий морской воздух и зелень деревьев значительно поддерживают его здоровье. Но, к сожалению, все приобретаемое им в пользу здоровья летом растрачивается им зимою. Дом его в городе очень ветхий и в последние четыре года три раза был затоплен водою до такой степени, что за спасение утопавших в его доме жильцов выдана правительством одному крестьянину медаль. После таких подтопов мне хотя и удалось настоять, чтоб город сделал три отводных городских канав, из коих одна шестифутовая, но дом при дурной и старинной постройке и при

губчатом свойстве местного строительного материала, вырезаемого из земляных пластов ракушечного известкового камня, весьма способного при неимении прочного фундамента всасывать и удерживать сырость, до того отсырел, что только капитальная перестройка его может высушить его. А между тем дедушка упорствует жить в нем. Еще в прошлом году доктора настаивали, чтобы он отдал свой дом в наем, а для себя нанял бы сухое и теплое помещение, но все убеждения были тщетны. Неудобства минувшей зимы были до того ощутительны, что дедушка постоянно твердил, что не останется более в своем доме; а теперь снова непоколебим в своем намерении жить в своем доме. Он просил меня принять меры к ремонту дома, но со сколькими архитекторами я не советовался, ремонт как бы следовало превзойдет покупную стоимость дома, и потому остановились на том, чтобы по крайней мере цементировать до основания стены тех комнат, которые он сам занимает, и устроить в этих комнатах железные печи с выкладкою их внутри итальянским кирпичом. Насколько это поможет, Бог весть, но, по крайней мере, сколько-нибудь улучшит помещение. Главная и вполне уважительная причина, почему дедушка не хочет оставить своего дома, это привычка к месту. Он вполне основательно говорит, что прожил более 20 лет в этих комнатах и так свыкся с ними, что даже каждое пятнышко ему мило и дорого. Поэтому как бы ни была хороша новая квартира, он уверен, что будет чувствовать в ней хуже себя ради тоски по привычном месте, с которым соединено у него столько воспоминаний. Это возражение столь резонно, что не хватает духа не только у нас, но даже и у докторов настаивать на противном, тем более что с нашей стороны все резоны в пользу перемены местожительства дедушке были уже высказаны неоднократно и усиленно, и нет никакой возможности принять на свою ответственность все последствия, какие могут произойти от тоски по прежнем местожительстве. В настоящих летах дедушки едва ли не лучшее лекарство принимать все меры к его успокоению и нейти наперекор тому, что по его убеждению ему вполне необходимо. Слава Богу, попался один доктор — Поржезинский, старинный знакомый дедушки, который понял его болезнь и сколько в силах человеческих сильно помогает ему; но едва ли есть надежды, чтобы он мог свободно ходить. Еще в прошлом году мы сделали для него кресло, в котором удобно его возить по хутору, и он охотно ездил каждый день, а в этом году он постоянно отказывается от этих прогулок и только ходит по своей комнате, напирая руками на два бруса, укрепленных в длину его комнаты. Весьма полезна для него греческая баня, нагреваемая с пола, и он пользуется ею каждые две недели и после бани дня три не чувствует никакой слабости, но потом снова делается опухоль ног и в особенности страдает нога контуженная.

Поздравляю Вас с наступающим днем Вашего ангела и желаю Вам всего лучшего. Благородный рескрипт импер[атора] так разъяснен министерскими циркулярами, что я уже не решаюсь ничего больше и писать Вам, пока не выяснится дело<sup>339</sup>. Катков отказался от должности<sup>340</sup>. Калейдоскоп германских событий<sup>341</sup> отразился у нас маленьким улучшением нашего курса. Политическое следствие Муравьева перешло в следствие над давно уже отвергнутым обществом нигилизмом.

Ваш племянник С. Поярков.

№ 45. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Дублин  
6 августа 1866

Дражайший Папенька Сергей Пантелеевич.

Давно уже я собирался писать к вам и поздравить вас с прошедшим днем вашего Ангела. Но случилось так, что я сильно простудился от внезапной перемены погоды и поэтому доселе не писал. Мне очень приятно слышать от любезного племянника, что ваше здоровье поправляется. Не нахожу слов выразить благодарность мою за их родное к вам усердие. Бог один может наградить их по заслугам. Теперь я, слава Богу, здоров. У нас все спокойно и холеры нет; да и в Англии-то она не очень распространяется благодаря деятельным мерам полиции и смышленности самого народа. Нельзя не позавидовать Англии. Между тем как война свирепствует на материке Европы<sup>342</sup>, Англия на своем морем опоясанном острове как в неприступной крепости сидит и спокойно глядит на треволения мира. Вместо кровавых битв она в своем спокойном могуществе совершает великие мирные подвиги. Вот теперь, например, провели электрический канат между Америкой и Ирландией<sup>343</sup>. Можно переслать из Нью-Йорка в Ирландию шесть с половиною слов в одну минуту, т[о] е[сть] 6,5 слов пробегают в одну минуту пространство более 2000 верст! Уже королева обменялась приветствиями с президентом Джонсоном<sup>344</sup>, и городской голова Нью-Йорка поздоровался с лордом-мейором Лондона. Вот великое событие! Это стоит выигранного сражения!

Надеюсь, дражайший папенька, что вы побережете себя с наступлением зимы и примете все нужные меры, чтобы жить в сухом и теплом помещении. У нас здесь после сильных жаров вдруг воздух охладел, и теперь бушуют сильные ветры. Недаром же мы живем на острове. Иногда чувствуешь, словно на корабле.

Пребываю с глубочайшим почтением ваш преданный сын

В. Печерин.

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Душевно вас благодарю за ваши два письма. Они доставили мне истинное удовольствие в моем уединении. Мне очень приятно будет познакомиться с г[осподином] Склифасовским. Если я в чем-либо могу быть ему полезным, я почту себя счастливым оказать ему услугу по силам. Я коротко знаком с одним из первых хирургов докт[ором] О'Райли, который именно известен своими женскими операциями. Я предполагаю, что г[осподит] Склифасовский знает английский язык: с одним французским здесь далеко не пойдешь.

К пересланному вам отрывку из моих записок я нахожу нужным прибавить несколько слов.

«Во избежание всяких возможных недоразумений я должен заметить, что все эти молодые люди (в пансионе киевской гимназии) были коренные русские, православные, исполненные глубочайшей преданности к августейшему дому и непримиримой ненависти к полякам». Эта оговорка мне казалась необходимою для местности и эпохи.

Говоря о преподавании в оной гимназии, я прибавлю еще:

«Вот она, вот она, та *вредная роскошь полузнаний*, о которой так много кричали после 14-го декабря! Да откуда же она взялась? и где ее источник? Не в самых

ли высших слоях администрации? Да кто же составлял уставы лицеев и гимназий? и кто их утверждал и подписывал?

Впрочем, где и когда удавалось правительству *устроить* народную нравственность? Это не его дело! Посмотрите на Италию, особенно на Папскую область. Ведь там правительство с *отеческим* попечением старалось о *нравственном* образовании народа. Индекс<sup>345</sup> показывает, с каким усердием старались удалить от него всякое злоучение. Священник и полицейский за шиворот таскали молодого человека к обеду и на исповедь, а что же из всего этого вышло? Совершенное безверие и непримиримая ненависть к предрержащим властям. Имея уши слышати да слышит<sup>346</sup>. *Свобода* есть единое основание человеческой нравственности — это философская аксиома».

Поклонитесь от меня вашей любезной супруге и расцелуйте от меня ваших милых детей. Не знаете ли вы Никитенко, бывшего цензора в Петербурге? Он мой товарищ по университету и два раза уже ко мне писал.

Ваш преданный  
В. Печерин.

#### № 46. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Одесса  
26 августа 1866

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Из письма моего от 21 июля<sup>347</sup> Вы уже знаете, как неблагоприятен был для нас июль месяц, какое сильное впечатление произвела на нас опустошительность действий холеры<sup>348</sup> в кругу наших знакомых, и как это отразилось в болезнях нашего семейства. Сначала заболела меньшая наша дочь Маша. Первое пользование началось от холеры, пока на третий день не обнаружилось, что у нее воспаление мозга. Болезнь была так сложна и так мало уступала медицинским средствам, что к 22 июля три доктора успели отказаться от продолжения пользования, предоставляя тот или другой исход воле Бога и силе природы; но как предыдущим пользованием успели достигнуть по крайней мере прекращения конвульсий и осталась одна спячка с потерей зрения, то не оставляя религиозных средств мы 25 июля решились прибегнуть к пособию новой медицины с ее ядами и, чтобы умерить ревность молодых медиков, мы поручили лечение двум; несмотря на это все-таки в течение трех только дней ребенку успели дать 19 гранов одной каломели<sup>349</sup>; но в это время заболела жена. Очевидно, что болезнь ее тоже началась с дня первых холерных потрясений, т[о] е[сть] с 12 июля, и потом постепенно усиливалась тревогами по случаю болезни Маши, дошла полного своего развития к 29 июля, пока в этот день она не слегла в постель в сильных конвульсиях. По счастью в этот день возвратился с Кавказа доктор Иванов, товарищ Склифасовского, к которому мы имеем более других докторов доверие. Иванов верно понял болезнь, найдя, что у жены сильное воспаление брюшной полости, и хотя тотчас употребил нужные средства как-то: пиявки, *patrium nitricum*\* и т[ому] под[обное], но дальнейшее пользование признал необходимым вести с акушером. Прошло с неделю, пока жена оправилась и могла встать с постели; а между тем в это время успела заболеть няня Маши изнурительной ли-

\* Нитрат натрия — *лат.*



хорадкою; дети без присмотра матери простудились, так как все время с половины июля у нас постоянно была холодная и дождливая погода, и к довершению всего силы дедушки начали значительно упадать, и доктора не предвещали поправки их к осени. Словом, август застал у нас полный лазарет, и хотя я еще бодрствовал, но бессонные ночи и дневные тревоги среди больных видимо пошатнули и мое здоровье. Поэтому как за несколькими хорошими днями стала наступать дурная погода, мы поспешили переехать в город 10 августа, дедушка в свой дом на Ремесленной, а мы в свой на Гулевой. Но переезд в город, хотя облегчил возможность удобнее пользоваться пособием медиков, но не привел нас к желаемой цели. Дочь моя, хотя спаслась от прежней трудной болезни, но явилась необходимость пользоваться ее от прежнего лечения, именно от сильного приема каломели, а затем от новой сильной болезни — воспаления мочевого пузыря, от которой только теперь начинает получать она облегчение; а силы дедушки не только не поправились, но с каждым днем начали упадать, так что 14 августа он потерял вкус; с 15 началась постоянная спячка, и он потерял силу в руках, 16-го потерял почти совершенно способность говорить, 17-го сознание его ограничилось тем, что он мог отчетливо узнавать только мою жену, к которой постоянно благоволил и в последнее время часто называл именем своей матери — Верою Владимировною<sup>350</sup>, а 18-го не позволял, чтобы жена вышла из его комнаты, и когда к вечеру уснул, то часа чрез три или четыре, не раскрывая глаз, спросил, здесь ли моя жена. Ему отвечали, что здесь, и тотчас послали за нами; но новый сон его был уже последний сон, и о вечности его можно было догадаться только по совершенному прекращению всхрапываний, бывших в предыдущем сне. Так угасла жизнь дедушки, которая со времени паралича 9 марта 1865 года не представляла ему ничего радостного, лишив его употребления ног и сопровождаясь постепенным разложением организма. В последнее время дедушка очень был привержен к религии, часто служил молебны; но при всем этом упорно отклонял мысль о причащении, утешая себя тою мыслию, что как он начнет ходить, то будет говеть<sup>351</sup> как следует. Еще 18 августа он не согласился на предложение об этом моей жены, и жена решилась на хитрость, пригласив на 19-е число священника с образом Касперовской Богоматери<sup>352</sup> для служения молебна (на что согласен был и дедушка) и, предварив священника, чтобы он взял с собою и дары; то провидению угодно было, чтобы 19-го вместо молебна совершилась панихида<sup>353</sup>. Никифор все время находился при дедушке. Согласно желанию Никифора, я еще в мае месяце выхлопотал ему помещение в городскую богадельню, но дедушка пожелал, чтобы Никифор пользовался этим разрешением с 1 сентября, на что я и выхлопотал разрешение начальства богадельни. В Одессе богадельня образцовая из русских богаделен как по удобному в ней помещению, так и по хорошему содержанию призреваемых и притом без всякого различия так называемых благородных от неблагородных. Кроме того, всякий добровольный труд вознаграждается платою.

Дедушка оставил завещание 1861 года в пользу моей жены с обязательством употребить 400 руб[лей] на погребение, 150 руб[лей] на памятник, на поминание — по усердию и, кроме того, выдать: жившей при дедушке девице Наталии Афанасьевне Забудской 300 руб[лей] (Вы, может быть, помните эту девицу; она с незапамятных времен жила у всех моих родных и потом при бабушке и, наконец, при дедушке. Теперь переходит к своему брату — Павлоградскому исправнику); девице Вере Николиной — 200 руб[лей] и при дедушке бывшим людям из дворовых по 50 р[ублей]; им же и все движимое дедушки.

Последнее письмо Ваше я получил 16 августа и в то же время прочел его дедушке; но покойник, кажется, ничего не понял и смутно представлял себе от кого то письмо. Я утешаю себя надеждою, что смертью дедушки не порвется связь, давшая возможность мне получать Ваши письма, которые составят если не мое, то детей моих настоящее наследство и богатство. Я до сих пор писал Вам письма не франкированные<sup>354</sup> и признаюсь, меня это стесняло, но покойный дедушка меня уверил, что это делалось по Вашему распоряжению; поэтому мне хотелось бы привести в известность, не будет ли это стеснением для братства.

Жена моя свидетельствует Вам искреннее почтение. Она сама собиралась писать Вам обо всем этом, но, не успевши оправиться от болезни, она изнемогла в заботах при погребении и теперь страдает с больною дочерью, так что в последние дни дошла до изнеможения.

Поручая себя и семейство мое Вашим молитвам и памяти остаюсь искренно Ваш преданный

С. Поярков.

#### **№ 47. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову**

47 Lower Dominick Street  
Дублин  
23 сентября 1866

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Ваше письмо сообщило мне важное и грустное событие — смерть отца моего Сергея Пантелеевича. Впрочем, уже с прошлого года я был приготовлен к этому: плачевное состояние организма покойника не оставляло никакой надежды. Позвольте еще раз поблагодарить вас и вашу любезную супругу за ваши родственные попечения касательно души и тела покойника. Я теперь остаюсь круглым сиротою, и с моею смертью прекратится фамилия Печериных. Странная наша доля! У меня не было ни братьев, ни сестер, а двоюродный брат Федор Федорович не женился, вот так наш род и пропал! Но что мне говорить о себе, когда вы сами в таких хлопотах? Мне приятно слышать, что ваши супруга и меньшая дочь выздоравливают. Надеюсь, что это письмо найдет их в совершенном здоровье.

Наконец и нас посетила холера. Так как я заведую больницею, то вы можете себе представить, что и я не без хлопот днем и ночью. Впрочем, я не боюсь холеры и вовсе не верю ее заразительности. Она совершенно излечима, если захвачена вовремя. Большинство наших больных выздоравливает. В продолжение этих двух месяцев мы едва ли имели более 50 или 60 смертных случаев от холеры в неделю, что мне кажется очень незначительным для 300000-ного народонаселения.

Мне очень приятно будет продолжить с вами переписку, тем более что вы — последнее родственное звено, связывающее меня с Россиею. Других родных я не знаю. Ваш двоюродный брат Собко писал ко мне несколько лет назад<sup>355</sup>, когда я был еще в Лимерике; с тех пор я ничего о нем не слышал. Мне очень приятно слышать, что почтенный Никифор так хорошо пристроен. Он для меня теперь последняя развалина невозвратного прошедшего. Чем более мы живем, тем более теряем, и каждый шаг вперед обозначен развалинами. Я в больнице так привык к зрелищу смерти, что теперь совершенно равнодушно к ней отношусь. Счастлив, кто, умирая, может оставить по себе *следы на зыбучих песках времени*, как говорит поэт Лонгфелло<sup>356</sup>

“And departing leave behind us  
Footprints on the sands of time”\*

Прошу вас засвидетельствовать мое искреннее почтение вашей любезной супруге, и в ожидании скорых и приятных от вас известий пребываю

ваш искренно преданный  
В. Печерин.

#### № 48. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
28 марта 1867

Любезнейший племянник Савва Федосеевич!

Очень Вам благодарен, что Вы меня не забываете. Поздравляю Вас с новым годом и с новосельем. Как жалко, что я не знал, что вы будете в Петербурге! Я бы вас попросил навестить моего старого товарища по университету почтенного академика Никитенко, который уже два раза ко мне писал.

Признаюсь Вам, я завидую Вашей прекрасной деятельности: она наилучшая в теперешнем положении России. Вы одна из тех трудолюбивых пчел, которые лепят соты и созидают улей русского самоуправления.

Едва ли стоит говорить о здешних *фенианских* смутах<sup>357</sup>. Я просто сказал бы, что это буря в стакане воды, если б не было печальных последствий для частных лиц. Решительно ирландское племя неспособно ни к какому серьезному политическому развитию. Это одна из тех наций, которые никогда не выходят из детства. Знаменитый историк Рима *Момсен*<sup>358</sup> очень метко очертил характер кельтов<sup>359</sup>, какими они были во времена Кесаря<sup>360</sup> и какими останутся до скончания века: «Это, — говорит он, — любезная, поэтическая, рыцарская, но совершенно *беспользная* нация», т[о] е[сть], по-нашему сказать, ни к чему непригодная<sup>361</sup>. Недалеко от вас есть также нация, к которой можно применить эти же самые слова<sup>362</sup>.

Вы сами приглашаете меня продолжать мои записки. У меня к этому есть сильное побуждение. Жизнь быстро улетает. Мне хочется оставить по себе хоть какой-нибудь след. Может быть, когда меня не будет на свете, кто-нибудь случайно прочтет эти строки и, если у него есть человеческое сердце, он пожалеет обо мне и скажет: «Этот человек достоин был лучшей участи!».

При жизни батюшки неловко было писать о тех обстоятельствах, в которых заключается тайна моей жизни и без которых она осталась бы необъяснимою загадкою. Теперь надобно возвратиться назад в Одессу в 1815 г[од]. Я остановился на

---

\* В. С. Печерин цитирует строки из стихотворения Henry Wadsworth Longfellow “A Psalm of Life” («Псалом жизни»): “Lives of great men all remind us

We can make our lives sublime  
And, departing, leave behind us  
Footprints on the sands of time;”  
«Жизнь великих призывает  
Нас к великому идти,  
Чтоб в песках времен остался  
След и нашего пути» (пер. И. Бунина).

этих словах: «С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становлюсь посредником между тиранами и их жертвами». Теперь продолжаю.

По благому русскому обычаю отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как их драли в конюшне. Мать подсылала меня к отцу ходатайствовать за Ваську или Яшку. Я плакал, умолял, целовал руки у отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы... Но и мать моя сама была жертвою... Однажды она взяла меня за руку, повела в уголок и поставила на колени подле себя перед образом Св[ятого] Николая и со слезами сказала: «О, Св[ятой] Николай! ты видишь, как несправедливо с нами поступают!». Между тем в ближней комнате шла вечеринка. Песенники пели с бубнами и тарелками модную в то время песню:

Посреди войны кровавой  
Истреблю тебя, любовь!  
Разорву твой плен суровый  
И свободен буду вновь!

Но царицею этого праздника была не мать моя, а *другая*... Эта *другая* была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Тут я бросаю перо и невольно задумываюсь. Вот где узел моей жизни! Вот таинство судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмщающий за обиду не отца, а матери!<sup>363</sup> Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство *мести* овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание *отделаться* от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?

Мне было 12 лет в 1819 г[оду] в Дорогобуже. Я решился бежать во Францию. Какой-то офицер был женат на француженке, и они собирались ехать за границу. В день их отъезда я вышел за ворота и поджидал их. Как только они подъедут, — думал я, — я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: “Je suis un pauvre petit enfant — je veux aller en France — prenez moi avec vous!”\* Но никакой экипаж не проезжал, а далее ворот идти храбрости не стало. Но откуда же взялось это желание бежать во Францию? Неужели же от влияния французской литературы? Посмотрим.

Я начал учиться по-французски в 1817 г[оду] (т[о] е[сть] мне было 10 лет) у учителя народного училища<sup>364</sup> в Велиже Витебской губернии<sup>365</sup>. Первую французскую книгу я получил от одного из наших офицеров — это был роман Радклиф “La forêt”\*\*<sup>366</sup>. Потом дядя, Василий Петрович Симоновский<sup>367</sup>, прислал мне “Magazine des enfants”\*\*\*, который я изучил с величайшим наслаждением. В Дорогобуже я читал Телемака<sup>368</sup> и переводил его для маменьки. Тут же я читал трагедии Расина<sup>369</sup> и сам разыгрывал их на уединенной сцене. Неужели же эта литература могла иметь такое чрезвычайное влияние? Правда, с самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам — какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду. Правда и то, что в Дорогобуже это стремление было решительно к Франции. Всего забавнее, что в день рождества Христова, когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от *Гал-*

\* Я бедный ребенок, я хочу отправиться во Францию, возьмите меня с собою! — *фр.*

\*\* «Лес» — *фр.*

\*\*\* «Журнал для детей» — *фр.*

лов и с ними двадцатью язык<sup>370</sup>, я про себя молился за французов и просил Бога простить им, если они заблуждались!

Как трудно следить за этими тонкими нитями жизни! Какая тайна — развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? Зачем же оно не раскинулось шире и роскошнее? Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, может быть, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О, ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца!

1823–1825.

После смерти Кессмана отец мой, не знаю, как это сказать, почти меня возненавидел. Он считал меня способным ко всему дурному. Это можно некоторым образом объяснить насильственной смертью моего учителя и либеральными принципами, которые он мне внушил. Но были и другие причины. Около этого времени мать моя перехватила любовное письмо от вышеупомянутой полковницы Мольтрах к моему отцу и сама взялась на него отвечать, а меня заставила переписать набело. Вероятно, это каким-нибудь образом дошло до сведения отца и, разумеется, не улучшило наших взаимных отношений.

2-й батальон был отделен от полка и послан на военное поселение в Новомиргород Херсонской губернии<sup>371</sup>, а зиму мы провели в какой-то Комисаровке<sup>372</sup>, где нас буквально занесло снегом.

Я остался один без дружбы и любви. Мой ум принял серьезное направление. К счастью, я выучился по латыни в гимназии, а из библиотеки дедушки Симоновского<sup>373</sup> взял книгу — “Selectae Historiae”. Это было не что иное, как собрание изречений знаменитейших философов древности, особенно стоической школы<sup>374</sup>. Читая и перечитывая эту книгу, я пришел к заключению, что внутренняя доблесть и независимость духа прекраснее всего на свете — выше науки и искусства, лучше всего блеска богатств и почестей, и я сделался стоическим философом. Я и теперь думаю, что это единственная философская система, возможная в деспотической стране. Все великие римляне во время Империи<sup>375</sup> были стоиками. Но у нас между офицерами ходили по рукам и другие книги, например, «Сочинения Вольтера, переведенные на российский язык по приказанию ее имп[ераторского] вел[ичества] императрицы Екатерины II». Вот как в старину просвещали Россию! Каждое животное по инстинкту находит на пастбище пищу, свойственную его желудку. Вот так и я по какому-то инстинкту попал на статью Вольтера о *квакерах*, где он описывает их житьё-бытьё и восхваляет их добродетельные нравы. Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров<sup>376</sup>, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова штука? Вы смеетесь? «Какая колоссальная глупость!» А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьется как рыба на мели; не знает, куда ударить головою.

Как же я проводил время в этой Комисаровской пустыне? А вот как. Одним моим утешением был географический атлас. Бывало по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария,

\* «Избранные истории» — лат.

Англия! Воображение наполняло жизнью эти разноцветные четвероугольники и кружки — эти миры, департаменты, кантоны<sup>377</sup>.

«Ach, wie schön muss sich's ergehen  
Dort im ew'gen Sonnenschein»\*,

а сердце на крыльях пламенного желания летело в эти блаженные страны, и Шиллерово «Sehnsucht»<sup>\*\*\*</sup> переливалось в русские стихи:

«Ах, из сей долины тесной,  
Хладною покрытой мглой,  
Где найду исход чудесный?  
Сладкий где найду покой?»<sup>378</sup>

Так проходили дни, а по вечерам повторялась одна и та же скучная история. В седьмом часу приходит ординарец или как его звали и рапортует: «Ваше высокоблагородие<sup>379</sup>! все обстоит благополучно, нового ничего нет»; потом пол-оборота направо и марш. Остаются действующие лица: отец, адъютант и я. Отец ходит взад и вперед по комнате, адъютант стоит в почтительном расстоянии у дверей и не смеет садиться, я сижу на скамье. Переливается из пустого в порожнее. Да о чем же говорить в этой глуши, где не было ни журналов, ни газет, ни каких-либо книг, кроме вышереченных? Сколько тут накопилось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России? Да из-за чего же было мне любить Россию? У меня не было ни кола, ни двора — я был номадом<sup>\*\*\*</sup>, я кочевал в Херсонской степи — не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний, родина была для меня просто тюрьмою без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. Неудивительно, что впоследствии, когда я выучился по-английски, Байрон сделался моим задушевым поэтом. Я напал на него как голодный человек на обильную пищу. Ах! как она была мне по вкусу! Как я упивался его ненавистью! Как я читал и перечитывал его знаменитое прощание Англии: «Adieu, Adieu! my native shore!»<sup>\*\*\*\*</sup> Как часто я говорил с ним: «О быстрый мой корабль! носи меня, куда хочешь, но только не назад на родину!»<sup>\*\*\*\*\*</sup> Неудивительно, что в припадке этого байронизма я написал (в Берлине) эти безумные строки:

\* «О предел очарованья!

Как прелестна там весна!» — *нем.*

Ф. Шиллер. «Желание» (пер. В. А. Жуковского).

\*\* «Желание» — *нем.*

\*\*\* Кочевник (от *греч.* *nomas*).

\*\*\*\* Дословно: «Прощай! прощай! мой родной берег!» — *англ.*

Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда». I. XIII. 1.

В русском переводе В. Левика звучит:

«Прости, прости! Все крепнет шквал,

Все выше вал встает,

И берег Англии пропал

Среди кипящих вод».

\*\*\*\*\* Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда». I, XIII, 10.

В русском переводе В. Левика:

«Наперекор грозе и мгле

В дорогу, рулевой!

Веди корабль к любой земле,

Но только не к родной!»

«Как сладостно отчизну ненавидеть  
И жадно ждать ее уничтоженья,  
И в разрушении отчизны видеть  
Всемирного денницу возрожденья!»<sup>380</sup>

Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение! Вот молодой человек 18 лет с дарованиями, с высокими стремлениями, с жаждою знания, и вот он послан на заточение в Комисаровскую пустыню один без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем! Ужасное положение!

А вот вам и другая картина! В Англии, в Америке — молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родись он хоть в какой-нибудь Калифорнии или Орегоне<sup>381</sup> — все ж у него под рукою все подспорья цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с ее славными борьбами и высокими наградами — выбирай, что хочешь! нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспрестанно ему кричит: вперед! go-ahead! Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне!<sup>382</sup> А я в 18 лет едва-едва прозябал как былинка, кое-как пробивался из тьмы на божий свет; но и тут едва я поднимал голову, меня ошеломляли русскою дубиною. Моя судьба висела на волоске. Не будь мать, которая непременно хотела мне дать наилучшее воспитание, отец давно уж бы записал меня в военную службу, а там я, уж, несомненно, бы погиб и физически и нравственно. Я все просился в университет. Отец однажды сказал мне: «Вот я тебе дам 500 рублей, поезжай в Харьков и купи себе диплом»<sup>383</sup>. Боже милосердный! Можете себе представить, с каким негодованием я принял это предложение. Я не диплома искал, а науки. Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить *человека*, а у нас об одном хлопочут — как бы сделать *чиновника*, а после этого хоть трава не расти.

Вечное правосудие! Я предстану пред твоим престолом и спрошу тебя: «Зачем же так несправедливо со мною поступлено? За что же меня сослали в Сибирь с самого детства? Зачем убили цвет моей юности в Херсонской степи и Петербургской кордегардии»<sup>384</sup>? За что? За какие грехи?» Безумие! Фразы! Риторика<sup>385</sup>! На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять голову. Никому нет привилегии. Попал под закон — ну так и неси последствия. Это — закон географической широты. Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом<sup>386</sup> под небом Сицилии!

В Новомиргороде случилось событие. Боже мой! От каких безделиц зависит судьба человека! И как осторожны должны быть отцы семейств в своих словах и действиях! Однажды в соседней комнате за тонкою перегородкою я слышал разговор отца с матерью. Я вовсе не хотел подслушивать, но мне невозможно было не слышать. Мать жаловалась, что какие-то серебряные ложки пропали, нигде их не можно найти. Отец тотчас же подхватил: «А кто знает? может быть, они понадобились Владимиру Сергеевичу для его мелких издержек». Мать так и ахнула от

ужаса. «Как же возможно говорить подобные вещи!» — сказала она. Действительно, это были слова *ужасающего* легкомыслия, чтобы не сказать чего-нибудь похуже. Подобные обиды не прощаются. После этого уж никакое примирение не было возможно. Первая мысль моя была: тотчас же бежать. Бежать? Но куда? Как? Из России-то бежать? Да еще из Херсонской губернии? Вторая мысль: я торжественно поклялся, что если когда-либо выеду из родительского дома, то никогда ни под каким предлогом в него не возвращусь. Теперь этому почти 42 года прошло, и вы видите, как славно я сдержал свое слово!

Наконец настал благословенный 1825 год. Дядя Ильин<sup>387</sup> вызвал меня в Петербург. Ужасно холодно и натянуто было мое прощание с отцом. Выходя из ворот, лошади каким-то странным образом попятились. Никифор тотчас же заметил: «Это значит, что *он* не воротится назад!» Говорите же теперь против народных поверий! Маменька провожала меня до Олишевки, где жил дядя Шрамченко<sup>388</sup>. С горькими слезами я простился с нею и, разумеется, навсегда!

Прошло 10 лет. Я возвращался из Берлина в Россию<sup>389</sup> с отчаянием в душе и с твердым намерением уехать за границу при первом благоприятном случае. Как меня ожидали в Одессе! После десятилетней разлуки приятно было родителям увидеть сына, так хорошо окончившего свое учебное поприще: окончив с успехом курс в университете, я побывал за границею и теперь ехал в Москву на место профессора с отличным жалованием. Чего бы, кажется, лучше желать по русским понятиям? Вот так меня с нетерпением ожидали к летним ваканциям (1836). Но когда я подумал, что надобно возвратиться в прежний домашний быт, увидеть всю обстановку провинциальной русской жизни, передо мною поднялась высокая непреодолимая стена. Невозможно! Невозможно! Невозможно! Одно меня смущало: я знал, что это нанесет жестокий удар сердцу матери... но и в этой борьбе я одолел! Надобно было обмануть родителей! Я написал к ним, что необходимые дела призывают меня в Берлин, но что я заеду к ним на обратном пути через Вену<sup>390</sup>. Надобно было также провести начальство. Я подал просьбу об отпуске в Берлин «для свидания с одним семейством, с которым я связан тесными узами»<sup>391</sup>. Из этого тотчас заключили, что я намерен жениться<sup>392</sup>. Благодушный попечитель граф Строганов<sup>393</sup>, потирая руками, сказал профессорам: «Я этому очень рад, это его *успокоит* и сделает более оседлым». А Каченовский<sup>394</sup> тут же в университете, смеясь, сказал мне: «Ведь это что-то вроде Ломоносова»<sup>395</sup>. В день заседания Университетского Совета по поводу моей просьбы<sup>396</sup> я был бледен как полотно, мне почти сделалось дурно, я должен был спросить у сторожа стакан воды. Действительно, для меня это был вопрос жизни и смерти<sup>397</sup>... Но все кончилось благополучно, и в половине мая 1836 я выехал из ненавистной мне Москвы<sup>398</sup>.

В январе следующего года (1837) я получил в Цюрихе<sup>399</sup> письмо от гр[афа] Строганова<sup>400</sup>, которое доселе храню как памятник благороднейшего и честнейшего человека. Я со временем вам его перешлю. В 1838 году я странствовал по Франции. На мне всего была одна рубашка и изношенная блуза, а в кармане полфранка. При мне было письмо Строганова. Но, несмотря на мое крайнее положение, я никогда, ни на одну минуту не имел поползновения воспользоваться этим письмом, которое давало мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Такова была моя непреклонная воля не возвращаться в Россию!

Вот так-то я потерял все, чем человек дорожит в жизни: отечество, семейство, состояние, гражданские права, положение в обществе — все, все! Но зато



я сохранил достоинство человека и независимость духа. Смотрю назад, и мне кажется, что я не могу найти в моей жизни ни одного поступка, сделанного из каких-либо корыстных видов. Я просто донкихотствовал; я вечно воевал из-за идеи, точь-в-точь как Наполеон III, с тем только различием, что я не приобрел ни Савойи, ни Ниццы<sup>401</sup>.

Этим я оканчиваю сказание о моей жизни в России,

«...где я страдал, где я любил,  
где счастье я похоронил».  
(Пушкин)<sup>402</sup>.

Примите эти строки как знак моего искреннего уважения и сердечного доверия. Надеюсь, что Ваша любезная супруга и милые дети, слава Богу, здоровы. Поручаю себя Вашему родственному воспоминанию,

Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### № 49. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Курск  
15 июля 1867

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Настоящий день дорог для меня по двум воспоминаниям: как день Вашего ангела, с чем от души поздравляю Вас, и как день тезоименитства<sup>403</sup> того университета, в стенах которого я услышал звуки науки, долетевшие до России. Киев дорог по воспоминаниям и для Вас и для меня; но в мое время встречались уже личности, достойные памяти. Так, известный русский цивилист Неволин<sup>404</sup> и пуританин науки криминалист Богородский<sup>405</sup>. Но с того времени (1844–8) прошло уже двадцать лет, и с какою грустью приходится сознаться, что добросовестный труд этих честных тружеников науки, как и тех, которые составили себе имя в других университетах, не принес плодов; он не дал России юристов. Вся беда в том, что как Бецкий<sup>406</sup>, желая улучшить породу россиян, формировал Шляхетский корпус<sup>407</sup> и Смольный монастырь<sup>408</sup>, чтобы посредством браков воспитанников и воспитанниц из этих заведений между собою достигнуть означенного улучшения русской породы<sup>409</sup>, так и Сперанский<sup>410</sup>, взяв тружеников духовных заведений<sup>411</sup>, где всякое головное обогащение воспроизводилось чрез физическое *infandum dolorem*\*, и бросил этих юношей в разгар контроверз\*\* немецкой науки, юношей, не знавших ни окружающей жизни, ни степени развития оной и сразу попавших в омут смут немецкой науки, в спор Тибо и Савиньи<sup>412</sup>; поэтому, не разобрав, кто прав из спорящих, будущие проводники науки права в России усвоили себе взгляд того и другого из спорщиков и создали в России историко-философствующее направление юриспруденции, оставив в совершенном пренебрежении самое право, то есть догматическую его часть. Такое направление науки права сохранилось у нас до сих пор, и хотя такие люди как Неволин могли воспроизвести капитальный труд как, напр[имер], историко-русских гражданских законов<sup>413</sup>, но все последователи его несмотря на гряду

\* Невыразимая скорбь — *лат.* Цитата из поэмы Вергилия «Энеида», II, 3–8.

\*\* Контроверза (от *лат.* *controversia*) — разногласие, спор.

юридических сочинений занимались только толчением воды и бесплодным обременением головы читателей. Этот вред историко-философствующих законовцев на Руси не был замечен при старых закрытых судах, труд коих, часто самый добросовестный, но бесплодный, покрыт был общим отзывом подкупа. С введением же гласных судов судьи вдруг стали лицом к лицу не с историею и философиєю права, а с самим правом, и при неполноте наших законов, не имеющих никаких общих правовых определений, поставлены в самое конфузное положение. Буквальное применение законов в большей части случаев оказалось немыслимо, а догматической подготовки в праве воспитанием не предусмотрено; а между тем жизнь не ждет. Вот наше положение.

18 июля

Я медлил ответом на последнее Ваше письмо и [нрзб] писал Вам только о Нелидове и его жилище<sup>414</sup>. Я и теперь затрудняюсь отвечать на Ваше письмо, потому что вполне понимаю, какие тяжелые чувства бужу в Вашем воспоминании о детской обстановке. Мне тем труднее взяться за это, потому что придется сознаться, что и конец был продолжением начала. Чтобы слова мои не показались неправдою, прилагаю при сем случайно уцелевшую у меня из груды подобных записок последних годов<sup>415</sup>. Я вполне понимаю главную причину оставления Вами России. Картина обстановки Вашей в домашнем быту так наглядна, что не только Вы бы не примирились с нею до сих пор, но даже для нас было более нежели тяжело, для нас, где в большей части окружающее того же колорита. Но Вы предпочли дышать чистым воздухом, и я с нетерпением жду продолжения Ваших писем. Все письма Ваши до сих пор были живою картиною мне знакомого. Теперь наступает сфера для меня новая. Вы там, где по общему говору руководятся *non ratione imperii, sed rationis imperio*\*. Судьбой не суждено мне даже взглянуть на европейскую жизнь. Проехать праздным туристом, не говоря уже о расходах, меня не манит; а пожить за границею, чтобы понять действительный смысл жизни, мне не удастся. Я не смотрю на европейскую жизнь как на трон справедливости; а из прочитанного убеждаюсь, что Кант прав, говоря: *Billigkeit ist eine stumme Gottheit, die nicht gehört werden kann*\*\*; но мне хотелось бы сравнить разумность этой жизни с нашим живется. Вот почему второй период Ваших писем манит меня неотразимым обаянием. Вы вникли в эту жизнь, сроднились с нею; Вы перечувствовали ее во всех ее проявлениях, и при всем этом Вы богаты сравнением, хотя с давно прошедшею, но мало осмыслившеюся жизнью моей родины. Объективное описание посетителя Европы не говорит ничего; но выражение субъективной Вашей жизни, Вашего прожитого «я» среди новой обстановки под новыми впечатлениями, заставлявшими вдумываться в них и воспринимать уже осмысленными, такое описание, как вообще Ваши письма, заставлявшие меня призадумываться среди знакомой уже мне обстановки, составляют ненасытимый предмет моих желаний и то дорогое для меня наследие, которого я у Вас прошу, о котором Вас умоляю.

Жена моя уехала на лето в Дымерку<sup>416</sup> к Подвысоцким. Кирилл Иванович умер уже давно. Тетенька Анастасия Васильевна слишком слаба. У них три сына, к сожалению, ни один не окончивший курса наук, и дочь, которая теперь выходит замуж<sup>417</sup>.

\* Не разумом власти, но властью разума — *лат.*

\*\* Справедливость — безмолвное божество, которое не может быть услышано — *нем.*

Жена моя с детьми там с конца мая. Если мне позволит время, то и я собираюсь в августе съездить к ним на неделю за женою, что при наших дорогах составляет величайший подвиг, тем более что это аккурат 400 верст.

Поручая себя Вашей памяти и благословиению, еще раз прошу Вас неотступно о продолжении Ваших писем. Ваш племянник

С. Поярко.

## № 50. В. С. Печерин — С. Ф. Поярко

47 Lower Dominick Street  
Дублин  
22 августа 1867

Любезнейший племянник Савва Федосеевич.

Благодарю вас и за поздравление меня с днем ангела и за ваши два письма, из которых первое особенно для меня интересно. Как я сочувствую этой несчастной девушке! Мне кажется, как будто она мне родная! Вот еще жертва русского дворянского быта или, лучше сказать, немецко-татарского формализма! Ведь это просто вопиющее на небо душегубство.

Наконец г[осподин] Склифасовский посетил меня в прошлом месяце. Очень вам благодарен за это приятное знакомство. Этот молодой человек сделал бы честь самой образованной стране. Я уверен, что ему предстоит блестящая карьера в России. Он пробыл здесь только два дня, так как после Парижа и Лондона здесь нечего ему было делать. Он доставил мне прекрасный подарок вашей супруги, за который прошу вас поблагодарить ее от меня.

Какое вы слово написали: Д и м е р к а! Ведь это колыбель вашей покойной матушки, да и мне пришлось там же родиться в 1807 г[оду], когда мать моя гостила у Подвысоцких. Сколько воспоминаний! Я очень хорошо помню большой деревянный дом с широким двором и аллею из урезанных липок или елок, а за нею на окраине леса мельницу, приводимую в движение лошадьми или волами. Сколько я мечтал в этом лесу, на этих лугах! И тут меня посещали *духи*. В библиотеке старика Ивана Андреича<sup>418</sup> я нашел «Исповедь» Руссо<sup>419</sup> в русском переводе: она имела на меня громадное влияние. Руссо как будто везде за мною следил. Вот могущество *мысли*! Как ее обуздать? как от нее ускользнуть? Тут не помогут ни цензура, ни тюрьма, ни штыки. Как электричество она пробегает неизмеримое пространство; как тончайший эфир она все проникает и разъедает. Одна *мысль* истинно свободна и бессмертна!

Знакомы ли вы с братом Н. В. Симоновским<sup>420</sup>? Он, кажется, в отставке, живет в Кобыще<sup>421</sup>. 2-й вопрос: возвратитесь ли вы когда-либо в Одессу? Мне хотелось бы, чтобы вы увиделись с г[осподином] Склифасовским.

Если вы читаете газеты и следите за нашими *мирными* переворотами, то теперь вы уже знаете, что *билль о реформе*<sup>422</sup> прошел через обе палаты и получил утверждение королевы. Ведь это громадная революция! Народное представительство расширено до крайних пределов демократии. И все это состоялось без малейшего потрясения, с какою-то светлою гармониею. Обе стороны — аристократия и народ — показали удивительный дух соглашения и взаимной уступчивости. Какой-то французик, проходя мимо Гайд-парка<sup>423</sup>, где каких-нибудь 50 тысяч народа в совершенном порядке и спокойствии слушали разных ораторов о реформе-билле, с улыбкою

презрения сказал: *ça n'est pas dangereux*\*! Он, разумеется, про себя думал: у нас, мол, не так бы поступили, у нас весь этот народ сразу бы бросился за баррикады, да и пошла бы резня! Это сушая правда. Во Франции подобная реформа не обошлась бы без кровопролития. В одной Англии умеют соединять неограниченную свободу с совершенным порядком. Английский народ в полном сознании правды и силы отстаивает свои права с какою-то благородною сдержанностью, с каким-то величавым спокойствием. Это происходит оттого, что, 1-е, он очень ясно понимает, чего хочет, а 2-е, потому, что он вполне уверен, что никакое правительство не дерзнет сопротивляться его справедливым требованиям. Недавно я говорил об этом с одним бывшим членом парламента; он мне сказал: «Ни при каких обстоятельствах революция в Англии невозможна, она просто немыслима!» Итак, отложив в сторону все предрассудки, преклоните с благоговением главу перед государственною мудростью английского народа.

Так как Харьков недалеко от вас, то не можно ли вам собрать сведения о бывшей там итальянской труппе и особенно о девице Signora Corani (Корани). Она ирландка. Ее тетка была у меня: эта женщина в отчаянии, не получая никаких известий от племянницы. Она несколько раз писала к ней, адресуя письма к ее банкиру в Одессе, но не получила ответа. Если есть возможность справиться о ней, вы крайне обяжете и меня и ее родных.

Очень хорошо помню Неволина и Богородского. Они были моими товарищами в Берлине. Также совершенно понимаю неудачу тогдашнего Профессорского Института. Да и теперь, по словам г[осподина] Склифасовского, выборы посылаемых за границу не очень-то удачны. Да что же это за напасть такая? Ничто нам не удастся. А все это от того, что все делается *сверху* по высочайшему приказанию. *Сверху* ничего доброго не бывает. Помилуйте! Ведь деревья же не падают с неба, ниспосланные какою-то высочайшею рукою, а просто естественным образом вырастают из почвы и приносят плоды сообразные почве. Вот эту притчу не худо бы применить к русским порядкам.

Прощайте покамест. В будущем месяце я пришлю вам другой отрывок.

Ваш В. Печерин.

## № 51. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

13 сент[ября] 1867

Мой милый Печерин! Можешь ли ты поверить или, пожалуй, не кажется ли тебе вероятным, что я больше ста раз писал к тебе мысленно и почти в два года не собрался написать письмо на бумаге? Одно может тебя уверить, что и теперь я пишу не по каким-нибудь внешним причинам, а единственно по внутреннему требованию откликнуться тебе и спросить, как ты поживаешь? В продолжение того времени, как я к тебе не писал, у нас в Москве образовался Московский Купеческий Банк<sup>424</sup>, при образовании которого я был весьма деятельным рабочим. Потом едва только правительство утвердило его, меня избрали его председателем. Дело это у нас новое, поэтому оно потребовало едва только не неусышной работы, по крайней мере, неусышной заботы. Но и это я не считаю оправданием; потому что когда непременно

\* Это не опасно! — *фр.*

хочешь писать, тогда время выкроишь. Наши с тобой сношения прекратились так надолго, что по возобновлении их сделалась больше душевная потребность, чем внешняя необходимость знать друг о друге. Я все собирался и собираюсь в Англию: полагаю, что или зимою, или весною пушусь туда за деньгами для продолжения дороги, тогда, разумеется, тотчас же помчу к тебе. Теперь я с утра до вечера, именно с 9 часов утра до 9 часов вечера, иногда и позже, все в цифрах и цифрах. Банк идет превосходно — искренно тебе скажу, что меня привязывает к нему сознание его необходимости, с одной стороны, и дань тому общественному доверию, которое избрало меня во главу такого большого предприятия. Едва только разрешат продолжение дороги до Ярославля, как тотчас же я оставлю Банк, чтоб всю свою деятельность отдать железной дороге. Не можешь ты себе представить, как благотельно действуют железные дороги на Россию. Число пассажиров год от году увеличивается, масса грузов растет не по дням, а по часам. Все это цифрами указывает на увеличение удобств и на удешевление переезда и перевозки товаров; все это показывает, что число учащихя практическому праву равенства сословий растет ежедневно. В это же время непроизводительный труд гужевой перевозки видимо уменьшается. Земли столько, что рабочий еще на целые столетия найдет себе пропитание.

Прости, мой милый Печерин, что я тебя занимаю тем, что может быть в настоящей твоей жизни тебе совершенно чуждо. Что у кого болит, тот о том и говорит. Ты теперь в полнейшем уединении, не знаю, доходят ли до тебя наши газеты, особенно московские, именно «Московские Ведомости», и потом газета, в основании которой я принимал самое живое участие — «Москва»<sup>425</sup>. Если тебе есть желание получать последнюю, то напиши мне с полным твоим адресом, я тебе ее велю послать. Очень хотелось бы потом слышать от тебя, как ты смотришь на сближение Англиканской церкви с нашею<sup>426</sup>; — но это вопрос мимоходом, да не смущает он тебя!

На днях был у меня наш старый товарищ или полутоварищ, потому что он собственно из профессорского института, Федотов<sup>427</sup>; он очень припоминал о тебе и просил тебе кланяться.

Пожалуйста, напиши-ка мне и не сердись за мое долгое неписание; скорое письмо твое вызовет и от меня скорый ответ. Истинно дружески обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижев.

Адрес: в правление Московско-Ярославской железной дороги. В Москве.

## № 52. С. Ф. Поярко́в — В. С. Печерину

Курск  
25 сентября 1867

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Я пробыл в Дымерке гораздо более, чем рассчитывал. Дымерка полна и для меня воспоминаний. Как мое детство, так и детство моих кузенов Собко и Бакуринских<sup>428</sup> протекло в Дымерке. С 1849 года я не был там и только в 1856 году мимоходом пробыл зимою дня два; теперь я прожил более двух недель (жена и дети жили там с мая) и, пользуясь летним временем, освежил в памяти своей все воспоминация детства. Иных уже многих нет, а те, что живы, или примяты судьбою, или влачат кое-как жизнь по своей вине. Все сыновья Кирилла Ивановича вышли плохо; ни один из них не кончил курса воспитания. Старший Николай лет уже 40 живет в деревне и ровно, что говорится, ничего не делает, и с освобождением крестьян

лишен даже утех помещичьего права. Меньшие Иван и Петр совершенно взрослые, хотя и занимаются хозяйством один в Крещатом, а другой в Дымерке, но тем патриархальным порядком, который при 2500 десятинах земли едва только дает семейству средства к жизни; дочь Анна вышла сим летом замуж за порядочного человека Оленич-Гнененко, но не привыкшая ни к каким занятиям едва ли составит счастье мужа. Настасья Васильевна, хотя еще и не преклонных лет, но едва ли переживет настоящий год; все лето она не вставала с постели и до того изменилась от болезни, что я не узнал ее. Внешняя же обстановка Дымерки несколько не изменилась. Тот же дом, правда, перестроенный, но в том же виде, окруженный болотом и лесом; тот же громадный сад, только сильно запущенный; та же двухверстная аллея чрез лес к дому; тот же окоп, т[о] е[сть] лес, окопанный рвом, куда все обитатели Дымерки всех поколений непременно ходили собирать грибы. Все службы у дома еще времен Вашего пребывания в Дымерке. Правда, все это сильно говорит воспоминанию и как-то охотно и уютно вновь оживаешься с этою обстановкою; но если взглянуть холодным оком на эту неизменность, то как-то тяжело становится за обитателей этих руин. По крайней мере я испытал то же чувство, какое испытал при виде Чигирина и Батурина<sup>429</sup>, бывших резиденций малороссийских гетманов, сравнивая описание этих столиц с настоящим их видом.

Из Собков остались только Петр и Яков. Петр, инженерный полковник, честь нашего рода и как благородный человек и как высокоученый, составивший себе своими трудами европейскую известность<sup>430</sup>. Но у каждого человека есть свой крест, и у Петра этот крест — жена. При тех беспредельных чувствах любви и уважения, коими пользуется Петр от всех (он начальник Петербургско-Варшавской железной дороги<sup>431</sup>), дома у него сущий ад. Зато жена Якова (урожденная серпуховская богатая помещица Степанова) примерная женщина; но Яков, хотя человек и неглупый, как-то пошел плохо; потерял все по службе<sup>432</sup>, и после 20-летней семейной жизни жена не признала возможным более с ним жить. Теперь он скитается по разным городам и пробавляется мелкими подрядами, а жена с детьми живет в Москве. Из Бакуринских остались Кирилл и Варвара. Кирилл хорошо женат и служит начальником шоссе на Волыни; а Варвара, как Вам известно, замужем за Дмитрием Петровичем (нрзб) лет уже 20. Семейная жизнь их тоже не сложилась, и старик муж лет за 70 слишком терпит от ревнивой жены, которая читает целое утро акафист<sup>433</sup>, а потом весь день дерется.

Вот Вам наша родственная обстановка, утешительная тем, что все же в ней есть два лица, далеко выше уровня, лица, коим от души шлешь дань уважения, это Петр и жена Якова.

С Н. В. Симоновским я не знаком. Все помыслы мои направлены к возвращению в Одессу. Не знаю, как это сбудется; но ради Одессы я подчинился желанию министра прозябать в Курске<sup>434</sup>. В Одессе мои друзья и мои симпатии, и с открытием там судебной реформы мне хотелось бы перейти туда. Я думаю, что в Курске много придется пробыть, еще не менее года. Я полагаю быть в Петербурге в конце октября и в бытность свою там яснее определить свои виды. Я очень буду рад, если Вы мне дадите поручение в Петербурге.

Синьора Корани провела летом полтора месяца в Курске и имела громадный успех. Она не принадлежит к составу Харьковской Итальянской труппы и в Курске была с матерью, а дебютировала с участием любителей. Она хотела поступить на Московскую сцену, даже на Петербургскую, но голос ее не представляет к тому дан-

ных, и ей все отсоветовали. Я собираю сведения о настоящем ее местопребывании. В настоящее время в Харькове ее нет. Надеюсь о результатах своих поисков скоро Вас уведомить.

О выборах молодых людей, посылаемых за границу, вот что известно. Из 50 человек, посланных во время министерства Головнина<sup>435</sup>, два оказались способными<sup>436</sup>. Время с 1862 по 1865 год было тяжелое для России. Никогда так удачно и высоко не проникала крамола, как в то время<sup>437</sup>. Это был какой-то очарованный сон, по виду приятный, по результатам гибельный. Каракозов пробудил от чародейственного сна. Многое сделалось ясным. История минувшего пятилетия — замечательный эпизод.

Поручая себя и семейство мое Вашим молитвам, остаюсь преданным и любящим Вас племянником

С. Пояркоу.

### № 53. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

5 октября (23 сентября) 1867

Любезный Чижов! Совсем неожиданно и к крайнему моему удовольствию получил я твое письмо. Я никак не мог объяснить себе твоего долгого молчания. Теперь я понимаю его и душевно поздравляю тебя с твоею новою деятельностью: она тем более меня радует, что по твоим же словам она выражает общественное к тебе доверие. Я живу по-прежнему — сегодня как вчера<sup>438</sup> — *au jour le jour*\*. Впрочем, я знаю все, что делается в России, даже твою речь на славянском пиру читал<sup>439</sup>. Несмотря на дороговизну, я выписываю «Голос» просто оттого, что чтение русского слова сделалось для меня первою жизненною потребностью. Если можешь прислать мне «Москву», то буду тебе очень-очень благодарен (полный адрес мой на заглавии письма). Пожалуйста, поклонись от меня г[осподину] Аксакову. Я искренно его уважаю. Мне ужасно хотелось было поздравить его с *третьим предостережением*<sup>440</sup>: оно в глазах моих равносильно тому гражданскому венцу, которым Рим украшал достойнейших из своих сынов.

Я переслал уже несколько листов моих записок к моему племяннику г[осподину] Пояркоу. Не знаю, найдет ли он возможность напечатать их где-нибудь. Впрочем, он не литератор, а юрист и теперь по поручению министра занят учреждением муниципального управления в Курске. У меня есть еще маленькая тетрадка записок на французском языке (в 50-х годах)<sup>441</sup>. Я их тебе передам при нашем свидании.

Я давно уже слышу о каких-то тайных переговорах между англиканскою церковью и нашими иерархами. Оно понятно, что для этой церкви в теперешнем ее шатком положении не худо было бы опереться на русского колосса. Впрочем, этот вопрос меня очень мало занимает, потому что откровенно тебе скажу, я уверен, что *время церквей прошло*. С развитием науки религия более и более удаляется в глубину внутреннего сознания. Каждому человеку должна быть предоставлена полная воля верить, во что ему угодно, а государство должно окончательно отказаться от всякого вмешательства в дела совести. При теперешнем развитии ума религия

\* Со дня на день — фр.

может существовать только в том виде, в каком она теперь в Америке и частью в Англии. О *единой спасающей* церкви и вопроса быть не может. Разумеется, есть Дон Кихоты католицизма, как, напр[имер], Гагарин и Мартынов<sup>442</sup>: они усердно заботятся об *обращении* России. Ведь это курам на смех. Надобно хоть мало-мальски знать историю и характер русского народа, чтобы понять всю нелепость этой идеи. Недавно посетил меня здесь очень любезный и высокообразованный молодой человек доктор *Склифасовский* из Одессы. Он привез мне письмо от племянницы<sup>443</sup>. Он отличный хирург, известный уже своими операциями. Мне кажется, ему предстоит блестящая будущность. Вот с ним-то я толковал о религиозном вопросе и нашел, что он представляет образованнейшую часть русского общества. Он учился в Москве и знает Иноземцева<sup>444</sup>. Кстати, знал ли ты Чивилева<sup>445</sup>? Он был с нами в Берлине<sup>446</sup>. Мне часто хотелось справиться о нем — где он и что делает. И что же? Вчера получаю «Голос» и читаю, что он *сгорел дотла* в пожаре Царскосельского дворца<sup>447</sup>! Какая участь! Он был наставником великого князя<sup>448</sup>.

Итак, я считаю, наверное, увидеться с тобою. Вот так и оправдается русская поговорка: гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдется. Я теперь пишу отрывок из моей петербургской жизни. Вот покамест начало<sup>449</sup>.

Твой В. Печерин.

#### № 54. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street

Dublin

9 (21) октября 1867

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Не знаю, застанет ли вас письмо мое в Курске, но на всякий случай пишу, чтобы просить вас: если поедете через Москву, потрудитесь зайти к Федору Васильевичу Чижову. Вы его найдете в правлении Московско-Ярославской железной дороги, которой он директором. Он старый друг, мой товарищ по университету. Он обещал приехать сюда будущей зимою или весною. Скажите ему, что я его с нетерпением ожидаю. Он участвует в издании газеты «Москва». А в Петербурге я просил бы вас, если время позволит, навестить Александра Васильевича *Никитенко*, члена Императорской Академии Наук; он также мой товарищ по университету и писал ко мне два года назад. Он живет у Владимирской церкви<sup>450</sup> в доме барона Фридрикса<sup>451</sup>. Вот вам куча поручений, но вы, пожалуйста, не затрудняйтесь ими. Я упомянул их только так, на случай, если найдется у вас время.

Благодарю вас за все подробности о Димерке и наших родных. А ведь грустно слышать, как у нас люди *гибнут* в провинции. Будь они в Англии или в Америке, эти самые господа поневоле сделались бы полезными общественными деятелями. Даже в этой бедной и бестолковой Ирландии сельский помещик все же не остается праздным. Иногда он бьется изо всех сил, чтобы как-нибудь попасть в парламент; или занимается патриотическою агитациею, пишет в журналах, разглагольствует на политических обедах; исправляет должность мирового судьи или какого-нибудь другого магистрата в своем уезде<sup>452</sup>; или охотится и занимается улучшением земледелия в своем поместье; ну а если здесь ему не удастся, он переселяется в Америку на золотые руды Калифорнии<sup>453</sup> и делается иногда миллионером. А как же это так просто ничего не делать? ведь этого мы здесь вовсе не понимаем. У вас без сомнения



смеются над американцами, что у них какой-нибудь мальчуган 8 лет, а уже имеет ремесло и только о том и думает, как бы зашибить копейку. А в этом-то именно и заключается тайна свободы и благоденствия американской республики. Там никто ничего не ожидает ни от правительства, ни от отца и матери, ни от богатой невесты, а просто полагается на самого себя, на энергию своего ума и силу своих мышц. По старым монархическим понятиям, разумеется, дворянину стыдно работать или вообще чем бы то ни было заниматься: покутить и подраться — вот его дело! Это настоящие рыцарские понятия! А женщина по этим же понятиям должна быть просто куклою: так вот ее нарядить в ленты и кружева, да поиграть с нею, а она ни к чему больше не годится. Когда же, наконец, у нас поймут эту аксиому, что краеугольный камень современного государственного строя есть труд, труд, труд, самостоятельный неусыпный личный труд! Без этого личного независимого труда не может быть ни свободы, ни благоустройства, а будут только чиновники и шалуны. Иногда говорят против английской аристократии. Да знаете ли вы, что в Англии государственные люди работают хуже всякого поденщика. Тут некогда думать о шалостях, когда судьба министра висит на волоске: за малейший промах вся нация восстанет против него и накажет его бичом общественного мнения. В Англии даже есть пословица — *time is money*\* — время равносильно деньгам. Каждая минута чего-нибудь стоит. В каждую минуту можно выиграть и проиграть. Я не знаю страны, где более растрачивается время, как в России. Просидеть несколько часов, переливая из пустого в порожнее, это нигде немислимо, кроме России.

Благодарю вас за известие о синьоре Корани: это будет большим утешением для ее родных.

Здесь все обстоит благополучно. Католическое духовенство ищет не свободы и равных прав, а совершенного преобладания в стране<sup>454</sup>; как же после этого можно ожидать, чтобы народ был спокоен и предан правительству? Это та же история, что и в Польше<sup>455</sup>.

Поклонитесь от меня вашей любезной супруге и обнимите за меня ваших милых детей. Счастливого пути!

Ваш преданный  
В. Печерин.

## № 55. А. В. Никитенко — В. С. Печерину

Петербург

3 января по нашему стилю 1868

С живейшим удовольствием возобновляю переписку мою с вами, любезнейший, дорогой Владимир Сергеевич. Не знаю как случилось, но вероятно последнее письмо мое к вам, писанное в начале прошедшего года, не дошло до вас, и я, не получив на него ответа, подумал, что вы переменили место вашего пребывания, а потому впал в недоумение куда к вам адресовать мои письма. Но вот недели две тому назад ко мне явился ваш племянник, г[осподин] Поярков, от которого и узнал я, что вы не выезжали из Дублина и тем дали мне возможность снова писать к вам. Вы не можете себе представить, как я обрадовался знакомству и свиданию с вашим добрым

\* Время — деньги — *англ.* Автором афоризма является Б. Франклин (из «Советов молодому купцу» 1748).

племянником. К сожалению, он недолго пробыл в Петербурге. Но все же мы нашли целый вечер, который исключительно был посвящен беседе о вас<sup>456</sup>. Это были как бы отворенные двери, из которых хлынули воспоминания о вас. Между моими качествами, каковы бы они ни были, есть одно, за которое я чрезвычайно благодарен природе: это живость памяти. Все подробности былого — и лица и вещи и события и идеи — облекаются в моем внутреннем мире в такие живые и притом верные образы, что расстояние времени для меня как будто не существует, и прошедшее как в драме становится для меня настоящим. А как письма ваши и слова Саввы Федосеевича удостоверяют меня, что при всех тревожениях и превратностях жизни и вы сохранились в своем типе, то и выходит, что наше значение друг для друга не потеряло и не может потерять ни своей свежести, ни своей прелести. Ну и аминь, как говорится. Савва Федосеевич, между прочим, говорил мне, что вы ведете свои записки. Как бы я хотел заглянуть в это хранилище богатой внутренней жизни, в эту лабораторию, где вырабатывались и необыкновенные чувствования, и мысли, и чрезвычайная судьба, в эту глубокую психологию, до которой никак не добраться всей английской школе психологов!

Письмо это пишется позднее, чем бы я желал, после свидания моего с Саввою Федосеевичем. Он застал меня в разгар работы, приготовления к академическому акту, где мне предстояло говорить о трех умерших наших членах — Билярском, Грече и митрополите Филарете<sup>457</sup>, и я крепко был занят этими срочными сочинениями, особенно сочинением о Филарете, которое требовало многих справок и многой обдуманности. Все, однако, сошло, как следует; но теперь я przygotowляюсь к новому ораторствованию — о Крылове, которого столетний юбилей мы будем праздновать в начале февраля<sup>458</sup>.

Вы найдете в этом письме карточку моей жены, которая благодарит вас душевно за память о ней и в знак закрепления оной посылает вам это лицезображение. Но пока довольно. Еду-ка на наш естествоиспытательный съезд<sup>459</sup>, где я еще не был, и который, говорят, был интересен в научном отношении. Обнимаю вас от всего моего сердца.

Ваш Никитенко.

## **№ 56. В. С. Печерин — А. В. Никитенко**

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
9 (22) января 1868

Любезнейший Александр Васильевич!

Я действительно не получил вашего письма, отправленного в начале прошлого года. Грех, вероятно, лежит на вашем почтамте, потому что здешняя почта безукоризненно исправна. Я веду постоянную переписку с г[осподином] Поярковым, но никогда еще ни одно письмо не затерялось.

Чувствительно благодарен вашей любезной супруге за ее фотограф. Как хорошо я помню этот профиль! Как живо он напоминает мне первые дни нашего знакомства!

«И, как Лазарь из могилы,  
Тень минувшего встает!»

Я очень рад, что мой племянник посетил вас. Только сожалею, что он не имел возможности сообщить вам что-нибудь из моих записок. Вот для этого-то я вам посылаю отрывок, касающийся последних годов моей жизни в Петербурге: он напомнит вам давно прошедшее время. Это часть моей *психологии*. Окончание пришло в следующем письме<sup>460</sup>.

Я с большим удовольствием читал в «Голосе» очень лестный отзыв о вашем биографическом очерке *М. Вронченко*<sup>461</sup>. Мне также очень понравилось, что в Академии вы *один* подали голос в пользу «*Смерти Грозного*»<sup>462</sup>. В этом я тотчас узнал ваш меткий критический такт. Помните, как мы вместе читали «Гамлета» Вронченки<sup>463</sup>? Как я завидую вашей богатой и плодотворной деятельности! Мне как-то не посчастливилось — я за все брался и ничего не кончил.

Вот что было написано в *пророческом духе* в 1834:

«Гори, гори, мой факел томный!  
Но вспыхни пред концом живей!  
И на мой жребий грустный, темный  
Сиянье тихое пролей!  
Вся жизнь моя — одно желанье,  
Несбывшейся надежды сон,  
Или художника мечтанье,  
Набросанное на картон...»

Как хорошо я угадал! Заметьте: *набросанное на картон*. Значит, не хватило духу или гения, чтобы окончить картину, так и остался бедный эскиз!

Покамест прощайте!

Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

## № 57. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Курск  
3 февраля 1868

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

По случаю моих разъездов давно уже я Вам не писал. Октябрьское письмо Ваше действительно не застало меня уже в Курске, но жена мне немедленно выслала его в Петербург, так что, пробыв в Москве недели две, я по приезде в Петербург застал уже там Ваше письмо, и потому я имел полную возможность познакомиться с А. В. Никитенко. Он живо помнит Вас и бережно сохраняет переписку с Вами. Мы условились летом свидеться опять и пополнить взаимные сведения об Вас как лице равно дорогое для нас, коего судьба выдвинула и оторвала от естественного хода окружающей нас жизни, среди коей мы влачим наши дни. К сожалению, обратную поездку свою я должен был сделать по Варшавской железной дороге на Витебск, куда увлек меня из Петербурга мой сослуживец на свою свадьбу 14 января, и потому мне не удалось видеться с Федором Васильевичем Чишовым; но в июне или июле я располагаю вновь быть в Петербурге и тогда надеюсь видеться с Ф[едором] В[асильевичем].

Цель моей поездки состояла в ускорении перехода в Одессу; в прежнем министерстве это было уже решено и обещано<sup>464</sup>; нужно было позаботиться обеспечить

успех в новом министерстве; но новое министерство юстиции окончательно сформировалось только в декабре, и хотя я провел в Петербурге более двух месяцев по 6 января, но попасть в этом году в Одессу мне не удастся. На беду мою подоспели и которые реформы в Киевском краю, куда исключительно предназначаются русские фамилии<sup>465</sup>, и мне как состоящему при министре пришлось подчиниться его желанию принять на себя Киевскую или Волынскую палату<sup>466</sup> и тем отсрочить приближение к Понту Эвксинскому<sup>467</sup> на год, чтобы не сказать еще долее, поэтому как скоро утверждены будут Государственным Советом<sup>468</sup> нужные для этого кредиты, мне придется оставить Курск. По некоторым сведениям это должно последовать скоро; но, во всяком случае, по 1 марта я еще пробуду в Курске. Сильно опасаясь, чтобы не пришлось переезжать во второй половине марта или в апреле, так как придется ехать по грунтовым патриархальным дорогам по невылазной грязи. Не располагая теперь своим временем, я буду просить Вас не писать ко мне до получения от меня сведения, где я водворюсь, в Киеве или Житомире. Киев хотя и родной мне по воспоминанию город, но я предпочел бы Житомир именно потому, что в Киеве слишком много административных властей, с коими со всеми жить в ладу нужно много уменья и труда; в Житомире же один только губернатор, деятельность которого не соприкасается прямо с моею, и жить в ладу с одним лицом нет большого труда. Для Вас может быть покажутся странными мои соображения; но у нас при не выработавшемся еще жизнью разделении административной и судебной деятельности постоянные между ними столкновения не только часты, но, к сожалению (разумеется, это зависит от личностей), считаются даже удальством. Был период в России с 1862 по 1866 и даже по 1867 год, когда при замещении должностей обращалось главнейшее внимание на юность, и эта юность без знания жизни и часто дела (серьезная юридическая подготовка до сих пор у нас еще *pia desideria*\*), получив в руки власть, потешалась главнейше задором. Что в особенности замечательно. При стариках министрах юстиции<sup>469</sup> исключительный ход имела молодежь, теперь министр граф Пален<sup>470</sup> лет 35 от роду налагает руку на молодежь. Нельзя отрицать, что молодежь принесла и большую пользу, очистила должности от крючков и старых служебных тенденций, ради чего старики министры и давали ей ход; теперь с телеграфами и железными дорогами прежние служебные взгляды и цели все более и более анахронизм, и потому, блистательно свершив свою задачу, молодежь пред трудом и опытом и даже научною деятельностью оказалась очевидно несостоятельною. Вообще наука у нас и образование в последнее время сделались совершенно неразрешимую загадкою. В течение 10 лет сделалось столько реформ по учебной части, что мы теперь решительно не знаем, чему надо учить, чтобы выучить чему-нибудь. Число жаждущих учения гораздо больше, а уровень развития гораздо ниже. Видя Ваших Дерби и Гладстонов<sup>471</sup>, мы решили, что единственное спасение в латинском и греческом языках; но мы не хотим знать, что и Макиавелли и Эразм Роттердамский<sup>472</sup> также чада классицизма, значит, суть государственного воспитания не в латыни. Но в чем же? мы не знаем; а между тем дети наши задыхаются над латынью и вместе с нею двадцати разных науках. Главное у нас — учить много, а с таким направлением чрез десяток лет мы же и обвиним латынь в неблагодарности.

Целую Вас; жена свидетельствует Вам свое почтение.

С. Поярков.

\* Благие пожелания — *лат.*

№ 58. А. В. Никитенко — В. С. Печерину

Петербург  
8 (20) марта 1868

Не сетуйте на меня, любезнейший Владимир Сергеевич, что иногда замедляю моими ответами на Ваши дорогие для меня письма. В тревожной моей жизни проходят целые недели так, что не выберешь часа мирного и свободного, когда бы мог побеседовать задушевно с самим собою или с теми, с кем беседа отраднa и желанна. Почему же, спросите вы, эта тревожность? не в пристани ли я? не академик ли я? Ведь академия — тихий приют ученых, куда не долетают бури житейские. Нет! древо науки не пустило еще у нас так глубоко корней, не возросло и не разрослось ветвями своими до того, чтобы под сенью его можно было укрыться от всяких житейских сует и ненастья. Да и вся моя жизнь была не иное что, как борьба стремлений к чему-то высшему с силами, им враждебными. И я привык на себя смотреть как на солдата в большой и долгой войне, который ни на минуту не должен слагать с себя доспехов своих и оружия. Это до того сделалось мне привычным, что даже краткие часы отдохновения мне кажутся незаконными и противными установленной жизненной дисциплине. Не думайте, однако, любезнейший Владимир Сергеевич, чтобы я роптал на это. Все зависит от воззрений на жизнь и судьбы человеческие. В уме моем сложились такие понятия о них, что если бы на долю мою выпали гораздо более благоприятные обстоятельства, со мною все было бы тоже. Знаете ли? когда мне было еще не более шестнадцати лет и когда я в моем провинциальном захолустье вырос неведомо как и прозябал на куче навоза (до отъезда в Петербург)<sup>473</sup>, сельский маляр вздумал по просьбе моей матери рисовать с меня портрет и требовал от меня известной позы. Вследствие этого я был нарисован с раскрытою тетрадью в руках, но на страницах ее я велел написать — на одной «жить с честью или умереть», а на другой «мудрость есть терпение». Положим, что я не сознавал тогда всей глубины этих мыслей. Вышло, однако, так, что они годятся в эпитафии всей моей жизни. Случайность ли это? Я думаю, что это было верное и инстинктивное сознание (если сознание может быть инстинктивным) и того, что было, и того, что должно было происходить во мне и со мною. Вспомните знаменитые слова нашего древнего историка: земля наша обильна и велика и пр[очее]<sup>474</sup>.

Но я слишком заговорился о себе. К этому некоторым образом поощрил меня драгоценный отрывок из ваших записок. О, как бы я желал прочитать все ваши записки! Племянник ваш говорил мне, что у него есть значительное их число. Как бы сделать, чтобы они дошли до моих рук? Не думайте, старый товарищ и друг, что меня подстрекает к этому желанию простое любопытство — фуй! это была бы гадость. Нет! Вы поверите без моих уверений, что это желание есть следствие глубокого моего участия во всем, что с вами случилось и что случилось в вас. Такая жизнь как ваша, такие дарование, сердце и ум как ваши, и, наконец, такая судьба стоили бы того, чтобы в них вдуматься, даже если бы мы не были так с вами сближены в дни нашей юности.

Но пора кончить. Жена моя душевнейше вам кланяется. Не забывайте и любите всем сердцем вам преданного

А. Никитенко.

№ 59. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
18 (30) марта 1868

Протираю глаза и спрашиваю себя: не сон ли это? Мог ли я вообразить себе три года назад, что мне придется читать эти дружеские задушевные строки Александра Васильевича Никитенко, о которых можно сказать с Жуковским

«И меланхолии печать была на них»<sup>475</sup>.

Я никак не имею права жаловаться на судьбу: мне остается только благодарить ее и вас за ваше любезное письмо.

Англия в эту минуту представляет зрелище, достойное олимпийских богов. *Дизраэли*<sup>476</sup>, совершенно *новый* человек, не принадлежащий ни к какой аристократической фамилии, просто писатель, сочинитель романов, одною силою своего таланта достиг до последней грани английского честолюбия, т[о] е[сть] места первого министра. От этого вся английская печать теперь ликует. Но что еще лучше — лорд *Станли*, член древнейшей и богатейшей *исторической* фамилии, добровольно согласился служить под начальством этого выходца<sup>477</sup>. Вот такие примеры история записывает золотыми буквами на своих скрижалях. Тут нет никаких интриг, ни происков, а есть только благородное состязание о том, кто больше пользы принесет отечеству. Люди толкуют об *аристократической* Англии, вовсе ее не понимая. А в этой-то самой Англии истинному таланту, будь он даже самого низкого происхождения, открыты все пути даже к самым высшим степеням государственной службы. Зато уж бездарный человек никак не попадет на важное место, потому что здесь идет открытая игра, все карты на столе, никак нельзя подтасовать тихомолком...

«Дым» *Тургенева* вышел уже во французском переводе (“la Fumée”)<sup>478</sup>. Вероятно скоро выйдет и английское издание. Англичане начинают более и более знакомиться с русскою литературою. Кто-то из Петербурга пишет очень интересные статьи о современной русской литературе в газете “*Athenaeum*”<sup>479</sup>. По его мнению, *Тургенев* — представитель современного русского общества. Его «*Отцы и дети*» очень известны в Англии<sup>480</sup>. Какой-то русский умер в Лондоне. Его библиотеку продают с аукциона. Там есть между прочим соч[инение] *Пушкина* издание *Анненкова* в 11 томах<sup>481</sup>. Я постараюсь добыть это сокровище если можно за дешевую цену.

Мой племянник пишет ко мне из Курска: он очень благодарен вам за ваш душевный прием. Он надеется навестить вас снова в июле. Я уполномочиваю его сообщить вам все мои записки, а теперь прилагаю окончание моего отрывка<sup>482</sup>.

У нас вовсе не было зимы. Мы даже и клочка снегу не видали. А теперь уж блещит весеннее солнце, деревья распустились и цветы благоухают в благорастворенном воздухе. Мы сбросили уж шинели и зимние сюртуки.

«Ни шуб, ни свеч совсем не надо,  
Не знаешь век, что есть ночная тень,  
И целый божий год все видишь майский день!»<sup>483</sup>

Ах! как бы хотелось еще раз прочесть Крылова! Иногда в хорошую погоду я отправляюсь по железной дороге за семь верст отсюда в *Кингстоун*<sup>484</sup>, где главная пристань для английских пароходов. Тут с набережной прекрасный вид на дублинский залив

и амфитеатр окружающих гор. Здешние *квасные* патриоты<sup>485</sup> уверяют, что этот залив ни в чем не уступает в красоте неаполитанскому. Оно может быть и правда с тем только различием, что здесь нет ни итальянского неба, ни нежных оттенков итальянских гор.

Помните ли вы Ф. В. Чижова? Он теперь директором банка в Москве и обещал навестить меня настоящей весной. Вот, видите ли, как все старые друзья отозвались на клич!

Пожалуйста, засвидетельствуйте мое почтение вашей любезнейшей супруге.

Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

Р. S. Знакомы ли вы с академиком *Бётлинком*? Я теперь занимаюсь его отличными санскритскими изданиями<sup>486</sup>. Он пользуется вполне заслуженною европейскою известностью. Он теперь занят изданием большого санскритского словаря, но, кажется, это дело очень медленно подвигается.

Р. P. S. Я нахожусь в положении несчастного поэта, у которого нет ни читателей, ни слушателей. Что же мне делать? Вот благо вы попались мне навстречу, я хватаюсь за петлицу вашего кафтана и принуждаю вас выслушать следующее.

#### ИРОНИЯ СУДЬБЫ<sup>487</sup>

Не сбылися предсказанья  
Лжепророков и друзей!  
Расплылись, как дым, мечтанья  
Гордой юности моей.  
Может быть, чего-то ждала  
Русь святая от меня:  
Над главою моею сияла  
Вестница златого дня.  
Но денницы блеск летучий  
Всем надеждам изменил,  
Мрак внезапной черной тучи  
Светлый день мой затемнил.  
Чья ж вина? Вина ль России?  
Кто же станет мать винить!  
Не хотел я гордой выи  
Перед матерью склонить!  
Нет! средь праздного покою  
Я не мог евнухом жить!  
Мне хотелось под грозою  
Новый след себе пробить...  
Но над жизнью земною  
Грозная Судьба царит,  
И с улыбкой горько-злою  
Наши замыслы следит.  
«Вот он, рыцарь благородный!  
Несравненный Дон Кихот!  
Он поэт! он вождь народный!  
Он отечество спасет!  
Все венцы ему готовы  
И науки и любви.

Вспрянь, герой! и жизнью новой  
Ветхий мир наш озари!»  
И, как войско, строй за строем  
Жизни призраки идут.  
Все решилось кратким боем!  
И знамена их падут.  
И затих военный грохот,  
Мрак покрыл лицо земли,  
Мертво все — лишь слышен хохот  
Мефистофеля вдали...

**№ 60. А. В. Никитенко — В. С. Печерину**

Петербург

30 апреля (12 мая) 1868

«Со мной опять воздушный рой видений!  
Их образы я снова познаю!  
Но удержу ль таинственные тени,  
Приму ли вновь их на душу мою?  
Вот ближе он, мой давний, милый гений!  
От грустных дум я снова восстаю;  
Как прежде, грудь живым огнем согрета  
От дивного волшебного привета.  
О прежних днях ко мне мечта нисходит  
И милые я вижу тени вновь;  
На память мне, как будто сон, приходит  
И первый друг, и первая любовь;  
Они не слышат новых песнопений,  
Кто первых песен принял робкий звук;  
Замолк привет сердечных одобрений,  
Моих друзей рассеян тесный круг.  
Чужой народ — свидетель огорчений  
И страшен мне венец из этих рук!  
Кто мне внимал, кто радовался лире  
В чужих странах, в ином блуждает мире».

(Посвящение к «Фаусту» Гёте в переводе Губера<sup>488</sup>)

Вот какие или подобные каким впечатления возбуждаются во мне каждый раз, когда я читаю ваши дорогие письма, любезнейший Владимир Сергеевич. Грусть сменяется отрадным чувством, что есть еще в мире существо, которому можно ее поверить, и отрадное чувство грустно о навеки утраченном прошедшем. Не приписывайте этого какому-нибудь расслабленному сентиментализму. Мне всегда казалось, что истинная сила и величие характера, к которым мы можем стремиться в нашем самообразовании, вовсе не исключают позывов сердца и к другим, менее строгим, но также благородным влечениям и верованиям человечества. Когда в одной из заграничных галерей я любовался изваянием Геркулеса<sup>489</sup>, облокотившегося в величавом успокоении на свою палицу, я поражен был более всего соединением в нем грозного и победительного могущества с прелестью грации. Только в одних идеалах греков можно найти такое сочетание великого с прекрасным. Но я ошибаюсь: гораздо чаще и очевиднее выражается это в идеалах христианства. Вот тот, кто стоял выше всех перед



человечеством, не находит слов укоризны для женщины — бедного, слабого создания, не умевшего воспротивиться сладкому влечению природы, или простирает свои теплые объятия ко всем несчастным, говоря им: «придите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас»<sup>490</sup>. А между тем ведь это характер, пресоздавший мир!

Как я благодарен вам, бесценный Владимир Сергеевич, за распоряжение насчет ваших записок! Отрывки, которые я прочитал, возбудили во мне сильнее жажду прочитать все прочее. С нетерпением буду ждать июня, когда племянник ваш должен приехать в Петербург и доставить мне полный оттиск *всего вас*.

Из того, что в Англии переводят нашего Тургенева<sup>491</sup>, видно, что там обращают внимание на нас и на нашу литературу. Желательно, чтобы англичане делали это добродетельнее и разумнее, чем, напр[имер], французы, чтобы они судили о нас с большим беспристрастием и правотою, чем их истрепавшиеся в революциях и деспотизме соседи. Этого, впрочем, и можно ожидать от британской честности и серьезного ума. Трудно вообразить себе нелепости и лжи, распространяемые о нас французскими публицистами. Конечно, у нас много еще есть такого, что не должно и даже могло бы не быть. Лучшие наши литературные и ученые умы сами это хорошо видят и не молчат, чему доказательством, между прочим, и «Дым» Тургенева, которого можно только упрекнуть в односторонности и слишком раздражительном сатирическом тоне. Надобно к этому прибавить, что он давно уже живет за границею и многого не знает, что совершается хорошего и дурного в нашей текущей жизни. Так, напр[имер], он вовсе не знаком с нашей судебной реформой, которая делает замечательные успехи и влияние которой должно отразиться и в правах, и в нравах наших. Конечно, и тут не обходится без борьбы и ошибок. Но суд присяжных, публичность и адвокатура в существенных чертах своих привились у нас превосходно. Мы вступили в период деятельного нравственного и общественного *очищения*. Получается тут много неприятного и неудобного, как во всякое переходное время; много приходится ожидать от будущего. Однако какой же народ легко и скоро вырабатывал прочные основы своей цивилизации? Главное, чтобы работалось и двигалось, а не коснело в застое и неподвижности, и чтобы в глубине народных сил и способностей существовали залогов усовершенствования. Во всяком случае, мы вправе требовать от иностранцев не того, чтобы нас хвалили, но чтобы изучали нас, а ругательства и клевета ни им, ни нам не приносят ни на волос пользы.

Желал бы я очень увидеть Чижова в приезд его к вам; я передал бы ему для вручения вам некоторые из плодов и моего кое-как движущегося, но постоянно, однако, движущегося пера. Вы вспомнили о Крылове, я прислал бы вам мою брошюру о нем, недавно напечатанную<sup>492</sup>, да и самого Крылова, т[о] е[сть] его басни.

Как бы вы хорошо сделали, если бы описали мне нынешний ваш быт и ученые ваши труды! Всякая подробность, относящаяся к вам, была бы для меня драгоценна. Попробуйте-ка!

Наш академик *Бётлинг* благодарит вас за доброе ваше о нем мнение. Он едет в Иену<sup>493</sup> на три года, где и окончит и издаст свой словарь. Он поручил мне сказать вам, что быв еще весьма юным, он в Петербурге встретился где-то с вами, тоже юным еще, и с тех пор помнит вас.

Вот как далеко увлекло меня удовольствие беседовать с вами, незабвенный Владимир Сергеевич. Пора, однако, кончать, обнять вас заочно от всей души и сказать вам, что я всегда ваш

А. Никитенко.

Жена моя сердечно вам кланяется и очень благодарит за дружескую о ней память.

№ 61. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin

2 июня н[ового] ст[иля] 1868

«Как выиграть 200,000 рублей?»

Под этим заглавием был помещен в “*Athenaeum*” разбор новой комедии, имевшей, по-видимому, громадный успех на вашем театре<sup>494</sup>. Приведена одна сцена, и, действительно, она и в переводе очень забавна. Русские имена переданы очень верно, даже такие фамилии, как Неподхалов и Подтяжкин. Вы видите, что англичане и на эти мелочи обращают внимание. Там же (в “*Athenaeum*”) была прекрасная биография покойного князя Петра Дмитриевича Горчакова (Крымского), где о нем говорится как о *великом деятеле славянской цивилизации*<sup>495</sup>. Вот это уж, как видите, вовсе не тон французских газет. Недавно здесь был молодой воспитанник вашей Медико-Хирургической Академии г[осподин] Пелехин<sup>496</sup>. Он отлично говорит по-английски, и он-то мне сказал, что теперь очень много занимаются английским языком в Петербурге, чему я сердечно радуюсь, для противодействия французскому влиянию. У нас вкоренилось какое-то нелепое мнение, что будто бы русский характер удивительно как сходен с французским. Это может быть справедливо в отношении к некоторым членам высшего сословия, воспитанным французскими гувернерами, но насколько я знаю массу русского народа, то мне кажется, что наш простолюдин скорее сроднится с англичанином или американцем, чем с французом.

Любезнейший Александр Васильевич! Вы требуете от меня отчета в моих занятиях. Постараюсь удовлетворить вас в немногих словах.

В последние шесть лет одна мысль обладала мною: желание вознаградить за потерю прежнего времени. Грустно думать, что 20 лучших лет моей жизни совершенно погибли для умственного развития. Это было своего рода самоубийство. Но я не упал духом и бодро принялся за дело. В эти шесть лет я выучился санскритскому, арабскому и персидскому языкам. Главною моею целью было исследовать религиозный вопрос во всех его направлениях. Я прочел весь Коран от доски до доски. Но с особенною любовью и терпением я изучал и изучаю священные книги индейцев. Признаюсь, наша Библия бледнеет перед этими великолепными поэмами и глубокими философскими системами. Гегель<sup>497</sup> сказал, что открытие санскритского языка равносильно открытию нового света. И он на это имел очень хорошие причины, тем более что вся его философия есть не что иное, как повторение древних индийских систем. В санскритском языке исчерпаны все возможные изгибы человеческого слова и все возможные оттенки человеческой мысли; далее, кажется, идти невозможно. С таким же усердием я занимался системою *буддистов*. Вот религия, существующая более 24-х веков, считающая 450 миллионов поклонников, объемлющая все страны от Инда до Японии и от Цейлона до сибирских тундр! Ее основатель, великий реформатор древнейшей церкви брахманов, представляет в своей жизни окончанный идеал человеческого совершенства. У них в Тибете свой Папа (Далай Лама<sup>498</sup>) и многочисленные обитатели монахов, где процветает средневековая ученость и где церковные обряды в самых мелких подробностях представляют поразительное сходство с обрядами католической церкви. Вот так и выходит, что история повторяется, и что нет ничего нового под луною!

Теперь я ожидаю выхода важного сочинения о *Зороастре* и его последователях и тогда примусь за изучение зендского языка и *Зендавесты*<sup>499</sup> и тем окончу полный курс моих религиозных исследований.

«Однако ж позвольте, — прерывает Мефистофель, — ведь все вышесказанное принадлежит просто к области воображения или к так называемому внутреннему миру, а ведь истинное-то знание по современным понятиям должно искать в наблюдении внешней природы, т[о] е[сть] в точных науках. Знаете ли вы, что, может быть, глубочайшая глубь метафизики найдется где-нибудь в химии?»

— Вы правы, любезный Мефистофель! Признаюсь, я поздно спохватился. Ну что же? не беда! Время еще есть, пока мы живем!

После этого разговора я принялся за физиологию и ботанику.

Но все это серьезные занятия, а по вечерам иногда для отдыха я читаю *Диккенса*<sup>500</sup>. Ах! кто, прочитавши эти несравненные романы, не полюбит Англии! Какой-то петербургский корреспондент критиковал русские переводы Диккенса, но едва ли справедливо<sup>501</sup>. Диккенс просто *непереводим*. Чтобы понять всю оригинальность его гения, надобно прожить, по крайней мере, двадцать лет в Англии. Забавно бы видеть французский перевод. Где же французу понять Диккенса?

Но как бы то ни было, и во что бы то ни стало, я решился не терять ни минуты времени. Рано ли, поздно ли, придется мне сойти с поприща жизни, но никто не посмеет упрекнуть меня в бездействии. *Не посрамим земли русския, но костями ляжем ту, мертвые бо сраму не имут.*

Я считаю особенною для себя честью быть известным академику Бётлинку. Как это странно! Кроме их внутреннего достоинства, его книги привлекали меня еще потому, что они напечатаны в Петербурге, а теперь выходит, что и с самим-то автором мы где-то встретились в нашей молодости. Вот судьба!

Снова прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей любезной супруге и пребываю вам искренно преданный

В. Печерин.

Я купил полное издание Пушкина 11 томов за 25 шиллингов, т[о] е[сть] около 9 рублей, что по здешним ценам очень дешево. Оно скреплено вашей подписью: *Печатать позволяется. Цензор Никитенко*<sup>502</sup>.

«*Полярная Звезда*» Герцена и Огарева выйдет в Женеве в сентябре<sup>503</sup>.

Там же, в Женеве, появилась новая русская газета «*Современность*»<sup>504</sup>, тоже в радикальном и социальном духе. Мне не удалось еще ее видеть. Но мне кажется, что все это просто переливание из пустого в порожнее.

## № 62. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Каменец-Подольск<sup>505</sup>

28 декабря 1868

Дорогой дядя Владимир Сергеевич. Не знаю, что Вы думали о столь долгом моем молчании. Еще в феврале я писал Вам, что перехожу из Курска в Киев или Житомир; между тем в действительности я очутился в Каменец-Подольске, и хотя приказ о моем назначении, может быть, Вам случилось встретить в русских газетах, последовал еще 1 марта, но в Каменец мне удалось добраться только в августе. Курск оставил я в конце мая и, отправив семью в Черниговскую губернию, сам выехал для

исполнения возложенных на меня поручений в поволжские города и день Ваших именин провел в таких захолустьях, что мог только вспоминать в этот день об Вас, но не писать к Вам. Наконец в августе добрался до Каменца, затем приехала и моя семья. Устройство в новом месте жительства, в особенности таком, как Каменец, составление отчета об исполнении своего поручения и председательство в Уголовной палате, настоящая моя должность в Каменце, совершенно поглощали мое время, и я от одного дня до другого едва привел свои дела и занятия в порядок к концу года, не успев даже вовремя поздравить Вас с наступившим уже у Вас новым годом. Примите же мое хоть позднее поздравление с наступившим новым 1869 годом и искреннее пожелание осуществления всех Ваших намерений и желаний.

Подольская губерния Вам хорошо знакома, и эта благодатная житница России оставила у Вас много воспоминаний; но бывшее сильно в ней изменилось. Я не раз проезжал через Подольскую губернию восточную ее стороною по пути из Одессы в Петербург; но своеобразный характер губернии собственно в средней и западной ее части. Не говоря уже о своеобразности построек, все населенные местности по большой дороге, как Хмельник, Меджибожи, Бар<sup>506</sup> и уездные города, составляют как бы удел колена Иудина; самый Каменец — полнейшее достояние этого племени. Но в стороне большой дороги по ложбинам и ручьям раскинулись цветущие довольством деревни. С освобождением крестьян и с обязательным отделом их земельных наделов от помещичьих земель благосостояние крестьян сильно увеличилось. Богатая почва и урожайная пшеница дают им хорошее вознаграждение за труд; а с окончанием железных дорог, пересекающих губернию в трех направлениях с средоточием у Тульчина<sup>507</sup>, вознаграждение за труд еще более усилится. Но два условия тяготееют еще над народонаселением всею своею силою. Это недостаток обучения в крестьянском быту и еврейство. Сколько не принято мер к увеличению числа сельских школ, но грамотность не сделалась еще насущною потребностью крестьянина, и я думаю, что обязательность обучения, чтобы не говорили против принуждения, необходима и неизбежна, чтобы дать этому народу, полному сил и будущности, разумную жизнь при всех прочих счастливых условиях. Гораздо труднее и сложнее вопрос о еврействе. Я знаю евреев по Одессе и Черниговской губернии, но все дурные качества их развились только в местностях, где еврейство жило об руку с польскими панями и шляхтою. Торговая Одесса сумела облагородить даже простой класс евреев; в Малороссийских губерниях класс евреев немногочислен; но все центральные местности Подольской губернии заняты почти исключительно грубым и своекорыстным еврейством, всю задачу жизни своей полагающим в эксплуатации всеми возможными ухищрениями честного труда крестьянина и в придумывании всевозможных преград к упрочению благосостояния сельского населения; и все это в большей части случаев для того, чтобы со своей стороны подвергнуться такому же эксплуатации со стороны своих цадиков<sup>508</sup>, держащих их в непроходимом мраке суеверий, неразвитости и отчуждения. В Каменце из 17000 жителей — 12000 евреев. Казалось бы, что местная гимназия должна быть наполнена евреями; а между тем на 400 воспитанников всего 9 евреев, и из них собственно Каменцу принадлежит 1. Каких же нравственных и общественных подвигов можно ожидать от такой загрубелости и обособления? Поэтому вопрос о еврействе составляет самое больное место юго-западных губерний, существенно задерживающий успех всех реформ в этой местности, а в том числе и суд присяжных. Впрочем, к лету можно ожидать решения вопроса, будут ли в 1869 году открыты гласные суды в этой местности или Поволжье одержит первенство пред западными губерниями.

В надежде, что Вы не лишите меня продолжения обещанных Вами писем и не поставите мне в вину случайного перерыва переписки единственно по неимению мною оседлости, я прошу Вас не изменить своего намерения выслать все, касающееся Вашей замечательной жизни, чтобы имя Ваше жило постоянно в моем семействе.

В июне рассчитываю быть в Петербурге, и как к тому времени дороги в Подольской губернии будут открыты, то я поеду на Москву.

Жена моя свидетельствует Вам свое почтение.

Поручая себя и семью свою Вашему благословиению и памяти, остаюсь любящим Вас племянником

С. Поярков.

### № 63. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

31 января н[ового] ст[иля] 1869

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Крайне обрадовало меня ваше письмо. Я почти отчаялся получить от вас известие. Я, разумеется, ничего не знал о ваших странствиях вдоль и поперек матушки России. Мне приятно слышать, что ваша супруга и дети, слава Богу, здоровы. Поздравляю вас с новосельем. Вот вы теперь на самой окраине юго-западной России, кажется, в нескольких верстах от австрийской границы. Умеренный климат и богатая почва! Если бы только не жида!

О себе ничего нового сказать не могу. Жизнь моя течет однообразно в том же самом русле. Но так как наше богословие теперь слишком тесно связано с политикою и с ружьями <sup>509</sup>, то, оставив его совершенно в стороне, я предался ученым занятиям, и теперь, кроме санскритского и других восточных языков, я изучаю физиологию и ботанику и провожу время в ботаническом саду или дома с микроскопом. Таким образом, жизнь идет довольно приятно, в совершенной независимости, без страха и надежды. Но все ж таки есть новость вам сказать. Я сделался преподавателем русского языка. И вот каким образом. Есть при здешнем университете блистательный молодой профессор санскритского языка <sup>510</sup>. Ему нет еще тридцати лет, а он уже владеет не только древним санскритом, но даже и всеми мелкими индийскими наречиями и, сверх того, преподает итальянскую литературу в женской гимназии (Alexandra College). Он совершенный лингвист в полном и высшем значении этого слова. Вот он-то обратился ко мне с просьбою помочь ему в изучении русского языка и других славянских наречий, но преимущественно русского языка, так как, говорит он, это язык господствующего народа, которому суждена великая судьба. Он верит, что

«Славянские ручьи сольются в русском море»<sup>511</sup>.

Не странно ли вам покажется, что на этом крайнем рубеже запада нашелся такой отчаянный русофил и панславист<sup>512</sup>. А ведь это мне кажется одно из знамений времени. Ведь люди вообще поклоняются восходящему солнцу.

Как я вошел в первый раз в его маленькую комнату в университете, заваленную книгами и восточными рукописями, то на меня так и повеяло университетскою жизнью и воспоминаниями Германии. С помощью учебной книги Шмидта мы прочли с ним несколько басен Крылова и «Кавказский пленник» Пушкина, а потом почти

весь «Дым» Тургенева. Тут я имел случай оценить высокий талант нашего несравненного новеллиста. Согласитесь, что писатель, могущий выдержать такую огненную пробу, как буквальный перевод с грамматическим разбором каждой фразы и каждого слова, должен быть вовсе недюжинный. Как приятно мне было указывать моему даровитому ученику на красоты родного слова! Как утешительно думать, что хоть этак косвенным образом я могу сослужить службу России! И эта служба совершенно бескорыстная, никем не признанная и ни от кого возмездия не ожидающая!

Здесь университет, как вам известно, основан триста лет назад Елизаветой и теперь занимает третье место после Оксфорда и Кембриджа<sup>513</sup>. У ворот его стоит почетная стража — две изящные статуи знаменитых его воспитанников — поэта Гольдсмита и оратора Борка<sup>514</sup>.

У нас зима с каждым годом становится мягче. Снегу, разумеется, и в помине нет. Теперь господствуют ужасные бури, так что едва ли можно по улицам ходить. Много крушений на море. Вообразите себе, что 28-го декабря н[ового] ст[илия] я видел в ботаническом саду испанскую *клематис*<sup>515</sup> в полном цвету на открытом воздухе, всю унизанную белыми цветами сверху донизу.

Если поедете летом в Петербург, пожалуйста, не забудьте зайти к Александру Васильевичу Никитенко. С прошлого мая я не имел от него писем. Я обещал ему, что вы сообщите ему мои записки; впрочем, это предоставляется вашему благоусмотрению.

Так как вы хотите иметь *все* мои записки, то, разумеется, волей-неволей должны принять и стихи. Я в положении несчастного поэта, у которого нет ни читателей, ни слушателей. Что же мне делать? Благо вы первые попались мне навстречу, я хватаюсь за петлицу вашего кафтана и принуждаю вас прочесть следующее<sup>516</sup>.

В следующем письме пришлю вам большой отрывок — важный эпизод из петербургской жизни. Мне очень приятно будет слышать подробности вашей плодотворной деятельности на новом поприще. Вот единственные реформы, нужные и полезные для России. Впрочем, жизнь у вас кипит. К сожалению, я вовсе не читаю теперь русских газет — они ужасно дороги — вовсе не по моему карману. Тем более я оценю каждую строчку от вас.

Поклонитесь от меня любезной племяннице и обнимите за меня ваших детей, а за тем пребываю

ваш искренно преданный  
В. Печерин.

Если поедете через Москву, то, пожалуйста, зайдите к Федору Васильевичу Чижову, директору Банка и Московско-Ярославской железной дороги. Он совсем меня забыл.

## **№ 64. А. В. Никитенко — В. С. Печерину**

Петербург  
Январь 1869

Найдется ли у вас, любезнейший Владимир Сергеевич, достаточно великодушия, чтобы простить мне долгое мое молчание? Однако спросите вы, что же за причина такому нарушению дружеских отношений? Не приключилось ли со мною какой беды? Или не отупело ли вдруг мое чувство, не повергся ли я в апатию, для

которой нет дела ни до чего, кроме буддистического спокойствия *во всеобщем*? Нет! Ничего такого, благодаря Богу, со мною не случилось. Но взамен того накопившаяся срочная работа, многие из тех текущих домашних и общественных забот, которые как гнусные москиты не умерщвляют вас, а всячески истязают, лишая вас сил и отнимая у вас время, вот что нередко производит страшный разлад между тем, чего сердечно хочется и что необходимо в данные моменты времени. Моменты быстро сливаются в недели и месяцы, и вот видишь себя, наконец, отброшенным далеко-далеко от заповедного и горячо желаемого дела. Теперь, любезнейший Владимир Сергеевич, оставьте на время все ваши другие добродетели и прекрасные качества и давайте сюда *великодушие*, как я сказал, и с помощью его омойте и очистите меня от греха моего, греха невольного. Главное, не подозревайте меня в истощении чувства. Если бы я обладал в совокупности всеми великими умами древнего и новейшего мира да лишен был бы живости чувства и другой тоже благодетельной мне силы — живой фантазии, то я счел бы себя умершим и крайне удивился бы тому, что я хожу на земле, а не лезу в небо.

Что же вы подельваете, дорогой Владимир Сергеевич? В последнем письме вашем вы сказали о ваших изучениях и труде, который должен быть плодом их? Боже мой! думал я и думаю, что если бы возникшее из этих великих и обширных изучений было явлено свету на русском языке и внесено было в сокровищницу русской небогатой еще науки? какая была бы благодать для нас! Как нам нужно содействие высших умственных и нравственных сил для укрепления шагов наших на том пути, по которому мы идем! а путь наш, несмотря на его неровности, на сопровождающие нас крики и свистки польской до мозга костей своих испорченной шляхты и купленных ею западных холопов журналистов лежит все-таки в великое будущее. Я по природе моей и по опытам жизни скептик, а тут у меня есть что-то похожее на крепкое верование. Много есть такое, что верование это способно колебать, но много есть и такого, что ее поддерживает и питает. Не тоже ли самое и в целом мироустройстве? Разве смотря на все, что в нем делается, не приходится нам часто восклицать: «Господи! помози моему неверию»<sup>517</sup>. А, в конце концов, наконец, приходишь к мысли, что все же там есть и задача, и закон, и красота, и Господь, к которому взываешь. Аминь! Довольно, пока! Обнимаю вас всем моим сердцем и всем помышлением.

Ваш верный А. Никитенко.

P. S. 8-го февраля у нас готовится празднование пятидесятилетия университета нашего<sup>518</sup>. Опишу вам, что будет.

## № 65. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin

8 февраля н[ового] ст[иля] 1869

Любезнейший Александр Васильевич!

Крайне меня обрадовало ваше письмо. Признаюсь, я начинал было уже немножко отчаиваться. Но теперь, слава Богу, все обстоит благополучно, и я *великодушно* прощаю вам все ваши прегрешения вольные и невольные, словом, делом и помышлением и отпускаю вас с евангельскими словами — гряди с миром и не грехи больше!<sup>519</sup>

А о себе скажу вам новость, которая, может быть, вас порадует. Я сделался преподавателем русского языка. И вот каким образом. Есть при здешнем университете блистательный молодой профессор санскритского языка г[осподин] Аткинсон. Ему нет еще тридцати лет, а он уже владеет не только древним санскритом, но и всеми мелкими индейскими наречиями, да сверх того преподает испанскую и итальянскую литературу в женской гимназии (Alexandra College). Он настоящий лингвист в полном и высшем значении этого слова. Вот он-то обратился ко мне с просьбою помочь ему в изучении русского языка и других славянских наречий, но преимущественно русского, так как, говорит он, это язык господствующего народа, которому суждены великие судьбы. Он верит, что

«Славянские ручьи сольются в русском море».

Не странно ли вам покажется, что здесь, на этом крайнем рубеже Запада, нашелся такой отчаянный русофил и панславист? А мне так кажется, что это одно из знамений времени. Ведь люди вообще поклоняются восходящему солнцу. Да это можно еще проще объяснить: ведь мой профессор не француз, а истый англичанин; следовательно, у него нет завиральных идей и сантиментального сочувствия к полякам. Как только я вошел в его комнатку в университете, всю заваленную книгами и восточными рукописями, на меня так и повело университетскою жизнью и воспоминаниями Германии. Вот в этой-то комнатке мы трудимся целое лето каждый день. Сначала в учебной книге Шмидта мы прочли несколько басен Крылова и «Кавказский пленник» Пушкина, а потом принялись за «Дым» Тургенева. Тут я имел случай вполне оценить высокий талант нашего несравненного новеллиста, приобретшего уже полную европейскую известность. Вы согласитесь, что буквальный перевод с грамматическим разбором каждой фразы и каждого слова такая огненная проба, какую может выдержать только первоклассный писатель. Теперь мой ученик занят переводом «Дыма» на английский язык. Вышел, правда, уже перевод в Лондоне, но преме́рзкий<sup>520</sup>: какой-то господин переводил с русского с помощью французского перевода, да, кажется, что ни того, ни другого языка порядочно не разумел, да вдобавок еще перевел самым дурным английским языком, за что ему порядочно досталось от рецензента в “*Athenaeum*”<sup>521</sup>.

Эти русские уроки были для меня источником неопищенного наслаждения. Как приятно было указывать иностранцу на красоты родного слова и встречать старых знакомых, перечитывая отрывки, соединенные с дорогими воспоминаниями в былом. Меня утешает уже одна эта мысль, что вот эдак, хоть косвенным образом, я могу сослужить службу России. И эта служба совершенно бескорыстная, никем не признанная и ни от кого возмездия не ожидающая! Это, конечно, не больше как капля воды в океане или, может быть, это песчинка, прибавленная к гранитному зданию величия России.

Здешний университет, как вам известно, основан триста лет назад Елисаветою и теперь занимает третье место после Оксфорда и Кембриджа. У ворот его стоит почетная стража — две изящные статуи его знаменитых воспитанников — оратора Борка и поэта Гольдсмита.

Пожалуйста, опишите мне празднества вашего университета. Я заочно буду участвовать в нем всею душою. Петербургский университет дорог мне и сам по себе, и по драгоценным с ним связанным воспоминаниям.

Что такое «*Евгений Онегин нашего времени?*» и какое место занимает г[осподин] *Минаев* в нашей словесности<sup>522</sup>? Его последнее произведение было



разобрано в “Athenaeum” и некоторые стихи очень удачно переданы на английском языке<sup>523</sup>.

Мое почтение и сердечный поклон вашей дорогой супруге и с тем пребываю ваш  
В. Печерин.

### № 66. А. В. Никитенко — В. С. Печерину

Петербург  
19 февраля (2 марта) 1869

Честь и хвала благородному г[осподи]ну Аткинсону за его здравое понятие о русском народе, а Вам, любезнейший Владимир Сергеевич, за укрепление в нем этого понятия наставлением его в нашем языке. Такой язык, как наш, — недурной аттестат народу, да и такой учитель, как вы, в состоянии передать вполне его богатства и красоты.

Вот, напр[имер], ваши собственные стихи — они такие же изящные и милые, как написанные вами в былое давно минувшее время под влиянием других обстоятельств. Замечу только, что применение к Дон-Кихоту не к вам одним относится. Разве и я не был таким же Дон-Кихотом? Вы были весь пыл и решимость, я был сдержаннее и, если можно так выразиться, скептическиее вас. Моя звезда по временам бросала яркие лучи, но часто ее заволакивали тучи, нагоняемые моею бурною судьбою, которая едва ли тогда и вам была хорошо известна. Но все же я был идеолог, у которого в голове вращались великие идеи, а под ногами дрожала зыбкая изрытая почва; все же я мечтал о каких-то рыцарских подвигах, плутарковских героях, о высших задачах жизни и науки и приносил им в жертву скромное, но прочное свое и, может быть, гораздо более общепольное настоящее. И теперь что же? Полная *неудовлетворительность* в том, что *стремился* делать, и в том, что *должен* был делать, и с этим печальным сознанием своей жизненной несостоятельности придется лечь и в могилу. Единственное, что уцелело в этом злополучном крушении судеб и стремлений, это некоторое мужество, готовое, между прочим, без ропота пожать то, что посеял.

8-го февраля отпраздновали мы пятидесятилетие Санкт-Петербургского университета. Накануне в университете была отслужена панихида по государям — одному, основавшему университет, Александре I, и другому, давшем ему усиленные штаты, Николаю I<sup>524</sup>, а также по скончавшим живот свой профессорам и студентам. Потом совершена была архиерейская обедня, затем молебен и тем кончилось торжество 7-го февраля. На другой день огромная зала дворянского собрания наполнилась посетителями так, что не только яблоку, как говорится, но ореху негде было бы упасть. Я как академик и почетный член университета имел прекрасное помещение. В этой-то зале и происходил акт. Зрелище было поистине величественное. Оно живо напомнило мне столетний юбилей Московского университета в 1854 году, где я сам был действующим лицом — депутатом от Санкт-Петербургского университета — и держал речь. Теперь сорок депутатий также от разных сословий и учебных заведений с разных концов России принесли свои поздравления университету. Прочитан был прежде всего рескрипт Государя, полный сочувствия к науке и университету; от криков ура и рукоплесканий дрожала зала, несколько раз и публика, и ученые, и учащиеся требовали повторения гимна «Боже царя храни»<sup>525</sup>. Особенную прелесть придавало всему этому то, что тут не

было и тени чего-нибудь официального, подготовленного, все лилось из сердца потоком свободного искреннего чувства. Александр II любим, как, может быть, ни один Государь в свете так не любим. Да правду сказать и есть за что. Все, что от него исходит, полно человечности и благодати.

Много наград и повышений в чинах было объявлено в этот день, это уже, само собой разумеется. Но главное, чем Государь ознаменовал его, это установление стипендий для бедных студентов каждая в 300 рублей навсегда и 20 тысяч рублей одновременно для нынешних. Городская дума<sup>526</sup> и некоторые другие корпорации выразили также свое сочувствие университету не одними поздравительными адресами, но учреждением стипендий. Один Дерптский университет<sup>527</sup>, и он один только, не прислал ни депутатов, ни адреса. Сначала он хотел послать адрес на *немецком* языке, но кто-то из Петербурга заметил им, что это будет крайне неприлично и что, по крайней мере, пусть бы дерптские немцы выразили свое чувство на латинском как общем ученом языке, как сделал то университет Гельсингфорский<sup>528</sup>. Так вот они и решились ничего не сделать. Как вам это покажется? Что касается до меня, я рад, что они не явились со своим немецким языком, они избавили нас тем от скандала. При настроении умов, особенно молодежи, в данный момент, пожалуй, им пришлось бы воротиться восвояси в сопровождении кошачьего концерта или чего-нибудь подобного.

На днях, между прочим, я потерпел горестную утрату — скончался бывший министр народного просвещения *Норов*<sup>529</sup>, человек высокой образованности и прекраснейшего сердца, с обширными знаниями, приобретший почетное имя в науке. Он был истинным другом моим. Во время его министерствования я некоторое время был главным его советником<sup>530</sup>; к несчастью, между мною и им стала одна темная личность, которая на время нас разъединила. Но потом он первый протянул мне руку, и с тех пор дружба наша сделалась еще теснее. Да и прежде она считалась 25-ю годами. Вот так мало-помалу все близкое нашему сердцу исчезает — «иных уж нет, другие странствуют далече», как сказал Пушкин<sup>531</sup>.

Но довольно. Пора, наконец, хоть заочно горячо пожать вам руку и, вверив вас охранению высших благотворящих сил, сказать: пока прощайте!

Ваш А. Никитенко.

Жена моя сердечно вас приветствует и кланяется вам.

## № 67. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin

22 апреля н[ового] ст[иля] 1869

Несу вам повинную голову, любезнейший Александр Васильевич! Тут нечего извиняться. Просто откладывал со дня на день. Даже стыдно и сказать, но главною причиною была холодная и сырая погода, отнимавшая охоту что-либо делать. Все так сидел у огня да ждал погоды, авось завтра будет лучше! Ваше последнее письмо очень для меня драгоценно. Оно свидетельствует о таком живом дружеском участии, за которое я не могу вас достаточно отблагодарить. Ваша дружба связывает меня с Россиею, она постоянно напоминает мне, что я все еще русский и что русское сердце бьется в груди моей. С большим наслаждением я читал описание

университетского торжества нашей общей Alma Mater\*. А Дерптский-то университет, как говорят студенты, *опростоволосил*ся. Однако ж кто тут виноват? Ведь не мы ли сами немцев донельзя избаловали? Возьмите, напр[имер], Америк[анские] Соед[иненные] Штаты. Ведь там есть огромное и очень влиятельное немецкое население, но где ж и когда там немец осмелился выйти с немецкою речью при каком-нибудь общественном торжестве? Даже мальчишки на улице не позволяют своим товарищам говорить другим языком, кроме всеобщего языка великой республики. Но теперь, благодаря Богу, многое у нас переменялось в этом отношении. Русская народность и русский язык отстаивали свои права, и Тургенев берется перевести даже Гегеля на чистый русский язык, не употребляя ни одного иностранного слова.

С наступлением весны я часто посещаю здешний ботанический сад (один из лучших в Европе). Изучение растительного царства открывает новый мир неистощимой жизни. Тут жизнь кипит, бьет живым ключом, рассыпается алмазными брызгами, играет всевозможными оттенками радуги. Смерти нет, да и быть не может, потому что каждый атом в пространстве и каждая секунда времени переполнены жизнью. Жизнь везде льется через край. Что мы называем смертью, есть не что иное как *представление*, переход из одной струи в другую, перелив из одного радужного цвета в другой. Исследовать и понять жизнь, проникнуть с помощью микроскопа в самую глубину ее последних атомов — вот вся задача науки! Понять жизнь и воспроизвести ее в новых формах — вот поэзия, музыка, живопись и пр[очее]. И для каждого человека одна цель жизни — развить жизнь в самом себе по всем ее разветвлениям: физически, умственно, нравственно.

Есть у меня к вам просьба. Не можете ли вы указать мне хороший учебник *истории русской словесности* с образцовыми отрывками в хронологическом порядке? Это для г[осподина] Аткинсона. Он непременно выпишет книгу, вами указанную. Он, как видите, хочет основательно изучить русскую словесность.

Недавно вышел в Лондоне отличный перевод басен Крылова г[осподином] *Ральстоном*<sup>532</sup>. Ваше русское сердце порадовалось бы, если бы вы прочли разбор этой книжки в таком влиятельном журнале как "Saturday Review"<sup>533</sup>. Рецензент говорит о гении Крылова с истинным неподдельным *восторгом*. В заключение своей статьи, приведя знаменитую басню «Хавронья», что, «не жалея рыла, изрыла весь задний двор»<sup>534</sup>, он говорит: «но тут уж для Хавроньи вовсе нет места! Тут просто весь дом сверху донизу переполнен жемчугом и алмазами. Переводчик открыл это сокровище и передал его нам в отличной английской отделке».

Переводчик Крылова, г[осподин] Ральстон, есть один из членов Британского музея и считается наилучшим знатоком русского языка в Англии. Он недавно поместил в одном журнале ("Fortnightly Review") статью о *русских народных сказках*<sup>535</sup>, которая очень понравилась публике, и теперь журналы с *уважением* говорят о нашем Бове Королевиче, о славном богатыре Илье Муромце да о Соловье Разбойнике. Но ведь все это очень хорошо для этих запоздалых островитян, а теперь послушайте-ка, что говорит *великая нация*. Слушайте! слушайте! Некто г[осподин] Дельмар<sup>536</sup> не на шутку предложил парижскому университету торжественно заявить однажды навсегда перед целым светом, *декретировать*, что «Русские не славянского происхождения и что их не следует впредь называть русскими, а просто

\* Питающая мать — *лат.* Традиционное образное название выпускниками своих учебных заведений (чаще высших).

Московитами». Каково? Решительно у французов мозг размягчается, и великая нация впадает в старческий бред.

Я нашел здесь в одной книжной лавке редкость, а именно: «Копии Его Царского Величества указов, состоявшихся в 1719 и 1720 годах в Санктпитебурге и пр[очая]»<sup>537</sup>. А вот вам образчик указа как должно пользоваться минеральными водами: «Правила Дохтурские. После окончания питья вод обедать, а перед обедом чарку водки тем, которые обыкли или которым смутитца, выпить позволяется, а особливо анисовой, а за обедом рюмки 2 вина бургонского или рентвейну или легкого вина французского [которое называть обыкли ренским], мочно выпить также от жажды полпива. А которые для скудости рентвейн, бургонского, французского не имеют, тем другую чарку водки выпить позволяется, а не больше. А квасу, кислых штей<sup>538</sup>, такожде браги весьма запрещается»<sup>539</sup>.

Вчера г[осподин] Аткинсон читал публичную лекцию о Дантовом «Аде»<sup>540</sup>, которая принята была с громкими рукоплесканиями.

Надеюсь, что вы простите меня за мое долгое молчание и по-прежнему позволите называть себя вас искренно любящим

В. Печерин.

### № 68. А. В. Никитенко — В. С. Печерину

Петербург  
1 мая 1869

Итак, все обстоит благополучно. Последнее письмо ваше, любезнейший Владимир Сергеевич, было благовестием для меня в этом смысле. Вы жалуетесь на холода — вот чудо! Я думал, что этого рода иеремиады<sup>541</sup> могут раздаваться только у нас, заброшенных судьбами в глубину неприязненного севера. Вот у нас так были холода, хотя календарь давно провозгласил уже весну! Зато четыре дня уже как мы истаиваем от жару, да, от жару! 18° в тени и 25° на солнечной стороне в апреле, разве это не диво дивное у нас? А третьего дня в продолжение целых четырех часов ночью была такая гроза, которой старожилы здешние не запомнят и в самый разгул лета, не только в апреле. Это ничуть, однако, не ручается за то, чтобы в половине или даже в конце мая не покрыл нас снег. Подобные вещи у нас случались.

Как вы меня обрадовали отзывами английских умных людей о нашей литературе и особенно о нашем неподражаемом Крылове! Гуляя на днях в Летнем саду, я взглянул на бронзовый лик его — тут воздвигнут ему памятник, и, надобно сказать, прекрасный памятник<sup>542</sup> — я взглянул на него и мысленно повторил переданные мне вами слова англичан: мне кажется, он улыбнулся, несмотря на то, что не слишком был доступен и хвалам и брани. Кстати о нашей литературе, т[о] е[сть] современной. Она довольно в странном положении. Несмотря на такую свободу печати, о которой в не так еще давнее время можно было мечтать только разве во сне, новых талантов нет, как нет. Мы пробавляемся кое-как прежними, которые, видимо, склоняются к закату. Тургенев сильно в последнее время пострадал в общественном мнении. Его «Дым» произвел весьма неприятное впечатление<sup>543</sup>, а то, что явилось после «Дыма» в журналах<sup>544</sup>, так ничтожно, что не стоит о том и говорить. В «Дыме» все увидели памфлет озлобленного человека против многого дурного с игнорированием того, что есть у нас хорошего. Он издевается даже над верою в нашу будущность, и все это от того только, что о нем неблагоклонно отозвались некоторые из

наших журналов. Тургеневу стыдно; вот уже около десяти лет почти как он оставил Россию и пишет о ней на всю Европу, не зная вовсе что в ней делается и повторяя старые зады о наших нехорошествах. Частные случаи, о которых доходят до него темные слухи, он принимает за общее настроение умов и за общий ход дел. Если бы я не боялся утомить вас, и позволило бы время, я сказал бы вам нечто и о других наших литературных деятелях; но пусть это будет после.

Вы спрашиваете меня, какой бы можно рекомендовать лучший учебник по части истории русской словесности? Смело могу указать вам на историю русской словесности *Галахова*<sup>545</sup>. Правда, ей недостает заключительной главки, но это не беда, да при том это и дополнится последним выпуском, который, впрочем, скоро выйдет. Да хоть бы и не вышел скоро, все изданное уже чрезвычайно полезно. Можно к этой книге присоединить его же хрестоматию<sup>546</sup>. Указал бы вам еще не в виде рекомендации, но ради вашего любопытства, на мое *введение в историю русской словесности*<sup>547</sup>, да ее нет уже в книжных лавках и у самого меня один истасканный экземпляр. О *своем* или о *своих* упоминаю вам с умыслом. Мне очень хотелось бы довести до вашего сведения хоть некоторые из моих последних монографий, как-то о *Ломоносове*, о *Крылове*, о *Вронченке*, переводчике Шекспира и Гетева Фауста, о *Галиче*, бывшем профессоре философии, которого, вероятно, и вы знали, и пр[очее]<sup>548</sup>. Но я не знаю как это сделать? Научите меня. Пусть наше духовное общение совершилось бы и другим способом кроме писем.

Что ваши записки? О почтенном г[осподине] Пояркове нет ни слуху, ни духу.

Скажите, родственник ли вам г[осподин] *Шрамченко* Павел Платонович<sup>549</sup>? Он служит в Государст[венном] Совете и, кажется, человек порядочный. Я недавно с ним познакомился.

Еще слово о литературе: читаете ли вы последнее произведение Виктора Гюго<sup>550</sup>? Боже великий! Что за французская декламация! что за французское обезображение красот! Что за страсть бить по сердцу человеческому как по щекам дикими фразами без всякого уважения к его эстетическому целомудрию и психологическому достоинству! Как может такой, впрочем, огромный талант унизиться до такой пошлой погони за эффектами, которые следовало бы оставить лающим собакам парижских газет и фельетонов<sup>551</sup>!

Но прощайте! Да будет с вами и в вас и над вами и около вас все прекрасное в союзе с истинным, без чего из него выйдет или тургеневский дым или викторгюговский треск и шум слов. Обнимаю вас братски. Моя жена вам душевно кланяется.

Ваш А. Никитенко.

## № 69. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin

23 мая н[ового] ст[иля] 1869

Нет ничего естественнее и приличнее как начать разговор с погоды. Итак, до получения вашего письма у нас постоянно дул северо-восточный ветер, пронимавший до костей, стояла холодная и дождливая погода, и огонь пылал в моем камине, по крайней мере, по вечерам. Ах! вы не знаете, какое наслаждение здесь камин! Даже жалко расстаться с ним, когда настает весна. Тут не в том дело, чтоб греться, а так вот сидеть да смотреть на огонь, мечтать. Глядишь на эти странные изгибы и пере-

ливы пламени и думаешь о не менее странных поворотах жизни. Да и сама жизнь не что иное, как медленное сгорание. Воздух, которым мы дышим, — огонь всепожирающий. Надобно беспрестанно подкладывать дрова. У иных топлива достает надолго, у других запас скоро истощается, и огонь за неимением пищи умирает. Вот и вся жизнь! А касательно здешнего холода любопытно знать, что он большею частью происходит от ледяных гор, плывущих с северного полюса по Атлантическому океану. Американские пароходы часто с ними встречаются в это время года.

Теперь вам скажу новость. Знаете ли, что в Англии есть цензура? Да еще и очень строгая! А кто же цензор? Да сама публика. Вот, например, новый роман Виктора Гюго “L’homme qui rit”<sup>\*</sup> почти запрещен в Англии, т[о] е[сть] все журналы единоголосно объявили, что он никак не может быть вполне передан на английский язык, что надобно сделать огромные выпуски, потому что английская публика никак не может переварить тех чудовищных преувеличений, философских бредней и отвратительных неприличностей, которыми роман наполнен. Я только что получил последний номер “Revue des deux mondes”<sup>552</sup>, где вижу, что даже и во Франции он не очень-то благосклонно был принят. Бедный Виктор Гюго! Вот до чего он дожил! А ведь он считает себя великим пророком 19-го века. Всего забавнее то, что его теперешний слог ужасно как сбивается на монашеский слог средних веков. У него в каждой фразе непременно найдется восклицание и антитеза. Вот как, например, некий семинарист Козелецкого повета читал надгробную речь над черниговским помещиком в местечке *Кобыще* в этом роде: «Вчера сиял луч благоденствия! а теперь, увы! настала ночь злополучия! Вчера он был в беседе с друзьями! а сегодня он в могиле с червями!» Вот в этом роде и Виктор Гюго пишет, только немножко повычурнее

«Точь-в-точь как говорят учены по церквям!»<sup>553</sup>

Здесь есть чудак библиоман, закупающий все возможные и невозможные книги и на всех языках. Вообразите себе, что недавно он выписал через моего книгопродавца два огромных томища «*Описания осады Севастополя*» ген[ерала] *Тотлебена*<sup>554</sup>. А сам ни слова не знает по-русски. Вероятно, он хочет начать с этой легкой литературы.

Благодарю за указание учебника. Меня очень поразило ваше замечание о бесплодности нашей современной литературы. Это правда, и я сам давно уже заметил, что у нас даровитые писатели очень скоро *истписываются*, выбиваются из сил. Да от чего ж это происходит? Мне кажется, этому одна причина, та, что у нас как-то слишком быют на *авось, не любят трудиться*. Без постоянного труда самый блистательный талант скоро истощается и угасает, как огонь без дров. Великие таланты Англии представляют нам пример удивительного трудолюбия. Государственные люди здесь работают как каторжники. Вообразите себе, что они сидят половину дня и целую ночь до трех часов утра в парламенте и после этого еще находят время писать комментарии на Гомера как Гладстон или перевести Илиаду мастерскими стихами как лорд Дерби. У англичан есть пословица *time is money*, т[о] е[сть] время равносильно деньгам, время есть драгоценнейший капитал! А у нас, признайтесь, ужасно как тратят время по-пустому.

Мне очень хотелось бы иметь ваши монографии, особенно о Ломоносове и Крылове. Да в чем же тут затруднение? Если они небольшие брошюрки, то вы просто

\* «Человек, который смеется» — фр.

заверните их в пакет да отправьте на почту, а за пересылку мы здесь заплатим. Покойный князь Долгоруков, бывало, присылал мне целые тюки «Московских ведомостей» и «Голоса». Эти монографии будут также очень полезны для г[осподина] Аткинсона: я надеюсь, что он со временем даст несколько лекций о русской словесности.

Еще вам вопрос: есть ли у нас русская грамматика, достойная этого имени? Ведь в последние 30 лет языковедение и сравнительная грамматика сделали важные шаги вперед, так что, кажется, можно бы составить что-нибудь хорошее. Но сочинителю русской грамматики необходимо знание восточных языков. Наши склонения выкроены по образцу Греции и Рима, но зато спряжение глагола — совершенно восточное, арабское. Вот, например, фраза — *бывало, пойдешь гулять* — есть совершенно восточное, и ее тотчас же можно буквально переложить на арабский язык.

Г[осподин] Шрамченко действительно приходится мне родственником. Он, кажется, двоюродный брат г[осподина] Пояркова. Я знал его покойного деда, жившего в Олишевке. Если увидите его, пожалуйста, поклонитесь ему от меня. А г[осподин] Поярков будет у вас летом. Он теперь в Каменец-Подольске занят устройением там муниципального управления. Дело не легкое там, где огромное большинство населения состоит из жидов.

У вас теперь съезд ботаников, ботанический конгресс<sup>555</sup>. Мой знакомый директор ботанического сада<sup>556</sup> отправился туда и по возвращении расскажет мне многое о Петербурге.

Прощайте и не забудьте поклониться от меня вашей любезной супруге.

Ваш В. Печерин.

## № 70. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

21 июня 1869

Не стыдно тебе, Печерин, иметь такого скверного друга, который не пишет тебе по два года? Если счесть, сколько раз я непременно был намерен писать к тебе во все это время, то, право, наберется едва ли не сотня раз. Почему же не писал? Большею частью потому, что я был совершенно в каторжной работе: в одно и то же время я был председателем Московского Купеческого Банка и председателем Общества Московско-Ярославской железной дороги. Веришь ли, что большую часть дней я бывал до того измучен, что не было сил взяться за перо, и еще того меньше, не было сил встать с кресел. Наконец нынче в мае месяце я оставил Банк, несмотря на все убеждения пайщиков и несмотря на то, что дела его шли превосходно. Оставить его заставило меня и то, что наша дорога пошла далее: она до сего времени шла только до Сергиевского посада, т[о] е[сть] всего на 66 верст, а теперь пошла до Ярославля, т[о] е[сть] с настоящею всего на 266 верст. Главное заведывание всем делом лежит на двух, из которых один часто хворает, другой тоже хворает, но не так, чтобы не работать усердно — это твой Чижов. Коснувшись железных дорог, я уж, брат, не могу упомянуть об них только двумя-тремя словами, изволь слушать целый перечень. У нас теперь железные дороги строят, как блины пекут, если только ты помнишь, что такое блины и как скоро пекут их. В то время как я тебе писал последнее письмо, было не больше 4 или 5 дорог. Теперь, кроме прежних Петербургско-Московской, называемой Николаевской, Московско-Нижегородской, Петербургско-Варшавской с ветвью к Эйткундену<sup>557</sup>, Московско-Рязанской и нашей Троицкой существуют:

От Москвы до Курска,  
От Курска до Киева,  
Рязани до Козлова,  
Козлова до Воронежа,  
Ряжска до Моршанска.

Строятся: от Курска до Харькова,  
Харькова до Таганрога,  
Воронежа до Ростова-на-Дону,  
Москвы до Ярославля,  
Грязей<sup>558</sup> (на Рязанско-Козловской)  
до Ельца и Орла,  
от Орла до Витебска (открыта),  
от Витебска до Динабурга<sup>559</sup> (открыта),  
от Динабурга до Риги (открыта),  
от Москвы до Смоленска,  
Рыбинска до Бологова<sup>560</sup> (станции на Николаевской дороге),  
Новков<sup>561</sup> (станции на Нижегородской дороге) до  
Шуи и села Иванова,  
Петербурга до Балтийского порта,  
Козлова до Тамбова,  
Тамбова до Борисоглебска.

И еще несколько мною забытых. Если ты не поверишь, то я не буду на тебя сердиться, а между тем невозможно не верить.

Не сердись, мой милый Печерин, за то, что я полписьма наполнил этим перечнем наших железных дорог — что у кого болит, тот о том и говорит. Что же у тебя болит в настоящую минуту? Неужели тебе не хочется взглянуть на твою родимую сторону совершенно преобразившуюся? Может быть, вопрос не совсем скромный, но он невольно вырвался после разговора сегодняшним утром. У меня был, наконец, твой племянник *Поярко*; к сожалению, он здесь проездом, спешит на службу в Каменец-Подольск и сегодня же едет. Он у меня был в Правлении на железной дороге. Потолковали мы о тебе; мне очень хотелось иметь твои воспоминания, и он обещал в будущее посещение Москвы привезти их с собою. Очень, очень бы хотелось просмотреть тебя и прожить с тобою с самого твоего детства. Живая борьба с действительностью, неумолкаемый протест противу обиходной жизни, олицетворенное стремление к истине, неугомонное ее искание вне себя — таким ли ты изобразил себя в твоих записках? Кроме их, мне прямо от тебя хотелось бы иметь твои воспоминания столько подробно, сколько можешь ты припомнить, и, безусловно, искренние воспоминания о твоём университетском времени. Для чего и к чему? Слушай или читай.

Нынешнею весною был пятидесятилетний юбилей Петербургского университета; я не мог быть на нем, потому что в этот самый день у меня в Товариществе Моск[овского] Купеч[еского] Банка было Общее Собрание — не быть на нем было невозможно. Юбилей праздновали довольно казенно; читалась история университета, написанная ориенталистом Григорьевым<sup>562</sup>, весьма легонькая, по легкости не довольно добросовестная и тоже полуказенная. В это самое время из наших университетских товарищей, едва ли ты его помнишь, Фортунатов, напечатал в «Русском Архиве» «Воспоминание о С.-Петерб[ургском] университете (по поводу 50-летнего юбилея)



Ф.Н. Фортунатова, бывшего директора Олонецкой гимназии»<sup>563</sup>. Это — именно воспоминание: кое-что более внешнее, иногда численное, более всего о Грефе; сухонько, кое-где подогрето личными впечатлениями, ни для кого не занимательными ни по роду впечатлений, ни по лицам, о которых идет дело. Редактор «Русского Архива», некто тебе вовсе неизвестный Бартенев<sup>564</sup>, приславши мне, просил меня убедительно написать мои воспоминания. До сих пор я этого не исполнил, а хочется исполнить и непременно хочется изобразить дорогую мне и милую горячую голову — моего Печерина. Поэтому я просил бы тебя — засядь и в несколько приемов напиши твои воспоминания, которые и введу в свои как портрет твой, тобою самим написанный. Недавно прошедшее для нас теперь страшно дорого. Последнее время так изменило весь быт и внешний и внутренний, что если мы, люди тридцатых годов, ничего не передадим о нашем времени, оно исчезнет совершенно, по крайней мере, негде будет взять красок для его изображения. Напишешь ты, напишу что-нибудь я, по нашему начину напишет еще кто-нибудь и хорошо. Если бы ты имел надобность в помощь твоим материальным средствам жизни, хотя бы, например, в присылке тебе книг, вероятно, я выхлопотал бы у редактора, хотя «Русский Архив» и не такой журнал, который мог бы платить своим сотрудникам. Это русский исторический сборник исторических мелочей, писем, анекдотов, описаний более XVIII столетия и начала нашего. При нем изданы три тома «Осьмнадцатый век»<sup>565</sup>. Хотел было переписать тебе оглавление всех трех книг, да, признаться, лень и скучно. А может быть, тебя и подбило бы желание получить все эти книги вместе с архивом за все четыре года, соврал — за все семь лет его существования. Беда одна — трудно к вам в Англию пересылать книги, ну да я как-нибудь бы это смастерил. Итак, вот тебе перспектива: напишешь воспоминания, получишь книги; не напишешь, ничего не получишь, и я еще тебя поругаю.

Эх! милый мой Печерин, писавши к тебе, я забываю, что мне уже 59 лет, и как будто бы снова так же молод, как был когда-то, когда ты пленялся смольнянкою Парижскою, теперь ставшею толстейшею купчихою. Сильно хотелось бы тебя увидеть, хотелось бы заставить тебя побывать в России хоть на недолгое время. Думаю, что тебе не будет запрещен въезд, потому что ты ни разу не был замешан ни в чем противу России. Если бы ты действительно захотел сюда побывать, то, разумеется, я предварительно сделал бы самые подробные разведки о том, можно ли тебе приехать без риска подвергнуться суду. Вероятно, я на будущий год пушусь в Западную Европу, тогда непременно буду у тебя и тогда мы потолкуем обстоятельно. Жить тебе здесь нет возможности. Не говоря о материальной обстановке, ты после полной независимости не ужился бы с весьма неполною личною свободою нашего любезного отечества. Ты знаешь, что я его люблю страстно, ни за что в мире ни при каких обстоятельствах не оставил бы его на многие годы, но солгал бы, если бы сказал, что в нем водворилось полное личное обеспечение. Газета Аксакова закрыта<sup>566</sup>, несмотря на то, что большинство членов Государственного Совета признало направление ее честным, благородным и благонамеренным; шпионство существует сильно, несмотря на то, что все и всё совершенно покойно и что нет поводов к какому-нибудь общему недовольству. Нет людей для новых учреждений, еще менее сколько-нибудь способных людей для высшей администрации — в том и другом такая нищета, какой не только мы на своем веку, а ни отцы, ни деды наши не запомнят; но какой же тут повод к какому-нибудь общему началу общего недовольства. На престоле честность в высшей степени; в обществе есть стремление к честности и правде. Правда, что мерзость времени берет верх над всем, и утилитарное направление является в весьма

неприглядном виде в общественной деятельности; но когда прочтешь о Лудовике Наполеоне, когда проследишь за Францией и Италией — право, рад-радехонек, что не хуже у нас, а далеко лучше. По крайней мере, у нас хорошие стремления.

Вот тебе, мой милый Печерин, длинное послание. Зная твою аккуратность в переписке, я не только надеюсь, а уверен, что ты мне скоро ответишь. Авось либо твое письмо заденет меня за живое, и я не отложу уже ответ на годы. Обнимаю тебя братски твой Чижов.

P.S. Как бы я был тебе благодарен, если бы ты в твоём письме передал мне обычный ход твоей жизни, просто весь день с минуты вставания до той минуты, когда ты ложишься в постель! Это перенесло бы меня в твою настоящую жизнь. Моя очень монотонна и чересчур официально наполнена внешнею деятель[ностью]; поэтому думаю, что она тебе ничего не передаст, особенно тебе, довольно отделившемуся от всякой официальности.

### № 71. А. В. Никитенко — В. С. Печерину

Павловск  
Июнь 1869

Четвертый день уже наслаждаюсь я зрелищем роскошной зелени, светом солнца и теплотою в Павловске, куда обыкновенно переезжаю на лето. Природа подарила нам эти дни, подвергнув нас прежде в течение двух недель страшным истязанием холода, дождей с бурями и снежными камнями, только из учтивости называемыми градом. Перед окошками моими теперь красуются великолепные кусты сирени в цвету, а в комнатах разливается благоухание ландышей, сохраняемых в сосудах с водой. Прекрасно! Но завтра же все это может превратиться в новую экзекуцию, которою та же природа постоянно искушает терпение наше. Проклятое это *завтра!* Между всеми живыми тварями земли одному человеку дано предвидение будущих зол, увы! редко его обманывающее. Но что будет, пусть будет. Но теперь вот я могу беседовать с вами, любезнейший Владимир Сергеевич, и это хорошо. Прежде всего, вы, конечно, обратите внимание на толстоту доставленного вам с почты пакета: в него вложены по вашему наставлению три мои монографии. Собственно должны бы быть две, но я прибавил к ним о Державине<sup>567</sup>. Это последняя вещь, хотя писана довольно давно, но я не отступаю от нее — она и теперь находит некое сочувствие между исследователями нашей литературы. Все это предается на ваше благорассуждение.

Есть у нас в университете профессор римской словесности Благовещенский<sup>568</sup>. Я с ним в хороших отношениях. Слушая часто мои речи о вас, он возымел желание заявить пред вами о своем существовании и вручил мне для вас свою книжку о Горации, которую, однако, теперь не могу вам переслать: она не то что книга собственно, но и не брошюра. При случае постараюсь вам передать и ее. Нового или очень интересного она, впрочем, ничего вам не скажет. Это хорошо составленная компиляция, разумеется, по немецким источникам, с целью популяризировать у нас Горация. Вот и все.

У нас не так давно велся ожесточенный спор в печати и не в печати между сторонниками классического и так называемого реального образования<sup>569</sup>. Теперь он опять возобновился. Некоторые хотят, чтобы вся система нашего образования была основана на изучении классиков с устранением знания естественных наук и вообще так называемого реального начала. Я подавал также голос, но в пользу соглашения этих обоих элементов образования, то есть в пользу соглашения гуманитарных

принципов с вопиющими и насущными потребностями национальными. Очень бы обязали вы меня, любезнейший Владимир Сергеевич, если бы сообщили мне сведение о том, как смотрят в Англии на подобный вопрос? Мнение таких здравомыслящих людей как англичане должно иметь вес, а если бы вы и от себя несколько слов сказали, то я вдвойне был бы вам благодарен.

Писал бы больше к вам, но на сей раз боюсь опоздать в город по железной дороге, откуда должно быть отправлено это письмо. Хотя я и в Павловске, но адресуйте ко мне ваши письма как всегда, по-прежнему. По должности<sup>570</sup> я очень часто езжу в Петербург, да и сам Павловск есть не что иное, как предместье столицы. Боже да хранит вас. Обнимаю вас от всей души.

Ваш А. Никитенко.

Кончив письмо это, я вспомнил, что вы спрашивали меня о русской грамматике. На это вот что могу вам сказать: настоящей хорошей удовлетворительной грамматики у нас до сих пор нет, хотя их печаталось и печатается очень много. Учащиеся кое-как обходятся то некоторыми из этих, то руководствами Греча и Востокова, которые, т[о] е[сть] руководства, тоже далеко не выполняют своей задачи. Есть еще историческая грамматика *Буслаева*<sup>571</sup>, профессора Московского университета, но она сбивчива, не ясна, не полна и не применима к изучению языка. Как же это, спросите вы, при нынешних успехах языкознания вообще вы не успели составить грамматики своего языка? Это объясняется очень просто: успехи эти указали нам на метод, но не дали сил для разработки материалов нашего языка, которые, как вы знаете, огромны. Вот вы говорите, что нам нельзя обойтись и без арабского языка, а кто у нас думал об этом? А что же делает Академия Наук по отделению русского языка и словесности? опять спросите вы. О, об этом пришлось бы так много говорить, что на сей раз, по крайней мере, я не в состоянии отвечать на ваш вопрос. Вообще наука наша еще очень слаба. Правда, мы лучше, чем прежде, понимаем потребности науки, задачи ее стали для нас яснее, методы правильнее, но все это похоже больше на карту для плаванья в обширном море, чем на самое плавание, а еще менее на исследование далеких стран и на открытия. Вероятно, время еще не пришло, а когда придет? Это покрыто мраком неизвестности, как говорил нелепо высокопарной памяти профессор Кайданов в своей истории<sup>572</sup>. Но вот я пускаюсь вдаль, а теперь следует *пеицца о едином на потребу*<sup>573</sup>, т[о] е[сть] об отправлении письма сего на почту. Итак, еще раз душевный дружеский привет вам и *finis*\*! Жена моя благодарит вас сердечно за вашу память о ней и за поклонь.

## № 72. В. С. Печерин — А. В. Никитенко

47 Lower Dominick Street  
Dublin

26 июня н[ового] ст[иля] 1869

Ваша посылка, вооруженная пятью огромными печатями, благополучно достигла своего назначения. Не знаю, как и благодарить вас. Вы можете быть уверены, что все касающееся вашей полезной деятельности на поприще русской словесности для меня очень драгоценно. Я прочитаю ваши брошюрки на досуге и поделюсь ими с г[осподином] Аткинсоном. Поблагодарите от меня г[осподина] Благовещенского

---

\* Конец — *лат.*

за его лестное ко мне внимание, а если со временем при случае вы перешлете мне его Горация, то я очень буду благодарен. А теперь, кстати, этот Гораций бросает меня в самый разгар вашего спора между классиками и реалистами.

В Англии этот вопрос почти уже решен. В некоторых университетах вместо греческого языка требуется для экзамена один из новейших языков — французский или немецкий. На днях здесь в Дублине учредили нарочно для г[осподина] Аткинсона новую *кафедру романских языков*, т[о] е[сть] французской, итальянской, испанской и португальской литератур. А кто знает? может быть, со временем здесь откроется и *кафедра славянских языков*. Конечно, и здесь есть люди, разделяющие *ваше* мнение, т[о] е[сть] желающие держаться золотой середины и согласить по возможности классическое преподавание с реальным. Но *поток* общественного мнения сильно идет против древних языков. Недавно г[осподин] *Фарстер*, ученый, член парламента, много писавший о воспитании<sup>574</sup>, предложил преподавать в школах вместо греческого языка *ботанику*. Это одно уже достаточно показывает вам настроение умов. Впрочем, это необходимая реакция против старых предрассудков. Ведь в Англии ужасно как держатся старины. Оксфордский университет был основан в 13-м столетии и с тех пор в продолжение 6-ти веков там преподавали по тем же методам и по тем же учебникам, какие приняты были сначала, и все преподавание почти исключительно ограничивалось древними языками. Из этого выходили самые курьезные явления, так что, например, молодой человек, кончивший университетский курс, умел отлично писать греческие и латинские стихи, а между тем не знал арифметики далее сложения и вычитания, да и то пополам с грехом, да и простого английского письма не мог написать без грамматических ошибок. А ведь в шесть веков много воды утекло. Все изменилось. До начала семнадцатого века вся масса человеческих познаний была сосредоточена в писаниях древних классиков. Медики ссылались на Иппократа<sup>575</sup>, естествоиспытатели на Аристотеля<sup>576</sup>. Даже о новых открытиях ученые писали на латинском языке. Новые языки не имели права гражданства в ученой республике, а употреблялись только на черную работу в народных сказках и песнях. Но в последние два столетия (с половины 17-го) наука двинулась вперед исполинскими шагами. Сокровище человеческого знания не хранится уже под ключом в пыльных архивах древности; нет! оно вышло на божий свет, оно воплотилось, оно живет и движется в говоре и шуме народной жизни, в газетах, на кафедре, в парламенте, в купеческой конторе, оно облетает свет на пароходе и скользит с быстротою молнии по электрическому канату. Ну, как же теперь среди этой кипучей жизни живому человеку с умом и сердцем зарыться в старых книгах да любоваться греческими корешками и частичками? А когда я говорю о живом человеке, я особенно разумею русского человека. У нас этот вопрос давно бы пора решить. Классических филологов у нас никогда не было и не будет, а если когда они понадобятся, то мы свежих выпишем из Германии, как советовал покойный Н. И. Греч<sup>577</sup>. Ах! любезный Александр Васильевич! Ведь вы знаете состав наших гимназий. Скажите по совести — из ста учеников найдется ли *один с особенною страстью* к древним языкам. Едва ли! А все более или менее имеют охоту учиться математике, естественным наукам, истории, русской словесности и иностранным языкам. Зачем же идти наперекор народному духу?

Пора нам отряхнуть школьную пыль да открыть глаза и посмотреть хоть на карту России. Ведь она, матушка, больно как расширяется на востоке. Тут сама природа указывает нам занятия. Нам должно бы особенно налечь на восточные языки. А так как мы уж очень близко подошли к индейской границе, то пора уж нам думать

о *предварительном* изучении санскритского языка. Вот эти занятия могли бы открыть прекрасное поприще для многих даровитых юношей и сделать их полезными слугами государства. А от правительства в таком важном деле поощрения ожидать можно и должно.

— Ну, что ж? так вы совершенно отвергаете древние языки и не признаете их благотворного влияния на развитие юношеского ума?

— Никак не отвергаю и охотно признаю их громадное влияние на эстетическое развитие нашего ума. Но этим вся польза их и ограничивается. А что касается их всеобщего преподавания, то я постараюсь разъяснить свою мысль примером.

Положим, я сказал бы вам: «В санскритском языке заключается вся глубь человеческого мудрости. Перед его гигантскими эпопеями «Илиада» и «Одиссея» кажутся бедными отрывками. Не во гнев сказать Платону<sup>578</sup>, вся греческая философия только лепет младенца в сравнении с глубокими системами индийских философов. В санскритской грамматике находится вся философия человеческого слова: изучение этой грамматики есть наилучшее средство для изошрения юношеского ума и пр[очее] и пр[очее]».

Вы, без сомнения, улыбнулись бы и сказали бы мне: «Все это очень хорошо! Вы расхваливаете санскрит, потому что это ваша особенная вами избранная специальность, но все ж таки это специальность. Пусть тот учится санскритскому языку, у кого есть на это охота и призвание, а сделать его обязательным для всех было бы несправедливо. Будь у нас министром просвещения какой-нибудь *санскрито-ман*, он, пожалуй, чего доброго сделает его обязательным для «всех лицеев, школ, гимназий»<sup>579</sup>, но это было бы просто угнетение!»

Ведь очень полезно и даже необходимо изучать восточные языки: и клинообразные ассирийские надписи и египетские иероглифы; из них выходят важные выводы для науки; но ведь все это в некотором смысле роскошь, лакомство для немногих, а всем без исключения нужен насущный хлеб, а насущный хлеб для человека — знание самого себя и природы, его окружающей. Скажите, не смешно ли это, что какой-нибудь студент филологии может перечесать по пальцам самые мелкие местности событий «Илиады» и «Одиссеи», а между тем он не знает *географии* своего собственного тела? не знает, какие светила движутся над его головою по небесному своду, какие таинства скрываются в недрах земли под его ногами, какая невидимая сила движет пароходом и посылает крылатую мысль по телеграфу с одного края света на другой.

В заключение скажу, что я имею некоторое право говорить о древних языках. В эти тридцать лет я никогда не переставал ими заниматься и даже теперь каждое утро читаю по две или три страницы какого-нибудь греческого автора. Я недавно кончил Пиндара<sup>580</sup> и теперь перечитываю «Одиссею». Вы эдак видите, что я могу быть беспристрастным судьей в деле классиков.

У меня есть самые свежие известия из Петербурга. Директор ботанического сада доктор Мур только что возвратился с ботанического съезда. Он в восхищении от всего им виденного и слышанного. Он был один из членов депутации, представленной государю, а потом весь конгресс ботаников (200 человек) обедал в царско-сельском дворце, где их угощал генерал Грейг<sup>581</sup>. Д[окто]р Мур съездил и в Москву белокаменную и вообще не может нахвалиться русским гостеприимством. А о Неве он говорит, что подобной реки в целом свете нет. Наши ухарские извозчики также ему очень понравились. Хотите знать его мнение о русском народе? Вот оно: «Очевидно с первого взгляда, что этому народу суждено играть важную роль в истории!»

Вот первое свежее впечатление, вынесенное из России серьезным ученым, не занимающимся ни политикою, ни другими какими-либо бреднями.

А между тем мой блистательный ученик г[осподин] Аткинсон пожирает русские книги. Он недавно выписал из Лейпцига все сочинения *Гоголя*. Приятно видеть, как хорошо печатаются русские книги в Германии. Тридцать лет назад кто из нас мог ожидать, чтобы русская литература была так распространена на западе. Когда я приехал в Берлин, мне сказали, что там в какой-то книжной лавке продаются русские книги. Я так зашел, из любопытства. Книгопродавец немец смекал немножко по-русски. Я просил его показать, какие у него есть русские книги. Вот он так и выносит четыре тома *Выжигина*<sup>582</sup>! «Да помилуйте, — сказал я ему с негодованием, — неужели вы *это* называете русскою литературою?» — «*Да вам лучше нет!*» — отвечал он. Ах! проклятый немец! так и срезал! *Вам лучше нет!* Ведь действительно в то время многие были этого мнения.

“*Athenaeum*” постоянно извещает меня о новых книгах, выходящих в Петербурге, напр[имер], «*О жизни и значении Н. М. Карамзина*» г[осподина] *Грота* и «*Путешествие из Ташкента в Самарканд*» г[осподина] *Костенко*. Об них отзываются с большою похвалою<sup>583</sup>.

Но извините! Я так заболтался, что это уж почти походит на демьянову уху. Вы зацепили за живую струну, вот я так и разговорился. Приятно слышать, что вы наслаждаетесь вашим пребыванием на даче. С поклоном к вашей любезной супруге пребываю ваш искренно преданный

В. Печерин.

### № 73. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Каменец  
15 июля 1869

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас с днем Вашего ангела и желаю Вам полного здоровья. Я недавно возвратился в Каменец, а семья моя до сих пор в отсутствии. После упорных зимних занятий здоровье мое требовало немного отдохнуть, поэтому и вследствие ужасов, причиненных майским дождем-ураганом Одессе, я поехал в мае в отпуск в Одессу. Поездка моя имела в виду еще и специальную цель сообразить, по средствам ли мне будет переехать вновь в Одессу; но, к сожалению, пришлось убедиться, что в течение 4-х лет моего отсутствия жизнь в Одессе вздорожала почти вчетверо. Так что с семьею из пяти детей есть над чем призадуматься. Одесса, по мере того как связывается железными путями с центром и западными окраинами России, все более и более переходит в руки евреев. Все лучшие и ценные постройки переходят в их собственность, и как они одни только располагают капиталами, то, в конце концов, Одесса неминуемо делается их достоянием. Правда, одесские евреи не то, что подольские; они так уже шагнули вперед, что ввели русский язык в синагоги и училища и вели отчаянную борьбу за право быть выбираемыми мировыми судьями; но и при значительном уже их развитии родовые их качества и любовь к наживе какими бы то ни было способами остались вполне им присущи без всякой перемены и даже еще усилились тонкостями цивилизации.

По возвращении из Одессы я получил телеграмму, что отец моей жены умер, и теща убедительно просила мою жену приехать в Петербург, так как сыновья и

другие дочери тоже обещались приехать. Поэтому я воспользовался вакационным месяцем и отправился с женою и тремя девочками в Петербург. Поездка моя имела еще целью выяснить свое положение. В течение последнего года обстоятельства сложились для меня так благоприятно, что мне удалось очень много сделать в Каменце и само собою укрепить тем за собою расположение министерства; а как введение новых судов в северо и юго-западном крае по политическим обстоятельствам не может последовать скоро<sup>584</sup>, переходить же в Одессу, где лучшие должности уже замещены, на второстепенные — опасно, то необходимо было узнать, чего мне можно ожидать. Но в этом отношении поездка моя не привела к желаемому результату, потому что в день моего приезда министр уехал за границу на три месяца, и я узнал только, что могу рассчитывать или на близкий и желаемый Кишинев, или на далекие и не желаемые Саратов, Тамбов, Пензу, где новые суды открываются с января 1870 года, но что, во всяком случае, пребывание мое в Каменце не продолжится долее конца этого года. Таким образом, я не знаю положительно, куда судьба вновь забросит меня в моей бродячей жизни. Оставив жену и девочек в Петербурге у тещи, я выехал в Москву, где виделся с Федором Васильевичем Чижовым, и душевно благодарю Вас за предоставление случая мне познакомиться с этою высокою личностью. Он полон самых задушевных воспоминаний об Вас и убедительно просил меня, если мне удастся зимою снова побывать в Петербурге, привезти ему все сведения, какие я имею об Вас, а Вас просил не скупиться увеличить запас моих манускриптов. Федор Васильевич, впрочем, сам хотел писать к Вам и уверить Вас, что в Москве есть кружок, помнящий Вас и любящий Вас. Федор Васильевич погружен в самых практических занятиях: железные дороги, банки, общество покупки имений в юго-западном крае составляют ежедневный его и труд и досуг. Главные его занятия в правлении Ярославской железной дороге.

Затем я прибыл в Киеве с неделю, по случаю участия в Комиссии о времени и порядке введения мировых судей в юго-западном крае, что, признаюсь, вполне возможно к 1 апреля 1870 года, и на днях прибыл в Каменец и принялся за ежедневную работу — корпеть день и ночь за письменным столом.

Целую Вас от всей души и поручаю себя Вашему благословиению и молитвам.

Ваш племянник С. Поярко.

#### № 74. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

18 июля н[ового] ст[иля] 1869

“Mieux vaut tard que jamais”\* — говорит французская пословица. Впрочем, я никак тебя не виню: твои громадные занятия достаточно тебя извиняют. Благодарю за статистический обзор ваших железных дорог. Ваши успехи чрезвычайно меня радуют. Ведь железные дороги — жизненные артерии государства. Вот самая полезная и необходимая реформа, а все прочие вслед за нею придут. Кстати, не можешь ли ты каким-нибудь образом убедить наших молодых соотечественников позаняться чем-нибудь практически полезным, хоть, напр[имер], железными дорогами, вместо тех идеальных планов преобразования общества, которыми они так усердно

---

\* Лучше поздно, чем никогда — фр.

занимаются? Прочитавши «Дым» Тургенева и справившись с собственными воспоминаниями, я очень хорошо понимаю, какая трудная задача предложить правительству: как сладить с этим молодым поколением? Ведь все они — самородные гении, а никто учиться и трудиться не хочет.

По твоему желанию сообщаю тебе полное описание моего дня — *ordre du jour*\*. Я встаю ровно в 5 часов. Туалет мой продолжается около получаса. После этого я спускаюсь в мой *sitting room*\*\* и принимаюсь за санскритский язык. Я теперь читаю поэму «Рамайана»<sup>585</sup>. Около половины седьмого отправляюсь в больницу *Mater Misericordiae*\*\*\*, где служу обедню для сестер милосердия, и там же завтракаю в восьмом часу. За завтраком читаю какого-нибудь греческого автора: недавно кончил *Пиндара*, теперь перечитываю «Одиссею». После завтрака — вдоль канала, где прекрасный вид зеленой рощи и голубых гор, я возвращаюсь домой, и тут начинаются мои утренние занятия. Я занимаюсь физиологиею, геологиею и ботаникою; но ботаника поглощает большую часть моего времени. Два раза в неделю я отправляюсь с сумкою через плечо в ботанический сад, где собираю растения и записываю их в систематическом порядке, а дома изучаю их физиологию с помощью микроскопа и лучшие образчики укладываю в травник (*herbarium*). Таким образом, время проходит до полудня или позже, и я иду навестить две заведоваемые мною больницы и в промежутках времени читаю что-нибудь полезное. Во втором часу захожу к книгопродавцу *Келли*, где пересматриваю все, что вышло нового в Лондоне и Париже, даже иногда заглядываю в бестолковые романы Виктора Гюго. В 3-м часу я опять дома и читаю что-нибудь касающееся естественных наук, хоть, напр[имер], «Космос» Гумбольда<sup>586</sup>. В 5-м часу иду обедать в гостинице за *table d'hôte*\*\*\*\*. После обеда, заглянувши в вечерние газеты, отправляюсь на долгую прогулку в парк или другое уединенное место, где, разумеется, продолжаю свои ботанические наблюдения. В восьмом часу окончательно возвращаюсь домой, и с той поры никто и ничто уже не нарушает моего уединения и спокойствия. Я читаю сперва лондонскую газету «*Daily Telegraph*»<sup>587</sup>, потом «*Revue des deux Mondes*». Иногда зимою, чувствуя усталость и не имея охоты заниматься чем-либо важным, читаю какой-нибудь роман *Диккенса*. Но с тех пор, как я начал заниматься естественными науками, у меня не остается времени для легкого чтения. В половине одиннадцатого или немножко позже ложусь спать. Вот и целый день! вот и вся жизнь! Она очень однообразна, не правда ли? Но зато уж я не теряю ни минуты времени. Надо же как-нибудь *загладить* прошедшее. Да сверх того я наслаждаюсь неограниченною свободою. Сестры милосердия платят мне мое маленькое жалование, и я больше никого и не знаю и ни к кому на поклон не хожу. Я тщательно избегаю всякого общества, особенно *духовного*. Есть у меня одно знакомство, которым я дорожу. Это молодой профессор здешнего университета доктор *Аткинсон*. Он преподает санскритский и другие восточные языки да, сверх того, занимает кафедру *романских* языков, т[о] е[сть] французской, итальянской, испанской и португальской литератур. Он вот имел ужасную охоту познакомиться с русским языком. Я дал ему несколько уроков, и он теперь очень хорошо понимает. Мы вместе с ним читали «Дым» Тургенева. Заметь притом,

\* Повестка, порядок дня — *фр.*

\*\* Гостиная — *англ.*

\*\*\* Мать Сострадание — *лат.*

\*\*\*\* Общий стол — *фр.*



что он учится по-русски не из одной любви к филологии, а именно потому, что он понимает высокое значение России и верит в ее будущее: он верит, что

«Славянские ручьи сольются в русском море».

Вот видишь, мне этак удалось хоть косвенным образом сослужить службу России. Впрочем, теперь в Англии очень занимаются русской словесностью. Недавно вышел отличный перевод басен Крылова. Некоторые романы Тургенева и Лермонтова «Герой нашего времени» так же переведены<sup>588</sup>. Журнал «*Athenaeum*» почти в каждом номере помещает разбор какой-нибудь русской книги, вышедшей в Петербурге или Москве. Передай это Аксакову и поклонись ему от меня.

Душевно желал бы еще раз взглянуть на Россию в ее обновленном виде. В политическом отношении тут не может быть ни малейшего препятствия, но главное затруднение состоит в том, что я так называемое *духовное лицо*. А эти лица вообще как-то подозрительны, и все правительства более или менее от них остерегаются. Но об этом поговорим при нашем свидании.

Знаешь ли, с кем я теперь постоянно переписываюсь? с почтенным академиком Никитенко. Он прислал мне свои брошюры о Крылове, Ломоносове и проч[ие]. Через него я познакомился с акад[емиком] Бётлинком и профессором Благовещенским, который обещал прислать мне им изданного Горация. Вот так незаметно связь с Россией восстанавливается.

Университетских воспоминаний у меня никаких нет, кроме «*Эпизода из петербургской жизни*», которого первые строки я переслал тебе, кажется, в последнем письме. Я пришло тебе весь отрывок вслед за сим. А теперь покамест прочти этот очерк моей жизни<sup>589</sup>.

Твой В. Печерин.

## № 75. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

20 июля 1869

Спасибо тебе, мой милый Печерин, за скорое письмо твое, только не отправляй вперед страховым, этого вовсе не нужно. Еще два спасибо за то, что ты передал ход твоей жизни; теперь я могу иногда переноситься к тебе и знать, в какой час куда к тебе зайти, хотя, правду сказать, решительно не по мне такая жизнь, в которой я — начало моего дневного существования; на *мне* вертится весь день, наконец, *мною* он и оканчивается. Мы с тобою в этом совершенно расходимся: ты все копишь, накапливаешь все для себя; я транжирую, проматываю все и все несу, по крайней мере, по моему крайнему убеждению, все несу на пользу общую. Скоро, авось либо, постройка дороги до Ярославля кончится, тогда будет бездна работы на то, чтобы привести в порядок эксплуатацию. До сих пор моя дороженька была всего в 66 верст; но, слава Богу, так удалось ее поставить, что все ею весьма довольны, и с нашей дороги моих служащих разобрали на все большие дороги управляющими дорогами. Искренно скажу тебе, что мне иногда это приятно только как мерило приносимой мною пользы. Польза сделалась девизом всей моей жизни. Несмотря на это, я с наслаждением вошел в твою мирную жизнь, всю отданную изучению; порадовался, что ты вступил в область естественных наук. Что ты любишь Россию, в этом меня уверять нечего; к тому же я не умею и понять, как можно ее не любить. Ее можно ненавидеть,

это так; но быть равнодушным к ней решительно по мне невообразимо. Тургенев — оскорбленное самолюбие; его «Дым» остался не прочтенным половиною читающей публики; он откочевал от России в космополитизм и откочевал в ту минуту, когда все оттенки убеждений притянулись ею к себе. Слава Богу, худо ли, хорошо ли, но началась жизнь; само собою, разумеется, на первых порах многое плохо; но плоше всего мы сами. Так привыкли мы быть водимы на помочах, что без них ступить не то что не умеем, а боимся и, что еще хуже, ленимся. Авось либо новое поколение, родившееся без мерзостей крепостного права, не воспитает в себе такой страшной лени, особенно лени ума, какая была систематически в нас воспитываема. Благодарю тебя за «Иронию судьбы», как много в ней страшной грусти; помнишь ли ты, когда Вы, звавшие себя новым поколением, сходились у Никитенко и когда ты звал меня ходячею ирониею. Эта-то ирония над всем и над самим собою и спасла меня; она дала мне заступ в руки и сделала просто чернорабочим.

Хотелось бы мне послать тебе кое-какие книги; вероятно, ты не знаком со всеми произведениями истинного и великого нашего художника — Гоголя; хотелось бы мне послать тебе последнее издание его сочинений<sup>590</sup>, но мне говорят, что тебе дорого придется заплатить при получении. А мне не хотелось бы заставлять тебя платить. Научи, как это сделать. Теперь в письме посылаю тебе вырезку из газет об одном англичанине, принявшем или вступившем в наше восточное вероисповедание<sup>591</sup>. Ты свои письма не франкируй, они лучше будут доходить. Мне сильно хочется с тобою повидаться; думаю, что годы до того нас изменили, что наша беседа будет не говорлива, но мне просто хочется тебя видеть, обнять тебя, моего прежнего Печерина. В этом году нечего и говорить, вероятно, времени у меня не будет, но хоть бы в будущем. Напиши, пожалуйста, какова у Вас зима и когда лучше всего жить у Вас. Я побаиваюсь холодов, особенно когда от них трудно укрываться. Ты знаешь, что мы в наших теплых домах не знаем, что такое холод. Вчера я велел тебе выслать мой доклад общему собранию о постройке дороги; он будет для тебя не очень интересен; но ты увидишь тут одно — что я делаю все непременно гласно, указывая все подробности. Это мне хотелось бы ввести и в отчеты; у меня оно введено. Это самая лучшая гарантия справедливости отчетов. К сожалению, постройка железных дорог ввела много мерзостей: строители начали наживаться больше, чем наживались откупщики; изложением всех подробностей в отчете мне хотелось бы показать норму стоимости. Веришь ли, что если бы немного покривить душою, даже и не навлекая на себя ни малейшего общественного нарекания, то при постройке настоящей Ярослав[ской] дороги я легко мог бы нажить более 700 тысяч. Потому-то мне и хочется вывести на чистую воду все издержки и не скрывать даже ни одной ошибки и ни одного промаха. Когда кончится дело, тогда пришлю тебе мой подробный отчет. Видишь, и я недолго остался без ответа, твой Чижов.

## **№ 76. В. С. Печерин — А. В. Никитенко**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

5 сентября н[ового] ст[иля] 1869

Любезнейший Александр Васильевич!

Я провел несколько дней на даче. Там под тенью вековых дубов и вязов я беседовал с тремя богатырями русского слова: с Ломоносовым, Державиным и Крыловым, т[о] е[сть] я читал ваши брошюрки. Душевно вас за них благодарю. К стыду

моему должен сказать, что я до сих пор вовсе не знал биографии Державина, не знал, с какими препятствиями его гению приходилось сражаться. С Ломоносовым я больше знаком. Помните ли, что в *наше время* давали на Большом театре русский водевиль *Ломоносов или рекрут стихотворец*<sup>592</sup>. Вы не можете себе вообразить, до какой степени я увлекся этим водевилем. Мне хотелось подобно Ломоносову странствовать пешком, искать приключений, быть *практическим* поэтом. Оно и в действительности так осуществилось и даже больше, чем я желал. Вот вам и судьба! И вот из каких нитей ткутся ее ткани! На немногих страницах вы начертали полный и верный образ Крылова, мне кажется, лучше и больше сказать ничего нельзя. Это чтение вначале доставляло мне большое удовольствие, но впоследствии оно навело на меня ужасную тоску. Эта русская словесность, о которой вы так красноречиво говорите, для меня она теперь отголосок чего-то далекого, недоступного, невозвратного; это как будто отдаленные звуки колыбельной песни, слышанной когда-то на заре жизни, а эта заря дважды не подымается... Один одинок я плыву в утлой ладье по безмерному океану. Солнце восходит, солнце заходит, звезды сменяются ночью как часовые на карауле, а надо мною все то же небо, подо мною те же волны, берега нигде не видно, нет нигде пристани, нигде меня не ждут, ничье сердце не бьется мне навстречу... Была у меня когда-то путеводная звезда, и мне казалось, что лучи ее сверкали любовью, а теперь выходит, что это просто метеор, фосфорная вспышка. Лет восемь назад я был в Париже, где со мною случилась забавная встреча. Иду я по *quartier latin*, знаете, там, где университет, проходит мимо меня молодой человек (вероятно студент) и, глядя на меня искоса, говорит вполголоса: "*Voilà le juif errant!*" Ах, злодей! ведь это ужасно как метко. Я удивляюсь его пронизательности. Действительно, я до сих пор умственно странствую как тот вечный жид и нигде и ни на чем остановиться не могу. Вот вам итог моих мечтаний среди вековых дубов и вязов Мильтоун парка. Вы знаете, что отличительная черта и главная прелесть английских парков — это старые деревья. В Англии нередко найти деревья елисаветинских времен<sup>593</sup>. Теперешний ботанический сад был в старину частною собственностью, и теперь еще существует там *Адисоновская аллея*, где поэт *Адисон* любил гулять, когда гостил у своего друга, не помню какого лорда<sup>594</sup>.

Вышло уже второе издание басен Крылова на английском языке; это доказывает, что здешняя публика сумела оценить и гений нашего баснописца, и несомненный талант его переводчика.

А Виктору Гюго произнесен роковой приговор. В "*Revue des deux mondes*" был помещен разбор его нового романа — умная, основательная, но беспощадная критика. Ему просто говорят, что он позабыл французский язык и что он теперь пишет на каком-то варварском англо-французском наречии. Это жестокий и последний удар! А здесь в Англии и подавно журналы объявили, что последние произведения В. Гюго ниже всякой критики. Вот как падают эти идолы, пред которыми многие в России преклоняли колени!

Слыхали ли вы о нашем г[осподине] *Чихачеве*? Он здесь пользуется большим уважением как географ и естествоиспытатель и скоро выдаст в свет сочинение о *Средней Азии*, т[о] е[сть] дополнение к известному сочинению Гумбольдта о том же предмете<sup>595</sup>. Ф. В. Чижов пишет ко мне, что у вас железные дороги строят, как

\* Вот вечный жид — фр.

*блины* пекут. С Богом! Это первая необходимость для России, и за нею последуют все прочие плоды цивилизации.

Прощайте, до свидания!

Ваш преданный В. Печерин.

### **№ 77. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову**

47 Lower Dominick Street

Dublin

12 сентября 1869

Любезнейший племянник Савва Федосеевич.

Душевно вас благодарю за поздравление меня с днем ангела. Признаюсь, я таким сделался басурманом, что вовсе и позабыл праздновать этот день. Но особенно вам благодарен за то, что вы навестили моего старого друга Ф. В. Чижова. Эта сорокалетняя неизменная дружба, пережившая все перевороты жизни. С тех пор я получил от него два письма. Он очень жалеет, что вы не могли долее остаться в Москве. Меня очень радует ваша непрерывная и полезная деятельность: она служит очевидным доказательством того, как быстро развиваются новые учреждения в России.

О себе сказать ничего нового не могу. Жизнь моя течет очень однообразно среди разных ученых занятий, к которым теперь присоединились физиология и ботаника. Я стараюсь не терять ни минуты времени. В здешнем политическом быту все перемены происходят таким спокойным и благоустроенным образом, что они едва ли заметны. Здешние государственные люди работают как каторжники. В парламенте сидят от 1 часа пополудни до 3 часов следующего утра, да сверх того еще находят время писать, напр[имер], комментарии на Гомера как первый министр г[осподин] Гладстон, выдавший в свет “*Juventus mundi*”, разбор «Одиссеи»<sup>596</sup>.

Не имея ничего более писать, я сейчас же выпишу для вас обещанный отрывок<sup>597</sup>.

Продолжение впредь. Прощайте, до свидания

Печерин.

### **№ 78. А. В. Никитенко — В. С. Печерину**

Петербург

22 сентября 1869

Два ваших письма, любезнейший Владимир Сергеевич, передо мною, и вот только теперь я в состоянии отвечать на них. Первое из них я получил как раз в день моего отъезда в южную Россию, в тот край Малороссии, где я произошел на свет<sup>598</sup>. Это было некоторым образом путешествие сентиментальное во вкусе Йорика<sup>599</sup>, в нем искал я удовлетворения исключительно потребностям сердца. После тридцатилетнего моего отлучения от родного края мне еще захотелось хоть раз взглянуть на знакомое ясное небо, на роскошные поля, на тенистые дубы, на воды светлого тихого Дона, который не признал над собою сурового долга промышленности, но зато блестит прелестью своего игривого, истинно поэтического течения и своих берегов. Словом, мне хотелось взглянуть на все это, где я впервые почерпнул ту любовь к природе, которая всегда оберегала меня от пошлостей и всякого рода лжей, неразлучных с обществом людей. Там же и могила моей матери, к которой влекло меня желание благоговейно ей поклониться. Второе ваше письмо дошло до меня вскоре по моем возвращении и в самый разгар

переезда моего с дачи, что у нас обыкновенно сопровождается великими хлопотами. Благодарю вас, бесценный Владимир Сергеевич, за сведения и мысли, сообщенные мне вами по вопросу о классическом образовании. Они во многом подкрепляют мои собственные воззрения и воззрения того кружка, который единомыслен со мною. Мне кажется вообще до крайности противным всякое насильственное сгибание людей как у нас говорится в три погибели, на одну сторону, из чего непременно выходит, что или они после тяжких потуг выпрямятся сами так, как никто из этих сгибателей не ожидал, или сделаются кривобокими и горбатыми. Я мало верю в обетованную землю, какую обещают человечеству разные системы и строители его прогресса и блага. Да, право, кажется, дело и не в благе, а в жизни, в вечном *perpetuum mobile*<sup>\*</sup>, в развитии, которые сами по себе есть задача и цель. Но когда человек работает в данный момент, то он, конечно, должен работать по уразумению лучшего, и это лучшее уже, конечно, не состоит ни в одном уменьше распоряжаться карами, ни в уменьше склонять и спрягать по-латыни и по-гречески, ни даже в чтении Гомера или Вергилия<sup>600</sup>. «Сие делать надобно и оно не оставлять»<sup>601</sup> или «воздадите Кесарю Кесарево, а Богови Божие»<sup>602</sup>.

Грустно было мне читать те строки вашего второго письма, где вы с такою трогательною прелестью говорите о вашем печальном одиночестве. Кроме богатств ума, знания, идей Вам природа дала еще другое великое богатство — богатство благородного, любящего сердца, и я понимаю, как должно быть для вас тяжело оставаться одиноким посреди всей этой роскоши и блеска. Дружба, и при том дружба отдаленная, заочная, как моя и Федора Васильевича Чижова, людей, искренне вас любящих, конечно, не в состоянии заменить других союзов, составляющих потребность душ возвышенных, и на которые вы имеете такое неотъемлемое право. Но да хранит вас величие идеи — холодно, скажите вы, отвлеченно. Знаю, однако человек все-таки до некоторой степени творец своего внутреннего мира, а, след[овательно], должен пользоваться и плодами своего творчества. Но вот, я пускаюсь в философию, когда вам нужно теплое участие чувства. Примите же его из моего сердца настолько, насколько оно в состоянии вам оказать его и насколько оно может быть для вас пригодным. Хотелось бы еще побеседовать с вами о предметах мыслительного и эстетического свойства, но до другого времени. Обнимаю вас от всего сердца.

Ваш А. Никитенко.

### № 79. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
Октябрь 1869

#### ЭПИЗОД ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ (1830–1833)

Дела давно минувших дней,  
Преданья старины глубокой.  
Пушкин<sup>603</sup>

Бури улеглись — настала какая-то глупая тишина, точно штиль на море. В воздухе было ужасно душно, все клонило ко сну. Я действительно начал уже дремать. Мне грезился какой-то вздор, какое-то счастье: жить в уединении с греками и латинами

\* Вечно движущееся — *лат.*

и ни о чем более не заботиться... Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции...<sup>604</sup> Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно дух святой низошел на них. Начали говорить новым, дотеле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр[очее] и пр[очее]. Да чего тут еще не говорили! Даже Николаю приписывали либеральные стремления. Рассказывали, что когда пришло известие о падении Карла X<sup>605</sup>, государь призвал наследника и сказал ему: «Вот, сын мой, тебе урок! Ты видишь, как наказываются цари, нарушающие свою присягу!» И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas!\*

С тех пор я уже более не засыпал... Ах, нет! Виноват, грешный человек! Я *проспал двадцать лучших лет моей жизни* (1840–1860). Да что же тут удивительного! Ведь это не редкая жизнь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и то и другое сделал: *и проспал, и проигрался в пух*.

Но в *то время* случилось обстоятельство, надолго помешавшее мне заснуть. Попечитель Бороздин<sup>606</sup> позвал меня к себе. «Вот видите, в чем дело! Барон Розенкампф занимается изданием *«Кормчей книги»*. Ему надо разобрать и частью переписать греческую рукопись Номоканона<sup>607</sup>. Вы можете ему помочь в этом. Я освобождаю вас от некоторых лекций, а именно от лекций Зябловского<sup>608</sup>. Зябловский был скучный и бездарный профессор довольно скучного предмета: тогдашней русской статистики. Зато он уж и отомстил мне на экзамене, поставив мне 3 вместо ожидаемых 4-х. Но, разумеется, высшее начальство поправило эту ошибку, и я выдержал кандидатский экзамен на славу.

Где-то, кажется на Садовой<sup>609</sup>, был большой деревянный дом довольно ветхой наружности. Тут жил барон Розенкампф.

Каждое утро в восьмом или девятом часу я являлся в его кабинет и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись из имп[ераторской] Публичной библиотеки<sup>610</sup> X или XI века. Сколько я над нею промечтал! Я воображал себе бедного византийского монаха в черной рясе — с каким усердием он выполировал и разграфил этот пергамент! С какою любовью он рисует эти строки и буквы! А между тем вокруг него кипит бестолковая жизнь Византии. Доносчики и шпионы снуют взад и вперед; разыгрываются все возможные козни и интриги придворных евнухов, генералов и иерархов<sup>611</sup>; народ, за неимением лучшего упражнения тешит на ристалищах<sup>612</sup>, а он, труженик, сидит да пишет... «Вот, — думал я, — вот единственное убежище от деспотизма! Запереться в какой-нибудь келье, да и разбирать старые рукописи».

Около четвертого часу приходил старый, белый как лунь парикмахер и окостеневшими пальцами причесывал и завивал поседевшие кудри барона. После этого туалета барон вставал, брал меня за руку, и мы отправлялись на половину баронессы к обеду.

Баронесса Розенкампф<sup>613</sup> была женщина лет за сорок или более. Она была очень бледна, и какое-то облако грусти висело на ее челе; но видны еще были следы прежней красоты. Она, говорят, блистала при дворе Александра I. Барон занимал важное место: он, кажется, был председателем законодательной комиссии<sup>614</sup>. Но с воцарением

\* Святая простота! — *лат.* Выражение приписывается Яну Гусу. По преданию, Гус, сжигаемый на костре инквизиции, произнес эти слова, когда какая-то старушка из благочестивых побуждений подбросила в огонь вязанку хвороста.

Николая они попали в немилость и теперь жили в уединении, оставленные и забытые прежними друзьями и знакомыми. Так, разумеется, и быть должно. В гостиной стоял великолепный рояль под зеленым чехлом, но баронесса никогда до него не дотрагивалась. На стенах были развешаны произведения ее кисти, картины, бывшие некогда на выставке (между прочим, я помню один прекрасный Francesco d'Assisi<sup>615</sup>); но эти картины были задернуты каким-то траурным крепом. Баронесса все оставила, все забыла: и живопись и музыку. Она не любила даже смотреть на эти предметы, напоминавшие ей лучшее былое. Ее гордая душа вполне понимала смысл этих слов Данта:

“... Nessun un maggior dolore  
Che ricordarsi del tempo felice  
Nella miseria”\*.

В этом опальном доме господствовала оппозиция. Все действия нового правительства были беспощадно порицаемы. Когда мы читали “Journal des Debats”<sup>616</sup> о первых неудачах русского оружия в Польше<sup>617</sup>, барон качал головою и говорил: «Вот видите, так и выходит, что Гораций сказал правду: “Vis consili experts mole ruit sua!”\*\* Редко кто заходил в этот забвенью брошенный<sup>618</sup> дом, разве только иногда зайдет А. Х. Востоков по каким-нибудь справкам для Кормчей книги. Только однажды, я помню, был нечто вроде званого обеда. Приглашены были старые друзья барона: пастор английской церкви доктор Ло, португальский консул, да еще кто-то третий. По этому случаю баронесса немножко принарядилась, подрумянилась, ее бледные щеки оживились, она была очень мила, так что я почти в нее влюбился. Надо знать, что в качестве петербургского юноши я считал своим священнейшим долгом влюбляться во всякую сколько-нибудь пригожую женщину... А она меня действительно полюбила чистейшею материнскою любовью. Она усердно принялась за мое воспитание. «Ах! Как жалко, — говорила она, — как жалко, что в Петербурге нет средств для развития молодого человека!»

Я этим ужасно как обиделся. Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе звезды с неба снимаем. А теперь, как подумаешь, так самому становится стыдно. Ведь наш почтенный Грефе, хотя академик и немец, а все ж таки едва ли бы годился быть маленьким доцентом в Оксфорде. Когда теперь припоминаю тогдашний Петербургский университет, то так и руки опускаются. Ведь действительно, никакое самостоятельное развитие не было возможно. В преподавании не было ничего *серьезного*: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки профессора, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазубренным во время оно. Да и теперь, по слухам до меня дошедшим, немного лучше. Да что ж это за напасть такая, что нам наука вовсе не дается? А вот в чем загадка: *законодательствуйте, сколько хотите, но ничто вам не пойдет впрок, если вы идете наперекор народному духу*<sup>619</sup>. Для русского свежего практического народа надо бы преподавание ограничить предметами первой необходимости, практически-полезными для государственной жизни,

\* «...Тот страждет высшей мукой,  
Кто радостные помнит времена  
В несчастья ...» — *ит.*

Данте. «Божественная комедия», Ад, V, 121–123 (пер. М. Лозинского).

\*\* «Падает невольно сила без разума» — *лат.*

Гораций. «Оды». Книга IV. 4, 65 (пер. Н. Шатерникова).

напр[имер], восточными языками, науками физико-математическими, медициною и чем еще? Юриспруденциею? Ну, тут, кажется, надо еще немножко подождать, пока у нас будут законы, а то из чего же тут хлопотать? Какое тут законоведение, когда вы не уверены, что вчерашний закон не будет завтра же отменен по какому-нибудь величайшему или низжайшему благоусмотрению! А древние-то языки уж и подавно нам не дались. И неудивительно! Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории, так из чего же ей с особенным *терпением и любовью* рыться в каких-нибудь греческих, римских, вавилонских или ниневийских развалинах<sup>620</sup>! Она, пожалуй, сама сумеет подготовить материалы для будущих археологов и филологов. Понятен энтузиазм к древним классикам в начале 16-го столетия, когда Европа, выходя из средневекового хаоса, не видела пред собою другой путеводной звезды, кроме греческой и римской цивилизации.

Это невольно напоминает мне курьезный совет, данный мне покойным Н. И. Гречем, когда я зашел к нему проститься перед отъездом за границу. «Да из чего же это вы едете учиться за границу? Ведь когда нам понадобится немецкая наука, то мы свежего немца выпишем из Германии; а вы так лучше оставайтесь здесь, да займитесь русской словесностью». Что я не последовал совету Н. И. Греча, в этом, конечно, русская словесность ничего не потеряла, но все ж таки не могу не сознаться, что в словах его была доля правды, если под немецкою наукой он разумел классическую филологию.

Но это мимоходом. Баронесса Розенкамф принадлежала к чисто романтической школе, и ее идолом был Гёте. У нее была прекрасная немецкая библиотека. «Вот вам Wilhelm Meisters Lehrjahre\*, — сказала она однажды, — читайте со вниманием: уверяю вас, что нет лучшей книги для окончательного развития молодого человека». Тут невольно улыбнешься. Wilhelm Meisters Lehrjahre<sup>621</sup> действительно может развить в молодом человеке совершеннейшего эгоиста. Да, впрочем, и сам Гёте — не тем он будь помянут — был величайший эгоист.

«Да умный человек не может быть не плутом»<sup>622</sup>.

Прошел год или два. Барон окончил Кормчую книгу и написал к ней немецкое предисловие, где упомянул о моем сотрудничестве<sup>623</sup>, потом, как добрый работник,

«Кончив тяжкую работу  
Многотрудной жизни сей»<sup>624</sup>,

он слег отдохнуть, захворал и отошел на покой. Я проводил его на Невское кладбище<sup>625</sup>. Поверите ли? В доме не нашлось ста бумажных рублей для его похорон. Деньги выдали, кажется, из министерства народного просвещения по ходатайству старика Языкова<sup>626</sup>. Баронесса распродала библиотеку покойника и лучшую часть своей мебели и из последних денег еще дала по обычаю обед духовенству и некоторым знакомым. После этого она перебралась на маленькую квартиру в другой части города.

А я между тем поступил на службу. Меня сделали лектором и суббиблиотекарем при университете<sup>627</sup> и старшим учителем в первой гимназии<sup>628</sup>. Началась жизнь петербургского чиновника. Я усердно посещал маленькие балики у чиновников-немцев, волочился за барышнями, писал кое-какие стишки и статейки в «Сыне Отечества»<sup>629</sup>; но что еще хуже — я сделался ужасным любимцем товарища министра просвещения С. С. Уварова<sup>630</sup> вследствие каких-то переводов из греческой антологии, напечатан-

\* «Годы учения Вильгельма Мейстера» — нем.



ных в каком-то альманахе<sup>631</sup>. Я начал просто ездить к нему на поклон, даже на дачу. Благородные внушения баронессы Розенкампф изглаживались мало-помалу. Рабочая русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти...

К счастью, в одно прекрасное утро — 19 февраля 1833 года — очень рано министр Ливен<sup>632</sup> прислал за мною и, сделав мне благочестивое увещание в пиетистическом стиле, отправил меня в Берлин<sup>633</sup>, где и поручил меня благим попечениям отъявленного пиетиста профессора Кранихфельда<sup>634</sup>, главы берлинских пиетистов<sup>635</sup>.

Разумеется, нога моя никогда не была у Кранихфельда. Некоторые из товарищей нашли нужным ради приличия сделать ему визит<sup>636</sup>; но я настоял на своем и тотчас же написал отчаянное письмо к академику Грефе, а через него к Уварову, что вот так и так нас, членов профессорского института, будущих профессоров России, отдали под присмотр какому-то берлинскому ханже, который шпионствует за нами даже на наших квартирах и пр[очее] и пр[очее]. Письмо мое имело отличный успех. К этому времени Ливен вышел в отставку, а на место его сделался министром Уваров<sup>637</sup>. Кранихфельда тотчас же отставили от должности<sup>638</sup>, и за это ему дали Владимира<sup>639</sup>, а нас из духовного ведомства перевели в военное, т[о] е[сть] отдали под надзор честнейшему и благороднейшему человеку, военному агенту генералу Мансурову<sup>640</sup>.

Перед отъездом в Берлин я зашел проститься с баронессою. Она теснилась в маленькой квартирке, но и тут ее отличный вкус и женский такт удачно сгруппировали остатки прекрасной мебели, обставив их разными милыми мелочами и роскошными цветами, так что ее гостиная представляла вид изящного будуара. Она очень похудела, стала еще бледнее, но ее потускневшие глаза засверкали какою-то материнскою радостью, когда она узнала о моем отъезде за границу. С каким жарким участием она меня благословила на новый путь, на новый подвиг! Я в последний раз поцеловал ее руку.

Через два года, в 1835 г[оду], я возвратился в Петербург... с какою неизлечимою тоскою в сердце, с какими отчаянными планами для будущего — не здесь место об этом говорить. Иду по Невскому проспекту — попадается мне навстречу камерди-нер баронши.

— Ах, батюшка Владимир Сергеевич! Не можете ли мне найти какого-нибудь места?

— Как места? Да разве ты не у баронши?

— Какая тут баронша! — *Она умерла с голоду!*

Где ее похоронили<sup>641</sup>? Есть ли над нею какой-нибудь памятник? Помнит ли ее кто-нибудь из родных и знакомых? Не знаю! Но мне ее не забыть! Я не могу ей соорудить памятника; но пусть же хоть эта одна слеза благодарности канет на ее одинокую могилу! Вечная память незабвенной и несчастной баронессе Розенкампф, урожденной Бларамбер!

## № 80. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

22 окт[ября] 1869

Милый мой Печерин. Письмо твое, т[о] е[сть] конверт с эпизодом из петерб[ургской] жизни, пришел в тот самый день (вчера), когда грусть о том, что я не получаю от тебя ответа, одолела мною донельзя. Мне казалось, что я оскорбил тебя холодностью ответа на твое преисполненное жизни и души то письмо, в котором

ты прислал «Иронию Судьбы». Не вини меня, Печерин, за такое неравенство — ты сейчас же поймешь ее, если в ответ на описание твоего дня я пришлю тебе описание моего. Вот оно. Я встаю часов в 8 или в 8 ½ и часто лежу до 9 единственно потому, что удерживают меня в постели желудочные боли. Туалет мой кончается минут в 10, потому что я в 59 лет тот же студент с тою же безпривычною жизнью. Тут я пью чай почти мимоходом, собираясь на дневную работу. Если есть время, я что-нибудь читаю, но читаю мало, поневоле. Тут нужно написать письма, сообразить или написать кое-что по деловой моей жизни, иногда, весьма и весьма редко, принять кого-либо по делу — исключение чрезвычайно редкое, потому что по общему правилу я решительно никого не принимаю утром. Главное, я обдумываю весь мой день, ибо при страшной рассеянности, если я только не обдумаю подробно план занятий всего дня со всеми подробностями, то я непременно все перепутаю. В 9 ½ я выезжаю; еду прямо в Общество Взаимного Кредита<sup>642</sup>, где я председателем. Там остаюсь до 11 или 11 ½, и тут совершенно как в ступе толкут меня. Один с одним вопросом, другой с другим, все о деньгах, о залоге, о ссуде, о вкладе и пр[очее] и пр[очее], так что голова идет кругом. В 11 ½ еду на железную дорогу, т[о] е[сть] в Правление Москов[ско]-Ярослав[ской] дороги тоже председательствовать. Бумаги, распоряжения, сношения с искателями мест, иной день посвободнее, так что прочтешь газеты, иной день тоже так истолкут, что в 4 или в 4 ½ вырвешься как из омута. Теперь пока в это время я еду домой; приезжаю усталый, измученный и ложусь спать на полчаса. В 5 часов обедаю, после обеда часов в 6 ½ или в 7 еду большею частью или в то, или в другое заседание, или на то, или на другое совещание и домой приезжаю около полуночи. Если остаюсь дома, чего не бывает и разу в неделю, читаю что-нибудь новое. Но это счастье мне редко достается. Обед скромный из двух яств и в приправу варенье — привычное мое русское лакомство. Посмотри же, какая сухая жизнь, все с цифрами, с деньгами, с рельсами, с песком, вагонами и т[ому] п[одобным]. Я был председателем в Банке, но оставил, потому что, слава Богу, там пошли дела хорошо; меня избрали Председат[елем] в Московское Купеч[еское] Общ[ество] Взаимного Кредита. Ты не можешь себе вообразить скуки этого председательства — подписывай имя под бумагами, под векселями и пр[очим]. Теперь придется ежедневно в 5 часов бывать на бирже для приемки векселей к учету. Железную дорогу я люблю; но банковской деятельности терпеть не могу. Отказаться не считаю себя вправе: я поденщик, чернорабочий, имею ли я право сказать моему господину — судьбе России: я не пойду на работу? Слава Богу, теперь работы много, и потихоньку скажу тебе, хотел бы не говорить и самому себе — работников мало. Одно уже то, что меня избирают в 59 лет то туда, то сюда показывает тебе, что не так велик тот круг, из которого можно выбирать. Почти до настоящего времени я не имею ничего, кроме долгов; теперь огромное жалованье прошедшего года, чуть-чуть на 25.000 серебром, дало мне возможность иметь фонды. Но правду сказать, я об них забочусь немного и, живя очень скромно, истрачиваю как-то много. Теперь новое предприятие тоже избрало меня своим представителем: в москов[ском] купечестве образуется товарищество для покупки у казны Московско-Курской дороги в 502 версты; меня упросили взять председательство и в этом деле. Долго было бы тебе разьяснять причины, почему я должен согласиться взять на себя и это дело. Но верь, что тут нет и тени жадности к деньгам, а есть какая-то страшная жадность к делу, какая-то алчность. Значения я тоже не ищу, ибо никогда не получал ни одного чина, ни одного ордена не имею<sup>643</sup>, что у нас довольно редко; едва ли при моей страшной деятельности не единственное

исключение. Вот тебе, мой Печерин, и описание и оправдание моей жизни. Как-то мне приятно передать ее тебе. Не понимаю, отчего в последнее время разбудилось то чувство, которое всю жизнь связывало меня с тобою; но из совершенно сонного, просыпавшего[ся] иногда только случайным воспоминанием, стало теперь живою заботою ежели не ежедневною, то уж непременно еженедельною о твоём существовании. Неполучение от тебя ответа сильно меня тревожило. Не получи я вчера твоего письма, сегодня я непременно писал бы тебе.

Вообще утомление делом будит человеческие стороны души; хотелось бы бросить большую часть внешней деятельности и снова за книги, за жизнь кабинетную. Твой эпизод так мил, что мне стало завидно. Я думаю, улучив времечко, написать небольшое воспоминание об университетском времени и все сосредоточить на тебе; думаю, что ты позволишь. Прости, что я тебе сделаю вопрос — не нуждаешься ли ты в средствах жизни? То, что я пишу теперь, я все отдаю бесплатно, ибо не хочется участвовать в наших больших журналах: с одними не схожусь по убеждениям, именно по их космополитизму, с другими по их безубеждению. Воспоминания хочу поместить в «Русском Архиве», чистом сборнике записок, исторических документов, анекдотов и мелочей единственно по русской истории и жизни преимущественно прошедшего и настоящего веков. Недавно я послал тебе с одним моим приятелем Барановским<sup>644</sup> Полное собрание сочинений Гоголя<sup>645</sup>. Не знаю, получил ли ты. Вообще мне хотелось бы знать, как можно пересылать к тебе книги и брошюры таким образом, чтобы тебе не приходилось за них платить. Тебя просил бы присылать письма не франкированными. Тебе следовало бы прочесть «*Войну и мир*» графа Толстого<sup>646</sup>. Талант огромный и никакого художественного образования, вообще мало всякого образования. Как человек это превосходнейшая личность. В его романе или, лучше, в его картинах (роман тут сшит как-то белыми нитками) бездна таланту: все лица живые, с всею отчетливостью лепки, но философствование такая чушь, что и Боже упаси. Тургенев не только в своем «*Дыме*», а и прежде что-то тряпичное, отжилое, вялое, ворчащее; Толстой, напротив, кипит жизнью. Он ругает Россию, и в брани ты чувствуешь страстную любовь. Не дает никакого значения героям 1812 года, и часто приходится оставить книгу, до того охватит тебя своею полнотою его любовь к русскому народу. Ты не читал «Записок охотника» Тургенева<sup>647</sup>, это одно из первых и решительно лучшее его произведение. По-моему, он не умел сладить с пейзажем и давал ему больше места, чем сколько требовало содержание картины; зато всегда пейзаж превосходный. Тут он чисто художник, и есть такие этюды, как, напр[имер], «Певцы», «Смерть»<sup>648</sup> и несколько других, которые прочтешь десять раз и не начитаешься. Потом Тургенев подчинился направлению времени, начал решать современные вопросы и что дальше, то слабее. У него самого нет никакого определенного, установленного и охватившего всю его душу убеждения. Россия для него — страна крепостного права с раскрепленными крестьянами, страна дремоты, сна и безжизненности. Пусть так, но осуждена ли она на вечный сон, который будет содержанием всей ее истории, или ей предстоит полная жизнь историческая? Тургенев полусонно отвечает — не знаю, думаю, что она так и умрет сонною. Молодое наше поколение не сулит пока многого, но те отрывки его, с которыми я в постоянных сношениях, пленяют и восхищают меня честностью, благородством, энергиею и чувством долга. Это именно инженеры на железных дорогах. Старье большею частью взяточники, полунебезьяны; молодые с всею неурядицею молодости но, тем не менее, восхищают меня благородством и энергическою деятельностью. В будущем месяце я надеюсь открыть мою дорогу до Ярославля: 200 верст,

и построится с небольшим в один год. Расходуя 12 миллионов, я имел к ним полнейшее доверие, даже, может быть, и не совсем оправдываемое особенно при их молодости, все ведено честно и, вероятно, у нас более миллиона останется в экономии. Как хочешь, а это не может меня не радовать. Брани все скверное, но дай же и отдохнуть душе на прекрасном.

Теперь я читаю «Мелочи из запаса моей памяти» М. Дмитриева, племянника покойного поэта Дмитриева<sup>649</sup>. Это воспоминания, если хочешь, довольно ничтожные, но они пленяют меня перенесением в прошедшую жизнь, обрисованную всеми этими мелочами.

Вот тебе, Печерин, длиннейшее письмо: ругай за него то, что сегодня праздник<sup>650</sup>, если оно тебе надоест; благодари тот же праздник, если тебе будет приятно перенестись к твоему давнишнему другу. На днях я окончил, сидя по ночам, небольшой разбор книги, недавно изданной нашим Поленовым<sup>651</sup>, — не знаю, помнишь ли ты его, — скорее не разбор, а указание на ее содержание. Это: «Исторические сведения о Екатерининской комиссии для сочинения наказа нового уложения». Хотелось бы мне послать тебе, да не знаю каким путем; боюсь, что, пославши под бандеролом, заставлю тебя дорого заплатить. Обнимаю тебя. Смотри же, пиши.

Твой Чижов.

### № 81. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

21 ноября н[ового] ст[иля] 1869

Любезнейший Чижов!

Прочитавши описание твоей ежедневной жизни, я должен тебе сказать, что ты — истый англичанин, и за это я тебя еще более люблю. Только в одной Англии найдутся люди с таким неусыпным трудолюбием. Здешние государственные люди работают хуже всяких каторжников: сидят в парламенте от 2-го ч[аса] пополудни иногда до 3-х часов утра (с небольшим промежутком для обеда), да при этом еще находят время писать комментарии на Гомера как, напр[имер], первый министр Гладстон, недавно издавший свое *“Juventus mundi”*. В твоём труде есть то утешительное поощрение, что ты, очевидно, положительно содействуешь возрождению России. С каким удовольствием я прочел в газетах, что железная дорога от Одессы до Петербурга окончена и что Государь по ней возвратился из Крыма. Хотелось бы лишь знать, построят ли прочный мост через Днепр в Киеве. Река там иногда весною разливается на три версты до *Красного трактира*, как говорили в мое время<sup>652</sup>. Говорить о *сне* России, мне кажется, это просто бессмыслица. Могущество и влияние России растут не днями, а часами; уж если это сон, то это должно быть сон *богатырский*.

Душевно поздравляю тебя с тем, что ты не имеешь ни чина, ни ордена: это редкое явление. Помнится, Аксаков сказал когда-то в «Дне», что придет время, когда не будет титулярного советника в России<sup>653</sup>.

Благодарю тебя за дружескую обо мне заботу, но я искренно скажу тебе, что я ни в чем не нуждаюсь; и лучшим доказательством этому служит то, что несмотря на мои ограниченные доходы, я успел с помощью экономии составить себе порядочную библиотеку даже из редких книг, напр[имер], по восточным языкам<sup>654</sup>; я выписываю *“Revue des deux Mondes”*, литературный журнал *“Athenaeum”*, *“Nature”*

для естественных наук<sup>655</sup> и политическую газету “Daily Telegraph”, и при всем этом я никому ни копейки не должен, за все плачу наличными деньгами и таким образом сохраняю некоторого рода гордую независимость.

Мы теперь наслаждаемся итальянской весной. Бывают по утрам легкие морозы, но зато уж днем солнце светит в полном блеске и воздух — совершенно весенний. Главная выгода здешнего климата состоит в том, что здесь можно *ботанизировать* круглый божий год. Зимой и летом я хожу в ботанический сад. Есть растения, которых цветы распускаются именно зимою, напр[имер], *viburnum*\*. В прошлом году 26 декабря я нашел испанскую *клематис* в полном цвету на открытом воздухе всю унизанную сверху донизу белыми цветами. Каково это тебе покажется? В самую пору ваших рождественских морозов! Раз в неделю я гуляю по берегу моря и машинально повторяю стихи Пушкина:

«Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой!»<sup>656</sup>

Русская словесность более и более проникает в Англию. Недавно какой-то журналист просил моего ученика д[окто]ра Аткинсона перевести «*Пиковую Даму*» Пушкина. Мне придется просмотреть этот перевод. Англичане ужасно как полюбили нашего Крылова в отличном переводе г[осподина] *Ралстона*. Вышло уже второе издание. За меть, что французы доселе не сумели ни понять, ни оценить нашего баснописца.

Я не получил еще сочинений Гоголя, но заблаговременно благодарю тебя; это будет для меня драгоценный подарок, тем более что я с Гоголем почти не знаком.

Мой книгопродавец г[осподин] Келли берется доставать мне какие угодно русские книги без всяких издержек, если они будут посланы по прилагаемому адресу. Ты заметишь из этого адреса, что их надо отправить прямо в Лейпциг к Кершеру, а оттуда уже они будут пересланы в Лондон и сюда.

Как же не помнить Поленова? Ведь он был одним из любезнейших членов маленького кружка Никитенко. Если когда-либо встретишься с ним, то, пожалуйста, поклонись ему от меня.

Так как сегодня понедельник и к тому же прекрасное утро, то я тотчас же отправляюсь в ботанический сад, где надеюсь иметь с директором маленький разговор о системе *Дарвина*<sup>657</sup> (новый журнал “*Nature*” его орган).

Печатать позволяется, что хочешь, в «Русском Архиве» с тем условием, чтобы один экземпляр доставлен был в библиотеку цензора.

В. Печерин.

## № 82. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Каменец-Подольск  
30 декабря 1869

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас с новым годом и желаю полного здоровья и всего лучшего. Я еще до сих пор в Каменце и по сложившимся обстоятельствам не рассчитываю

\* Калина — *лат.*

оставить Каменец раньше трех-четырех месяцев. Надежды мои перейти в Бессарабию не осуществились, а в Одессе жить нет средств, и потому волей-неволей придется возвратиться во внутренние губернии. Остаться в Каменце нет охоты, потому что по политическим обстоятельствам в западных губерниях судебная реформа вводится в ограниченном виде, т[о] е[сть] без присяжных и некоторых других условий публичного суда; притом же и самый Каменец — скала, отрезанная со всех сторон глубокими оврагами от всякой растительности, переполненный евреями, с узкими улицами-коридорами, со зданиями, не представляющими никаких удобств — очень вреден в гигиеническом отношении, что я положительно испытал на своих детях, так что со времени возвращения семьи моей из Петербурга в октябре то и дело приходится видаться с докторами; и как ни благодатна цветущая благосостоянием Подольская губерния, так диаметрально противоположен ей губернский город Каменец. Давно уже есть предположение перевести губернский город в Винницу<sup>658</sup>, но положение Каменца на рубеже Галиции имеет свое значение. Поэтому придется расстаться с Подолиєю, но куда — я еще сам не знаю. Впрочем, вопрос этот — куда? — не представляет уже у нас затруднений. Железные дороги так быстро растут и ежегодно обхватывают такие громадные пространства, что чрез три-четыре года все губернские города будут связаны железным путем и, как говорят, что все дороги ведут к Риму, так с гордостью можно будет сказать, что все дороги ведут в Москву.

Вообще реформы идут так быстро, подхватываются и вырабатываются народною жизнью так горячо, что даже нам, современникам, кажется это изумительным. Правда, у нас нет той консервативной выработки, как в Англии, но английская система положительно неприменима к России, и если только поднимется уровень народного образования и женщина получит воспитание, тогда развитие государства вполне будет обеспечено. Впрочем, и в отношении образования массы в последнее полугодие сделано столько, сколько не было сделано со времен Уварова, а двухклассных элементарных училищ<sup>659</sup> в эти шесть месяцев открыто более, чем было открыто, включая и 20-летнюю эпоху Уварова. Доказательством, что необходимость образования уже вошла в народное сознание, может служить и то, что крестьяне начинают уже не довольствоваться элементарными школами и переводят уже своих детей в мужские и женские гимназии.

В бытность жены моей летом в Петербурге ей удалось встретиться с Петром Ивановичем Собко. Мы не видались уже несколько лет. Он пишет мне, чтобы я ему выслал Ваш адрес. Это высокая и благородная личность, талантливый труженик науки, приобретший себе громкое имя между русскими инженерами. Он теперь директором Петербургско-Варшавской железной дороги. Алексей Иванович умер, об Якове Ив[ановиче] мне тоже передавали, что и он умер.

С самого возвращения моей жены из Петербурга мы не оставляли мысли послать Вам общий фотографический снимок нашей семьи; но вот уже скоро три месяца нам не удалось осуществить своего желания, потому что из детей то один, то другой заболел, чему содействует, кроме неизбежных детских болезней, еще и убийственная погода. Но при первой возможности исполним наше желание.

Целую Вас и прошу Вашего благословения Ваш племянник

С. Поярков.

№ 83. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
31 декабря 1869

Милый мой Печерин.

На сей раз я никак не виноват, что долго не отвечаю на письмо твое, которого я ждал с нетерпением. Ждал же с нетерпением просто потому, что под старость чувства, бывшие когда-то молодыми, оживают. Мне стало как-то грустно долго не иметь твоих писем. Это одно. Второе — то, что я хочу написать воспоминания об университетской жизни, правда, бесцветной, но сравнительно довольно оригинальной. Тут главное лицо будет Печерин; мне как-то не хочется, чтоб ты был неизвестен нашему настоящему поколению. Вот, следовательно, еще причина, почему хотелось бы чаще жить с тобою. Твое письмо пришло в Москву без меня, когда я был в Петербурге. Приехавши в Москву, я занялся через силу, может быть и простудился. Так или иначе, только я сильно захворал и теперь еще только начинаю проезжаться, а не поправился вполне. Приходит старость, скоро придет пора откланиваться жизни; но пока дай побраниться.

«Дайте чуточку подрасться.  
Распроклятый тот карась  
Разобидел нас вчерась»<sup>660</sup>.

Это ты меня разобидел, разжаловавши из русского в англичанина, да еще ты осмелился сказать, что еще больше меня любишь за то, что я истый англичанин. Ты знал русских пришибеными<sup>661</sup>; теперь они немножко вздохнули посвободнее, и их истинная природа является мало-помалу. Люби меня, пожалуй, больше за то, что каждую минуту я сознательно отдаю моей России. Дальше ее ничего не хочу. Пока я к тебе не писал, моя Ярославская дорога уже открыта до Ростова, а чрез несколько дней откроется и до Ярославля, т[о] е[сть] на 200 верст от Троицы Сергия и на 266 от Москвы.

Между тем я предложил министру путей сообщения<sup>662</sup> строить дорогу от Ярославля до Вологды и другую, от Ярославля до Костромы, первую — в 196 верст, вторую — в 72 версты. Строить их хочу новым способом, каким строят в Норвегии, страшно близкой нашему Заволжью по климату. Это будет дорога узкоколейная и поэтому дешевая, всего тысяч в 25 рублей за версту, т[о] е[сть] по-вашему в тысячи 4 фунтов стерлингов за версту. Если мне удастся, то это будет истинное благо для второстепенных, особенно северных железных дорог, не могущих вынести дороговизну постройки. Вот тебе наши новости.

Непременно пришло тебе книги, и Поленов с радостью пришлет книгу, им изданную, лишь бы книгопродавец взялся доставить. Кстати пришло и свою статейку о книге Поленова<sup>663</sup>. Да тоже кстати скажу, что болезнь не препятствовала мне кончить к новому году издание моей новонаписанной книжки «Письма о шелководстве»<sup>664</sup>. Не знаю, писал ли я тебе, что я при покойном Государе был взят на границе по доносу австрийцев, это еще в 1847 году<sup>665</sup>, — продержали меня в Собственной Его Вел[ичества] канцелярии<sup>666</sup> недели две и велели избрать местожительство. Я, не желавши вступать в службу, поехал на юг, нашел близ Киева шелковичные плантации и занялся новою промышленностью — шелководством. Теперь около моих плантаций крестьяне занимаются в числе семейств 400, если не более. Нынешнего года у них оно пошло хорошо, и я написал книгу, чтоб распространить сведения.

В Киеве существует мост чрез Днепр уже лет 17, теперь же строится другой для железной дороги. Первый на цепях, теперешний — на твердых устоях, истинно великолепный. Первый построен англичанином Виньола, теперешний — русским инженером<sup>667</sup>.

Завтра наш новый год, обнимаю тебя мысленно и от всей души желаю обнять тебя действительно в наступающем году.

Твой Чижов.

### № 84. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

26 января 1870

Любезнейший Чижов.

Ты жалуешься, что я обругал тебя, называя англичанином; а теперь намерен еще хуже разругать тебя. Прочитавши о твоём шелководстве, я непременно назову тебя американцем, чистым *янки* — да на что же это похоже? Какая нелегкая занесла тебя в *шелководство*? И вот у тебя плантации! Но шутки в сторону — мне кажется, я прав, мне кажется, что в сущности русский характер имеет больше сходства с английским или американским, чем, напр[имер], с французским. И вот тут-то начинаются мои севования. Кто нас избавит от этой проклятой Франции? Ведь нельзя же отрицать, что большая часть нашей молодежи доселе еще находится под обаянием этой пагубной сирены. Да откуда же взялся этот русский социализм, о котором теперь все газеты кричат! Ведь социализм — чисто французское или, лучше сказать, парижское изобретение. Он не существует ни в Англии, ни в Америке; да и как же ему существовать среди трудолюбивого и промышленного народа? А что действительно есть русский социализм, об этом свидетельствует школа Герцена с ее пропагандою. Но — *de mortuis aut bene, aut nihil*\*. Бедный Герцен скоростижно умер в Париже<sup>668</sup>. Как жалко, что он не остался в России! Он мог бы сделаться первоклассным писателем. Политика (к которой он во все был непригоден) его погубила. Главным его недостатком было то, что он не любил трудиться. Без труда и прилежания одними островами далеко не уедешь.

Досадно и грустно слышать, что ты захворал. Очень похвальна твоя неусыпная деятельность, но все ж таки это не мешает и о здоровье немножко позаботиться. Будучи в ежедневных сношениях с медиками, я смеаю немножко в медицине и потому знаю, что у нас в России не довольно обращают внимание на гигиену. Когда подумаешь о деятельности здешних государственных людей, то так даже и дух захватывает; но при всем этом они ужасно как долговечны и до последней минуты сохраняют все свои физические и нравственные силы. 80-тилетний Палмерстон каждый день ходил пешком в парламент и возвращался домой во втором часу утра тоже пешком — иногда летом по утрам рабочие встречали его и с добродушною веселостью говорили: «Вот, наш Пам идет домой». Все зависит от умения управлять машиною нашего тела. Ведь это тот же паровик.

Не знаком ли ты с Петром Ивановичем Собко, директором Петербургско-Варшавской железной дороги? Он также мне приходится из родных: он — двоюродный брат Пояркова, от которого я только что получил письмо. Г[осподин] Поярков

\* О мертвых или хорошо, или ничего — *лат.*



теперь заключен в грязном жидовском городе Каменец-Подольске. Он с восторгом говорит о развитии железных дорог в России и надеется, что придет время, когда все губернские города будут связаны железными путями. Ах! Как жалко, что время приключений для меня прошло! Будь у меня три вещи: молодость, деньги и паспорт, мне кажется, я так бы и пустился путешествовать по России вдоль и поперек от Петербурга до Крыма, от Варшавы до Оренбурга. Теперь я не путешествую дальше Ботанического сада и берегов Дублинского залива, о котором здешние квасные патриоты говорят, что он ни в чем не уступает Неаполитанскому.

Я получил в один день и твое письмо и Гоголя. Не знаю, как и благодарить. Прекрасное издание! Бумага и печать — отличные. Это, пожалуй, хоть и Англию за пояс заткнет. Да, что же ты мне ни слова не говоришь о «Русском Вестнике»? Здесь его очень высоко ценят и ставят наряду с лучшими английскими обозрениями. А в последнем номере «Телеграфа»<sup>669</sup> говорят о Каткове как о важном политическом лице и величают его по имени и отчеству. Вот видишь, что теперь и на нашей улице праздник. Мой ученик д[окто]р Аткинсон мастерски перевел «Пиковую даму» Пушкина: он удивительно как метко схватил дух оригинала. Когда она будет напечатана, я постараюсь тебе прислать.

Взаимно поздравляю тебя с новым годом, и в надежде обнять тебя в этом же году пребываю

Твой В. Печерин.

### № 85. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

22 января 1870

Сейчас получил твое письмо и отвечаю, не откладывая. Вероятно, ты скоро получишь еще две книги русские, если только поедут за границу две мои приятельницы. Это уже не часть изящной литературы. В Гоголе, разумеется, ты отбросишь весь стихотворный отдел<sup>670</sup>, потому что это дичь непроходимая. Гоголь — высокий художник, но не поэт, а стихотворная форма без поэзии такая гадость, что лучше читать поваренную книгу. Пока я к тебе не писал, у меня уже открылась дорога до Ростова, на днях откроется до Ярославля, и я начну строить еще от Ярославля до Вологды. Вот тебе кажется смешно шелководство, а я все-таки пришлю мою книгу о шелководстве, и если ты даже не прочтешь ее всю, то в одном не откажешь мне: в страстной любви к России, которой я отдаю все дни, часы и минуты моей жизни.

Ты толкуешь об умении англичан при их страшной деятельности сохранять крепость сил до глубокой старости.

3 апреля

Можно ли поверить, что, думая о тебе очень и очень часто, непременно желая писать к тебе как можно скорее, я не в состоянии был найти времени почти 3 месяца. А выходит так, мой милый Печерин. В конце января, именно когда я начал писать к тебе, я должен был отправиться в Петербург, там совался как угорелая кошка. С 10 часов, часто с 9 я садился в карету и рыскал по всему городу вплоть до 5 часов пополудни, потом обедал, после вечером опять за то же рыскание. Вот тебе отчет, к чему привело рысканье. Дорога моя до Ярославля открыта в половине февраля и движение по ней идет очень хорошо. Само собой разумеется, я сам открывал, т[о]

е[сть] поехал на первом поезде, но не сделал ни малейшего пиршества как потому, что при моей частой хворости зимою пиршество не может обойтись без простуды, так и потому, что все речи легли бы на меня, а я только что оправился от порядочной болезни — сильнейших головокружений.

Теперь очень скоро, вероятно, будет нам разрешена постройка дороги от Ярославля до Вологды, т[о] е[сть] еще на 180 верст к северу, недалеко уже до Сухоны, которая вместе с Югом сливаясь, образуют Северную Двину<sup>671</sup> и несут уже все в Белое море. А? Печерин? Предполагал ли ты, чтоб на нашем веку испестрить Россию железными дорогами от Понта Эвксинского до Ледовитого океана? Не скрою от тебя, что есть какое-то особенное наслаждение в душе сознавать, что тут есть и моя лепта. Меня утешает и другое. Теперь у нас постройка железных дорог, что твои прежние откупа. Наживаются страшно и, разумеется, наживаются не изобретением, не распорядительностью, а просто уменьем получить дорогие цены, т[о] е[сть] мошенничеством на счет государства, следовательно, на счет народа. Я построил уже две дороги, получил в пользу постройки около миллиона рублей и не нажил ни копейки. На составившуюся экономию, призяв тысяч 800, пойду к Вологде, и хоть бы грош заставил меня покраснеть. Я только и ждал разрешения построить дорогу до Вологды; если мне это удастся, тогда я напишу историю наших железных дорог и выведу на чистую воду все гадости. Зато акции нашего Общества растут сильно; я надеюсь, что они вырастут более чем вдвое. Тут-то я и покажу превосходство и превосходство практическое, честной системы пред мошенническою. В деле практическом одни слова не значат ничего; их надобно опереть на устоях совершившегося факта, тогда только они имеют полное значение. Вот тебе, мой милый Печерин, коротенький отчет в деятельности твоего старого Чижова. Мне необходимо отдавать тебе такие отчеты, как ни различны наши пути, как ни различны взгляды, а честное и благородное одинаково честно для обоих.

Между тем, несмотря на бездну материальных работ, хотелось бы мне непременно написать воспоминания о времени университетском, и одно из важнейших побуждений — это познакомить наше молодое поколение с близким мне человеком, которого они уже нисколько не знают, — это с моим милым Печериним. Мне хотелось бы им воочию представить такую же горячую голову, какие есть и между ними, наделавшую бездну глупостей, но ни разу не изменившую честности и благородству человеческого. Ты там толкуй что хочешь, но ты не должен умереть без того, чтобы в России не знали, что мы в тебе потеряли. И ты там что ни толкуй, но ты должен мне помочь в этом, теперь при наполнении головы одними цифрами, деле для меня весьма трудном. Мне хочется тут передать тебя более твоими письмами и твоими стихами. Последние — «Ирония Судьбы» — так хороши, так задушевные и такой славный стих, что я перечитывал их 100 раз. В каждой строке виден ты, не состаривший[ся] ни на день. Никак я не могу понять, каким образом умело тебя оплести католичество, прекрасное, поэтическое, обильно плодотворное в законную свою историческую эпоху, но отслужившее свою службу и оставившее на себе одни морщины старости, одну дряхлость, одним словом, одни гадости, известные под собирательным именем — старость. Я не для того пишу, чтоб затрагивать какой-нибудь спорный вопрос, и уже нисколько, чтоб нанести тебе хоть тень оскорбления; если бы это последнее случилось нечаянно, то я готов тысячу тысяч раз просить прощения. Но мне хотелось бы проследить то время, когда ты из отчаянного франкмасона вдруг перескочил в аскетизм и не чисто простой аскетизм, а обставленный тысячами условных обстановок. Прежде в разговорах с тобою я не касался этого

вопроса именно потому, чтоб не задеть за живое; но всегда мне очень хотелось знать как самый путь, т[о] е[сть] именно как ты вошел в сношения с представителями католицизма, так и внутренний ход твоего преобразования. Само собой разумеется, что и теперь я далек от того, чтоб шпионировать в душе твоей; если такая и внутренняя и внешняя исповедь не будут тебе неприятны, ты введешь меня в твою прошедшую жизнь; если нет, я, хотя бы и не так любил тебя, как я люблю действительно, во всяком случае не посягнул бы насилем.

Но будет. Теперь я прихворнул и потому не выхожу из дому, а потому и имею время писать к тебе. Ты спрашиваешь меня о Каткове. Это весьма талантливый публицист; публицист, какого мы еще не имели. Он завладел уважением большинства единственно силою таланта. Он собственно не может быть назван просто Катков, а Катков и Леонтьев, потому что они оба редакторами. Это еще бы ничего, но это такие сиамские близнецы в деле издания прежде журнала «Русский Вестник», теперь того же журнала и «Московских Ведомостей», что трудно, даже невозможно представить одного без другого, и как написал однажды Жемчужников<sup>672</sup> — не знаешь, где начинается Катков и где кончается Леонтьев. Оба они люди очень умные и весьма образованные. Катков был когда-то профессором педагогики. Леонтьев и теперь профессор римской словесности. Оба страшные защитники классического образования. Теперь у нас образовались две враждебные стороны — одна за классическое образование под эгидой «Моск[овских] Ведомостей»; другая за реальное. Обе ударяются в крайности. Из всего этого ты видишь, что Катков человек замечательный; но одна беда: он смотрит на себя как на самое важное орудие государственности и сделался в публицистике совершенным министром. Поклонник Англии от головы до пяток, он унесся в Англию и всего в ней ищет, кроме самостоятельности, которой уже не найдешь, если ее нет. Вот одна из причин разладицы его с Аксаковым и всею этою чисто русскою стороною, в которой я ревностнейший служитель, не говоря уже о том, что у него никогда не бывало чистоты воззрений. Раз он преследует начало, он не останавливается ни на заподозрении пред правительством, ни почти на чистом доносе. У него все измена. Одним словом, у этого личность родит убеждения, а потому убеждения непрочны и меняются с изменением взгляда; у нас убеждение покоряет себе личность и заставляет забывать все личные вражды и приязни.

Надеюсь, что ты не похож на скверного твоего друга Чижова и не так, как он, не заставишь ждать ответа. Я просил бы тебя писать побольше, как иногда ты пишешь; читая тебя, живешь с тобою.

Умер Герцен — все наши журналы отзывались о нем очень сочувственно как об истинно талантливом человеке. Напрасно ты думаешь, что он не любил трудиться; ты знаешь его уже в той поре жизни, когда он закусил удила, и когда его кипучей душе не было иного выхода, кроме брани и нападков на всех и на все.

Буду ждать от тебя извещения, получил ли ты посланные мною тебе книги. Хотелось бы послать «Войну и мир» графа Льва Толстого, высокоталантливое произведение. К несчастью, писавши на ходу мысли, он ввел бездну философствований, т[о] е[сть] бездну недодуманного взгляда на историю; но все это искупается его сильным талантом и его простою, не заданною и неподдельною любовью к России. Кажется, он ни разу не сказал об этой любви, зачастую бранит Россию, но все это из такого любящего сердца, что иногда не достает духу продолжать, оставляешь книгу от внутреннего волнения. Обнимаю тебя, мой милый Печерин.

Твой Чижов.

№ 86. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

4 февраля н[ового] ст[иля] 1870

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

После долгого молчания ваше письмо чрезвычайно меня обрадовало. Благодарю вас за поздравление меня с новым годом и взаимно поздравляю вас и любезнейшую супругу вашу с дорогою семьею. Я с нетерпением буду ожидать обещанный фотографический снимок вашей семьи и буду хранить его в особенном альбоме.

Ваше письмо вообще очень утешительно. Развитие железных дорог обещает многое в будущем. Оно вошьет свежую кровь в политическое тело России и распространит кругообращение жизни до крайних ее пределов. Очевидно, что Россия подвигается вперед быстрым и мерным шагом. Но кто нас избавит от *французских идей*? Газеты говорят о развитии русского социализма. Да откуда же он взялся? Ведь социализм — чисто французское или, лучше сказать, парижское изобретение. Он не существует ни в Англии, ни в Америке. Да и как же ему существовать среди трудолюбивого и промышленного народа? У нас одно забывают, что отличительная черта современной цивилизации есть труд, непрерывный, неусыпный труд всех классов общества. Идеи социалистов просто анахронизм. Они принадлежат Греции и Риму, где вся общественная работа была совершаема рабами, а свободные граждане, наслаждаясь благородным досугом, разглагольствовали о философии, политике и изящных искусствах. Ведь я целых два года жил в Цюрихе между социалистами. По их понятиям, труд есть просто тиранство, которому свободный человек никак не должен быть подвергаем. «Конечно, — сказал мне один прекрасный итальянский юноша, — конечно, нельзя сказать, что в новом порядке вещей люди будут жить совершенно без дела, но у них будут так, приятные занятия, напр[имер], музыка, рисование, легкое чтение и пр[очее]». Этот господин был аристократ и принадлежал к одной из лучших ломбардских фамилий<sup>673</sup>, и потому для него *салонная* жизнь была идеалом общественного устройства. А вот, напротив, поляк Бернацкий, апостол социализма (*mu na apostolow poszli\**, говорил он), тот уж ни о каком труде и слышать не хотел — только есть, пить да кутить, а все работы будут делаться машинами. Я не доволен был боек для него: *Vous n'êtes pas un homme d'action\*\*!* Мы посадим вас в парламент, вы будете там говорить речи, *et après cela nous vous couperons la tete!\*\*\** Да! сударь, гильотина будет вечно стоять на площади! *guillotine en permanence!\*\*\*\** Граф *Уголи*<sup>674</sup>, итальянский выходец, был отличный человек во всех отношениях, но, к несчастью, у него было состояние и он одевался очень хорошо и ходил обедать в первоклассную гостиницу. Однажды мой поляк завидел его, идущего к обеду: «Ну, скажите, пожалуйста, к чему этот человек пригоден? Ведь просто бы ему пулю в спину ввалить!» А все это за то, что на нем был хороший сюртук.

\* Мы на апостолов пошли — *польск.*

\*\* Вы не человек действия — *фр.*

\*\*\* А потом мы отрубим вам голову — *фр.*

\*\*\*\* Всегда готовая к использованию гильотина — *фр.*

Как жалко, что вам пришлось жить в жидовском городе с его физическими и нравственными зловониями! А ведь вот эти самые жида были некогда властителями Польши: дворянство и простой народ, все было в их руках. Недаром же они так усердно помогали *повстанью*! Надеюсь, что в скором времени вы переселитесь в лучшую местность. Да не забудьте, когда будете в Москве, зайти к Ф. В. Чижову.

Итак, пожелав вам и любезной племяннице доброго здоровья, остаюсь  
ваш искренно преданный  
В. Печерин<sup>675</sup>.

Post scriptum. Никому из тех, кто любил меня, не посчастливилось. Мой учитель Кессман застрелился; баронесса Розенкамф умерла с голоду; Александра Ивановна Барышникова, милая девушка, занимавшаяся моим воспитанием с десяти лет, вышла замуж за какого-то негодяя полковника. Вскоре после свадьбы вспыхнула турецкая война 1829 года<sup>676</sup>. Казенные деньги были разграблены, не с чем было выйти в поход. Он заперся в своем кабинете и застрелился.

### № 87. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Каменец-Подольск  
18 марта 1870

Дорогой дядя Владимир Сергеевич. Со мной вполне оправдалась поговорка «человек предполагает, а Бог располагает». В конце прошлого года я получил положительные уверения в получении другого назначения в начале этого года и несколько не сомневался, что если не апрель, то ни в каком случае май не встречу в Каменце; но вышло не так, и мне, вероятно, придется пробыть в Каменце еще весь настоящий год, потому что Государственное Казначейство<sup>677</sup> не признало возможным ассигновать в настоящем году добавочных сумм по преобразованию судебной части, а чтобы вовсе не оставить настоящий год без преобразований, то ассигновало суммы только на время с 20 декабря 1870 года.

Сравнивая строй управления Англии с нашим, Вы останавливаетесь на мысли, что могут ли все реформы наши достигать желаемого результата при изменчивости наших законоположений. Лучшим ответом на это может служить наша соседка — конституционная Венгрия<sup>678</sup>. Газеты еженедельно приносят нам сведения о добрых намерениях венгерского правительства, о необходимости самых неотложных реформ и улучшений, но вот уже 6 лет, а намерения не перешли в дело; а между тем общеобразовательный уровень венгерского населения, может быть, выше нашего. Да и могли ли такие реформы как крестьянская и судебная, в особенности первая, совершиться конституционным порядком в тех размерах, в каких они совершились, и в такой короткий промежуток времени. Наши земские учреждения показывают, что конституционная жизнь еще вовсе не созрела и вовсе не служит потребностью народа. Хотя Маколей с точки зрения англичанина утверждает, что прежде нужно пользоваться для того, чтобы научиться тем пользоваться, чем пользуешься, но прежде нужно, чтобы народ научился как именно научиться пользоваться, т[о] е[сть] нужно, чтобы народ имел по крайней мере элементарное образование или, по меньшей мере, был грамотен; а без того нельзя не согласиться с бельгийским министром Фрер-Орбаном<sup>679</sup>, что необходимо искать средства к расширению государственного

права, но ни в каком случае не следует предавать себя в руки необразованным массам, которые всегда были губительны для государственных учреждений.

Газеты действительно уверяют, что будто бы у нас завелись социалисты и что будто бы социализм овладел уже массами. Лет 5 тому назад я был свидетелем подобных уже уверений насчет нигилизма; но оказалось, что нигилизм выразился в одной только форме: барыни обстригли себе волосы и надели полумужской костюм, чтобы легче быть узнаваемыми безошибочно кем следует; московские купчихи, не решаясь стричь волосы, все-таки завели, по их словам, амантов\*, и притом преимущественно с гремящими саблями; свихнулись, правда, и некоторые развитые семейства; но нигилизм этого рода уже исчез, и все вошло в обыкновенную колею. Самая зараза эта коснулась только больших городов Севера и была вовсе неизвестна Харькову, Киеву, Одессе; массе народа она вовсе была неизвестна, как и самое даже название ее, потому что те, до кого доходил газетный слух, не умели даже произнести нигилизм, а называли — сыгелизм. Теперь газеты пустили тревогу социальную; по крайнему их прискорбию сущность социализма еще менее понятна до того, что, кроме петербургских, другие газеты не решаются даже повторять это слово. Действительного социализма нигде у нас нет, даже в зародыше. Что же наш социализм, я отвечу Вам словами поэта:

«Странное племя, мудреное племя  
В нашем отечестве создало время!  
Это не бес, искуситель людской, —  
Это, увы! современный герой!  
Книги читает да по свету рыщет —  
Дела себе исполинского ищет,  
Благо наследье богатых отцов  
Освободило от малых трудов,  
Благо идти по дороге избитой  
Лень помешала да разум развитый.  
«Нет, я души не растрочу моей  
В мелких делах и тревогах людей:  
Или под бременем собственной силы  
Сделаюсь жертвою ранней могилы,  
Или по свету звездой пролечу!»  
Мир, говорит, осчастливить хочу!»  
Что ж под руками, того он не любит,  
То мимоходом без умыслу губит.  
Знаете, в наши великие дни  
Книги не шутка: укажут они  
Все недостойное, дикое, злое,  
Но не дадут они сил на благое,  
Но не научат любить глубоко...  
Дело веков поправлять нелегко!  
Все, что возвышенно, что благородно  
Сердцу его и доступно и сродно,  
Только дающая силу и власть  
В слове и деле чужда ему страсть!

---

\* От фр. *amant* — любовник.

Любит он сильно, сильней ненавидит,  
А доведись — комара не обидит!  
Что ему книга последняя скажет,  
То на душе его сверху и ляжет:  
Верить, не верить — ему все равно,  
Лишь бы доказано было умно!  
Сам на душе ничего не имеет,  
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;  
Нынче не знает, что завтра сожнет,  
Только на верное сеять пойдет.  
Это в простом переводе выходит,  
Что в разговорах он время проводит;  
Если ж за дело возьмется — беда!  
Мир виноват в неудаче тогда;  
Чуть поослабнут нетвердые крылья —  
Бедный, кричит: «Бесполезны усилья!»  
И уж куда как становится зол  
Крылья свои опаливший орел...»<sup>680</sup>

Этих господ развелось у нас вдоволь, и они-то бьют социальную тревогу, что тем удобнее, что сочинения о социализме переведены на русский язык. Правда, у нас появляется и Бакунинско-Нечаевская школа<sup>681</sup>, но и у вас есть свои Тропманы<sup>682</sup>; правда, наши Тропманы с прокламациями, но прокламации — это такое безобразие, что могут производить только такое впечатление как бред сумасшедших. Ни ума, ни цели, ни смысла — ничего в них нет. Никого и нигде они увлечь не могут. Правда, есть любители, которые собирают и их, но это те же, которые гоняются за статуэтками и фотографиями цариц Val Mobilea и Латинского квартала<sup>683</sup>. Находясь же на месте и видя, как с грамотностью и образованием в массе здравый смысл народа мужает, можно сильно уверить, что все газетные толки далеко врозь с действительностью. Наша пресса — вещь особая от народа. Одни только «Московские Ведомости» — русская газета, а прочие живого отношения к народу не имеют; но и «Московские» часто завираются, но зато провинциальные корреспонденции их верны, а честная любовь к России — их неотъемлемое достоинство.

Целую Вас и прошу Вашего благословения мне и семейству моему.

Любящий Вас племянник  
С. Поярков.

### № 88. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Каменец-Подольск  
10 апреля 1870

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением и посылаю Вам как группу всей моей семьи, так и отдельные карточки мою и жены.

На группе: дочь Анна 8 лет, я, сын Александр 12 лет (гимназист), жена, у нее на руках дочь Александра 1,5 года, сын Иван 10 лет и дочь Мария 6 лет.

Бог весть, как удастся довести всех до пути. Старший сын во 2-м классе гимназии первым учеником. Слава Богу, у него порядочные способности и он доста-

точно развитый мальчик, порядочно играет на фортепиано и поет. У второго сына физическая натура преобладает над умственной и все гораздо труднее достается, но нельзя сказать, что у него нет способностей, только развитие их будет попозднее. В августе он тоже поступает в гимназию. Обе старшие дочери тоже с хорошими способностями, но меньшая Мария развивается не по летам. Хотелось бы серьезнее заняться с детьми, но переходное служебное положение мешает тому, и потому я с таким нетерпением ожидаю получить назначение по новой судебной реформе, гарантирующее от передвижений по усмотрению администрации, так как эти передвижения с такой семьей как у меня крайне разорительны и долго заставляют себя чувствовать.

Не знаю, удастся ли мне в этом году побывать в Петербурге, но если только буду, то непременно буду у Федора Васильевича Чижова. Это такой милый и внимательный человек, что даже грех проехать, не повидавшись с ним. Он был воспитателем теперешнего киевского генерал-губернатора князя Дондукова-Корсакова<sup>684</sup>, и князь передавал мне самые теплые чувства любви и расположенности к Федору Васильевичу и говорил мне, что он так привык уважать его, что иногда в действиях своих невольно задумывается, а что скажет Федор Васильевич.

Я говорю, что не знаю, удастся ли мне поехать летом в Петербург, потому что поездки наши имеют главную цель административные представления, а между тем в марте я получил от министра очень любезную бумагу, которая заставила меня колебаться, нужно ли летом ехать в Петербург, тем более что если не удалось весной этого года, то все же я надеюсь, что не встречу 1871 год в Каменце, и тогда к зиме при переезде силою судеб нужно быть в Петербурге как для того, чтобы непосредственно ознакомиться с административными реформами и взглядами, какие предполагаются по устройству судебной части, так и потому, что каждая перемена у нас сопряжена с мудриною переменою, что выгодно выполнить можно только или в Петербурге, или в Москве.

Целуя Вас от души, убедительно прошу Вас не скупиться сообщением дорогих для меня Ваших воспоминаний. Ваша жизнь и судьба есть страница истории, а это есть достояние не одного человека.

Поручая себя и семью мою Вашему благословиению, с нетерпением жду Ваших писем. Душевно преданный Вам племянник

С. Поярков.

### **№ 89. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
4 мая 1870

Слава Богу, ты жив и здоров. Слухи о свирепствовавшей в Москве холере немножко было меня потревожили. Я собирался уже писать к тебе, не дожидаясь твоего письма. Книги твои давным-давно получены и, разумеется, без малейшей с моей стороны издержки. Книга Поленова<sup>685</sup> имеет важное значение как собрание драгоценных материалов для самой замечательной эпохи нашего законодательства. «Русский Архив» — презанимательный журнал: это просто золотая руда для истории русской словесности. Поверишь ли, что я с величайшим наслаждением прочел твою книгу о шелководстве? Это делается тебе понятным, если ты при-



помнишь, что я теперь почти исключительно занимаюсь естественными науками, физиологиею и ботаникою. Тут даже твоя *нехворощ Chenopodium Scorarium*<sup>686</sup> была для меня занимательным предметом, тем более что этот вид не находится в здешней флоре. Впрочем, и сама по себе книга написана очень популярным привлекательным слогом. Честь и хвала тебе, Чижев! Ты своими полезными трудами оставишь по себе имя в России. А я — точно как твой червь — замотался как-то в своем коконе; но от *этого* шелководства никому ни на копейку прибыли не будет. Впрочем, зачем же непременно быть полезным? Ведь цель жизни — жизнь. Декарт<sup>687</sup> сказал: *Cogito, ergo sum*\*; а я скажу: я существую, следовательно, я полезен. Я потребляю известное количество кислорода, извергаю карбон\*\* и другие газы, плачу все подати, налагаемые природою, нахожусь в совершенной гармонии с законами мироздания — так чего же более от меня требовать? Ты как-то очень осторожно касаешься религиозного вопроса. Поверь мне, Чижев, этот вопрос у меня давным-давно порешен и покончен и сдан в архив, в тот архив, где на одной и той же полке покоятся в пыли столетий брахманизм, буддизм, пареизм, иудаизм, католицизм, магометизм, поджидая мармонизма<sup>688</sup> и других *измов*. Ученый архивист по временам входит в эту полутемную комнату, отворяет окно, чтобы впустить свежий воздух в эту затхлую атмосферу, тщательно крылышком сметает пыль с этих заплесневших томов и так иногда из любопытства раскрывает один из них, чтобы посмотреть, во что люди верили в старые годы, как они спорили, дрались и умирали за свою веру. Но все ж таки ему как-то не привольно в этой духоте. Душа просится на божий свет, на вольный воздух. Там солнце блестит на голубом небосклоне, птички поют, насекомые жужжат в густой траве, растительное царство раскинулось неистощимою жизнью; жизнь везде льется через край, бьет живым ключом, рассыпается алмазными брызгами. Смерти нет, да и быть не может, потому что в каждом мельчайшем атоме микроскоп открывает грациозную артистическую форму жизни и радужную игру кристаллизации. С севера и юга, с востока и запада какой-то невидимый голос провозглашает во всеуслышание: «Время книжного учения прошло; живая природа и деятельная жизнь призывают человека в свои объятия».

Я просто выхожу из терпения, когда слышу о споре классиков и реалистов. Ведь это *disputatio de lanacarina*\*\*\*. Странно, что мы до сих пор никак не можем отвязаться от средневековых понятий. В средние века, разумеется, все воспитание заключалось в риторике. Наука не существовала. Ну, как же нам теперь, в последней половине 19-го столетия, когда наука идет вперед исполинскими шагами, как же нам теперь в деле воспитания давать такое важное место изящной словесности? Не смешно ли это, что в самую основу высшего воспитания кладут — что вы думаете? физику, математику, физиологию? — ничего не бывало! У господ классиков краеугольный камень воспитания — народные сказки греков!! Ведь это просто курам на смех! Сказка о славных разбойниках Ахиллесе и Улиссе<sup>689</sup> имеют в глазах науки такое же значение ни больше ни меньше, как сказка о Соловье-разбойнике, Илье Муромце и Еруслане Лазаревиче<sup>690</sup>. Без сомнения, полезно изучать народные

\* «Я мыслю, следовательно, я существую» — *лат.* («Начала философии», I, 7, 9).

\*\* Кислород — от *греч.* *oxys* — кислый; здесь в значении кислорода.

Карбон — от *лат.* *carbo* — уголь; здесь в значении углекислый газ.

\*\*\* Диспут (спор) о пустяках — *лат.*

сказки в этнологическом и религиозном отношении; но тут уж не следует ограничиваться одною народностью, надо взять и индейские, германские, исландские, славянские и другие сказки. «Ну, а греческий язык? Ведь какое богатство форм! Какое упражнение для изощрения ума!» Все это можно было говорить, пока неизвестен был санскритский язык. В санскритском языке заключаются все совершенства: все возможные изгибы человеческого слова, все возможные оттенки человеческой мысли. Но и тут современная наука (лингвистика) не знает никаких аристократических предубеждений в пользу того или другого языка: все языки равны перед нею; для нее финский язык также важен и занимателен, как греческий и санскритский. Одним словом, пора нам стряхнуть школьную пыль, пора бросить это ребяческое поклонение грекам и латинам, пора, наконец, добросовестно сознаться, что новейшие писатели — историки, философы, поэты — несравненно выше древних. В заключение скажу, что я имею право говорить о древних: в продолжение этих тридцати лет я никогда не переставал ими заниматься и прочел почти всех греческих классиков от доски до доски. Кстати, греки недавно отличились при Марафоне<sup>691</sup> и доказали целому свету, что они достойные преемники героев «Илиады» и «Одиссеи».

Известный писатель *Генворф Диксон* выдал книгу “*Free Russia*” («Вольная Россия») <sup>692</sup>. С чего, ты думаешь, он начинает описание России? А так просто с Соловецкого монастыря, куда он отправился на пароходе с богомольцами. Он рассматривает Россию особенно в религиозном отношении, говорит о нашем духовенстве с большим уважением и представляет его, может быть, даже в слишком светлых красках, в каких мы не привыкли его видеть в старые годы. Но вообще эта книга обличает частное намерение короче познакомиться с Россией и отдать справедливость ее народному духу и стремлениям. Раскрашенный фронтиспис<sup>693</sup> представляет вид Соловецкой обители.

Вчера известный русофил г[осподин] *Ральстон* (переводчик Крылова) читал в Лондоне публичную лекцию о *русских сказках*. Вот погоди немножко, Чижов! И наши герои пойдут в ход. Наши витязи Муромских лесов — что тут твои Ахиллеса и Диомиды<sup>694</sup>! Кто знает? Может быть, со временем они сделаются обязательными предметами классического воспитания.

Решительно в целом свете не найдется ничего подобного английской аристократии! Вообрази себе, что бывший первый министр *Дизраели* напечатал новый политический роман “*Lothair*” (ему теперь 65 лет) со всею свежестью воображения, со всеми блестками ума, которыми отличались произведения его юности<sup>695</sup>. Это просто изумительно! непостижимо!

Мне очень хотелось бы прочесть роман «Война и мир». Здесь о нем говорят с большою похвалою и ставят его автора выше Тургенева, что очень много значит. Странная сила предрассудок. Недавно в “*Revue des deux Mondes*” дали почетное место повести Тургенева «*Юродивый*» под заглавием “*Etrange histoire*”<sup>696</sup>. В самом деле, *Etrange histoire!*\* Я ужасно как был разочарован: это решительно ничтожное произведение. Но все ж таки мне хотелось бы прочесть «*Дворянскую семью*», отлично переведенную на английский язык г[осподином] *Ральстоном* под титулом “*Liza*”<sup>697</sup>.

Наконец, я дописался донельзя и душевно обнимаю тебя, остаюсь твой  
В. Печерин.

\* Странная история — фр.

№ 90. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
Май 1870

Бегство из Цюриха.

«В страницах этого рассказа,  
Любезный друг, узнаешь ты  
Соединенные черты  
И Дон Кихота и Жиль Блаза»<sup>698</sup>.  
“Terra marique profugus”.  
Verg\*.

Однажды ввечеру в начале мая 1838 года я сидел в кофейне Баура, бывшей тогда притоном всех политических беглецов. Подходит ко мне итальянский выходец:

— Слыхали вы новость?

— Какую?

— А вот, что случилось с бедным Краузе.

— Как? что такое?

— А то, что его посадили в тюрьму.

— Помилуйте, да за что же?

— Как за что? за долги! Разве вы не знаете, что когда дело коснется денег, цюрихцы шутить не любят. Они ужасно как жестокосердны...

Тут нечего было долго размышлять. На другой же день я заложил у жида славный петербургский плащ. Он дал мне 12 франков. Дня за два перед тем у меня была сцена с хозяйкою. Рано поутру она вошла в мою комнату с раздраженным видом. «Ну что же это значит, monsieur Печерин? Вы целый день сидите в кофейне с итальянскими графами да банкирскими сыновьями, вовсе не по вашему состоянию, а мне за квартиру не платите?» Я побледнел как полотно: в первый раз в жизни мне говорили подобные речи. Я сказал ей отрывисто, чтобы она оставила меня в покое со своими замечаниями, а если уж на то пошло, так уж лучше прямо послать за полицию. Промаялся еще день или два, истратил часть денег, вырученных у жида, и, наконец, решился. Я написал отчаянное романтически-живое письмо, от которого теперь еще краснею, и оставил его на столе с прочими бумагами. Рано поутру — было прекрасное майское утро — я вышел прогуляться по большой дороге в Базель. На мне был щегольской сюртук, жилет и панталоны совершенно новые, только с иголки (разумеется, в долг). Я был совершенно налегке, вовсе не по-дорожному, а так просто *фланирующий*<sup>\*\*</sup> господин. Базель, знаете, окружен стеною, и уж там не знаю сколько ворот. Миновав главные ворота, я вошел боковыми, небрежно размахивая носовым платком. Но мошенник полицейский тотчас подметил, что тут что-то неспроста, спросил паспорт и повел меня в полицейское бюро. Я немножко струхнул. У меня был старый русский паспорт да сверх того *feuille de route*<sup>\*\*\*</sup>, данный мне французским посланником для прохода

\* «Скиталец на суше и на море» — *лат.*

Вергилий. Энеида. I, 2–3.

\*\* Слоняться, бродить, бездельничать — от *фр.* *flaner*.

\*\*\* Дорожное свидетельство — *фр.*

через Францию в Бельгию. Но все это было давно просрочено. Я думал: что как они спохватятся да, пожалуй, еще пошлют в Цюрих собрать справки? Ведь плохо будет. Старший чиновник, глядя на меня, сказал вполголоса своему товарищу: «Этот господин как-то слишком торопится перебраться во Францию». Но я принял самый хладнокровный и равнодушный вид как будто ни в чем не бывало. Все благополучно сошло с рук: паспорт мой подписали, и я тотчас же выбрался из Базеля. Чрез несколько шагов вот и Франция! Вот и жандарм в треуголке гуляет по дороге! Вот она, обетованная земля, таинственный предел мечтаний и надежд моего детства и моей юности! Я едва-едва не облобызал этой тогда священной для меня почвы. Пограничное *Сор-Луи* прекрошечное местечко: едва ли там насчитывается более десяти домов. Я приютился в крошечной гостинице, но не сел за общий стол ужинать, опасаясь за свой карман, а только приказал дать себе чашку кофе. Поутру я отправился к мэру, который принял меня очень учтиво, расспрашивал о России, где у него какая-то родственница была гувернанткой, — подписал мой паспорт и за это потребовал два франка. Мне стыдно было признаться в бедности — вот я так ему и отдал *последние* два франка. Теперь я свободен и легок, как птица: ни копейки в кармане, ни облачка заботы на сердце! Ведь я во Франции! Будущее мне принадлежит, путеводная звезда сияет предо мною. Я не хуже Цезаря имею право верить в свою фортуна\*. Итак, вперед! En avant! marchons!\*\* Солнце ярко блистало на голубом небосклоне, птички пели в кустах, воздух был наполнен майскими благоуханиями. Вот истинная поэзия жизни! Наслаждаться природою, когда есть деньги в кармане, — это просто грубая проза! Тут вдруг представилось мне новое неожиданное зрелище: большой крестный ход — священник с причтом под балдахинем, церковное песнопение, запах ладана и толпа народа. С иронической улыбкою я слегка приподнял шляпу и прошел мимо. Главною целью моего пути в этот день был — *Алткирх*<sup>699</sup>, грязный городишко полу-французский, полунемецкий и весь наполненный жидами. От этих-то сынов Израиля я чаял спасения. *Salus ex Judaeis est!*\*\*\*

#### Алткирх.

Я тотчас отыскал нечто вроде толкучего рынка, то есть ряд полутемных лавок, где продавался всякий хлам, а особенно старое платье, и немедленно вступил в переговоры с жидом. Я отдаю ему все, что на мне есть: сюртук, жилет и панталоны, а он должен мне дать белую блузу с жилетом и панталонами того же материала и при-дать деньгами сообразно с качеством и свежестью моей одежды. Злодей! Варвар! Он дал мне всего 8 франков! Тут некогда было долго торговаться; был третий или четвертый час пополудни, а я еще ничего не ел. Вот так я и нарядился в белую блузу (надобно заметить, что во Франции *белая* блуза нечто — *distingué*\*\*\*\*; очень порядочные люди в ней путешествуют; но зато *синяя* блуза исключительно принадлежит рабочему классу) и с восьмью франками в кармане с веселою беззаботностью отправился в кофейню выпить un petit verre\*\*\*\*\* и закурить сигарку, потом хорошенько

\* Счастье, удача, судьба — от *фр.* fortune.

\*\* Вперед! Идем! — *фр.*

\*\*\* Спасение — от иудеев! — *лат.* В. С. Печерин цитирует Евангелие от Иоанна, IV. 22.

\*\*\*\* Изысканное — *фр.*

\*\*\*\*\* Рюмочка — *фр.*

пообедал и, не дожидаясь захождения солнца, прямо бухнул в постелю. Здесь я помещу все путевые анекдоты между *Алткирхом* и *Нанси*<sup>700</sup>.

В то самое утро, когда я вышел из Алткирха, я остановился позавтракать *café au lait*\* в деревушке *Geragny*. Служанка принесла сдачи медные деньги; я все их великодушно отдал ей. Она так и выпучила глаза и, вероятно, приняла меня за какого-нибудь эксцентрического англичанина. И действительно, скоро после этого иду по большой дороге; крестьянин, работающий на поле, приподнял голову и, взглянув на меня, воскликнул: “*Sont ils drôles ces anglais!*”\*\*\* Так видно уже мне на роду написано быть англичанином. Суженого конем не объедешь. Где-то недалеко от *Бефора* (*Béfort*)<sup>701</sup> около полудня я зашел в маленький кабачок отдохнуть и выпить стакан вина. Хозяин, простой мужик в синем балахоне и деревянных башмаках, тотчас вступил со мною в разговор. Ему ужасно хотелось узнать весь мой формулярный список: кто я, откуда и что и как, особенно какого ремесла я человек. Краткости ради я отвечал: “*Je suis un homme de lettres*”\*\*\*\*. Хозяин тотчас встал, поклонился мне в пояс и с каким-то благоговейным восхищением беспрестанно повторял: “*Ah! monsieur est un homme de lettres! Ah! monsieur est un homme de lettres!*”\*\*\*\* Заметьте эту характеристическую черту Франции: ни в какой другой стране не отдают такой почести литературному ремеслу. Между *Эпиналем*<sup>702</sup> и *Нанси* застал меня дождь на большой дороге, я поспешил укрыться под маленьким деревцом, стоявшим среди поля. Тут же подбежал и молодой крестьянин (это было в Лоррене). «Ну, уж дождь! — сказал я. — Тут так весь промокнешь до костей, да и какое же дрянное дерево, что и от дождя-то защитить не может!» Молодой человек так и вспыхнул и с негодованием сказал: «Ну да у вас-то деревья разве лучше здешних?» (*Et les arbres de votre pays sont ils meilleurs que ca?*) Неоцененная черта французского патриотизма.

### Нанси.

Я пришел в Нанси в самый разгар большой годовой ярмарки. Везде толпа народа в праздничном наряде. Гремела полковая музыка, играли шарманки, бандуры, арфы; фокусники и шарлатаны выкидывали всевозможные штуки. Нет ничего ужаснее, безнравственнее, как быть без приюта в большом городе, шляться без цели по улицам, чувствовать голод и видеть пред собою зрелище довольства и роскоши. Чтобы укрыться от дождя, я стал у большого подъезда губернаторского дворца. У префекта<sup>703</sup> в этот день был какой-то большой прием: беспрестанно подъезжали кареты, из них выходили одна за другою прелестные дамы, разряженные в пух, господа в мундирах или черных фраках с ленточкою почетного легиона<sup>704</sup>, в шелковых чулках и башмаках... Каждый из них или какой-нибудь их лакей имел право сказать мне: «Что ты тут стоишь, бродяга?» А тут еще подошел слепой с шарманкою и жалобным голосом начал оплакивать несчастья великого Наполеона, измену его генералов —

*Si Raguse eut aime la France,  
Comme Montholon, Bertrand, Montmorancy*<sup>705</sup>,

\* Кофе с молоком — *фр.*

\*\* До чего же смешны эти англичане! — *фр.*

\*\*\* Я — литератор — *фр.*

\*\*\*\* Ах! Господин — литератор! Ах! Господин — литератор! — *фр.*

Contre toutes les puissances  
Napoleon serait encore ici\*.

Какая-то глупая трагикомическая мысль о геройских бедствиях вошла мне в голову; слезы выступили на глазах; я ужасно как упал духом. Чувствовал себя покинутым, забытым, без друзей и без приюта; в голове был какой-то лихорадочный бред, я не умел связать двух мыслей, и я припомнил стих Хомякова:

«И сынов твоих покинет  
Мысли светлой благодать!»<sup>706</sup>

А между тем на груди моей покоилось сокровище: письмо графа Строганова, дававшее мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Но даже и в эту страшную пору испытания ни на одну минуту, ни на одну секунду я не имел поползновения воспользоваться этим документом. Что ж это такое? Непреклонная ли воля? или неизбежная судьба? Как хотите! Но вот этак-то я видел и испытал все стороны жизни.

Бродя по улицам, я отыскал агента, доставлявшего места служанкам, учителям и проч[им]. Он очень хорошо меня принял и, увидев из моего паспорта, что я был профессором, он тотчас повел меня к директору какого-то пансиона. Этот добрый человек тут же сунул мне в руку 3 франка (огромную для меня сумму!). Со слезами благодарности я сказал: “Ah! monsieur! ce n'est qu'en France qu'on trouve des gens si charitables!” – “Ne dites pas cela, mon enfant, il y a de braves gens partout”<sup>\*\*\*</sup>. Он также дал мне платье из своего гардероба; но к несчастью оно было слишком объемисто для меня, так что я должен был променять его на другое, которому суждено было играть важную роль в последующих событиях. Но вакантного места у него вовсе не было. Что ж тут делать? Вот еще день пропал! А ведь надобно ж жить как-нибудь! Нельзя же приостановить течение жизни, пока найдется место.

— Ну, уж вы не беспокойтесь! — сказал мне агент. — У меня есть место для вас, но только не здесь, а в Меце<sup>707</sup>. В пансион аббата *Бюро* требуется преподаватель греческого и латинского языков. Я тотчас же к нему напишу. Вам не противно быть у священника?

— Нимало; мне совершенно все равно.

— Ну, так очень хорошо, приходите ко мне завтра поутру, а от меня вы отправитесь в Мец.

Путешествие в Мец и следующие за тем события.

«Что слава? яркая заплата  
На ветхом рубище певца».  
Пушкин<sup>708</sup>.

В восьмом часу утра мой агент попотчевал меня чашкою *café au lait*<sup>\*\*\*</sup> с французским калачом, называемым *pistolet*, и с этим легким завтраком на желудке мне над-

\* Если бы герцог Рагузский так же любил Францию,  
Как Монтолон, Бертран, Монморанси,  
Несмотря на все сопротивление держав  
Наполеон и сейчас был бы здесь — *фр.*

\*\* Ах, сударь, только во Франции найдешь столь милосердных людей! — Не говорите так, сын мой, повсюду есть хорошие люди — *фр.*

\*\*\* Кофе с молоком — *фр.*

лежало маршировать 10 лье, то есть 40 верст<sup>709</sup>, без копейки в кармане. Сначала все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная. Ландшафт беспрестанно изменялся по берегам извилистой Мозели<sup>710</sup>; мелькали деревушки, дачи. Вот белый домик с зелеными ставнями: он как-то скромно приютился в тополевой рощице; из окон несутся звуки фортепьяно. Воображение рисует милую женщину, счастливую семью и напоминает мне малороссийскую песню:

У сосида хата била,  
У сосида жинка мила,  
А у мене ни хатинки,  
А ни счастья, а ни жинки!

Я сказал, что сначала все шло как по маслу, т[о] е[сть] пока солнце стояло на высоте небосклона; но под вечер все как-то опошлилось и опрозаилось: я начал чувствовать усталость и голод. Недалеко от большой дороги стоял прекрасный господский дом (château)\*. Барин с барынею гуляли на самой закраине дороги. «Ну что же? — думал я, — дай подойду, поклонюсь, скажу...» Нет! Невозможно! Есть нравственные невозможности! Несмотря на голод и усталость у меня не стало духу просить милостыню.

Солнце садилось, когда я увидел пред собою серые башни *Понта-Муссона*<sup>711</sup> с их долгими черными шпицами. Ночь настает, а до Меца еще далеко! Нечего было и думать искать ночлега в городе. «Там, где-нибудь за городом, в какой-нибудь деревушке, в какой-нибудь лачужке, может быть, найду приют». В сумерки я подошел к мызе какого-то зажиточного фермера. Тут стояли огромные стога сена. Я присел на скамеечке у ворот. «Авось здесь удастся отдохнуть». Но тут вдруг залаяла огромная собака, и сам хозяин явился вслед за возом соломы. Наружность его мне не понравилась. «Нет! Пойдем дальше! Попробуем! Авось что-нибудь подвернется!» Стало совершенно темно. Вот деревушка плетется длинною улицею под гору. Везде мрак и тишина, только на другом конце в самом последнем домике по левую сторону теплился огонек. Поравнявшись с этим домиком, я остановился: «Ну, что ж тут делать? Если я пойду дальше, то мне придется ночевать на поле». Я тихонько постучался у двери. Женщина отперла: «Что вам угодно?»

— Позвольте мне, мадам, присесть немножко отдохнуть.

— Извольте, садитесь.

— Дайте мне, пожалуйста, стакан воды, я ужасно как устал.

— Ах, Боже мой! Да как же это стакан воды! Ведь для молодого человека надо бы чего-нибудь покрепче!

— Что ж делать, ma bonne femme\*\*, у меня нет ни копейки денег.

Она принесла стакан воды и поставила передо мною. Молчание. Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал: “Je suis un pauvre réfugié polonais”\*\*\*.

— Ах ты! господи, Боже мой! Какой же у вас король-то такой суровый, что он вас этак по миру пускает.

— Hélas!\*\*\*\*

\* Замок — *фр.*

\*\* Добрая женщина — *фр.*

\*\*\* Я — бедный польский эмигрант — *фр.*

\*\*\*\* Увы! — *фр.*

После нескольких минут молчания. «Однако ж, — сказала она, — ведь уже становится поздно, мне надобно дверь запереть, да и вам же нельзя тут оставаться всю ночь».

Пришла критическая минута, надобно было решаться.

«Послушай-ка, голубушка; подойди, пожалуйста, да посмотри на мои панталоны: они совершенно новые, клетчатые; может быть, они пригодятся твоему мужу; а ты мне, знаешь, дашь какие-нибудь его старые изношенные — понимаешь?» Хозяйка взяла свечку, подошла, стала на колени передо мною, тщательно осмотрела и ошупала мои панталоны. «Ну, так очень хорошо. Вот я вам за это дам ночлег и ужин!» Торг заключен. Она тотчас же притащила огромнейший сыр, целый хлеб и целую бутылку вина. Чего же тут больше желать? Это просто крезовский, сарданапаловский пир<sup>712</sup>! Ешь — не хочу! Я наелся и напился досыта и без малейшей думы о завтраем лег на мягкую постель и заснул тихим блаженным сном, какого ни Наполеон III, ни граф фон Бисмарк<sup>713</sup> никогда не вкушали. Проснувшись поутру, гляжу — панталоны мои исчезли, а на месте их лежали на стуле какие-то тряпки, но я не мог их хорошенько рассмотреть в полусвете комнаты. Лишь только вышел на улицу, как посмотрел на себя, то так и обомлел от ужаса: ведь эти штаны были просто составлены из разноцветных тряпок — заплатка на заплатке... Что ж тут делать? Как же показаться в люди в этом арлекинском наряде? Тут едва-едва не покинула меня вся моя стоическая философия. Ну что ж? Была не была — *le vin est tiré, il faut le boire*<sup>\*</sup>. Тут я предложу вопрос или задачу для разрешения: где требуется более мужества: идти ли на приступ к неприятельской крепости или пройтись по большой дороге в черном изношенном фраке с панталонами из разноцветных заплаток? Вооружась этим второго разряда мужеством и скрепя сердце я поплелся по дороге в Мец и через два часа был уже у городских ворот. Мец, как известно, важная крепость. Тут была гауптвахта; стоял офицер с несколькими солдатами под ружьем. Они ни слова мне не сказали, а только смотрели на меня очень пристально. К вечной чести французского воина я должен записать здесь выражение их глаз. Что же такое выражалось в глазах офицера и солдат? Благороднейшая чистейшая христианская любовь, нежнейшее сострадание — нет, скажу больше: *благоговение* пред несчастьем. Этих взглядов я никогда не забуду. Я тотчас же отыскал пансион аббата *Бюро* и сказал привратнику, что я-де тот *réfugié russe*<sup>\*\*</sup>, о котором ему писали из Нанси. Аббат выбежал мне навстречу: «Ах! Боже мой! Да зачем же это вы себя назвали *réfugié*, ведь это здесь вовсе не рекомендация. Садитесь, садитесь! Вы греческого исповедования? Ну да это все одно и то же с нами! Это просто политическое разделение церквей. Вы можете преподавать греческий и латинский языки? Очень хорошо. Теперь только старайтесь приютиться где-нибудь, да принарядитесь немножко (указывая на мою бороду и намекая на панталоны). Вот вам маленькое пособие (15 франков) и приходите ко мне ровно через неделю. А между тем никому ни слова о том, что вы были у меня».

Первым делом было купить более приличные панталоны. Выхожу из лавки, гляжу: вот вывеска — на доске мелом написано: *Logement et nourriture — six sous par jour*<sup>\*\*\*</sup> (Это было для рабочих.) Вот этого мне и надо! Теперь мой идеал осуществил-

\* Вино поставлено, нужно его выпить — *фр.*

\*\* Русский эмигрант — *фр.*

\*\*\* Полный пансион — шесть су в день — *фр.*



ся. Доселе я был теоретическим республиканцем, à priori\* разглагольствовавшим о нуждах рабочего класса; теперь я буду жить между работниками их собственной жизнью! Лишь только я вошел в комнату, хозяйка с удивительным женским тактом взяла меня за руку и посадила на почетном месте у камина, сказав прочим гостям: “Faites place! Je vois, que c’est un enfant bonne maison!”\*\*

Нет ничего любезнее французского ремесленника: удивительная гибкость языка, отличные манеры, утонченная вежливость. Мне пришлось спать в одной постели с каменщиком, а насупротив нас спал прекрасный мальчик, не помню какого ремесла. Вот мы трое почти всю ночь протолковали об устройстве будущей республики, о распределении работ, причем мальчик заметил: “Nous travaillerons chacun a notre métier et vous, Monsieur, vous nous instruirez et nous aiderez de vos bons conseils”\*\*\*. (Это комплимент мне как грамотею, homme de lettres). Но все это была риторика, милая болтовня, а практического смысла, какой, например, у англичан, у них ни капли не было. Тут также можно было видеть различие народностей. Между ними был рабочий немец, очень красивый парень; но он все как-то глядел исподлобья и вовсе не мешался в наши разговоры. Он чрезвычайно занят был своим «я» (Das Ich). Обыкновенно он сидел в уголку и, держа зеркальце в одной руке, другою беспрестанно поправлял свои темно-русые кудри.

Наконец, у меня спросили паспорт, и мне пришлось идти в полицейское бюро. Сколько я ни умолял их, они никак не хотели позволить мне остаться в Меце. «Вот ваш маршрут, feuille de route\*\*\*\*, ведь вам предписано идти через Лонгви<sup>714</sup> в Бельгию, ну так и ступайте! А то, пожалуй, если вы останетесь здесь, то вы будете просить вспоможения у правительства». Я давал им честное слово, что ни в каком случае ни копейки от правительства требовать не буду. «Ну да уж это мы знаем! Извольте-ка отправляться. А если вы заупрямитесь, так мы, пожалуй, вас и с жандармами проводим за границу!»

«Точь-в-точь как у нас на святой Руси!» — подумал я и снова отправился в путь. Звезда вела меня в Бельгию.

## № 91. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
25 мая 1870

Почти на одной неделе я получил от тебя два письма: первое по приезде моем из Петербурга, оно пришло без меня; второе — описание твоего бегства из Цюриха, памятного мне по тогдашнему твоему письму<sup>715</sup>. По крайней мере, раз 10 я его перечитываю и каждый раз с новым наслаждением. Тому, кто так умел развить в себе беззлобивость и ту художественную сторону души, которая во всем умеет найти доброе и прекрасное, пожалуй, тому не нужно никакого внешнего богослужения. Что за чудная душа у тебя в описании твоих походов, потом, сколько свежести в самом тебе. Если бы я способен был питать в себе чувство зависти, невольно позавидовал

\* «Из предыдущего» — лат., т. е. на основании ранее известного; здесь в значении «заранее».

\*\* Уступите место! Я вижу, что он из хорошей семьи! — фр.

\*\*\* Мы будем заниматься каждый своим делом, а вы, сударь, будете нас учить и помогать своими добрыми советами — фр.

\*\*\*\* Дорожное свидетельство — фр.

бы тебе. Сделай милость, присылай мне почаще отрывки из твоей бродяжнической жизни. Для чего ты не начал с самого отъезда из Петербурга? Я не знаю, как ты попал в Цюрих, зачем и почему? Сознательно ли, по задуманному плану ты отправился в Швейцарию или просто как-нибудь случайно? Сколько я могу припомнить, в твоей жизни задуманный план никогда не играл значительной роли. В твоём письме теперь ты остановился на самом занимательном месте, именно на переходе в Бельгию. Я имел отсюда от тебя письмо до самого вступления твоего в монашество<sup>716</sup>. Если бы ты не поленился, я просил бы тебя не жалеть твоей памяти и заставлять себя вспоминать все подробности и пути и твоей бельгийской жизни. Не могу передать тебе, какое наслаждение следить за тобою шаг за шагом и следить, руководимым тобою и твоею чудною душою. Помнишь, как я явился к тебе в монастырь, как разругал тебя<sup>717</sup> — бранил, а всегда любил сильно. Пожалуйста, пиши; это будет приятно и тебе, а мне истинно усладительно. Но я никак не оставлю твоей жизни под спудом и только что немного поосвобожусь от своих цифирей, как передам твое имя и твою жизнь нашему юному поколению. Ты сам не знаешь, как оно высоко поучительно. Все, в чем есть так много прекрасного, непременно превосходно действует на душу. С нетерпением буду ждать твоего дальнейшего странствования из Меца в Бельгию, потом твоей жизни в Бельгии с Фурье, с которым я познакомился во имя твое, и еще с какими-то двумя братьями, из которых один был математик.

Я послал бы тебе собрание сочинений Тургенева и «Войну и мир» Толстого, но отсюда пересылать очень трудно — книгопродавцы не берутся. Прошедший раз я послал с двумя девицами, отправившимися в Дрезден; они переслали тебе книги из Дрездена. Твой отрывок из петербургской жизни (о Розенкампе) будет напечатан в «Русском Архиве», и редактор его Бартнев обещал мне переслать к тебе «Русский Архив» за весь год. Не понимаю я, как сохранила твоя память так много русских стихов и пословиц. И то сказать, ты жил больше внутри себя, внешняя жизнь не тормозила тебя так, как она тормозила нашего брата цифирью, расчетами, ничтожными соображеньями и всем тем, без чего нейдет ни одно практическое дело, и между тем, что не дает ничего внутрь. В конце концов, все из себя растратишь, ничего в себе не сыщешь. А «не найдешь в себе, не ищи на селе», как сказала мне одна русская баба.

Прощай до следующего письма; так утомлен глупыми докладными записками и расчетами о предполагаемой мною железной дороге до Вологды, что глаза слипаются.

Твой Чижев.

Прости, что скверно пишу, что-то нездоровится. Холера была в Москве только в газетах, а самой ее никто у нас не видывал.

## № 92. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

28 мая н[ового] ст[иля] 1870

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Не знаю, как и благодарить за ваши два письма, полученные почти одно вслед за другим, за поздравление меня со светлым праздником и за драгоценный подарок, драгоценный и потому, что он представляет верное изображение вашего любезного семейства, а также и по артистической отделке, какой я вовсе не ожидал от Каменец-

Подольска. Теперь ваш фотограф в рамке за стеклом составляет главное украшение моей комнаты и каждый день напоминает мне об вас.

Здесь все обстоит благополучно, и нового ничего нет. Впрочем, политические известия вы знаете из газет, а я вам сообщу нечто литературное. Бывший первый министр *Дизраэли* выдал в свет новый политический роман «*Лотэр*», отличающийся тою же живостью воображения, теми же блестящими ума, как и первые произведения его юности. Заметьте, что ему 65 лет, и согласитесь, что одна английская аристократия может произвести подобных людей.

Известный русофил переводчик Крылова г[осподин] Ралстон отправился в Россию для собирания материалов к новому сочинению о русских народных сказках и преданиях. Он недавно поучал и забавлял лондонскую публику рассказами о Соловье-разбойнике, Илье Муромце и других витязях муромских лесов. Он отлично перевел некоторые из повестей Тургенева.

Г[осподин] *Диксон* выдал книгу “Free Russia” («Вольная Россия»). Он начинает описание России *Соловецким монастырем* и оканчивает *Астраханью*. Вот, кажется, полный обзор России. Эта книга обличает честное намерение короче познакомиться с Россией и отдать справедливость ее народному духу и стремлениям.

Так как я подрядился поставлять вам периодически главы из романа моей жизни, то вот еще отрывок. Я копию с него отправляю к Ф. В. Чижову со следующим эпиграфом:

«В страницах этого рассказа,  
Любезный друг, увидишь ты  
Соединенные черты  
И Дон Кихота, и Жиль Блаза!»

Поклонитесь от меня вашей любезной супруге и обнимите ваших детей за меня.  
Ваш В. Печерин<sup>718</sup>.

Здесь начинается самая романтическая часть рассказа, и потому прошу любезного читателя иметь терпение до следующего №.

### № 93. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
Июнь – июль 1870

Лугано и как я туда попал.

«Mais de grâce quittez au plus vite Lugano, qui est l'endroit le plus mal choisi de tous ceux que vous auriez pu choisir et qui peut donner au séjour, que vous y faites de pénible interprétations. Je me plais à croire que c'est le hasard qui vous a porté à Lugano et non un but politique; mais tout le monde n'est pas appelé à juger aussi favorablement vos intentions» \*. Письмо графа Строганова от 16-го января 1837<sup>719</sup>.

\* Я умоляю Вас как можно скорее покинуть Лугано, который является самым неудачно избранным из всех тех мест, которые Вы могли бы избрать и пребывание в котором может быть весьма нежелательно истолковано. Мне хотелось бы надеяться, что в Лугано Вас привел случай, а не какая-либо политическая цель; но не все будут судить столь благоприятно о Ваших намерениях — *фр.*

Граф очень хорошо понимал, что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано. Какая же цель?

Для этого надобно возвратиться назад к концу 1833 года. До тех пор у меня не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом со временем попасть в будущую палату депутатов конституционной России — далее мысли мои не шли. В конце 1833 вышла в свет брошюрка Ламенне «Paroles d'un stoüant»\*, наделавшая тогда много шума. Это было просто произведение сумасшедшего; но для меня она была откровением нового евангелия. «Вот, — думал я, — вот она — та новая вера, которой суждено обновить нашу дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища новых Иродов и Пилатов<sup>720</sup>, это те же святые мученики и апостолы первобытной церкви. Присоединиться к их доблестному сонму, разделять их труды и опасности и пожертвовать жизнью святому делу — вот благородная возвышенная цель!» Политика стала религиею и вот ее формула: «Аллах у Аллах! у Мохаммед росул Аллах!»<sup>721</sup> Понимаешь? это значит: Республика есть Республика! и Маццини<sup>722</sup> ее пророк!

Первое мое путешествие в Швейцарию и Италию (1833)<sup>723</sup> было чисто русское, т[о] е[сть] без всякой разумной цели, так просто посмотреть и погулять... На следующий год<sup>724</sup> я путешествовал *один*<sup>725</sup> и уже с определенной целью: сблизиться с республиканцами. Из этого ничего не вышло, но намерение все-таки было. Я возвратился в Россию (1835) как агнец, влекомый на заклание, с ужасною тоскою, с глубоким отчаянием, но вместе с тем с непреклонною решимостью убежать при первом благоприятном случае. Я жил в Москве ужасным скрягою, часто отказывал себе в обеде и питался черным хлебом и оливками для того, чтобы накопить несколько денег.

Ты думаешь, Чижов, что я оставил Россию так просто, очертя голову, без всякого плана: ты ошибаешься. Все было обдуманно и рассчитано до последней петли.

По *трем причинам* мне невозможно было оставаться в России:

1-я. *Религия*. Идти говеть по указу и причащаться св[ятых] тайн без веры и с кощунством, до этого я не мог унизиться; мне это казалось первою подлостью и началом всех прочих подлостей. На первый год оно бы сошло с рук, но впоследствии было бы замечено, и я принужден был бы подчиниться этому обряду.

2-я. *Профессорство*. Профессорство в России невозможно, да я, правду сказать, никакого к нему призвания не имел. Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь, но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвратился из-за границы. Одна московская дама с обыкновенною женскою проницательностью заметила обо мне: “Je a 1e mal du pays”, что тогда значило: «у него тоска по загранице».

3-я. *Литература*. В том же письме<sup>726</sup> граф Строганов пишет: “Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous rendre à la carrière des belles lettres à la quelle vous pouvez être si utile”\*\*\*. Вот в этом-то я сомневался. Я беспрестанно аршином мерил свой талант до последнего вершка. Я очень хорошо понимал, что в *тогдашней* России, где невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить, где даже высшего разряда

\* «Слова верующего» — *фр.*

\*\* Я сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить вам карьеру литератора, в которой вы можете быть столь полезны — *фр.*

умы чахнули и неминуемо гибли под нестерпимым гнетом — в тогдашней России с моею долею способностей я далеко бы не ушел. Я скоро бы *истисался* и сделался бы мелким пошленьким писателем со всеми его низкими слабостями; а на это я никак согласиться не мог. По мне — *aut Caesar, aut nihil*<sup>727</sup>, или пан или пропал!

Но если пойти глубже, то, может быть, найдется другая основная причина, т[о] е[сть] неодолимая страсть к кочевой бродяжнической жизни. Как сын пустыни, я терпеть не мог оседлости. Усесться на профессорской кафедре, завестись хозяйством, жениться, быть коллежским советником и носить Анну на шею<sup>728</sup> — все это казалось мне в высшей степени комическим. Как Ленский в Онегине, я тоже

«Носил бы стеганный халат» и пр[очее] и пр[очее]<sup>729</sup>

Но от этого именно *позора* я бежал за тридевять земель в тридешатое царство. Да и как еще бежал! словно погоня была за мною — некогда было духу перевести. Я в первый раз свободно вздохнул, когда дилижанс высадил меня на площади в Базеле 23 июня 1836. Базель был началом и концом моего странствования по Швейцарии<sup>730</sup>.

«Дарует небо человеку  
Замену слез и частых бед:  
Блажен факир, узревший Мекку  
На старости печальных лет».

Пушкин<sup>731</sup>

Как подобает благочестивому республиканцу, первым делом моим было идти на поклонение святым местам в *Лагранж*. Что такое *Лагранж* или *Гранж*? — Небольшая гостиница или пансион в самой глухой и незанимательной части Швейцарии, куда едва ли кто заезжает. Ну, так что ж тут любопытного? Как что? Какой вопрос! Вот что значит не иметь живой веры! Знайте ж, малoverы, что Лагранж или Гранж это скиток преподобного иже во святых отца нашего Джузеппе Маццини, где он спасался и укрывался несколько месяцев от преследований французской полиции<sup>732</sup>. Об этом Лагранже я читал еще в Москве в гамбургских газетах<sup>733</sup> в швейцарской кондитерской, что близ университета, и как тогда уже душа рвалась к этой святыне! И эту святыню я осмотрел с благоговейным вниманием: сначала все окрестности и потом весь дом от чердака до погреба. В общей зале были развешаны портреты итальянских патриотов и рисунок идеального памятника падшим героям со знаменитым изречением: “Non vincerete in un giorno!”<sup>\*\*\*</sup>. В простоте сердца и с детским любопытством я расспрашивал у хозяина и прислуги обо всем, касающемся Маццини.

На следующий день прихожу на ночлег в другое местечко, развертываю свежую газету и читаю: «Вчера ночевал в Лагранже молодой французский шпион, un émissaire du gouvernement de Louis Philippe<sup>\*\*\*</sup>, и тщательно собирал подробные сведения о пребывании там г[осподина] Маццини. Avis aux républicains!»<sup>\*\*\*\*</sup>

Вот тебе и поделом! Не суйся, куда не просят! Не спросившись броду, не пускайся в воду! Куда конь с копытом, туда и рак с клешнею... Приветствую тебя, возлюбленная

\* «Или Цезарь, или ничто!» — *лат.*

\*\* Ваш путь к победе будет долог! — *ит.*

\*\*\* Эмиссар правительства Луи-Филиппа — *фр.*

\*\*\*\* К сведению республиканцев! — *фр.*

ть Дон Кихота Ламанчского! Мир праху твоему, рыцарь печального образа! С самого детства я любил тебя. Читая твои подвиги в переводе Жуковского<sup>734</sup>, я никогда не смеялся над тобою; нет! я все принимал за чистые деньги и об одном только думал: как бы и мне сделаться странствующим рыцарем и бродить по свету, поправляя все неправды! И вот идеал осуществился, и я пошел по твоим следам! Сколько ветряных мельниц я принял за исполинов! Сколько дульциней я обожал как идеальных принцесс!

Теперь понятно, для чего я поселился в Лугано. Лугано был фокусом революции, сборным местом маццинистов. Кто не знает Лугано с его горным амфитеатром и что его нижние слои покрыты роскошным каштановым лесом, а вершины увенчаны альпийскими снегами? Кто не помнит этого волшебного зеркала озера, замкнутого отвесными скалами и высокою горою Сан-Сальвадоре, где на вершине стоит часовня с могилою польского изгнанника? Природа очаровательная! но люди никуда не годятся: они не то швейцарцы, не то итальянцы<sup>735</sup>. Добрых качеств этих двух народов они не имеют; но *счастливо* соединяют в себе все их пороки: швейцарское пьянство с итальянской ленью, коварством и мстительностью. Одни люди, достойные внимания в Лугано, были — итальянские выходцы из северной Италии, люди хороших фамилий и отличного воспитания. Они составляли *élite* тамошнего общества. Я особенно сблизился с молодым человеком задумчивой и грустной наружности. Мы часто вместе гуляли по берегу озера, беседуя о политике и литературе, а иногда и о *сумрачной* России,

«Где я страдал, где я любил,  
Где счастье я похоронил».

Он рассказывал мне, как часто мать его умоляла не мешаться в политические дела: «Guarda ti figlio! Ti ammazzeranno!»\*. Если не ошибаюсь, это тот самый Грилленцони, что впоследствии сидел в парламенте недолговечной римской республики<sup>736</sup>. Он сослужил мне службу в черный день.

В этих маленьких швейцарских республиках с государственными людьми всякий запанибрата. Их встречаешь каждый день в трактире или в кофейне. В *Беллинцоне*<sup>737</sup> я обедал за общим столом с целым Государственным Советом. Они, казалось, не слишком блистали умом, а были просто добродушные мещане. Таково, по крайней мере, было мнение моего попутчика известного итальянца Руджиери, хорошо их знавшего. В Лугано я каждый день обедал в трактире с президентом Республики полковником *Лувини*. Заметив в глазах моих тоску одиночества, он очень ласково пригласил меня в их *казино* или клуб, где, впрочем, ничего особенного не было, кроме бильярда, газет и нескольких карбонариев. Этот Лувини был большой музыкант, и когда приехала оперная труппа в ноябре, то он каждый вечер *председательствовал* в оркестре за контрабасом. Это ему припомнили в 1846 году, когда у него душа ушла в пятки, т[о] е[сть] когда он с своим отрядом пустился в бегство с вершины Сен-Готарда<sup>738</sup>. «А! Синьор Лувини! — кричали ему люди Зондербунда<sup>739</sup>, — это не то, что играть на контрабасе: questa é la gran musica del canone!»\*\*.

Когда мой кошелек истощился, я принужден был заложить мои часы; я открыл свое положение г[осподину] Грилленцони, и он тотчас же собрал для меня подписку между своими товарищами, и меня отправили в Цюрих, где была возможность давать уроки.

\* Берегись, сын! Тебя убьют! — *ит.*

\*\* Это — великая музыка пушек! — *ит.*

№ 94. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Каменец-Подольск  
6 июля 1870

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас с днем Вашего ангела и от души желаю Вам полного здоровья и всякого благополучия.

Дай Бог, чтобы западные государства, наконец, беспристрастно отнеслись к России. Это возможно только посредством личного знакомства с Россиею, а такое знакомство теперь до крайности облегчено 12000 верст железных дорог, уже оконченных в России. Пробегая заграничные газеты, постоянно приходится наталкиваться не только на намеки, но даже на положительные обвинения в каких-то на что-то замыслах, тогда как мы на месте ничего об этом не помышляем. С каким бы удивлением беспристрастный иностранец, находясь бы ныне в России, услышал бы общие толки о проектах преобразования администрации и полиции, о духовном суде, об уголовном и гражданском кодексах и ни одного слова в пользу Марса<sup>740</sup>. Нас не потрясает наследство испанского трона<sup>741</sup>, мы говорим об этой беде без волнения, не прилагая к словам и событию своего сердца, но прения германского Сейма о новом уголовном уложении<sup>742</sup>, но заявление Оливье<sup>743</sup> о несовершенстве совершеннейших до сих пор законов французских нашли у нас живой отголосок. Нам чужды события Италии<sup>744</sup>, но мы не могли не остановиться над беспристрастием итальянцев, присудивших первую премию русскому художнику. Правда, и у нас, как у каждого народа, есть свой семейный спор<sup>745</sup>, но если опередившая нас Англия, владея подарком Папы Адриана IV с XII столетия<sup>746</sup>, признает справедливыми слова Маколея, что Ирландия, обремененная проклятием господства одного племени над другим, одного верования над другим, конечно, осталась членом государства, но членом надломленным и безжизненным, членом, который не дает политическому телу никакой силы и на который с упреком указывает каждый, кто боится величия Англии или ему завидует, то почему же нам не признать этого справедливым и в нашем споре. Мне случилось как-то прочесть книжонку Шлейдена, кажется, «Этюды»<sup>747</sup>. Шлейден доказывает историческими данными по царствам растительному и животному, что все только то имеет силу и жизненность, что движется с востока на запад. Никакие движения с Запада на Восток не имеют и не могут иметь ничего прочного. У него много примеров и сравнений. Жизненность средневековых движений и ничтожность крестовых походов. Жизненность переселения англичан в Америку и неудача болгарского переселения<sup>748</sup>. Доказательства его так убедительны, что я все его тезисы, может быть, парадоксы, принял на веру и на события смотрю его глазами. Вот поднимается уже колосс Прусский, и не восток, а запад это чувствует. Поэтому я не верю, чтобы Ирландия или Польша сделали что-нибудь против своего востока; поэтому Запад так и мятется против России; вероятно, там много последователей Шлейдена.

Мне никак не удастся этим летом поехать в Петербург, но я не теряю надежды, что к зиме совершенно оставлю Каменец, и как я думаю переселиться севернее, то надеюсь в то время повидаться с Федором Василь[евичем] Чижовым, с такою славою устроившего Ярославскую железную дорогу и пользующегося беспредельным почетом в московском обществе.

Целую Вас, ожидаю продолжения писем и поручаю себя и семью свою Вашему благословиению. Душевно преданный Вам племянник

С. Поярков.

**№ 95. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

Москва

16 июля 1870

Что это с тобою сделалось, Печерин? Сколько времени, как от тебя ни полслова. Ты забыл, что ты оставил меня в Меце, откуда выпроваживали тебя свободолюбивые французы. Если почему-нибудь тебе наскучило припоминать твою когда-то безупокойную жизнь, то напиши что-нибудь. Правду сказать, я с величайшим наслаждением следил за тобою по твоему письму шаг за шагом: живо припомнил то время, когда из Швейцарии получил твое отчаянное письмо<sup>749</sup>; припомнил и то, как я вооружался тогда против тебя за то, что ты бросил Россию<sup>750</sup>. Твоей хозяйке были уплачены деньги, и твой отец прислал их нам с благодарностью<sup>751</sup>. Много воды утекло; много изменилось в нас и вне нас, и теперь каждая твоя строка дорога для меня чисто эгоистически. На старости переживаешь молодые годы; ты же и не стараешься. Хотел бы слышать от тебя твое собственное словцо и о новом догмате латинства<sup>752</sup>, несмотря на то что все догматы бывшие и настоящие ты сложил уже давно в архив. История так легко с ними не расстается, и как они часто ни бессмысленны, а расставание с ними обходится очень дорого.

Что ты скажешь о новом фактическом догмате — преобладании Франции или Пруссии<sup>753</sup>? Очень хотелось бы и об этом услышать твое свободное слово. Этот догмат тоже будет стоить десятков тысяч двуногих животных и отнимет немало благосостояния у бедняков. А давно ли еще провозглашали скорое существование вечно мира? В письме твоем я жду от тебя на все это твоего слова, хотя, правду сказать, жду письма никак не по занимательности вопросов, а просто-запросто потому, что заботит меня твое безмолвие. Не знаю, как ты, а я что-то понемножку дряхлею и думаю уже тоже понемножку слагать с себя суетливые общественные заботы и подвигаться поближе к природе. Хочу посильнее заняться моим шелководством, да если удастся, образовать маленький сельский банк. Около меня более 70 тысяч соседей крестьян — сельский банк поможет их нуждам и будет для многих школою счетоводства. Авось удастся завести и школу шелководства; все это мечтается, все это вертится в голове. Но прежде всего этого хотелось бы побывать у тебя; может быть и ты помог бы осуществлению моих мечтаний. У вас много общественной деятельности и общественных деятелей, — ты дал бы мне возможность ознакомиться с тем, как они приводят в исполнение свои благие предназначения.

Видишь ли ты, мой милый Печерин, как мне необходима непрерывность сношений с тобою. Мне как-то думается, что все благословленное твоею превосходною душою непременно хорошо, непременно на благо людям; хотя, прости, думаю также, что все тобою делаемое очень эгоистично. Пиши же, пожалуйста, не ленясь. Обнимаю тебя.

Твой Чижов.

Адрес все тот же: в Правление Московско-Ярославской железной дороги в Москве.

Твой маленький эпизод из петербургской жизни напечатан в «Русском Архиве»<sup>754</sup>, и редактор его П. И. Бартенев дал мне слово, что он перешлет к тебе свой журнал, а также «Войну и мир» гр[афа] Толстого. Я в начале лета, даже еще в конце весны уехал в Петербург, Бартенев тоже куда-то уехал, таким образом, я и не имею никакого сведения — исполнил ли он свое обещание. Смотри же, пиши и больше и чаще.



№ 96. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

7 августа 1870

Извини меня, любезный Чижов. Я медлил писать к тебе, выжидая, чем кончится франко — прусский вопрос; но теперь уже нечего ждать: заварилась каша и, вероятно, мое письмо пройдет через неприятельские линии и окурится порохом. Об этом споре я ничего сказать не могу, потому что я — нейтральная держава. Но если хочешь знать мою философию истории, то вот тебе образчик: «Германо-славянским племенам суждено в будущем владычество мира, а так называемые латинские народы обречены на неминуемую гибель». Вот это коротко и ясно и быть по сему! Касательно нового догмата я скажу, что это просто *плагиаг*. Этот догмат уже несколько веков существует в Тибете, где тамошний Папа Далай Лама представляет в лице своем воплощенное божество<sup>755</sup>. Не знаю, называют ли его Вице-Богом, как недавно назвали Папу некоторые ультрамонтаны<sup>756</sup>, но плоды нового догмата уже начинают показываться. 1. Есть очевидный раскол в церкви: 200 епископов важнейших епархий католического мира протестовали против нового догмата и против самого собора, которого они не признают *вселенским*<sup>757</sup>. 2. Австрия отпадает от Св[ятого] Престола и теперь уже не знаю, к кому прибегнет под покров Св[ятой] Отец; разве ему придется ухватиться за фалды прусского мундира или сделаться нахлебником Англии в Мальте. 3. Французское войско выведено из Рима, и Гарибальди со своими дружинами показывается на горизонте<sup>758</sup>. Это, кажется, как говорят французы, начало конца *le commencement de la fin*\*. Один весьма значительный американский священник из Нью-Йорка, возвратившись из Рима, сказал мне: «А ей-Богу, Гарибальди там очень нужен!». Он же не в шутку сделал предложение (в газетах) послать Папу с кардиналами на несколько лет в Соединенные Штаты для того, чтобы пополнить недостаток их воспитания и познакомить их с идеями современного мира. Не правда ли хорошо?

Я ничего еще не получил от г[осподина] Бартенева. Я очень обязан ему за помещение статьи. Вся моя надежда на бессмертие основана на «Русском Архиве»<sup>759</sup>. Я теперь уверен, что со временем попаду, по крайней мере, в его нехронологический список, и имя мое не совсем погибнет на земле русской. Ты не можешь вообразить, как иногда становится грустно — писать по-русски и никогда не слышать ни единого звука живой русской речи.

Благо есть место, я помещу здесь еще отрывок из Цюриха. В мае 1837 готовилось гулянье по озеру из Цюриха в Раппершвилль<sup>760</sup>. Пароход, изукрашенный разноцветными флагами, стоял в пристани и ожидал гостей. Тут толпились туристы разных наций и итальянские выходцы. Дам немного было. Какой-то рыжий француз играл роль глубокого последователя системы Галля<sup>761</sup> и щупал все черепа, особенно итальянские. Вдруг всходит на пароход долговязый смуглый мужчина с ужасно багровым носом — очень замечательная физиономия! «Скажите, пожалуйста, — сказал я графу Угони, — что это за личность? Ведь вы здесь всех знаете!» — «Помилуйте! как же его не знать? Это министр финансов здешнего кантона. Он вечно пьян. О нем рассказывают презабавные штуки. Однажды он пропил почти всю государственную

\* Начало конца — *фр.*

казну. Оказался ужасный дефицит. Не знали, как и сладить с бюджетом на следующий год».

Мне кажется, это очень поучительный анекдот для государственных людей, ежели ты с ними знаком.

Но довольно болтать.

Твой В. Печерин.

### № 97. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

17 авг[уста] 1870

Письмо твое, мой милый Печерин, я получил — где ты думаешь? В Киеве, куда я ездил на мои шелковичные плантации, которые я приобрел в собственность. Не думай, что это что-нибудь большое — всего на все 42 десятины. Но они мне приятны как потому, что напоминают мое ссылочное уединение; так и потому, что тут мне удалось водворить новую для края промышленность — шелководство. По 60 подвод приезжали ко мне из окрестных селений за листом шелковицы *morus alba*\*. Это утешительно. Потом я пред оставлением моих плантаций и пред тем, что получил позволение издавать журнал «Вестник Промышленности»<sup>762</sup>, завел школу белых акаций — это было в 1857 году; теперь кругом моего домишка множество огромных деревьев — белых акаций, и у соседей крестьян их очень много. Это тоже приятно. Еще я посадил перед домом 10 кустов винограду; он разросся превосходно, я тоже велел теперь развести школу и раздавать крестьянам, а может быть, даже и разведу виноградник. Все это меня очень тешит. Я не люблю большого хозяйства и рад, что не имею средств завести его; но такое, которое мне по моим собственным силам, меня очень занимает. Теперь я забочусь развести еще цветов тоже с тем, чтоб их насаживать у крестьян. Наконец, меня там сильно занимает разведение хмелю; опять-таки я его разведу у окрестных крестьян. Это весьма выгодная отрасль промышленности. Видишь, ты изучаешь ботанику, я занимаюсь приложением моих небольших знаний к быту поселян. Кругом меня все казенные крестьяне, т[о] е[сть] бывшие казенными, теперь крестьяне-собственники. Я проездил всего недели 3, и мне еще удалось в Полтавской губернии в одном большом селе написать устав сельского банка. Правду сказать, это гораздо труднее, нежели написать десять уставов городских банков — в этих заботишься только о деле, о самом Банке, там надобно, чтоб новое учреждение непременно было применимо к местным требованиям. Утром обыкновенно я писал, потом читал моему приятелю Галагану<sup>763</sup>, бывшему помещику, весьма любимому крестьянами, теперь собственниками; вечером собиралось заседание из нас двух и 5 человек из крестьян. Мы им читали и толковали, они делали весьма дельные вопросы и весьма толковые возражения. Для меня это была превосходная лекция; в конце концов, не я их учил, а они учили меня или, если хочешь, мы взаимно учили друг друга.

Между старыми бумагами на плантации я нашел твои письма 1835, 36 и 40 годов<sup>764</sup>. Нашел твои стихи, из которых некоторые полны истинного и искреннего чувства<sup>765</sup>. Вот тут мы с тобою решительно расходимся: для тебя все прошедшее — старая, гнилая архивная бумага; ты цинически подсмеиваеш[ся] над своими стары-

\* Тутовое дерево (шелковица) белое, один из видов шелковичного дерева — *лат.*

ми увлечениями. Я не могу смеяться над моими увлечениями, даже самыми эфемерными. В них часть моей жизни, всегда искренней, всегда задушевной. К тому же я люблю вообще человеческие глупости далеко больше человеческих умностей: глупости только и красят жизнь, они — колорит ее, и часто колорит не хуже Тициановского и Паломы Vecchio<sup>766</sup>, умности — рисунок, большею частью холодный, рассчитанный и большею частью неудачный. Ты сам ушел от пошлых умностей и три четверти (я неверно считаю, желал польстить твое благоразумие) твоей жизни отдал глупостям. Не будь этого, будь мы оба люди умные, вероятно, не продолжалась бы наша приязнь более 40 лет, а я должен признаться, что, будучи сам глупым, сильно люблю в тебе именно глупого Печерина.

В одном из твоих прежних писем я встретил имя Редкина; он, брат, теперь только что не товарищ министра уделов с двумя, вряд ли не тремя звездами. Но при этом он не перестает быть профессором философии или энциклопедии права. В первый раз как буду в Питере непременно заеду к нему во имя твое.

Ты, брат, порешил коротко настоящую войну и подписал приговор замены романских племен племенами германско-славянскими. Нельзя ли избавить нас славян от приписки слова *германско*? Ты забыл, что германские племена и начала (*principes*\*) германства жили пьяною жизнью; что Кант даже, не говоря уже о Шеллинге и Гегеле<sup>767</sup>, были истыми представителями германства; что Моцарт, Беховен, Гайдден, Глюк<sup>768</sup> и *tutti quanti*\*\* были Фидиями, Праксителями, Рафаэлями, Тицианами, Микело-Анджелами<sup>769</sup> искусства, принадлежащего исключительно, не только что преимущественно, германскому племени. Дай же пожить и нам своей собственной жизнью славянской. Дай нам внести в человечество и записать в истории человечества ту простоту и гармонию истинной полноты человеческой жизни, какой мы по сие время не видали в истории. По моему мнению, история христианского, послепластического человечества, история развития внутреннего человека насчитывает три периода: человека средневекового — *sentio ergo sum*; новоисторического, высказавшего собственным языком содержание своего исторического времени — *cogito ergo sum*; и человека последних времен *facio ergo sum*\*\*\*. Каждая исключительность — *sentio, cogito, facio*\*\*\*\* — выработалась всею полнотою жизни; наступает пора внести в историю целость человеческой природы, сгармонизовывающую все исключительности, именно следует явиться историческому человеку в формуле *sum ergo sum*\*\*\*\*\*.

Вот тебе в формуле почти математической очерк всей истории внутреннего человека. Для большего изучения человека пластического я попросил бы тебя назвать мне сочинения, относящиеся к истории древних до греческих народов. Для Греции я читаю “History of Greece” by Grote<sup>770</sup>. Если ты мне назовешь и для этого

\* Начала, принципы — *фр.*

\*\* И прочие — *ит.*

\*\*\* *Sentio ergo sum* (*лат.*) — я чувствую, следовательно, существую.

*Cogito ergo sum* (*лат.*) — я мыслю, следовательно, существую.

*Facio ergo sum* (*лат.*) — я создаю, следовательно, существую.

“*Sentio ergo sum*” и “*Facio ergo sum*” — формулы, выведенные Ф. В. Чижевским по аналогии с “*Cogito ergo sum*” Рене Декарта, «Начала философии», I, 7,9.

\*\*\*\* *Sentio* (*лат.*) — чувствовать, ощущать.

*Cogito* (*лат.*) — думать, мыслить.

*Facio* (*лат.*) — делать, создавать.

\*\*\*\*\* Я есть, следовательно, существую — *лат.* Формула Ф. В. Чижова.

и для истории Рима что лучшее, полнейшее или дополняющее, я тебя обниму издали. Только называй на английском или французском, а никак не на немецком, на этом я очень плохо читаю, а в 60 лет как-то неприятно превозмогать внешний труд умственного перевода, и то перевода с частым обращением к лексикону. Прошу тебя очень и очень озаботиться честным и подробным решением моей просьбы.

Ты написал 5 слов и решил войну, а мы здесь думаем иначе. Мы, т[о] е[сть] собственно русские, сильно сочувствуем французам как потому, что люди вообще много им обязаны еще по счетам 89 года<sup>771</sup>, так и потому, что несмотря на их настоящую мерзость, выразившуюся в подчинении себя подлому фокуснику Наполеону III, все-таки они люди, а не солдаты. С прусским солдатством как-то нет возможности ужиться, как-то тесно, неприятно, казарменно. А русский человек любит простор, как его ни гнули и татары, и Византия, и немцы, особенно эти последние, все-таки не исказили вполне его простой природы.

Папу я отдаю тебе с головою, с ногами и с туфлями, которые когда-то ты целовал как святыню. Понятно, что он тебе насовал; ты во что бы то ни стало хочешь записаться в умники, тогда как именно ты обессмертишь себя твоими милыми, чистыми, всегда благородными глупостями. Жалуй его в Далай-Ламу, в кого хочешь, у меня ты не отнимешь его не как чучелу латинства, а как друга Микело-Анджела, как покровителя Рафаэля, как надувателя Бенвенуто Челлини<sup>772</sup>. Папа дал мне наслаждение пред фресками Ватикана<sup>773</sup>, дал мне другое наслаждение в Сикстинской капелле<sup>774</sup>, пред храмом в Орвието<sup>775</sup>, пред живописными молитвами Фра беато Анджелико де Фиезоле<sup>776</sup>, пред восторженным песнопением Перуджино в Перуджии и еще сильнее в Citta di Castello<sup>777</sup>. Папе я обязан и Кельнским собором<sup>778</sup>, и Страсбургскою колокольнею<sup>779</sup>, и всем, что наполнило жизнь мою высокими восторгами, что делало мое ссылочное уединение полным невыразимого наслаждения. Папа являлся мне и в Danta<sup>780</sup>, и в Fra Girolamo Savonarola<sup>781</sup>, и в венецианце начала XVII века, писавшем против светской его власти Fra Paolo Sargi<sup>782</sup>; досадно, чуть не забылось его имя в эту минуту, а он писал еще «Историю Ускоков»<sup>783</sup>.

Кстати, заговоривши о Папе, я опять нападу на тебя с прежнею моею просьбою — передать со всею подробностью и со всею искренностью как *ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*\* ты увлекся католицизмом. Только одно — передавая твою странственную жизнь, пожалуйста, передавай ее подробнее, со всеми мелочами. Ты оставил меня с тобою в Меце; согласишься, что быть там теперь весьма неприятно; потому перетащи меня оттуда и дай наслаждение идти за тобою шаг за шагом. Как хочешь, а прожить без гроша, прожить решительно собственными силами — это недюжинная жизнь. За такие подробные твои рассказы я обязуюсь непременно обессмертить тебя в русской литературе. А знаешь ли, что это бессмертие никак не хуже никакого другого? Изобразить изо дня в день жизнь человека без малейшей искусственной обстановки, вынесшего на собственных своих плечах всю тяжесть человеческой жизни, обставленной всеми препятствиями того, что называется образованностью: паспортами, требованием определенного цехового занятия, непременно известного костюма — твои арлекинские штаны — превосходный эпизод из твоей жизни сына человеческого. Ни ремесла, ни жалования, можно сказать ни имени, ни званья, ни прозвища — что значило твое имя в стране совершенно чужой — ты все отбросил и выплыл. Без сил

\* Где, с чьей помощью, для чего, каким образом, когда — *лат.* Риторическая схема вопросов, предназначенная для выяснения обстоятельств какого-либо действия.

и сил очень немалых это сделать было невозможно. Потому именно и занимательна каждая строка твоего повествования, и я тысячу раз прошу тебя передать все твое странствие так подробно, как только может воспроизвести его твоя память.

В нынешнем году я уже никак не могу быть у тебя в Дублине, меня не пустят постройка железной дороги (узкоколейной — это недавняя новость) от Ярославля к Вологде, потом занятия по Банку, но в будущем году сильно хочется съездить за границу, а, поехавши за границу, непременно я побываю у тебя. Кроме бессмертия, я обязуюсь прислать тебе книг русских; прислал бы их и по сие время, но много затруднений, которые, Бог даст, мне удастся превозмочь. Затруднения не в цензуре и не в правительстве, оно в это не вмешивается, а просто-запросто в страшной ненадежности наших книгопродавцев.

Кажется, я не пожалел ни времени, ни бумаги; признаюсь, все это потому, что пишу к тебе из деревни, где мысль не скована ни цифрами, ни расчетами и где не мешают ежеминутными просьбами.

Обнимаю тебя, прошу и умоляю писать ко мне чаще и больше и вести меня за твоею прошедшею жизнью шаг за шагом. Неужели ты после взбалмошного берлинского увлечения женщиною не увлекался другими? Не верю.

Твой Чижов.

## № 98. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
12 сент[ября] 1870

Спасибо тебе, мой милый Печерин, ты стал аккуратен.

Октяб[ря] 3.

Начал я к тебе письмо, меня прервали, и вот почти месяц я не мог его окончить, а ежедневно бывал с тобою. За твою аккуратность я хотел послать тебе следующие стихи одного твоего приятеля<sup>784</sup>:

«Гимназия».

«Вы спросите: зачем об них тоскую?  
О Боже! как я нежно их любил!  
Я всю души моей любовь живую  
В них нераздельно съединил.  
Как юность и наука нас связала!  
Вы были первенцы моей любви.  
За вас душа мир целый отдавала  
И вас покину, милье мои.  
Они мне были мать и братья  
И слово слушали мое;  
Как часто мысль летела к ним в объятья,  
И все в них погружалось бытие!  
Как часто я сквозь слез на них взирая,  
Так думал с умиленною душой:  
Вот племя чистое, надежда золотая  
Моей отчизны дорогой!»

Эта вещь очень, очень давняя, давнее начала твоего странствования. У меня осталась полная тетрадь твоих стихов того времени. Для меня это твоя фотографическая карточка тех лет. Как мне хочется тебя повидать теперь, я жду не дождусь поездки за границу. Вероятно, весной меня пошлют медики или в Карлсбад, или в Виши<sup>785</sup>; куда бы ни послали, я непременно приеду к тебе.

Ну, брат, заварили кашу твои любезные германцы во Франции<sup>786</sup>. Как, что ни говори, а сильно жалко Францию. Правда, что все теперешнее ее положение ею заслужено, об этом нечего и толковать. Народ, могший иметь властителем подлого фокусника, мошенника, плута и вора<sup>787</sup>, не стоит лучшей участи. Но этот же народ в 1789 году первый громогласно произнес протест против угнетения человеческого достоинства. Что бы он ни сделал, а революция французская все-таки останется его вечною заслугою пред всем человечеством.

Видал я твое письмо у Бартенева<sup>788</sup>, этого почтенного крохобора литературного. Теперь он вцепился в тебя и непременно желает вытащить из тебя тебя самого; я очень рад этому — от него, брат, ты не отделаешься ни крестом, ни постом.

Представь себе, что в будущем № «Русского Архива» появится твое давнишнее произведение, это именно твое письмо к графу Сергею Григорьевичу Строганову, писанное еще в 1837 году из Лугано<sup>789</sup>. Бартенев спрашивал меня, разрешу ли я его печатать? Не оскорбится ли печатанием его мое чувство дружбы к тебе? Я решительно разрешил и разрешил бы даже не читая<sup>790</sup>. Я так убежден, что ты, способный на Дон Кихотство, способный не только прежде и теперь и не могущий потерять этой способности, если даже проживешь и до 100 лет, что ты при этом никогда не способен к такому поступку, который мог бы быть не только бесчестным, но даже иметь тень нечестности. Теперь ты не совсем честен тем, что мало доставляешь мне удовольствия читать твои письма — это скверно. Неужели ты считаешься письмами и непременно хочешь, чтобы я отвечал на каждое твое письмо? Это просто глупо. Твои занятия зависят от тебя — сегодня отрежешь часочек от твоего гербаризирования — и время нашлось, а я, хочу не хочу, отправляйся в Правление железной дороги или сиди за цифрами сметы. И потом после тысячи тысяч этих цифр напишется ли хоть что-нибудь? Нет, брат, страшно, наконец, надоели цифры, и если я не могу оставить железной дороги, то все-таки непременно оставлю Банк, т[о] е[сть] Общество Взаимного Кредита. У меня очень порядочная библиотека, тысяч до пяти томов, пора опять за нее, пора уже и бросить цифры. Скажи, пожалуйста, не ведет ли тебя пересылка книг прямо на твое имя к издержкам, а то пересылка чрез Лейпциг здесь очень затруднительна.

Сейчас, получивши мое письмо, изволь писать ко мне и непременно огромное писание; ты, я вижу, ленишься. Обнимаю тебя твой Чижов.

### **№ 99. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

14 сентября н[ового] ст[илия] 1870

История двинулась вперед не на шутку. Вооруженная Германия уже под стенами Парижа, и наша старая приятельница французская республика, побелившись и подрумянившись, снова выступила на сцену с тою же риторикою и с теми же театральными позами, и, вероятно, она кончит тем же, чем кончили ее предшествен-

ницы, т[о] е[сть] единовластием какого-нибудь капрала, теперь спокойно курящего трубку или сигарку на каком-нибудь парижском бастионе. *Кто раньше встал, да палку взял, тот и капрал.* Вот глубокая и вечно истинная философия истории относительно Франции. Но, впрочем, это не наше дело! Свои собаки грызутся — чужие не ходи. Вольному воля, а спасенному рай. А лучше обратимся к самому интересному месту твоего письма — к описанию твоего сельского хозяйства. Все это прелестно и очень патриархально. Твои совещания с крестьянами очень сбиваются на американские нравы и доказывают мне, что у русского мужичка есть большой запас здравого практического смысла и решительная способность к самоуправлению, способность, которой, сказать мимоходом, у французов никогда не было и не будет, потому что у них врожденная страсть к централизации вечно клонит к чиновничеству и капральству.

Для истории Греции, без сомнения, самая лучшая книга — названная тобою “History of Greece” by Grote. Может быть, иногда автор слишком увлекается своим энтузиазмом к афинской республике. Я, знаешь, *взглядами* не занимаюсь, а просто читаю историю в самих источниках. Прочитавши Демосфена и Аристофана<sup>791</sup>, я пришел к тому заключению, что афиняне были премерзкий продажный народишко нечто вроде теперешних французов. Они тоже были гувернерами, поварами, танцевальными учителями и пр[очее] у древних римлян. Но римляне их вовсе не уважали и просто называли их *завиральными греками* Graeculi menduces\*. России суждено идти по следам римлян, а не афинян. Для Римской истории классическое произведение есть «История» Момсена<sup>792</sup>. Она переведена на все европейские языки. Знаешь ли Buckle “History of Civilisation”\*\* etc? Это — глубина глубин. Эти три тома составляют целую энциклопедию изумительной учености. Я ее два раза прочел. Мне очень бы хотелось познакомить тебя с обширною безграничною санскритскою литературою; но для этого трудно указать на одно сочинение. Небольшая книжка Monnier Williams “Indian Epic poetry”\*\*\*<sup>793</sup> может дать тебе некоторое понятие об исполинских творениях индейского ума.

Мои глупости нравятся тебе? Очень хорошо. За этим дело не станет. У меня их порядочный запас. Благо есть запрос, а товар найдется, итак, с Богом.

### Путешествие из Меца в Льеж (по-нашему Литтих).

Итак, я оставил знаменитый Мец — теперь вдвойне прославленный и моим там пребыванием, и теперешнею осадю<sup>794</sup>. Не знаю, сколько у меня денег оставалось от подавания почтенного аббата Бюро. Было, может быть, два франка или больше — не знаю. Помню только, что мне достало поужинать и переночевать в первой деревушке за бельгийскою границею. На следующее утро я пришел в пограничный городок Арлон<sup>795</sup>. Никто мне ни слова не сказал. Я прямо отправился в цирюльню выбриться (pour me rajeunir un peu\*\*\*\*, как говорят французы) и потом перехватил кое-что и спокойно направлялся в путь, как вдруг у самой заставы, как будто из-под земли, выскочили два огромных жандарма с ужасными медвежьими шапками,

\* Неверный грек — лат.

\*\* Г. Т. Бокль, «История цивилизации в Англии» — англ. (см. ком. № 209).

\*\*\* «Индийская эпическая поэзия» (Лондон, 1863) — англ.

\*\*\*\* Чтобы выглядеть моложе — фр.

спросили паспорт, взглянули и тотчас схватили меня под руки и повели по той же улице, где я прошел несколько минут перед тем. Мирные арлонские граждане высунулись из окон, выбежали за двери и, вероятно, спрашивали самих себя: какого это государственного преступника ведут? Жандармы привели меня на гауптвахту и оставили там, а сами отправились донести начальству. Небрежно развалившись, на скамье лежал молодой солдат. Он тотчас завел разговор со мною: «Да за что же это вас посадили сюда? Разве вы беглый солдат, *déserteur*?» — «Я вовсе не солдат и не дезертир и никак не могу понять, за что они меня арестовали». Через несколько минут жандармы возвратились и тем же порядком повели меня к королевскому прокурору. *Monsieur le procureur du roi*\* взял мой паспорт, посмотрел, улыбнулся и сказал: «*Que voulez-vous?*\*\*». Ведь наши жандармы дураки, они ничего не понимают: они вас арестовали за то, что у вас нет визы бельгийского посланника. Тьфу, какой вздор! — Однако ж что же с ними делать? — Для избежания неприятностей я бы вам советовал взять здешний паспорт. Вот я вижу, что за ваш *feuille de route* вы заплатили 2 франка: на этих же условиях мы вам выдадим свежий паспорт». Я молчаливо отклонил его предложение; опять мне стыдно было признаться, что у меня ни копейки за душою. Даже теперь досажаю на себя, что не объявил о своей бедности: я уверен, что мне выдали бы паспорт безденежно и, сверх того, дали бы вспоможение, а может быть и постоянное занятие в этом местечке. Бельгийские франкмасоны очень человеколюбивы. Еще в Нанси мне говорили: «Ах, Боже мой! да зачем же вы не франкмасон? Ведь все поляки франкмасоны! Вы бы скорее могли получить пособие». Мне очень странным казалось это предложение в моих обстоятельствах. Ни за что на свете я не согласился бы из корыстных видов вступить в тайное общество, которого притязания на глубокую древность и таинственные обряды всегда казались мне смешными. В 19-м столетии, где все исследовано, все открыто, все нагло — к чему все эти таинства? и какая в них нужда? Мне кажется, это значит просто, что мы никак не можем отвязаться от средневековых понятий.

Королевский прокурор отпустил меня с миром, а жандармы удалились, поджавши хвост. Но этих жандармов я никак забыть не мог. Даже теперь трепещу при одной мысли об них. Проживши целый год в Льеже, когда мне случалось встречать их на улице, я тотчас смущался, краснел; как будто была какая вина за мною, думал: вот как схватят!

Погода переменилась, пошел проливной дождь. Передо мною расстилалась беспредельная однообразно-плоская равнина — точно в России. У дороги стоял кабачок, содержимый отставным солдатом: он же заведовал и поправками на шоссе. Надобно было опять пуститься на спекуляцию. Я продал ему свой фрак и панталоны, а он мне в замену дал *синюю* блузу (я упал одним градусом ниже) и соответствующие штаны, да прибавил деньги — три или четыре франка... Да сверх того этот добрый человек (да наградит его Бог!) дал мне на дорогу кусок хлеба с маслом. А дождь все идет. Промокнувши до костей, я пришел на ночлег в порядочную гостиницу. К счастью, тут рделась раскаленная железная печка, где приготавлился ужин. От нее так и пышило жаром. Славно меня осушила и обогрела! У печки сидел кружок рабочих, большею частью немцев. Думая, что я не понимаю их языка, они сделали меня предметом своего разговора. «Ну, скажи-ка, брат, что ты думаешь: что это за

\* Господин королевский прокурор — *фр.*

\*\* Что Вы хотите? — *фр.*



человек?» — «Ну, так что ж, верно, он какой-нибудь рабочий!» — «Какой тут рабочий! Посмотри-ка на его руки! руки-то у него вовсе не рабочие!» — «Ну, так он, должно быть, чей-нибудь лакей!» — сказал третий, и все, казалось, остались довольными этим разрешением задачи. После ужина мне отвели постель на чердаке под окном без стекол, притворенным деревянною ставнею, через которую дул ветер и бил дождь, а на мне, заметь, едва просохшая рубашка. Вот что значит энергия, живучесть молодости! Я теперь, наверное, схватил бы горячку после такого ночлега, а тогда все это сошло, как с утки вода. Поутру я проснулся свеж как роза, и gai comme un pinson\*, и снова пустился как исполин тещи путь<sup>796</sup>.

В *Бастоне*<sup>797</sup> случилась со мною странная встреча. Вижу — идет молодой человек в белой блузе.

«Познакомиться недолго  
Пешеходам меж собой!»

(Это пели в старые годы на Большом театре в водевиле *«Ломоносов или Рекрут-стихотворец»*, имевшем на меня огромное влияние.) Белая блуза очень учтиво спросила меня, куда я иду. Я отвечал, что иду через Намюр<sup>798</sup> в Брюссель. Да! действительно я шел в Брюссель: там жил знаменитый Лелевель<sup>799</sup>: я воображал, что он там профессором занимает важное место, и хотел прибегнуть к его покровительству, а после узнал, что он жил в крайней бедности, питаясь одним хлебом и сыром. «Помилуйте, — сказала белая блуза, — да зачем же вы даете такой ужасный круг? Ведь вам прямая дорога через Льеж, отсюда до Льежа только *десять* льё, а оттуда вы возьмете железную дорогу и через каких-нибудь 5 часов будете в Брюсселе». Ну, уж что касается до железной дороги, думал я, то это не по нашему карману; а все ж таки лучше идти в Льеж, оно гораздо ближе, да и тоже значительный город. Клянусь Богом, что я никогда не думал о Льеже, даже на карте его не заметил, и в голову он мне не приходил и во сне не грезился, тем более что его у нас обыкновенно называли Литтихом. Это было для меня совершенно новое открытие. Кто ж был этот молодой человек в белой блузе? Был ли он добрый или злой гений? — не знаю, но в том дело, что слова его поворотили поток моей жизни в новое русло и окончательно решили судьбу мою на веки веков. Этот таинственный посланник, совершив свою роковую миссию, учтиво со мною раскланялся и исчез!

Льеж (Liège).

Тучи разошлись, вся природа оживилась под яркими лучами полуденного солнца в первых числах июня. Сделалась удивительная геологическая перемена декораций. После однообразной плоской равнины я вдруг неожиданно очутился на краю ужасного обрыва, и передо мною расстилалась меж высоких холмов прелестная долина, орошаемая Мёзою<sup>800</sup>, и вдали виднелся город Льеж. Меня перевели через реку за несколько сантиметров<sup>801</sup>, и вот я уж в предместьях. Народ тут вовсе не был так учтив как французские солдаты в Меце. Рабочие просто смеялись надо мною. «Посмотри-ка, вот идет беглый поляк! C'est un polonais!»\*\* Почему и как и по каким этнологическим приметам они приняли меня за поляка — я вовсе

\* Весел, как птаха — *фр.*

\*\* Это — поляк! — *фр.*

не понимаю. Город Льеж был в праздничном наряде: на балконах были вывешены ковры и шелковые ткани, в окнах стояли цветы и разноцветные восковые свечи. Это был Fete Dieu Corpus Christi или, как поляки говорят, Bozie cialo<sup>802</sup>. По улице шел огромный крестный ход с духовой музыкою и пением. Мне ужасно как было стыдно показать себя в лохмотьях среди этого торжества. Я свернул с большой улицы и начал разными переулками и закоулками пробираться к улице Rue de la Madeleine\*.

На последнем ночлеге перед Льежем я встретил жидка-разносчика, он путешествовал с женою и осликом. Мы очень приятно провели вечер в разных разговорах. Узнавши, что я иду в Льеж, он сказал: «Я вам советую остановиться в эстамине au соq\*\*: они очень добрые люди, я всегда у них останавливаюсь: поклонитесь им от меня». Ну что ж, думал я, это очень хорошо: лучше иметь определенную цель, идти в знакомое место с какою-нибудь, хоть с жидовскою, рекомендацією.

Когда я пришел в rue de la Madeleine, у меня от жару и усталости голова кружилась, я совершенно потерял память: никак не мог вспомнить адреса этого трактирчика. Прошел всю улицу взад и вперед — нет! все незнакомые вывески. Что тут делать!? Я начал уже отчаиваться и готов был уже завернуть в первый попавшийся кабачок. Вдруг поднимаю глаза — гляжу — вывеска, на ней изображение петуха с надписью: au соq. Слава Богу! да, да! Au соq! Теперь припомнил. Вот мой любезный петушок! вот приют для утомленного странника, пристань после крушения! Вхожу — за конторкою сидела женщина средних лет довольно приятной наружности. Я отдал ей поклон от жидка, но она, казалось, не слишком высокое понятие имела о моем покровителе; не сказала ни слова и несколько минут пристально смотрела на меня, после, как бы обдумавшись, сказала: «Очень хорошо, вы можете здесь остановиться». Она была добрейшая женщина. Я после с ней очень был дружен и давал уроки ее детям. Она передо мною созналась, что сначала не доверяла мне, но всмотревшись хорошенько в черты моего лица, сказала самой себе: «Я уверена, что он меня не обманет». Вот опять женщина с непогрешимым тактом.

«Есть ли здесь какой поляк профессор в университете или в Collège?» — «Есть — в Collège». — «Как его имя?» — «Не знаю». — «Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги написать письмо». — «Вот лавочка тут, напротив, там можете купить». К счастью, у меня оставался полуфранк. Я купил бумаги и написал трогательное письмо с большою потратою риторики, завернул в конверт и отправился в Collège. Мне пришлось идти мимо церкви. Из нее неслись звуки органа. Вхожу — церковь битком набита. Алтарь пылал разноцветными огнями, вазы с цветами распространяли благоухание, дым ладана вился голубою струею и терялся под готическим сводом. В то время я все мерил республиканским масштабом. Что я оборванный, небритый, нечесаный, запыленный, грязный, что я в этом нищенском образе мог войти в этот великолепный храм, наполненный *изящным людом* (beau monde), и мог найти место между ними и наравне с ними имел право наслаждаться звуками очаровательной музыки — все это в глазах моих обличало глубоко демократический характер католической церкви. Это было первое зерно, брошенное в хорошо подготовленную почву...

А теперь позвольте по-шекспировски соединить высокую драму с комическим элементом и заметить, что впоследствии, когда я обжился в Льеже, одна хорошень-

\* Улица Мадлен — фр.

\*\* Кофейня (от фр. estaminet — кабачок, маленькое кафе) «У петушка» — фр.

кая гризетка назначила мне *рандеву\** именно в этой самой церкви *Сен-Дени*. Это была моя последняя шалость. Но все ж и это доказывает, что во всех отношениях католическая церковь очень либеральна и демократична.

И вот как совершаются судьбы человеческие!

Звуки органа и гризетка! Ха-ха-ха!

(Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Bravo! Bravo! Фора! Фора!\*\*).

## № 100. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

6 октября н[ового] ст[иля] 1870

Любезнейший племянник Савва Федосеевич.

Невозможно было писать. некогда было духу перевести. Я сидел как будто в театре, положим хоть в райке<sup>803</sup>, и передо мною разыгрывалась изумительная драма франко-германской войны. Немногим удалось на их веку видеть подобное зрелище, видеть торжественный ход истории, видеть, как царства возникают и падают, как старый мир рушится и новый зиждется на его развалинах. С уничтожением Франции и занятием Рима итальянскими войсками два последних обломка средних веков канули в океан прошедшего. Как жалко, что французы не знают и не хотят знать истории! С небольшим полтора столетия назад Россия, Пруссия и Соединенные Штаты не существовали<sup>804</sup>, а теперь они первые державы в мире. Для того чтобы угодить французскому тщеславию, надо бы уничтожить эти три державы, а так как это невозможно, то Франции придется смириться и покориться. Уже мексиканская экспедиция<sup>805</sup> дала ей первое предостережение: им просто приказано было из Вашингтона убираться поживу-поздорову.

Спешу вас уведомить, что известный вам отрывок «Эпизод из Петербургской жизни» напечатан в 7-м номере «Русского Архива» на этот год. Я получил очень лестное письмо от издателя г[осподина] Бартенева и при нем годовое издание «Р[усского] Архива». Так как нам теперь открылся путь в печать, то мне бы очень хотелось, чтобы вы как-нибудь доставили Ф. В. Чижову первые листки моих записок, особенно под заглавием «Мой роман». Они могли бы быть интересны для публики как история замечательного психологического развития. У меня вовсе копии нет. Ф. В. Чижов в некотором смысле сотрудник «Р[усского] Архива».

В «Русском Архиве» я нашел престранное известие. За несколько времени перед смертью покойного Герцена Погодин писал к нему и увещевал его отправиться в Соловецкий монастырь на покаяние<sup>806</sup>! Признаюсь, *этого изгиба* русского ума я никак понять не могу. Неужели Погодин, в самом деле, не шутя, мог предложить человеку с умом и сердцем Герцена погребсти себя в снежной пустыне? К чему и из-за чего? В чем же ему было раскаиваться? Разве в том, что он некоторые философские и политические системы принял за непреложные истины и проповедовал их с полным сердечным убеждением? Но ведь если этак рассуждать, то никогда никакая свобода мысли и слова не будет возможна в России. Кстати, я позабыл вас спросить, чьи это

\* Свидание, встреча — от *фр.* rendez-vous.

\*\* От *ит.* bravo и fora — возгласы, восклицания, выражающие одобрение зрителей или слушателей.

стихи вы мне выписали в предпоследнем письме. Они ужасно как метко рисуют наших русских социалистов. А теперь вот вам и окончание путешествия в Мец<sup>807</sup>.

Поклонитесь от меня любезной вашей супруге и обнимите ваших милых детей.  
Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

**№ 101. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

2 ноября н[ового] ст[иля] 1870

Ах! как хороши стихи моего старого приятеля! Как это свежо, чисто, задушевно! От них так и веет весною жизни. Это было написано прежде отъезда за границу вскоре после незабвенного 19-го февраля<sup>808</sup>. Итак, мертвые воскресают. Видно, что г[осподин] Бартенев непременно хочет предать меня бессмертию. Нечего делать. Надобно поклониться судьбе. Но все это мне кажется как будто сон. Мог ли я думать десять лет назад, что я снова войду в сношения с Россией, и что имя мое появится в печати? Этим пробуждением от богатырского сна я обязан Герцену. Он задел меня за живое, сказавши обо мне в «Полярной Звезде», что у меня решительно все умерло<sup>809</sup>. На это ответом было стихотворение, напечатанное в «Дне»:

«Не погиб я средь крушенья,  
Не пришел еще мой час!» и пр[очее].

Я написал к моему племяннику Савве Федосеевичу Пояркову, чтобы он непременно переслал тебе первые листки моих записок под заглавием «*Мой роман*». Тут все таинство моей жизни: и воспитание по системе Руссо, и политический заговор против отца, и первая любовь по той же системе. Все это ужасно бестолково и — чрезвычайно мило! Поверишь ли, что до сих пор не могу вспомнить без слез об этой маленькой Бетти Гофмейстер, для которой я даже писал немецкие стихи?

Ах, как же ты разругал бедного Наполеона! Вероятно, ты заимствовал некоторые выражения из словаря покойного князя Петра Долгорукова. Он приезжал сюда в 1864, прожил здесь целую неделю, и я каждый день обедал с ним в его гостинице. Вот он то уж ненавидел Наполеона! Да и как он его отделал в одной французской брошюрке<sup>810</sup>! Страшно и подумать! Этот же Долгоруков присылал мне «*Голос*» и «*День*», где я впервые увидел твое имя<sup>811</sup>. Ну, а касательно Наполеона надобно же согласиться, что он именно такой государь, какого надобно французам. Тут все было: и риторика, и шарлатанство, и великолепные балы с песенками M[ademoiselle] Terese<sup>812</sup>, и похабные фигуры на фронтоне Grand Opéra, и умение держать народ в узде до поры до времени — чего же тут больше желать? Кстати, вспомнил еще анекдот. Когда я приехал в Берлин, мне сказали, что там в какой-то лавке продаются русские книги. Вот я так и зашел из любопытства. Книгопродавец смекал немножко по-русски. Я просил его показать мне, какие у него есть произведения русской словесности. Вот он так и выносит три тома «Выжигина» (Булгарина)! «Помилуйте! — сказал я с негодованием, — неужели вы *это* называете русской словесностью?» Изломанным русским языком и с коварною усмешкою немец отвечал: «Да вам лучше нет!» Злодей! Так и срезал! Вот этак и французам, когда они жалуются на Наполеона, можно сказать: «Да вам лучше нет!»

Читал ли ты *Токвиля* “De la Démokratie en Amérique”? Советую прочесть. По моему мнению, *Токвиль* (Тоqueville) *мудрейший* из современных французских писателей (он недавно умер<sup>813</sup>). Он славно очертил французский характер: «У французов бездна гения, но ни капли здравого смысла!» Каково! То же можно сказать, например, о поляках и других *гениальных* народах.

Взятие Меца<sup>814</sup> есть такое событие, какому нет подобного ни в новой, ни в древней истории. Это просто вавилонское пленение<sup>815</sup>. Из французских военнопленных Германия может составить порядочный город величиною с Миних или Штутгарт<sup>816</sup>. А между тем французы обвиняют друг друга в мошенничестве. По словам *великого* г[осподина] Гамбетта<sup>817</sup>, все лучшие маршалы Франции — Базен, Канробер, Лебёф, Шангарньё<sup>818</sup> — все они просто предатели, плуты, мошенники! И это в официальном документе! Ниже этого никакая нация упасть не может. *Finis Galliae\**!

Для сведения г[осподина] Бартенева я прилагаю здесь копию с письма графа С. Г. Строганова<sup>819</sup>, на которое мое служило ответом. С подлинником я никак расстаться не могу: я храню его как памятник благороднейшего и честнейшего человека.

Есть еще у меня курьезный документ — собственноручное письмо Жорж Занд к ирландской монашенке, ее старой приятельнице. Если ты или г[осподин] Бартнев можете сделать из него какое-либо употребление, то я охотно вам его перешлю. Поклонение Жорж Занду у меня давным-давно прошло. Однажды в Цюрихе в публичной библиотеке итальянский выходец, указывая мне на ее портрет, с восторгом воскликнул: “Voilà la femme évangélique!”\*\* И я действительно веровал в нее как в апостола нового откровения. Но все верования, как известно, изменяются со временем. А в то время Жорж Занд гуляла по Женеве в мужском платье с сигаркою во рту. Все это было достойно обожания!

На книги никакой пошлости нет: стоит только приложить почтовые марки по весу, и я какую хочешь книгу получу без малейшей с моей стороны издержки.

Твой В. Печерин.

Копия с письма графа С. Г. Строганова.

Monsieur,

L'ami auquel vous vous êtes adressé à Pétersbourg pour vous tirer de la position gênée où vous êtes<sup>820</sup>, m'a fait part de votre lettre, mais malheureusement trop tard pour que j'ai pu me joindre à lui; j'apprends que depuis votre lettre du mois de novembre vous lui en avez écrit une autre et que vos embarras n'ont pas cessé; j'ignore entièrement les raisons particulières qui vous empêchent de revenir à Moscou; mais comme il se peut, que les difficultés de sortir d'une fausse position vous retiennent, je viens avec toute la franchise qu'il appartient à un honnête homme d'avoir en pareille circonstance vous prier de vous adresser directement à moi et de m'exposer votre situation; soyez persuadé que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous aider à sortir d'embarras et vous rendre à la carrière des belles lettres à laquelle vous pourriez être si utile; on oubliera le passé et tout sera pardonné, mais de grâce quittez au plus vite Lugano, qui est l'endroit le plus mal choisi de tous ceux que vous auriez pu choisir et qui peut donner au séjour que vous y faites de pénibles interprétations. Je me plais à croire que c'est le hasard qui vous a porté à Lugano et

\* Конец Галлии! — *лат.*

\*\* Вот евангелическая женщина — *фр.*

non un but politique; mais tout le monde n'est pas appelé à juger aussi favorablement vos intention. Je ne puis vous faire passer aucun secours en ce moment, dans l'incertitude sur vos projets; mais si vous avez le moyen d'aller à Berne, à Munich où à Stuttgart, je vous autorise à vous présenter en mon nom à nos ministres, Mr de Severin, le prince Gagarin ou le Baron de Meyendorff<sup>821</sup>, de leur montrer cette lettre et de les prier de vous faire une avance de 1000 francs (mille f.) à mon compte. J'espère qu'avec cette somme vous pourrez regagner Berlin et revenir au plus vite en Russie; répondez-moi de suite et croyez au vif désir que j'ai de vous voir rentrer dans la voie où le devoir et l'honneur vous appellent Agréez mes hommades et l'assurance du vif intérêt que je prends à votre sort.

Je suis avec considération particulière votre très humble serviteur

Comte S. Stroganoff

16 Janvier 1837

Moscou

A Monsieur Vladimir Pétchérin professeur à l'Université de Moscou

NB. Il s'entend de soi-même que la somme que je mets à votre disposition ne doit avoir d'autre usage que pour faciliter votre retour en Russie, si des raisons que je ne puis apprécier vous détournent de cette résolution, mon offre doit rester sans fin d'exécution.

Адрес на обертке: à Monseur

Monsieur Pétchérin

Lugano en Suisse

Dans la maison de Mr Compagnola

На письме приписка по-русски: «Это письмо получено уже в Цюрихе в начале марта 1837 г[ода]».

### *Перевод*

Сударь.

Друг, к которому вы обратились в Петербурге за помощью, чтобы выбраться из затруднительного положения, в котором вы оказались, рассказал мне о вашем письме, но, к сожалению, слишком поздно, чтобы я смог встретиться с ним. Я осведомлен, что после письма, отправленного в ноябре, вы написали ему еще одно и что трудности ваши не закончились. Я совершенно не знаю, какие особые причины мешают вам вернуться в Москву; но поскольку может статься, что затруднения, связанные с выходом из ложного положения, задерживают вас, я прошу вас со всей искренностью, присущей порядочному человеку в подобных обстоятельствах, обращаться непосредственно ко мне и излагать мне ваше положение. Будьте уверены, что я сделаю все зависящее от меня, чтобы помочь вам выйти из затруднительного положения и вернуть вас к литературной карьере, в коей вы можете принести существенную пользу. Прошлое будет забыто и все будет прощено, но, ради Бога, уезжайте как можно быстрее из Лугано, худшего из мест, которое вы могли бы выбрать, и пребывание в котором может быть превратно истолковано. Мне хочется думать, что лишь случай забросил вас в Лугано, а не политическая цель, но не все могут судить столь снисходительно о ваших намерениях. В настоящий момент я не могу оказать вам никакой помощи, поскольку мне не известны ваши планы; но если у вас есть средства приехать в Берн, Мюнхен или Штутгарт, то я разрешаю вам представиться от моего имени нашим посланникам г[осподи]ну де Северину, князю Гагарину либо барону Мейендорффу, показать им данное письмо и

попросить их выдать вам 1000 франков (тысячу ф[ранков]) на мой счет. Я надеюсь, что с этой суммой вы сможете добраться до Берлина и как можно быстрее возвратиться в Россию. Ответьте мне незамедлительно и поверьте моему огромному желанию увидеть, как вы возвращаетесь на путь, к которому вас призывают долг и честь. С почтением и уверениями в моей чрезмерной заинтересованности в вашей судьбе.

С глубоким уважением ваш покорный слуга

Граф С. Строганов.

16 Января 1837

Господину Владимиру Печерину, профессору московского университета.

NB Само собой разумеется, что сумма, которую я передаю в ваше распоряжение, должна быть использована только для облегчения вашего возвращения в Россию, если же причины, кои я не могу определить, заставят вас отказаться от этого решения, то мое предложение не будет выполнено.

Господину Печерину, Лугано, Швейцария.

Дом Г[осподи]на Компаньола.

### № 102. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

1 нояб[ря] 1870

Ну, брат Печерин, ты решительно обленился, так что я даже сожалею, зачем я награду за твое порядочное поведение я послал тебе прежние твои стихи. Как же не совестно тебе разлакомить описанием твоей бродяжнической жизни и остановиться. Пред Льежем ты как-то стал не так подробен, а что до меня, то мне дорог всякий день твоего странствования. Я себе тоже задал Дон-Кихотовскую задачу быть возможно независимым; но я покупал мою независимость, вхлывая в долги, которые я, слава Богу, уплатил совершенно, не уступив ни шагу, именно не входя в службу, а живши все работою. В твоих письмах я шаг за шагом слежу за тобою и пленяюсь тем, как ты умел прожить сам собою в стране, где рабочих всякого рода не занимать стать, где тебе, кроме самого себя, решительно не к кому было прибегнуть. Ты остановился на прибытии в Льеж; тут ты вошел в подземные кузницы тогдашней европейской социальной жизни. Это меня сильно интересует, и даже не скрою, твоя остановка томит жаждой узнать подробности. Как ты там сошелся с тогдашними франкмасонами, твоим тогдашним приятелем, помнится мне, Фурье, к которому ты мне тогда прислал адрес. Как вдруг ты перескочил в католицизм. Как ты подчинился потом монашескому повиновению. Не знаю, как вымолить у тебя самое подробное описание твоей тогдашней внешней и внутренней жизни. Припомни, как я был у тебя в твоём монастыре, кажется, в Виттеме, как я был свиреп с тобою<sup>822</sup>. Попросил бы тебя искренно передать мне впечатление, сделанное на тебя моим приездом. Потом твои дальнейшие похождения.

Я думаю употребить над тобою даже насильственные средства, похожие на те, о которых ты мне когда-то рассказывал. Когда ты служил в контроле<sup>823</sup> до вступления в университет, то тебя иногда арестовывали и оставляли без сапог. Вот и я то же сделаю. Как только твое поведение будет хорошо, будешь ты мне писать много, я тебе буду высылать книги. Сначала начну с будущей же недели высылать Полное Собрание сочинений Тургенева. Как ты приостановишься — stop, и я остановлюсь. Не знаю, занимательно ли покажется тебе книга «Иезуиты в России с царствования

Екатерины до нашего времени» священника Морошкина<sup>824</sup>, написавшего две части и умершего. Пришло тебе «Войну и мир» Толстого. Пришло «Семейную хронику» старика Аксакова<sup>825</sup>, отца Ив[ана] Сергеевича. К сожалению, не могу тебя оставить без сапог, чтоб ты писал свои воспоминания, а не таскался бы в Ботанический сад.

Ты пишешь мне о 19 февраля: у меня есть твои стихи, нельзя их очень похвалить, под именем «19 февраля»:

«Напрасно буду ждать отрадной встречи  
В кадрили, средь гармонии живой;  
И долго не слышать мне русской речи  
Из уст пурпурных девы молодой!  
И от кого привет услышу милый?  
Кто спросит: «Любите ли танцы Вы?»  
Окончив бал, кому скажу унылый:  
«Вы едете? все кончено, увы!»<sup>826</sup>

Ну, можешь ли ты иметь лучшего архивариуса? Досадно мне, что утратились у меня твои письма из Льежа, когда ты был в восхищении от тогдашнего франкмасонства и дал мне адрес твоему приятелю Фурье и потом вдруг сделал *salto mortale*\* в монашество. Когда допишешь до этого места, передай, какое впечатление сделало на тебя мое свирепое посещение. Не жалей меня ни капельку, ругай сколько душе угодно. Ты перешел сквозь все подземные мастерские, в которых вырабатывалась тогда европейская современность; коммунизм только что появлялся на свет. Если ты поуглубишься в твою память, ты многое можешь передать в простом легком рассказе, и чем менее притязания передать современность, тем она яснее явится. Помоему, твоя искренняя исповедь всей твоей жизни будет таким славным этюдом человека, принадлежащего целой половине XIX, что другого поискать. К тому же ты пишешь славно, легко, свободно и увлекательно.

Не отдам я тебя Бартеневу, а соберу, если только ты не изменишься, тебя всего, и поверь, что ты подаришь нашей литературе очень дорогой подарок подробным и искренним описанием твоего страннического и вполне независимого существования. Нечасто, где бы ни было, найдешь такую жизнь, искреннюю в самой жизни, во всем ее складе — каждое увлечение покоряло тебя совершенно и отрывало всего от предшествовавшего. Жорж Занд романы любопытны как исторический перечень всех нравственных переходов общества, а у тебя не в романах, а в тебе самом, в твоей жизни изображались все эти переходы.

Надобно было бы тебе послать все сочинения Белинского, молодого писателя начала сороковых годов, ему много обязана русская мысль тем, что сколько-нибудь пробудилась и вышла из оков немого подчинения авторитету. Он был тогдашний радикал, недоучившийся самородок, он сам учился, писавши, и потому страшно многословен.

Что это ничего не написал о Гоголе: о его «Тарасе Бульбе», «Старосветских помещиках» и потом о «Мертвых душах».

Токвиля “*Démocratie en Amérique*” я читал еще в конце тридцатых годов; помнишь ли ты, какую он великую будущность пророчит России и Соединенным Штатам на последних страничках своей книги<sup>827</sup>?

\* Смертельный прыжок — *ит.*



Пришли, пожалуйста, письмо Жорж Занд, оно для Бартенева не годится, но у тебя оно пропадет, а я его отдам в музей, где собрано много автографов.

Недавно в «Вестнике Европы», журнале, издающемся уже пятый год, напечатана новая повесть Тургенева «Степной король Лир»<sup>828</sup>; виден опытный художник, но он уже пишет на заказ частью для того, чтоб не дать забыть себя, а частью просто, чтоб получить деньги.

Бартеневу я иногда дам кое-что из твоего странствования; его журнал не таков, чтоб погребать в него живое, то, что должно быть читано молодежью; а по моим понятиям для молодежи лучшее чтение — *правда*, в чем бы она ни была, в искреннем ли суждении, в искреннем ли рассказе. Все мы страшно изолгались: проповедуем человечность, стоим за нее горою и совершенно равнодушно смотрим, как гибнет полмиллиона народа, ни дай не вынеси за что.

Бартенев оказал услугу тем, что анекдотами, сплетнями XVIII века заставил читать свой журнал; прежде его были только «Чтения истории и древностей русских» профессора Бодянского<sup>829</sup>. Теперь в нынешнем году начал уже издаваться еще журнал в этом роде: «Русская Старина»<sup>830</sup>, тоже наполняющаяся более XVIII веком и записками начала XIX столетия.

Я расписался к тебе потому, что припадки моей болезни мочевых каналов разыгрались; мне велели взять ванну, и я не выхожу два дня из комнаты. У меня минуты сочтены, я работаю с утра до вечера и нахожу время писать к тебе, а ты? Не изволь дожидаться моих писем, а просто пиши ко мне каждую неделю и не франкируй писем.

Ответь-ка мне, пожалуйста, аккуратно и отчетливо на следующие 2 вопроса: 1) Какие на французском, немецком и английском языках переводы подлинных текстов древних священных философских и нравственных учений китайцев, индийцев, персов и других народов Востока? 2) Какие сочинения на тех же языках, где бы излагались эти учения по достоверным источникам и добросовестно? Это не для меня, я дал слово одному моему приятелю спросить тебя.

У нас теперь сочувствие всего общества, особенно в Москве, полное сочувствие французам, пруссаков очень не жалуют; правительство, как кажется, наоборот. Чем кончится эта отвратительная бойня? А что Ваш ирландский шум фениев? Не могу тебе передать, как хочется мне повидать тебя; вероятно, на будущий год меня пошлют на воды, тогда я непременно приеду к тебе, а ты наперед мне напишешь, в какой гостинице мне остановиться.

Твой Чижов.

### № 103 В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
18 ноября 1870

Льеж (Liège)

«Да умный человек не может быть не плутом!»  
Грибоедов.

«Вот вы пишете здесь, что вы были профессором греческого языка в Москве: а ведь я очень хорошо знаю, что там профессором этого предмета — Ежовский!» — «Помилуйте! — сказал я. — Ежовский принадлежит уже к древней истории: едва ли

кто теперь в Москве запомнит Ежовского<sup>831</sup>». Поляк помялся немножко, пробормотал что-то сквозь зубы, пошарил в кармане и дал мне два франка, за что я его сердечно поблагодарил. Эта сцена происходила у двери маленького садика внутри гимназии (collège) между древними монастырскими аркадами. Полукружием стояли перед нами воспитанники в синих блузах — это был их час роздыха, а поляк был их надзирателем. Они смотрели на меня с любопытством и некоторым участием. Впоследствии я давал некоторым из них уроки греческого языка и был, что называется, *репетитором*\* при гимназии: даже шла речь о том, чтобы дать мне греческую кафедру, и оно, вероятно бы, состоялось, если б не *назорейское безумие*<sup>832</sup>!

Получивши два франка — *последнее* подаяние, я как-то прибродрился, я чувствовал, что достиг крайнего рубежа моих странствований и нашел место успокоения. Пришедши домой, т[о] е[сть] к *петушку*, аи соф, я застал хозяина в хлопотах: он заботился найти мне какое-нибудь место. В проливной дождь он отправил меня с каким-то мальчиком в славный мебельный магазин, где нужен был сиделец. Это было просто бестолково и кончилось, как можно было ожидать: щегольски одетый хозяин, взглянувши на мою измоченную блузу и нечесаную наружность, с утонченной вежливостью отвечал, что «*roug le moment*\*\* он в моих услугах не нуждается». Я рассказал хозяину о своей неудаче. «Ну, уж не беспокойтесь! мы вам место найдем. *Savez vous panser un cheval?\*\*\**» — «Ну, уж признаюсь: этого-то я уж вовсе не умею». — «А жалко! Если б вы вот этак знали, как ухаживать за лошадью, я сейчас бы вас пристроил к месту». — Жена покачала головою и с видом укоризны сказала мужу: «Неужели ты в самом деле *этакое* место предлагаешь *monsieur Louis?*» (Меня называли этим именем по ошибке; какой-то французский солдат Louis расписался в книге постояльцев подле меня, вот так меня и перекрестили его именем краткости и ясности ради). Признаюсь откровенно: у меня была сильная охота, страстное желание сделаться *слугою*, испытать всю *свежесть* этого нового положения, обещавшего много опытов, новых ощущений и бездну приключений. К несчастью, это не удалось; а всему виною хозяйка: зачем же она покачала головою? Что ж делать? подождем до поры до времени: коли мне не удалось быть конюхом, то, может быть, другое место в этом роде найдется!

На следующее утро я сидел за завтраком, т[о] е[сть] пил кофе без сахару (по бельгийскому обычаю) с огромною тартиною (хлеб с маслом). Гляжу — на столе лежит английская газета “*Weekly Dispatch*”<sup>833</sup>. «Тьфу, пропасть! как же это английская газета зашла в этот подлый кабак?» Через несколько минут входит молодой человек высокого роста в синем изношенном сюртуке, плотно застегнутом, с белым галстуком, полуорлиным носом и сжатыми губами на английский манер — подходит к столу и берет газету. Я тотчас заговорил с ним по-английски (насколько я тогда смекал) и просил его указать мне какое-нибудь средство давать уроки на всех возможных языках, даже по-английски! Какова прыть! Теперь, проживши 25 лет в Англии, я едва бы осмелился давать уроки английского языка, а тогда я на все был готов! Научит нужда калачи есть! «Вы можете объявить о себе в газетах, — сказал он, — но я бы вам советовал, прежде всего, написать письмецо к капитану Файоту (Fiott): он очень добрый человек и любит помогать бедным. Да сверх того у него для вас найдется занятие: он

\* Репетитор, помощник учителя в лицее, гимназии, колледже — от *фр. répétiteur*.

\*\* В данный момент — *фр.*

\*\*\* Умеете ли вы ходить за лошадью? — *фр.*

обыкновенно произносит речи в масонской ложе, а для этого надобно их переводить на французский язык; он сначала было поручил мне это, но я, знаете, не очень далек во французском. Вот напишите ж сейчас письмецо, а я его к нему отнесу; да, пожалуйста, поставьте в адресе: G. O.<sup>834</sup>, т[о] е[сть] Grand Orient\*, это ему понравится и задобрит его в вашу пользу». Вот я и написал просительное письмо и поставил на обертке: G. O. Да кто ж был этот молодой человек? Некто Макналли, ирландец; по словам его, племянник епископа Макналли (оно, может быть, было и правда: здесь почти все больше или меньше из родни духовенству) — ужасный пройдоха, плут и мошенник первой степени, как увидится впоследствии.

Между тем как мы разговаривали, вошло третье лицо — какой-то приятель Макналли, г[осподин] Камбель (Cambell), *обельгившийся* англичанин. Он малый был очень неглупый, отлично говорил по-французски и знаком был с французскою литературою. Но у него была странная привычка: он заходил почти в каждую питейную лавочку и там прихлебывал крошечную рюмочку чего-то, un petit verre, — вследствие чего он всегда был в очень веселом расположении духа. Услышавши о моих потребностях, он сказал: «Я бы вам советовал обратиться к madame Guyot». — «Да кто ж это такая мадам Гюйо?» — Это женщина, известная целому городу — femme galante, s'il en fut\*\* — жена инженерного полковника Гюйо. У нее большие связи, и она очень любит покровительствовать талантам, польским выходцам и вообще молодым людям. Хотите, я вас ей представлю?» — «С величайшим удовольствием! Я на все готов!» — «Ну, так пойдете же сейчас!»

Итак — без дальнейших предисловий — дверь гостиной отворилась, и я, как был в синей блузе, предстал перед мадам Гюйо! Высокая, стройная, чернбровая женщина сидела как будто какая-нибудь царица или богиня, окруженная своими поклонниками (мужа не было дома). Камбель представил меня. Она взглянула на меня лучезарным взором царственной благосклонности, обыкновенно оказываемой изгнанникам, героям потерянных битв, революций и пр[очим]. Камбель изложил ей мою историю — не без некоторых украшений для большего эффекта. — «Eh bien! Monsieur Damery\*\*\*, — сказала она одному из гостей, — не можете ли вы чего-нибудь сделать для этого господина? может быть, в вашем бюро найдется для него какое-нибудь занятие?» — Мсье Дамри, французик, литератор, журналист, положила руки на сердце, рассыпался в уверениях о своей беспредельной преданности. “Madame peut compler sur moi: je ferai tout mon possible pour servir ce monsieur!”\*\*\*\* — «Вот, видите ли, — сказала она, обращаясь ко мне с торжествующим видом, — вот ваше дело и слажено! Voilà au moins une poire pour la soif\*\*\*\*\*».

Ну, думал я, теперь мое счастье устроено: этот г[осподин] Дамри даст мне какое-нибудь литературное занятие, да, пожалуй, чего доброго сделает еще сотрудником... На другой день прихожу к нему, а он меня и знать не хочет, и очень сухо отвечал, что никакого занятия для меня не имеет. Вот так и полагайтесь на слова француза! Впрочем, не стоило сердиться на этого бедного Дамри: он сам был по уши в долгах

\* Великий Восток — *англ.*

\*\* Дама полусвета, если угодно — *фр.*

\*\*\* Итак! Господин Дамери — *фр.*

\*\*\*\* Сударыня, можете рассчитывать на меня: я сделаю все возможное, чтобы помочь этому господину! — *фр.*

\*\*\*\*\* Начало, по крайней мере, положено — *фр.*

и едва ли не попал в тюрьму, а услуги свои он предложил просто из врожденного французу хвастовства. Но мои сношения с м[ада]м Гюйо этим не кончились. Через несколько времени она пригласила меня давать уроки английского языка ее детям — мальчику и девочке — за 10 франков в месяц! — да и те не очень исправно платила.

Но какие дети! Какое воспитание! Девочка лет 12-ти усердно посещала театр вместе с маменькою и знала наизусть весь репертуар французской драмы. Иногда она помирала со смеху, рассказывая мне какую-нибудь *скабрёзную* интригу замужней женщины в недавно ею виденной пьесе... «Ах, Боже мой! — говорила она, хихикая, — как это должно быть забавно — обмануть мужа! как это уморительно!» Так как я был у них не по части нравоучения, а просто для английского языка, то я также с нею хохотал, и наши уроки проходили очень весело. Но м[ада]ме Гюйо имела на меня еще дальнейшие виды. Ради Бога, не воображайте себе ничего дурного! Это вещь самая простая. Я не вхожу в семейные тайны, но очевидно было, что м[ада]ме Гюйо решилась любовно разойтись с мужем, уехать в Париж с детьми, а меня взять с собою быть их наставником. Замечу мимоходом, что этот инженерный полковник был ужасный добряк, истый Жорж Данден<sup>835</sup>, именно такой муж, какого надобно было м[ада]ме Гюйо. Они оба считали меня ученым человеком, и так как, по их понятиям, наилучший способ задобрить ученого мужа — накормить его порядочно, то вот они меня и пригласили на ужин. Одним словом, они хотели завоевать меня теми же средствами, какими Бисмарк теперь надеется покорить Париж, т[о] е[сть] желудком<sup>836</sup>. Во время ужина оба, и муж, и жена, истощали все свое красноречие и все возможные ласки, чтобы убедить меня ехать с детьми в Париж. Ужин был славный, нечего сказать; да у меня, сверх того, была смертельная охота побывать в Париже; но все ж таки я не поддался по двум весьма важным причинам: во-первых, совесть у меня была как-то нечиста касательно паспорта, и вместо страха Божия у меня был ужасный страх французских жандармов; во-вторых, м[ада]ме Гюйо была небогата, а жила выше своих средств. Она просто меня эксплуатировала, хотела иметь дарового учителя, а после, может быть, оставила бы меня без копейки на парижской мостовой. Итак, я храбро выдержал осаду и не сдался. Вот урок Базену<sup>837</sup>! С тех пор м[ада]ме Гюйо исчезла с моего горизонта и более на нем не являлась. Но я слишком уже далеко забежал вперед! Назад! Назад! в Hôtel du coq и посмотрим, что делает английский капитан Файот!

Вот так-то, любезный Чижов, разыгрываются вариации на тему *жизни*, и вечно изменяется ее пестрый ландшафт! — Волны звуков и волны красок несутся одна за другой...

И эти звуки отзвучат,  
И эти краски побледнеют,  
Как свечка, наш потухнет взгляд  
И ветры нашу пыль развеют!

Твой Печерин.

#### № 104. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Каменец-Подольск  
13 ноября 1870

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Согласно письму Вашему я отправил сегодня к Федору Васильевичу Чижову Ваши письма. Ф. В. Чижов просил меня прислать ему не только те письма, которые

Вы назначили, но все, что только я имею, обещая в целости и сохранности возвратить их мне как принадлежность моего семейства<sup>838</sup>. Поэтому я привел в порядок, подшил и отправил ему все, что имел, и обещал ему сообщать также и последующие Ваши письма, но с тем, чтобы потом он возвращал бы их в мою семью<sup>839</sup>.

В будущем году Фед[ор] Вас[ильевич] непременно хочет повидаться с Вами. Он пишет, что надеется скоро освободиться от массы своих занятий, но каким образом он этого достигнет, я и понять не могу. Он так втянулся в практическую деятельность, и имя его до того популярно в Москве, что неустанный труд не перестанет его преследовать по пятам на край света.

Семейство мое вновь увеличилось сыном Михаилом и состоит теперь из 3-х сыновей и 3-х дочерей. Бог весть, как мне удастся их вырастить и воспитать.

Недавно мне случилось прочесть процесс фениев 1867–1868 годов. До сих пор я знал английский процесс только по теории, но сознаюсь Вам, увидевши, как процесс этот осуществляется практически, я сильно призадумался: Allen, Gould и Larkie, а в особенности Wagget несколько дней не выходили у меня из головы. Я долго соображал обвинение и улики и положительно убежден, что наши присяжные<sup>840</sup> вынесли бы оправдательный приговор. Для этого достаточно такой свидетельницы как Holiday, чистосердечно объявившей, что ей за ее показание следует обещанных правительством 200 фунтов. Вообще весь процесс как по способу ведения его, так и по способу обвинения представляет на каждом шагу столько неожиданностей, что в голове моей никак не улегаются мысли, как согласить те достоинства английского процесса, которым я привык верить с университетской скамьи, с тем, что я прочел в процессе фениев<sup>841</sup>. Разве одно только, что необходимо было употребить систему устрашения Фейербаха<sup>842</sup>, чтобы другим неповадно было так делать.

Какие диковинки теперь открывает миру несчастная Франция. Оказалось, что этот могучий колосс проточен насквозь гангреной и жил только соками своей коры. Едва ли суждено ей вновь обновиться, потому что едва ли есть средство обновить увядшие нравственные силы.

На днях у нас объявлено об обязательности военной службы для всех сословий<sup>843</sup>. Это — могущественный удар сословным привилегиям, и после него не остается уже никаких перегородок.

Целую Вас и прошу Вашего благословения искренне любящий Вас  
С. Поярков.

## № 105. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
13 ноября 1870

Что за прелесть, Печерин, твои письма; я их читаю с наслаждением. Простота, искренность, добродушие, все тут слито воедино, и все вместе увлекает при чтении. Я не говорю о себе, я читаю их с двойным, с тройным наслаждением, потому что ты мне близок; но посторонние читают их тоже с искренним наслаждением.

Пишу тебе из Правления и потому на бланке, да к тому же хотел и похвастать деятельностью. Книг поневоле не посылаю; за пересылку надобно платить при наклейке марок такую страшную цену, которая далеко превосходит цену самих книг; потому не посылает тебе и Бартенев своего полного «Русского Архива». Я думаю, что из него много можно было бы выбрать твоему приятелю, ученику твоему по

русскому языку, переводчику на английский, много такого, что охотно бы взяли в английские журналы. Теперь я, кажется, добрался до источника пересылки к тебе книг, это именно чрез [утеряно] [лон]донского священника Евгения Иванови[ча] [утеряно]<sup>844</sup>. Он почему-то очень тебя любит и у[важает], [ра]зумеется, по слухам; поэтому он охо[тно] перешлет их к тебе. Это я скоро устрою, как только поеду в Петербург, что будет в начале будущего месяца. Если бы ты с ним познакомился, он дал бы тебе книг из своей библиотеки. Человек он весьма добрый и образованный, разумеется, не такой шальной, как мы с тобой, а действительно Révérend\*. Он живет в Лондоне уже, кажется, более 20 лет.

Пишу только для того, чтоб не оставить твоего милого письма от 18 ноября без ответа. Мне очень бы хотелось из твоих писем составить и напечатать после книжку Похождения странствующего рыцаря печального ордена Владимира Сергеевича Печерина. Ее будут читать с наслаждением. А ты поверь моим казначейским достоинствам: что ни получу, все тебе пришлю с полным отчетом. Мне тут дорого то, что в литературе нашей явится и приятное, и истинно наставительное чтение.

Твой Ф. Чижов.

### № 106. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

25 ноября н[ового] ст[илия] 1870

Ты просто мне не даешь духу перевести. Но прежде всего прошу тебя сказать мне, каково поживает наш старый знакомый — восточный вопрос<sup>845</sup>? Неужели и у вас затевают войну? Fie for shame\*\*! Не лучше ли бы вам строить железные дороги да разводить земские банки по губерниям? Уж далась вам эта война! Да, впрочем, тут ничем не поможешь. Это просто поветрие, повальная болезнь — точно так же, как чума, холера и пр[очее]. Это войнобесие может распространиться во все части света — в Америку, в Африку, в Азию, смотря по тому, как ветер подует. Богословы и философы толкуют о какой-то свободе человеческой воли — *liberum arbitrium*\*\*\*. Все это суший вздор! Какая тут свобода воли против чумы, холеры, землетрясения, гидрофобии и — войнобесия? У человека начинает кружиться голова, он сам не знает, что делает, кусается на все стороны — где же тут *liberum arbitrium*? Я вовсе не удивляюсь, что у вас так сильно сочувствуют Франции. По статистическим заметкам видно, что каждый год около 50.000 русских перебивало в Париже. Ведь это уже второе отечество. Да что же эти господа там делали, и какая от них польза России? Уж не философию же они там занимались — разве может быть философию *jardin mobile*<sup>846</sup>? Герцен написал очерк жизни русского эмигранта Сазонова<sup>847</sup>. Ну, стоило ли из-за *этого* покидать Россию? Пить шампанское с де-белою итальянкою и потом за долги попасть в тюрьму Клиши<sup>848</sup> — это и в России делать можно, и никакой деспотизм этому не помешает. Мне кажется, уж тысячу раз лучше было бы сидеть писцом в каком-нибудь департаменте: тут, по крайней мере, какая-нибудь была бы польза.

\* Его преподобие — *англ.*

\*\* стыдно — *англ.*

\*\*\* Свобода выбора, свобода воли — *лат.*

Касательно древних религий и пр[очего] я могу дать тебе самый удовлетворительный ответ, указывая на следующие сочинения:

“Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the people of India, their religion and institutions”. Collected, translated and illustrated by J. Muir, 5 vols, London, (Trübner & C°), 1858–1870\*<sup>849</sup>.

“Le Bouddha et sa religion” par J. Barthélemy Saint-Hilaire, Paris, 1862\*\*<sup>850</sup>. Образцовое сочинение, где предмет совершенно исчерпан. К этому можно присоединить:

“The Legends and Theories of the Buddhists, compared with History and Science” by R. Spence Hardy. London. 1866\*\*\*<sup>851</sup>.

“The Zoroastrians and the Zend-Avesta” by Dr Haug, London\*\*\*\*<sup>852</sup>. Тут заключаются священные книги персов и полное изложение их учения.

Обширное поле для науки открывает изучение *Суфи*<sup>853</sup> или персидских мистиков. Небольшая книжка “Oriental mysticism. A treatise on the Sufistic and Unitarian Theosophy of the Persians”, compiled from native sources by E. H. Palmer, Cambridge\*\*\*\*\*<sup>854</sup> может дать некоторое об этом понятие. Замечательно, что эта книга посвящена (1864) исключенному из службы за дурное поведение императору Наполеону III.

Ты сожалешь, что не можешь оставить меня без сапог; но если бы ты даже и мог это сделать, все ж таки никакой тебе пользы от этого бы не было. Зимой я редко хожу в ботанический сад, а у меня есть занятие дома. Я занимаюсь химиею. Я вот этак разлагаю разные минералы и соли. Сначала толку их в ступе, превращаю их в тонкую пыль, потом развожу водою или спиртом, ставлю на огонь; тут они испаряются и оставляют по себе прекрасные кристаллы; у меня есть микроскоп с поляриском<sup>855</sup>; вот тут эти кристаллы представляют великолепное зрелище: всевозможные геометрические фигуры и все цветы радуги. Вот тут-то открываются тайны мироздания или сочетания атомов. Мне кажется, что мы скоро всю метафизику пошлем к черту! Истинная суть вещей находится в — химии. Дальше идти нельзя. Все прочее — бред!

Пожалуйста, не спрашивай меня о фениях: они не заслуживают никакого внимания. Покойный принц Альберт — человек с возвышенными качествами ума и сердца — очень хорошо сказал: «Ирландцы так же мало заслуживают сожаления, как и поляки». Но поляки, по крайней мере, показали большую удачу и храбрость, а ведь эти фении бегут как зайцы при виде одного солдата. Один господин среднего класса сказал в моем присутствии: «Я не признаю над собою никакой власти, кроме власти нашего духовенства!» За это одно его следовало бы повесить. В этих словах — бездна анархии. Конституционному правительству трудно сладить с этою bestолковою

\* «Оригинальные санскритские тексты о происхождении и истории индийского народа, его религии и институтах». Собрал, перевел и иллюстрировал Д. Мюир, в 5-ти томах, Лондон, 1858–1870.

\*\* «Будда и его религия», Жюль Бартеlemi Сент-Илер, Париж 1862.

\*\*\* Полное название книги: “The Legends and Theories of the Buddhists compared with History and Science. With introductory notices of the life and system of Gotama Buddha”. By R. Spence Hardy, London-Edinburg, 1866. («Легенды и теории буддистов в сравнении с историей и наукой. С вводной статьей о жизни и взглядах Готамы Будды» Р. Спенсера Харди, Лондон-Эдинбург, 1866.)

\*\*\*\* «Зороастризм и Зендавеста», доктор Гауг, Лондон.

\*\*\*\*\* «Восточный мистицизм: трактат о суфизме и унитарной теософии персов», составленный по оригинальным источникам Э. Г. Палмером, Кембридж, 1867.

Ирландию, тем больше, что главные заговорщики — епископы и священники. Вот их то бы надо прибрать в руки.

Я нахожусь в самом приятнейшем изумлении. Неужели граф С. Г. Строганов еще жив? По некоторым словам в «Былое и Думы» Герцена я заключил, что он давно уже умер.

Крайне сожалею о твоей болезни. Расстройство мочевых каналов может иногда происходить от усиленно сидячей жизни. Виши — наилучшее против этого средство. Ради Бога, приезжай сюда летом. Твой приезд сделает важную эпоху в моей жизни.  
Твой В. Печерин.

#### Апостол коммунизма и “Conspiration de Babeuf”<sup>856</sup>

«Яко ж то тыранство! От так бедны человек з глоду помжрецъ муси!» Господин, произнесший эти слова с глубоким умилением и полупьяными слезами на глазах, сидел за столом в питейной и усердно уписывал славную закуску, запивая ее крепким английским пивом. Это был поляк Бернацкий, апостол коммунизма. Он таким себя мне и рекомендовал: «Мы на апостолув пошли!» В первый раз я встретил его — где вы думаете? — в академической зале Цюрихского университета, где он довольно бойко защищал диссертацию на степень доктора медицины. И эту степень он получил. Ну что ж? вы думаете, что вот он как порядочный человек займется делом, медицинской практикою — ничего не бывало! Я доселе никак понять не могу, для чего он учился медицине. Он ровно ничего не делал, а только, как ревностный апостол, с утра до вечера шлялся по кабакам, где и проповедовал самый бешеный коммунизм. Это была грубая, коренастая славянская натура без малейшего понятия о нравственных условиях общества. «Вот видите, пан Печерин, — говорил он мне, — в нашей республике будет такая роскошь и довольство, какие свет еще не видал. С утра до вечера будет открытый стол для всех граждан: ешь и пей, когда и сколько хочешь, ни за что не платя. Великолепные лавки с драгоценными товарами будут настежь открыты, как какая-нибудь всемирная выставка, бери, что хочешь, не спрашивая хозяина, — да и какой же тут хозяин? ведь это все наше!» — «В таком случае, — осмелился я смиренно заметить, — *некоторые* граждане должны будут сильно работать для того, чтобы доставить обществу все эти удобства». — Апостол немножко смешался: «Ну, разумеется, *они* принуждены будут работать, а то гильотина на что же?»

Вот вам и древнее греческое рабство! Вольные граждане пируют да беседуют о политике, а рабы на них работают! Я сказал, что апостол немножко замылся, потому что основной догмат коммунизма был: «Труд недостойн вольного человека. Всякая работа есть рабство!» В этом догмате бывали оттенки, смотря по воспитанию и общественному положению лица. Один премилый итальянский юноша сказал мне однажды в кофейне Баура: «Некоторые из наших вдаются в крайности; они совершенно отрицают труд; нет! это не так: у каждого гражданина будет свое занятие, но, знаете, этакое легкое, неумтомительное, приятное занятие, например, играть на каком-нибудь инструменте, рисовать, читать занимательную книгу». Тут так и слышен il Signor Conte\*! Легкие салонные упражнения были в глазах его образчиком общественной деятельности!

\* Господин граф! — *ит.*



Кто-то стучится у двери — отворяю: «А! Бернацкий! Что нового?» — «А то, что у меня сегодня деньги есть, пойдем-ка прогуляться за город да выпьем стаканчик чего-нибудь!» — «Очень хорошо! Я не прочь! Дайте только шляпу взять». Вот мы пошли, а разговор все о том же, т[о] е[сть] о благоустройстве будущей республики. Бернацкий не признавал никакой власти и никакого повиновения; об них он и слышать не хотел. «Однако ж, — сказал я, — вот, например, у нас общее поле; его надо обработать; ведь надо же, чтоб кто-нибудь дал приказ идти на работу». — «Какой тут приказ! Мы вот этак скажем: эх, братцы! дайте-ка, пойдем, поработаем *немножко!*» — «Ну, да этаким образом, — отвечал я, — вы действительно очень немного работаете». «Ах, Боже мой! да как же вы это не понимаете или не хотите понять! Ведь наука-то у нас сделает исполинские успехи. Изобретут, например, какой-нибудь химический порошок. Вот так посыплешь его на землю, и вдруг все родится само собою — и рожь, и пшеница, и овес без малейшего человеческого труда!» — «Однако ж, — сказал я, — все ж таки надобно будет работать для того, чтобы пожинать и собирать в житницы произведения земли!» — Тут он просто рассердился. — «Ну, уж с вами вовсе нельзя говорить! Вы этак все идете наперекор. У вас все еще старые аристократические *русские* предрассудки... Ну так черт побори все!» — Тут он в ужасном азарте засунул руку в карман, выхватил несчастных два-три франка, заготовленных для прогулки, да так и швырнул их в лужу возле дороги и поминай, как звали! Тем и кончилась наша прогулка.

Но размолвка недолго продолжалась. Он преклонил гнев на милость и через несколько дней мы опять сидели в самом дружелюбном расположении духа где-то за городом за кружкою пива и как будто какие благочестивые отшельники разглагольствовали о благах грядущего века. «Ах, — воскликнул Бернацкий, — как это славно будет! Вот этак мы сидим — вольные граждане — за общим столом. Тут, разумеется, все отборные роскошные яства — вино льется рекою — гремит лихая музыка, и под музыку перед нами пляшут *наше* девы!»

Каков идеал! Что тут вам Магометов рай с его гуриями<sup>857</sup>! «Вот видите, например, — прибавил он, — ведь монахи-то были не глупы: у них тоже был коммунизм, и они жили в полном довольстве; но в одном только они спасовали и были совершенные дурни!..»

— Да в чем же? — спросил я.

— А в том, что они женщин не пригласили в свою общину!

— Ей-богу, правда! — сказал я, смеясь. — Уж в этом-то они решительно промаху дали!

Само собой разумеется, что мой апостол терпеть не мог аристократов. Был какой-то большой бал в Цюрихе. Вот тут вся цюрихская знать едет или, лучше сказать, *несется* на бал, потому что в то время не было экипажей, кроме портшезов (*porte chaise*)\*. Бернацкий немножко под хмельком гулял со мною в толпе народа. «Ох! уж эти мне аристократы! Да поглядите-ка: *рабы* несут их на руках как будто бы детей! Какой позор!» — тут он хватил кулаком в стекло портшеза, и оно рассыпалось вдребезги, а сам он ускользнул в другую улицу.

Еще черта. Жил в Цюрихе ломбардский выходец граф Угони, потерпевший от австрийского правительства за то, что он завел сельские школы; он был отличный человек во всех отношениях, но, к несчастью, у него было состояние, он хорошо оде-

\* Легкое переносное кресло — от *фр.* porter «носить» и chaise «стул».

вался и обедал в первоклассной гостинице, и за это Бернацкий его ненавидел. Стоим мы с ним однажды на мосту; Угони идет обедать в гостиницу *меча* (zum Schwert). «Посмотрите-ка, что это за человек! к чему он годен! чего доброго можно ожидать от него! Вот этак бы ему *пулю в спину влететь!*» А все это из-за того, что на нем был хороший сюртук!

Я должен признаться, что наставник мой не очень высокое понятие имел о моих революционных способностях. Вот его официальное заявление.

“Vous n’etes pas un homme d’action. Nous vous mettrons au parlement. Vous y ferez des discours, et apres, nous vous couperons la tête!”\* Да, сударь! у нас шутить не любят, гильотина будет бессменно стоять на площади, guillotine en permanence!\*\*

Все это я слушал со страхом, трепетом и благоговением, нимало не сомневаясь в истине сказанного. Это уж так роковое предопределение, думал я, иначе и быть не может. «Учителю благий! — сказал я однажды, — благоволите указать мне какую-нибудь священную книгу, где бы я мог почерпнуть здравые начала нашей святой веры?» — «Вам непременно надобно достать “Conspiration de Babeuf” par Philippe Buonarroti\*\*\*. Тут заключается все наше учение. Это наше евангелие. Ведь правду сказать, Иисус был один из наших; он тоже хотел сделать, что и мы, но, к несчастью, он был бедный человек — без денег ничего не сделаешь; а тут вмешалась полиция: вот так его и повесили!» Впрочем, не первый раз я слышал в Швейцарии подобное мнение, хотя несколько в другом виде. Один благочестивый сельский пастор, с умилением поднимая глаза к небу, сказал мне: “Ja! Jesus Christus war der erste Republikaner”\*\*\*\*.

Эту священную книгу “Conspiration de Babeuf” невозможно было найти в Цюрихе, да, сверх того, у меня ни копейки за душою не было. Но теперь в Льеже, лишь только завелся у меня лишний франк, я так и пошел осматривать все книжные лавки и, к крайнему моему восхищению, нашел ее у одного букиниста.

Денег со мною не было. «Ради Бога, — сказал я хозяину, — подождите несколько минут, я сбегаю домой за деньгами: сию же минуту буду назад». Я побежал домой, взял деньги и, запыхавшись, положил их на конторку, взял книгу и понес ее домой как некий священный кивот, как ковчег нового завета<sup>858</sup>!

В этом евангелии мало занимательного для *оглашенных*<sup>859</sup>. Вот сущность планов Гракха Бабефа (Gracchus Babeuf): Париж и все большие города должны быть разрушены до основания, а вместо того Франция будет усеяна группами цветущих деревушек! Сушая идиллия!<sup>860</sup>

Но теперь, однако ж, надобно быть справедливым. Коммунисты должны бы соорудить памятник Бисмарку: он очень ревностно содействует исполнению их планов. Не знаю, много ли *цветущих* деревень он оставит за собою, но что Париж и другие города довольно от него пострадали, в этом нет никакого сомнения<sup>861</sup>.

Но ведь я теперь в Льеже, а где же мой наставник и духовный отец? Что с ним случилось? А вот что. К нему присоединился новый апостол, какой-то доктор из Тюбингена<sup>862</sup>. Этот доктор жил в одном доме со мною. Мне от него страшно было. Ни-

\* Вы не человек действия. Мы направим вас в парламент. Вы будете там произносить речи, а потом мы отрубим вам голову! — *фр.*

\*\* Всегда готовая к использованию гильотина! — *фр.*

\*\*\* «Заговор Бабефа» Филиппа Буонарроти — *фр.*

\*\*\*\* Да! Иисус Христос был первым республиканцем — *немец.*

когда я не видал подобного лица. Какая-то мрачная тень злодейства лежала на его челе. Живописец, желавший написать образ Каина или Иуды или самого Мефистофеля<sup>863</sup>, не мог бы найти лучшего образца. Бернацкий как-то с ним особенно подружился. И вот эти два апостола, занявши значительную сумму у какого-то жида, в одно прекрасное утро, не спросившись хозяина, ускользнули из Цюриха, и след их простыл. И вот с этими-то людьми я был знаком!

Данте очень трогательно изображает несчастное положение изгнанника. «Конечно, — говорит он, — грустно есть чужой хлеб и всходить и нисходить по чужой лестнице, но еще грустнее жить в том дурном обществе, какому неизбежно подвергается ссылочный».

“Tu proverai si come sa di sale  
Lo pane altrui, e come è duro calle  
Lo scendere e'l salir per l'altrui scale.  
E quel che piu ti graverà le spalle  
Sarà la compagnia malvagia e scempia,  
Con la qua! tu cadrai in questa valle”.

Dante. Paradiso VII.58\*

Эти стихи мне часто повторял мой луганский приятель Грилленцони, жалуясь на дурное общество в Цюрихе. А после я собственным опытом это узнал.

Н.В. Сказка о капитане Файоте и его камердинере будет в следующем №.

### № 107. Ф.В. Чижов — В.С. Печерину

Москва

21 нояб[ря] 1870

Милый мой Печерин. Я начал так часто писать к тебе, что даже боюсь наскучить. В настоящую минуту не могу не писать. Я получил связку твоих писем от твоего племянника Пояркова, и так как сегодня праздник Введения во храм Божией Матери<sup>864</sup>, второе, так как я болен, т[о] е[сть] страдаю при езде, то я не выезжал из дому, а только прошелся недалеко в церковь и потом все читал твои письма. Они меня восхитили. Как хочешь, пиши и пиши: я, может быть, кое-что напечатаю, кое-какие отрывки, но все соберу в одно целое и уже не назову «Похождениями рыцаря печального образа», а назову, как ты назвал: «Мой роман». Это такая прелестная вещь, что совестно было бы мне не тормозить тебя и не требовать, чтоб ты писал и писал непременно. Одного бы хотелось мне, чтоб ты не делал пропусков: петербургская жизнь с ее безалаберным началом, с ее убийственно мертвым окончанием для русских была бы весьма поучительна. Тебя она не занимает, но мы здесь невольно сравниваем с настоящим и невольно спрашиваем, насколько время подвинуло нас. У меня, к сожалению, нет твоей памяти; к тому же мы в математическом факультете шли несколько самостоятельное,

\* «Ты будешь знать, как горестен устам  
Чужой ломоть, как трудно на чужбине  
Сходить и восходить по ступеням.  
Но худшим гнетом для тебя отныне  
Общенье будет глухих и дурных,  
Поверженных с тобою в той долине» — *ит.*

Данте. «Божественная комедия». Рай. XVII. 58–61 (пер. М. Лозинского).

по крайней мере, я сильно любил математику, потому я более был охватываем жизнью. Недавно как-то я нашел свой дневник и в нем прочел, что у меня в университете есть наука и Печерин, за университетом — Шведковская. Я тогда читал «Исповедь» Руссо, и она была для меня M[ada]m Varens<sup>865</sup>. Разница только та, что я как-то страшно хранил свое целомудрие, она желала соблазнить меня и даже однажды спала со мною. Увы! это было только до половины второго университетского курса. Потом ты дойдешь до перехода в католичество, расскажи его с всею искренностью; я помню, как я приехал к тебе и нашел тебя страстным монахом.

Есть еще причина, заставившая меня сегодня писать к тебе, это последние строки твоего письма: «Ради Бога, приезжай сюда летом. Твой приезд сделает важную эпоху в моей жизни». Чем дальше, чем менее делается связей, тем твоя жизнь мне ближе и ближе, ты сам роднее и роднее. Даже только по призыву этих строк я приехал бы к тебе непременно, и если могут остановить обстоятельства, то это одни: я начал вести узкоколейную дорогу от Ярославля до Вологды. Это у нас первая значительно длинная узкоколейная (3 1/2 фута между рельсами, а другие 5 футов) дорога, поэтому если дело потребует моего присутствия, я должен буду отложить. Но, кажется, нет. Этою постройкою, кажется, я окончу мою лихорадочную железнодорожную деятельность и перейду к тихой и постоянной, именно к эксплуатации. Прежде, когда я говорил, что из 100 руб[лей] валового сбора мы полагаем 40 на издержки, а 60 чистого дохода, надо мною чуть не смеялся и очень подшучивал бывший министр путей сообщения Мельников<sup>866</sup>. Теперь, именно прошедшего года, мы издержали не 40 руб[лей] из 100, а всего 29 р[убля] 76 коп[еек] — следовательно, людям, которых обстоятельства нарекли честными (все обстоятельства и среда), тем нельзя не работать.

Знаешь ли, Печерин, как судьба в образе твоей семьи и полудикой обстановки сделали из тебя Дон Кихота свободы и независимости, так та же судьба с колыбели воспитала меня Дон Кихотом в деле любви, страстной любви к России. Жить для нее, отдать ей все до последней капли крови — это руководит всею моею деятельностью. Иногда, как сегодня, случается разлентиться — одна мысль, что я ворую у моей России несколько крупинок работы, заставляет воспрянуть, и тогда легка самая ничтожная работа. По этому одному ты поймешь, что я не льщу тебе, когда передаю восхищение твоим романом; верь или, если ты можешь припомнить мой нравственный образ, то вспомнишь, что, может быть, все было гадко, но лести не знал никогда и не запятнал ею уста мои. Ты прекрасно пишешь, иногда, не знаю уж от чего, у тебя встречается не у места слово *так*, и это я подметил не один раз.

Как различно шло наше детство: у меня отец<sup>867</sup> был строг, но был, безусловно, честен и чист в семейных отношениях; любил труд и нам, детям, ни на минуту не позволял оставаться без труда. Мать<sup>868</sup>, женщина умная, по-тогдашнему образованная, но довольно испорченная грошово-аристократическими замашками, потому что была воспитана в доме родных по матери — графини Толстой. Зато бабушка<sup>869</sup> была самая простая женщина, но такая, что когда она умерла, посторонние приходили приложиться к ее руке. Это была олицетворенная доброта и справедливость. Она меня любила страстно, и вообще я был сильно балован. Обнимаю тебя, мой милый, очень мне милый Печерин.

Чижев.

P.S. Ты нападаешь на войну; да кто же ей сочувствует, особенно в том отвратительно подлом виде, в каком ведут ее теперь твои любезные немцы? Слава Богу,

кажется, дело наше обойдется без войны, хотя как ни верти, а сегодня или завтра, днем позже, днем раньше Восточный вопрос явится на сцене. Пора славянским племенам выйти на свет Божий.

«Вековать ли нам в разлуке,  
Не пора ль очнуться нам?  
Не увидят ли хоть внуки  
То, что снилось отцам?»<sup>870</sup>

Страшное угнетение терпят славяне в Турции, и только предоставь их самим себе, они справились бы с турками; но ваша Англия подбивает всех сторожить за ними и за нами. Никто у нас не думает о расширении пределов и без того чересчур широких; но можно ли равнодушно смотреть на страшные страдания болгар, босняков, герцеговинцев, да и чехам, и русским Галиции, и словакам никак не лучше, по крайней мере в гражданском отношении — и все больше из-за того, что это родное племя нам, русским. Что не говори, как не действуй правительство, а мы не можем не считать их братьями.

Еще несколько слов на твои нападки на наших нигилистов. Как хочешь, их должно жалеть, им сострадать, а никак не преследовать их. Посей рожь, родится рожь; посади картофель, вырастет картофель. Правительство сеяло разврат лжи, лицемерия, обмана, неучевства, и родились ложь, лицемерие, обман, неучевство. Между тем молодая природа просится жить; ни к чему она не приготовлена, ничего не знает, труда не любит; тут нигилизм, коммунизм и все измы предлагают свои услуги: учиться не нужно, работать не следует, и вот у нас таких Бернацких тьма тьмущая. Когда я был редактором «Вестника промышленности» и газеты «Акционер», у меня этих господ было довольно. Они обыкновенно являются и рекомендуют себя: «Я такой-то, не знаю, могу ли быть Вам полезен, потому что я до конца ногтей социальных убеждений и не перемену их ни за что в мире». Я обыкновенно принимаю их весьма радушно: «Это, господа, не мое дело, я не посягаю ни на чьи убеждения; будете работать, я очень буду рад работникам. Журнал мой чисто фактический, он не допускает теорий, вероятно, мы не будем иметь повода к раздору». Но вот тут-то и беда. Придут вечером и проводят в разглагольствии чуть не до утра. Я уходил в спальню часов в 11 1/2 и ни за что в мире не оставался долее. «Господа, я должен рано вставать» и откланяюсь. Придут утром, я с первого раза объявил, что утром у меня разговор по программе: *Quis? Quid? Ubi? Quisbus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?* Далее ответов на вопросы я не иду. Они потешались, подсмеивали[сь], но поневоле подчинялись моей неумолимой непреклонности. Только работа шла сильно плохо. Одного я отправил в село Иваново, в котором до 70 фабрик бумагопрядильных и бумаготканых и пр[очее]; производят они более чем на 30 миллионов. Я ему поручил сделать подробное описание. Не тут-то было. Прислал мне наскоро набросанные отрывочные сведения, так что если бы я сам не знал хорошо этого села, пришлось бы бросить всю работу. Да вдобавок надул меня. Товарищ его в извинение его говорил мне, что он не надул, но что наши убеждения различны — они не признают права собственности. Я говорю, зачем же он не сказал мне; Вы, например,

\* Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким образом? Когда? — *лат.* Риторическая схема вопросов, предназначенных для выяснения обстоятельств какого-либо действия.

поступаете честно, Вы открыто проповедуете Ваши убеждения. Потом же я позвал моего слугу и сказал ему: «Пожалуйста, не оставляй здесь никогда одного Алексея Александровича и смотри, чтобы часы и все вещи были целы». Мой коммунист смутился и покраснел. Я препокорно говорю ему: «Чего же Вы смущаетесь? Я никак не против Ваших убеждений, но, в свою очередь, охраняю свое против нападков Ваших убеждений, мною тоже не признаваемых». Слава Богу, теперь немного прошла дурь, хотя и сделала многих своею жертвою, особенно бедных девушек.

**№ 108. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

24 декабря н[ового] ст[иля] 1870

Надеюсь, любезный Чижов, что, по крайней мере, доктора заставят тебя выехать за границу. Мне очень бы хотелось знать техническое имя твоей болезни. Я немножко смекаю в медицине и настолько знаю, что беспрестанное занятие не есть наилучшее средство для излечения недуга. Впрочем, меня восхищает твоя деятельность: ты мало-помалу распространяешь свои мирные завоевания. Может быть, Бог даст мне дожить до того времени, когда вся Россия будет покрыта густою сетью железных дорог как Англия и Соединенные Штаты. Забавно, что ты советуешь мне познакомиться с Евгением Ивановичем Поповым. Я *был* с ним знаком во время оно. В 1848 я встретился с ним у директора государственного банка *Шемюта* (католика), приехавшего в Лондон по каким-то банкрутским делам<sup>871</sup>. Мы разговорились по-французски. Я был тогда в самом разгаре католицизма и либерализма и потому высказал все, что у меня было на душе против Николая и России вообще. А тут на беду случилось, что камердинер, разумевший по-французски, тут же укладывал чемодан. Они перепугались и просили меня говорить потише: вероятно, они думали, что вот, может быть, этот мошенник донесет в Петербург, что мы слушали возмутительные речи в Лондоне. В то время я был в моде у лондонских католиков, и Попов с сыном приходил слушать мои проповеди. В 1851 покойный брат Федор Печерин приезжал ко мне в Лондон; он в воскресенье отправился к обедне в посольскую церковь и имел разговор с батюшкою. Евгений Иванович с большою похвалою отзывался о моих *способностях*, но жаловался на вольные речи. «Конечно, — говорил он, — всякому вольно следовать своей совести в деле религии, но зачем же нападать на правительство?» С тех пор я никаких сношений с ним не имел; но мне приятно слышать, что он доселе сохранил доброе обо мне мнение. Кстати о книгах: мне очень хотелось бы прочесть *Самарина о «Иезуитах»*<sup>872</sup>. Самарин был моим слушателем в Москве<sup>873</sup>. Очень хорошо помню рыженького мальчика, сидевшего на первой скамье прямо против моей кафедры, где я разглагольствовал о Телемаке и Улиссе. Я два раза был у них в доме и помню его рыженькую сестрицу<sup>874</sup>. Я обедал у них с Крюковым<sup>875</sup>. Мне ужасно было досадно, когда его маменька<sup>876</sup> спросила меня: «Неправда ли, что Москва очень похожа на Флоренцию?» Это меня просто взбесило. Как же это сравнивать Москву с Флоренциею? Мне это казалось варварством, квасным патриотизмом и пр[очее].

Вижу в “Athenaeum”, что у вас 1-го января появится новый журнал «Иллюстрированное издание переводов лучших иностранных писателей», издаваемый исключительно *дамами*<sup>877</sup>, честь и слава русским женщинам! Я их обожаю. Одна

из них пишет прекрасные статьи в “Rivista italiana”\*. Долголетним опытом я узнал, что женщины вообще лучше мужчин. Мужчины — ужасные мошенники и подлецы. Кстати ты пишешь по-дамски: важнейшая часть твоего последнего письма заключается в P. S.

У нас в Англии «Московские ведомости» считаются вернейшим представителем общественного мнения в России: правда ли это?

Ты заставил меня расхохотаться рассказом о *твоем* коммунисте. Счастливая мысль приказать слуге смотреть за часами и другими вещами, чтобы предохранить их от принципов Алексея Александровича! Я прошел через все возможные философские системы и верования, но доселе не могу понять, как свобода и самостоятельное развитие человека могут существовать без собственности. Коммунизм — чисто французское произведение: у них коммунизм просто казарменная жизнь или жизнь кофейни, источник всех зол во Франции. Основа государственного быта — семейство; оно — святилище и твердыня свободного человека, последнее убежище от гнета общества. А семейство немислимо без *своего* приюта, *своей* святыни, *своих* Ларов и пенатов<sup>878</sup>. Человеческие общества *спаваются* не отвлеченными понятиями, а узами крови. Народы живут не *чистым разумом*, а любовью, ненавистью и всеми возможными страстями, разыгрывающимися в области кровных связей. Вот почему вы сочувствуете славянам под гнетом Турции, и вопреки всем доводам чистого разума все ж таки вы пойдете на Константинополь, чего вам от сердца желаю и с праздником поздравляю. Помнишь ли это малороссийское приветствие?

Христос родился,  
Ирод скрутился,  
И вам того желаю  
И с праздником поздравляю.

Согласись, что болтовня дальше идти не может.

Твой Печерин.

#### Сказание о капитане Файоте и его камердинере.

«...В часы,  
Свободные от подвигов духовных,  
Описывай, не мудрствуя лукаво,  
Все то, чему свидетель в жизни будешь».  
«Борис Годунов»<sup>879</sup>.

В лето от Р. X. 1838-е в городе Льеже в Королевстве Бельгийском жил морской капитан английской службы, он же был на половинном жалованье, а имя ему Эдуард Файот. В старые годы у него был свой собственный корабль, и с ним он объехал полсвета, да и в Питере побывал, откуда и вывез приятное воспоминание о некоем квартальном<sup>880</sup>, вытянувшем у него не одну синенькую<sup>881</sup>. У капитана был камердинер, лихой парень 22-х лет — кровь с молоком — бельгийского происхождения, имени и отчества не помню. Капитан был Сократ; а камердинер был, положим, нечто вроде Алкивиада<sup>882</sup>. Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Итак, благословясь, начнем.

\* «Итальянское обозрение» — *ит.*

Глава I. О капитане и нечто о бороде.

Вашей милости известно, что я вышереченному капитану Файоту подал челобитную и приложил к ней руку с заветным знаком: G.O., что по-нашему значит Великий Восток. В ответ на мое писание капитан прислал несколько листочков собственного сочинения для перевода на французский язык. Знать, он хотел прежде изведать, силен ли я во французской грамоте. Я тотчас вскарабкался наверх в мою конуру, где кроме моей кровати еще стояли две-три другие, поставил маленький столик перед постелью, достал бумаги, чернил и перо и с особенным удовольствием принялся за более сродное мне ремесло. Работа шла как по маслу, перевод вылился полный и круглый по всем правилам французской фразеологии. Мои новые приятели Камбель и Макналли пришли меня навестить: «Ну что, как ваш перевод идет?» — «Да он уж готов». — «Неужели? очень хорошо! пойдём же вниз да выпьем по чарочке предварительно, а там вы нам прочтете». Мы пошли вниз в питейную и выпили по чарочке предварительно; я сел на стул, а мои два Аристарха<sup>883</sup> стояли передо мною. Я читал с чувством, с толком, с расстановкою<sup>884</sup> как будто перед какою-нибудь академиею наук. Камбель, знаток французского языка, воскликнул: «Прекрасно! отлично! Дайте, я сейчас же отнесу это к капитану». Он отправился с рапортом к капитану, а капитан через него прислал мне *пять франков*. Не могу описать, какое это было сладостное ощущение. Это были первые деньги, заработанные моим честным трудом. Хозяин тотчас подбежал и подал мне счет. Я с ним расплатился, и у меня еще осталось два франка с небольшим. После этого я вырос несколькими вершками, выпрямился, прибодрился. Я чувствовал, что я уже не бродяга, не нищий, а порядочный человек, имеющий деньги в кармане и платящий свои долги! В избытке блаженства, с переполненным сердцем я пошел прогуляться и зашел на толкучий рынок в *Hôtel de ville*\* купить себе — что вы думаете? — пряник? — или сосульку? — нет! не угадали! я зашел купить — стереотипное издание греческого классика — помнится, Ксенофонта “*Memorabilia Socratis*”<sup>885</sup>, т[о] е[сть] первое, что мне попало под руку. С этою покупкою я воротился домой и бросился на постель. После двухмесячной бродяжной жизни мне хотелось освежить себя умственным занятием, отдохнуть, понежиться немножко — хоть с этим пошлым рассказом о пошлом старике Сократе. Уединение и тишина не долго продолжались! Слышу, кто-то, кряхтя, тяжелыми стопами всходит по лестнице. Отворяется дверь — входит солдат в полном вооружении, в кепи, в шинели, с ранцем на спине, с ружьем в руках. «*Sapristi!*\*\* Как же я устал!» Он тотчас сложил свои воинские доспехи и бросился на постель. Отдохнув немножко, он посмотрел на меня очень пристально, улыбнулся, кивнул и, поднося горизонтальную руку ко лбу в знак приветствия, сказал: “*Bonjour, camarade!*” “*Bonjour, monsieur*”<sup>\*\*\*</sup>, — отвечал я. — «А ведь я сейчас угадал, что вы республиканец!» — «Как же вы это угадали?» — спросил я. — «А вот по этому», — указывая на мою бороду. В то время борода была несомненным знаком республиканца или сенсимониста<sup>886</sup>. «Ну что ж, брат! по рукам! Ведь и мы виды видали, по свету ходили, да и за свободу сражались!» — «Очень рад, — сказал я, протягивая руку, — встретиться с товарищем и собратом по республике. Ну, скажите ж, где вы этак сражались за свободу?» — «Да уж где мы не перебивали? Мы и в Польше были». — «Неужели?

\* Ратуша — *фр.*

\*\* Черт возьми! — *фр.*

\*\*\* Добрый день, товарищ! Добрый день, сударь! — *фр.*



как же вы туда попали?» — «Мы на кораблях туда ходили». — «Помилуйте! как же это? — в Польшу-то на корабле!» — «Par dieu!»\* мы стояли на якоре в Лиссабоне» — «А! понимаю: вы были в армии Дон Педро!»<sup>887</sup> Очень хорошо! Итак, да здравствует республика и — repeat Geographia!\*\*

Еще осталось у меня несколько сантимов: на что бишь я их истратил? Погудите — а! теперь припомнил; я отправил франкированное письмо в Мец к аббату Бюро. В этом письме я объяснил ему причины, помешавшие мне явиться к нему в назначенный день по обещанию; благодарил его за данные мне 15 франков и обещал возвратить их при первой возможности и заключил крайним сожалением о том, что мне не позволено было остаться во Франции и — “participer aux grandes destinées d'une noble nation”\*\*\* Такова была моя тогдашняя риторика! Мне и в голову не приходило, что Россия-то именно та *свежая* держава, которой великие судьбы только что начинаются, а Франция — отжившая свой век нарумяненная маркиза, о которой можно сказать то же, что Беранже сказал о Европе вообще<sup>888</sup>:

“Une vieille sur des béquilles  
Qui ne croit plus à la vertu”\*\*\*\*.

Но таков был дух нашего времени или, по крайней мере, нашего кружка: совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и оканчивая Jardin Mobile! Через два года после этого (1840) аббат Бюро, услышав о моем *обращении*, написал очень дружелюбное письмо к моему духовному отцу аббату *Манвису*: он старался всеми силами привлечь меня в Мец; сулил мне золотые горы; je lui ferai un sort\*\*\*\*, писал он; но мой sort или жребий был же решительно брошен в другую сторону; итак, я в Мец больше не возвращался.

Но я уж слишком заболтался, а капитан давно меня ждет.

Камердинер отворил дверь: «Милости просим, пожалуйста. Soyez le bienvenu!\*\*\*\*\*»

Капитан Файот был человек лет 50-ти, хорошо вымытый и выбритый англичанин в черном завитом парике. На этом довольно обыкновенном лице сиял какой-то тихий отблеск милого простодушия и неистощимой доброты сердечной. Он принял меня очень, очень радушно, несмотря на то отвращение, с каким того времени англичанин должен был смотреть на небритого человека. Но капитан был выше этих предрассудков, тем более что он принадлежал к радикальной партии и понимал значение бороды. В одном только случае он немножко спасовал и сделал маленькую уступку: к нему приехали из Англии какие-то родственники — долговязый Révérend в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках и столь же длинная пожилая мисс. Тут он просил меня не приходить к нему в эту неделю. «Потому что, вы знаете, — сказал он с милым замешательством, — у них свои предрассудки». Он очень боялся, чтобы они не проведали, что он в близких сношениях с небритым человеком. С тех пор все переменялось в Англии. После Крымской войны борода вошла в моду и сделалась не только не подозрительною, но даже признаком чистейшей аристо-

\* Черт побери! — *фр.*

\*\* Да погибнет география! — *лат.*

\*\*\* Принять участие в великих судьбах благородной нации — *фр.*

\*\*\*\* «Старуха на костылях,

Не верующая более в добродетель» — *фр.*

\*\*\*\*\* Я обеспечу его судьбу — *фр.*

\*\*\*\*\* Добро пожаловать! — *фр.*

кратической крови. Герцог Кембриджский носит прекрасную окладистую бороду, а у здешнего вице-короля графа Спенсера<sup>889</sup> огромная рыжая борода как-то веером, точно как у какого-нибудь деревенского старосты. Когда-то у нас высшие чиновные классы перестанут *бриться*? — что Герцен называл *пошлым варварством*. И действительно, в этом нам не перещеголять американских дикарей: они не только не бреются, но еще выдвывают узоры на лице; вот вам бы еще до *этого* совершенства достигнуть! Наполеон I пророчествовал России всемирное владычество, когда у нее будет царь с бородой (*un czar à barbe*): кто знает? Бог даст, мы и до этого доживем!

Но довольно о бороде: теперь ее значение известно целому свету.

Капитан приказал камердинеру дать мне сюртук и рубашку. Сюртук, с позволения сказать, был не первой молодости — немножко потертый на локтях и с прорехами под мышками, но дареному коню в зубы не смотрят. Все ж таки я думал, что в этом наряде я имею вид порядочного человека, т[о] е[сть] *présentable*! Но я вскоре был разочарован. Нашелся какой-то добрый поляк, очень скромный и степенный человек в долгополом семинарском сюртуке, дававший разные уроки в городе. Он принял во мне живейшее участие и отрекомендовал меня какой-то даме для английских уроков. Я пошел ей представиться. Она осмотрела меня с головы до ног, слегка улыбнулась — в глазах ее было написано по-русски: *хорош гусь*! а по-французски она отвечала: «Очень хорошо, я за вами пришла!» И никогда не присылала.

Капитан тотчас посадил меня за работу. «Да сделайте милость, пишите поразборчивее и самыми крупными буквами, так чтоб не трудно было читать». Бедный капитан! он думал, что в *ложе* так мало обращают внимания на его речи именно потому, что они не довольно четко переписаны. Я припомнил свои занятия во *Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста* и принялся писать не только канцелярскими, но даже евангельскими<sup>890</sup> буквами. Сначала я работал в особенной комнате, но после он посадил меня в свой кабинет на мягком комфортабельном канapé, заваленном бумагами и книгами. Это было раздолье. Иногда работы было немного — я читал какой-нибудь роман или чинил перья — точно какой-нибудь чиновник иностранной коллегии. Так я проводил целые дни в тишине этого кабинета. На этом мягком канapé развились и созрели многие и многие мысли, из которых сложилась вся моя последующая жизнь.

А капитан сидел за своим бюро и писал, писал.

## № 109. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

С.-П[етер]бург  
2 января 1871

Получил я от тебя письмо именно тогда, когда только одна усиленная работа не дала мне возможности попенять тебе за долгое твое молчание. Верь мне, что твои письма стали для меня необходимостью, и, кроме писем, я не могу нарадоваться тому, что с твоим именем свяжется память о человеке, сослужившим службу России. По этому последнему обстоятельству я всегда с наслаждением получаю страницы твоих походов.

Поздравляю тебя с Новым годом, у вас уже прошедшим несколько дней, а у нас только что начавшимся. Так давно мы не видались, что я не знаю, чего и пожелать тебе, и, судя по себе, всего больше желаю здоровья. Я задал себе непременною задачею побывать у тебя в нынешнем году и, как кажется, остановки быть не может. Здоровье

мое скверно и скажу тебе, что всего менее я забочусь о названии моей болезни: знаю, что страдания сильные, именно боль и жжение в стволе. Медики, т[о] е[сть] собственно хирурги, осматривали мои мочевые каналы катетером и не нашли ничего; потом терапевты разлагали мочу и не нашли ни белка, ни слизи, ни крови, а между после всякого мочеиспускания минуту или две спустя боль страшная. Рад бы я поменьше заниматься, но по пословице: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Так сложились обстоятельства, что теперь решительно не на кого мне сложить своего дела.

*5 января.* Страдания мои весьма порядочные и по всей вероятности меня пошлют в Виши, а к тому времени авось либо бойня уймется, и пруссаки пресытятся кровью. Так гадко читать газеты, так совестно за дипломатию, которая может сделать все, когда вздумает избавить мир от нескольких сотен тысяч самого лучшего цвета народонаселения, и не может пошевелить пальцем, чтоб прекратить самое отвратительное кровопролитие. Теперь и у нас Прусская война вызвала реформу в порядке воинского служения<sup>891</sup>. На днях объявили проект переформирования войска. В военную службу будут брать всех; это прекрасно в отношении к уравниванию повинностей; но вменяют в непрременную обязанность каждому до 36 лет прослужить 15 лет воином; это страшная дичь. Сделать войну целью жизни, — это было бы кровожадно и для тигров; медведи никак бы не решились на такую штуку. Живи единственно для того, чтоб убить хоть одного в свою жизнь, это мне напоминает черногорцев. Когда я там был, один почтенный старик спрашивает меня: «А что, Васильич, ты не убил ни одного турка?» — «Нет» — «А и шваба<sup>892</sup> ни одного не убил?» — «Нет, не убил.» — «Жаль мне тебя, ты такой добрый человек, а не убил ни турка, ни шваба, подожди, я как-нибудь устрою». Потом дни через два он отзывает меня в сторону и говорит: «Сегодня мы узнали, что турки гонят 500 баранов, мы пойдем отбивать их, я тебя возьму ночью с собою и на такое хорошее место поставлю, что ты наверно убьешь турка». Тогда мне это казалось дико, а теперь по нравственным понятиям Бисмарка это значит быть передовым человеком. Как хочешь, а скверно жить в такие времена.

Твои письма прелестны: каждое из них я перечитываю (я разумею твои похождения 1837 года) по нескольку раз в разных слоях общества, и все единогласно слушают с наслаждением. Не ленись, брат, это нехорошо. Скоро, я полагаю, ты меня еще похвалишь за развитие моей деятельности. Что если бы ты, вместо того, чтоб присылать по письму в месяц, присылал бы по письму в неделю? Я все думаю, что ты в стесненных обстоятельствах, и это меня сильно беспокоит: когда у меня не было ни гроша, дело другое, а теперь было бы скверною гордостью с твоей стороны не сказать просто, что тебе нужны деньги. Сорок лет неизменных отношений дают кое-какое право на требование полной искренности.

Твой Чижов.

## № 110. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
10 января 1871

Любезнейший племянник Савва Федосеевич.

Мы вас опередили. У нас давно уже настал новый год, и потому я вас и любезную племянницу с этим поздравляю, пожелав вам всех благ, и вместе с тем спешу поблагодарить вас за ту любезную готовность, с какою вы переслали мои записки к Ф. В. Чи-

жову. Он пишет, что многие в Москве их с удовольствием прочитали. Чижев, кажется, хочет меня *целиком* напечатать. Нечего делать, надобно покориться судьбам. Со мною случилось то, о чем ни думал, ни гадал, ни во сне мне не снилось, чтобы мое имя снова появилось в русской печати. Если план Чижева состоится, то лучшим эпитафием к этим запискам были бы следующие пророческие слова, написанные в 1834:

«Гори, гори, мой факел томный,  
Но вспыхни пред концом живей,  
И на мой жребий грустный, темный,  
Сиянье тихое пролей!  
Вся жизнь моя — одно желанье,  
Несбывшийся надежды сон,  
Или художника мечтанье,  
Набросанное на картон».

На ваши замечания касательно процесса фениев Аллена и др[угих]. Я не могу войти ни в какие юридические соображения, это по вашей части; но приведу только тот факт, что здесь, в Ирландии, никто, даже самые ревностные патриоты, не сомневаются в виновности этих лиц, и потому-то их и чтут как мучеников, пострадавших за святое дело, т[о] е[сть] за убийство полисмена; если бы они были невиновны, никто бы о них и доброго слова не сказал<sup>893</sup>. Вы думаете, что русские присяжные их бы оправдали: это возможно; но, вероятно, они сделали бы это по тем же причинам, по каким парижские присяжные нашли смягчающие обстоятельства (*circonstances atténuantes*\*) в деле Березовского<sup>894</sup>, т[о] е[сть] из желания *насолить* предрешающим властям. Вообще в защиту Англии я должен заметить, что строго конституционному правительству, каково английское, трудно справляться с таким народом, как ирландцы. Возможно ли законным образом поступать с народом, не признающим никакого закона и смеющимся над святостью присяги каждый раз, когда дело коснется их народности или их веры. Вот вам образчик. Один господин среднего класса, представитель католического большинства, сказал в гостинице за общим столом в моем присутствии следующие слова: «я не признаю над собою никакой другой власти, кроме власти нашего духовенства». За это одно его стоило бы повесить: в этих словах заключается целая бездна анархии. Мне непременно хочется высказать все, что у меня есть на душе касательно этого предмета для того чтобы после моей смерти не было ни малейшего сомнения в моем образе мыслей. Я живу в совершенном уединении, ни во что не мешаюсь, не принадлежу ни к какой партии и, следовательно, вижу вещи яснее прежнего. И вы можете быть уверены, что я *очень хорошо знаю* то, о чем говорю. Слушайте же и зарубите себе на стенке:

«Католицизм с его новейшими развитиями и притязаниями несовместим с порядком и благосостоянием никакого благоустроенного государства. Католическая церковь теперь в открытом бунте против всех предрешающих властей и всего современного государственного строя. Она сама это во всеуслышание провозгласила в пресловутом Силлабусе<sup>895</sup>, где она предаёт анафеме свободу совести, слова и печати, представительный образ правления, современную науку, словом все, что составляет жизнь народов. В подтверждение этого возьмите очевидный фактор, что Италия, Испания, Австрия никак не могут упредить свой государственный быт иначе, как посредством полного разрыва с папою<sup>896</sup>».

\* Смягчающие обстоятельства — *фр.*

«С года на год я слежу и вижу, что католики постепенно превращаются в какую-то узко и тупоумную неугомонную секту точно как жида».

Здесьнее правительство с истинно британским великодушием и щедростью основало превосходные высшие и нижние учебные заведения для всех вероисповеданий безразлично. Нет! не хотим! подавай нам свои католические школы! Вместе с еретиками учиться не хотим! Точно ваши евреи в Каменец-Подольске! Вследствие того уровень воспитания и духовенства и мирян значительно упадет с году на год, что особенно заметно в так называемых католических газетах, отличающихся пошлостью и безграмотностью.

Мне кажется, это последний *фаз* в истории религий, когда они превращаются в *окаменелости* (*pétrifications*\*). Тогда даже свежая, все разъедающая атмосфера разума и мысли не имеет на них никакого влияния, и они на веки веков остаются окаменелостями.

Впрочем, Ирландия — последний обломок средних веков, носящийся по водам в ожидании, пока нахлынет *девятый* вал цивилизации и поглотит ее окончательно. *Dixi et liberavi animam meam*\*\*!

Обнимаю ваших милых детей и особенно благословляю новорожденного Михаила.

Ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### № 111. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

25 января н[ового] ст[иля] 1871

Все, что ты говоришь против войны, очень хорошо; но не забудь, любезный друг, что вся история человеческого рода составлена из военных действий. Начнем с Библии. Эта священная книга преисполнена бесчеловечно-кровопролитными битвами, а вдохновенные псалмы Давида, что мы с таким умилением распеваем ни что иное как военные песни, дышащие непримиримой ненавистью к врагам и жаждою их конечного истребления. Помнишь ли, как нам преподавали историю в гимназии или в университете? Все на тот же камертон: военная слава! Марафон и Саламина, Пелопонесская война, Пунические войны, походы Цезаря, румянцевские и суворовские подвиги<sup>897</sup> — все на этот напев:

«Гром победы раздавайся!  
Веселися, храбрый Росс!  
Звучной славой украшайся!  
Магомета ты потрес!»<sup>898</sup>.

О развитии законодательства, наук, искусств, промышленности и торговли говорилось как-то мимоходом, где-то на конце в прибавлении... Ведь и ваши любезные

\* Окаменелости — *фр.*

\*\* Я сказал и тем освободил свою душу! — *лат.* Источник: Библия, книга пророка Иезекииля, XXXIII. 9: «Если ты вразумлял нечестивца, а он не обратился от пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты освободил душу свою».

французы смеются над англичанами, называя их лавочниками, потому что у них нет воинственного расположения духа. Америка тоже показала, что и *мирные* республики могут быть также кровожадными, как и любая монархия. Что же тут делать? Как этому помочь? Покойный Герцен при свидании со мною в Лондоне выразил ту надежду, что, может быть, со временем найдется средство каким-нибудь химическим процессом переделать человеческий мозг на более мирный лад: ну, это было бы прекрасно; но, к сожалению, Герцен ушел в вечность, не оставив по себе рецепта, а мы так и остались с нашим старым дрянным мозгом, вот поэтому-то

«Граф фон Бисмарк куролесит  
И по-прежнему развод!»<sup>899</sup>

Очень забавно, что при этом случае некоторые господа приглашают нас соотноситься с евангельским учением. Надобно быть ужасным ослом, чтобы не видеть, что Евангелие никогда не имело в виду устройство гражданского общества: оно просто — монастырский устав для некоторых благочестивых философов, Эссенов<sup>900</sup>, отшельников, живущих вдалеке от человеческого общества: для таких людей, разумеется, ничего не стоило и последнюю рубашку отдать, скорее чем идти тягаться перед судом, или подставить щеку номер 2-й, когда номер 1-й получил пощечину<sup>901</sup>; но это невозможно в гражданском обществе: тут требуется правосудие, наказания и награды и *sum cuique*\*.

А теперь мне хочется предложить тебе очень деликатный вопрос; и если можно или пером написать, или в сказке сказать, то, пожалуйста, сообщи мне: что у вас думают о наследнике<sup>902</sup>? и чего от него ожидают? Вот тебе еще доказательство, что люди не одним чистым разумом живут: по чистому разуму, кажись, какое мне дело до вашего наследника, а нет! русская кровь вопиет и непременно требует сведений о том, что ожидает Россию в будущем.

Твои железные дороги напомнили мне анекдот, за достоверность которого ручаюсь. Почивающий в бозе Папа Григорий XVI сказал: «Пока я живу, не будет в Риме ни газу, ни железных дорог, ни тротуаров, потому что я непременно хочу сохранить Риму его древний характер». Вот они! Ну, что же вы сделаете с такими людьми? А они же еще непременно хотят царствовать в 19-м столетии! Это — вопиющий анахронизм. Не можете ли вы где-нибудь и как-нибудь упрятать Папу? Теперь, я слышу, происходят презабавные проделки. Христов Наместник (Халиф) Святой Отец старается всеми силами задобрить нового германского императора<sup>903</sup> (несмотря на то, что он протестант). «Нельзя ли как-нибудь, ваше Императорское Величество, этак, знаете, для блага ваших католических подданных?» т[о] е[сть] это значит: нельзя ли как-нибудь послать крупную армию с нарезными пушками и игольными ружьями да пролить еще новые потоки крови для вящей славы Христа и его Церкви? Вот тебе и Евангелие!

Ну, что ж ты мне ни слова не сказал о Петербурге? Имеешь ли ты какие сношения с Никитенко? и не заезжал ли к Редкину? Ведь Петербург мне как-то сроднее Москвы. А что делается в *Чертковской* библиотеке<sup>904</sup>? В “*Athenaeum*” был очень хороший обзор русской литературы за прошлый год, где, между прочим, упоминается о трудах *неутомимого* г[осподина] Бартенева<sup>905</sup>.

Я имею неограниченное доверие к английским медикам: мне кажется, что лучше их в целом свете не найдется. Если приедешь, то я советовал бы тебе обратиться к

\* Каждому свое — *лат.*

кому-нибудь в Лондоне или здесь, напр[имер] к знаменитому Корригану<sup>906</sup>. Ведь это сущий позор, что ваши доктора не могли открыть причины такой сильной боли.

Если телеграммы не соврали, то 25 января навеки останется знаменитым в истории: *Париж сдается на капитуляцию*<sup>907</sup>. *Esse novus saeculorum nascitur ordo!*\* Это просто дух захватывает.

Твой В. Печерин.

«Глава о капитане и пр[очее] продолжение».

Капитан был человек популярный: к нему часто заходили по утрам знакомые посидеть, потолковать о том, о сем, особенно о политике. В то время в пущем разгаре был спор между либералами и католиками, особенно по случаю предложения в палатах — выдать архиепископу мехелнскому<sup>908</sup> 40000 франков на *первый подъем* для получения кардинальской шляпы в Риме. «Ну, скажите! на что это похоже? — говорил капитан. — Народ должен платить 40 000 франков за одну шляпу для этого господина. Пойдите-ка на зеленый рынок, там сидят дюжие дебелые фламандские бабы, у них отличные шляпы с широкими полями — настоящие кардинальские: их стоит только перекрасить в красный цвет, и все это будет стоить несколько франков». — Вот этак капитан подшучивал над его высокопреосвященством. Во время этих бесед я держал свою позицию, т[о] е[сть] сидел как столоначальник<sup>909</sup> за своим столом с пером в руке; но, впрочем, принимал участие в общем разговоре и в бутылке хорошего бордо, каким капитан обыкновенно потчевал своих гостей.

Однажды пришел к нам вовсе неожиданный посетитель: толстый, приземистый, широкоплечий, смуглый, краснощекий, весь в прыщах миссионер с очевидным намерением обратить капитана в *истинную веру*. Капитан принял его очень учтиво, поднес ему стакан славного бордо и завел общий разговор о веротерпимости, христианской любви и прочее. Миссионер был так заколдован любезностью хозяина, а, может быть, и его вином, что, посидевши немножко и допивши свой стакан, он раскланялся и удалился восвояси, не заикнувшись ни слова об истинной вере. Я внутренне хохотал, а вино в самом деле было хорошее. Капитан опять сел за свое бюро и писал, писал... Однако ж пора вам сказать, что такое он писал. Произведения его не отличались оригинальностью: он просто вырезал лоскутки из проповедей Блэра<sup>910</sup> да из передовых статей радикальной газеты “Weekly Despatch”, сшивал их белыми нитками и потом давал мне выгладить утюгом и придать французский фасон; но я этим не довольствовался, а иногда на этом поле я сам от себя вышивал новые узоры, т[о] е[сть], говоря без фигур, я вставлял в этот перевод целые фразы и тирады собственного сочинения и самого ярко-красного цвета. От этого происходили презабавные сцены в масонской ложе. Почтенные члены были вне себя от изумления, никак не могли понять, откуда взялась у капитана такая необычайная прыть. Некоторые даже нашли нужным серьезно ему заметить, что он слишком далеко увлекается своими революционными идеями. А он ни душой, ни телом не виноват. Все это было дело секретаря. Не правда ли, и у вас это иногда случается? Он сам мне рассказывал об этих сценах не без некоторого самодовольствия. Это очень льстило его добродушному самолюбию, что его принимали за большого революционера. Наконец, по английской пословице, *выпустили кошку из мешка* (the cat out of the bag), тайна открылась, и я сделался известным целому городу своим знанием французского языка.

\* Вот рождается новый порядок времен — *лат.*

Этим, правда, не мудрено было блеснуть в Льеже, где даже газеты издавались каким-то безграмотным людом и отличались своею пошлостью и грамматическими ошибками. Зато уж я неусыпно трудился, изучая la Grammaire des Grammaires\* так, чтоб не сделать ни малейшего промаху против правил языка. Вследствие приобретенной мною известности пастор реформатской церкви — имени не помню — обратился ко мне с просьбою предпринять перевод книги Штрауса “Das Leben Jesu”<sup>911</sup> на французский язык. Я тотчас согласился по-русски, т[о] е[сть] на *авось*, нимало не принимая в соображение трудности этого предприятия. Когда я перевел один печатный лист, прежде, нежели идти далее, нашли нужным посоветоваться с каким-нибудь сведущим литератором. Таковым считался в Льеже некто г[осподин] Фурдрен (Fourdrin), автор нескольких драматических пьес в романтическом роде. Он подал свое мнение: «Я полагаю, что это очень верно с подлинником; ошибок против грамматики нет; но все ж таки это не по-французски». “Ce n’est pas français”. — И он был совершенно прав. Такая книга, как Штрауса “Leben Jesu”, вовсе непереводаема. Ее надобно передумать французскою головою, пересочинить и переложить на французские нравы, — что после и было сделано, кажется, г[осподином] Литтре<sup>912</sup>. Несмотря на неудачу, пастор заплатил мне за этот печатный лист 20 франков! Это был первый большой куш, полученный мною сразу. Но у меня тут был двойной выигрыш: это было началом моего знакомства с Фурдреном, знакомства, превратившегося после в теснейшую дружбу. Фурдрен был отчаянный республиканец, но вместе с тем благороднейший человек во всех отношениях. Он выдумал средство помогать мне самым деликатнейшим образом, так что я долго даже и не подозревал, что от него получаю пособие. Но о нем поговорим позже. Он заслуживает особенной главы.

Капитан Файот был в полном смысле *человек народа*, homme de peuple. Иногда по вечерам он, подобно Гарун-Ар-Рашиду, переодевался в синюю блузу и отправлялся в кофейню, где обыкновенно собирались ремесленники и рабочие<sup>913</sup>. Тут он их потчевал пивом и беседовал с ними об их нуждах и о средствах улучшить их состояние, а иногда и практически помогал им: сунет тому или другому франк и полфранка в руку. Да и со мною он точно так же обходился, как с ними. Однажды он сказал мне: «Сегодня воскресенье, работать не годится; вот вам полфранка, пойдите прогуляться за город да выпейте кварту пива за мое здоровье» — что я буквально и исполнил.

Капитан давал мне 5 франков в неделю, а под конец дал 30 франков сразу. Больше от него требовать было невозможно. Средства его были очень ограничены, а просителей у него была бездна, потому что на материке воображают, что каждый англичанин непременно должен быть богачом. Иногда я у него обедал, но обед его был очень, очень скромный.

Мне придется еще не раз говорить о нем в этой летописи. Память его навсегда останется для меня священной. Он первый приютил меня, прокормил и обогрел, как эту бедную стрекозу, что

«Лето красное пропела,  
Оглянуться не успела,  
Как зима катит в глаза»<sup>914</sup>.

Hic explicit liber primus de Capitano — deinde incipit liber secundus de Camerario.  
Deo gratia!\*\*

\* Грамматика грамматик — *фр.*

\*\* Здесь кончается книга первая о капитане — отсюда начинается книга вторая о камердире! Господу помолимся! — *лат.*



Имя капитана Файота не погибло в Бельгии, какой-то его родственник Файот заведует железными дорогами.

P.S. Не знаешь ли ты, какой это долгоухий немец написал биографию покойной императрицы<sup>915</sup> самым подлейшим камерлакейским слогом? А тут еще на беду какая-то дама вздумала перевести эту дрянь на английский язык. Просто срам и позор!

## № 112. Ф. В. Чижов — В.С. Печерину

Москва

1 фев[раля] 1871

Лежу я или, по крайней мере, не выхожу из комнаты вот уже более недели. Доктор-хирург является ко мне два раза в неделю и сквозь катетер шприцует в мочевой пузырь теплую воду, начал он с 28°, доведет до 18°. Все это не имеет ничего приятного. Пью я Виши Grande Grille<sup>916</sup>, глотаю три пилюли в день из *lapis infernalis*<sup>c</sup> какой-то примесью, слышу, что на улице морозы доходят до -32° по Реом[юру]<sup>917</sup>, что от страшнейших метелей останавливаются поезда по железным дорогам; и это все не имеет большой приятности. Приятно получить от тебя письмо и воспоминание о твоих похождениях, да ты ленив, тебя не раскачаешь. Как только выйду, то устрою чтение и, прочитав в небольшом (человек из 15) кружке отрывки из твоего романа, подмечу впечатление; я уверен, что их будут слушать с восхищением. Читаю я порядочно, хотя и нет у меня одного переднего зуба.

Послал я к тебе «Иезуитов» Самарина и теперь жду ответ, как ты получил их, и не стоило ли тебе чего-нибудь получение этой книги. Возясь, как председатель Банка, с деньгами и читая, как ты бывал без гроша, я все забочусь о том, не терпишь ли ты нужды, и не препятствует ли тебе глупая гордость сказать это мне. Если это существует, то это очень скверно с твоей стороны.

Теперь я сплю и вижу, как бы поскорее пришла весна и как бы мне побывать у тебя хоть на недельку. Мои здешние приятели, знававшие тебя или слыхавшие о тебе еще тогда, когда ты поучал с кафедры университетской, все спрашивают меня — зачем я не позову сюда. Не знаю, решится ли этот вопрос при нашем свидании, а письменно я его и не касаюсь, зная, что нравственная почва крепче приковыляет к себе, чем физическая.

Скажи, пожалуйста, отчего это ты не написал мне ни полслова о Гоголе? Тургенев тебе нравится, а он далеко ниже Гоголя как художник, и теперь, по моему мнению, так ниспал, что просто пишет для получения лишних сотняг рублей. Он печатает иногда свои небольшие вещицы в «Вестнике Европы», большом журнале, антирусском, но веденном очень умно и последовательно. В январской книжке был его рассказ под названием «Стук, стук, стук»<sup>918</sup>; по-моему, пошлый, без содержания и даже без верности подлинности, без талантливости обрисовки.

В Москве начинается новый журнал «Беседа»<sup>919</sup>; первый № должен бы выйти вчера, да я еще его не получил. Редактором его некто Юрьев, много занимавшийся математикою, поклонник Шекспира, Кальдерона<sup>920</sup> и пр[очих], когда-то устроивший частный театр в Москве и, что еще оригинальнее, устроивший у себя в деревне театр на открытом воздухе для крестьян, человек честный во всей обширности честности, но на беду никогда не писавший срочно, рассеянный до того, что он раз кошку

\* Адский камень, азотнокислое серебро — *лат.* Применяется в медицине для прижиганий.

положил на голову вместо теплой шапки; черты характера такие, при которых трудно быть редактором журнала<sup>921</sup>.

Ты, я полагаю, вовсе не знаком с нашими позднейшими писателями повестей и романов: Григоровичем, кажется, уже отписавшим; Гончаровым<sup>922</sup>, написавшим два романа: «Обломов», очень замечательный роман, так что с его легкой руки высшая степень лени зовется у нас *обломовщиной*, так что я даже думаю увеличить твою фамилию и назвать тебя Печерин-Обломов; и другой роман, прошедшего года, помещенный в «Вестнике Европы»: «Обрыв». Этот наделал шума, хорошо передал тип весьма у нас распространенный молодого человека, подающего большие надежды и остающегося *недоконченным*. Не знаешь ты Писемского, писавшего много повестей, потом романов, большею частью довольно скверных, как, напр[имер], «Взбаламученное море»<sup>923</sup>?

Особенно мне жаль, что ты не знаешь графа Льва Толстого — талант весьма замечательный, явившийся выше всего в его «*Войне и мире*», времен 1812 года. Одно досадно, что он пускается много в философию истории, не имея понятия ни о философии, ни об истории; но это ничего, все эти страницы можно пропускать.

Что, брат, Франция? Слетела с политической жизни. Ты приписываешь сочувствие к ней нашему полуфранцузскому воспитанию; нет, брат, подымай повыше. Есть в народе свои симпатии и антипатии, вытекающие не из обстоятельств, не даже из исторических событий, а так себе прирожденные: весь народ наш не любит немцев, хотя не немцы, а французы разорили нас и в 1812 году, и уничтожили наш Севастополь<sup>924</sup>. Этого последнего никто у нас не забывает, а по пословице: лежачего не бьют, не может не соболезновать о французах. У подлых немцев нет этой пословицы. Кого я ни вижу, с кем ни говорю, все болеют душою за французов и за то, что довольно оподлевшая Европа дала Францию на заклание.

Наконец, что это за мерзость — всеобщее вооружение страны! Жить и знать, что цель жизни — война, что люди ни больше, ни меньше как питание войны, грабежа и убийства. Как хочешь, а пора и очень пора выкинуть войну из занятий и работ человека. Довольно бороться и с природою, куда еще употреблять всю свою жизнь на то, чтоб учиться бить людей. Не знаю, как тебе, а мне так гадка последняя война, что я даже не поеду чрез Германию, чтоб не встречаться с пруссаками, которых, впрочем, я всегда терпеть не мог. Один-то у них одинешенек Кант, да и то фельдфебель философии.

Пишу тебе более для того, чтоб устыдить тебя и заставить писать ко мне.

Ф. Чижов.

### № 113. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
4 февраля 1871

Сказание о капитане Файоте и его камердинере.

#### Глава II. О камердинере.

«Случалось ли вам когда нанимать слугу? — я говорю *нанимать*, потому что теперь крепостных уже нет». — Разумеется: нельзя же быть без прислуги». — «Очень хорошо. Ну, скажите, пожалуйста: с какой целью вы нанимали слугу?» — «Как с какой целью? Для того, чтобы он мне прислуживал: чистил бы мне сапоги, подал бы

умыться, прислуживал бы за столом да ходил бы на разные посылки — мало чего не найдется делать в доме!» — «К крайнему моему сожалению вижу, что у вас все еще старые эгоистические предрассудки. Нет! не так понимал вещи мой капитан! Он нанял себе слугу (или, лучше, *камердинера* — это как-то *благороднее*) вовсе не для того, чтоб он ему прислуживал.» — «Ну, да для чего же?» — «А для того, чтоб он был ему товарищем, другом или, лучше сказать, сыном. Не забудьте, что капитан был нечто вроде Сократа. По сократовской методе он решился сделаться *повивальной бабкой* бессмертной души этого камердинера: внутренне образовать, развить, вывести на божий свет и собственными руками вспеленать эту новую душу, его же стараниями украшенную всеми лучшими дарами чистейшего либерализма, высокой честности и христианской любви, — вот какую он себе задал задачу!»

Тут мне вдруг пришло на мысль, что капитан был немножко мне сродни... «Помилуйте! да как же это возможно? Вы где родились?» — «Да там где-то в Козелецком *повете* Черниговской губернии.» — «Ну, а капитан где?» — «В каком-то английском *шире*<sup>925</sup>, не помню именно где.» — «Какое же тут может быть между вами родство? Ведь вы стоите на двух противоположных концах Европы!» — «Извините: есть плотское, и есть духовное родство. По духовному родству капитан был мне очень, очень близок. Мы оба вели свой род от одного знаменитого предка: пресловутого рыцаря ламанчского, воспетого Сервантесом. Да, да, капитан был мне сродни.» Вот поэтому-то мы сразу поняли друг друга.

«Мы не сказали ничего,  
Но уж друг друга знали»<sup>926</sup>.

Он тотчас же подарил меня своею доверенностью и взял меня в сотрудники не только своей литературной деятельности, но даже и в деле воспитания, так что я сразу попал в министры просвещения и духовных дел<sup>927</sup>. После этого вам не покажется удивительным, что капитан пригласил меня каждое утро завтракать с его камердинером для того, чтобы влиять на него назидательными речами и благими примерами и пр[очим]. Дон Кихот, да и только!

А у этого парня, т[о] е[сть] камердинера, была препустейшая голова. Он был нечто вроде гвардейского офицера или петербургского гандена\*: любил хорошо одеваться, густо помадил и ухарски завивал свои белобрысые кудри, посещал иногда театр и другие публичные места и был поклонником прекрасного пола. Кроме женщин, мод и балов едва ли можно было о чем с ним говорить. Дело воспитания подвигалось очень медленно. Материалы были самые неблагоприятные. Иногда мне случалось слушать длинные рассказы о любовных приключениях этого Алкивиада. Но все ж таки со временем я успел внушить ему уважение к себе и доверенность, а это мне помогло сослужить ему службу в одном важном случае.

Капитан как отличный *директор совести* (*directeur de conscience*) не довольствовался тем, что управлял действиями своего камердинера у себя дома, но он непременно хотел еще завладеть всею его внешнею обстановкою для того, чтобы предохранить его от дурного общества. С этой целью он предпринял основать общество или клуб молодых людей, которые собирались бы по известным дням в неделю для взаимного обсуживания разных нравственных и политических вопросов, а в конце была бы небольшая закуска. Все было подготовлено по строгим правилам английских

\* Франт — от *фр.* *gandin*.

митингов\* — даже и деревянный молоточек для председателя, чтобы давать разные сигналы. На первый раз, когда сам капитан председательствовал, дело шло довольно порядочным образом, но после оно превратилось просто в бражничество. Помнится, я всего только один раз был в этом клубе. Некоторые очень порядочные люди, вступившие было в это общество, пришли жаловаться к капитану, что они ужасно как обманулись в своих ожиданиях, нашедши вместо чинного собрания какое-то сборище молодых шалунов. Бедный капитан был в большом замешательстве. «Ну что ж вы хотите с ними делать, — говорил он, — ведь здесь в Бельгии вовсе не понимают, как должно вести себя в порядочном митинге!» Еще бы! Ожидать от француза или его обезьяны — бельгийца чинного собрания, где не горланят и не размахивают руками, это просто донкихотство.

Бельгийцы ужасно обезьянничают французов — это не хуже нашего. Наши обезьяны — по крайней мере в мое время — очень удачно перенимали все ухватки, приемы, замашки и произношение французских парикмахеров и гарсонов\*\* и думали, что вот это самый лучший тон. Вот по случаю-то этого бельгийского обезьянничества мне удалось сослужить истинную службу этому молодому камердинеру. Во Франции есть *point d'honneur*\*\*\* и дуэль, следовательно, и в Бельгии должны быть *point d'honneur* и дуэль. Последуя этому правилу, мой камердинер, поссорившись с товарищем за какие-то пустяки, тотчас же вызвал его на дуэль. Это дошло до капитана. Вообразите себе его положение. У каждого англичанина есть свой конек, а его особенным, специальным коньком была дуэль. Он беспрестанно писал и говорил в масонской ложе против дуэли; а теперь в его собственном доме его же собственное чадо впало в такой тяжкий соблазн. В ужасном переполохе он тотчас послал за мною и умолял меня ради Христа употребить все мое красноречие, чтобы их помирить. Я отправился парламентарем между враждующими сторонами и нашел их в какой-то кофейне. Что такое я им говорил и какими доводами я старался их убедить — теперь вовсе не помню; но знаю только, что даже без большой потраты красноречия мне удалось их помирить, и даже они сами, кажется, внутренне радовались, что я помог им выйти из этой кутерьмы. Итак, я возвратил этого блудного сына под кров и в объятия его духовного отца<sup>928</sup>.

Прошли дни, недели, месяцы, и, наконец, мы как-то разошлись с этим молодым человеком вот по какому случаю. Я всегда был под влиянием той или другой философской системы: этот бес никогда меня не покидал. На этот раз он принял образ Пифагора<sup>929</sup>. В библиотеке капитана было множество книг, относящихся к этой философии, между прочим, целое *житие* чудотворца *Аполлония Фиванского*<sup>930</sup>. Все это я прочел от доски до доски, пережевал, проглотил, переварил, усвоил себе и превратил в сок и кровь и — сделался пифагорейцем. Из этого вытекли два последствия.

1-е. Совершенное воздержание от мясного, так что почти целый год я ни куска мяса не ел<sup>931</sup>.

2-е. Нежнейшее сострадание ко всему живущему. В то время я считал бы уголовным преступлением умышленно убить муху. Вот в этом-то расположении духа прихожу однажды к завтраку и вижу — мертвая кошка лежит, растянувшись на окне. «Ах, Боже мой! как же эта бедная кошка погибла?» — «А вот видите, — сказал

\* Собрание — от *англ.* meeting.

\*\* Официант — от *фр.* garçon.

\*\*\* Кодекс чести — *фр.*

камердинер с некоторым замешательством, — она, злодейка, выпила все наши сливки, приготовленные к завтраку — вот я ее так и шарахнул об стену — вот она тут и лежит!» С этой минуты я возненавидел этого малого: он мне казался чудовищем, извергом человеческого или, по крайней мере, кошачьего рода. Под предлогом, что у меня были домашние уроки по утрам, я сказал капитану, что больше не приду к нему завтракать. Купил себе кофейник и сам варил себе кофе на спиртовой лампе. Да здравствует Пифагор! С тех пор мои сношения с этим молодым человеком не прекратились, но как-то охладели и медленно тянулись до конца... Через три года после того как я навсегда простился с капитаном, я встретился с камердинером — где вы думаете? — в церкви редемптористов в Льеже. Тут была большая вечерняя служба, называемая Salut<sup>932</sup>, с большим оркестром и полным освещением. На хорах подле самого органа стоял мой Алкивиад, как-то небрежно, почти развалившись, опираясь на свою трость, и, выпучив глаза, с каким-то бездушным любопытством смотрел на то, что происходило у алтаря. А подле него да вплоть подле него и неведомо ему с преклоненною головою, в монашеской одежде, на коленях стоял — frère Pétchérine\*. Кто из нас двух был глупее, трудно решить!

В. Печерин.

Очень благодарен за книгу Самарина. Она очень занимательна и написана бойким слогом.

#### № 114. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

25 февраля н[ового] ст[иля]1871

«Напрасно буду ждать отрадной встречи  
В кадрили средь гармонии живой,  
И долго мне не слышать русской речи  
Из уст пурпурных девы молодой».

Каково? Это так, для эпиграфа.

А грустно слышать, что ты в руках доктора; но все ж таки лучше подвергнуться правильному лечению и выздороветь по всем правилам науки; да, сверх того, теперь есть надежда обнять тебя здесь будущим летом. Ты от 1-го февраля пишешь о морозах в 32°; а я здесь 4(16) февраля срывал первые весенние цветы *petasites fragrans* и *tussilago farfara*\*\* . Мои гиацинты как-то особенно удались этот год, так что вся комната от них наполнена благоуханием. Вот какими *государственными* делами я занимаюсь!

Я с олимпийским спокойствием созерцаю падение Франции. Нельзя же затормозить ход истории. Ее колесница вечно несется вперед, вперед, вперед и никого не спрашивается. Всякому своя очередь: вчера была Франция, сегодня — Германия, а завтра будет Россия, а послезавтра, может быть, Китай, а потом — кто знает? —

\* Брат Печерин — *фр.*

\*\* Белокопытник душистый — *лат.*, род многолетних трав семейства сложноцветных.  
Мать и мачеха — *лат.*, род многолетних травянистых растений семейства сложноцветных.

какие-нибудь лапландцы или эскимосы завоюют нас и предпишут нам свой закон, а история все едет вперед, вперед, вперед и ни о ком не жалеет и для отца родного с дороги не свернет. Я об одном теперь молюсь, чтобы республика утвердилась во Франции<sup>933</sup>. По крайней мере, можно надеяться, что республиканцы не подымут крестового похода в защиту Папы [нрзб] наши ультрамонтаны теперь всю надежду возлагают на Генриха V<sup>934</sup>. Бедная Франция!

Ты непременно хочешь знать мое мнение о Гоголе. Вот оно. В огромности Гоголева таланта не может быть никакого сомнения; но в том беда, что он ничего не кончил: у него все только отрывки да очерки. Читаешь, читаешь, начинаешь увлекаться, а тут вдруг рассказ обрывается и заходит в какой-то глухой переулочек, откуда нет выхода. Это именно я испытал, читая *«Мертвые души»*. Единственное артистически оконченное произведение — *«Портрет»*. Вот *первый* пункт. А второе то, что у Гоголя нет chiaro scuro\*, т[о] е[сть] искусного сочетания теней и света: у него сплошь одна черная тень, нет ни одной светлой точки, нет ничего отрадного, некому сочувствовать, не с кем сдружиться, некого полюбить. *«Мертвые души»* — галерея уродов, анатомический театр или живописная криминальная статистика России. Иностранец, прочитавши *«Мертвые души»*, непременно должен заключить, что в России не найдется ни одного порядочного человека, что все они мошенники и подлецы, подлец на подлеце едет и подлецом погоняет.

Третий и важнейший недостаток есть тот, что Гоголь не сумел обрисовать ни одного женского характера. Есть кое-где намеки, слабая попытка, но она тотчас же обрывается: очевидно, это ему не по силам. А великие мастера — Шекспир, Вальтер Скотт, Диккенс<sup>935</sup> этим именно и отличаются: созданные ими женские лица навсегда останутся бессмертными типами грациозной и возвышенной женственности. Теперь я исполнил долг беспристрастного критика или, по крайней мере, добросовестно высказал свои впечатления — и более от меня не требуй.

Ты перечислил всех современных писателей, но ни слова не сказал о поэтах. Неужели источники поэзии иссякли в России? и никто не занял места Пушкина? Что сделалось с русскими Музами<sup>936</sup>?

«Мои богини! Что вы? Где вы?  
Внемлите мой печальный глас!  
Все те же ль вы? Другие ль девы,  
Сменив, не заменили вас?»<sup>937</sup>

Снова благодарю за книгу Самарина. Разумеется, я получил ее без малейшей с моей стороны издержки. Самарин прекрасно пишет. Известен ли он другими сочинениями? Я также очень исправно получаю *«Русский Архив»* и за это очень благодарен.

Ты жалуешься на то, что я не довольно часто к тебе пишу. Я это нарочно делаю по иезуитскому правилу:

Il faut se faire désirer\*\*.

Кстати: зачем вы не пишете просто — *«Езульты»*? Ведь произношение показывает, что наше *«е»* составлено из двух гласных (i e). Существует ли какая-нибудь русская грамматика?

\* Свет и тени — *ит.*

\*\* Надо сделать себя желанным — *фр.*

Макналли и К° (иллюстрированное издание).

«Ах! юность, юность удаляя!  
Житье в то время было нам,  
Когда погибель презирая,  
Мы все делили пополам».  
«Братья-разбойники»<sup>938</sup>

“Mc-Nally & C°  
Cirage anglais, premiere qualité  
maison de Londres”\*

Эта скромная вывеска выставлена была в окне первого этажа небольшого домика в улице в городе Льеже. Кто такой Макналли — это уж вы знаете: это тот самый ирландец, что отрекомендовал меня капитану Файоту. А кто ж это такой и К°? Не кто иной, как ваш смиренный раб и богомолец Владимир Сергеев сын Печерин; сколько мне известно, другого сотрудника или *сообщника* у Макналли не было. Вот на какие хитрости люди поднимаются! Материалы для этой первоклассной лондонской ваксы покупались на рынке в Льеже, да к тому же еще самые дрянные. Макналли ничего не смыслил в этом деле. Я помогал ему в его химических упражнениях, а он между тем помирал со смеху. «Ха-ха-ха! Как же мы славно надуваем почтенную бельгийскую публику!» Изготовивши несколько бутылок, наполненных какою-то грязью, мы, перекрестясь, отправились на промысел как истые братья-разбойники или *рыцари промышленности*. Не отрицай же теперь, что у меня есть способность к *делам*! Я нес под мышкою бутылку на пробу как лучший образчик этого драгоценного лондонского продукта, а у Макналли за пазухою было несколько старых бритв, купленных на толкучем рынке, которые он тоже выдавал за настоящие английские. Без малейшей застенчивости мы втирались в самые значительные дома, даже к королевскому прокурору, Monsieur le Procureur du Roi. И мы очень удачно сбывали свой товар. В одном доме ни за что ни про что, вероятно, из спекуляции, Макналли вдруг вздумал рекомендовать меня как *étranger distingué*\*\* , что даже был профессором. Этот господин так и покатился со смеху: «Ха-ха-ха! вы были профессором? vous professeur!\*\*\* Ха-ха-ха». Тут я непременно должен сделать важное физио и психологическое замечание. Очевидно, что в самой сущности моего бытия было что-то несовместимое с профессорским званием. Вот этому другое доказательство. Был с нами в Берлине московский англичанин *Колли*; он очень был дружен со всеми членами профессорского института; он тоже никак не хотел верить, что я когда-либо мог быть профессором: «Это невозможно! это немыслимо!» А ведь он славно угадал!

Когда наш промысел шел удачно, и мы выручали несколько денег, Макналли обыкновенно потчевал меня чаем à l'anglaise\*\*\*\*, что в Бельгии считалось большою роскошью — это значило «гулять, так гулять!» Мы беседовали между тем о наших прошедших трудах и будущих надеждах. Мы перебивались кое-как на все возможные лады. Один француз винопродавец нанял нас на целый день переливать — не из

\* Макналли и К°. Английская вакса высшего сорта. Лондонский дом — *фр.*

\*\* Благородный чужеземец — *фр.*

\*\*\* Вы — профессор! — *фр.*

\*\*\*\* По-английски — *фр.*

пустого в порожнее — а вино из бочки в бутылки. После этого у меня ужасно как болела голова от винных паров. Но этот торговый промысел не долго продолжался. Макналли вообще не любил оседлого честного труда; ему хотелось приключений и бродяжной жизни; вот он так и покинул меня и пустился искать более *романтических* ощущений. От этих не очень блистательных занятий я вынес один полезный урок: теперь я знаю по опыту, как бедные люди должны хитрить и перебиваться, чтобы зашибить копейку. Я был истым пролетарием не на словах, не в пышных фразах республиканского оратора, а на самом деле, в черствой действительности... Все это, разумеется, происходило прежде, чем я окончательно уселся на канаве за письменным столом у капитана Файота.

Наконец я расстался с петушком и нанял себе квартирку на втором этаже, а внизу была кофейня. Мне дали какую-то странную комнату, всю набитую старою мебелью и какими-то фамильными портретами. Я вообразил себя испанским хидальгом\*, доведенным до крайней бедности неприятными обстоятельствами, но с истой испанскою гордостью сохранившим древнюю мебель своего замка и портреты своих знаменитых предков. И действительно, испанский хидальго был в очень стесненных обстоятельствах: когда ему пришлось отдать свою рубашку в мытье, то он несколько дней должен был ходить с плотно застегнутым сюртуком по самое горло, так что даже с помощью микроскопа невозможно было бы открыть ни малейшего следа белья. В этом же маленьком доме остановился маленький живописец сицилианец с сверкающими глазами и черными как смоль курчавыми волосами. Он со мною подружился и брал у меня уроки французского языка. Как будто нарочно нам пришлось читать вместе приключения *Жилблаза*. Иногда во время урока он глядел на меня и помирал со смеху. «Ведь это ваша история!» — говорил он. И в самом деле, занятия Жилблаза у архиепископа Гранадского очень как-то подходили к моей секретарской должности у капитана Файота.

Но тут вдруг — ай! ай! — перелом. Но об этом позже: *довлеет дневи злоба его*<sup>939</sup>. Il faut se faire désirer.

### № 115. Ф.В. Чижов — В.С. Печерину

Москва  
25 февр[аля] 1871

Спасибо за то, что ты меня больного не заставил долго ждать твоего письма. В этот промежуток времени у меня случилось маленькое событие, давшее мне отдых от страданий; это был час самых сосредоточенных страданий, о каких и вспоминать, так мурашки бегают — у меня вышел камень в 5 1/4 миллим[етра] длины, три с небольшим миллиметра толщины. Если бы он выскочил не при мне, обагрив меня кровью, я не поверил бы, что может выйти стволom этот каменный трехгранник. Остается еще один, но больше, тот, даст Бог, разобьют.

Благодарю тебя и за впечатления твои, произведенные Гоголем. Это точно впечатления, а не оценка и не критика. В самих «Мертвых душах» не светлый луч задушевная слеза Гоголя? У кого по лицу прокатилась такая слеза, тот крепко, сильно и даже страстно любил Россию. По моему понятию, составленному мною самим, а не слышанному от Гоголя, у него должны были быть три части «Мертвых душ»:

\* Дворянин — от *исп.* hidalgo.



L'inferno, il purgatorio ed il Paradiso\*». Преисподняя — гадость России; ее обиходная действительность и ее призвание. Страшная нравственная гордость задумать это. Грядущее можно предвидеть в его общем содержании, о нем можно пророчествовать, но взять на себя в себе создать будущее? Гоголь поплатился мученической смертью за такую гордыню. Он захотел пережить внутри себя всю цельностью веры простого русского человека, отказался от пищи в неделю говения и умер от истощения. Пред смертью, уже в полузабытьи, в сознательном полусознании он сжег все ненапечатанное из своих «Мертвых душ». А его «Тарас Бульба» — это история Малороссии в лицах. А «Старосветские помещики»; Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, отбросив некоторые страницы рассуждений, не Филемон и Бавкида<sup>940</sup>? А ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем? Надобно будет тебе прислать еще «Семейную хронику» покойного старика Аксакова. Женщин нет у Гоголя, но почему же Микель-Анджело должен быть плохим художником именно за то, что ни резец, ни кисть его не дали нам художественного женского тела? Вообще, обжившись с самим собою, ты на все смотришь с олимпийским спокойствием, везде хочешь быть наблюдателем и еще желаешь, чтоб это наблюдение непременно доставляло тебе наслаждение. Монашество недаром тебе досталось: оно и магометанское эпикурейство<sup>941</sup> невольно делают человека самоуважающим, самолежанным. История несется у тебя собственно для тебя; пожалуй, что и так, пожалуй, но все-таки она совершается между людьми и хочешь, не хочешь, а есмь человек и больно человеку человеческое страдание. Но когда в своем полете история задевает Россию, тогда, Печерин, как сказать тебе: я не испытал невыносимых страданий физических, но готов вынести все, лишь бы история не дала мне видеть того, как она будет тормозить Россию. Мне 61 год, то есть 27 фев[аля] будет 61 год, а постигни Россию немилостивая судьба, не знаю, перенесу ли, не знаю, не сделаю ли величайшей глупости, не отправлю ли себя *ad patres*\*\*». Знаешь ли, когда входит в церковь иноверец, спокойный и совершенно хладнокровный наблюдатель: войди он во время архиерейского служения, особенно войди за всенощную, пожалуй и за обеднею<sup>942</sup>, ему все объяснишь и ничего. А войди-ка он в минуту панихиды да начни спокойно, хладнокровно спрашивать — знаешь, что он прав, а сердце сожмется, и отодвинешься от него: оскорбить черствым ответом совестно, отвечать нет ни слов, ни мысли; слово и мысль оскорбили бы истомленную, осиротевшую душу; их надобно было бы отнять у нее же бедной и без того все потерявшей. Терял ли ты в жизни все? По крайней мере, все в минуту потери; разумеется, после оно делалось не всем и, наконец,

«И свечка горит до конца,  
Но не так, как горела в начале».

Видишь ли ты, ленивый сибарит, я болен, я уже составил один отчет ко Общ[еству] Взаим[ного] Кредита (имеющему в годовом обороте 620 милл[ионов] рублей), теперь составляю по север[ной] дороге и пишу и к тебе без усталости. На днях

\* «Ад», «Чистилище» и «Рай» — *ит.*, три части, из которых состоит «Божественная комедия» Данте.

\*\* К праотцам, к предкам — *лат.*, т. е. на тот свет. См.: Библия, IV Книга Царств, XXII. 20: «За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место это».

ты получишь из Берлина многие сочинения Самарина и его издания. Между ними один том сочинений покойного Хомякова. Посмотрю, что ты скажешь.

Твой роман, я так и издам его под именем «Мой роман» Вл[адимира] Сер[геевича] Печерина, просто пленяет всех при чтении. Не смею скромничать: я читаю очень порядочно. Но ты не плутуй: и зачем ты пропустил Лугано? Зачем пропустил тот эпизод из твоих Дон-Кихотств, когда Вы там составили целый план переселения в Америку, план, сообщенный тобою мне тогда же чрез какого-то г[осподина] Лактина<sup>943</sup>? Потом твою приязнь с каким-то г[осподином] Фурье и еще двумя братьями (один математик), не помню их фамилий, которые приняли меня, когда я к тебе приехал в 1841 г[оду], с распростертыми объятиями.

О наших поэтах, ошибся — стихотворцах и стихоплетах, писать теперь некогда, да почти и нечего. Наши музы? Попробовали было пожить в крестьянской хате, да с тех пор черт их знает куда запропастились.

Чижов.

### № 116. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

27 марта 1871

Давно я к тебе не писал, а ты поди-ка и рад: «Дал, дескать, отдохнуть, а я, дескать, могу теперь подольше не писать к нему». Нет, брат, шутишь, от меня так не отвертись. Во-первых, должен тебе сказать, что я только третий день могу приняться за перо, а то все так был плох, что хоть *ad patres* и то было в пору. Операция моя не удалась, камня не нашли, но так меня натрудили, что у меня сделалась страшнейшая лихорадка, такая, о какой я не имел понятия: било так, что я чуть держался на кровати. Тут понос, потом рвота и все вместе, до того ослабел, что я дни три не мог встать с постели и ничего не ел. Теперь вот уж 9 день, а я только начинаю поправляться. Но болезнь не помешала думать о тебе и ругать тебя за твою лень непроходимую. Я болен, кончил один отчет по Моск[овскому] Купеч[ескому] Обществу Взаимного Кредита, где меня заочно на Общем Собрании большинством 461 против 80 избрали снова председателем. Я не хотел быть, но остаюсь единственно потому, что другие члены правления меня упростили: им нужен человек с голосом и с волчьим зубом, а у меня, как все утверждают, не волчьи, но медвежьи свойства развиты вполне. Впрочем, ты меня знаешь с университета и, верно, помнишь, что я себя в обиду давать не умею, да и товарища обидеть не дам. Пишу теперь другой отчет; а ты лентяй, тебе лень написать три листочка, и то все как бы отлынуть. Смотри, Печерин, приеду я в Дублин, не сдобровать тебе. Скажи, пожалуйста, à propos<sup>\*К</sup> Дублину если я приеду с моею родственницею, девушкою лет 22, могу ли я дней на 10, пока с тобою побуду, познакомить ее с хорошими женщинами, например, сестрами милосердия? Мы, разумеется, будем жить в гостинице, но я буду дорожить временем быть с тобою, а оставлять ее одну мне будет жалко. Она очень милая девушка, моя крестница, я ее очень люблю, потому и возьму с собою, чтоб ей взглянуть на свет<sup>944</sup>. Может быть, присутствие молоденькой девушки смягчит меня, что я не буду к тебе очень строг и взмилуюсь.

Как тебе нравится современная Европа? Кто хуже? Франция или Пруссия? Правда, что история идет себе и в ус не дует, но переходы ее куда как горько доста-

\* Кстати, между прочим, мимоходом — *фр.*

ются бедным людям, которым придется попасть к ней по шагу ее: она пройдет, их не заметя, но им куда как не весело быть вздернутым или расстрелянным. И за что? Теперь совершенно по поговорке: корова ревет, и волк ревет, а кто кого дерет, сам черт не разберет.

Дай сказать несколько слов о твоих похождениях: ты о пребывании в Лугано не писал почти ничего, между тем как там у Вас составлялись планы переселения в Америку. Теперь жду нетерпеливо перехода твоего в католичество и хотел бы очень, чтоб ты поподробнее описал все свое монашеское время. Я хорошо помню, как я был у тебя, как пробыл однажды за заутреню у Вас в монастыре. Самая монашеская жизнь вообще очень и очень много должна иметь интересного. У нас в монастырях немного чего есть для наблюдательности. Одни толстые монахи ведут жизнь очень материальную, любят поесть, попить, и все это весьма в неразвитом виде. Другие уже совершенно аскеты; разумеется, их мало. Для этих нет ничего, кроме молитвы и внутренней жизни; во внешней он совершенно ребенок. В католических монастырях совершенно иное дело: лет 25 тому назад однажды я прожил в монастыре недели две, тогда я был в таком внутреннем настроении, что ничего не видал и не понимал, кроме молитвы. И то сказать недели две.

Поздравляю тебя с праздником: у нас завтра Светлое Христово Воскресенье; я отдохну, потому что по делам никто не придет, а без дела никого не приму. Жду возможности ехать к тебе, как Бог знает, какого счастья. Правду тебе сказать: и от дел и от болезни так утомился, что один отдых для меня теперь истинное блаженство. Обнимаю тебя и жду твоих писем. Ты уже не рад, что и связался с таким неугомонным.

Твой Ф. Чижов.

### № 117. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

18 марта н[ового] ст[иля]1871

Слава Богу, что твоя операция удалась. Ведь это просто событие: это прибавит тебе несколько лет жизни. Но ради Бога, не прерывай лечения, а доведи его до благополучного конца. При теперешнем состоянии науки излечение каменной болезни и легко и верно. А после Виши и пр[очее] сделает свое. Между тем «Русский Архив» приносит мне известие о смерти старых товарищей. Порошин умер и даже Иноземцев<sup>945</sup> умер; хотел, было, прибавить: *и наша очередь придет*; но я терпеть не могу этих общих мест: это тоже, что рассуждать о погоде. Надо жить, пока живется; а там что будет, то будет. По милости твоей я могу сказать: *pop omnis moriar*\*! Хотя какой-нибудь след останется по мне на святой Руси. Знаешь ли ты американского поэта Лонгфелло:

“Lives of great men all remind us  
We can make our lives sublime  
And, departing, leave behind us  
Footprints on the sands of time”.

Но, увы! И этот след тотчас же будет занесен пылью истории. Ты не можешь себе представить, как изучение геологии разрушает всю *иллюзию* наших исторических

\* «Не весь я умру» — *лат.* (Гораций, Оды, III, 30, 6).

эпох. Что наши столетия и тысячелетия в сравнении с миллионами, миллиардами, трильонами лет, предшествовавшими появлению человека на земле? Давно ли началась история рода человеческого? Давно ли мы вышли из обезьян? Некоторые из нас и поныне находятся в этом состоянии — только что хвост потеряли. А жалко! Он бы очень пригодился, напр[имер], туристам для того, чтобы вскарабкаться на Альпы или на какое-нибудь огромное дерево *Wellingtonus gigantea*<sup>\*</sup>, и наука бы от этого выиграла. Ей Богу, жаль хвоста!

Ты, кажется, начинаешь ругаться:

«Проснися Сибарит<sup>\*\*</sup>! Ты спишь  
Иль только в сладкой неге дремлешь,  
Несчастных голосу не внемлишь  
И в развращеньи говоришь:  
«Мне миг покоя моего  
Милее, чем в истории веки!  
Жить для себя лишь одного,  
Лишь радостей уметь пить реки,  
Гнесть чернь ярмом» и пр[очее]<sup>946</sup>

Говоря о поэзии, я доселе не могу понять, как могли позволить убить Пушкина. Неужели же всемогущая, всевидящая, всеведущая тайная полиция не могла остановить этого дела? Ведь это ужасное преступление против России позволить похитить у нее такого человека в самом зените его развития. Он умер 39 лет<sup>947</sup>.

Россия снова одержала дипломатическую победу на Черном море. Каков же князь Горчаков? Такого министра у нас давно не было, а притом же он и чистый русский<sup>948</sup>.

«А русский муж, притом военный,  
Вот прямо радость для жены!»  
(водевиль из времен Незабвенного<sup>949</sup>).

Все, касающееся до Лугано, я давно тебе переслал под заглавием: «*Лугано и как я туда попал*»; а о первом моем знакомстве с Фурдреном (а не Фурье) упомянуто в главе «О капитане Файоте».

Твой В. Печерин.

Перелом.

«PAIN BIS ET LIBERTÉ»<sup>\*\*\*</sup> (Древняя надпись на стене пятого этажа на Гороховой улице).

Книги — вещи преопасные: от них рождаются идеи, а, следовательно, и всевозможные глупости<sup>950</sup>. Книги имели решительное влияние на главные эпохи моей жизни. Да еще бы ничего, если бы это были настоящие книги, т[о] е[сть] какие-нибудь фолианты, или in — 4° или большие in — 8°<sup>951</sup>; а то нет! самые ничтожные брошюрки

<sup>\*</sup> *Wellingtonia gigantea* или *Sequoia gigantea* — секвойя или мамонтово дерево, семейство кипарисовых — *лат.*

<sup>\*\*</sup> Праздный, избалованный роскошью человек (от названия древнегреческой колонии Сибарис, прославившейся богатством и изнеженностью жителей).

<sup>\*\*\*</sup> Черный хлеб и свобода — *фр.*

в каких-нибудь сто страниц решали судьбу мою на веки веков. Брошюрка Ламенне заставила меня покинуть Россию и броситься в объятия республиканской церкви. А тут именно в то самое время, когда я жил испанским хидалком с древнею мебелью и фамильными портретами во втором этаже над кофейнею, попалась мне в руки крошечная брошюрка, даже и заглавия ее не помню: в ней просто рассказывалось житье-бытье трех *итальянских выходцев* — как они жили в уединении, в захолустье, в какой-то хижинке, держась в стороне от пошлого стада *réfugiés*<sup>\*</sup>, занимаясь науками, ни у кого ничего не прося, не ища ничьего покровительства, в крайней бедности, довольствуясь самым необходимым и таким образом сохраняя достоинства республиканца и человека...

Мне стало стыдно... Эта брошюрка как яркая молния осветила темные закоулки моей души; обнажила основные начала моего бытия; разбудила заснувшие инстинкты и стремления и напомнила мне то золотое время, когда на стене моей квартиры в 5-м этаже на Гороховой улице было написано: “*Pain bis et liberté!*”

Да! “*Pain bis et liberté*”. Долго, долго в этом пятиэтажном доме, а особенно в его мелочной лавочке, хранилось предание о бедном-бедном студенте, как он спускался с пятого этажа и закупал в этой лавочке черный хлеб, квас и лук и из этого делал себе спартанскую тюрю и славно обедал в 6 часов вечера по классическому обычаю древних (*coena antiquorum*<sup>952</sup>). Единственную подругою его в этой конурке была веточка плюща, посаженная в горшке: она как-то уныло вилась по окну; это было как будто предчувствие Англии, где все — и вековые дубы, и вязы, и стены древних и новых зданий — все обвито вечно зеленым плющом. Незабвенные дни свободы духа и чистоты сердечной! Ах! если б отец мой — вечная ему память! — если б он немножко, крошечку был пощедрее да прислал бы мне каких-нибудь лишних сто рублей, я бы, может быть, достославно выдержал эту битву и не надел бы на себя казенной сермяги...

Но где же перелом? Какая произошла перемена? Это требует объяснения.

До тех пор (1838) все мои идеи были чисто французские, а французские идеи непременно влекут за собою французский образ жизни. Какой же это французский образ жизни? а вот он, какой!

Сидеть целый день в кофейне, разглагольствовать о политике, прислушиваться к отдаленным отголоскам европейских революций, сыграть иногда партию в домино, отрезывать каламбуры и строить куры *à la demoiselle de comptoir*<sup>\*\*</sup> (этого даже нельзя выразить чистым русским языком) — вот обыденная жизнь молодой Франции, моих собратьев по республике. Вы не можете себе вообразить, какую это делает разницу, когда этак порядочно одетый человек зайдет в кофейню, выпьет рюмочку *absinthe*<sup>\*\*\*</sup> или чашку кофе *avec le gloria*<sup>\*\*\*\*</sup> и потом, разгладив усы и закуривши сигарку, выходит на бульвар, он чувствует себя чем-то особенным, чувствует свое достоинство. Клянусь Богом, что я не сочиняю, а только буквально повторяю, что я тысячу раз слышал из уст моих товарищей. В Цюрихе я был очень дружен с неким

\* Эмигранты — *фр.*

\*\* Флиртовать с буфетчицей. Строить куры — от *фр. faire la cour à* — ухаживать, флиртовать.

*Demoiselle de comptoir* — буфетчица за стойкой — *фр.*

\*\*\* Абсент — *фр.*

\*\*\*\* С ликером — *фр.*

*Банделье* (расстригою-попом), мы с ним, было, затеяли издавать новую газету под звонким титулом: *1e Peuple Souverain*\*. Мало мы заботились о серьезной части этого предприятия, а мечтали только о том, как мы будем комфортабельно сидеть в конторе нашей редакции да курить славные сигарки! У француза свое особенное миро-созерцание. Спросите, например, у англичанина: для чего человек живет на свете, для чего он создан? Он, вероятно, будет отвечать: “to do business!”, «для то, чтобы дело делать»; американец-янки прибавит: “to make money”, «для того, чтобы зашибить копейку». Но все-таки у обоих есть понятие о какой-то полезной деятельности. Теперь предложите этот же самый вопрос французу, где бы вы его ни встретили, хоть бы под Северным полюсом, он непременно вам ответит: “L’homme est né pour le plaisir!»\*\* «Наслаждение — вот конечная цель человека». В сен-симонистской религии предполагалось заменить церковь театром. Где? в какой стране? какому народу пришла бы подобная мысль? Это чисто парижская идея.

Величайший и единственный лирический поэт Франции Беранже вполне осуществляет в себе французскую идею: все его песни на один лад: *plaisir et gloire*\*\*\*!<sup>953</sup> Заметьте еще, что во французской голове вовсе не находится понятия о долге, т[о] е[сть] о нравственной обязанности. Нельсон перед графальгарскою битвою<sup>954</sup> говорит своим матросам и солдатам: “England expects every man to do his duty», «Англия надеется, что каждый из вас исполнит свой долг”. Не правда ли? — это, кажется, очень коротко и сухо, а для англичанина довольно. Русский генерал сказал бы: «Ну, теперь, ребята, постарайтесь за царя да Русь святую!» — Рады стараться! ваше пррррр...», — отвечает тысяча голосов: тоже очень скромно и без малейшего фанфаронства\*\*\*\*, потому что у русского, как у англичанина, есть понятие о священном долге служить царю и отечеству. А у француза оно вовсе не существует, а есть, напротив, безмерное, ничем не истощимое тщеславие. Чтобы удовлетворить этому тщеславию, Наполеону надо было притащить целую обузу пирамид, до сорока столетий смотрящих с высоты их на французских пигмеев<sup>955</sup>. Было время, когда перед этою фразою с благоговением преклоняли голову; а теперь всякий видит, что это просто галиматья, французская риторика, шарлатанизм, общий Наполеону I и III. Риторы погубили Грецию; те же риторы погубили и Францию. Если б я имел власть в руках, я б под смертною казнью запретил преподавать риторику. Из всего этого ты видишь, что у меня есть *зуб* на Францию — именно за то, что она своими идеями заставила меня жить и действовать наперекор моим врожденным наклонностям<sup>956</sup>. Нет ничего противнее моей натуре как французское фанфаронство и рассеянность. Но чего не сделает человек из так называемых *убеждений*? Он и в огонь, и в полымя пойдет, и с мошенниками будет запанибрата — от этого я теперь ненавижу всевозможные убеждения.

Брошюрка сделала решительный переворот в моих мыслях: она отдала меня самому себе. Каждый раз, когда новая мысль овладевала мною, я ни на минуту не отлагал ее практического приложения. Сказано и сделано.

Для новых мыслей требовалось новое помещение. Я пошел искать себе квартиры. В глухом переулке Rue des Prémontres отдавалась внаем квартирка у дряхлой старушки m[ada]me Joarisse. Это была комната, что у нас называют — в первом

\* Суверенный народ — *фр.*

\*\* Человек рожден для удовольствия — *фр.*

\*\*\* Наслаждение и слава! — *фр.*

\*\*\*\* Бахвальство, хвастовство — от *фр.* fanfaronnade.

этаже, т[о] е[сть] au rez-de-chaussée, окном на двор; перед окном было несколько деревьев: они придавали этой комнате какой-то зеленый полусвет. На кровати, где мне должно было спать, умерла сестра хозяйки, монашенка. Какой-то гений уединения парил над этим жилищем. Квартирка мне приглянулась: я условился с хозяйкою за 10 франков в месяц да сверх того приговорил, чтобы она мне готовила обед исключительно из одних овощей — я тогда уже был по уши в Пифагоре. Но через несколько времени она нашла это неудобным и невыгодным для себя. Что ж тут делать? Чтобы избавить и ее и себя от хлопот, я решил привести свою кухню к самому простейшему выражению; итак, каждый вечер в 6 часов меня ожидало на столе дымящееся блюдо, состоящее из пяти вареных картофелей с хлебом и маслом, и этим обедом я довольствовался в продолжение почти двух лет.

С легкой руки этого новоселья начинается ряд знаменитых глупостей, одна лучше или хуже другой; я их перечислю по номерам как деловые бумаги.

№ 1. Я решил так усердно работать на капитана, чтоб он никогда не был в состоянии вознаградить меня за мои труды, так чтоб не я у него, а он у меня был бы в долгу, на вечные времена. *Pain bis et liberté!*

№ 2. Богатый англичанин Етс (Yates), державший бакалейную лавку на площади, из уважения к капитану прислал ко мне сидельца с предложением дать мне новый сюртук. Я учтиво его поблагодарил, но сказал, «что в этом не нуждаюсь, что мой сюртук еще очень хорош (это был *другой*, купленный мною на толкучем, долгопольй, коричневого цвета и очень приличный), а двух сюртуков по моим правилам мне иметь не подобает». А главная мысль была та: довольно иметь одного благодетеля-капитана; зачем же принимать на себя бремя новых благодеяний и дать этому англичанину право сказать: «Я одолжил Печерина!» Я поступил точно как Авраам в Книге Бытия, гл[ава] 14: он отвечал царю содомскому: «Ни одной нитки, ни сапожного ремня — ничего от тебя не возьму; а не то ты, пожалуй, скажешь: *«Я обогатил Авраама!»*<sup>957</sup> — *Pain bis et liberté!*

№ 3. Открылось вакантное место городского переводчика (*traducteur public*). Мне тотчас его предложили. С этим было связано порядочное жалованье, обеспеченное положение. Но тут мне сказали, что надо принять присягу. Нет! уж этого-то я никогда не сделаю! Я никогда никакому правительству, даже и русскому царю, не присягал<sup>958</sup>. Да и что ж это? ведь это значит, что я буду на жалованье у правительства, т[о] е[сть] чиновником. Нет! покорно благодарю! Довольно с меня и того, что я был подканцеляристом Государственного Контроля во *Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста!* Нет, уж лучше я останусь по-прежнему вольным казаком с моим: *Pain bis et liberté!*

№ 4. Какой-то английский милорд, живший недалеко от Льежа, искал себе гувернера для детей. Капитан меня отрекомендовал. Но его главным условием было то, чтобы я был безотлучно с детьми с утра до вечера. Как же мне принять на себя такую обузу? Я привык к необузданной свободе. У капитана я работал только до третьего часу, а по праздникам и вовсе к нему не ходил. Иногда я на целый день уходил за город. Там где-нибудь в чаще леса или на открытом поле в густой траве я лежал с романом Жорж Занда в руках: солнце ярко блистало над головою; теплые ветерки резвились вокруг меня; жаворонок вился высоко в голубом небе и пел гимн свободе. Воля! воля! воля! поет жаворонок в небе: как же мне себя закабалить в такую неволю? Нет! покорный слуга! Ищите себе другого гувернера! а я останусь при своем — *Pain bis et liberté!*

№ 5. Капитана сделали библиотекарем в масонской ложе. Ему очень хотелось взять меня себе в помощники и, следовательно, переманить в масонство. Я уже прежде сказал, почему франмasons мне всегда казались смешными; а тут еще капитан притащил домой целый пук бумаг — сочинения франмasons. Каждый член, вступая в ложу, обязан написать краткое изложение своего образа мыслей, этак не больше странички. Но это были такие пошлые ученические упражнения в риторике, что я сам за них краснел и никак не согласился бы подвергнуть себя подобному испытанию. А материальные выгоды от масонства были очевидны: франмasons были всемогущи не только в Льеже, но и в целом королевстве; с их покровительством я мог бы всего достигнуть. Но *покровительства-то* именно я и не хотел. Кроме *Фурдрена* (Fourdrin, а не Фурье, как ты пишешь) у меня еще был приятель-математик и студент медицины *Лекуант* (Lekointe). По собственному его признанию, экзамен его вышел как-то не очень блистательно. «Ну да это ничего! — говорил он. — Наши (т[о] е[сть] франмasons) вывезут!» Ну что ж это такое? — думал я, ведь это то же, что у нас в России: *нельзя ли как-нибудь*. Одним словом, я требовал от природы человеческой невозможного. Итак, и масонство забраковано! не годится! подавай мне опять старое: *Pain bis et liberté!*

После этого видя, что со мною нечего делать, меня оставили в покое; а мнение обо мне поднялось на несколько градусов, даже очень высоко, до летнего жара. Вот аксиома: «Чем менее вы нуждаетесь в людях, тем более они вас уважают». Я понимаю и вполне оцениваю ответ *Диогена Александру*: «Не заслоняй меня своею тенью, великий монарх, дай мне погреться на солнце: я больше ничего у тебя не прошу!» Хороши тоже слова *Александра*: «Если б я не был *Александром*, я хотел бы быть *Диогеном!*» И действительно, тут были две равностепенные державы: *Диоген* и *Александр*<sup>959</sup> — *deux puissances en présence*\*.

Несмотря на все эти *отказы*, мои обстоятельства с каждым днем улучшались: у меня было много частных уроков, и я до того даже умудрился, что самоучкою выучился еврейскому языку и был в состоянии преподавать его начала одному воспитаннику гимназии (*collège*). Я уже прежде упомянул, что было в виду дать мне кафедру греческого языка в том же *collège*.

После всего этого любопытно прочесть, как *Герцен* объясняет мой переход в католичество. Вот его слова в «*Полярной Звезде*» 1861: «Бедность, безучастие, одиночество сломили его — он не знал, что делать, и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ, упал в иезуитский монастырь!»<sup>960</sup>

Это написано а priori — так должно быть, следовательно, так и было! Нет! из всего предыдущего ясно как день, что я вовсе не сломился, а стоял очень прямо и твердо на своем пьедестале и никак никому и ничем не поддавался...

“...Lascia dir la gente!  
Sta, come torre, fermo, che non crolla  
Ciammai la cima per soffiare de' venti”.  
Dante. Purg. 5.13.\*\*

\* Две противоборствующие державы — *фр.*

\*\* «Иди за мной, и пусть себе толкуют!

Как башня, стой, которая вовек

Не дрогнет, сколько ветры ни бушуют!» — *ит.*

Данте. Божественная комедия. Чистилище. V, 13 (пер. М. Лозинского).



№ 118. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
19 апреля 1871

Ну, что ж это значит? Ты писал, что операция удалась и камень вынут, а теперь выходит, что ничего не сделано и тебя мучили понапрасну. Как мне тебя жаль! Беда попасться в руки докторов! Видно, тебе придется лечиться *здесь*. Наш доктор Круз изобрел особенный инструмент — *эндоскоп*, посредством которого можно видеть как в зеркале все, что находится внутри мочевого пузыря. Он бы тебе в одну минуту решил вопрос — есть ли камень или нет. Какая это прелесть, что ты приедешь с такой милой сопутницей! Она будет для меня представительницею молодой России. Мне очень приятно будет познакомить ее с сестрами милосердия и показать ей все достопримечательности Дублина и окрестностей, особенно окрестностей: здесь на взморье есть очаровательные виды. Вот, наконец, и в самом деле мне удастся

«Услышать звуки русской речи  
Из уст пурпурных девы молодой!»

И мечта поэзии сделается действительностью.

Поверь мне, любезный Чижов! Теперь во Франции невозможен никакой образ правления, кроме — анархии. Она будет тоже, что южноамериканские республики, где каждые полгода есть революция и перемена правительства. Я знаю городок на пресловутом острове *Гаити*<sup>961</sup>, где народонаселение всего 5000, но на эти 5000 есть *сто* полных генералов, и все они в шитых золотом мундирах, и каждый из них *претендует*, т[о] е[сть] имеет притязание быть президентом; но он спокойно ожидает своей очереди, т[о] е[сть] ближайшей революции, а она уж непременно будет через шесть месяцев. Это точно как на станции железной дороги. Потерпите немножко, поезд придет в назначенное время, может быть, несколько минут позже, а все ж таки будет. Вот так будет и во Франции; а, может быть, — *quod Deus avertant*\* — ее постигнет участь Польши<sup>962</sup>. Когда она побьется еще несколько лет в конвульсиях анархии, наконец, ученые доктора соберутся на консультацию да и порешат ее и, может быть, отрядят какого-нибудь Муравьева<sup>963</sup> совершить операцию. Не забудь этого: *Кто не умеет управлять самим собою, должен быть управляем другими*. Это — правило, не терпящее исключения, и ясно как два и два четыре. Еще есть славное изречение Иосифа Де Местра: *Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite*\*\* . Это чертовски глубоко и заставит невольно призадуматься<sup>964</sup>.

Ради Бога, привези мне с собою Крылова. Я не могу жить без него: я считаю его единственным русским, писавшим чистым и неподдельным русским языком. Языком без малейшей заморской примеси.

Твой В. Печерин.

\* «Пусть Боги отвратят!» — *лат.* Перефраз Вергилия, Энеида, II. 19. Правильно: *Quod di omen avertant*.

\*\* Каждый народ имеет правительство, которое он заслуживает — *фр.*

Из рук вон!

«Ах! где те острова,  
Где растет трын-трава,  
Братцы!»

«Русская потаенная литература»<sup>965</sup>.

Он посмотрел на меня таким взглядом, что я вздрогнул, перекрестился и сказал самому себе: «Слава Богу, что я уезжаю, а не то он, пожалуй, где-нибудь в глухом переулке дал бы мне “colpo di stiletto”<sup>\*</sup>. Чей же это был такой взгляд? Взрослого черноокого мальчика, полубродяги, полунищего, полумошенника или все вместе. Он бродил с шарманкою по Лугано и окрестностям; я иногда давал было ему un centesimo<sup>\*\*</sup>; но после, узнавши, что он мошенник, ничего не дал и даже очень сурово отказал ему. Он взглянул на меня — ах ты, Боже мой! — в этих черных глазах крупными буквами написано было: vendetta. С тех пор я боялся встретиться с ним где-нибудь за городом. А теперь он сидел, скорчившись, у огня гостиницы, где я присел на минуту перехватить кое-что перед отъездом из Лугано; он, не сводя глаз, пристально смотрел на меня — ему как будто было жалко, что его жертва ускользает из рук его. Между тем в дилижанс запрягали лошадей — прощай, милый Лугано! Опять на север! опять надобно покинуть теплый юг! да еще накануне Рождества! А этот год (1836) как нарочно зима была необыкновенно теплая. Как теперь помню: мы сидим перед кофейнею на берегу озера. «Ведь это, ей Богу, настоящая неаполитанская зима!» — говорит Пьяцца. — «Да, — подхватывает Грилленцони, — это действительно так!» Ну, а посмотрите-ка на эти нежные оттенки голубых гор, отражающихся в этом зеркальном озере: это напоминает Сорренто, Исхию или Капри<sup>966</sup>. Вдруг подъезжает дилижанс и останавливается на площади. С него прыгивает *Бьянки*<sup>967</sup> и, весь запыхавшись, подбегает к нам: “Vengo gravido di novista”. — «Я привез вам целую обузу новостей!» — «Как! Что такое?» — «Слушайте! слушайте! принц Луи Наполеон попытался взбунтовать страсбургский гарнизон<sup>968</sup>, да не удалось и его арестовали». — «Ах, как жалко! бедный молодой человек!» — воскликнули все. — «Прекрасный малый! — говорит Пьяцца, — он, знаете, этакой разбитной. Мы в старые годы с ним шалили. Однажды, хлебнувши немножко шампанского, мы пошли на приключения, и я помог ему вскарабкаться в окно одной красотки в *Арау*<sup>969</sup>». — О, Муза Истории! возьми свой резец и на твоих бессмертных скрижалях начертай этот новый подвиг Людовика-Наполеона III!

Но я уж слишком заврался. Дилижанс готов. Пора ехать. Это было, кажется, 22 или 23 декабря. Начинало смеркаться. Пока мы ехали прекрасною долиною Тичино, тут все еще был теплый благорастворенный итальянский воздух; но возле *Айроли*<sup>970</sup> подул с вершины Сен-Готарда какой-то зловецкий зимний ветер. Нас пересадили из дилижанса в открытые сани, просто русские *пошевни*<sup>971</sup>. На мне ничего не было, кроме легкого петербургского плаща, только для предосторожности я надел две рубашки. Что я претерпел в эту ночь, взбираясь шагом по снегу на вершину Сен-Готарда, этого ни пером написать, ни в сказке сказать нельзя. Я продрог весь до костей. Около полуночи мы остановились на вершине у так называемого Носпиче<sup>972</sup>. Я вошел в эту грязную и теплую избу — признаюсь к стыду моему и русского имени — сел

\* Удар кинжалом — *ит.*

\*\* Чентезимо (ит.) — мелкая монета, равная 1/100 лиры.

на печку и заплакал. Физическое страдание соединилось с неизвестностью моей судьбы. Я еще в ноябре писал к тебе о деньгах<sup>973</sup> — ответа не было, я не знал, что со мною станет...

Сивка-бурка,  
Вечная коверка,  
Стань передо мной,  
Как лист перед травой!  
По щучьему веленью,  
А по моему прошенью...

Сейчас же и с этой же печкою перенеси меня на берег Луганского озера, на теплое раздолье! — Уф! как холодно на дворе! А, чай, скоро переменят лошадей: надо будет опять лезть в сани. Ах ты, господи Боже мой! Как бы хотелось мне остаться здесь хоть до утра! Да нет! Нельзя! У меня денег еле-еле достанет до Цюриха, а там что будет, не знаю. Нечего делать! Надобно покориться судьбам. Сани готовы, и мы начали спускаться с вершины горы. Любезная мать-природа с ее вечными законами доставляет нам улаживания в наших страданиях. Тут с каждым шагом температура смягчалась, становилось как-то привольнее, теплее, как будто сделалась оттепель, и, наконец, около рассвета мы остановились у подошвы горы в *Госпендале*<sup>974</sup>...

«Ах! где те острова,  
Где растет трын-трава,  
Братцы!»

Решительно я открыл один из этих островов 24 декабря 1836 года у подошвы Сен-Готарда под 46° 76 м[инут] северной широты в гостинице Госпендала. Тут сделалась совершенная перемена декораций. Вхожу в общую залу: яркий огонь пылает в камине и отражается на красных занавесках; на столе, накрытом белоснежной скатертью, стоит горячий кофе, пироги, вино — все, что душе угодно, и милая дочь хозяина встречает меня лучезарными взорами и майскою улыбкою. Все забыто — и холод и горе! все нипочем! все трын-трава! Я напился и наелся досыта, славно обогрелся и так разыгрался, что даже начал *строить куры* этой хорошенькой девушке — как бишь это выразить по-русски? у нас говорят *волочиться*; но это мне кажется очень пошло и провинциально, а *faire la cour*\* как-то благороднее и показывает большее уважение к прекрасному полу. Да, впрочем, тут и помину быть не могло о такой подлой вещи, как волокитство: ведь это не гостиница, а заколдованный замок из тысячи и одной ночи<sup>975</sup>; а эта красавица вовсе не дочь трактирщика: она мавританская принцесса, находящаяся в плену у злобного волшебника, а мне суждено быть ее рыцарем и освободить ее. Так предписано вечными судьбами. Да оно уж очевидно из того, что принцесса вовсе не казалась строптивою. Вероятно, она приняла меня за какого-нибудь знаменитого изгнанника, *étranger de distinction*\*\* , едущего с тайными депешами из Лугано в Цюрих. Да и в самом деле, какая нелегкая понесла бы *обыкновенного* человека через Сен-Готард накануне Рождества? Вот так-то мы, русские, надуваем честной божий народ! Целых два часа мне было позволено остаться в *Госпендале*. Быстро летели минуты у этого камина за стаканом

\* Ухаживать за кем-либо — фр.

\*\* Благородный чужеземец — фр.

вина, в этой милой беседе. Огонь камина и огонь черных глаз — не знаю, что было жарче. Но, увы! время летит... Огонь камина и огонь этих светлых глаз — все пройдет и потухнет. «Прощайте! прощайте! Моя судьба темна; не знаю, куда она меня ведет; но где бы я ни был, под каким бы то ни было небосклоном, везде, всегда ваше воспоминание, ваш милый образ будет моим единственным утешением».

“Votre image est ma dernière pensée,  
Et «je vous aime» est mon dernier soupir!”\*

Каково? — Запечатлели ли мы эту минутную дружбу прощальным лобзанием — не помню — кажется; но это уж слишком скромное воспоминание — не годится в великий пост<sup>976</sup>.

Есть милые неотразимые образы: ни время, ни расстояние не могут их остановить; они вечно преследуют вас как светлые видения лучших невозвратных дней.

«Горе мне! какие звуки!  
Пламень душу всю проник:  
Милый слышится мне голос!  
Милый видится мне лик!»<sup>977</sup>

Бесприютным нищим я прошел по большой дороге жизни. Издали виднелись царские дворцы и белые палаты богачей, и звуки их веселья достигали слуха моего; но мне не позволено было остановиться и насладиться их гармониею. Иногда теплые ветерки навевали мне благоухание роз и ясминов из садов Армиды<sup>978</sup>: ах! какое сладостное ощущение! как должно быть привольно в этих тенистых рощицах, на берегу этих зеркальных прудов, среди милых резвых *видений!* Но, увы! это не для меня! пойдём далее! Пойдите! Вот у самой дороги на закраине прелестный цветочек. Дай остановлюсь хоть на минуточку, полюбуюсь его радужными красками, упьюсь его роскошным благовонием... Нет! нет! невозможно! Вперед! вперед! — кричит неумолимая судьба. Напрасно я протестую и говорю с Шиллером:

“Auch ich war in Arkadien geboren!”\*\*

«Пошел ты со своей Аркадией<sup>979</sup>!» — сурово кричит судьба, словно какой-нибудь прусский вахмистр: Vorwärts! вперед! вперед! И я послушно иду вперед, вперед, вперед — и земля вертится подо мною —

Et la terre tourne  
Toujours,  
Toujours!\*\*\*

Недаром один мудрец из Латинского квартала в Париже, взглянув на меня, сказал: “Voilà le juif errant!”\*\*\*\* Это доказывает, что у французов мозг еще не совсем размягчился и что они еще способны иногда угадывать правду.

\* Ваш образ — моя последняя мысль,  
И «я вас люблю» — мой последний вздох — *фр.*

\*\* «И я на свет в Аркадии родился!» — *нем.*

Ф. Шиллер. «Отречение» (пер. Н. Чуковского).

\*\*\* А земля вертится вечно, вечно! — *фр.*

\*\*\*\* Вот — Вечный Жид! — *фр.*

Настал день — серый зимний день. Вместо саней подвезли маленький дилижанс, где я был единственным пассажиром. Лихой парень каких-нибудь 22 лет соединял в себе должности кучера и кондуктора и тотчас завязал со мною разговор. Он хвастался мне, что эта барышня в *Госпендале* — его кузина и что он не раз с нею танцевал на бале... Счастливый соперник! — думал я.

Странно ехать по Швейцарии зимою. Все ее живые прелести задернуты каким-то однообразным сибирским саваном. Эти гордые великолепные водопады, стремящиеся с громом и треском, рассыпающиеся радужною пылью, — теперь очень смиренно и очень прозаически висели ледяными сосульками по серым скалам, точно как будто клочки инея на бороде русского мужичка.

Я только что отобедал в гостинице в Цюрихе и заплатил последние два франка; вдруг подходит ко мне молодой человек с газетою в руках — кажется “*Nouvelliste vaudois*”<sup>980</sup> — и указывает на следующую статью:

«Два патриота, г[осподин] Банделье и кто-то другой, арестовали в Бьенне<sup>981</sup> французского шпиона Кузена», т[о] е[сть] они повалили его на землю и силою выхватили у него из-за пазухи какие-то секретные бумаги.

«Этот Банделье — я сам», — сказал молодой человек. — «Ах, Боже мой, — отвечал я, — я очень рад с вами познакомиться».

Quel honneur!  
Quel honneur!  
Monsieur le Senateur!\*

Судьба решительно мне благоприятствует, думал я: как же с самого первого шагу в Цюрихе познакомиться с таким важным политическим деятелем!

Надобно заметить, что из-за этого им арестованного Кузена сделалась ужасная суматоха, и Тьер обложил Швейцарию герметическою блокадою (*blocus hermetique*)<sup>982</sup>.

«Позвольте вам еще доложить, — сказал опять г[осподин] Банделье, — что я тоже участвовал в Савойской экспедиции». — «*Et je vous en félicite!*\*\*», — сказал я. — Но она как-то не удалась». — «Да что ж тут делать! Ведь это все измена! *trahison!*» — «Ну, а Маццини был там?» — «Нет! помилуйте! Как же такую драгоценную жизнь подвергать опасности?»

А! понимаю, т[о] е[сть] я теперь понимаю, что в подобных случаях Маццини всегда как-то удачно умел оставаться в стороне, а между тем многие прекрасные юноши из-за него *легли костями*, как говорится в Полку Игорева<sup>983</sup>.

Этот Савойский поход кончился самым позорным образом. Несколько сардинских таможенных карабинеров разогнали всю эту шайку или армию под предводительством генерала *Ромарино*, а сам Ромарино удалился с честью, не забывши, однако ж, взять с собою казенного ящика для большей предосторожности<sup>984</sup>.

Так началось мое знакомство с г[осподином] Банделье, имевшее важное влияние на мои последующие поступки.

Я тотчас же перебрался в так называемый пансион у г[осподина] Артера, музыкального учителя (*Musiklehrer*). Это был старый, престарелый дом. На норманнской арке над дверью вырезано было число: 1592. Какова старина?

\* Какая честь!

Какая честь!

Господин сенатор! — *фр.*

\*\* С чем Вас и поздравляю — *фр.*

Почти три месяца я жил в этом доме, от конца декабря до половины марта, — сидел у моря и ждал погоды, т[о] е[сть] письма от тебя<sup>985</sup>, да уж и начинал отчаиваться: какая ж тут надежда, когда на мое письмо, отправленное в ноябре, не было ответа до марта месяца. Моим единственным приятелем был этот Банделье. Я у него проводил каждый вечер. Он жил по-республикански, т[о] е[сть] с какою-то женщиною. У ней, как говорится, не было ни кожи, ни рожи, даже она была крива на один глаз; *mais cela n'empêche pas le sentiment\**; да к тому же давно уже известно, что любовь слепа, а особенно любовь республиканская. Эта девка была нечто вроде тех знаменитых гризеток<sup>986</sup>, воспеваемых Жорж Зандом. Банделье жил у нее на содержании, т[о] е[сть] она кормила его своими трудами, шитьем, мытьем да катаньем. Ты можешь себе вообразить, какие это были беседы: тут не надобно было ожидать ни ума, ни грации, тут просто был обыкновенный республиканский жаргон, распушенность и неряшество.

Под конец нашего знакомства Банделье признался мне, что он был священником в кантоне Вале (Valais)<sup>987</sup>. Ему, казалось, было стыдно в этом сознаться: он приводил тысячу разных извинений. «Войдите в положение нашего брата, — говорил он, — священник идет в исповедню (*confessionnal*), к нему приходит на исповедь молодая женщина и напрямик объявляет ему, что она до смерти в него влюблена; ну как же молодому человеку устоять против этаких искушений?» — «Помилуйте, да зачем же вам в этом извиняться? Ведь общий удел человечества — это древняя история: Адам ссылается на Еву, а Ева сбрасывает вину на змия<sup>988</sup>; а матушка-природа исподтишка хохочет над ними. Ведь какие мы выкидываем штуки! Сочиняем целые “Илиады”, Троя сгорает дотла, Клитемнестра убивает Агамемнона<sup>989</sup>, ужасные трагедии разыгрываются в царственных домах, целые государства ставятся вверх дном, а все из-за чего? — да просто для того, чтобы исполнить закон расплодения пород (*propagation des espèces*)\*\*. Природа действует по иезуитскому правилу: *la fin justifie les moyens*\*\*\*. Ей все нипочем, лишь бы достигнуть своей цели. Мы после и плачем и мечемся как угорелые кошки и деремся до крови, а ей что за дело? Она только думает об исполнении своих планов. Ей Богу, природа хитра, даже хитрее самого Бисмарка!»

Не так равнодушно смотрел на вещи другой мой знакомый, молодой бонапартист с черными усиками, он, кажется, был ревностный католик и с ужасным негодованием говорил о Банделье: «Я удивляюсь, как земля не разверзнется и не поглотит этого святотатственного иерея *prêtre sacrilège!* Я не понимаю, как его могли принять в масонскую ложу: *cela doit être une mauvaise plaisanterie*\*\*\*\*. Я вовсе не разделял этого фанатизма.

Три месяца я жил в пансионе г[осподина] Артера. У меня были прекрасные две комнатки и отличный стол, и во все это время хозяин ни разу даже не намекнул о деньгах: значит, он имел ко мне большое доверие. Но я уж совсем было отчаялся получить что-нибудь из России. Вдруг в одно прекрасное утро хозяин входит в мою комнату и подает мне пакет: вижу — знакомая печать и почерк Чижова; развертываю, а тут и письмо с векселем на 500 с чем-то франков! Ах! какое блаженство! это была упоительная минута! это было воскресенье из мертвых! Я тотчас же потребовал счет

\* Но это не мешает чувству — *фр.*

\*\* Воспроизведение потомства — *фр.*

\*\*\* Цель оправдывает средства — *фр.*

\*\*\*\* Это, должно быть, дурная шутка — *фр.*

у хозяина и расплатился с ним до последней копейки и решил, не теряя времени, немедленно ехать в Париж: Париж был моею путеводною звездою, конечною целью всех моих надежд и желаний, Меккою и Мединою правоверных<sup>990</sup>. Еще в Лугано я мечтал об этой поездке. «Вы непременно хотите ехать в *новые* Афины (*modernes Athènes*)», — говорил мне, улыбаясь, Грилленцони, а президент республики Лувини обещал дать письмо к принцессе Бельджиойозо (*Belgioioso*), покровительнице всех итальянских выходцев<sup>991</sup>.

Я тотчас же написал к французскому посланнику в Берн<sup>992</sup>, чтобы просить у него паспорт. Между тем я размышлял с самим собою: «Зайду к Банделье, но не скажу ему ни слова о получении денег, ведь мне невозможно ему помочь, для самого едва достанет, а рубашка ближе кафтана». Это было очень благоразумно и по всем правилам здравого смысла. Подхожу к квартире Банделье и вижу — тут какая-то суматоха, бегают из угла в угол. Сам Банделье выходит мне навстречу с растрепанным видом: «Не тревожьтесь, — говорит он, — со мною случилась неприятность: *c'est une saisie\**, это захват моих вещей за долги». Это известие поразило меня как громом и поставило вверх дном все мои благие намерения. В несколько минут моя совесть сделала мне силлогизм<sup>993</sup> или целую диссертацию. «Ну, как же это? Он был твоим приятелем; ты по целым вечерам сидел у него в продолжение трех месяцев; он был твоим единственным товарищем в твоём одиночестве! А теперь, когда он в нужде, а у тебя деньги есть, ты ему не поможешь, ведь это будет подло!» Сказано — сделано.

— Не беспокойтесь, любезный Банделье, я получил деньги из дому и я за вас заплачу.

— Ах, Боже мой! какое счастье! — воскликнул он, всплеснувши руками. — Ведь вы падаете с неба как будто какой-нибудь американский дядя в водевиле!

Я позвал хозяина и, забывши его республиканское достоинство, разругал его как русский барин.

— На что ж это похоже? Как вы смеете поступать с моим приятелем? Вас бы за это следовало порядочно отодрать. Вот вам деньги, я за все плачу, да уберите себя к черту!

Ха-ха-ха! а у самого ни копейки за душою! да и самые-то последние деньги из России получил! Нет! уж это решительно из рук вон!

Мне пришлось заплатить больше, чем я предполагал, т[о] е[сть] около 150 франков.

Банделье предложил дать мне расписку. — «Помилуйте! да на что же это?» — «Нет! нет! так лучше; вы знаете, мы все под Богом ходим; все может случиться с человеком, *on peut tourner l'oeil\*\**. А у меня есть тетка в Вале, я к ней напишу; она мне пришлет денег, и я вам заплачу». — Очень хорошо, я взял расписку и как Митрофанушка<sup>994</sup> поверил в существование этой мифической тетки.

Если бы у меня оставалась еще хоть капля здравого смысла, мне бы следовало тотчас же поживу-поздорову выбраться из Цюриха. Я бы оставил город с честью, без копейки долга и с огромною репутациею. Слух о моем поступке разнесся по городу: меня провозгласили богачом, русским князем, а немцы (выходцы) сильно подозревали, что я русский шпион. Вот сколько репутаций! любую выбирай! Хозяин действительно ухаживал за мною как за принцем — кредит мой

\* Это — насильственный захват имущества — *фр.*

\*\* Можно умереть — *фр.*

был неограниченный! Но тут опять лукавый попутал меня. «С какой же стати мне терять каких-нибудь 150 франков? Они мне очень пригодятся. Ведь Банделье обещал заплатить, когда получит от тетки. Так уж лучше подождать!» И я остался ждать — и жду до сих пор.

Блажен, кто верует! тепло ему на свете!<sup>995</sup> Но вера вере рознь — как же верить в этукую *мифологию*? Даже пятилетний ребенок мог бы понять значение этой *тетки*.

Между тем мои отношения с Банделье совершенно изменились: он видел во мне уже не бедного брата-республиканца, а богатого человека, дающего деньги взаймы и ожидающего их уплаты. Он перебрался на другую квартиру в каком-то глухом и очень подозрительном закоулке: тут не только что продавали вино, но даже там были какие-то уж слишком раскрашенные девушки... Но — *honni soit, qui mal y pense*\*. *Caritas cooperit multitudinem peccatorum*\*\* , т[о] е[сть] в вольном переводе это значит: республика своею эгидою прикрывает тьму прегрешений. Впрочем, я был там всего один раз и то для того, чтобы осведомиться о здоровье тетки. Через несколько дней Банделье совершенно исчез из Цюриха и пропал неизвестно где, оставив по себе свою любезную Милитрису Кирбительвну<sup>996</sup>. Она гуляла одна с крошечною москью на цепочке. Иногда мне хотелось бы остановить ее да спросить, как поживает г[осподин] Банделье и нет ли каких известий от тетки. Но она, завидевши меня издали, тотчас ускользала в какой-нибудь переулок и скрывалась в двери какого-нибудь дома, так что мне приходилось видеть только хвост ее моськи.

Итак, я остался в Цюрихе, оселся и погряз в бездонное болото. Деньги истратил и начал делать новые долги. Надобно было серьезно думать о том, как жить. Для того чтобы давать уроки, надлежало испросить позволения у правительства (это-то в вольной республике!), а правительство поручило профессору Орелли<sup>997</sup> проэкзаменовать меня. Он дал мне перевести страницу из Платона и снабдил меня хорошим свидетельством.

Когда я рассказал это моим итальянским приятелям, они расхохотались: «Помилуйте! да к чему же все эти церемонии? Вам бы просто пригласить профессора Орелли в кофейню Баура да попотчевать его бутылкою вина, он бы вам дал свидетельство без малейшего экзамена». Вот опять разочарование! Я думал, что в свободной республике взяток не берут ни деньгами, ни натурою, а выходит иначе. Да нет! уж кажется взятки — в самой природе человека. Некоторые люди ограниченного ума удивляются, что есть такое сочувствие между Россиею и Соединенными Штатами: ведь, кажется, образ правления совершенно различный. Помилуйте! есть коренное сходство между этими двумя странами: в обеих берут взятки — рука руку моет. Но только что Россия ужасно как отстала. Где же нашим бедным взяточникам, оклеветанным Гоголем<sup>998</sup>, тягаться с американскими взяточниками? Там почтенные сенаторы торгуют своими голосами в Народном собрании, гуртом продают их за огромные суммы. Где же нам?

\* «Позор тому, кто дурно об этом подумает» — *фр.* Девиз английского ордена Подвязки (св. Георгия), учрежденного королем Эдуардом III в 1350 г.

\*\* Любовь покрывает множество грехов — *лат.* В. С. Печерин цитирует I Соборное Послание Апостола Петра (IV, 8): «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов».



№ 119. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

19 мая н[ового] ст[иля] 1871

Какой же ты милашка! (сказал бы Гоголь) так сразу мне и прислал Крылова. Было прелестнейшее майское утро, я только что возвратился с двухчасового путешествия для открытия новых ботанических стран и, сидя за столом, с особенным удовольствием разбирал и сортировал мои новые приобретения, мои Эльзасы и Лотарингии<sup>999</sup>. Вдруг входит служанка и подает мне пакет — опять то же, что в Цюрихе: вижу знакомую печать и почерк — развертываю и вижу, что это Крылов! Какое блаженство! Вместе с этим я получил последний номер «Русского Архива». Какие он драгоценные документы печатает! Они для меня в тысячу раз занимательнее всех возможных литературных произведений. Хоть, напр[имер], эти письма графа де Местра об Александре I<sup>1000</sup>. Нельзя не сочувствовать этому бедному императору. Его ль вина, что его воспитали по-русски, т[о] е[сть] на французский манер? Лагарп<sup>1001</sup>!! Какая это дичь! У теперешнего государя пестуном (или по-русски *гувернёром*) был полковник Мёрдер<sup>1002</sup>. Я помню, что тогда же покойная баронесса Розенкампф заметила: «Не лучше ли было бы выбрать какого-нибудь доброго чистого русака? Зачем же непременно иностранца — немца?» Это замечание тем более имеет весу, что она сама была иностранка.

Еще есть у меня к тебе просьба: достань мне сколько можешь русских сказок; да, знаешь, настоящих, неподдельных с лубочными картинками — о Еруслане Лазаревиче, о Бове королевиче, об Илье Муромце, да о Соловье разбойнике и про[чее]. Теперь г[осподин] *Ральстон* тешит лондонскую публику рассказами о Бабе Яге, о Кашее Бессмертном да о наших леших и домовых.

Когда получу от тебя письмо, напишу больше. Теперь стоит прекрасная, ужасно соблазнительная погода.

Твой В. Печерин.

Фурдрен — Лекуант — Потоцкий

“Madame Veto<sup>1003</sup> avail promis  
D’incendier tout Paris:  
Mais son coup a manqué  
Grace à nos canonniers! Et gai, gai!”  
Dansons la carmagnole\*<sup>1004</sup>!

Густым басом и с отчаянным видом — густобородый и с целым лесом волос на голове, в красной рубашке, красный из красных, задумчивый приятель мой Auguste Fourdrin распевал эту песенку каждый раз, когда со вздохом он вспоминал о славных днях первой революции. Под этою львиною наружностью крылась детски незлобная, благородная, возвышенная душа. Он был в полном смысле литератор: он преподавал фран-

\* Мадам Вето обещала  
Сжечь весь Париж:  
Но заговор не удался  
Благодаря нашим пушкарям! Гэй, гэй!  
Станцуем карманьолу! — *фр.*

цузскую грамматику и написал несколько драм или трагедий александрийскими стихами. В них немного было поэзии; но они служили ему проводниками его социальных идей. Героями этих драм большею частью были *добродетельные* люди, не признанные и оклеветанные обществом, т[о] е[сть] каторжники: их в моду пустила Жорж Занд<sup>1005</sup>. Сам Фурдрен рассказывал мне, что она одного из них взяла себе в прислуги и оказывала ему большое доверие и благосклонность. Нечего сказать! О вкусах спорить нельзя. Но все ж таки я думаю, что она денег плохо не клала и плотно запирала свою шкапулку. К Фурдрену приехал в гости его брат из Парижа — артист-скульптор. Он был истый парижанин: ужасный вертопрах, но вместе с тем человек с отличным вкусом. Он указал Фурдрену на некоторые промахи в его драмах, происходящие от провинциальной жизни и незнания большого света; его замечания были очень метки и резки. Он же тут, в Льеже, показал нам образчик своего искусства: слепил прелестную карикатурную статуйку тогдашнего епископа льежского *Ванбоммеля*; выражение лицемерия на лице этого святоши было неподражаемо, а из-под хвоста его длинной мантии выползал целый рой монахов в рясах с широкополыми шляпами. После этого *soup d'artiste*\* наш художник, выходя по вечерам, всегда запасался пистолетом и *canne à épée*\*\* . «Надобно взять предосторожности, — говорил он, — а то, пожалуй, чего доброго от этих фанатиков всего можно ожидать». У Фурдрена была служанка или ключница, *gouvernante*\*\*\*, довольно взрачная женщина; а у нее была маленькая дочь, дитя лет четырех или пяти. Эта малютка была как две капли воды похожа на самого Фурдрена. Меня доселе удивляет, что он никогда ни малейшего намека не сделал на эти сношения с ее матерью (если они в самом деле существовали). Во французском обществе — особенно в литературном мире — подобные связи вовсе не считаются предосудительными. Кто не знает Лизеты Беранже, которой он посвятил одну из прекраснейших и самых трогательных своих песен<sup>1006</sup>?

“Vous vieillirez, o ma belle maitresse!  
Vous vieillirez, et je ne serai plus” etc\*\*\*\*.

Кроме литературы, Фурдрен еще занимался физиологией и анатомией. Однажды он отворил передо мною шкаф, где у него хранилось съестное, и, что вы думаете, я увидел? Голландский сыр или бутылку бордо? Нет! а сохраненную в спирте голову молодой женщины со всеми свежими красками жизни, с длинными распущенными русыми волосами: она глядела как живая. Откуда взялась эта голова? Какая была ее история — простая или сложная? Была ли она связана с жизнью Фурдрена? — не знаю, но знаю только, что это была одна из несчастных жертв разврата.

Но эти длинные волосы напоминали мне другую историю из других времен.

В 1848 году я жил в одном из прелестнейших предместий Лондона — в Клапаме (Clapham). В то время католический священник был очень редкое явление в этом околотке<sup>1007</sup>. Иду я однажды по улице в самом уединенном квартале. Подходит ко мне какой-то господин. «Позвольте вас спросить: вы католический священник?» — «Да вот, как видите», — отвечал я, указывая на мой белый галстук (прозванный *рим-*

\* Мастерское творение — *фр.*

\*\* Шпага, спрятанная в трости — *фр.*

\*\*\* Экономка — *фр.*

\*\*\*\* «Ты ответишь, подруга дорогая,  
Ты ответишь... твой верный друг умрет...» — *фр.*  
Беранже. «Старушка» (пер. В. Курочкина).

ским ошейником, Roman collar<sup>1008</sup>). — «Сделайте милость, зайдите вот в этот домик: тут одна больная девушка очень желает вас видеть».

Это был один из тех милых, уютных домиков, какими обилуют лондонские предместья. Меня ввели в комнату в нижнем этаже (au rez-de-chaussée). Тут был какой-то полусвет от тенистых деревьев в палисаднике. На столе лежала гитара, и были разбросаны какие-то рисунки. Я сначала едва мог разглядеть, что в глубине комнаты на софе лежало милое дитя каких-нибудь 17 лет с длинными, небрежно разбросанными русыми локонами, исхудавшая, бледная и с роковым румянцем на щеках. Она едва могла приподняться, чтобы приветствовать меня. С детской простотою она рассказала мне всю свою историю. Эта история была очень, очень проста и незамысловата: она полюбила слишком доверчиво и была обманута — вот и все! Пошла она однажды вечером на последнее свидание, долженствовавшее решить участь ее, прождала напрасно несколько часов под проливным дождем, промочила себе ноги, а тут как раз нагрянула чахотка, да и какая еще! *галопирующая!* Теперь она лежала на своем смертном одре без жалобы, без ропота, без упрека, с христианским раскаянием и любовью, но вместе с тем с непобедимою надеждою на выздоровление — это общий признак чахоточных. Она жила у женатого брата, артиста, работающего для какого-то иллюстрированного журнала. Брат и свояченица ухаживали за нею с всею нежностью родственной привязанности. Надеясь против всякой надежды, или, может быть, для того, чтобы утешить ее, они перевезли ее в деревню за несколько миль от Лондона и в одно прекрасное утро пригласили меня ехать с ними навестить ее.

«Ах, Dear Father\*, — сказала она, протягивая мне руку, — как это мило с вашей стороны, что вы приехали навестить меня. Не правда ли, что я поправляюсь? Мне гораздо лучше! Какое это прекрасное место! Слышите ли, как птички поют в кустах? Синель<sup>1009</sup> распустилась под моим окном. Как мне здесь хорошо! Какой благоуханный воздух! Это не то, что в дымном Лондоне! Я чувствую, что я оживаю. Да! Может быть, завтра же я встану с постели и выйду немножко в сад подышать свежим воздухом. Ах! как Бог милостлив ко мне! Когда я выздоровею, Dear Father, I will be very, very good\*\*! Ну, теперь прощайте, до свидания, — сказала она, пожимая мне руку, — я, может быть, завтра же встану!»

Через три дня она умерла, и те же птички в кустах отпели ей панихиду, и синель рассыпала свои лиловые цветы на ее свежую могилу. Я забальзамировал ее в моей памяти и храню ее как драгоценную мумию прошедшего. Теперь, когда мы почти оглушены треском падающих империй<sup>1010</sup>, когда наши сочувствия парят так высоко и широко, да будет мне позволено *смирненно* сочувствовать этому бедному цветочку, растоптанному наглою стопою бесчувственного дикаря!

## № 120. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
25 мая 1871

Получил я твое последнее письмецо и пожелал, чтоб у Вас в Дублине была скверная погода, которая не мешала бы тебе писать ко мне. Тотчас же послал за русскими сказками. Сами по себе лубочные издания в последнее время страшно искажены,

\* Дорогой отец — *англ.*

\*\* Дорогой отец, я буду очень, очень хорошая! — *англ.*

так что они не дадут ни малейшего понятия о наших сказках и непременно введут в заблуждение. А есть издание Афанасьева<sup>1011</sup> превосходное, сделанное по сличению между собою старых списков, оно все вышло, нет в продаже ни одного экземпляра. Впрочем, пусть твой белобрысый Альбионец не падает духом, я непременно тебе пришлю, как-нибудь достану. Не следовало бы мне быть таким добрым, следовало бы строго наказать тебя за твою непроходимую лень, ну да Бог с тобою.

Операцию мне хотели сделать, то есть раздробить камень, да как-то в Москве она не удалась. Один весьма большой относительно к толщине канала вышел сам, а другой остался и причиняет мне сильные боли. Теперь я не могу ездить иначе как в карете и иначе как лежа; первого я терпеть не могу, второе просто отвратительно. В Петербурге есть специалист болезней мочевого пузыря некто доктор Эберман<sup>1012</sup>, к нему-то я и адресовался. У него лечебница в Царском Селе, куда я поступлю на будущей неделе; там мне сделают операцию. Не могу тебе передать, как все это для меня гадко. Я совершенно такой же аскет труда, как бывали средневековые монахи, только они посвящали себя молитве, а я труду. Кроме всего что на мне лежало, кроме железной дороги, которая строится от Ярославля до Вологды (192 версты) и еще маленькой ветви вбок от гор[ода] Александрова<sup>1013</sup>, это производится под непосредственным моим заведыванием, кроме всего этого Москов[ская] Купеческая Компания под моим председательством купила Московско-Курскую дорогу в 502 1/2 версты. Заплатила она 57 1/2 миллионов руб[лей] металлических. Можешь себе представить, сколько эта покупка потребует от меня труда. Теперь начинается первый труд — заем 14 миллионов. В это-то самое время я должен залечь в больницу — просто природе угодно мефистофельски подшутить надо мною. Но ничего, я не унываю. Очень хочется, окончивши лечение, съездить к тебе и вообще отдохнуть, пока будут принимать новую дорогу, а там за работу. Очень будет нелегко, потому что одних обязательных платежей в год будет более 3 1/2 миллионов рублей. Ну, сам ты посуди, как же мне тебя не ругать, когда я с утра до вечера на обязательной работе, а ты и в ус не дуешь, тебе лень написать обязательно 4 или 5 листочков в месяц. Подожди, брат, я до тебя доберусь, плохо тебе придется.

Последнее время вся наша газетная деятельность была сосредоточена на страшнейшем споре между людьми, защищающими классическое воспитание, и другими — реальное. Министр просвещения граф Толстой<sup>1014</sup>, один из миллионов Толстых, представил преобразование гимназий, по которому ученики только из одних классических могут поступать в университет, а из реальных нет. Дело в половине мая рассматривалось в Государств[енном] Совете. На стороне реалистов было 29 членов Госуд[арственного] Сов[ета], на стороне классиков — 19. Но еще не слышно, как утвердил Государь. На стороне реалистов, между прочим, были: граф Панин, более всех знакомый с классиками, Чевкин, тоже знающий латинский и греческий языки, потому что он учился у иезуитов, человек весьма умный и благонамеренный; старик (отец) граф Шувалов; министр военный Милютин<sup>1015</sup>. На стороне классиков: председатель Совета Велик[ий] Кн[язь] Конст[антин] Николаевич, Наследник, принц Ольденбургский, граф Серг[ей] Гр[игорьевич] Строганов, молодой (сын) гр[аф] Шувалов, Валуев, гр[аф] Адлерберг<sup>1016</sup> и другие. Почему-то, особенно благодаря газете Каткова, в правительственных слоях укоренилась мысль, что реальное воспитание ведет прямо, даже без салазок, к нигилизму<sup>1017</sup>; что классицизм есть опора консерватизма, и вот приспешники двора, мимоходом будь сказано, весьма мало знакомые с древними языками, ратуют за классицизм, а газета Каткова, закусивши удила, лезет

из кожи вон. Так наскучили их споры, что и Боже упаси. Пока я к тебе пишу, вероятно, спор этот решен уже верховною властью. Я потихоньку скажу тебе, что, несмотря на не сильное знание латинского языка, не могу не сказать, что более общего образования находил у людей, учившихся древним языкам, но сам лично работаю в области реализма. И теперь, если Бог даст, что Курская дорога пойдет хорошо и чрез несколько лет даст мне сотнягу, другую, третью тысяч, одним словом, чтобы она мне не принесла, я не перемену моей весьма скромной жизни да и не в состоянии переменить ее, а все отдам на заведение в родимом моем городе Костроме ремесленного или механического училища. Эта мысль дает мне силу и энергию на работе. В последнее время, слава Богу, начали отсчитывать со всякой версты железной дороги по 15 руб[лей] на железнодорожные училища, а так как у нас уже около 10.000 верст и скоро будет 12.000 верст, то мы будем иметь до 180.000 руб[лей] в год на железнодорожные училища. Потом мне удалось быть начинателем в сборе на Дельвиговское железнодорожное училище, теперь собрано уже до 150.000 руб[лей] не ежегодного дохода, а единовременного сбора, это тоже будет училище в Москве<sup>1018</sup>. Потребность в народном обучении страшная, говорят об этом много, делают мало. Но авось — наше превосходное слово.

Недавно составилось небольшое общество для издания дешевых книжек копеек по 5 и по 10, только что началось, пока положительного сказать нечего.

Девиз мой — дело, после него дело и после всего дело; если есть дело, оно меня сильно радует. Непременно хочется побывать у тебя, хотя бы даже пришлось единственно для этого поехать за границу. Пиши ко мне все по тому же адресу и, если можешь, не ленись. Обнимаю тебя.

Твой Чижов.

Да, кстати, постарайся заклеивать конверт так, чтоб не отрывать кусочков письма, если хорошая погода тебе и того не помешает.

### № 121. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
14 июня н[ового] ст[иля] 1871

Метеорологические  
наблюдения

Беспрепятственный  
дождь

Молитвы в церквах  
о хорошей погоде

Сегодня солнце воссияло

Болярину Федору Васильевичу Чижову многия, многия лета! Челом вам бьем и благодарим за русские сказки. Вот где надо учиться русскому языку! Вот где истинные образцы изящного! Вот наши «Илиада» и «Одиссея». Я только мельком просмотрел их, а уж вижу, что тут богатая руда для сравнительного языкознания: они так и к и ш а т санскритскими формами.

Одного только жаль: зачем они не на греческом языке? Министр просвещения<sup>1019</sup>, наверно, сделал бы их обязательными для университетского экзамена.

Твой В. Печерин.

№ 122. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
Июнь 1871

Фурдрен — Лекуант — Потоцкий (продолжение).

Они меня любили... Ах! какое это слово! В нем заключается смертный приговор, осуждающий меня на ничтожество. Великие люди, истинные благодетели человечества, никогда никого не любили и вовсе не заботились о том, любят ли их или ненавидят. Они как могучие дровосеки с секирою в руках пробивали себе путь в чаще дремучего леса — беспощадно рубили направо и налево. Больно ли от этого деревьям, или нет — какое им дело? Сколько миллионов живых существ погибло под их тяжелою стопою — об этом они не заботились. У них одно было на уме: «Надо расчистить лес, во что бы то ни стало». И вот их подвиг совершился: открылась обширная зеленая поляна, озаренная яркими лучами солнца. На этой поляне поселилось семейство — семейство выросло в село, село выросло в город, а город разросся в целое государство: миллионы людей благоденствуют под сенью мудрых законов, в полном блеске науки, искусства, промышленности и торговли. А все оттого, что *первобытный дровосек* никого и ничего не щадил. Его личность преобразуется во мгле столетий: он растет с каждым столетием, становится исполином, героем, Богом, ему воздвигают алтари и курят фимиам...

А так называемые *добродетельные* люди, чувствительные сердца, желающие любить и быть любимыми, — они ни к чему не пригодны: от них, как от козла, ни шерсти, ни молока; они как гуси Крылова *лишь годны на жаркое*<sup>1020</sup>.

*Глас народа — глас Божий* — говорит старая поговорка. Она, как ты знаешь, поставлена во главе той знаменитой грамоты, которою Михаил Романов избран на престол. — Ну, что ж гласит этот глас Божий? Что иного обожают народы? Истинный ли талант? Высокую ли добродетель? Нет! они обожают силу и ей одной поклоняются. Никто не выразил этого лучше, как *Бартелеми*<sup>1021</sup> в своих бессмертных *Ямбах* (Jambes):

“...Le peuple c'est la fille de taverne,  
La fille buvant du vin bleu,  
Qui veut dans son amant un bras qui la gouverne,  
Et qui, dans son taudis, sur sa couche  
Un corps de fer, un oeil de feu, de paille,  
N'a d'amour chaud et libertin,  
Qui pour l'homme hardi qui la bat et la fonaille,  
Depuis le soir jusqu'au matin”\*

\* «Да! Ибо наша чернь — как девка из таверны:  
Вино зеленое глуша,  
Когда ей нравится ее любовник верный,  
Она кротка и хороша.  
И на соломенной подстилке в их каморке  
Она с ним тешится всю ночь,  
И, вся избитая, дрожит она от порки,  
Чтоб на рассвете изнемочь!»  
Барбье. «Ямбы». Идол (пер. П. Антокольского).

Парижские коммунисты, сжегшие Тюильри и отель де Виль<sup>1022</sup>, может быть, со временем попадут в великие благодетели человечества. Ведь первые христиане также сжигали великолепные языческие храмы, разбивали в куски изящные статуи, образцовые произведения искусства. Образованный древний мир содрогался от ужаса и негодования при виде этих неистовств и прозвал христиан безбожниками, *афеями*<sup>\*</sup>; но все ж таки, в конце концов, христиане одолели. Вот так будет и с коммунистами. Они тоже могучие дровосеки: они прямо идут к цели. Надо же как-нибудь расчистить наш старый лес, наполненный всякой дрянью. Что сделали с Тюильри, могут сделать и с Ватиканом, и тогда уже мы навсегда отделаемся от этой старой рухляди; поляна будет окончательно расчищена. Никто теперь не упрекает новгородцев за то, что они скатили в Волхов святой истукан Перуна<sup>1023</sup>: зачем же бранить коммунистов за то, что они низвергнули Вандомскую колонну<sup>1024</sup>?

\*\*\*

«Мне очень бы хотелось познакомиться с греческим языком: не можете ли дать мне несколько уроков — хоть этак раза три в неделю?» — сказал мне однажды Фурдрен. — «Конечно, я от этого не прочь», — хотя и казалось мне немножко странным, что человеку лет за сорок вздумалось начать учиться по-гречески. Он попросил меня написать ему систему греческих спряжений, что я тут же сделал, *séance tenante*<sup>\*\*</sup>. Она показалась ему очень замысловатой. Наши уроки шли следующим образом. Я читал и переводил с грамматическим разбором разговоры *Лукиана*<sup>1025</sup>, а он с книгой в руках следил за мною и больше ничего не делал. Иногда, бывало, он зевает, а иногда и глаза закрывает, как будто задремлет. «Странный способ изучать греческий язык!» — думал я про себя. Тайна открылась гораздо позже: эти уроки были не что иное, как любезная выдумка Фурдрена — давать мне пособие, не оскорбляя моего самолюбия. Признаюсь, я в этом поступке вижу геройский подвиг христианской любви. А Фурдрен был, как у нас говорят, *фармазон*<sup>1026</sup> и человек без веры! Вот так и выходит, что самаритянин лучше правоверного иудея<sup>1027</sup>!

*Лекуант* был милый юноша, единовец Фурдрена, т[о] е[сть] отчаянный республиканец, заклятый враг католической церкви и всех церквей вообще, студент медицины, материалист с длинной бородой. У нас по вечерам, особенно по воскресеньям, были философские беседы. Фурдрен и Лекуант держали сторону материализма, а я — или по духу противоречия, или по природной склонности — защищал мистицизм. При этом случае меня потчевали хорошим кофеем и *сандвичами* — тоже уловка Фурдрена, чтобы вознаградить недостаток моего слишком скромного обеда.

*Потоцкий*. Сiju я однажды у камина в гостинице *du coq*<sup>\*\*\*</sup>; тут же подсел какой-то, не помню, француз или поляк, один из тех воинственных дружин<sup>1028</sup>, что за свободу сражались и в Польшу на кораблях ходили. «Я знаю здесь одного из ваших соотчичей», — сказал он. — «Кто ж это такой?» — «Г[осподи]н Потоцкий. Хотите с ним познакомиться?» — «Без сомнения! Дайте мне его адрес».

Потоцкий был самый идеал польского шляхтича: долговязый, худощавый, бледный, белобрысый, с длинными повисшими усами, с физиономией Костюшки<sup>1029</sup>,

\* Атеист — от *фр.* *athée*.

\*\* Не сходя с места — *фр.*

\*\*\* У петушка — *фр.*

t[o] e[сть] une espèce de singe\*, как сказал Шатобриан<sup>1030</sup>. В нем совершенно развилась славянская натура. Он, как и все поляки, получал от бельгийского правительства один франк в день и этим довольствовался и решительно ничего не делал: или лежал, развалившись на постели, или бродил по городу. Ведь какой-нибудь англичанин, американец или даже немец пустился бы на разные хитрости, чтобы зашибить копейку и доставить себе более удобств или, вообще, чтоб иметь какое-нибудь занятие. Как же это ничего решительно не делать? Но такова уж славянская природа. С самого детства я слышал пословицу: *лень прежде нас родилась*. Есть нечто подобное в итальянском характере: мой цюрихский приятель *Угони* часто с особенным восторгом повторял: *Il dolce far niente! il dolce far niente\*\**! Трудолюбие, например, Чижова и ему подобных вовсе не православная русская привычка: это ересь, заимствованная от басурманского англо-сакского племени.

Но есть дело хуже безделья. Пришло в голову Потоцкому писать, t[o] e[сть] сочинять, да еще на каком-то польско-французском наречии. Написал он целую тетрадищу — такая галиматья, что хоть святых вон носи. Сам он побоялся снести ее в редакцию “*Journal Liège*”\*\*\* и дал мне это поручение. Я нашел там полдюжину редакторов, сидевших на каком-то совещании. Я подал им тетрадь с оговоркою, что я вовсе не причастен к этому произведению, а что меня просто просили передать это им. Они взяли рукопись, и она там почилла сном праведным и никогда божьего света не видела.

У Потоцкого была еще другая черта славянской или, может быть, преимущественно польской натуры: непомерное хвастовство. Через меня он познакомился с Фурдреном и Лекуантом и был приглашаем на наши философские беседы. Тут он начал рассказывать о Польше такие небылицы, что у меня просто уши вянули. По словам его — Польша благословенная Аркадия, страна патриархальной невинности и чистоты нравов. О невинности польских нравов я кое-что слышал от наших офицеров, да и сам был на Волыни в Подолии. Но мне невозможно было ни слова сказать в опровержение этих нелепостей. Как меня ни уважали, но все ж таки мое свидетельство ничего не значило перед авторитетом Потоцкого: ведь он *поляк!* — а в то время каждый поляк был украшен двойным золотым венцом (ореолом): воинской доблести и несчастья.

Фурдрен жил летом за городом за рекою. К нему надобно было переправляться на лодке. Мой роковой час пробил, и я отправился проститься с ним навсегда. Как все люди, живущие одним воображением на счет здравого смысла, я верил в *приметы*. Уж сколько раз я переезжал в этой лодке к Фурдрену и ничего особенного не замечал. Но на этот раз тут был какой-то музыкант с гитарою или арфою, и во время переправы он пел следующее: “*Espérance! Confiance! Le refrain du pèlerin!*”\*\*\*\* Эти слова меня поразили. Они решительно были направлены ко мне. В эту минуту я был действительно пилигрим, паломник, шествовавший с верою и надеждою к святым местам, на новый подвиг в монастырь искупителя в *Сен-Трон*<sup>1031</sup>.

Добрый Фурдрен, прощаясь со мною, прослезился. Он подозревал ту маленькую девочку, которая так на него была похожа, и сказал ей: «Поцелуйся с ним, душенька!

\* Нечто вроде обезьяны — *фр.*

\*\* Сладкое ничегонеделание — *ит.*

\*\*\* «*Льежская газета*» — *фр.*

\*\*\*\* Надежда! Вера! Припев странника! — *фр.*



Ты долго, долго его не увидишь!» И теперь еще слезы выступают на глазах, когда вспомню об этом.

И этих добрых людей я покинул для того, чтобы примкнуть к стану их заклятых врагов! Странное психо- и физиологическое явление!

Я немедленно приступлю к объяснению этого странного переворота в моей жизни. А покамест выпишываю слова Огарева<sup>1032</sup> из предисловия к «Русской потаенной литературе»: «Каким образом автор этой поэмы (Торжество смерти) погиб хуже всех смертей, постигших русских поэтов, погиб равно для науки и для жизни, погиб заживо, одевшись в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу?.. Это остается тайной; тем не менее, мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни? Как знать? Если внешнее чудо могло столкнуть его живого в гроб, то внутренняя сила может и вырвать из него. Покаяние не только христианская мысль, но необходимость для всего человечески-искреннего»<sup>1033</sup>

За эти последние слова душевно благодарю Огарева. Il n'a pas désespéré de la patrie\*.

### № 123. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Царское Село  
Лечебница Д[окто]ра Эбермана  
18 июня [1871]

Пора, наконец, написать к тебе, мой милый Печерин, иначе я сделаюсь таким же лентяем, как и ты. Из верхних строк ты видишь, что я далеко не там, где думал быть. Думал быть у тебя, а моя каменная болезнь загнала меня к специалисту этих болезней доктору Эберману, у которого есть своя лечебница в Царском Селе, куда я и переселился. Ты поздравлял меня с удавшейся операцией, но именно удачи-то и не было. У меня вышел один камень сам собою, а другой далеко более остался. Вышедший был в 5 миллиметров длиной, остающийся в 20 миллиметров. Здесь мне его разбили и благодаря хлорофору, а также и искусству доктора, я не чувствовал никакой боли. Теперь он выходит осколками, но пока довольно медленно. Во всяком случае, я уже вижу конец страданиям. Думаю, что недели через две меня отсюда выпустят. Тогда следует недели три, четыре попить воды и отдохнуть.

Что меня сильно расстраивает, это то, что едва ли мне удастся к тебе приехать. Как на беду подвернулась болезнь. И вместе с нею то огромное дело, о котором я писал тебе; это именно покупка Московско-Курской железной дороги. Я избран директором. Отказаться невозможно, во-первых, потому, что мне отказаться от большого дела почти то же что рыбе отказаться от воды. Искренно скажу потихоньку, что часто утомляют меня заботы и труды, но утомление проходит, а между тем каждый день что-нибудь да кладет в общую массу труда. Это одно. Второе то, что, принявши на себя такое дело, т[о] е[сть] войдя главою компании, купившей это дело почти в 256 миллионов франков, страшно не наблюдать самому за каждым его шагом. Третье то, что инженер, заведующий технической частью эксплуатации, со мною лично работал уже однажды три года с половиною, следовательно, мы друг друга знаем. Другим сходиться с ним не так легко. Но несмотря ни на что я непременно должен

\* Он не разуверился в своей родине — *фр.*

быть у тебя, это такая священная и приятная для меня обязанность, более чем для правоверного побывать у гроба Магомета<sup>1034</sup>. Если бы можно было приехать тебе, но этого нельзя, по крайней мере нельзя до того времени, пока я тебя не повидаю.

Наконец я отыскал для тебя разрозненные тома русских сказок, собранных Афанасьевым. Это решительно ничего, что они разрозненны; когда-нибудь попадутся и другие, а пока твоему англичанину будет вдоволь. Думаю, что они уже тебе посланы, потому что я поручил Поленову послать их к тебе и дал ему твой адрес. Если не посланы, то тотчас же, как выйду из моей лечебницы, пошлю их тебе под бандеродем.

Сегодня у меня был Никитенко, разумеется, состарившийся. Но как он подкрашивает волосы, поэтому не сед и кажется еще довольно молодым. Он давно уже не имеет от тебя писем. Непременно хочу я быть у тебя, ну что, если бы еще не эти проклятые воды.

Пиши мне все по тому же моему московскому адресу, отсюда я надеюсь скоро выбраться.

Каково Ваше лето? Здесь около Петербурга и в Петербурге оно отвратительно. По сие время ежедневно дожди и только с неделю как стало тепло по-летнему.

Твой Ф. Чижов.

## № 124. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

22 июня н[ового] ст[иля] 1871

Ах, как это грустно, что ты все еще болен, да и не на шутку! Ради Бога, старайся поскорее вылечиться, да и приезжай сюда. Перемена воздуха будет тебе очень полезна. Я с нетерпением тебя ожидаю. Ты очень метко назвал себя *аскетом труда*: в этих словах заключается вся суть современного мира, да этим же и разрешается вопрос между классиками и реалистами. От классицизма все как-то пахнет монастырем, душною келью, книжным учением, словопрением, а от реализма веет свежий утренний ветерок пробуждающейся новой жизни. Классицизм есть своего рода староверчество. «Надобно изучать древние языки!» — Очень хорошо, да зачем же непременно греческий и латинский? — «Да потому, что так водилось испокон веку». — Да, оно так было, пока не открыли санскритского языка; а теперь всякий знает, что этот язык стоит гораздо выше и греческого, и латинского: тут и формы языка обильнее и разнообразнее, и философия глубже, и поэзия шире и великолепнее, а религиозные понятия почти тождественны с христианством. Тут есть какое-то недоразумение. Древние языки никак не могут быть *целью*: они просто материалы, пособия для изучения лингвистики, истории, религии и других отраслей знания. Правда, греческий и латинский играли важную роль в то время, когда все воспитание заключалось в так называемой *изящной словесности*; но это, слава Богу, давно уже прошло, и теперь разве только в какой-нибудь семинарии найдутся еще бурсаки, сочиняющие хрии\* и оды по всем правилам риторики и пиитики, по Аристотелю и Квинтилиану<sup>1035</sup>.

Уж дались вам эти древние! Погодите немножко, и наша пора придет: мы тоже будем *древними*. На нас также будут писать комментарии. Над Пушкиным будут

\* Хрия (от греческого χρεία) — в школьной риторике: речь, рассуждение на заданную тему, составленные по определенным правилам.

мучить бедных мальчишек, ни больше, ни меньше как их теперь мучат над Горацием<sup>1036</sup> и Пиндаром. Какой-нибудь знаменитый филолог передаст имя свое потомству, поставивши «ѵ» вместо «е» в древней рукописи нашего барда.

“Vir doctissimus et illustrissimus N.N. — verum republicae literarum decus — eo qui pollet ingenii acumine — pro e quod librariorum in curia irreperat, nunc demum, Minerva afflante, «ѵ» feliciter restituit!”\*

“Vide Annot. ad *Puchkinii Opera omnia*. Editio nova et acuta, e Codice Mosquensi vetustissimo adornata, notis variorum et indice copiosissimo instructa. Lipsiae. Apud *Teufelsdrickium*. A. D. 2871”\*\*\*

Ну, а что касается до опасения от нигилизма, то я предложу вопрос: где, в какой стране больше изучали древних классиков, как не в Германии. Однако ж она произвела Штрауса и Фейербаха. Все это сущий вздор! Вы напрасно хлопчете, господа: ход ума человеческого затормозить нельзя. Еще прежде вас римская церковь попыталась было приостановить круговращение земли, объявивши его опасным для веры и добрых нравов (Decretum. Sacr. Congreg. 1618<sup>1037</sup>); но назло им земля все-таки вращается на своей оси... Errur si muove!<sup>\*\*\*1038</sup>

Известный аббат Гом (Gaume) написал целую книгу: “Le ver gongeur”\*\*\*\*, чтобы доказать, что все ужасы французской революции произошли от классического воспитания: все передовые революционеры назывались Гракхами, Брутами, Луциями<sup>1039</sup> и пр[очее]. Вот это другая сторона картины!<sup>1040</sup>

Кстати о нигилизме. В священных санскритских книгах часто встречается слово *Настика*, что буквально значит *нигилист*. И действительно, оно имеет это значение в устах благочестивых брахманов. Итак, наши нигилисты могут похвастаться древностью своего происхождения. Да, впрочем, зачем так далеко идти? Довольно раскрыть Библию: книга *Экклезиаст*<sup>1041</sup> очевидно произведение отчаянного нигилиста...

«Ничто не ново под луною:  
Что есть, то было, будет век;  
И прежде кровь лилась рекою,  
И прежде плакал человек,  
И прежде был он жертвой рока,  
Надежды, слабости, порока»!<sup>1042</sup>

\* «Муж ученейший и великолепнейший, истинное украшение литературы республики, благодаря остроте дарования, которым он владеет, вместо «е», прокравшегося в гильдию переписчиков, лишь теперь вдохновленный Минервой счастливым образом восстанавливает «ѵ» — *лат.* Фраза, без сомнения, принадлежит перу самого В. С. Печерина и представляет собою как бы литературную иллюстрацию к предыдущей русской фразе: он подражает стилю средневековых немецких ученых-комментаторов античной литературы, отмечавших таким образом удачные конъектуры своих предшественников. Фраза состоит из типичных античных словосочетаний, которым учили гимназистов.

\*\* Смотри Примечания к Полному Собранию Сочинений Пушкина. Издание новое, уточненное, подготовленное по старейшему московскому кодексу, снабженное разнообразными примечаниями и подробнейшим индексом. Лейпциг. В типографии черта, 2871 год от Рождества Христова — *лат.* Такого издания никогда не было. Это — шутка В. С. Печерина.

\*\*\* «А все-таки она вертится!» — *ит.*

\*\*\*\* «Угрызения совести» — *фр.*

Мне очень приятно слышать, что большинство Государст[венного] Совета на стороне реализма. Бьюсь об заклад, что самые ревностные поборники древних классиков имеют самое поверхностное об них понятие и, может быть, знают их только по слуху. Они просто староверцы.

Ради разнообразия прерываю на минуту хронологический порядок моей летописи, и так как ты не раз уже просил меня сообщить тебе нечто из монашеской жизни, нечто в романтически-мистическом роде, то вот тебе монашеская *легенда*. Признаюсь, она немножко *скабрёзна*; но ведь это не для публики, а для твоего частного потребления. Сверх того я уверен, что ваша цензура так целомудренна, что никогда подобных вещей не пропускает. Нашел в ботаническом саду цветочек из южной России, окрещенный именем Пушкина Puschkinia. Он принадлежит к ряду лилий<sup>1043</sup>.

Ах ты, Боже мой! Да как же ты этак ворочаешь миллионами! Нашему брату страшно и подумать.

Неужели Аксаков ничего не пишет, ничего не издает?

Твой В. Печерин.

Легенда о монахе и бесе (из Четьи-Минеи<sup>1044</sup>)

Tout se sait (M-me Mentenon<sup>1045</sup>)\*

Nihil est opertum, quod non revelabitur, et occultum, quod non scietur.

(Evang. Matth. Cap. 10.26)\*\*

В некотором царстве, в некотором государстве, в те времена, когда везде уже развелись железные дороги для вящего блага христианского мира, для распространения истинной веры и торговли, в лето от Р. Х. 185... однажды под вечер большой поезд остановился на главной станции железной дороги в Л. Высыпала бездна народа; между прочим, из одной кареты вышло довольно замечательное лицо: высокий, тучный, широкоплечий, брюхастый, краснощекий монах-миссионер, больше похожий на екатерининского гренадера<sup>1046</sup>, чем на умерщвленного плотью инока<sup>1047</sup>. Он был в партикулярном\*\*\* светском платье, т[о] е[сть], говоря попросту, в демократическом сюртуке. Вышедши на платформу, он как-то осторожно повел глазами кругом и, заметив вдалеке извозчика, подозвал его к себе изгибом указательного перста. Извозчик тотчас подбежал: «Куда прикажете?» — «Послушай-ка, братец, — сказал миссионер, нагнувшись и говоря почти на ухо и вполголоса, — не можешь ли ты свезти меня к хорошенькой девушке... знаешь, к этакой красотке, какой лучше в городе нет?» Извозчик смыслено кивнул головою и, лукаво прищуря правый глаз, отвечал: «Ну, уж свезти-то, барин, свезем, да еще к такой знатной, что только бароны да графы туда ходят... а на водку-то, чай, прибавка будет?» — «Разумеется, что будет: ты об этом уж не беспокойся; итак, дело слажено: подавай же карету».

Карета подъехала, и миссионер увесисто бухнул в нее, так что едва рессоры не лопнули под бременем его громадной особы. «Ну, теперь погоняй по всем по трем».

\* Все узнается (Мадам Ментенон) — *фр.*

\*\* Нет ничего скрытого, что не раскроется, нет тайного, что не узнают (Евангелие от Матфея, X, 26) — *лат.*

\*\*\* Частный, штатский, не форменный — от *лат. particularis* — отдельный.

Повезли его разными вавилонскими улицами и переулками и, наконец, в сумерки остановились в довольно уединенной улице перед небольшим домиком с зелеными ставнями... Таинственно постучались медным кольцом у зеленой двери.

«Молчит неверный часовой,  
Опущен тихо мост подъемный,  
Врата открыты в тьме ночной  
Рукой предательства наемной»<sup>1048</sup>.

Святого отца ввели в очень хорошо убранную комнату: тут был какой-то тяжелый запах муска<sup>1049</sup>, какое-то удушающее благовоние — обыкновенная примета известных домов. На круглом столе лампа под матовым колпаком разливала какой-то волшебный и соблазнительный полусвет. На красной софе сидела в пух разряженная и немножко подкрашенная красotka. Миссионер раскланялся по-кавалергардски<sup>1050</sup> и начал подвозить разные туры на колесах... Но к чему тут излишнее красноречие! Да и Крылов советует, «чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить»<sup>1051</sup>. Итак, он, не теряя времени, подсел к этой деве и, как муж духовный и истый артист, сразу предался эстетическому созерцанию пластической красоты. Разрушая постепенно одну за другою все ревнивые препоны, он зорким оком художника все исследовал, все осмотрел, все ощупал, все облобызал, но — греха не учинил!

*Все испытал — и ничему не покорился!* Как это умно и деликатно! Таким образом, он ускользнул от *цензуры церковной*; перед церковью он чист; и бесу угодил, и Бога не раздражил! Вот что значит быть умным человеком!

Насладившись вполне этим невинным созерцанием изящного, он встал, напечатлел последний поцелуй на полинявших устах красавицы и, как порядочный человек, честно и благородно расплатился с нею за ее пассивные труды. Вышел на крыльцо, как будто ни в чем не бывало, с важною осанкою, и величаво уселся в карете, вынул четки и, перебирая их, начал размышлять о суете мира сего<sup>1052</sup>, *яко преходит мир и вождение его*<sup>1053</sup>, и приготовляться к завтрашней проповеди.

А завтра-то было воскресенье. Погода, как нарочно, стояла прекрасная. Церковь битком набита. Женский пол, как обыкновенно, преобладал. Тут были и дамы в персидских шалях, шелках и бархатах, и бедные девушки в скромных ситцевых платицах. Но и мужского пола было довольно: были господа в сюртуках из тонкого сукна и некоторые *джентльмены* в изношенных сермягах<sup>1054</sup>, тут был весь евангельский люд; толпа бродяг, нищих, слепых, хромых, немых, чающих движения воды<sup>1055</sup>... В безмолвном ожидании все глаза устремлены на кафедру... Скоро ли появится этот знаменитый оратор? Громкая молва ему предшествовала. «От его громоносного красноречия, — говорила молва, — окаянные грешники трепетали как осиновый лист, а чувствительные женщины истекали слезами». Вот он! вот он, наш старый знакомый! Подкрепившись предварительно бутылкою вина для большего *куража*<sup>\*</sup>, он вышел на сцену в орденской одежде, весь блестящий здоровьем и силою, *яко исполнин тещи путь*. С самоуверенным видом он медленно обозрел все собрание как генерал осматривает поле накануне битвы, и, казалось, был доволен своим обзором. Мы вовсе не намерены выписывать целиком эту проповедь, сохранившуюся в летописях монастыря. По нашим грешным понятиям, из всех скучных и бесполезных

\* Храбрость, смелость, бодрость — от *фр.* courage.

вещей самая скучная и бесполезная есть — проповедь. Довольно сказать, что красноречивое слово этого благочестивого миссионера было направлено против *ужасного* греха плоти, греха сластолюбия. «Ах! возлюбленные братия! Какой это ужасный грех! От него все бедствия на свете произошли. От него древний мир затоплен был волнами потопа; от него Содом и Гоморра сожжены огнем небесным; от него погибли Вавилон и Ниневия<sup>1056</sup>... Но что тут говорить о временах глубокой древности? Даже ныне в нашем христианском мире — я с горестью должен сказать — ежедневно сотни, тысячи, миллионы душ низвергаются в геенну огненную<sup>1057</sup>... Ах! христиане! Как мы легкомысленны! как беспечны! Мы резвимся и пляшем на краю пламенной бездны. Я обращаюсь особенно к вам, молодые люди, молодые девицы! Вы знаете, что я говорю правду без всякого лицепрятия, говорю прямо, без обиняков. Слушайте ж, молодые девушки: не правда ли, что вы иногда это считаете милою шалостью, легким отпускным грехом, украдкою дать поцелуй молодому человеку? Слушайте ж меня теперь: я торжественно объявляю вам именем Бога и со всем авторитетом моего священного сана: этот поцелуй вовсе не шалость, не легкий отпускной грех — нет! Это *смертный* грех первой величины: за этот один поцелуй вы будете повергнуты в пламя геенны на вечные веки веков. Да что я говорю о поцелуе? Иногда одного взгляда достаточно, чтоб навеки погубить бессмертную душу, по словам Св[ятого] Писания: *еще воззрит на жену, воздевая ее...*<sup>1058</sup> Ах, какое ослепление! За одну минуту чувственного наслаждения потерять бесконечное блаженство рая! за одну минуту этого *скотского* наслаждения подвергнуться бесконечным мукам в геенне огненной на сколько времени, вы думаете? на несколько столетий? тысячелетий? Нет! на бесконечные миллионы миллионов лет — пока Бог и вечность существуют! О, легкомыслие! о, безумие! я скажу теперь словами Иеремии пророка: «Кто даст очам моим потоки слез, да сяду и восплачусь о погибели дочерей моего народа!»<sup>1059</sup>

Проповедник был, видимо, тронут — слезы умиления блистали в глазах его — он превзошел самого себя...

«Ох! Ах! — раздавалось во всех углах церкви, — вот истинно святой муж! вот уж он-то прямо пойдет в рай. А с нами-то грешными что будет! Где же нам, бедным мирянам, спастись среди толиких мирских искушений!»

Вот тут, кажись бы, и конец — а нет! В монашеской легенде без беса обойтись нельзя. В монастырской летописи находится следующая приписка другою рукою:

Некий благочестивый пустынный именован Пафнутий, имевший откровение свыше, видел собственными — не плотскими, а духовными глазами — следующее видение и сообщил его на духу игумену Иосифану:

Во все время проповеди под самую кафедру сидел бес в полном мундире, т[о] е[сть] с рогами, с рожею обезьяны и с козлиными ногами. В самых патетических местах проповеди он выглядывал из-за кафедры, строил рожи почтенным слушателям, кривлялся и безобразно хихикал...

Но, разумеется, миряне, не озаренные свыше, ничего не видали...

## Н р а в о у ч е н и е

Нет ничего отвратительнее голой истины. Никто ее терпеть не может. Вот поэтому-то мы стараемся ее прикрыть, приодеть, подкрасить, подрумянить, замаскировать сколько возможно. Подавай нам вымысел, сказки! А попробуй-ка сказать

правду-матку, Расскажи вещи, как они в самом деле были: фу! как это гадко! как неприлично! как противно христианскому целомудрию!

L'homme est de feu pour le mensonge,  
Il est de glace aux vérités.\*

*Окаянный нигилист.*

## № 125. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Царское Село  
Лечебница Д[окто]ра Эбермана  
Июля 18-го год 1871

Ну, брат Печерин, пишу тебе все из того же Царского Села, все из той же лечебницы, из которой я думал выйти месяц тому назад. Операции идут хорошо, если хочешь, превосходно: без боли, без страданий, без хлорофора, который при второй операции страшно неприятно подействовал на мои нервы. Камень выходит кусочками. Кажется бы все хорошо. Да одна беда: я не весь превратился в камень, а есть у меня мерзкие мочалки, которые зовутся нервами. Не знаю, испытал ли ты когда-нибудь нервные страдания, если не испытал, то нечего тебе и говорить о них. Это такая чушь, что и Боже упаси. Придумывай, какую хочешь дичь, эти проклятые нервные боли выразятся далеко сильнейшею дичью. В настоящее время, обыкновенно в день операции, под каким-нибудь предлогом, или ветра, или холода, или сырости, или просто, что называется, здорово живешь, начинается у меня озноб или прямо страшная боль в ногах и потом подергиванья в ногах, а захочется им, то и во всем теле. Это продолжается большею частью целую ночь до рассвета. К рассвету измученный, истомленный, я начинаю забываться, боли начинают успокаиваться, и я засыпаю. С небольшими промежутками я сплю часов 30, иногда 40, без пищи и питья. Потом все мало-помалу проходит, остается сильнейшая слабость. И такое наслаждение жизнью бывает каждую неделю, то есть после каждой операции.

Думаю, что, узнав это, ты не решишься сильно ругать меня за то, что я обманул тебя и к тебе нынешним летом не буду в состоянии приехать. Положим, что я и скоро выйду из моей тюрьмы, так, по крайней мере, уверяет меня доктор, которому я уже перестал верить, несмотря на то, что он превосходно делает операции: его рука вернее его слова. Тотчас после мне необходимо пить воды, именно Виши, для того, чтобы предупредить образование нового камня. При моем нервном состоянии нужно наиспокойнейшее, наибезработнейшее и наимедеятельнейшее спокойствие. Поездка не даст его мне; она требует своего рода забот, иногда и лишений. При другом состоянии нервов все это было бы хорошо, даже целебно, теперь я совершенная тряпка, и то старая, растрепанная, скверная, никуда не годная.

Очень рад, что мог сколько-нибудь исполнить твое желание отправкою, хотя части издания Афанасьева. После ты напишешь, какие именно части я тебе послал; авось, помнишь ли ты это наше авось, удастся найти и остальные, а, может быть, как-нибудь найду и полное издание.

---

\* Человек страстно лжет, но, говоря правду, остается бесстрастным — *фр.*

Слава Богу, вопрос о классицизме и реализме сошел со страниц наших газет и журналов. Прости меня, я уничтожил в твоём письме все не относящееся к этому вопросу и, написав несколько слов вступления, дал его напечатать<sup>1060</sup>, не знаю, напеча[та]но ли, я больной, не мог следить. Теперь все наши газеты наполнены другим вопросом или другим делом, делом настоящей минуты, известным под именем Нечаевского дела<sup>1061</sup>, именно заговором или тайным обществом, составившимся для ниспровержения государственного устройства. В числе подсудимых, явившихся на скамейке преступников, один 42 лет, прочие все от 19, даже 17 лет до 26. Правда, что у них было оружие, до сих пор открыто, один револьвер. Было и собиране средств, именно было собрано maximum 300 рублей. И эти заговорщики задумали ни много, ни мало ниспровергнуть весь государственный строй России и, кажется, вообще все государственное устройство во всем мире. Задумывать, так задумывать, excusez du peu\*. Собственно говоря, был один сознательный заговорщик Нечаев, учитель низшей школы. Хотелось бы мне послать к тебе весь ход суда, если только он напечатается отдельной брошюрой. Теперь печатаются все заседания. Тебя порадовала бы защита истинно человеческая и самый взгляд на подсудимых со стороны суда. Одно уже то, что так называемое политическое преступление судится гласно и публично, весьма значительный шаг, особенно после того, как ты оставил Россию. Потомки наши далеко больше нас превознесут и возблагодарят Александра II за то, что он дал нам. Будь здоров и пиши, пожалуйста, не лентяй. Все по тому же адресу в Прав[ление] Яросл[авской] желез[ной] дороги.

**№ 126. В. С. Печерин — В. Ф. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

13 августа н[ового] ст[илия] 1871

Итак, мне снова суждено остаться в моем уединении! А я уже строил, было, воздушные замки для свидания с тобой и твоею любезною сопутницею. Нечего делать! Не первой раз мне покоряться закону необходимости. Одно меня утешает, что лечение твое идет успешно. Само собой разумеется, что в твоём положении о путешествии и думать невозможно. Но если сам приехать не можешь, то нельзя ли прислать от себя какого-нибудь депутата, уполномоченного представителя русской земли? Но только с одним условием — чтоб он не просил у меня денег. А то сюда заезжают иногда русские да поляки такие, что Боже упаси! Вот хоть, например, знаменитый Сергей Михайлыч Фокин. Симбирский помещик — 4000 душ — с государем запросто с глазу на глаз за одним столом обедал — тьфу ты, какая пропасть! Фу-фу! Тут русским духом пахнет! Вот этот-то Фокин сразу потребовал с меня контрибуцию в 20 ф[унтов] ст[ерлингов]. К счастью, я вовсе не в состоянии был ссудить подобной суммы, да тут же и раздумье взяло. Как же это? Русский помещик путешествует без кредитных писем и векселей? Я сел да и написал в Лондон к покойному князю Петру Долгорукову, а он с возвратною почтою уведомляет меня, что Сергей Михайлыч «такой мошенник, в сравнении с коим бледнеют и Наполеон III, и в чорте усопший Морни» (собственные слова кн[язя] Долгоруко-

---

\* Не взыщите — фр.



ва)<sup>1062</sup>. Но все ж таки ему удалось надуть почтенных отцов езуитов, пред кем он прикинулся ревностным новообращенным католиком. Да еще прежде того он выманил у нашего русского священника в Лондоне 10 ф[унтов] ст[ерлингов]. Вишь, каких людей производит русская земля! Нечего сказать! в этом отношении мы не уступим ни одной великой державе!

Ну, что ж ты ни слова не пишешь о холере? Ведь она свирепствует в Петербурге и Москве, да уж и за немецкую границу перешла. У нас начинают принимать предварительные против нее меры. Впрочем, я ее и в грош не ставлю. Это старая знакомая *la familiarité engendre le mépris*\*. Я первый раз с нею познакомился в 1831, когда, как ты помнишь, наш инспектор умер в университете. Потом в 1849 мне пришлось напутствовать нескольких бедных ирландцев в лондонских предместьях. А здесь два–три года назад около 200 человек умерло от холеры в нашей больнице, следовательно, это уже не новость. Впрочем, тут не худо припомнить прусскую поговорку: не плюй в колодезь, придется испить.

Ну, что ж? напечатали ли твою (или мою) статью? Да, кстати, уведоь меня, какое дал решение государь в деле классиков.

Нечаевское дело очень важное и утешительное явление в русском быту. Пришли, пожалуйста, весь процесс, когда он будет напечатан. Я от всей души сочувствую этим бедным молодым людям; но все ж таки должен сказать, что предприятие их не имеет никакого разумного основания: это тот же фанатизм, только в другом виде. Это — слепая вера в слова пророка, обещающего земной рай: они слепо веруют в жизнь грядущего века и де же несть ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная<sup>1063</sup>. Не худо бы этим господам изучать анатомию и физиологию и другие положительные науки. Я тоже верую, но вера моя имеет положительное основание. Я верую, что «с постепенным развитием науки состояние всех классов общества будет постепенно улучшаться и может со временем достигнуть высшей степени благосостояния». Далее этого идти нельзя. Но к несчастью в нашей атмосфере все еще носится какая-то мгла метафизики и риторики. Я понимаю, что даже политическая экономия — уж такая прозаическая практическая наука — просто дело шиллингов и пенсов — у нас она преподавалась ужасно как-то свысока, там где-то в облаках, так что и сам Адам Смит<sup>1064</sup> никак бы не узнал своего детища. Все это одни фразы: человечество! прогресс! А Чижов без фраз строит железные дороги и своими паровиками действительно подвигает человечество вперед гораздо быстрее, чем все эти воздушные шары метафизики и риторики.

Я получил две книжки, т[о] е[сть] четыре выпуска русских сказок, и полагаюсь на твою *авось*, что ты пришлешь и остальное.

Теперь какое-то облако грусти нашло на меня — может быть оттого, что мне теперь приходится решительно начать описание важнейшей эпохи моей жизни. Я неохотно к этому приступаю. Я откладывал это насколько мог. Это некоторого рода духовное завещание — это “*Apologia pro vita mea*”\*\*, моя защита перед Россиею, особенно перед новым поколением. Какая ни будет участь этих записок, но все ж таки мне кажется, что они могли бы быть предметом любопытного психологического исследования. Они представляют явление самостоятельного *русского* развития, я говорю *русского*, потому что подобное развитие невозможно было

\* Фамильярность порождает презрение — *фр.*

\*\* Апология моей жизни — *лат.*

бы ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии, где все как-то замкнуто в одной рутинной колее. Какое необходимое сцепление микроскопических нравственных и физиологических атомов произвело сплошную цепь моей жизни — это достойный предмет для философского исследования. Я называю это “Apologia pro vita mea”. Да! потому что мне непременно надобно оправдаться перед Россией — но в чем же мне оправдываться? Мне кажется, нет ничего позорного в том, что я носил арлекинские штаны или продавал ваксу на улице: тут нет ничего противного человеческому достоинству... Но — добровольно пожертвовать всеми дарами ума и сердца, но — отречься от престола разума и закабалить себя в неволю невежественным и наглым фанатикам и быть в продолжение 20 лет слепым орудием их мелкого честолюбия и ненасытного корыстолюбия — вот это такое пятно, какого ничем смыть нельзя.

Я нахожусь в положении мнимо умершего. Он лежит, распростертый на одре без малейшего признака жизни. Вокруг него суетятся и хлопочут — распоряжаются его имуществом, толкуют вкось и вкривь о его поступках, входят в самые мелкие подробности его похорон: с необыкновенно тонким чутьем он все это слышит — ни одно слово не ускользает от него. Хотелось бы ему *протестовать*, дать хоть какой-нибудь знак жизни: мигнуть глазом, пошевелить пальцем... нет! невозможно! И тут обхватывает его ужасная мысль, что ему придется быть похороненным заживо!

Вот так я связан по рукам и по ногам железною цепью необходимости и никакого знака жизни мне подать невозможно. Все мои мысли, все сочувствия — на *противоположном* берегу с передовыми людьми обеих полушарий; а в действительной жизни я остаюсь *по сю сторону* с живым сознанием, что принадлежу к презренной и ненавистной касте тех людей, коих еще древние римляне называли inimici generis humani\*, и что le caractère du sacerdoce est ineffaçable\*\*, т[о] е[сть] это каторжное клеймо остается неизгладимым на вечные веки веков.

1840-й год.

Король Прусский Фридрих-Вильгельм III<sup>1065</sup>, отец отечества, Vater des Vaterlands, в черном парике, с нарумяненными щеками сидел в боковой ложе берлинской опернгауза\*\*\*, и внимательный лорнет его был направлен на ноги Тальони<sup>1066</sup> — вдруг с каким-то судорожным движением он опустил лорнет, какое-то облако скопилось на его челе — даже сквозь румяны можно было видеть, что он побледнел. Что же такое случилось? Он припомнил, что через несколько дней настанет 1840-й год... было ли какое предсказание или просто темное предчувствие, но он ужасно боялся этого 40-го года — и недаром. Он в этом году умер.

Но не один король прусский боялся 40-го года; многие, кроме него, ожидали чего-то необычайного, какого-то перелома. Откуда же это предчувствие? Было ли ему какое-либо разумное основание? Мне кажется, вот оно.

В 40-м году совершилось десятилетие после Июльской революции. Она была громадным событием не сама по себе, а по надеждам, ею возбужденным. Чего тут

\* Враги рода человеческого — *лат.*

\*\* Черты, свойственные духовенству, неистребимы — *фр.*

\*\*\* Оперный театр — от *нем.* Opernhaus.

не обещали! Совершенную перестройку государства и общества на новых основах; новую великолепную религию с ее доблестными героями и мучениками, долженствовавшую занять место дряхлого, отжившего свой век католицизма. Анфантен, Ламенне, Пьер Леру<sup>1067</sup>, Жорж Занд, Маццини — чего не можно было ожидать от этих вдохновенных апостолов и пророков? Сам Беранже, поднявшись на высоту оды, воспевал новую религию в этих бессмертных строфах:

“Combien de temps une pensée,  
Vierge obscure, attend son époux:  
Les sots la traitent d’insensée,  
Le sage lui dit: Cachez vous!  
Mais, la rencontrant loin du monde,  
Un fou qui croit au lendemain  
L’épouse, elle devient, féconde  
Pour le bonheur du genre humain.  
Qui découvrit un nouveau monde  
Un fou qu’on vaillant en tout lieu  
Sur la croix, que son sang inonde,  
Un fou qui meurt nous légue un dieu”.\*

В конце тридцатых годов я тщательно следил за французской литературой; читал все, что печаталось в Париже: историю, философию, романы, поэмы; везде звучала одна струна — какая-то усталость, разочарование, просто отчаяние. Все эти *безумцы*, веровавшие в *завтра*, ужасно как отрезвились. Все светлые надежды, все блистательные обещания — все это развеялось как дым; жизнь вошла в старую прозаическую колею. «Нечего ожидать от человечества!» — повторяли печальные голоса. Но люди с воображением, слабые и чувствительные сердца, однажды вовлеченные в атмосферу мистицизма, нелегко из нее выходят. Когда здание, воздвигнутое их фантазией, обрушилось над их головою, они вместо того, чтобы выбежать на свежий воздух искать счастья в кипучей внешней деятельности, как-то лениво ищут приюта между развалинами, там, где-нибудь в уголке под уцелевшим готическим сводом с древнею резьбою, где бы можно им сидеть да мечтать вместо того, чтобы действовать и созидать.

В. Печерин.

\* «Ждет Идея, как чистая дева,  
Кто возложит невесте венец.  
«Прячься», — робко ей шепчет мудрец,  
А глупцы уж трепещут от гнева.  
Но безумец-жених к ней грядет  
По полуночи, духом свободный,  
И союз их — свой плод первородный —  
Человечеству счастье дает.

\* \* \*

По безумным блуждая дорогам,  
Нам безумец открыл Новый Свет;  
Нам безумец дал Новый Завет —  
Ибо этот безумец был богом» — *фр.*

Беранже. «Безумцы» (пер. В. Курочкина).

№ 127. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Секиринцы<sup>1068</sup>  
Полтав[ской] губ[ернии],  
Прилуц[кого] уезда  
26 авг[уста] 1871

Наконец я вышел из моей тюрьмы, но никак не могу сказать, чтоб

«Я за порог перешагнул,  
И о тюрьме моей вздохнул»<sup>1069</sup>.

Последнюю операцию мне сделали 6 августа, в тот же день я оставил лечебницу, несмотря на то, что доктор просил меня остаться еще на неделю, пока не выйдут у меня последние осколки. Это не было с моей стороны нетерпение, я, делать нечего, решился бы и остаться; но комната была так неудобна, в ней было у меня все: приемная, кабинет, спальня, одевальня, умывальня, хранительница черного белья, а иногда и ватер-клозет. Чересчур много для невысокой комнаты в 8 аршин в обе стороны. Закрыто окно — душно; откроешь окно — холодно. Холоду я терпеть не могу и не выношу, простужаюсь очень легко. Правда, что и был наказан за то, что не остался еще на неделю: как назло осколок был огромный, и я избавился от него только со страшною болью потому, что его вытащили у меня, когда он засел в головке ствола, крайне неискусно; тогда как мой доктор-специалист вытаскивал без малейшей боли. Теперь, слава Богу, я хожу, езжу на тряских дрожжах<sup>1070</sup>, не чувствуя ни боли, ни даже неприятного ощущения, а до операций я ездил в карете на особой эластической подушке и то только лежа.

8 августа я уже выехал из Петербурга; 9 и 10 пробыл в Москве, съездил верст за 100 в г[ород] Александров, когда-то Александровскую слободу царя Ивана Вас[ильевича] Грозного, от которой мы теперь провели ветвь на одну фабрику. Мне нужно было осмотреть эту ветвь. Там есть холера, но не знаю как на кого, а на меня ее присутствие не производит никакого влияния. Во-первых, я убежден, что проживу 85 лет, excusez du peu\*; во-вторых, когда ни умереть, а все же надобно умереть. В Москве я не имел ни минуты, чтоб написать к тебе; работал часов 30 в сутки, потому что в одно время был занят тремя делами: ехал осматривать дорогу, осматривал ее и взял с собою тех деловых людей, с которыми тут же на дороге порешил многое, для чего времени в Москве не нашел.

Последнее твое письмо я получил в Москве, откуда выехал 11 авг[уста] по ново-приобретенной нами дороге и теперь живу в деревне у моего доброго друга. У него превосходный сад, а южное положение места дает мне возможность насладиться зноем, потому что вчера было 36° по Реомюру на солнце.

Твое письмо легло мне на сердце и развязало меня; я получил возможность коснуться такого предмета в письме к тебе, до которого по сие время не считал себя вправе дотрагиваться. Мы так давно расстались друг с другом, что нам трудно понимать друг друга, понимать не одним умом, а душою, если можно так выразиться. Из твоих писем я видел, что нелегко тебе приступить к описанию твоего перехода в католичество. Кажется, именно поэтому, т[о] е[сть] чтоб отдалить сколько можно это описание, ты прибегнул к легенде. Она не в твоём роде. Плас-

\* Не взыщите — фр.

тическая красота, несмотря на твою дружбу с древними греками, никогда не покоряла тебя полному своему владычеству; это чувствуется и в твоей легенде, особенно чувствуется мною: я, грешный человек, бывал сильным ее поклонником и в скульптуре, и действительной жизни, и как во всем не умел держаться в пределах *aurea mediocritas*\*. Мне не хотелось писать тебе о том, что я, кажется мне, довольно ясно читаю многое в душе твоей: я просто боялся, чтоб ты не завернулся в себя как улитка в свою раковину. Теперь ты сам сказал, как тяжело тебе переживать снова воспоминанием твое вступление в католичество, и ты развязал мне язык. К тому же я считаю себя вправе теперь защищать твое увлечение против твоего страшно строгого суда, потому что, помнишь, в начале твоего монашества я ругал тебя беспощадно; ругал в глаза, как брат ругает родного любимого им брата. Теперь дай мне защитить тебя. Прежде всего, скажи мне, о какой Огарев писал поэме — «Торжество смерти»; мне не пришлось читать этого №, в котором помещены выписанные тобою строки Огарева<sup>1071</sup>.

Что делать, когда все атомы твоего существа сложились так, что ты весь век жил (а потихоньку сказал бы я и живешь) преимущественно и только что не исключительно воображением? Поступай ты иначе, ты не был бы Печериным. Отбрось же твою духовную гордыню и заставь себя посмотреть на самого себя как на простого смертного. *Nomo sum et nihil humanum a me alienum puto*\*\* , вот тебе и остатки от моего неглубокого классицизма. Ты так хорош простым смертным, что в искомом тобою величии непременно сделался бы хуже. Искавши лучшего, ты потерял бы хорошее. Во всех заблуждениях, сбивавшись частехонько с толку, ты сохранил себя чистым, честным и никогда не поступил против убеждений той минуты, в которую зарождалось и являлось на свет твое увлечение и заблуждение. Печерин, мой милый Печерин, это дело нелегкое. Попробуй-ка забраться в душу каждого из нас смертных, считающихся людьми порядочными, сколько сделок мы делали со своею совестью? Сколько уступок делала наша щепетильная совесть? Сколько раз она продала себя не за тридцать сребреников, а далеко дешевле? Все это не видно единственно только потому, что мы всегда ходили в мундире, никогда не позволяли видеть себя в халате. Может быть еще и потому, что мы, взрослые под гнетом деспотизма, сделались природными ипокритами\*\*\*, и лицемерие превратилось в неотъемлемую часть нашей природы. Ты сделал глупость, но не мерзость, зато, сколько же сам ты истязал себя за твое заблуждение? Не скрою от тебя и того, что я, когда был у тебя, новообращенного в католичество и преобразившегося из франкмасона в фанатика монаха, я видел, что ты не был ослеплен до того, что совершенно потерял возможность видеть ложь твоего увлечения; но у меня не было ни материальных, ни нравственных средств. Положим, что я был бы так силен, что мог бы поколебать тебя; а дальше? Что предложил бы я тебе взамен твоего, хотя временного успокоения? Избитый, измученный борениями с обыденною прозою жизни, сохранивший в них всю свою независимость, не видевший никакой цели впереди, едва находивший возможность существовать, ты не заметил, может быть, как обманул сам себя своею мечтою, своим горячим воображением, ты не

\* Золотая середина — *лат.* Выражение принадлежит Горацию, «Оды», II, 10, 5.

\*\* Я человек и ничто человеческое мне не чуждо — *лат.* Выражение принадлежит Теренцию, «Сам себя карающий», I, 1, 25.

\*\*\* Лицемер, ханжа — *греч.*

поддавался католичеству, а умел найти в нем новую форму независимости духа вместе с мировой деятельностью. Ты как Данте, загнанный вьюгою, постучался у дверей монастыря, искавши приюта; тебя спросили: «Что тебе надобно?» *La rase e monte di piu che la rase\**. И ты нашел то, чего искала в ту минуту душа твоя; все прочее, вся обстановка уничтожилась для тебя.

Думаю, что полнейшая простая искренность и самый подробный рассказ о твоём переходе в католичество, потом самое подробное изложение твоего жителя в монашестве, твоего миссионерства только что не изо дня в день, твоего проповедничества, что это окажет великую услугу молодому поколению, особенно нашему. Печерин, это дело немалое и по личному значению деятеля далеко значительнее всякой постройки железной дороги. Мало людей, которых судьба толкала бы и бросала бы, как толкала и бросала она тебя из одного общественного положения в другое. Везде ты был искренен с самим собою, потому везде чист и честен. Делал глупости, был Дон Кихотом, остался им же и в католичестве, и в изучении ботаники, и химии, и санскритского языка — все это так логично, как нельзя более. Ты не был бы иначе Печериным, как я не был бы Чижевым, если бы ежеминутно не задумывал новых предприятий и не приводил их в исполнение, часто несмысленных.

Мне досадно, что ты при передаче твоих походов в Льеже как-то оставил подробно следить шаг за шагом, как ты это делал в переходе из Цюриха в Льеж. Ты не можешь себе представить, как это увлекательно. Верь мне, что все такие подробности чрезвычайно как много доставляют возможности психически воспроизвести в себе человека, их рассказывающего. Я и без них могу следить за тобою; я тебя знаю и сроднился с тобою, с твоею живою душою, постороннему же читателю нужно проследить за каждым шагом для того, чтоб в твоём существе видеть собственное свое существо, только в иной форме. Я вовсе не так легко смотрю на твои похождения. Я вижу в них огромную услугу, какую ты можешь оказать нашей литературе. Ты, верно, не заподозришь меня в лести. Люблю я тебя просто и, если бы не считал твое описание стоящим печати и подарком, дорогим подарком нашей литературе, то или сказал бы тебе просто без обиняков, или, по крайней мере, не требовал бы от тебя, чтоб ты непременно продолжал присылать их мне; а теперь я с обычною моею настойчивостью требую по праву сорокалетней дружбы, чтоб ты никак не ленился и победил бы в себе страшную гордыню, передал бы себя со всею мелочною подробностью.

Хотелось бы мне передать тебе о двух вопросах, которыми теперь заняты разные комиссии и земские собрания. Это распространение военной повинности, то есть солдатчины, на все сословия без исключения, и то же изменение податной системы<sup>1072</sup>, тоже распространение ее на всех без исключения. Что тут прекрасного, это то, что высшие сословия в большинстве принимают то и другое весьма охотно и передовые из дворян стоят за такое фактическое уничтожение сословных привилегий и защищают его всею силою красноречия. Это ты не везде найдешь. Спешу писать; надобно отправлять на почту, а это отсюда не близко, верст 50. Пиши мне все по старому адресу. Я скоро возвращусь в Москву; здесь я пью воды *Vinhi Grande Grille* для того, чтобы предупредить образование нового камня.

Твой Ф. Чижов.

---

\* Мира и ничего, кроме мира — *um*.

**№ 128. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину**

Саратов  
4 сентября 1871

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Еще в марте месяце я оставил Каменец и, кажется, навсегда. Греки уверяют, что *Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν οὐ Τάναϊς διαχωρίζει\**, и если правдиво их сказание, то теперь я Вам пишу из глубины Азии — из Саратова. В Каменце я занимал должность по старым судебным учреждениям, с открытием же в этом году новых судебных учреждений в Тамбовской, Пензенской и Саратовской губерниях я назначен в судебную Палату в Саратов, куда ныне и прибыл и начинаю устраиваться. Пред всяким новым шагом у нас принято производить ревизию, так и пред открытием новых судов в этих губерниях на меня было возложено произвести ревизию старых судебных учреждений Тамбовской губернии, где я и провел время с апреля до половины августа, исколесив всю губернию вдоль и поперек, от болот и непроходимых лесов Темниковских и Елатемских до степей Борисоглебских, пока не добрался до Кирсанова<sup>1073</sup>, где «нет людей, лишь я один, возгласил Борис Чичерин, публицист и дворянин»<sup>1074</sup>. Трудно еще у нас ездить по уездам по совершенному почти отсутствию путей сообщения, особенно весной, когда степные наши реки гуляют на просторе и строительное искусство нашего земства не дерзает вступать в борьбу с буйною стихиею, но все эти невзгоды далеко не так чувствительны по сравнению с тем переворотом, какой произошел в немногое число лет с умственным и нравственным бытом нашего дворянства. Еще поколение, и былое останется преданием.

Семья моя прогостила лето у родных и теперь уже в Саратове, но Бог весть, когда мы окончательно устроимся, такие переезды с моим семейством окончательно отбивают охоту думать о новых еще передвижениях. Первое впечатление Саратова довольно благоприятно, но он так велик (100000 жителей), что нужно с ним ознакомиться, и я пишу к Вам еще на биваках, потому что сильно уже соскучал, не получая от Вас никакой весточки.

Целую Вас от души и, поручая себя и семейство Вашему благословиению, остаюсь душевно любящим Вас племянником

С. Поярков.

4 сент[ября] 1871  
Саратов  
На Соборной площади  
Дом Очкина

**№ 129. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

26 сентября н[ового] ст[иля] 1871

Прежде всего, позволь мне разругать твоего царскосельского доктора. На что это похоже, что в 20 верстах от столицы, да еще в специальном заведении не могли найти порядочной комнаты для больного. А, чай, он слупил с тебя порядочно и за

\* Европу и Азию Танаис разделяет — *греч.* Древние греки называли Танаисом реку Дон.

лечение и за другие *удобства*. Нет, уж, что не говори, а, несмотря на весь ваш прогресс, вы еще не далеки в *гигиене* или *здоровословии*. Ты, без сомнения, знаешь, что для нормального дыхания человеку нужно по крайней мере 800 кубических футов чистого воздуха, а кубическая комната 69 футов высоты, ширины и длины содержит только 729 куб[ических] футов воздуха. Я обыкновенно сплю с полуткрытыми окнами для того, чтобы предупредить накопление карбона, а для избежания всяких простуд я по-суворовски каждое утро обливаю себя холодной водою.

Штемпель на твоём письме сделал на меня особенное впечатление: *Киев!* Какие воспоминания детства!

Наш Киев златоглавый  
Сей пращур русских городов!<sup>1075</sup>

Мы ездили, бывало, с бабушкою на богомолье к Успению. Еще за 15 верст от города виднелась белокаменная колокольня Киево-Печерской Лавры с ее ярким, как звезда, блистающим куполом.

С умилением читаю о благородном духе, с каким наше дворянство относится к новым учреждениям. Велика душа русская! Но должен сознаться, что какое-то таинственное непобедимое влечение тянет меня к нигилистам и, особенно, к *нигилисткам*: тут я вижу необыкновенную силу ума и характера. Я позабыл заметить, что санскритское *Настика* — чисто славянское слово: стоит только поставить «ъ» вместо «а»<sup>1076</sup>, по-славянски будет *Нъстик*, т[о] е[сть] человек, все отрицающий, вечно говорящий: *нъсть!* (по-санскритски: *насть!*).

Наконец я увидел себя напечатанным в «Р[усском] Архиве». Предисловие очень хорошо — душевно благодарю!

Твой В. Печерин.

Слова Огарева находятся в предисловии к «*Русская потаенная литература*». Это довольно толстая книжка. Так называемое «*Торжество Смерти*» напечатано в «Полярной Звезде» на 1861 с несколькими письмами между мною и Герценом. Она же напечатана и в «Русской потаенной литературе». Ее настоящий титул: «Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь!» Это было написано, если помнишь, для нашего февральского праздника в 1834<sup>1077</sup>.

1840-й год. Жорж Занд — Мишле<sup>1078</sup> — Religion saintsimonienne\*.

Tous les chemins conduisent à Rome\*\*.  
(Старая поговорка)

Voilà la femme évangélique!\*\*\* — сказал мне молодой итальянец, указывая на портрет Жорж Занда в “Revue des deux mondes”. Это было в Цюрихском музее. Этот музей был нечто вроде публичной библиотеки, где получались все газеты и журналы обоих полушарий и все насколько-нибудь замечательные новые книги. За 5 франков в месяц можно было вдоволь наслаждаться всеми этими сокровищами. Но так как там всегда было много людей читающих, делающих разные справки и выписки, то

\* Религия сенсимонизма — *фр.*

\*\* Все дороги ведут в Рим — *фр.*

\*\*\* Вот истинно евангельская женщина — *фр.*



уставом этого заведения было предписано строгое молчание. По случаю Жорж Занда мы как-то разговорились сначала шепотом, а потом вполголоса, а потом уж и очень громко. Почтенный пожилых лет господин подошел к нам и очень учтиво заметил, что здесь разговаривать не позволено. Я нимало этим не обиделся: у меня настолько еще было здравого смысла, чтобы найти это очень естественным; но не так смотрел на вещи мой собеседник; он тут не сказал ни слова, мы оба замолкли: но на другое утро прихожу в кофейню и слышу новость — что мой итальянец послал картель, т[о] е[сть] вызов на дуэль этому почтенному господину, одному из значительных граждан Цюриха. Можно ли вообразить себе что-нибудь этого глупее? Разумеется, из этого ничего не вышло, а только весь город смеялся над задорным юношею. Но не грустно ли думать, что доселе эти взбалмошные понятия господствуют на материке Европы? Дуэль, по моему мнению, есть чисто средневековое феодальное учреждение: два благородных рыцаря поссорились между собою, нельзя же им идти тягаться перед судом; ведь судья ниже их, он простолюдин, он *vilain*\*, а они благородные рыцари; да сверх того они, как военные люди, гражданским законам не подлежат и в грош их не ставят, а все дела между собою решают мечом. К этому присоединилось еще и суеверие. Не забудь, что первоначально поединок то же, что и суд Божий. «Мы вот этак подеремся, а потом уж сам Бог решит, кто прав, кто виноват». *Пуля виноватого найдет*, как теперь говорят наши солдаты. Итак, в последней половине 19-го столетия мы все еще свято храним этот остаток безурядицы и изуверства средних веков... Но это не сказка, а только присказка, а сказка будет впереди. Это было в 1838 г[оду] в Цюрихе, а Жорж Занд развилась у меня в Льеже в 1840. Итак, да здравствует 1840-й год!

Жорж Занд! Какое имя! Какие звуки! Они затрагивают в душе моей давно отзвучавшую, онемевшую струну, но от их легкого эфирного прикосновения она снова трепещет и симпатично отзывается.

Святые отшельники Фиваиды с воображением, разгоряченным уединением и молитвою, часто видели наяву Спасителя, Богородицу, ангелов и нечистых духов. Вот так и я в моей келье у мадам Жоарис, глядя в окно, осененное густыми деревьями, часто воображал себе, что вижу Жорж Занд — вот она проходит мимо окна в мужском платье, в соломенной шляпе с широкими полями... Сколько раз я говорил самому себе: «Дай пойду к ней в Nogent sur Aube\*\*»; попрошу ее взять меня себе в прислуги, как она взяла того каторжника»... *Voilà de sublimes folies!\*\*\** Но из этих-то именно глупостей и составляется истая, неподдельная шекспировская поэзия жизни!

Странно сказать — не верится, а все ж таки это сущая правда, что Жорж Занд имела решительное влияние на мой переход в католичество. Это требует объяснения.

Французская литература, несмотря на ее атеистическое направление, все еще сохраняет какой-то осадок или закваску католического мистицизма; от этого французы доселе никак отделаться не могут. Передовые мыслители тридцатых годов были: *Пьер Леру* (Pierre Leroux), *Мишле* (Michelet) и Ламенне. Несмотря на их новые идеи, у них все еще проглядывает мистицизм. Они избрали своею музою — Жорж Занд; ее тогдашние романы были вдохновенные поэмы, священные гимны, в коих она воспевала пришествие нового откровения. Там у нее по лесным полянам

\* Плохой, презренный — *фр.*

\*\* Ноан на Обе — *фр.*; название поместья, принадлежавшего Ж. Занд (ныне департамент Эндр).

\*\*\* Вот возвышенные фантазии — *фр.*

и скалам гуляют почтенные пустынноики с длинными белоснежными бородами, являются духи в образе прелестных юношей, слышатся голоса из другого мира (как, напр[имер], в “Spiridion” или “Les sept cordes de la lyre”<sup>\*\*</sup>), а все это с той целью, чтобы низвести религию на ступень прелестной мифологии (как это делал Мейербер в опере “Robert de Diab[e]”<sup>1079</sup>) и вместе с тем доказать, что лучшие стороны религии — аскетизм, самоотвержение, любовь к ближнему — могут развиваться независимо от нее из чистого разума с помощью стоической философии. Возьмем, например, «Мопра»<sup>1080</sup> (“Mauprat”). Сцена во Франции накануне революции в 1789. Главное лицо — простой мужик, грамотный и смысленный: он ни во что не верит, но ему удалось случайно прочесть «Ручник» (“Enetiridion”) Эпиктета<sup>1081</sup>, и из этого стоического философа он составил себе правила самого возвышенного аскетизма. Он живет в лесу в каком-то древесном дупле, питается кореньями и отвергает хлеб, потому что, говорит он, от хлеба все зло исходит: из-за куска хлеба люди продают себя. Пробыл роковой час — настала революция: он выходит из своей пустыни и как вдохновенный пророк публично перед судом обличает пороки правительствующих лиц, дворянства и духовенства. Его суровая аскетическая фигура<sup>1082</sup> очень рельефно выдается в сравнении с этими негодными монахами (траппистами), интригующими заодно с епископом, чтобы как-нибудь забрать себе в руки имение фамилии *Мопра*. Тут я ужасно сошелся с Жорж Зандом: я узнал самого себя. Лишь только я выучился по-латыни в Киевской гимназии, я нашел в библиотеке моего деда Симоновского «Selectae Historiae»<sup>\*\*\*</sup>, т[о] е[сть] собрание анекдотов и изречений стоических философов. Я прочел ее от доски до доски, усвоил ее себе и из нее составил особенное нравственное уложение (code de morale) без малейшей связи с христианскою верою. Я сделался в 16 лет стоическим философом. Еще хуже Онегина<sup>1083</sup>, я из Энеиды удержал только один стих: “Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!”<sup>\*\*\*\*</sup> Потом я приобрел стоическое правило *sustine et abstine*, терпи и воздерживайся<sup>1084</sup>, и отрывок из греческого оракула: «Терпи, лев, нестерпимое»<sup>1085</sup>.

Я нарочно выписываю эти слова: они имели важное значение в моей жизни, они руководили мною и подкрепляли меня в трудных обстоятельствах. А тогдашнее мое отношение к христианству можно видеть из следующих слов, записанных в моем дневнике в Новомиргороде: «Придет время, когда станут рыться в развалинах какой-нибудь христианской церкви и, найдя случайно крест, станут спрашивать с недоумением: что это значит? к чему служило это орудие?» Не правда ли, довольно смело для семнадцатилетнего мальчика.

Как у того французского мужика, у меня также была своя пустыня. В Липовце, где началось мое воспитание по Руссо, мы стояли на квартире в доме какого-то польского помещика; там был довольно обширный сад: где-то в самой чаще деревьев я прочистил себе уголок в виде беседки, поставил себе там скамеечку и вывесил над нею на большом листе белой бумаги крупными буквами надпись: «Убежище мудрого». (Как это пахнет Руссо! *La retraite du sage!*<sup>\*\*\*\*\*</sup>) Туда я приходил читать Руссо

\* «Спиридион» — *фр.* — роман Ж. Санд (1839).

\*\* «Семь струн лиры» — *фр.* — роман Ж. Санд (1839).

\*\*\* Избранные истории — *лат.*

\*\*\*\* «Не отступай перед бедой, но смело ей иди навстречу» — *лат.*

Вергилий. «Энеида». Книга VI. 95.

\*\*\*\*\* Возвращение мудрого — *фр.*

и философствовать на просторе. Иногда на заре там пел соловей на веточке у самого входа беседки: он был такой смиренный, что я подходил близко к нему и почти смотрел в его зажмуренные глаза во время его пения. Как это очаровательно!

«Но на счастье прочно  
Всяк надежду кинь:  
К розе, как нарочно,  
Привилась полынь.»<sup>1086</sup>

В одно прекрасное майское утро, когда воздух был наполнен благоуханием цветов, а мой голосистый соловей пел еще голосистее и разливнее, подхожу к беседке, гляжу — о, ужас! — моя сватьяна осквернена! Какой-то мошенник — с позволения сказать — насрал<sup>1087</sup> целую кучу по самой середине беседки. После этого разочарования я перестал посещать *Убежище мудрого*.

Хотелось бы мне, чтобы ты как-нибудь прочел «*Спиридиона*» (“Spiridion”) Жорж Занда, там ты найдешь историю моей монастырской жизни, я тогда еще ее предчувствовал. Некоторые книги лучше всякой ворожеи предвещают нам будущее. Но об этом после.

#### Мишле (Michelet).

Решительно участь жизни моей зависела от последней книжки, вышедшей из парижских тисков. Вышло: “Luther” par Michelet<sup>1088</sup>. С восторженным красноречием автор живыми красками изображает возвышенный нравственный характер великого реформатора; но что всего более меня поразило, это было, что Лютер в библии нашел новую очищенную религию<sup>1089</sup>. Вот этого мне и надо! этого я давно ищу! Ну что ж? Если Лютер мог найти чистую веру в библии, то почему ж и мне не попытаться? Но я не люблю делать вещи вполсилы, ты мне подавай их целиком! Уж коли читать библию, то надо ее читать в еврейском подлиннике; а библия в переводе это — десятая вода на киселе. Сказано — сделано. Отправился к букинисту, нашел библию себе по карману, т[о] е[сть] просто еврейский текст без точек и без малейшего объяснения. Я принялся за работу с помощью английского перевода (Authorised version)<sup>1090</sup>. Я предварительно ничего не знал, кроме азбуки, да и то пополам с грехом. Это, конечно, не самая легкая, но зато очень прочная метода. Когда впоследствии я добыл себе грамматику и словарь, то половина дела была уже сделана: я сам по догадкам составил себе и *грамматику* и *словарь*. Нет ничего пагубнее так называемых легких метод... Methode facile pour apprendre la langue française en douze leçons!!!\* О приобретении знания можно то же сказать, что о приобретении богатства: одно только то достояние прочно, которое приобретено личным, честным, тяжелым трудом. По новой системе *Тиндаля*, жар есть не что иное, как *движение*<sup>1091</sup>; вот так же можно сказать, что *знание* и *богатство* есть не что иное, как — *труд*. Я не на шутку взялся за библейское дело. Начал вставать в пятом или шестом часу и работал до 8-го часу; тут я с особенным удовольствием зажигал спиртовую лампу и варил себе кофе и с хлебом и маслом наслаждался своим завтраком как самый утонченный эпикуреец<sup>1092</sup>. Потом, как известно, я отправлялся в свой *департамент*<sup>1093</sup>, т[о] е[сть] к капитану. Вот так-то я был завлечен в богословскую сферу — и кем же? — *Мишле!*

\* Легкий способ усвоить французский язык за двенадцать уроков!!! — *фр.*

Religion Saint-simonienne.

В библиотеке капитана было три тома “Religion” de Saint Simon<sup>1094</sup>: я, как жадный волк, напал на эту добычу, унес ее к себе домой и проглотил все дочиста. Тут опять видно, что французы никак не могут отделаться от католицизма. Что такое сен-симонизм? Та же католическая церковь, только в новом виде. Верховный отец (le père) — тот же непогрешимый папа, безотчетно управляющий душами и телами членов церкви; в руках его все сокровища земли: он распределяет работы и занятия, смотря по наклонностям и способностям каждого, и раздает награды, соображаясь с нуждами и заслугами каждого. Тут опять видна та неизлечимая любовь к крайней централизации и деспотизму, какую страждут французы.

В этой книге с особенною похвалою отзывались о сочинениях графа Иосифа де Местра, особенно о его “Soirées de St.-Pétersbourg”\*, где он будто бы предсказывает появление новой религии, долженствующей пополнить и усовершенствовать старую<sup>1095</sup>. Тут логически следовало, что мне непременно надобно прочесть эту книгу. Пошел на толкучий, нашел “Soirées de St.-Pétersbourg” и начал читать: вижу — добродетельный, благочестиво-напыщенный с тремя восклицаниями!!! слог. Мне стало стыдно. «Неужели, — думал я, — я так низко упал, что читаю подобные вещи?» Но что ж делать? Ведь надо же следовать внушениям моего евангелия, т[о] е[сть] “Religion” de St.-Simon. Как бишь это говорит пословица? — *сживется — слюбится*. Вот так и я сжился и слюбился с Иосифом де Местром, привык к его слогу и идеям. *Шербюлье* (Cherbuliez)<sup>1096</sup> очень хорошо сказал: «Заприте человека одного в комнате на неделю или на две и заставьте его несколько раз в день повторять: «Бог есть Бог, а Магомет его пророк!» В конце концов, он не в шутку поверит в Магомета!»

А вот теперь мое мнение о графе де Местре: он наглый и бессовестный фанатик, прикрывающий политические виды мантией религии, заклятый враг всякой свободы, ярый поборник самого крайнего деспотизма, направляемого свыше непогрешимым папою... А главным исполнителем непреложных велений и верховным жрецом этого государства-церкви у него будет — кто вы думаете? — *палац!*<sup>1097</sup>

Не понимаю, как могли его провозгласить гениальным писателем. Слог его тяжелый и напыщенный, он бросает пыль в глаза своею мишурною ученостью или начитанностью. Это просто ослепление, дух партии. Вот этот-то самый граф де Местр обратил в католичество нашу Свечину, столь известную в Париже и почти причисленную к лику святых m[ada]me Svétchine<sup>1098</sup>. Я был у нее в 1844. Она приняла меня avec toute la hauteur d'une grande dame\*\*. Да и правду сказать, я дал ужасного промаху. Я вовсе не знал ее сношений с Лакордером<sup>1099</sup>, не знал, что она была его покровительницею, обожательницею, матерью (mère de Lacordaire). Я пришел к ней прямо из Nôtre-Dame\*\*\* после проповеди, да так спроста и брякнул, что, по моему мнению, проповедь Лакордера сбивается больше на лихую журнальную статью (magnifique article de journal), чем на «христианское слово». А перед этим я был у княгини Любомирской<sup>1100</sup>, которая приняла меня очень просто, мило, радушно и откровенно мне призналась, что ездит слушать Лакордера потому, что он в моде, а для себя предпочитает проповедь приходского священника. Вот я и это замечание повторил перед

\* «Петербургские вечера» — *фр.*

\*\* С высокомерием великосветской дамы — *фр.*

\*\*\* Собор Парижской Богоматери — *фр.*

Свечиной. Могло ли что-либо быть глупее? Она непременно должна была принять меня за ужасного невежду. Мне как-то не везет с этими аристократками...

А о Лакордере мое мнение осталось тем же. Чтобы не шутя, серьезно приняться доказывать совершенное согласие науки с религиею (*harmonie de la science et de la révélation*)\*, для этого надобно быть просто фокусником, каким Лакордер действительно и был. Вообще я терпеть не могу так называемых *ложных родов* (*faux genres*) в литературе<sup>1101</sup>; к этим ложным родам я причисляю дидактическую поэзию и проповеди Лакордера, Гиасинта, Феликса<sup>1102</sup> и *tutti quanti*\*\* , а в заключение скажу, что истинно образцовыми проповедями я считаю — *Беседы Иоанна Златоуста*<sup>1103</sup>. Следовательно, тут вся Россия будет на моей стороне.

### № 130. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
15 октября 1871

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

В какую даль вас Бог занес! Мы теперь с вами на двух противоположных концах Европы: вы на крайнем востоке, а я на крайнем западе, вы почти в Азии, а я в четырех часах езды от Атлантического океана. Впрочем, в ваших странствиях есть много утешительного: вместе с вами подвигаются вперед цивилизация и законный порядок. Сделайте милость, напишите мне что-нибудь о Саратове; я никак не воображал, что это такой большой город. Да и правду сказать, с легкой или тяжелой руки покойного Зябловского<sup>1104</sup> я немного занимался русскою географиею и статистикою. Помню только, что где-то близ Саратова есть замечательная гарнгутерская колония *Сарепта*<sup>1105</sup>, о которой много говорили и писали в мое время.

Я едва успеваю пересылать Чижову листки моих записок: на них, кажется, большой запрос в Москве. Я приступаю теперь к самому щекотливому предмету, к описанию моего перехода в католицизм. Но я пишу об этом очень беспристрастно, с философским хладнокровием, как о предмете чисто историческом. Я с некоторого времени почти исключительно занимаюсь ботаникою, химиею и физиологиею. В старые годы люди искали в религии успокоения от бурь житейских, но теперь, к несчастью, религия у нас так тесно связана с ружьями *шаспо* и нарезными пушками, что единственным мирным убежищем, безмятежною пристанью остается *наука*. И в самом деле, гораздо приятнее исследовать вечно неизменные законы природы, чем заниматься этими вечно изменяющимися политико-богословскими дразгами.

Кстати о *шаспо*. Года два назад, когда, вы помните, было поражение Гарибальди при *Ментане*<sup>1106</sup>, иду я однажды по площади *Mégion Square*, попадается мне навстречу какой-то господин с черною бородою, очевидно иностранец, итальянец или француз; проходя мимо меня, он посмотрел как-то искоса и с сардоническою усмешкою вполголоса сказал: *Arme chassopot!*\*\*\* Он никак не воображал, что я одного с ним мнения и принадлежу к партии не победителей, а побежденных при Ментане.

\* Слияние науки и откровения — *фр.*

\*\* Все прочие — *ит.*

\*\*\* Ружье шаспо — *фр.*

Вы так сильно заняты важными и полезными предметами, что едва ли имеете время обращать внимание на то, что делается у нас на западе. Приходилось ли вам размышлять о *религиозных* последствиях прошлогодней войны? По моему мнению, она то же, что вторая реформация или, лучше сказать, она — окончательное торжество реформации Лютера<sup>1107</sup>. Теперь уже очевидно, что на материке Европы образованные классы постепенно отчуждаются от католической церкви. Германская война *сломила* ей хребет, отняла у нее всякую земную подпору. Теперь ей остается единственное убежище в Ирландии и Америке, т[о] е[сть] в ирландском племени, а это племя самое запоздалое, ни к чему непригодное, вовсе неспособное к восприятию современной цивилизации. Вы не можете себе вообразить, до какой степени здешний народ все еще живет в средних веках. Все, что называется *цивилизациею* — ум, талант, капитал, промышленность, торговля, законный порядок судопроизводства — все это чисто английское; отнимите Англию, и Ирландия через полгода превратится в непроходимую пустыню, населенную дикими вечно между собою враждующими племенами. Посмотрите на Америку: ведь так уж, кажется, раздолье ирландцам, есть, где развернуться на просторе; ну, что ж они там делают? Они просто отличаются уличными драками, как это было недавно в Нью-Йорке, где даже дело дошло до кровопролития. Нью-Йоркский муниципалитет<sup>1108</sup> представляет в эту минуту самое позорное зрелище: оказалась такая наглая и бесстыдная растрата и покража казенных денег, какой даже и в России не слыхано было. Теперь хотят этих господ притянуть к суду, но едва ли удастся, ведь судьи тоже ирландцы, избранные народом, а вы знаете — рука руку моет. В Нью-Йорке нужен бы теперь Гоголь; но ему там, наверное бы, не сдобрилось: ирландцы как раз подстрелили бы его где-нибудь из-за угла. Недавно у меня был один очень значительный американский священник, издатель журнала “Catholic World”<sup>1109</sup>. Я ему прямо сказал: «Если вашей республике суждено погибнуть, то она непременно погибнет от ирландского элемента, потому что это элемент анархии, это такой яд, какого никакой государственный желудок переварить не может». Какое различие с немцами! Немцы основали цветущие деревни, города, целые области и по их любви к порядку и уважению к закону считаются вернейшими опорами американской республики.

В последней (10-й) книжке «Русского Архива» Чижов напечатал отрывок из моего к нему письма, т[о] е[сть] несколько замечаний о древних классиках. Он обещал мне прислать дело *Нечаева*, когда оно будет напечатано отдельною книжкою. Я получил от него «*Басни*» *Крылова*<sup>1110</sup> и, что я всего более ценю, «*Народные русские сказки*» Афанасьева<sup>1111</sup>.

Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей любезной супруге, да обвините за меня ваших милых деток. Надеюсь скоро от вас получить письмо и прибываю

ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### № 131. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

21 окт[ября] 1871

Хорош, брат ты Печерин! Очень хорош! Ты меня ругнул англичанином, а после американцем, а я тебя не знаю, возвеличу ли или ругну, сравнив с барынею из Ка-

зани. Совершенно как она считается визитами, так ты считаешься письмами. Верь мне, что я более ста раз хотел бы написать к тебе, да ведь для этого нужно же хоть четверть часа, а у меня в настоящее время 5 минут свободных найти невозможно. Ярославская дорога идет до Вологды и, вероятно, будет открыта нынешнею зимою. Она в 192 версты. Московско-Курская, новокупленная Московским Обществом, во главе коего находится твой покорный слуга, была казенною, следов[ательно], плохо устроенною, следовательно, требующей бездны хлопот и занятий — вот другое требование времени. А эта дорога дает около 22.000 ежедневной выручки; ты видишь, что дело очень немалое. Московское Купеческое Общество Взаимного Кредита, нахрапом сделавшее меня своим председателем, берет по меньшей мере часа два времени в день. Одним словом, с раннего утра до шестичасового обеда нет ни минуточки. После обеда раза три в неделю нужно от 8 до 11 просиживать в Правлении Курской дороги. А там я член Совета и учредитель Товарищества Ташкентского шелководства<sup>1112</sup>. Ты понятия не имеешь, что это за зверь Ташкент, а между тем это целая область, отвоеванная за бухарскою степью у эмира. Там шелководство обширное, только в азиатских формах, и шелк со скверною размоткою. Я, заклятый шелковод, не могу там не участвовать, тем более что я и затеял это Товарищество.

Вот тебе самые законные причины моего долгого молчания. Не помню хорошенько, откуда я писал тебе последнее письмо, едва ли не из Полтавской губернии. Сильно пленил меня сельский отдых, и куда как хотелось бы каждый год уделять хотя бы несколько летних недель на такое отдохновение.

Как-то грустно долго не получать твоих писем, особенно остановиться на самом важном шаге твоей жизни. Ты что-то очень неохотно припоминаешь этот шаг и все отлыниваешь, чтоб отдалить воспоминания об его подробностях.

В наказание тебе до получения будущего твоего письма не пошлю тебе легенд и песен, которые я хотел тебе послать. Афанасьева прочих частей до сих пор я еще не мог достать, зато нашел другое — сборник Рыбникова<sup>1113</sup>.

Отдельно напечатанного дела, так называемого Нечаевского, не вышло; но, слава Богу, что кроме виновников в убийстве товарища их Иванова никто не наказан.

Пишу, пользуюсь минутою, глаза смыкаются, покойной ночи.

Твой Чижов.

### № 132. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

10 ноября н[ового] ст[иля] 1871

У меня просто руки опускаются при виде твоей изумительной деятельности. Вот ты и Ташкент завоевал! Величайшим знаком твоей неизменной дружбы я считаю то, что, несмотря на твои непомерные занятия, ты все еще находишь время написать мне несколько строчек. Не странно ли тебе кажется иметь дело с таким как я бесплодным мечтателем? Но, может быть, в этом и заключается тайна нашей дружбы: это два полюса магнита. Но касательно трудолюбия мне все как-то не верится. Скажи мне откровенно, много ли найдется на святой Руси подобных тебе делателей? Разве, может быть, *ндрав* русского народа совершенно изменился — ну, так это очень хорошо, а то в старые годы в мое время «авось» и «как-нибудь с рук сойдет» были основными началами человеческих действий, особенно в официальном мире.

Здесь нечто в твоём роде мой ученик доктор Аткинсон, он никогда не ложится спать прежде трёх часов утра. Не худо бы это заметить нашим *вельможным* профессорам. Мы теперь с ним читаем — и с большим наслаждением — «*Портрет*» Гоголя. Он собирается на будущих вакациях съездить в Россию. Он сделал такие успехи, что даже умудрился написать письмо по-русски к г[осподину] *Ральстону*, дающему теперь *чтения* (lectures) о *русских песнях и сказках* в Оксфорде. Но, однако же, Ральстон отвечал ему по-английски: знать, мой ученик-то бойчее его.

Ты напрасно воображаешь, что я откладываю (*отлыниваюсь*) описание моего перехода в католицизм. Напротив, я иду прямо к цели. Я пишу как прагматический историк; теперь уже начинается история не действий, а идей: мне непременно должно показать их постепенное законное развитие. Это те же геологические слои: ты знаешь, как медленно они слагаются. Я нарочно купил «*Spiridion*» Жорж Занда для того, чтоб освежить свои воспоминания; читаю эти упоительные страницы и вижу себя как в зеркале, точь-в-точь таким, каким я был в 1840. Я пишу без малейшего усилия, а просто как мысли приходят мне в голову: они растут естественно, как трава растёт. Иногда я забегаю вперед, но в этом я пользуюсь поэтической вольностью: я пою, как Гетева птичка

“Ich singe, wie der Vogel singt,  
Der in den Zweigen wohnt”\*

Нельзя же пенять меня за то, что душа невольно стремится к тем местам и сценкам, где хоть на минуту блеснул мне луч земного блаженства!

Если ты имеешь время читать газеты, то, вероятно, видишь, как католическая церковь распадается. У них теперь свои староверцы — *Altkatholiken*<sup>114</sup>. Попутал же лукавый Папу в недобрый час провозгласить себя непогрешимым! Но пуще всего прошлогдняя война подкосила ноги католицизму и сломила ему хребет. Всего забавнее ироническое совпадение исторических событий. Я читаю в письмах миссионеров (Annales & c), что тибетский Далай Лама тоже лишен светской власти китайским императором; но его духовная власть все еще остается огромною вследствие бесчисленных монастырей, рассеянным по Тибету: у него тоже свои езуиты и респонденты.

Мне непременно надо выписать тебе следующие места из «Спиридиона».

## I

Comme l'esprit d'Hébronius se trouvait en ce moment plus porté vers la foi que vers la critique, et qu'il avait bien moins besoin de discussion que de conviction, il se trouva naturellement porté à préférer la certitude et l'autorité du catholicisme à la liberté et à l'incertitude du protestantisme. Ce sentiment se fortifiait encore à l'aspect du caractère sacré d'antiquité que le temps avait imprimé au front de la religion

\* “Ich singe, wie der Vogel singt,  
Der in den Zweigen wohnt;  
Das Lied, das aus der Köhle dringt,  
Ist Lohn, der reichlich lohnet”  
«По воле божьей я пою,  
Как птичка в поднебесье» — *нем.*  
Гёте. «Певец» (пер. Ф. Тютчева).



mère. Puis la pompe et l'éclat dont s'entourait le culte romain semblaient à cet esprit poétique l'expression harmonieuse et nécessaire d'une religion révélée par le Dieu de la gloire et de la toute-puissance. Enfin, après de mûres réflexions, il se reconnut sincèrement et entièrement convaincu, et reçut de nouveau le baptême des mains de Bossuet.

*Перевод*

Поскольку разум Эброния был в этот момент направлен более к вере, нежели к критике, и нуждался он больше в убеждении, а не в дискуссии, то естественно, что он предпочитал уверенность и авторитет католицизма, а не свободу и неуверенность протестантизма. Это чувство усиливалось еще при виде священного характера античности, который время запечатлело на челе религии матери. Затем торжественность и блеск, которым окружал себя романский культ, придавали этому поэтическому духу гармоничное выражение славы и всемогущества, необходимое для религии, данной Богом. Наконец, после зрелых размышлений, он признал себя искренне и полностью убежденным, и вновь был крещен руками Боссюе.

Вот это — 1840 год!

II

Il renonça donc sans retour au christianisme; mais, comme il n'avait plus de religion nouvelle à embrasser à sa place, et que, devenu plus prudent et plus calme, il ne voulait pas se faire inutilement accuser encore d'inconstance et d'apostasie, il garda toutes les pratiques extérieures de ce culte qu'il avait intérieurement abjuré. — Il accomplissait avec une si irréprochable exactitude toutes les pratiques extérieures du culte et tous ses devoirs visibles de parfait catholique, qu'il ne laissait ni prise à ses ennemis, ni prétexte à une accusation plausible. — Sa grande âme s'exaltait ait encore à l'idée de faire le bien. Il n'avait plus de règle certaine ni de loi absolue; mais une sorte de raison instinctive, que rien ne pouvait anéantir ni détourner, le guidait dans toutes ses actions, et le conduisait au juste.

*Перевод*

Итак, он отрекся бесповоротно от христианства, но поскольку у него не было новой религии, его заменяющей, а, ставши осторожнее и спокойнее, он не хотел быть еще напрасно обвиненным в неверности и вероотступничестве, он сохранил внешнее соблюдение отправления этого культа, от которого он внутренне отказался. Он выполнял с такой безупречной точностью все внешние отправления культа и все видимые обязанности истинного католика, что не давал ни повода своим врагам, ни предлога для правдоподобного обвинения.

Его великая душа воодушевлялась еще при мысли творить добро. У него не было больше определенного правила, ни абсолютного закона; а был своего рода инстинктивный довод, который ничто не могло ни уничтожить, ни изменить, который руководил всеми его действиями и правильно вел его.

Это — 1871-й год!

Какая славная колдунья и ворожея эта Жорж Занд! Могу сказать, что важнейшая эпоха моей жизни слепилась из страниц «Спиридиона» точно так, как первые годы моей юности сложились из стихов Шиллера.

Как Спиридион, умирая, вручил своему ученику Фульгенцию рукопись, заключающую таинство учения, так я теперь передаю тебе эти листки с тайною моей жизни в надежде, что, может быть, по моей смерти через них я снова оживу в умах и сердцах, по крайней мере, некоторых из моих соотечественников.

Надеюсь, что теперь, преложив гнев на милость, ты пришлешь мне песни и легенды Рыбникова.

Твой В. Печерин.

Подробности моего обращения придут сами собою на своем месте. *Tout est pour ceux qui savent attendre\**, сказал Талейран<sup>1115</sup>.

### Страх России — роман жизни.

«*Révérend Pétchérine!*\*\* ... и этот грех лежит на Николае!» — Вот что сказал Герцен, услышавши в первый раз обо мне в Лондоне<sup>1116</sup>.

Я стараюсь теперь размотать запутанные нити разнообразных причин, побудивших меня принять католичество или, лучше сказать, искать убежища от бури под кровом католического монастыря. Одной из этих причин был непомерный страх России или, скорее, страх от Николая. Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать — чума никого не щадит — особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером я бы непременно сделался подлеишим верноподданным чиновником или попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал, не оглядываясь, для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство. Может быть, мне возразят, что все ж таки впоследствии я сам добровольно принял на себя *новые вериги* (слова Герцена): тут нет никакого противоречия. Вериги, добровольно на себя взятые, могут также добровольно быть и сложены. Человек в полноте своей свободы может промотаться, спиться с кругу, но после с энергиею той же свободной воли может протрезвиться и снова начать разумную жизнь. Это не то, что быть запертым в клетке и бесплодно биться об ее железные решетки.

В 1840 меня позвали в полицию в Льеже просто для формы, для того, чтобы справиться, давно ли я проживаю в городе и чем занимаюсь, и это не имело никаких дальнейших последствий. Но оно заставило меня задуматься. «Ну, что как в России проведает, где я, да еще, пожалуй, вытребуют назад! Ведь это из всех ужасов будет самый ужаснейший!» Это опасение было не совсем без основания. После твоего второго посещения в Виттеме в 1844 г[оду]<sup>1117</sup> у нас в монастыре получили какую-то бумагу из русского посольства в Гааге<sup>1118</sup>, на которую наши довольно резко отвечали. Я ни того, ни другого документа не видел, но предполагаю, что именно вследствие этой переписки меня поспешили отправить в Англию (31 декабря 1844), за это я душевно благодарен редемптористам как за величайшее мне оказанное благодеяние.

\* Все для тех, кто умеет ждать — *фр.* Это выражение в незначительно отличающихся друг от друга формулировках приписывается также Б. Дизраэли и О. Бальзаку.

\*\* Его преподобие Печерин — *англ.*

Мои последние сношения с русским правительством были уже в Англии в 1846, т[о] е[сть] ровно через десять лет после выезда из России. Это было в *Фальмуте* (Falmouth) в графстве Корнуальском (Cornwall), известном своими медными и оловянными рудами. Фальмут, небольшой городок (5000), лежит полумесяцем на берегу залива Falmouth bay в самом крайнем юго-западном углу Англии недалеко от так называемого *конца земли*, Lands end. Этот залив замкнут двумя черными скалами: на одной из них стоит старый замок Pendennis, ныне обращенный в казармы<sup>1119</sup>. На другом конце города на высокой террасе стоял наш маленький домик с церковью или каплицей (Catholic chapel) над самым морем, так что иногда сидишь у окна, а тут под самым окном колышется на волнах какое-нибудь судно с белым парусом, так близко, что, кажется, мог бы достать рукою. Это была просто миссия. Нас всего было трое: настоятель, бельгиец Pèrè de Buggenoms\*, я и брат-прислужка (frère lai), француз frère Felicien. Все стены на нашем маленьком дворе были покрыты зеленым плющом, тут также был колодезь с колесом и железною цепью. Перед домом был палисадник с цветами. Немножко повыше на той же террасе в довольно красивом доме жила наша благодетельница г[оспо]жа Эдгар (miss Edgar), новообращенная в католичество шотландская дама, вдова с двумя дочерьми-невестами. Она нарочно поселилась в Фальмуте для того, чтобы там поддерживать католическую веру. Это была литературная семья. Сама г[оспо]жа Эдгар помещала оригинальные и переводные статьи в "Catholic Magazine"<sup>\*\*</sup>, младшая дочь Каролина написала не помню какой роман, а старшая — но об ней после... Обе девицы были большие музыкантши, играли и пели в нашей церкви. Я часто ездил гулять за город с этими дамами.

Мне случилось однажды сидеть одному в кабриолете с меньшею дочерью. Другой экипаж ехал перед нами. Не забудь, что мне было тогда 38 лет. Каролина была милая девушка лет 20-ти с русыми локонами и голубыми глазами. Мы вместе восхищались прелестным местоположением. Сверкающее море, холмы и долины, рощи и дуга — все было облито ярким светом летнего дня. «Как мне знаком этот пейзаж, — сказал я, — мне кажется, я видел его где-то давно-давно, во сне или наяву, не знаю, но все это мне ужасно как знакомо: эти дубы и вязы, обвитые плющом, эти деревья, круто согнутые в одну сторону по направлению морского ветра, эти красивые домики с живыми заборами и розовыми кустами, даже эти красные коровы, все это я видел где-то и когда-то, да, все и» — едва-едва не прибавил — «и эту милую англичанку, сидящую возле меня». «Да! теперь помню: я видел все это в романах Стерна, Гольдсмита, Вальтер Скотта<sup>1120</sup>, в английских эстампах... С самого детства я люблю Англию. Посреди русских степей в долгие зимние вечера я сидел и мечтал над картою Англии, следил за всеми изгибами ее берегов, внимательно рассматривал все эти разноцветные *ширы*, города, реки, бухты, заливы, и душа неслась туда, туда, в неведомую даль<sup>1121</sup>... И вот мечта моя осуществилась, и то, что мне грезилось во сне, теперь я вижу наяву!»

— Итак, вы любите Англию? — сказала она, улыбаясь.

— Как же не любить ее? — отвечал я с юношеским восторгом, — тут все прекрасно, и небо, и земля, и люди, особенно люди, — прибавил я, глядя на нее.

— Вам, должно быть, очень приятно видеть ваш идеал осуществленным? — сказала она.

\* Отец Буггеномс — *фр.*

\*\* Католический журнал — *англ.*

Мы поехали осматривать большой дом, который они намеревались нанять. Тут была большая зала с темными дубовыми панелями и огромными зеркалами. Каролина остановилась перед зеркалом, отдернула свой зеленый вуаль, посмотрелась в него и потом, улыбаясь с каким-то невинным кокетством, обернулась ко мне, как спрашивая: «Не правда ли, что я хороша?» Эта прогулка нас очень сблизила. Мы расстались с более обыкновенного жарким пожатием руки. Но роман этот далее не простирался. У нас был ангел-хранитель с огненным мечом<sup>1122</sup>, т[о] е[сть] священное чувство долга, и все эти розовые мечты рассеялись и исчезли после вечерней молитвы.

Г[оспо]жа Эдгар выезжала каждый день, но одна из этих прогулок кончилась очень неприятным образом. Она выехала в колясочке с меньшею дочерью. Лошади чего-то испугались, понесли, опрокинули коляску, и г[оспо]жа Эдгар переломила себе ногу, а ее любимая собачонка тут же сразу была убита. Ее привезли домой в ужасных страданиях. Послали за доктором Бучером. Тут не было ничего опасного, но лечение было продолжительное, и после этого она осталась калекою до конца своей жизни. С тех пор я начал посещать их каждый день. Мы завели чтение у постели больной частью для развлечения ее, а частью на мой *бенефис*, для того, чтобы поправить недостатки моего английского произношения. Эти чтения сделались особенно занимательными, когда старшая дочь выступила на сцену...

Анна Гамильтон Эдгар была девушка лет 25-ти, не то чтобы красавица, но очень приятной наружности, высокая, стройная; она была ужасная охотница ездить верхом: как теперь вижу, она входит в гостиную с хлыстиком в руках. Она начала писать роман под заглавием “John Bull and papists”\*, основанный на религиозной контроверзе\*\*, бывшей тогда в большой моде. Она каждый день читала нам или, лучше сказать, мне (как своему критику) по несколько страниц. Некоторые патетические места были так мастерски написаны, что я никак не мог удержаться от слез. Эти невольные слезы были самою лестною данью авторскому самолюбию. Это, кажется, подзадорило и маменьку. Она тоже вызвалась прочесть свое произведение — просто перевод с французского — какую-то повесть. Но с самых первых страниц я ей заметил, что это очень вяло — просто французские фразы — больше слов, чем дела. Она хладнокровно свернула тетрадь и положила ее под подушку, и после о ней и помину не было. Вероятно, французская дама очень бы этим оскорбилась, но в Англии воспитание совсем другого рода: г[оспо]жа Эдгар приняла это очень добродушно и великодушно уступила поле битвы своей даровитой дочери. Наконец, мы кончили и напечатали наш роман и имели удовольствие прочесть лестные о нем отзывы в некоторых журналах.

Окончивши этот литературный роман, мисс Анна Гамильтон Эдгар принялась за другой, но на этот раз *реальный* роман действительной жизни. Прекрасный молодой человек, адвокат из соседнего города Гельстона (10 миль от Фальмута), встретился с нею где-то в обществе, влюбился в нее и частью из убеждения, частью из любви к ней принял католическую веру. Я был, что называется в классических трагедиях, наперсником всех таинств их взаимной любви. Тут не было никаких затруднений: они были совершенно равны по летам, состоянию и положению в обществе, итак — коротко ли, долго ли — мне, наконец, пришлось их обвенчать. Это

\* Джон Буль и паписты — *англ.*

\*\* Разногласие, расхождение, спор — *лат.*

было прекрасное майское утро — Май природы и Май жизни. Наша маленькая церковь была разукрашена гирляндами благоуханных цветов, увешана голубыми и розовыми тканями как и следовало для такого великого праздника, *des Lebens schönste Feier\**, как говорит Шиллер. Г[оспо]жа Эдгар была очень значительное лицо в этом городе, итак, собралась толпа поглядеть на невиданное дотоле зрелище — католическую свадьбу. Впереди всех у самого алтаря с важною осанкою и с портфелем в руках сидел официальный регистратор (*Registrar*), долженствовавший по английскому закону закрепить своим присутствием законность брака. Я сказал коротенькое поучение или приветствие молодым почти со слезами на глазах, и неудивительно: я был самым *интимным* задушевным деятелем в этом семейном романе, и теперь, достигнувши счастливой развязки, я вполне разделял упоительное блаженство этой увенчанной любви. После церемонии мы все отправились в гостиницу, где был приготовлен роскошный завтрак для родных и знакомых. Тотчас после завтрака, не теряя ни минуты времени, молодые по прекрасному английскому обычаю исчезли от глаз *profanum vulgus\*\**, непосвященных в таинство любви, и на почтовых поскакали куда-то в Шотландию провести там медовый месяц (*lune de miel*).

В этой грациозной обстановке, среди этой мирной жизни, украшенной счастливым сочетанием религии, поэзии и любви, однажды в июне 1846 на нашем крыльце, обвитом розами и козьим листом (*chèvrefeuille*)\*\*\*, послышался стук у двери. Брат прислужка был чем-то занят на кухне: я побежал отворить. Какой-то слуга говорит: «Русский консул приехал из Лондона и желает видеть г[осподина] Печерина, угодно ли вам его принять?» Это просто меня ошеломило, я не в шутку перепугался и не без причины. Несколько дней перед тем я получил письмо от Гагарина, где он уведомлял меня, что русский консул в Марселе<sup>1123</sup> грозился при первом благоприятном случае схватить его и, посадивши на военный корабль, отправить в Россию; итак, Гагарин умолял меня быть крайне осторожным, и если какой-нибудь русский корабль зайдет в нашу гавань, то вовсе не ходить туда, хоть бы из естественного желания повидаться с соотчичами. Я отвечал отрывисто: «Какое мне дело до русского консула? Я его вовсе не знаю и с русским правительством никаких сношений не имею». Но потом, подумавши немножко, прибавил: «Погодите немножко, я спрошусь». Я побежал вверх к настоятелю, а он, разумеется, сказал, что должно принять консула. Через полчаса он явился. Мы с настоятелем сошли вниз в приемную. Г[осподин] Кремер, генеральный русский консул в Лондоне, раскланялся со всеми ухватками чиновника иностранной коллегии и с недоумением смотрел на нас, не зная, кто из нас двух Печерин. Я вывел его из сомнения, и он тотчас же изъявил желание остаться со мною наедине. Настоятель вышел.

«Ну, так мы станем теперь говорить по-русски», — сказал он. — «Нет! нет! — отвечал я, — я совсем позабыл говорить по-русски». — «Ну, так очень хорошо! — отвечал он, пожимая плечами. — Итак, я вам скажу по-французски, что у меня есть поручение к вам от правительства, мне поручено сделать вам запрос о ваших намерениях: намерены ли вы возвратиться в Россию?» Я отвечал с ужаснейшим азартом: «*Monsieur! Comment pouvez-vous me poser cette question voyant l'habit, que je*

\* Прекраснейший праздник жизни — *нем.*

\*\* Непосвященная толпа — *лат.*

\*\*\* Жимолость — *фр.*

porte?»\* “De grâce, — отвечал он с умоляющим видом, — de grâce, calmer-vous: je le demande dans l'intérêt de ceux mêmes avec qui vous sympathisez”\*\*.

Я спросил его, какой он религии, православной или другой. — “Chrétien protestant”\*\*\*, — отвечал он со скромным наклоном головы. Тут он сказал, что все собранные им у здешнего консула сведения обо мне очень для меня лестны, и, наконец, видя, что со мною нечего делать, он опять учтиво раскланялся, прибавивши в заключение: “Il me sera toujours agréable de rencontrer un compatriote, quelque habit qu'il porte”\*\*\*\*. Мы проводили его со всеми возможными благословениями и сделали за спиной его огромное знамение креста, что в русском переводе значило: «Убирайтесь с богом!»

Кремер давно уже умер, но мне теперь приятно припомнить его вежливое и ласковое обращение со мною.

Через несколько времени после этого тот же вестник стучится у двери и зовет меня к русскому консулу в Фальмуте, почтенному квакеру Альфреду Фоксу. «Приятель (friend)! — сказал мне г[осподин] Фокс. — Я имею сообщить тебе очень неприятное известие: я получил вот эту бумагу из русского посольства, тебе должно ее прочесть и расписаться в прочтении оной». Я пробежал глазами: это было официальное заявление об исключении меня из русского подданства за принятие католической веры. Я расписался с величайшим хладнокровием и возвратил ему бумагу, не взявши даже с нее копии<sup>1124</sup>. Г[осподин] Фокс крайне этому удивлялся и потом везде в городе рассказывал о моем чрезвычайном равнодушии при получении этого известия. «Ну да уж г[осподин] Кремер и прежде мне сказал, что этот человек на все решился: he has counter the cost»\*\*\*\*.

Когда подумаешь, что в это самое время делалось в России, как наш царь Саул бесновался паче прежнего и не нашлось ни одного Давида, чтобы подыграть ему на гусях и усмирить его бесом волнующий дух<sup>1125</sup>, когда подумаешь об этом, то невольно поблагодаришь провидение за то, что оно укрыло меня от этих бурь в мирном убежище Фальмута.

Но мне самому становится смешно, когда припомню, что я делал в мае 1848, когда вся Европа всколыхалась после Февральской революции<sup>1126</sup>, а у нас в Москве славянофилы и западники проводили дни и ночи в бесплодных прениях — что же я тогда делал? Я спокойно лежал на зеленой мураве на берегу моря, а вокруг меня паслось стадо овец: я был точь-в-точь Дон Кихот, превратившийся в аркадского пастушка. Это было в самом глухом захолустье, в крошечной живописной деревушке Лангерн (Lanherne). Тут был старый господский дом *елизаветинских* времен<sup>1127</sup>, принадлежавший прежде фамилии Арундель<sup>1128</sup>, а теперь обращенный в монастырь кармелиток. Меня туда пригласили на неделю или на две, чтобы занять место их каплана\*\*\*\*\* во время его отсутствия. Ничто не нарушало могильного спокойствия этой обители, кроме однообразного пения монахинь: они пели в нос и в две ноты.

\* Сударь! Как вы можете задавать мне этот вопрос, видя одежду, которую я ношу? — *фр.*

\*\* Помилуйте, помилуйте, успокойтесь: я спрашиваю вас об этом в интересах тех, кому вы симпатизируете — *фр.*

\*\*\* Протестант — *фр.*

\*\*\*\* Мне всегда приятно встретить соотечественника, какой бы наряд он ни носил — *фр.*

\*\*\*\*\* Он взвесил все обстоятельства — *англ.*

\*\*\*\*\* Капеллан — от *англ.* chaplain.

Перед домом была целая роща вековых вязов; на них колыхались огромные гнезда ворон, их тут была целая республика и очень шумная, у них беспрестанно происходили какие-то прения, они вечно перебивали друг друга, как это делается во французском народном собрании, а иногда все сразу каркали *très bien! très bien!*\* Но самым занимательным лицом в этой обители была старая, престарелая кобыла, служившая некогда для верховой езды старику священнику, а теперь она жила на пансионе и была такая ручная, что без всякого приглашения сама подходила к окну и, без церемонии всунув голову, получала из рук кусок сахара, до которого она была ужасная охотница...

Все это тебе покажется ужасным ребячеством, это был медовый месяц моего священства, тогда я еще не раскусил горького ядра монашества и католицизма и не сказал с героем «*Спиридиона*»: *Gustavi paululum mellis et ecce nunc morior!*\*\*

Пока жил Николай, мне никогда и в голову не приходило думать о России. Да о чем же было тут думать? Нельзя же думать без предмета. На нет и суда нет. Какой-то солдат привез мне из Крыма<sup>1129</sup> два листка петербургских газет. Кроме высочайших приказов по службе тут было приторное — болгаринским слогом — описание какого-то публичного бала. Вот все, что можно было знать о России!

Но лишь только воцарился Александр II, то вдруг от этой немой русской могилы повеял утренний ветерок светлого Христова воскресенья. Что ищите живого с мертвым? Русский народ воскрес! Да! он воистину воскрес! Итак, обнимем же и облобызаем друг друга, да и поздороваемся красным яичком!

### № 133. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

11 нояб[ря] 1871

Да, мой милый Печерин, пожалуй ты и прав. Точно я много работаю и чувствую в себе какую-то алчность к делу. Не знаю хорошенько, довольно ли чист источник. Без самолюбия, разумеется, не обойдется, но алчности к деньгам я не имею. До сих пор не составил себе состояния и не забочусь о том. Теперь покупка шестидесяти-миллионной Московско-Курской дороги непременно по истечении нескольких лет доставит мне несколько сот тысяч рублей; но они уже мысленно издержаны все, да еще и не достанет их. Я дал себе слово не прикасаться к этим деньгам, а пожертвовать их на технологическое училище в Костроме, моей родине. Если будет тысяч до 500, тогда я полагаю устроить училище в три отделения. Первое, низшее, отделение для бедных мальчиков, то есть для приготовления их к ремесленному быту. Таких училищ мне хочется завести, по меньшей мере, 4. Те ученики, которые по разным обстоятельствам не могли бы идти далее, оставались бы рабочими-мастеровыми с начальной для этого подготовкою. Те, которые могли бы идти далее, вступали бы в среднее училище, род промышленной гимназии, приготовляющей уже мастеров дела с соответствующим образованием умственным. Из этого среднего училища поступали бы молодые люди в высшее техническое или промышленное училище, доставляющее основательных механиков. Все ведение, особенно в двух нижних слоях

\* Прекрасно! прекрасно! — *фр.*

\*\* Отведал немного меда и вот теперь умираю — *лат.* У Ж. Санд: “*Gustavs gustavi paululum mellis, et ecce morior*” (Вкусая, вкусил мало меда, и вот умираю).

преимущественно, а в низшем только что не исключительно, практическое. Никто из воспитанников не жил бы в заведении; оно только наблюдало бы за ходом жизни их, предоставляя им развиваться на свободе. Не знаю, удастся ли это мне, но пока я сильно этим наполнен. Расплатиться за свое образование с бедным трудящимся людям; дать сотням людей возможность зарабатывать хлеб, Печерин, может быть, все это промышленная идиллия:

«Но веют тобою Овидия звуки  
И ты мне понятен, о век золотой!»<sup>1130</sup>

Посмейся над моею мечтательностью, которая не без основ, ибо мне как председателю Общества Москов[ско]-Курской дороги как-никак, а все-таки тысяч до пятисот достанется, а может и больше.

Между тем предприятия растут у нас на Руси одно за другим, и почему-то в большей части их желают меня иметь в числе учредителей. Между нами будь сказано, кажется, что меня считают очень умным; я тебе скажу без малейшего унижения, что у меня несколько нет большого ума, но есть сильно развитое чувство долга. Добросовестность в деле, сильная настойчивость до жестокости и безуступчивость в деле принятых принципов. Честность моя так сильна, что я купил уже для тебя Рыбникова «Сборник» и только медлю отсылкою единственно потому, что какие-то здесь встречаются затруднения на почте. Пока посылаю тебе завтра же новые книжки для народа и буду ждать твоего мнения об издании. Это замена прежних с лубочными картинками. По мне замена не совсем удачная, потому что для того, чтобы читать стихи, необходимо некоторое эстетическое развитие. Народ к стиху, кроме песенного и былинного, равнодушен. Стих являет ему самую жизнь или в лирическом, или в эпическом образе; жизнь обыденная у него в стих не вмещается.

Ваши католические старообрядцы вызвали у Аксакова письмо к Деллингеру; оно вышло здесь на русском языке, а отправлено на немецком<sup>1131</sup>. По моему понятию, такая переписка есть толчение воды или зуд мышления. Но я авось либо пришлю тебе это письмо. Что, брат, знаешь ли? У нас *авось* едва-едва кое-где попадет; а живет *va bene*\*, сделалось уже архивною редкостью.

Твой Ф. Чижов.

### № 134. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

8 декабря н[ового] ст[илия] 1871

Присланные тобою брошюрки принадлежат к разряду *благонамеренных* изданий, где литераторы прикидываются простым народом для вящего его поучения. Но эти попытки редко удаются: у простого народа очень тонкое чутье; он тотчас пронюхает, в чем дело: «Вишь, барин-то, надел мужицкий тулуп, да и бает по-нашему», и — все нравоучение пошло к черту<sup>1132</sup>. «*Спящая царевна*» Жуковского<sup>1133</sup> прелестна, нечего сказать, но все ж таки это не сказка, а *литературное произведение*. Эти однообразные хорей совершенно чужды русскому уху. А знаешь ли, что размер или *рифм*

\* Хорошо — *ит.*



наших простонародных песен и сказок стоит всех ваших гекзаметров и пр[очее]? Я иногда читаю вслух сказки Афанасьева вместе с доктором Аткинсоном: ведь это настоящая музыка! «Конь бежит, земля дрожит, из очей пламя пышет, из ноздрей дым столбом». А каковы эти стихи:

«Аленушка, сестрица моя!  
Меня хотят резать;  
Костры кладут высокие,  
Котлы греют чугунные,  
Ножи точат булатные!»

Возьми еще эту известную песню:

«Не шуми ты мать темная дубравушка,  
Не мешай мне добру молодцу думу думати»<sup>1134</sup>.

Размер ее почти тот же самый, каким написаны все санскритские поэмы, а об ее несравненной гармонии и говорить нечего. Вот на это бы следовало обратить внимание нашим ученым. А то мы просто взяли у немцев ямбы да хорей<sup>1135</sup>, да и до сих пор кое-как с ними пробавляемся, а о сокровищах гармонии, зарытых в нашей народной поэзии, никто и не думает.

Прилагаю проспект издания г[осподина] Ральстона. Он уже принялся за перевод всех сказок Афанасьева — каково? А, знаешь ли, что еще будет? Через несколько столетий все эти сказки *гуртом* припишут *Афанасьеву*, и комментаторы будут удивляться обширности и разнообразию этого несравненного гения, а этот гений просто — русский народ! Вот история Гомера!

Нельзя ли как-нибудь причислить меня к министерству народного просвещения как чиновника по особым поручениям, откомандированного по Высочайшему повелению для преподавания русской словесности при Дублинском университете? Авось мне дадут Владимира в петличке или Анну на шею<sup>1136</sup>.

Сделай милость, пришли переписку Аксакова с Деллингером — ради курьезу.  
Твой В.Печерин.

Аленушка, сестрица моя,  
Выплывь, выплывь на бережок!  
Огни горят горючие,  
Котлы кипят кипучие,  
Ножи точат булатные,  
Хотят меня резать.  
Ах, братец мой Иванушка!  
Тяжел камень шею перетер,  
Шелкова трава на руках свилась,  
Желты пески на груди легли.  
От его было от крику от звериного  
Что быстрая река — мать взволновалась,  
От его было от свисту от соловьиного  
Что темны леса к сырой земле клонились;  
От его было шипенья от змеиного  
Зелена трава в чистом поле повянула.

Это и Гомера за пояс заткнет!

Пустыня и воля.

“Qui n’a pas plus d’une fois tourné  
ses regards vers le désert et rêvé le  
repos en un coin de la forêt ou dans  
la grotte de la montagne, près de la  
source ignorée du se desaltèrent les  
oiseaux du ciel?”

Lammenais\*

“J’avais toujours rêvé de vivre au  
édésert, et tout rêveur bon enfant  
avouera qu’il a eu la même fantaisie”.

George Sand\*\*

«Его владычество — природа,  
Безмолвный лес — его чертог,  
Его сокровище — свобода,  
Беседа — тишина и бог!»

Жуковский<sup>1137</sup>

Первая сцена.

В узенькой комнатке бабушки моей Марфы Семеновны Симоновской за круглым столиком мы сидели вчетвером: бабушка, мать моя Пелагея Петровна и тетка Наталия Петровна, а я как грамотный человек (10 лет) был чтецом этой почтенной компании. Мы читали следующие литературные произведения — Беседы Иоанна Златоуста, Жития Святых: великомученицы Варвары, Николая Чудотворца, Симеона Столпника, Марии Египетской и весь Киево-Печерский Патерик<sup>1138</sup>. Сквозь полурастворенную дверь можно было видеть в столовой дюжину дворовых девок, сидящих рядом на длинной скамье, каждая с прялкой и веретеном в руках.

«Пряжа тонкая, прядися!  
Веретеньшко, вертися!  
А веревочка плетися!  
Тру-ру, тру-ру, тру-ру»<sup>1139</sup>.

В старые годы сказали бы с умилением, что это истинно *гомерическая* сцена, а теперь мы пошлем Гомера к черту и просто скажем, что это малороссийская сцена, происходившая в Черниговской губернии Козелецкого повета в грязном местечке Кобылице.

Житие Марии Египетской врезалось у меня в памяти: жить 40 лет в пустыне между дикими скалами на вольном воздухе — гуляй, где хочешь, никто не запретит — души человеческой не встретишь. Вот пустыня и воля!

---

\* Кто не обращал неоднократно своих взоров к пустыне и не мечтал об отдыхе в лесной чаще или в горной пещере у неведомого родника, где утоляют жажду птицы небесные? Ламенне — *фр.*

\*\* Я всегда мечтала о жизни в пустыне, и всякий подлинный мечтатель признает, что у него была та же греза. Жорж Санд — *фр.*

Вторая сцена.

В мае 1818 рота солдатшек плелась по узенькой белой дорожке в бессарабской степи. От времени до времени можно было схватить отрывки их заунывных песен, поговорок и прибауточек:

Кричит птица пава —  
Запропала  
Солдатская слава.

Пальцы рубит, зубы рвет,  
А в солдаты все нейдет.

Хлеб да вода — солдатская еда.

Жизнь копейка — командир наживное дело!

За ротою тянулась бричка, запряженная двумя лошадьми, в бричке сидела мать с пуховиками и подушками и с рябою горничною Василисою. За бричкою ехал кабриолет, где я сидел с отцом, а иногда для перемены я ехал верхом на белой лошади возле солдат.

Ничего не видно, кроме неба и земли: колеса так и тонут в высокой траве. Едешь целый Божий день — ни жилья, ни души человеческой не встретишь. Только под вечер виднеется вдаль дым молдаванской деревни с огромным гнездом аиста на каждой хате. Однажды только помню, в каком-то овраге мы в полдень нашли хижину пастуха с колодезем и стадом овец. Да еще другой раз неожиданно в этой пустыне явилась бакалейная лавка — ее хозяин был какой-то армянин или грек, черт его знает, в красной ермолке<sup>1140</sup>. Тут отец мой закупил припасов на дорогу: винных ягод<sup>1141</sup>, фиников, миндалю, изюму и потом постепенно, по востребованию, выдавал мне продовольствие из своего комиссариата.

В этой же степи — года два позже — я впервые познакомился с Байроном, прочитавши обзор его сочинений в *«Соревнователе просвещения и благотворения»* (органе декабристов)<sup>1142</sup>. Байрон тоже страстно любил пустыню и волю; но его идеалом был океан.

«Он был, о море, твой певец,  
Твой образ был на нем означен,  
Он духом создан был твоим:  
Как ты, могуч, глубок и мрачен,  
Как ты, ничем не укротим».

Пушкин<sup>1143</sup>.

Иметь свой собственный корабль и на нем носиться по волнам неизмеримого океана, не завися ни от каких властей земных — вот идеал Байронова блаженства!

Я, не будучи моряком и не имея никакого понятия о море, любил безграничную свободу степи. Солнце всходит, солнце заходит, и ничего не видишь, кроме голубого неба и зеленой земли. Но с какою-то непреодолимою страстью я стремился за заходящим солнцем: оно как пламенный шар тонуло в густой траве на самом краю горизонта — что-то непостижимое, какая-то странная любовь тянула меня к нему... Клянусь Богом, я не раз становился на колени, простирал руки к заходящему солнцу, молился к нему: «Возьми меня с собой! туда, туда на запад!»

«Солнце к западу склонялось,  
Вслед за солнцем я летел:  
Там надежд моих, казалось,  
Был таинственный предел.  
Запад! Запад величавый!  
Запад золотом горит:  
Там венки виются славы,  
Доблесть, правда там блестит.  
Мрак и свет, как исполины,  
Там ведут кровавый бой:  
Дремлют и *твои* судьбины  
В лоне битвы роковой!»<sup>1144</sup>

Я никак не мог привыкнуть к оседлой сидячей жизни. Вышли «Цыганы» Пушкина, и я тотчас понял себя и свое назначение.

«Птичка божия не знает  
Ни заботы, ни труда,  
Хлопотливо не свивает  
Долговечного гнезда;  
В долгу ночь на ветке дремлет;  
Солнце красное взойдет,  
Птичка гласу бога внемлет,  
Встрепенется и поет.  
За весной, красой природы,  
Лето знойное пройдет —  
И туман и непогоды  
Осень поздняя несет:  
Людам скучно, людам горе;  
Птичка в дальние страны,  
В теплый край, за сине море  
Улетает до весны».

Пушкин<sup>1145</sup>

### Третья сцена.

В последних числах сентября 1833 я стоял на мосту перед гостиницею *Меча* в Цюрихе. Дивное, невиданное зрелище представлялось очам моим. На краю голубого неба как пирамиды из чистейшего серебра рисовались передо мною Альпы. Есть зрелища обновляющие, возрождающие, высоко поднимающие душу. После взгляда на Альпы вся прежняя жизнь моя показалась мне ничтожною. Мой товарищ Редкин по благому русскому обычаю начал строить куры девушке в кофейне; это меня возмутило: «Как возможно заниматься такими пошлостями при виде Альп!» Пошли мы в горы. Редкин беспрестанно заглядывал в “*Guide des voyageurs*”<sup>\*</sup> для того, чтобы восхищаться, где следует, горными красотами. А я об этом вовсе не думал: я наслаждался *целиком* полнотою жизни, льющейся через край, ничем не обузданною свободою, отрешением от всех земных связей... Пустыня и воля! Подымаясь в гору, сна-

---

\* Путеводитель — *фр.*

чала чувствуешь усталость, но, достигнувши снежных вершин, тут вдруг как будто рукою сняло, как будто сбросил с себя какую-то старую чешую, чувствуешь себя легким, обновленным, вечно юным; кажется, готов опериться — того и гляди, что вырастут крылья, и вдруг понесешься в лазурную даль! Какое блаженство дышать на этих высотах!

— Скажите, пожалуйста, что это такое чернеется там вдали в пропасти под нами в ущелине, как будто орлиное гнездо?

— Помилуйте! Это городок Бригг<sup>1146</sup>, где мы ночевали.

— Фу! как это ничтожно! Как могут люди жить в таких гнездах — запереться в этих серых черных стенах!

К несчастью, мы были уже в начале октября — время для горных путешествий прошло, да, сверх того, наш кошелек видимо истощался: решено поскорее перебраться в Италию, а потом и домой в Берлин. Но мне до этого какое дело? Слепая любовь не знает никаких препятствий. Как же мне расстаться с Альпами? ведь они мне родные! Вся душа моя льнет к ним с непобедимою привязанностью. Итак, я буквально проплакал всю ночь в гостинице в Берне. Чтобы как-нибудь уgomонить меня, добрый Редкин даже предложил заложить или продать свою золотую табакерку, чтобы дать мне средства долее остаться в Швейцарии. Это, разумеется, было то же, что показать сосульку или игрушку рыдающему младенцу... Пустыня и воля!.. — да и только.

Из всех мудрецов древних и новых я всегда *блаженнейшим* считал Александра Гумбольдта: он всю жизнь странствовал в пустыне — то на снежных высотах Шимборазо, то в дремучих лесах Ориноко<sup>1147</sup>, вечно беседовал наедине с природою, отрешенный от всех житейских забот, и умер в маститой старости с безмятежным спокойствием высокого ума, все постигшего и ничему не покорившегося!

#### Четвертая сцена (в кабинете капитана Файота).

Я сидел на диване за письменным столом и писал, писал, но иногда для отдыха бросал перо и украдкой под столом читал какой-нибудь роман; но на этот раз это был важный роман — «*Спиридион*» Жорж Занда. Что тут долго рассуждать? Я лучше прямо выпишу два отрывка: это *pièces justificatives\**, важные документы, имевшие окончательно влияние на мою судьбу.

#### 1. Картезианская келья.

C'était comme un joli de fleurs et de verdure, où le moine pouvait se promener à pied sec les jours humides, et rafraichir ses gazons d'une nappe d'eau courante dans les jours brûlants, respirer au bord d'une belle terrasse le parfum des orangers, dont la cime touffue apportait sous ses yeux un dôme éclatant de fleurs et de fruits, et contempler, dans une repos absolu, le paysage à la fois austère et gracieux, mélancolique et grandiose; dont j'ai parlé déjà; enfin cultiver pour la volupté de ses regards des fleurs rares et précieuses, cueillir pour étancher sa soif les fruits les plus beaux et les plus savoureux, écouter les bruits sublimes de la mer, contempler la splendeur des nuits d'été sous le plus beau ciel, et adorer l'Eternel dans le plus beau temple que jamais il ait ouvert à l'homme dans le sein de la nature. Telles me parurent au premier abord les ineffables jouissances du chartreux;

\* Оправдательные документы — *фр.*

telles je me les promis à moi-même, en m'installant dans une de ces cellules qui semblaient avoir été disposées pour satisfaire les magnifiques caprices d'imagination ou de rêverie d'une phalange choisie de poètes et "d'artistes". ("Un hiver à Majorque". G. Sand).

*Перевод*

«Это был уголок, полный цветов и зелени, где монах мог прогуливаться, не замочив ног, в сырые дни и поливать цветник проточной водой в засушливые, вдыхать, стоя на прекрасной террасе, аромат апельсиновых деревьев, купы которых радовали его взор роскошной массой цветов и плодов; мог созерцать в абсолютном покое пейзаж одновременно суровый и изящный, меланхолический и грандиозный; мог, наконец, выращивать, чтобы радовать свой взор, редкие и драгоценные цветы, срывать для утоления жажды самые лакомые плоды, слушать величественный рокот моря, наслаждаться роскошью летних ночей под прекрасным небом и поклоняться вечности в прекраснейшем храме, который когда-либо открылся человеку в недрах природы. Такими представлялись мне первоначально неизреченные радости картезианцев, такими я и обещала их себе, поселившись в одной из этих келий, которые казались созданными, чтобы удовлетворить прихотливые капризы воображения и мечты избранной фаланги поэтов и артистов».

Ж. Санд. «Зима на Майорке»<sup>1148</sup>.

2. Сцена из «Спиридиона».

Mon âme se dilatait dans son orgueilleux enthousiasme; les idées les plus riantes et les plus poétiques se pressaient dans mon cerveau en même temps qu'une confiance audacieuse gonflait ma poitrine. Tous les objets sur lesquels errait ma vue semblaient se parer d'une beauté inconnue. Les lames d'or du tabernacle étincelaient comme si une lumière céleste était descendue sur le saint des saintes. Les vitraux coloriés, embrasés par le soleil, se reflétant sur le pavé, formaient entre chaque colonne une large mosaïque de diamants et de pierres précieuses. Les anges de marbre semblaient, amollis par la chaleur, incliner leurs fronts, et comme de beaux oiseaux, vouloir cacher sous leurs ailes leurs têtes charmantes, fatiguées du poids des corniches. Les battements égaux et mystérieux de l'horloge ressemblaient aux fortes vibrations d'une poitrine embrasée d'amour; et la flamme blanche et mate de la lampe qui brûle incessamment devant l'autel, luttant avec l'éclat du jour, était pour moi l'emblème d'une intelligence enchaînée sur la terre, qui aspire sans cesse à se fondre dans l'éternel foyer de l'intelligence divine. ("Spiridion". G. Sand).

*Перевод*

«Душа моя трепетала в горделивом энтузиазме, самые веселые и поэтические мысли толпились в моем мозгу в то время, как грудь мою распирало чувство дерзкой веры. Все предметы, на которые падал мой взгляд, казались мне необычайно прекрасными. Золотые полости дарохранительницы сверкали, словно небесный свет осиял святая святых. Витражи, пронизанные солнцем, отражались на плитах, образуя между колоннами обширные мозаики из алмазов и драгоценных камней. Мраморные ангелы, казалось, изнуренные жарой, склоняли лбы и как прекрасные птицы готовились спрятать под крыло свои прекрасные головы, утомленные

тяжестью карнизов. Равномерный и таинственный стук часов походил на мощные движенья груди, охваченной любовью, а бело-матовое пламя неугасаемой лампы перед алтарем, споря с дневным светом, было для меня эмблемой разума, прикованного к земле и беспрестанно стремящегося слиться с небесным разумом».

Ж. Санд. «Спиридион».

Вот что меня увлекло, очаровало, обольстило! Для человека, живущего одним воображеньем, этого было довольно. Я сидел на диване и читал, читал — долго ли, коротко ли, не знаю — и думал крепкую думу и, наконец, порешил идти прямо в знаменитую картезианскую обитель, La grande Chartreuse, что близ Гренобля<sup>1149</sup>, поселиться там и, если нужно, принять католическую веру. Заметьте это важное обстоятельство: тут католицизм на втором плане, он был не целью, а средством, а главной целью была поэтическая пустыня!

Но утро вечера мудренее. Приготовляясь к моему путешествию, я вдруг спросил самого себя: «Но как же я отправлюсь? Ведь у меня денег немного, а от Льежа до Гренобля расстояние — не шутка! Надо идти пешком, стало быть, надо опять начать бродяжнюю жизнь, испытать прежние лишения, а, может быть, и попасть в руки жандармов... Нет, покорно благодарю!» Это окатило меня ушатом холодной воды и, наученный опытом, я решил остаться и искать поэтической пустыни где-нибудь поближе.

#### Пятая и последняя сцена.

В 1861 я оставил редемптористов. Они мне дали 1000 франков на дорогу. «Ну, теперь, слава Богу, я вольный казак! — сказал я самому себе, — дай пойду поглядеть на мечту моей юности!» — Я ехал, не останавливаясь, до самого Парижа; в Париже пробыл день или два, а оттуда прямо в Лион<sup>1150</sup> и к Grande Chartreuse. Природа осталась тою же: необыкновенно дикая и величественная. Но все прочее изменилось. В старые годы к Grande Chartreuse надобно было идти по берегу ревущего потока по узкой тропинке, где можно было только идти пешком или ехать верхом, а теперь там проложили славную, широкую царскую дорогу, где экипажи разъезжают. Вместо набожных богомольцев, идущих на поклонение святыне, я увидел целый обоз каких-то телег, нагруженных четверугольными ящиками.

— Что это такое? — спросил я.

— А вот я вам скажу, что это значит, — отвечала мне дама, сидевшая со мною в дилижансе, — святые отцы-картезианцы нашли в горах какие-то целебные травы и из них сначала было делали какой-то эликсир, а теперь они пустились на спекуляцию и из этого эликсира готовят отличный ликер, продающийся во всех кофейнях и трактирах под именем La Chartreuse. Эта промышленность доставляет им ежегодно миллион чистого дохода (Pauvres Chartreux!\*). Вот этот обоз весь нагружен бутылками Шартреза, отправляемыми на продажу. Какой-то винопродавец вздумал было продавать поддельную Шартрезу, но монахи притянули его к суду, выиграли дело и заставили его выставлять на своих бутылках надпись: Imitation de la Chartreuse\*\*.

— Очевидно, — сказал я, — что почтенные картезианцы умеют соединять хитрое змие с невинностью голубицы.

\* Бедные картезианцы — фр.

\*\* Подделка под Шартрез — фр.

Картезианская обитель не представляет ничего замечательного в архитектурном отношении. Это — нестройная и безобразная куча зданий, похожих на большой господский дом с овинами и амбарами. Я нашел там толпу людей, пришедших из чистого любопытства и без малейшего уважения к святыне. Везде был шум и гам. О монашеской трапезе и помину не было, а вместо нее было несколько ресторанов с разными ценами, смотря по карману посетителей. Уставши от дороги, я тотчас сел за стол. Мне, прежде всего, поднесли рюмку пресловутой шартрезы. Вокруг стола ходил толстый монах и забавлял гостей своими прибаутками и шуточками, а иногда, от времени до времени, он подымал глаза к небу и с вздохом произносил: *Nous pauvres chartreux!*\*

Нигде, кроме Франции, я не видал такого прозрачно-нагло лицемерия: у немцев оно, по крайней мере, прикрито и стусевано врожденным этому народу протодушием.

Осмотревши окрестности, где природа действительно великолепна в своей суровой дикости, где все прекрасно, *кроме человека*, я поспешил возвратиться в Париж. Я удалился из картезианской обители как Лафонтенова лисица<sup>1151</sup>, поджавши хвост, и *jurant qu'ouï un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus*\*\*.

Конец пятой и последней сцены. Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Некоторые шикают.

### № 135. С. Ф. Поялков — В. С. Печерину

Саратов  
31 декабря 1871

Дорогой дядя Владимир Сергеевич. Поздравляю Вас с новым годом, который в настоящем году я встречаю довольно грустно, так как жена моя серьезно заболела и еще в октябре уехала в Петербург пользоваться. Поэтому канун года, который я столько лет привык проводить в кругу всей своей семьи, я посвящаю теперь Вам. Хотя я получил сегодня от жены письмо, что здоровье ее начинает восстанавливаться и что она надеется во второй половине января возвратиться, но все же в первый раз в 18 лет пришлось провести новый год врозь и в тоскливом чувстве — она за семью, семья за нее. Жена моя пользуется у Боткина<sup>1152</sup>, известность которого, может быть, доходила и до Вас. Доступ к нему очень труден, но нам удалось собственно потому, что жена моя и жена Боткина<sup>1153</sup> выросли почти вместе в Москве и были в детстве дружны. Ваш знакомый доктор Склифасовский, который был у Вас из Одессы в Дублине, получил кафедру в Киевском университете, а теперь переведен в Петербург в Медицинскую Академию, и жена мне пишет, что его акушерская практика в Петербурге обширна и что, без сомнения, он приобретет известность.

Я живу в городе, который в Ваше время не имел еще значения; а теперь он раскинулся на десятиверстное пространство и считает 120000 населения. Саратов на берегу Волги, окружен со всех сторон высокими кряжами гор, ведет обширную торговлю и связан железною дорогою с Москвою на севере и Орлом на юге. Но это собственно деревня-город, правильно распланированная, но с постройками чисто помещичьими и в большинстве деревянными. Он владеет 90 тысяч десятин земли

\* Мы — бедные картезианцы — *фр.*

\*\* Клянясь, хотя и немного поздно, что меня на этом больше не проведут — *фр.*



и двухмиллионного [нрзб] капитала, и [нрзб] один проезжий немец сравнил его по богатству с Нью-Йорком с тою разницею, что там богатство производит чудеса, а у нас спит. Как и следует, в городе нет ни порядочных мостовых, ни газового освещения, а водопровод, хотя и есть, но не из Волги, а из горных родников, и потому весьма недостаточен. Жить здесь дешевле, не говоря уже, чем в Одессе, но даже чем в Каменце, а, главное всего, в изобилии все свежее, неиспорченное улучшениями и подкрасами для получения большей цены. Степняки народ добрый, и в Саратове важно то, что по раскинутости города не могло составиться губернского аристократического кружка, этой язвы всех наших губернских городов, в который считается необходимым условием попасть, а попавши — быть вынужденным тянуться жить не по средствам. Образовательные средства, что для меня в особенности важно при шести детях, здесь не в цветущем состоянии. Правда, есть мужская и женская гимназии, но как последнее греко-латинское преобразование наших заведений<sup>1154</sup> еще не привилось и никто не верит прочности и продолжительности предпринятой реформы, то гимназии находятся в каком-то переходном выжидательном положении, что весьма вредно отзываясь на учащихся. Последняя франко-прусская война едва ли не к вреду была и для нас. Германский милитаризм вызвал и у нас всеобщую воинскую повинность<sup>1155</sup>. Милитаризм и греко-латинское воспитание — вот мировая задача, разрешить которую выпало на долю Германии. Современные Гомеры и Вергилии пойдут в строю с барабанами. Какое благо сулит цивилизирующаяся Германия.

Поручая себя молитвам Вашим и желая Вам полного здоровья, остаюсь любящий Вас племянник

С. Поярков.

На Соборной площади,  
Дом Очкина

### № 136. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
12 января 1872

Виноват, брат Печерин, крепко обленился: дела ли было страшно много, уставать ли я начал скорее прежнего, хорошенько не скажу; знаю одно, что сильно я обленился, потому так долго и не писал к тебе. Ты, поди-ка, и рад этому: дал я тебе отдых. Письма твои все собираю, но не печатаю, и не скоро буду печатать как потому, что не хочу давать их отрывками, так еще более, потому, что теперь цензура стала очень строга к тому, что предварительно проходит сквозь ее железные когти. Ты, вероятно, не знаешь наших цензурных правил: по этим правилам всякая книга (кроме церковных) более 10 печатных листов может быть печатаема без предварительной цензуры, карательная же цензура должна обвинять, остановивши выпуск книги, судом автора книги. Это, разумеется, не так легко, и все-таки тут далеко менее может быть произвола и бесконтрольного самоуправства.

Нового тебе сказать нечего: в литературе появился новый роман или новая повесть Тургенева «Вешние воды»<sup>1156</sup>, я еще не успел прочесть, но инстинктивно предполагаю, что она должна быть плоха. Сегодня читал отзыв о ней в «Московских Ведомостях»<sup>1157</sup>, пишут, что из рук вон плохо. Тургенев год от году все хуже и хуже. Он поселился жить в Баден-Бадене со своею побочною семьею<sup>1158</sup>; совершенно оставил Россию без всякой особенной причины, проникся почему-то к ней каким-то

злым чувством, более всего, я полагаю, за то, что ему перестали поклоняться, и начал пошлеть не по дням, а по часам. У него много художественного чувства, он воспитал его, но не принудил себя работать истинно художнически — делать этюды с натуры и прежде чем примется за картину чертить картон, нет, он прямо валяет, не заботясь о натуре. Лучшее его произведение все-таки остается то же самое, именно первое — «Записки охотника». Тут все свежо, все принято к сердцу, изучено с любовью. Тут у него нет еще художественной опытности, природа его увлекает и потому, как у Гаспара Пуссена<sup>1159</sup>, более рамки, чем самой картины; но есть превосходные вещи, напр[имер], «Певцы», «Смерть» и еще одна, которой название не помню.

Из новых тебе указать не на кого. «Война и мир» Толстого — вот крупнейший талант, но зато совершенная противоположность Тургеневу — ни малейшего художественного образования. К несчастью, еще он в председых годах полизал философии истории и пошел ею набивать в виде уродливейших рассуждений свой роман. Но хорошо то, что это нисколько самого романа не касается и потому все можно выбросить, а живость, самобытность, верность лиц и умение понять высоту нравственную в русском человеке, нисколько не ставя его на ходули, все это чудо как прекрасно.

В настоящую минуту у нас нет в ходу ни одного вопроса или, по крайней мере, нет ни чего такого, чтобы занимало общественные толки. Последним вопросом, надоевшим всем донельзя, была борьба между классицизмом и реализмом в гимназическом учении. Классицизм одолел; за него подвизался учащийся греческому языку министр народного просвещения граф Толстой; он представил его как опору консерватизма, в реализме нашел начало социализма и над этим защитником всякой пошлости одержал верх.

У меня на днях открыта часть Ярославско-Вологодской дороги, и я теперь в сильном раздумье и в сильных заботах о том, будет ли она выгодна. Забочусь особенно потому, что взял на себя нравственную ответственность пред акционерами и пред правительством. Все прежние мои дела идут превосходно. Еще прибавилось председательство над железнодорожным Дельвиговским училищем. Пока еще оно не открыто. Подчас сильно устаю. Эх! как хотелось бы отдохнуть и для этого прокатиться по Европе, но ничего не могу сказать, удастся ли поехать, другими словами: можно ли мне будет оставить хоть на месяц мои дороги и мой банк.

Пиши, брат, пожалуйста, не ленись. Теперь я все жду от тебя подробного и хотелось бы самого подробного описания того, как ты вступил в монастырь и как ты жил в нем изо дня в день, особенно в первое время, как ты сделал первый шаг к покойному твоему католичеству.

Твой Ф. Чижов.

Получил я письмо от Лапшина<sup>1160</sup> из Феодосии; он там основал школу.

### № 137. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
29 января 1872

Благодарю за *Письмо к Деллингеру*. Я вовсе не знал, что Аксаков такой лихой богослов: его доводы очень сильны и неоспоримы; но что же из всего этого выйдет? Ровно ничего. Мне кажется, что мысль о воссоединении церквей — сущий анахронизм. Для сплавления в одно двух разнородных металлов требуется сильный огонь:

вот точно также для воссоединения церквей нужно священное пламя религиозного энтузиазма — а где же его взять теперь? Богословы всех исповеданий сидят теперь на погасшем пепелище человеческих верований и из всех сил стараются раздуть бедный огонек: выходит иногда легкая вспышка, посыплются искры вместе с золою, а до настоящего пламени им никогда не добиться. Итак, оставим их на развалинах прошедшего, а мы с тобою, брат Чижов, займемся воссозиданием *нового града Божия* — хоть, например, проложением железной дороги до самого Ташкента.

У нас болезнь наследника разбудила старое коренное монархическое чувство англичан. Вся Англия как одна тревожная семья теснилась у болезненного одра принца Вельского. Все общественные и частные дела, митинги и увеселения — все было приостановлено; газеты, не заботясь о внешней политике, наполняли столбцы свои подробностями о состоянии больного, о признаках болезни, о надеждах и опасениях народа. И, наконец, все это увенчалось благодарственным письмом королевы к народу, написанным самым простым задушевным слогом. В конце февраля королева, сопровождаемая всеми высшими государственными чинами, торжественным ходом отправится в собор Св[ятого] Павла<sup>1161</sup>, где будет благодарственное молебствие за выздоровление принца. Ожидают такого торжества, какого не видали со времени коронации. Все это показывает, что основы конституционной монархии еще очень прочны в Англии.

Это напоминает мне то время, когда *наш* наследник<sup>1162</sup> умер и когда Англия с таким благородным сочувствием отозвалась к этой общей скорби Государя и отечества. Может быть, для нас это была потеря невозвратимая, но что ж делать? Жернова истории все перемелют.

Ты должно быть ужасно занят: я давно уже не получаю от тебя ни строчки. Я послал тебе проспект издания русских песен г[осподина] Ральстона. Скажи мне, пожалуйста, оценен ли у вас Кольцов<sup>1163</sup> по достоинству. Мы с изумлением и восхищением читаем его. (Он нам прислан в подарок из Лондона г[осподином] Ральстоном). В нем соединяются Гомер, Анакреон и Феокрит<sup>1164</sup>: то же свежее воззрение на природу, те же смелые фигуры, та же светлая задушевная речь. Будь он одним из *древних*, на него давно бы уже написали целые фолианты комментариев. Д[окто]р Анкинсон думает издать его на английском языке: не знаю, удастся ли это ему; у него столько дела на руках, что я не понимаю, как все это может поместиться в его голове.

В здешнем университете один из важнейших предметов есть санскрит и все современные индейские наречия: их знание считается необходимым для индейской службы, представляющей огромные выгоды служащим. Ты не можешь себе вообразить, какие здесь строгие экзамены: у нас об этом никакого понятия не имеют или, по крайней мере, не имели в мое время. Вот, например, один коротко мне знакомый юноша должен был выдержать экзамен для вступления в гражданскую службу в собственной канцелярии наместника: по части географии у него спрашивали такие мелкие подробности о России, которые меня совершенно бы привели в тупик. Здесь действительно учатся не на шутку.

Как-то странно мне слышать, что *Хомякова* называют *богословом*<sup>1165</sup>. Из записок Герцена я привык смотреть на него как на поэта-славянофила, а считать его богословом мне никогда и в голову не приходило. Таков уж, вероятно, дух московский. Помню, как покойный Герцен в «Колоколе», говоря о стихах Самарина в ответе Мартынову, назвал его *Отцом Самаринным*. Он не очень был доволен, что Аксаков поместил мое стихотворение в «Дне»: «Видно, что езуитам везде везет!»<sup>1166</sup>, сказал он; как жестоко он ошибался, помещая меня в категорию езуитов!

31 января

Сию минуту получил твое письмо. Душевно благодарю тебя за то, что ты хоть несколько минут уделяешь мне от твоих тяжелых забот и трудов. Касательно печатания моих записок я все это совершенно предоставляю твоему благоусмотрению. *В руке твои предаю дух мой*<sup>1167</sup>. Ты знаешь, что эти записки — мое единственное достояние, единственная память, что останется по мне в России. Может быть, мне придется умереть прежде, чем они увидят свет: оно, может быть, так и лучше, по словам Гете:

Was im Gesang soll ewig leben,  
Muß im Leben untergehen\*<sup>1168</sup>.

Все, что ты пишешь о Тургеневе, подтверждает то, что я прежде заметил, т[о] е[сть] что у нас, русских, нет постоянного *трудолюбия*: мы все надеемся на *гений*; а между тем Бюффон очень справедливо сказал, что истинный гений ни что иное как *в высшей степени терпение*<sup>1169</sup>. Покойный *Диккенс* до последней минуты своей жизни работал как каторжный над своими сочинениями: у него каждая фраза *отчеканена* рукою артиста. Да, сверх того, русскому писателю без всякой причины жить за границей, ей Богу, грех! Для того чтоб хорошо писать по-русски, надобно слышать звуки русской речи. У меня этот недостаток заменяют сказки Афанасьева и стихи Кольцова. Ах, Кольцов! Кольцов! Вот истый русский поэт, какого у нас еще не бывало! *Се израильтянин в немже несть льсти*<sup>1170</sup>. А чай как свысока на него глядели московские и петербургские литераторы, когда он в первый раз между ними появился!

31-го января я сорвал первый весенний цветок *Tussilago petasites*\*. У нас снега вовсе не было, а теперь почти уже весна. Между тем у нас свирепствует оспа, как и почти везде в Европе.

Ты, вероятно, читал в газетах о мошеннических проделках Нью-Йоркского муниципалитета: ну, брат! Американско-ирландцы перещеголяли всех русских взяточников и казнокрадов бывших, настоящих и грядущих. Мы должны с надлежащим смирением признать величие американской республики. Где же нам, беднякам, тягаться с такими вельможными панями! Все самые яркие краски Гоголя бледнеют перед этим исполинским мошенничеством.

Покамест до свидания. Ну, а что ж русские-то песни? Пой песни, хоть тресни.  
Твой В. Печерин.

Льеж (1838–1840).

J'ai fait mon pacte définitif avec le diable,  
et le diable — c'est la pensée\*\*\*

Письмо к графу Строганову<sup>1171</sup>

Я пробыв всего два года в Льеже, но в этих двух годах стеснились целые столетия мысли. Я пришел в Льеж с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабёфа, религию Сен-Симона, систему Фурье<sup>1172</sup> и пр[очее]. Я рожден быть бродягою. Для того чтобы мыслить, мне непременно надо быть в движении. Я уве-

\* «Чтобы стать бессмертным в песне,

Надо в жизни умереть» — *нем.* (перевод В. Левика)

\*\* Мать-и-мачеха — *лат.*

\*\*\* Я подписал свой окончательный договор с дьяволом, и этот дьявол — мысль — *фр.*

рен, что мысль есть не что иное, как электричество, или жар, или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение (смотри Тиндалля). Я в полном смысле был перипатетическим, т[о] е[сть] прогуливающимся философом<sup>1173</sup>. Мои занятия у капитана не продолжались более 2-го или много 3-го часа п[о] п[олудни], а после этого я был вольный казак — иди куда хочешь. Вот я так и бродил в долгий летний день, куда глаза глядят: вдоль прекрасной набережной, quai de la Sauvetèze, или за городом между работами новой железной дороги, по лугам и пашням, по горам и по долинам, по рощам и лесам. Я бродил, бродил, а между тем мысль работала, работала: я устраивал в голове своей общину (commune), фаланстер<sup>1174</sup>. «Какое это блаженство! — думал я, — тогда можно будет странствовать по целому свету: куда ни придешь, везде свои, везде готов и стол и дом<sup>1175</sup>, везде идут навстречу наши братья и — милые женщины»... — Да! конечно, ведь communauté de femmes\* входило в учение Бернацкого. — Но эти розовые мечты как-то мало-помалу стирались. Одиному бедняку почти в рубищах как-то не клеится думать о женщинах. Женщины — премилые существа, но мысль о них как-то невольно сливается с понятием о роскоши: им нужны свежие цветы, шелка да бархаты, алмазы да жемчуга, а *любовь в хижине* есть не что иное как запоздалая мечта прошлого столетия. Да и вообще женщины не очень жалуют мечтателей-поэтов: они предпочитают им практических, положительных людей с большим физическим капиталом, а нашему брату-философу придется услышать то же, что венецианка сказала Жан-Жаку Руссо: “Zanetto, lascia le donne e studia la matematica”\*\*. Итак, женщины сошли со сцены — и в воображении моем осталась одна мужская казарма, а это уже, как видите, очень близко подходит к монашеской обители. Мне кажется, что все обители, начиная с Пифагора до наших времен, были основаны добродушными, но ленивыми философами, которым не хотелось барахтаться в общественной грязи для преобразования человечества. Они выбрали то, что было гораздо легче: собравши кучку единомышленных людей, *аристократически* брезгая светом, они удалились в какой-нибудь загородный дом или подальше в пустыню для того, чтобы там жить во взаимном согласии и любви, подчиняясь ими же самими добровольно избранным законам и начальникам. Это так называемый идеал христианской республики: но это вовсе ничего не доказывает и нимало не разрешает задачи общественного устройства. Вот с этими-то идеями я, будучи в Цюрихе, предложил было нескольким русским ехать в Америку и там основать *образцовую* русскую общину и издавать при ней русский журнал. Для этого предприятия у нас кое-чего недоставало, а именно: сметливости, предприимчивости и *капитала!* Excusez du peu!\*\*\* Вот так-то я бродил и мечтал в долгие летние дни; ну а как же быть зимою? По приобретенным мною французским и итальянским привычкам я обыкновенно проводил вечера в театре или кофейне, т[о] е[сть] пока были деньги в кармане; а теперь без копейки куда мне деться? В Льеже много церквей и почти во всякой из них была вечерняя служба, так называемая salut, иногда с очень хорошею музыкою. Под этими сводами я искал убежища и приюта от нечего делать. Опершись у какого-нибудь столба, я стоял и смотрел на ярко озаренный алтарь, на дым фимиама<sup>1176</sup>, восходящий к высокому готическому своду, с артистическим наслаждением слушал

\* Обобществление женщин — *фр.*

\*\* «Жанетто, оставь женщин и займись математикой!» — *ит.*

Руссо. «Исповедь» (ч. 2, кн. 7).

\*\*\* Не взывайте! — *фр.*

музыку и пение и думал о своем. Я так повадился ходить в церкви, что иногда за недостатком музыки я довольствовался однообразным распевом каноников<sup>1177</sup>, читавших псалтирь<sup>1178</sup>; это нимало не отвлекало моего внимания от моих размышлений: оно было как будто басовой аккомпанемент внутренней музыки души моей.

Прихожу однажды к Фурдрену, а тут у него и Лекуант.

— Слыхали вы новость?

— Как? что такое?

— L'abbé Manvuisse rédemptoriste va donner des conférences philosophiques dans les cloîtres de s[ain]t Paul!\*

Ну что ж! хорошо! пойдём, послушаем его: посмотрим, какая это философия.

А после оказалось, что это была чисто иезуитская уловка для того, чтобы заманить молодежь: эти conférences philosophiques были просто католические проповеди.

Что нового? — спрашивали афиняне каждый день на площади: вот так и я беспрестанно жаждал нового учения, новой системы, новой веры. В каком-то глухом переулке в Льеже открылась новая церковь какой-то новой религии: мы с Лекуантом отправились отведать этой свежей истины. У полуоткрытой двери небольшого домика встретил нас какой-то полуодетый, худощавый, бледный, необыкновенно благочестивый муж; он посмотрел на нас каким-то недоверчивым взглядом и сначала как будто не хотел нас впустить.

— Да вы пришли ли с добрым намерением? — сказал он. — Вы истинно ли ищете Иисуса?

— Ну да, разумеется, мы ищем его: сделайте милость, впустите!

В небольшой комнате перед какою-нибудь дюжиною слушателей на какой-то маленькой кафедре сидел степенного вида господин в белом галстуке с книгою в руках. Он переводил Новый Завет с греческого на французский, прибавляя кое-какие замечания. Все это было очень холодно и сухо. «Ну, уж! — подумал я, — коли нужна религия, то подавай мне ее со всеми очарованиями искусства, с музыкою, живописью, красноречием, а от этого профессора меня мороз по коже продирает».

В Haute Rue\*\* в Льеже стояла старая кармелитская церковь<sup>1179</sup>, со времен Наполеона превращенная в сенной магазин. Я часто мимо нее проходил. Однажды гляжу — что за чудо! Все сено вынесено, церковь выметена и очищена, куча народу работает — столяр, штукатурщики, маляры, а вот и афиша прибитая на стене: 2-го августа 1840 года отцы-редемптористы будут праздновать в их новой церкви причисление к лику святых (canonisation) основателя их ордена св[ятого] Альфонса де Лигвори<sup>1180</sup>. В продолжение 9-ти дней будут в этой церкви службы по утрам и вечерам с проповедью (Neuvaine) и с полным оркестром музыки.

2-го августа 1840 года в 8-м часу утра я уселся на скамье под самую кафедру. Церковь была усыпана и раздущена благоуханными цветами. Все лоснилось и блистало, все было ново как с иголки. Вдруг мерными полновесными стопами восходит на кафедру знаменитый Père Bernard, дюжий краснощекий мужчина лет 35-ти — герой моей легенды, но тогда он не был еще так толст. Все глаза устремились на него.

«Возлюбленные братья! Я должен вам рассказать жизнь и подвиги величайшего безумца, т[о] е[сть] св[ятого] Альфонса де Лигвори. Не удивляйтесь этому выражению:

\* Аббат Манвисс, редемпторист, прочтет лекции по философии в монастыре св. Павла! — *фр.*

\*\* Улица Высокая — *фр.*

в глазах света величайшим безумством является отречься от знатного рода и богатства и посвятить себя на службу Божию. Вот это именно сделал наш св[ятой] Альфонс, сын благородной неаполитанской фамилии, занимавшей блистательное место в обществе, он отрекся от всех земных выгод и с рыцарским самоотвержением, повесивши свою дворянскую шпагу у статуи пресвятой девы, перешел в духовное звание».

Разумеется, все рыцарски-безумное должно было мне нравиться. И так в продолжение 9-ти дней я каждый день был в церкви поутру и ввечеру и слушал все проповеди. Главная роль в этом празднестве предоставлена была отцу *Манвиссу* (*Manvuisse*): он был премилый, утонченно-вежливый, красноречиво-увлекательный француз. Он меня окончательно победил. После этого *девятидневия* (*Neuvaine*) я сел и написал письмо к отцу Манвиссу:

«Я прошел через всевозможные философские системы: я был гегельянцем, пифагорейцем, фурьеристом, коммунистом и пр[очее]; но после ваших проповедей я убедился в истине католической веры и прошу вас поучить меня и наставить на путь правый!» Я заключил какую-то фразу, целиком взятою из Иосифа де Местра: последнее слово было *Altaria tua, domine virtutum!!!*\* (Три восклицания тоже из де Местра)<sup>1181</sup>.

Окончив и запечатав письмо, я отправился к монастырю редемптористов. Я постучался железным кольцом у зеленой двери: мне отворил — кто вы думаете? — опять тот же герой моей легенды! Он поклонился очень учтиво, но с каким-то застенчиво-недоверчивым видом. Моя борода ничего доброго не предвещала:

— Позвольте мне вас просить передать это письмо отцу Манвиссу.

— Его теперь нет дома: он возвратится через 10 дней; я с величайшим удовольствием доставлю ему ваше письмо.

— Покорно вас благодарю.

Дверь затворилась — я перешел за Рубикон.

Мне непременно надо сделать здесь важную оговорку. До тех пор я ни с каким католическим священником никаких сношений не имел; напротив, католики чуждались меня и смотрели на меня с ужасом и омерзением как на друга фармазонов, мытарей и грешников. Мальчишки-семинаристы хихикали надо мною, когда во время архиерейской службы я стоял, опершись о какую-нибудь колонну, и с философским равнодушием смотрел на все эти церемонии. К этой эпохе принадлежит и следующий анекдот. Иду я однажды по улице, попадается мне навстречу человек средних лет с младенцем на руках: малютка загляделся на меня как на какое диво и протянул ко мне обе ручонки. Отец с досадою ударил ребенка и сказал вслух: “*Ne le regarde pas, mon enfant! c’est un fou!!!*”<sup>\*\*\*</sup> Вероятно, это был какой-нибудь добрый *bourgeois conservateur*<sup>\*\*\*</sup>, вероятно, враг всякого *реализма*, подобно графу Толстому<sup>1182</sup>.

### № 138. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

28 янв[аря] 1872

Только что получил я твое письмо, мой милый Печерин, и не хочу откладывать, чтоб опять не затянуть времени. Помню, очень помню, что надобно послать тебе песни

\* Твои алтари, о господь доблестей!!! — *фр.*

\*\* Не смотри на него, дитя мое! Это — сумасшедший! — *фр.*

\*\*\* Консервативный обыватель — *лат.*

Рыбникова, то есть «Сборник» Рыбникова, да есть глупое правило на почте, что не принимают больше 20 лотов под бандеродем. Как-нибудь ухитрюсь, а именно разрежу книгу на несколько частей и отправлю каждую отдельно.

Аксаков далеко не богослов, и ответ его мне не нравится потому, что все это писано-переписано еще до Флорентийского собора и после Флорентийского собора<sup>1183</sup>, и никто ни до чего не дописался. В разделении церквей — религия, вера — все это вопросы совершенно второстепенные, да и были они всегда второстепенными. Спорить об них все равно, что толочь воду, — если хочешь, воду толочь лучше, потому что дотолчешься до испарины, а в спорах о справедливости догматов веры доспоришься до бессмыслия и только потому не до драки и не до кровопролития, что теперь никто ни за какое верование пальца себе не порежет. Отбросить религию совсем — что касается до меня, не могу. Если бы ты спросил почему? Может быть, я ответил бы тебе — из глубокого уважения к людям, которое так сильно, что я уважаю даже глупости, освященные десятками веков. Прошу тебя, прости это без презрения и даже, если можешь, без снисхождения. Нужна же уму форма логического мышления, и так необходима, что хочешь, не хочешь, а без нее не сделаешь ничего. Потребность его, то есть ума, в стремлении остаться с самим собою и быть в

1 февр[аля]

Прервали меня, продолжать некогда. Твои письма и особенно твоя автобиография, не преувеличивая, пленительна. Я ее читаю многим собственно для того, чтобы найти или подтверждение, или опровержение моего суждения, и нахожу только подтверждение. Жаль мне, что ты круто свернул в одну сторону твоей фактической переход. Подробности, с какими ты описывал прежде твои Дон-Кихотские похождения, до того увлекательны, что случалось мне читать по три раза для моих приятелей, и всегда я чувствовал новое наслаждение. Не решаюсь посягать на твою свободу, а если бы ты уступил моей просьбе и описал, как затворялась за тобою дверь редемптористов, как прошли первые дни твоего свободного заключения, это было бы прекрасно.

Наконец я начал посылать тебе «Сборник» Рыбникова, заметь, что издателем был не покойный Хомяков, а старший сын его<sup>1184</sup>. Скоро пришлю тебе и стихотворения Хомякова<sup>1185</sup>, тогда укажу, на что бы я желал обратить твое особенное внимание. Ты ошибаешься, думая, что Кольцова приняли свысока, его оценили тотчас же и читают так, что теперь уже не найдешь ни одной книги. Не ожидаю я много от издания Ральстона; не думаю, чтоб язык и содержание песен поддались точному, определенному смыслу речи языков европейских.

Трудно мне передать тебе, как оживляют меня твои письма и твоя биография: усталый, часто сильно утомленный, я читаю их с величайшим наслаждением. Обязуюсь пока до напечатания присылаемого тобою, за каждое твое письмо платить посылкою чего-нибудь русского, которое могло принести тебе удовольствие. С преддверием весны или, вернее, с предокончанием зимы снова загорается сильное желание повидать тебя весною и надеюсь, что нынче это удастся.

Между тем, разумеется, у меня строится один план за другим или устраиваются предприятия по чужим планам. Между последними есть Общество Северного пароходства с капиталом в 8 миллионов рублей, почти что в миллионов ф[унтов] стерлингов. Меня побуждает особенно то, что оно обязывается делать рейсы в Белое море, а от Белого моря до Вологды водяного хода 6 дней, да от Вологды до Волги



(при Ярославле) по нашей узкоколейной дороге 2 дни. Итак, всего будет от Волги до Белого моря сначала по Вологодской железной дороге, мною построенной, потом по реке Вологде, впадающей в Сухону, далее по Северной Двине, образующейся от слияния Сухоны и Юга, всего 8 дней, — ближе, нежели где-нибудь. Архангельск был гаванью еще во времена древних новгородцев. Вологду Иоанн Грозный думал назначить столицею русского царства, но Петербург забыл все старые воспоминания и предания, а я их поклонник и непременно пробую воссоздать их. «Сборник» Рыбникова составлен со слов северных бардов, меня туда тащит стародавняя Россия. Отвозу будет довольно, но привозу немного — вот, имея в виду такую беду, я уже теперь задумываю составить акционерное Общество Китоловства на Северном океане и привоз гуано<sup>1186</sup> с наших северных островов, тянующихся от Белого моря до Новой Земли<sup>1187</sup>. Там тысячелетиями собирались птицы, охотницы до рыбы, отсюда мы добываем гагачий пух, — вот в голове моей сформировалась мысль вместо того, чтобы пользоваться перувианским гуано, привозить свое со своего севера. Если и мало толку в моих экономических мечтах, зато много отваги. Когда я начал заниматься шелководством близ Киева, все или смеялись, или искренно сожалели обо мне, а между тем я теперь продаю шелк из своих, то есть у себя полученных и крестьянских коконов. И теперь еще надо мною подтрунивают, что я пустился на Север, именно в Вологду с железною дорогою; правду сказать, и сам я подтрушиваю. Но волка бояться, в лес не ходить, — пустился на *авось*, и уже часть дороги открыта. Будет ли выгодно, окупит ли сама себя — это увидим.

На душе-то скребет, да и то сказать: светла звезда в небе, темна душа в небе или чужая душа потемки. Никто не видит, что скребет. Пишу тебе именно в ту минуту, когда скребет сильно и еще сильнее оттого, что я закупорился в моем одиночестве и не делюсь ни с кем. Знаешь ли ты нашу коренную пословицу: не найдешь в себе, не ищи на селе.

Смотри, Печерин, я отрываю от минут моего короткого досуга, ты посовестись и пиши и чаще и больше — где уже ждать больше, хоть бы чаще, и то, слава Богу, — не до жиру, быть бы живу.

За одну твою поговорку посылаю тебе кучу, и знаешь ли ты такую присловицу: Сладки гусиные лапки! А ты их едал? Едать не едал, а отец мой видал, как воевода едал.

Обнимаю тебя. Твой Чижов.

### № 139. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

27 февраля н[ового] ст[иля] 1872

Отец ты мой благодетель! Уж как ты меня одолжил! Не знаю, как и благодарить. Что день, то от тебя посылочки, да еще какие! Паче всякого стяжания злата и серебра и камене честна. По моему мнению, Афанасьев и Рыбников оказали России большую услугу, чем все ваши литераторы, начиная с Булгарина и Греча, до наших времен. Это важный акт самосознания русского народа — вторичное избавление от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык. Я только теперь начинаю учиться русскому языку. Возьми-ка ты, например, наших *грамотных* писателей, да сравни их с этими сказками и былинами — какая бедность языка! А тут в этих сказках

просто роскошь, раздолье, разгул, тут впервые начинаешь понимать богатство, разнообразие, гибкость и благозвучие нашего языка. Ведь и греков то мы восхваляем именно за то, что они писали не *по-книжному*, а *по-сказочному*, живым народным языком! К приятнейшим минутам моей жизни причисляю мои ежедневные чтения с д[окто]ром *Аткинсоном*. Мы достали 8-й выпуск Афанасьева: тут есть образцы поэзии самого высшего разряда. Вообрази себе, что д[окто]р Аткинсон читает эти сказки своему семилетнему сыну, и ребенок от них в восхищении, не наслушается. Вот лучшая их критика! Это пробный камень истинной поэзии: *из уст младенца и ссущих совершил еси хвалу*<sup>188</sup>. Теперь ты можешь сказать в Москве, что русские сказки входят в состав английского воспитания.

Вот ты и на Белое море попал. Куда тебя нелегкая носит! Со временем ты сделаешься сказочным героем. Какой-нибудь северный бард будет повествовать следующим образом: «На море на окяне, на острове на Буяне — костромской дворянин — добрый молодец Федор Васильевич Чижов — нашел дивную Жар-Птицу — от ней поломом так и пышет, а помет ее аки злато чистое и пр[очее] и пр[очее]».

Твой В. Печерин.

Блаженни алчущие и жаждущие правды...<sup>189</sup>

“Dilexi justitiam et odivi iniquitatem  
et propterea marior in exilio”\*

Григорий VII.

Если в этом состоит блаженство, то оно досталось мне в удел. Всю мою жизнь я одного искал, одного жаждал: истины и правосудия. И от этого именно мне нигде не удалось. Меня призвали было в Рим (в 1859) с большими надеждами и ожиданиями: хотели похвастаться мною перед папою и кардиналами, а вышло совсем напротив. Нашли, что я составлен не из такого мягкого материала, как они воображали, а потому поспешили отправить меня назад в Англию, а в наказание за строптивость даже не представили меня папе, следовательно, я ни разу в моей жизни не целовал ни папской туфли, ни чего-либо другого. “Cela nuira sérieusement à votre canonisation”\*\*, — сказал мне генерал ордена редемптористов. Каково? мне заживо сулили канонизацию, т[о] е[сть] причисление к лику святых, если б я был немножко погибче. Ха-ха-ха, ха-ха! Risum teneatis, amici!\*\*\* Эти таинственные сношения с невидимым миром не что иное, как пошлая игра самого мелкого честолюбия, точь-в-точь как русское чиновничество. «Вот, видите ли, батюшка, вот что значит упрямство! Если бы вы были немножко поуступчивее, то вас сделали бы статским советником и дали бы Анну на шею, да и была бы прибавка жалованья. Ласковое телятко двух маток сосет!» Из шпионствующей России попасть в римский монастырь — это просто из огня в полымя.

Последнее слово генерала ко мне было: “Vous êtes un homme franc!”\*\*\*\* Бьюсь об заклад, что ты примешь это за комплимент: как же? сказать кому-нибудь в лицо «вы прямодушный и откровенный человек!», мне кажется, это большая похвала. Ничего

\* Я полюбил справедливость и возненавидел несправедливость и поэтому умираю в изгнании — *лат.*

\*\* Это серьезно повредит Вашей канонизации — *фр.*

\*\*\* Сдержите смех, друзья! — *лат.*

\*\*\*\* Вы — откровенный человек — *фр.*

не бывало! в устах генерала это было самое жестокое порицание; оно значило: «Вы человек, ни к чему не пригодный, вы вовсе не способны к монашеской жизни, тут требуется не откровенность и прямотушие, а скрытность и лицемерие, тут надо лукавить и хитрить для того, чтобы задобрить начальство да зашибить копейку для общего блага обители!»

“Moriatur in simplicitate nostra!”\* — сказал я самому себе.

Я выехал из Рима в вербное воскресенье<sup>1190</sup>, т[о] е[сть] в то самое время, когда другие нарочно приезжают в Рим для того, чтобы присутствовать при священных обрядах страстной недели. Я умолял генерала отпустить меня поскорее, не теряя ни минуты времени: «Я задыхаюсь в этой атмосфере; мне становится дурно; уверяю вас, что все это пройдет, и мне сделается лучше, лишь только я выйду из римских стен».

На меня нашла какая-то хандра, как будто домового меня душил. Иногда я просыпался ночью в своей келье и думал про себя: «Ну, что как они меня отравят или задушат? Ведь эти люди на все готовы!» Разумеется, этому не было ни малейшего основания, это был лихорадочный бред; но все ж таки я уверен, что подобные мысли никогда бы мне не пришли в голову под кровлею какого-нибудь честного протестанта. Вот слова, записанные в келье монастыря редемптористов Villa Caserta presso S[ante] Maria Maggiore\*\* ; они сохранили свою свежесть, запах и колорит местности:

Рим 22 февраля.

“Mes larmes ne cessent de couler. O Rome! que je te déteste! Je répète les paroles de S[ain]t Alphonse: «Le temps après lequel, je pourrai m'échapper de Rome me semble durer mille ans: combien il me tarde d'être délivré de toutes ces ceremonies!» O Rome! j'aime mieux les pauvres cabanes de nos irlandais que tout tes palais somptueux. O Rome! je te hais: tu es le repaire de l'ambition et des viles intrigues. C'est ici qu'on oublie le soin des âmes et qu'on ne pense qu'à augmenter sa réputation et son crédit; on ne vit que pour soi-même : faciamus nobis nomen! on use ses souliers dans les antichambres des cardinaux...”

*Перевод*

«Слезы мои не перестают течь. О, Рим! — Как я тебя ненавижу! Я повторяю слова св[ятого] Альфонса: “Мне кажется, что до того момента, когда я смогу покинуть Рим, пройдет тысячелетие: как не терпится мне избавиться от всех этих церемоний!” О, Рим, мне милее убогие лачуги наших ирландцев, чем все твои пышные дворцы. — О, Рим! Я ненавижу тебя: ты арена честолюбий и подлых интриг. Здесь пренебрегают заботой о душе и думают лишь о том, как возвыситься и преумножить доходы; здесь живут только для себя («создадим себе имя»), протирают подошвы в кардинальских прихожих».

Даже выехавши из Рима, даже в Чивитавеккия<sup>1191</sup> я все еще трепетал — думал, что вот что-нибудь случится, и меня назад воротят; ну что как я потеряю деньги? с чем тогда сесть на пароход? или, положим, украдут у меня шинель (что очень часто случается в Риме), а теперь ведь еще довольно холодно... Наконец я на пароходе — пароход зашипел, отчалил от берега и поплыл по синюю морю, посылая струю черно-

\* Давайте умрем в нашей простоте! — *лат.*

\*\* Вилла Казерта вблизи церкви св. Марии в Риме — *ит.*

го дыма к берегам Италии... Слава Богу! Я в первый раз свободно вздохнул. *Laqueus contritus est et nos liberati sumus!*\* Сеть порвалась, и птичка вспорхнула на волю. Но и тут я не совсем еще отделался от Рима: со мною на пароходе ехал отставной член французской полиции, проживавший несколько времени в монастыре у редемптористов. Бог или черт знает, по каким причинам: вероятно, по каким-нибудь делам духовно-политического шпионства.

С неописанным упоительным наслаждением увидел я снова белые скалы Англии и зеленые кентские луга. Вот страна разума и свободы! Страна, где есть истина в науке и в жизни и правосудие в судах; где все действуют открыто и прямодушно, и где человеку можно жить по-человечески!<sup>1192</sup>

Для чего я написал это вступление или отступление? Ей Богу, не знаю! Бог весть! Так, пришло в голову. Скажу с Пилатом: *Еже писах — писах*<sup>1193</sup>.

### Льеж (1840).

Итак, мы остановились у зеленой двери с медным или железным кольцом монастыря редемптористов в Haute Rue в Льеже. Мой гренадер, взявшись доставить мое письмо к отцу Манвиссу и учтиво раскланявшись, затворил дверь, и я остался один на улице. Тут меня поразила мысль, что я сделал решительный шаг, впервые вошедши в сношения с *католическим священником*. Определенно-ясного ничего не было у меня в голове: переход в католическую церковь мелькал в каком-то отдаленном тумане... "*Il me faut des émotions*"\*\*\*, — сказал я Фурдрену, оправдывая перед ним свой поступок. Действительно, я искал новых ощущений, новых приключений, мне надоела однообразная жизнь, да к тому же таинственный 1840-й год непременно требовал решительного перелома в моей судьбе.

Через 10 дней я пошел проведать, воротился ли отец Манвисс. Меня ввели в приемную. Отец Манвисс выбежал мне навстречу с распростертыми объятиями, с открытым лицом, с милою улыбкою. Лихой француз, да и только! Он посадил меня, обласкал меня, осыпал меня любезностями, так что я души в себе не слышал. Я для формы предложил ему несколько возражений, которые он тотчас же очень легко разрешил. Вообще, я не верю, чтобы кто-либо мог быть убежден речами, доводами: нет! каждый из нас бывает убежден или побежден своим собственным умом и сердцем, а внешнее влияние не что иное, как предлог, за который мы хватаемся, чтобы осуществить давнишнее стремление или предчувствие нашей души.

Я был в том состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя, безусловно, женственно предать себя другому, пожертвовать разумом и волею высшему закону и оставить по себе памятник «любви, себя забывшей и до конца не изменившей» (Жуковский)<sup>1194</sup>. Когда отец Манвисс, взявши меня за руку, сказал мне: "*Mon enfant*"\*\*\*\*, — эти слова потрясли мое сердце до самых глубочайших основ его, и слезы выступили на глаза... Когда я передал это ощущение Фурдрену, он тоже был тронут и сказал: «Ах, как бы я хотел поговорить с отцом Манвиссом! — *mais que diront les nôtres?!*»\*\*\*\* — и эти слова не его только остановили.

\* Петля протерлась, и мы свободны! — *лат.*

\*\* Мне нужны сильные ощущения — *фр.*

\*\*\* Мое дитя — *фр.*

\*\*\*\* Но что скажут наши?! — *фр.*

Много ли, мало ли, долго ли, коротко ли, после нескольких свиданий я вошел в самые тесные сношения с отцом Манвиссом и обнажил пред ним всю свою совесть. Тут оказались некоторые странные и даже забавные черты. По моей русской совести, я считал величайшим своим прегрешением неисполнение моих обязанностей к правительству. «Помилуйте! — сказал о[тец] Манвисс, — ведь это только в отношении к правительству, это ничего не значит, тут нет никакого греха». — Это почти то же, что тебе сказал о[тец] Отман в Сен-Троне (S[ain]t Trond) и за что ты на него так рассердился: “Un pacte fait avec Dieu détruit toutes les autres obligations”, т[о] е[сть] «договор, заключенный с Богом, уничтожает все прежние обязательства»<sup>1195</sup>.

Это было 30 лет назад, а теперь сделалось гораздо хуже: теперь католики все и каждый считают себя вправе не повиноваться властям и законам, если они хоть насколько-нибудь идут наперекор непогрешимому папе<sup>1196</sup>.

Кстати, я приведу здесь 1) *аксиому* и 2) *исторический факт*.

*Аксиома.* Католицизм с его новейшими развитиями и притязаниями несовместим с порядком и благосостоянием никакого благоустроенного государства (см[отри] современную историю).

*Исторический факт.* Католическая церковь теперь в открытом бунте против всех предрержащих властей и всего современного государственного строя (см[отри] объявление войны в Силлабусе). Какое из этих двух посылок надо вывести заключение — это я представляю на размышление государственным людям.

В разговоре с о[тцом] Манвиссом мне как-то пришлось сказать, что у моего отца было маленькое поместье (50 или 60 душ, Рязанской губернии Егорьевского уезда село Навольное, Позняки тож). Духовный отец мой так и вспыхнул: «Ах! Боже мой! поместье! да где же оно? да какое оно? а большие с него доходы?» Если бы я не был по уши влюблен, я бы, наверное, заметил эту черту, и она бы мне напомнила — *поповские глаза*.

Сейчас получил XIX век, тут драгоценные документы, напоминающие мне первые дни юности и офицеров 2-й армии.

## № 140. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

28 февр[аля] 1872

Третьего дня приехал я из Петербурга и нашел на столе твое письмо, письмо очень, очень милое, то есть отрывок из твоей автобиографии «*Льеж (1840)*». Это один из прелестнейших отрывков. Случается, что ты пишешь, как будто барщину отрабатываешь, я это вижу и потихоньку ворчу: «ей, смотри; мне брат отдаться, что твой отец Манвисс или отец Оттман». Одного буду просить у тебя: раз ты уже решился передать себя всего и исполни. Все, что ты описывал до последней мелочи, было прекрасно. Теперь самые важные минуты. В твоих посещениях и первых завлечениях отца Манвисса слова: «долго ли, коротко ли, много ли, мало ли» уносят именно те редкие явления внутреннего и внешнего быта, которых не встретишь нигде. Можно себе представить человека, идущего чуть-чуть не Божиим именем, одетого нищим в лохмотьях, все это не только с внешней стороны, а и внутри более или менее представимо. Но войти в душу человека честного, чистого, бескорыстного, безусловно пожертвовавшего всем для независимости, отдающего себя совершенно противоположному лагерю — теперь для тебя самого это явление не может быть не любопытным в высшей степени. Передай его с минуты на минуту. Ты совершенно

прав: какие убеждения довольно пошлого монаха, пожалуй, и умного, могут переубедить человека; разумеется, это дичь. Понятно, когда он увлекает женщину; но вот тут-то и вся тайна твоего перехода, что ты в этом акте был совершенною женщиною. Помнишь ты, как твои чернецы уговаривали меня перейти в католицизм; я даже не сердился, хотя в те года и очень расположен был на все сердиться, и тебя, если ты помнишь только, и тебя разругал порядочно. Пожалуйста, введи ты нас за эти зеленые двери и передай нам эту жизнь и ее тайны не изо дня в день, а из минуты в минуту. Я тебя нашел страстно влюбленным и высказал все свое негодование. Тут было довольно примеси ревности. Как ты хочешь, а наша приязнь едва ли не 44-летняя, не имевшая никаких материальных отношений, дело не частое, особенно у нас в России, где жизнь изменяется до корня в течение каких-нибудь 15 лет, где все пакости навязанных извне стремлений всех и каждого заедают людей и душат их. Прежнее офицерство, потом чиновничество, накопление денег, роскошь жизни, бескорыстная подлость, — и заметь, все это решительное, нисколько, ни на грош не выходящее из самой нашей природы, а привитое или, если хочешь, и не привитое, но выросшее как лишай только потому, что разорвалась связь с народом и испортилась чистота жизненного сока, которым бы питались чисто человеческие стремления. Теперь, слава Богу, народ весь во всей его сплошной массе вздохнул посвободнее и малопомалу стали отваливаться стружья. Разумеется, мы не обновились, не очистились вполне: крепостное право, бессудие, деспотизм, произвол являются беспрестанно, но видна синева неба хоть кусочками,

«Но веют тобою Овидия звуки  
И ты мне понятен, о век золотой».

Ты встретишь теперь нас не единично, а толпами, заботящихся только о благе России, разумеется, заботящихся часто вкривь и вкось, кто как понимает, но хорошо то, что не продающих себя ни за чиновничество, ни за звезды, ни за деньги. Как, брат, ты отстал — ты все еще пишешь о каком-то статском советнике, о какой-то Анне на шею — эх куда ушел! Теперь, брат, только крестьянам не дают звезд. Тайный Советник то же, что когда-то был Коллежский Ассессор<sup>1197</sup>, — Редкин давным-давно Тайный Советник и, кажется, с тремя или четырьмя звездами. Пиши же мне сейчас, не откладывая. Я уже собрал твоих писем десятка три и тогда издам, когда понакопится; но, вероятно, нынешнего года я тебя поведу.

#### № 141. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
1 апреля 1872

Ты требуешь от меня невозможного. Душевно бы рад рассказать тебе всю мою жизнь с минуты в минуту, как ты говоришь, но как же все это припомнить? Тут и чертовской памяти не станет, а у меня только человеческая. Но, впрочем, рады стараться, Ваше Превосходительство<sup>1198</sup>!

Ты думаешь, что я слишком высоко ставлю Статского Советника<sup>1199</sup>. Это требует объяснения. В 1865, когда мои стихи были напечатаны в «Дне», я получил письмо из Харькова — от кого ты думаешь? — ты помнишь долговогого семинариста Платонова, что был с нами в университете? вот именно от него<sup>1200</sup>. Он с каким-то осо-

бенным восторгом уведомлял меня, что он теперь уже *Статский Советник*, да так и подчеркнул *Статский Советник*, да сверх того снаружи на конверте под самую печатью для сведения всем и каждому крупными буквами написано было *от Статского Советника Платонова*. Слава Богу еще, что в здешнем почтамте не разумеют по-русски, а то, пожалуй, все чиновники вспереполошились бы при получении такой важной депеши. Мудрено ли после этого, что я возымел самое высокое понятие об этом важном сане и даже теперь перед ним благоговею. Сделай милость, успокой мою тревожную совесть: я доселе недоумеваю, в каком ты чине состоишь<sup>1201</sup> и как тебя должно величать; или ты совершенно бесчиновный и бесчинный, что было бы неслыханное на Руси явление. Вот, например, когда я переписывался с Никитенко, я дал ужасного промаху: я вовсе не знал, что его следует величать Превосходительством<sup>1202</sup>. Да и кому же бы здесь в голову пришло называть Прев[осходительством] члена Академии Наук. Здесь этот титул дают только Президенту Соед[иненных] Штатов да Наместнику Королевы, да и то только в официальных бумагах, а в ежедневном обращении просто говорят: Каково поживаешь, г[осподин] Президент?

Я забыл сказать, что письмо Платонова было нечто вроде проповеди, имевшей целью обратить меня на путь правый, вследствие чего я не нашел нужным отвечать несмотря на то, что оно было собственноручно начертано *Статским Советником*!

Нет уж, брат! Честь кому честь! На всякий случай лучше бить наверняка (как в «Ревизоре»), — итак, при сей верной оказии имею честь быть

Вашего Высокопревосходительства (или Сиятельства?)<sup>1203</sup>  
смиранный раб и богомолец

В. Печерин.

1-й P.S. Книга Ральстона вышла<sup>1204</sup>, и журналы отзываются о ней с большою похвалою. Не надобно судить о ней по заглавию. Это просто ученый труд о мифологии, нравах и обычаях славян, а песни и былины приводятся только как примеры для объяснения. Некоторые песни мастерски переведены и сохраняют всю свежесть подлинника, так что англичанин, не знающий ни слова по-русски, может понять и оценить их красоту. Поверь мне, Ральстон оказал важную услугу русской словесности.

2-й P.S. 13-го апреля н[ового] ст[иля] в новом здании университета д[октор] Аткинсон будет читать публичную лекцию о русском поэте (a Russian poet), т[о] е[сть] о Кольцове.

«Не отличать ищу свои работы,  
Но радуюсь, смотря на наши соты,  
Что в них и моего хоть капля меду есть»  
(Крылов)<sup>1205</sup>.

Привел же Бог сослужить службу России самым странным и неожиданным образом.

3-й P.S. Ей Богу, пора тебе выехать за границу. Надо немножко отдохнуть, освежиться, проветриться от пыли банковых билетов, гуано и пр[очего]. Да к тому ж у нас будет в конце мая выставка, и, говорят, королева приедет открывать ее: может быть, это *будет для тебя* привлекательным.

*Скажу тебе, надежда православный царь и пр[очее]*

I will tell thee a source of hope, orthodox Tsar,  
All the truth soile I tell to thee, the whole truth!

The number of my companions war four.  
My first companion – the dark night.  
My second companion – a knife if steel,  
My third companion – my good steed,  
My fourth companion – a tough bow,  
And my messengers were keen arrows\*.

Льез (1840).

Я купил себе молитвенник, la journée du chrétien\*\* и начал молиться. Молитва есть излияние беспредельной любви в беспредельный эфир. Вот поэтому-то старые девы вообще так набожны: им не удалось найти земного предмета, и так они вечно испаряются в голубую даль любовью к незримой, неосязаемой, вечно юной красоте. Католическое благочестие часто дышит буйным пламенем земной страсти. Молодая дева млеет от любви перед изображением пламенеющего, терниями обвитого, копьем пронзенного сердца Иисуса. «О любовь распятая! любовь, кровью истекающая! любовь, из любви умирающая!» — Св[ятая] Терезия<sup>1206</sup> в светлом видении видит прелестного мальчика с крыльями: он золотою стрелою с огненным острием пронзает ей сердце насквозь, и она, изнывая в неописано-сладостном мучении, восклицает: «O radecer, o morir!\*\*\* Одно из двух: или страдать, или умереть! Без страданья жить не хочу! Умираю любя!» Вот женщина в полном смысле слова! Итак, столетия прошли напрасно: сердце человеческое не изменилось; оно волнуемо теми же страстями и тех же богов зовет себе на помощь, и древний языческий купидон<sup>1207</sup> в том же костюме и с теми же стрелами является в келье кармелитской монашенки 16-го столетия.

Камердинер, друг капитана, как-то случайно зашел ко мне и с изумлением увидел на столе молитвенник: я сгорел от стыда и солгал, сказавши ему, что я этот молитвенник купил не для себя, а для одной молодой девушки по французскому правилу: c'est bon pour les femmes\*\*\*\*!

Это была последняя жертва, принесенная людскому страху (respect humain\*\*\*\*\*). Перед Фурдреном и Лекуантом я хвалился своим молитвенником и уверял их, что в нем бездна поэзии... «Конечно так, — сказал Лекуант, — но мне кажется, что человеку очень можно обойтись без этой поэзии!» — «C'est selon»\*\*\*\*\* , — отвечал я, не зная, что сказать.

\* В. С. Печерин цитирует строки из песни «Не шуми, мать, зеленая дубравушка» (см. ком. № 1134) в собственном переводе на английский язык:

«Я скажу тебе, надежа православный царь,  
Всю правду скажу тебе, всю истину,  
Что товарищей у меня было четверо:  
Еще первый мой товарищ темная ночь,  
А второй мой товарищ булатный нож,  
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь.  
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,  
Что рассыльщики мои, то калены стрелы».

\*\* Календарь христианина — *фр.*

\*\*\* Или страдать, или умереть — *исп.*

\*\*\*\* Это хорошо для женщин! — *фр.*

\*\*\*\*\* Ложный стыд — *фр.*

\*\*\*\*\* Смотря по обстоятельствам — *фр.*



Сколько у меня было бесед или совещаний с отцом Манвиссом — ей-Богу, не помню — кажется, очень немного: нам не о чем было спорить, я на все был готов. Для утверждения меня в моих верованиях он дал мне прочесть *Les conférences du Cardinal de Luzerne\**, который, впрочем, был не ультрамонтан, а умеренный галликан времен реставрации<sup>1208</sup>. Это была обыкновенная французская фразеология, нарочно к тому приноровленная, чтобы ускользнуть от истины под прикрытием напыщенных фраз.

Нам оставалось решить два вопроса: 1-й о моем вступлении в католическую церковь, 2-й о перемене образа жизни. Признаюсь, сначала мне ужасно противно было сделать публичный шаг. — «Зачем же выставлять перед толпою эти тайные сокровища души?!» — «Единственные сокровища души суть дары Божией благодати, — отвечал отец Манвисс, — а их-то и следует показать миру для вящей славы Божией и для назидания ближнего». На это нечего было отвечать. Назначен был день. Церковь была разукрашена и раздушена цветами. Много ли, мало ли там было народу — вовсе не помню: я ничего не видел. Вероятно, там были все поклонники редемптористов. Коленопреклоненный перед алтарем на каком-то *prie-Dieu\*\** с красною подушкою, в изношенном синем фраке, с бородою и длинными волосами я прочел какой-то символ веры<sup>1209</sup>. Отец Манвисс, сидя тут же у алтаря, сказал мне коротенькую речь (*allocution*), где он сравнивал меня с св[ятым] Августин<sup>1210</sup>. Св[ятой] Августин тоже был профессором риторики; он много слез стоил своей матери; она уже считала его погибшим; но благое провидение привело его в город Медиолан<sup>1211</sup>, где проповеди св[ятого] Амвросия<sup>1212</sup> обратили его в истинную веру. Очевидно, что проповедник ставил себя наравне с св[ятым] Амвросием. По окончании церемонии меня пригласили в приемную завтракать с отцом Манвиссом. Мы стали разговаривать о Жорж Занд. Он уверял меня, что по последним известиям из Парижа “*qu'elle va se convertir\*\*\**”. (Нет! батюшка, погоди немножко, подобные люди нелегко обращаются: это добро нам, простачкам). Все это происходило очень рано поутру: я воротился домой, как будто ни в чем не бывало, и стал по обыкновению варить себе кофе на спиртовой лампе; но сквозь открытое окно слышу, что моя хозяйка старушка *m[ada]me Joarisse* разговаривает с сыном или кем-то другим: «Вишь, какая новость! а мы доселе не знали, что он не католик: слава Богу!».

На другой день прихожу к Фурдрену и Лекуанту — моя тайна уже всем известна. Редемптористы поспешили напечатать подробное описание церемонии в католическом органе “*Journal de Kersten*” с разными прибаутками и прикрасами, так что из меня сделали очень важное лицо<sup>1213</sup>. Это ужасно было досадно франмасонам, потому что они имели обо мне очень высокое понятие. Но дружба моя с Фурдреном и Лекуантом нимало от этого не потеряла.

Оставалось теперь разрешить второй вопрос — о перемене образа жизни. У меня было страстное желание удалиться от света. Отец Манвисс при этом держался совершенно беспристрастно и нимало не хвалил своего прихода.

— Вы любите заниматься науками: вот вам ученый орден — *Иезуиты*. Хотите, я вам дам письмо к их провинциалу<sup>1214</sup>?

— Нет! нет! — отвечал я.

\* Проповеди кардинала Люцерна — *фр.*

\*\* Скамейка, на которую становятся на колени молящиеся — *фр.*

\*\*\* Что она скоро переменит веру — *фр.*

Даже самое имя иезуитов было мне противно, да притом и пришла в голову мысль: что как в России узнают, что я сделался иезуитом, ведь это будет просто срам и позор!

— У вас было сильное влечение к совершенному уединению и молчанию, и вот недалеко от Нанси — откуда я родом — находится прелестная, самая романтическая Шартреза (картезианский монастырь). А вот и письмо от вашего старого знакомого аббата Бюро из Меца: он приглашает вас к себе и обещает устроить вашу судьбу наилучшим образом (“je lui ferai un sort”).

— Потрудитесь поблагодарить аббата Бюро за его доброе ко мне расположение; но — *mon parti est pris*<sup>\*</sup>; я навсегда решил удалиться в уединение — только не могу решить, куда идти; дайте мне время подумать; я письменно изложу вам мои желания.

Через несколько дней я пришел к нему со следующей коротенькой заметкою: «Я желал бы жить в совершенном уединении; но вместе с тем иметь возможность по временам выходить из него для того, чтобы навещать больных, страждущих и несчастных и помогать им словом и делом».

Это было почти целиком взято из «*Спиридиона*» Жорж Занда.

— Все это вы найдете у нас, — сказал отец Манвисс — Мы очень редко выходим, да и то только по делам христианской любви.

— Очень хорошо! — отвечал я. — Итак, отец мой, я это дело совершенно представляю вашему благоусмотрению.

— Прекрасно! Вот это поступок истинно христианского повиновения, т[о] е[сть] предоставлять все на суд вашего духовного отца!

— При этом позвольте мне вам заметить, что я вовсе не имею притязания быть священником — *je n'aspire pas à cet honneur*<sup>\*\*</sup>. Я хочу остаться смиренным братом.

— Ну да уж это мы увидим после! Однажды в монастыре вы будете делать все, что вам прикажут. Покамест мы не можем ничего сделать касательно принятия вас в монастырь до приезда нашего викария (*vicaire général*)<sup>1215</sup> из Вены — мы его с часу на час ожидаем, а между тем, если угодно, я вас представлю здешнему настоятелю.

Вошел человек средних лет высокого роста с важною и холодною наружностью и с огромным носом: это был австриец отец де *Гельд* (*de Held*). У него вовсе не было развязности и приветливости отца Манвисса, но зато были более солидные качества: прямоту и чувство правосудия, столь редкие у монахов. Он был несколько лет моим начальником в Лондоне и всегда обходился со мною истинно по-отечески. Когда брат Федор Печерин пришел проститься со мною, то он, положив мне руку на плечо, сказал ему: “*Depuis que je le connais, il ne m'a jamais donné un moment de déplaisir*”<sup>\*\*\*</sup>. Наконец его вытеснили из Лондона подлыми и коварными происками другого преподобного отца, которому хотелось сесть на его место, в чем участвовал и теперешний архиепископ Михельнский — *ci-devant redemptoriste*<sup>\*\*\*\*</sup>. Мне со временем придется описать эту интригу, в которой и женщины играли важную роль. Что тут ваши дипломаты! Ведь дипломаты — люди светские, женатые; у них есть семейные связи, есть человеческие чувства и страсти; а у монаха сердце черствое, заплес-

\* Я принял решение — *фр.*

\*\* Я не стремлюсь к такой чести — *фр.*

\*\*\* С тех пор, что я его знаю, он никогда не доставлял мне огорчения — *фр.*

\*\*\*\* Бывший редemptорист — *фр.*

невшее, заржавленное. У него одна мысль: святая церковь и обитель; единственные движения его сердца — если оно когда-либо движется — подобострастие к начальству, мелкое честолюбие и беспредельное, неизмеримое, как океан, любостязание!

Отец де Гельд расспрашивал меня о том, какие книги убедили меня в истине католической веры. Мы потолковали о философских системах Германии и особенно о новом католицизме Баадера<sup>1216</sup>. Все это было с его стороны очень холодно и сдержанно. Он учтиво раскланялся и ушел.

Один из монахов — отец Берсе — с большим любопытством расспрашивал обо мне у отца Манвисса: «Он, должно быть, ужасно азартный человек» (вероятно, судя по борде). — «Помилуйте! — отвечал отец Манвисс, — il est la douceur même!»\*

## № 142. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

29 марта 1872

Только что получил я твое письмо, почти тотчас же отвечаю. Бедный Платонов, представь себе, что, живя все в России, я о нем ровно ничего не слыхивал. Чего же хочешь ты от несчастного семинариста, который так рос и воспитывался, что ему, бывало, взглянуть на статского советника было уж счастьем жизни, и поднимало его в собственных глазах своих. Нет, брат, я потому только не бесчиновный, что когда был еще адъюнкт-профессором, тогда переименовали в надворного советника, так им и остался. Но на деле-то, право, немного ушел; не одна пошлость, то другая; от одной уйдешь, смотришь уже в другой. Моя страшная деятельность и судорожная работящность развили столько мерзостей, что иной раз сам себе гадок. Нетерпеливость, деспотизм дьявольский; разумеется, я не кричу, не распекаю, но я потерял понимание неисполнения обязанностей, не умею представить себе, чтоб мое приказание не было исполнено, едва только оно произнесено. Видишь, что все это пошло, что хочешь? Это условие успеха, а успех в деле все: и повелитель, и награда, и путеводная звезда. Так, брат, видно уж суждено — избавишься от одной пошлости, попадешь в другую. Будь-ка ты подле меня, да и забудь думать писать так лениво, как ты пишешь. Да я бы тебя в бараний рог согнул; да я бы тебя живого проглотил; да я бы тебя и проч[ее].

Я тоже недавно получил письмо от старинного нашего товарища — не знаю, помнишь ли ты его — от Лапшина. Он окончил свое профессорское поприще, живет в Крыму, в Феодосии, устроил там школу и подвизается на этом поприще тихо и смиренно. Также, кажется, превосходительство; но это ничего, теперь я не знаю даже, есть ли, кроме нашего брата шалопая, не превосходительные. Я ему не отвечал и за это третьего дня получил выговор от старика Погодина; не отвечал собственно потому, что он написал мне пречопорно: с Милостивым Государем и пр[очим]. По моей работящности многие из товарищей думают, что я сделался страшным богачом и оскотинился; не знаю, как второе, а, слава Богу, не разбогател и не разбогатею, по крайней мере, для себя лично.

Что ты сваливаешь все на твою человеческую память, это просто поклеп на нее: память у тебя действительно чертовская. Последнее твое сказание чудо как хорошо, именно восхитительною правдою и, следовательно, психическою верностью.

\* Он — сама кротость! — *фр.*

У меня уже 32 твоих письма, и ты никак не бойся — если бы даже я умер, то они у меня в таком порядке, что для издания не достало бы только моего предисловия, то есть того, без чего издание не только легко обойдется, а даже еще выиграет.

Ральстона я непременно выпишу. А кто этот Аткинсон? Не был ли он в Сибири<sup>1217</sup> и не там ли полюбил русскую литературу. О каком-то докторе Аткинсоне я слышал давно, лет 15 тому назад, от моего покойного приятеля Свербеева<sup>1218</sup>, служившего в Амурской области. Сообщи ему, что Кольцову поставлен памятник в Воронеже<sup>1219</sup>.

Очень и очень хочется мне съездить за границу, именно в Англию и к тебе, раннею нашею весною. У меня 27 и 29 апреля будут общие собрания акционеров на Ярославской дороге; если буду в состоянии, то вырвусь нашего 2 или 3 мая, проеду по своей Курской дороге, буду ее инспектировать, потом в Киев и железными дорогами чрез Прагу, Дрезден и так далее до моря, а там и к тебе. Больше всего мне хочется увидеть тебя, потом приманивает меня к себе и выставка художественных произведений — к Королеве я совершенно равнодушен. Пленяет меня и мысль об отдыхе: с месяц не подписывать бумаг по железным дорогам, да это просто рай. Близ Лондона мне надобно будет осмотреть наши заказы — шести локомотивов и рельсов. Повидаемся с тобою, потолкуем, пожалуй, дружески помолчим, и то будет приятно. Не знаю, отчего под старость весьма усилилась у меня любовь к тебе; может быть и оттого, что прошла глупая нетерпимость, а может быть и оттого, что все кругом говорит об одиночестве. Из товарищей почему-то ни с кем не веду переписки, сам не знаю почему. Бардовского<sup>1220</sup> не видал уже несколько лет — мы как-то разошлись не по личным нашим отношениям, а по взглядам и жизни. Он все директорствовал добросовестно, честно, но как-то мелко; меня нелегкая сунула в предприятия и успехом унесла чуть-чуть не в мечтательный мир деятельности и беспрестанно новых начинаний.

Авось скоро ответишь, помни, что я тебе летом дал небольшие каникулы.

Твой Чижов.

### № 143. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

26 апреля н[ового] ст[илия] 1872

Ты, как вижу, в сношениях с Погодиным. Сделай милость, поклонись ему от меня. Мне следует поблагодарить его за то, что он так выгодно отозвался обо мне в «Моск[овских] Ведом[остях]» 1863<sup>1221</sup>. По этому случаю я написал кое-что в «Листке» кн[язя] Долгорукова<sup>1222</sup>; но этому, кажется, уж столетие прошло, так изменились мои воззрения. Теперь даже смешно и досадно читать, с каким сочувствием я отзывался тогда о поляках и их духовенстве. Да что ж тут удивительного, когда даже сам Герцен на ту пору превратился в ревностного католика и бранил русских за поругание польской *святъни*! Вот что значит дух партии и политические предрассудки! Герцен пожертвовал своею популярностью в России для того, чтобы угодить каким-то нелепым Виктору Гюго, Феликсу Пья (Puat)<sup>1223</sup> и прочей братии. Всего забавнее было напечатанное в «Колоколе» письмо или воззвание Виктора Гюго к русским офицерам в Варшаве<sup>1224</sup>. Это такая галиматья, что Боже упаси: она вся составлена из отрывистых антитез человеком, ни аза, ни бельмеса не смыслив-

шим в отношениях России к Польше. Это также прелестно, как и Польская Конституция, написанная Жан Жаком Руссо<sup>1225</sup> в один присест и с первой же почтой отправленная в Варшаву; а сочинитель этой конституции никогда в Польше не бывал и ни слова не знал по-польски. Вот что называется законодательствовать *à priori*<sup>\*</sup>, с высоты внутреннего самосознания. У нас, кажется, доселе еще придерживаются этой системы: все *à priori*, все сверху, все из кабинета всемогущего министра — везде французская централизация!

*Лапшин!* Лапшин! очень знакомая фамилия! но никак не могу вообразить, кто это такой: разумеется, он был с нами в университете. Но Бардовского мне никак забыть нельзя: я с ним очень был близок. Одно только знаю, что он был добрейший человек и, вероятно, таким навсегда останется. Где он? и что он делает?

Если ты, в самом деле, не на шутку приедешь, то будет ровно 30 лет после нашего первого свидания в Виттеме<sup>1226</sup>. Если ты выедешь 3(15) мая, то, вероятно, будешь здесь к 1-му июня, а выставка откроется 5-го июня не королевою, а одним из принцев Duke of Edinburgh<sup>1227</sup>; он — очень сведущий и популярный молодой человек, моряк и объехал уже кругом света — нечто вроде нашего Алексия Александровича<sup>1228</sup>. Я тебе покажу всю поднебесную: и парк, и зверинец, и ботанический сад, и образцовую ферму, и пр[очее], и пр[очее]. Намерен ли привезти с собою твою милую родственницу? Кстати, скажи, пожалуйста, подходят ли у нас еще дамам к ручке?

«Он дамам к ручке не подходит;  
Все *да*, да *нет*, не скажет *да-с*  
Иль *нет-с!* Таков был общий глас!»<sup>1229</sup>

В Англии *Аткинсонов* бездна, точно как в Германии *Шмидов* и *Шнейдеров*<sup>\*\*</sup>: но мой Аткинсон никогда не бывал в России — он для этого слишком молод, ему идет, кажется, 33-й год.

Вчера прошла по здешним улицам траурная процессия: привезли из Индии тело вице-короля лорда Мейо, убиенного магометанским фанатиком *Али Шер*<sup>1230</sup>, и отсюда препроводили в домашний склеп его фамилии за 20 миль отсюда. Были войска в полном параде и огромная толпа народа.

Ты начинаешь чувствовать тоску одиночества, но тут предстоит важный вопрос: Да зачем же ты не женился?

«Блажен, кто смолodu был молод,  
Блажен, кто вовремя созрел,  
Кто постепенно жизни холод  
С летами вытерпеть умел;  
Кто странным снам не предавался,  
Кто черни светской не чуждался,  
Кто в двадцать лет был фронт иль хват,  
А в тридцать выгодно женат;  
Кто в пятьдесят освободился  
От частных и других долгов,  
Кто славы, денег и чинов

\* Из предыдущего — *лат.*, т. е. на основании ранее известного.

\*\* Atkinson (Atkins son) — сын Аткинса — *англ.*; Schmied — кузнец — *нем.*; Schneider — портной — *нем.*

Спокойно в очередь добился,  
О ком твердили целый век:  
N. N. прекрасный человек.

\*\*\*

Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана.

\*\*\*

Глядеть на жизнь как на обряд  
И вслед за чинною толпою  
Идти, не разделяя с ней  
Ни общих мнений, ни страстей»  
(Онегин)<sup>1231</sup>.

Мы все *Онегины!* сказал Герцен о нашем поколении<sup>1232</sup>; но если это правда, то чего ж доброго можно от него ожидать?

Твой В. Печерин.

Принятие в орден редemptористов (Льеж 1840).

Monsieur!!! vous êtes un révolutionnaire!\*  
Ректор Дегур-ов<sup>1233</sup>.

Наконец викарий (vicaire général) приехал из Вены, и меня ввели уже не в приемную (parloir), а в другую комнату на верхнем этаже внутри монастыря. Тут за столом сидели: викарий отец Пассера (Passerat), настоятель отец де Гельд и мой духовник отец Манвисс. О[тец] Пассера имел важное и несколько суровое лицо, его белые волосы небрежно растлались по плечам. Вид его невольно напомнил мне великого инквизитора в Дон-Карлосе<sup>1234</sup>. Участь его была странная. В молодости при Наполеоне I он из семинаристов попал в солдаты и несколько лет прослужил в большой армии (la grande armée)<sup>1235</sup>; но когда звезда великого человека закатилась, «и боем последним Монмартр прогремел»<sup>1236</sup>, он вспомнил мечту своей юности и, следуя своему первому призванию, вступил в орден редemptористов и дослужился до того, что сделался вторым лицом после генерала, т[о] е[сть] его представителем по сию сторону Альп. О[тец] Пассера был француз jusqu'à la moelle-des os\*\*. У всех французов есть какой-то особенный дар придавать себе театрально-величественный вид: все они глядят императорами и говорят высокими полновесными фразами, по-видимому заключающими в себе всю глубь человеческой мудрости; но это только на сцене; а посмотрите за кулисы, снимите с них мишурную мантию, сорвите личину, и окажется ужасная голь...

Mais au moindre revers funeste le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'évanouit\*\*\*.

Это напомнило мне другого француза-легитимиста, который, устыдившись французского имени, прицепил к нему православное — ов.

---

\* Сударь!!! Вы — революционер! — фр.

\*\* До мозга костей — фр.

\*\*\* Но при малейшем печальном обороте судьбы маска падает, остается человек, а герой исчезает — фр.

Я только что вступил в университет. «Ректор Дегуров!» Дегуров! ну уж это непременно какой-нибудь тамбовский или саратовский помещик: этим и фамилия пахнет. После молебствия перед началом курсов я пошел представиться ректору. Каково же было мое изумление, когда я нашел, что этот тамбовский помещик ни слова не знает по-русски! Он встретил меня с важною осанкою времен Людовика XIV<sup>1237</sup>, взглянул на меня императорским взглядом и торжественно-протяжным голосом сказал: “Monsieur!!! Vous êtes un ré-vo-lu-tion-naire!!!”

А все это вышло из-за того, что перед молебствием инспектор, отставной фрунтовик, вздумал построить студентов в боевой порядок и, довольно неучтиво взявши меня за рукав, как пешку поставил на место, на что я довольно азартно возразил, что я не привык к подобному обращению. Это, как следует, донесли начальству, и ректор *Dégout-off* окрестил меня революционером, каковым я и остался до конца дней. А по возвращении из Берлина простодушный попечитель Бороздин сказал обо мне: «Это одна из тех змей, которых Россия питает на груди своей!» Тут я окончательно превратился в Змея Горыныча.

Но не так думали обо мне святые отцы, собранные в конклаве<sup>1238</sup> в монастыре редемптористов: в глазах их я был кроткою незлобною голубицею. Викарий о[тец] Пассера очень ласково расспрашивал меня о том, что возбудило во мне первую мысль о монашеской жизни. Я отвечал, что с самого детства я любил читать жития святых, особенно пустынников. «Очень хорошо! Это самое лучшее приготовление к монашеской жизни!» После еще нескольких неважных вопросов он приподнялся и с важною осанкою сказал: “Eh bien! nous vous recevons!”\*, т[о] е[сть]: Мы, Божиею милостью император и пр[очее] принимаем вас в Орден. Я, не сказавши ни слова, поблагодарил его легким наклоном головы. Я не знал их обрядов: мне следовало бы упасть на колени и поцеловать ручку Его Высокопреподобию; но я тогда был еще вольным казаком и не заботился ни о каких приличиях. Под конец этой сцены отворилась дверь, и вошло новое лицо, поразившее меня необыкновенным выражением лицемерия. Это был тот самый о[тец] Отман, что так тебя разгневал в С[ен]-Троне (S[ain]t Trond). Он был начальником новициев<sup>1239</sup> (Maître des novices) и нарочно приехал из Сен-Трона, чтобы принять меня из рук викария под свою опеку. Он был еще молодой человек, но вечно ходил согбенным, как старец, и никогда не поднимал глаз, так что можно было только видеть его веки. Лицо у него было бледное, как полотно, с длиннейшим остроконечным носом — верным признаком хитрости и лукавства. Эти господа любят иногда похвастать своею классическою ученостью. Говоря со мною как с бывшим профессором о суете и ничтожности мира сего, о том, как непрочны все земные связи и как лучшие друзья изменяют нам в несчастье, он подвернул стишок, кажется, из Овидия<sup>1240</sup>: “multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris”\*\*.

Все было решено. Мне оставалось только ехать в Сен-Трон в дом новициата. Но я все еще как-то не имел ясного понятия о том, что я иду окончательно запереться в монастырь. Мне сказали, что мне надобно будет в продолжение недели сделать духовные упражнения (exercices spirituels). Я так всем и говорил, что еду в S[ain]t-Trond на неделю — не больше. Но Фурдрен очень хорошо понял, что я исчезну не возвратно,

\* Хорошо! Мы вас принимаем! — *фр.*

\*\* Не считать друзей, пока благоденствие длится,

Если же небо твое хмурится, ты одинок — *лат.*

Овидий. Скорбные элегии. Кн. I. IX. 5–6 (пер. Н. Вольпин).

когда он сказал своей маленькой девочке: «Поцелуйся с ним, душечка, ты его долго не увидишь». С капитаном я простился довольно холодно и церемонно: казалось, все чувства благодарности были заглушены религиозным энтузиазмом или — назорейским безумием. Я решительно переходил в другой лагерь. Католическая церковь есть отличная школа ненависти. “Vos, qui diligitis Dominum, odite malum”<sup>\*</sup>; если вы любите господу, то вы должны ненавидеть врагов его! Как далеко они ушли от евангелия!

Прощаясь с о[тцом] Манвиссом, я изъявил сожаление, что лишаюсь его добрых советов. «Вы ничего не теряете: у вас в Сен-Троне будет отличный наставник о[тец] Отман — он *тоже* француз из Альзаса<sup>1241</sup>: C’est un homme profond!»<sup>\*\*</sup>

Простился я также с моею доброю старушкою m[ada]me Joarisse и все-таки оставил ей надежду, что, может быть, ворочусь. Все мои пожитки состояли из нескольких книг: еврейской библии, лексикона и грамматики, “Soirées de St.-Pétersbourg” De Maistre’a<sup>\*\*\*</sup> и еще кое-чего; все эти книги я с каким-то человеком отправил в монастырь Haute Rue, а сам я налегке в синем фраке с бронзовыми пуговицами и пестрых штанах с узелком в руке (заклучавшим одну рубашку с кое-чем другим) пошел навестить мой старый притон у петушка (au coq), где встретил старых приятелей кондукторов и кучеров омнибусов<sup>1242</sup>, часто обедавших со мною в этом кабачке и нередко удивлявшихся моей республиканской причёске. Хозяин так меня полюбил, что незадолго до моего отъезда взял двух своих мальчишек из школы des frères chrétiens<sup>\*\*\*\*</sup> и отдал мне их в науку. Я учил их пополам с грехом: иногда случались затруднения в арифметике, особенно когда дело доходило до дробей; но с Божиею помощью все благополучно сходило с рук. Меня на дорогу накормили отличным обедом; но о настоящем моем намерении я ни гу-гу, а просто сказал, что еду на несколько дней в Сен-Трон. Омнибус отвез меня к станции; это была моя первая поездка по железной дороге, тогда еще недавно открытой. На половине дороги пришлось ожидать несколько часов мехельнского поезда: это время я очень приятно провел в галантерейном разговоре с хорошенькою demoiselle du comptoir<sup>\*\*\*\*\*</sup>. Это была последняя жертва, брошенная миру юности...

«Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана,  
Что изменяли ей всечасно,  
Что обманула нас она!»<sup>1243</sup>

“St.-Trond est une petite ville bigotte”<sup>\*\*\*\*\*</sup>, — сказал мне Лекуант, прощаясь со мною. Этот городишка в каких-нибудь 8 000 душ лежал в самом глухом захолустье. К нему была проведена ветвь железной дороги, но дальше уж никуда не было проезда: хоть три года скачи, как говорит Гоголь, но ни до какого государства не доедешь<sup>1244</sup>. Почти все население состояло из попов, монахов и их поклонников. Никакой промышленности, ни торговли — как и следует быть в таком благочестивом месте. Везде мертвая тишина, изредка только прерываемая звоном колокола, призывающего к утренней

\* Вы, которые почитаете Бога, низвергайте зло — *лат.* В. С. Печерин цитирует Псалом 96, 10.

\*\* Это — глубокий человек! — *фр.*

\*\*\* «Петербургские вечера» де Местра — *фр.*

\*\*\*\* Христианские братья — *фр.*

\*\*\*\*\* Продавщица — *фр.*

\*\*\*\*\* Сен-Трон — это ханжеский городишка — *фр.*



или вечерней молитве, — точно в какой-нибудь Аравии, где муэдзин с высоты минарета<sup>1245</sup> в известные часы кричит: «Аллах у Аллах у Мохаммед расул Аллах!»

Вышедши из станции железной дороги, я не пошел прямо в монастырь, а зашел прежде в цирюльню — и вот почему. Еще предварительно в Льеже я обрил себе бороду, оставивши только небольшие усики; но и с этим мне казалось неприличным явиться в новициат, — итак, в этой цирюльне какая-то женщина-цирюльница обрила мне усы. *Adieu, mon plaisir!*\* В этом смиренном образе, отложивши в сторону всю гордость века, отрекшись от дьявола и всех дел его, я робко позвонил у двери *Maison des rédemptoristes*\*\* . Дверь мне отворил благолепный австриец отец Пилат. Он с какою-то особенною улыбкою взглянул на меня, на мой костюм и узелок. Я поспешил сказать ему, что я тот русский, которого ожидают в новициате. «А! пожалуйста! пожалуйста!», и ввел меня в хорошо убранную комнату: тут был стол с несколькими стульями, кушетка и постель с занавесками. «Тьфу, пропасть! — подумал я, — неужели же они живут так роскошно: это вовсе не сообразно с философскою и монашескою бедностью». Но я ошибался: это была комната для гостей. Через несколько минут вошел отец-министр Геллерт, заведовавший хозяйственной частью монастыря; он радушно приветствовал меня и, взявши меня за руку, повел в длинный-длинный коридор, на который открывались двери с обеих сторон. В конце коридора отворилась маленькая дверь, и я очутился в крохотной комнатке с одним окном и совершенно голой. Она была очень хорошо выщекатурена. Тут был простой деревянный столик с деревянным резным распятием, с чернильницею и песочницею и несколькими листами бумаги; в углу стояла деревянная кровать, а на ней вместо пуховика — мешок, туго набитый соломой, и того же материала подушка, но все это было покрыто белоснежной простынею с шерстяным одеялом. В этой келье все блистало необыкновенною опрятностью: даже дощатый пол лоснился, как будто паркет. Ничего не могло быть лучше! Я почувствовал себя как будто в свойственной мне атмосфере. Отрешение от излишеств, от ненужных вещей, от ложных благ — вот истинная свобода! Когда я остался один, меня охватило какое-то неописано- блаженное чувство спокойствия: здесь мертвая тишина! сюда не доходят никакие мирские звуки, здесь нет ни забот, ни тревог! здесь не надобно думать о завтра. Кто-то постучался у двери — *entrez*\*\*\* . Вошел молодой человек приятной наружности с отличными манерами в монашеской рясе. Это был *frère Meuer*, один из новициев, нарочно посланный *pour me tenir compagnie*\*\*\*\* для того, чтобы мне не было скучно вначале. Он взял меня провести по монастырю, потом мы сошли в сад и долго вместе гуляли. Он был развязный светский молодой человек, очень сведущий в естественных науках, и говорил очень приятно. Он сказал мне, что я обманул ожидания всех новициев: о[тец] Отман обещал привести им русского с бородою, а я, напротив, приехал совершенно выбритым. Ха-ха-ха!

Да! никакие слухи не достигали этого мирного приюта. Сколько событий случилось в этот год новициата! И король голландский умер, и св[ятые] мощи Наполеона перенесены были с острова св[ятой] Елены в Инвалидную палату, прусские воины шли на помощь султану против Египетского паша<sup>1246</sup> — а я ничего об этом не знал и слухом не слышал.

\* Прощай, моя забава! — *фр.*

\*\* Дом редемптористов — *фр.*

\*\*\* Войдите — *фр.*

\*\*\*\* Чтобы составить мне компанию — *фр.*

№ 144. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

25 апр[еля] 1872

Христос Воскресе! Так начинаем мы письма во время пасхальной недели и после до Вознесения Христова по русскому обычаю.

Ну, брат Печерин, да ты просто молодец; шутка написал ко мне чуть не два раза в месяц. А я так дрянь-дряню. Отправился на второй день праздника в Ярославль осмотреть дорогу, да не знаю, как меня угораздило простудить желудок. Теперь несколько дней сижу безвыходно дома. Сегодня лучше. Послезавтра у меня Общее Собрание акционеров в Обществе Ярославской дороги, в субботу 29 апр[еля] — другое. Кажется и превосходно — отправил эту службу и мог бы поехать отдохнуть, так нет. На мою беду один из директоров Общества Московско-Курской дороги болен, — мне невозможно оставить надолго Правление. Потом необходимо мне съездить дней на 5 быть посаженным отцом у той самой моей крестницы, с которою я хотел было прошедшего года приехать в Дублин. Она теперь выходит замуж<sup>1247</sup>. Но, во всяком случае, хоть поздним летом, а я непременно нынешним годом у тебя побываю. Не будь я Тарас Скотинин<sup>1248</sup>, коль этого не сделаю. Напиши мне, какие книги тебе привезти; привезу охотно. Издание Кольцова стало теперь весьма редко так же, как и песни Афанасьева.

Шуточный ты делаешь вопрос — отчего я не женился. Ответ прост — оттого же, отчего не повесился. Но не так просто решился он в жизни. Я думаю, главную причиною было то, что я очень любил женщин и вообще сходил с ними всегда очень дружно. Никогда за ними не ухаживал и не мог понять, что за пошлость это ухаживанье, а как-то сходил с, дружил с и всегда живал очень дружно. Чужие жены всегда пленительнее, чем те, которых можно иметь своею женою. Был я так глуп, что любил сильно, что был любим сильно; так проходила и прошла молодость. А после меня сослали, начал я бороться с возможностью существовать, было не до женитьбы, а после стал стариться, а после состарился. Да ведь если я и написал тебе что-то вроде сетования на одинокую жизнь, то в сущности это в минуту усталости от сильной работы. Мог ли бы я жениться, когда я вечно пьян, теперь пьян от беспрестанных предприятий. Ты совершенно прав, говоря, что жена и вообще женщина — роскошь жизни. Когда человек богат, ну хоть молодостью, ну хоть глупостью, — дело иное, тогда женись, к старости сживется с женою, сольется в одно нераздельное, часто скучное, большею частью пошное, но все-таки как-нибудь проживется. А нашему брату-бедняку, у него страсть к независимости отняла всякую надежду быть не только богатым, а не нищим, у него столько поганого отрепья — здравого смысла, что никак не удастся сделать какой-нибудь отчаянной глупости, нам суждено вечно таскаться с этим поганим грузом — здравым смыслом. Ты еще иное дело, у тебя горячая голова, полная живой фантазии, ты вон едва справлялся с первыми четырьмя действиями арифметики, до дробей не мог докарабкаться, а представь же ты меня, который с юности оковал себя теорию функций, дифференциалами и интегралами, которые как тюремный сторож не пустят тебя с глазу ни на минутку, и только шагнешь, непременно дай ответ — *почему, для чего*. Ну, до женитьбы ли с этими поганими товарищами?

Итак, Ваше, как тебя, Высокопре[во]любие, честный отец Владимир, нынешним летом явлюсь я пред Ваши светлые очи. Жду не дождусь этой минуты. Думаю,

что приеду прямо к тебе в Дублин, а там можем поехать вместе в Лондон, пожалуй, я и в Дублине останусь, тем более что поеду весьма ненадолго.

В самом деле, сообрази и напиши, что привезти тебе, хотелось бы доставить тебе удовольствие. Обнимаю тебя.

Твой Чижов.

### № 145. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Саратов  
14 апреля 1872

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением и желаю Вам всего лучшего. Настоящий праздник я встречаю невесело. Жена моя при переезде из Каменца во время дорожных хлопот с малыми детьми надорвалась и все болеет. С октября она пользовалась в Петербурге у Боткина 4 месяца и, хотя несколько оправилась, но совершенное выздоровление ее требует, по настоянию Боткина, чтобы она настоящее лето провела в Карлсбаде на водах. Это ее печалит, что она должна вновь расстаться с детьми на долгое время, да и не по силам нам такое путешествие. Но делать нечего. Нужно подчиниться судьбе. Дай Бог только, чтобы Карлсбад принес ей действительную пользу. Само собою, там она не будет пользоваться такою прелестью климата, как в Саратове. Нет еще года как мы здесь, но осень, зима и весна таковы, как нам еще не случалось нигде встречать во время переездов наших по России. Нет сомнения, что лето будет жаркое, но как в Саратове преимущественно деревянные постройки и притом раскинутые на пространстве, какое кто в силах был захватить, то летний жар, вероятно, не будет особенно чувствителен. Жаль, впрочем, что здесь мало садов. Сама природа их не производит, а люди еще не додумались до необходимости их разведения. Впрочем, при нашей квартире есть 4 большие липы, да через улицу городской сад. Волга вскрылась еще в марте и начинает прибывать. У Саратова она разливается шириною на 5 верст.

Федор Васильевич Чижов мне писал, что едва ли удастся в этом году осуществить печатание. Что было возможно в минувшем году, то уже трудно в этом. Беды нам наделала Пруссия.

Недавно я прочел Диксона: «Духовные жены» и «Новая Америка»<sup>1249</sup>, и стало как-то совестно, что пропаганда Эбеля<sup>1250</sup>, бывшая у нас под боком, никому у нас не была известна. Как ни грубы эти заблуждения, но какая разница при сравнении с полным бессмыслием наших расколов<sup>1251</sup>, а между тем изуверство скопчества<sup>1252</sup> быстро распространяется, и без грамотности народа, вероятно, ничего не удастся сделать.

Поручаю себя Вашему благословию и остаюсь любящим Вас племянником  
С. Поярко.

### № 146. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

28 мая н[ового] ст[иля] 1872

Я не совсем согласен с тобою касательно женитьбы. По библейскому изречению каждый человек должен *выстроить себе дом*, т[о] е[сть] основать семейство и продлить имя свое из поколения в поколение по примеру праотцев наших Авраама,

Исаака и Иакова и семени их. А мы с тобою, брат Чижов, бессознательно исполняем статистический или политико-экономический закон хитрой матушки-природы. Поярков пишет мне из Саратова, что секта скопцов сильно размножается — что ж это значит? А то именно, что всегда и везде было сильное стремление противодействовать излишнему расплощению человеческой породы, уравновесить народонаселение. Вот почему и война необходима. Помилуй! Да если бы не было войны, то что бы с нами случилось? Мы бы так расплодились, что никому бы не было места, и мы бы перегрызли друг друга как *Килкенские кошки* (Kilkenny cats)<sup>1253</sup>. Есть в Ирландии пренаивной аполог<sup>\*</sup>, вполне выражающий народный характер ирландцев и их вечную междоусобицу. «В древние незапамятные времена, когда кошки играли такую же важную роль, как теперь французы и немцы, на равнине близ города *Килкенни* происходила кровопролитная схватка между двумя кошачьими племенами, нечто вроде Мамаева побоища. Кошки дрались с таким остервенением, так изгрызли друг друга, что после их на поле сражения ничего не осталось, кроме их хвостов». Имей уши слышати да слышит<sup>1254</sup>.

А тот же Поярков пишет мне, что ты к нему писал, а из твоего писания явствует, что теперь едва ли будет возможно напечатать мои записки, потому что цензура стала гораздо строже. Вот это для меня совершенное разочарование. Я воображал, что у вас цензура еле-еле существует, а теперь вижу, что она, слава Богу, жива и здорова и что по-прежнему все обстоит благополучно, и нового ничего нет. При таких обстоятельствах стоит ли печатать? Ведь цензура наверное вырежет все, что есть лучшее, т[о] е[сть] истинные, задушевные, самобытные мысли писателя, а оставит только пошлые официальные плоскости, если таковые найдутся в моих записках. Не лучше ли уж, благословясь и отслужив молебен, серьезно приняться за дело, да и написать нечто в этом роде:

«Как лебедь на водах Меандра  
Поет последню песнь свою,  
Так я Монарха *Александра*  
При старосте моей пою»<sup>1255</sup>.

Тут и рифма богатая и мысль чрезвычайно новая и смелая — так чего же лучше? Это уж, наверное, позволят напечатать.

Впрочем, есть еще средство ускользнуть от цензуры. Знаешь ли ты, что доселе существует в Женеве русская типография, оставшаяся после Герцена и Долгорукова<sup>1256</sup>? Ну, что как бы напечатать там в небольшом числе экземпляров для небольшого кружка? А там уж, что однажды напечатано, того не вырубят и топором.

Твой приезд опять как-то начинает отступать в туманную мифическую даль — но это ничего! Во всякой мифологии требуется слепая вера, итак, несмотря на твои отлагательства, я с твердою верою и надеждою ожидаю твоего пришествия. Ты спрашиваешь, что мне привезти — ей Богу, не знаю! Привези, что хочешь: *всякое даяние благо и всяк дар совершен*<sup>1257</sup>, как говорили у нас взяточники. Хотелось бы иметь еще собрание русских песен Киреевского или Сахарова<sup>1258</sup>, хотелось бы прочесть «*Отцы и дети*» Тургенева, «*Смерть Грозного*» Толстого; но, впрочем, ты

\* От греч. *ἀπόλογος* — рассказ, басня, т. е. краткий нравоучительный иносказательный рассказ, построенный преимущественно на аллегорическом изображении животных и растений, близок к притче и особенно к басне.

сам лучше знаешь, что занимательнее в русской литературе. Какого разряда поэт Майков<sup>1259</sup>?

Ральстон уведомляет нас, что об его книге очень выгодно отозвались в «Московских Ведом[остях]», «Вестнике Европы»<sup>1260</sup> и еще где-то.

Довлеет дневи злоба его<sup>1261</sup>.

Кстати, не можешь ли привезти мне *Славянскую Библию* или, по крайней мере, Новый Завет<sup>1262</sup>?

Твой Печерин.

Новициат (1840–1841).

“Te souviens-tu?.. mais ici je m’arrete  
Ici finit tout noble souvenir;  
Vieux camarade, ah! viens dans ma retraite,  
Attendre en paix un meilleur avenir!  
Et quand la mort, planant sur ma, chaumière,  
Vient m’appeller au repos qui m’est du  
Tu fermeras doucement ma pouplière, en me disant:  
Soldat! t’en souviens-tu?”\*

Старая песня<sup>1263</sup>.

Отец Отман, maître de novices\*\*, еще не воротился из Льежа, и я покамест оставался под опекою отца Геллерга, префекта гостей (Préfet des étrangers) и любезного frère Meuer. Однако ж мне тотчас дали работу. Каждый новиций при вступлении в монастырь должен собственноручно переписать все *правила и постановления ордена* для того, чтобы иметь свой собственный экземпляр. Это мне очень понравилось: «для того чтобы исполнить закон, надобно его хорошо знать». Итак, я с большим усердием принялся за эту работу. Между тем приехал о[тец] *Отман*, и первую его заботою было доставить мне более приличное одеяние. В обильном гардеробе новициата, где целыми слоями лежали сброшенные светские одежды *ветхого человека*<sup>1264</sup> разных поколений, он сам выбрал очень хорошенький, даже щегольской сюртучок и, надевая его на меня, повторял: *rauvre jeune homme! rauhre jeune homme!*\*\*\* После этого он потребовал от меня выдачи всего моего имущества. «Voilà tout ce qui me reste après mes déboursments»\*\*\*\*, — сказал я с видом и тоном человека, только что истратившего несколько тысяч, и подал ему мелкими деньгами каких-нибудь пять или шесть франков. «Это вам тотчас же будет возвращено, если вам случится оставить этот дом». Вот где коммунистам надо учиться. В новициате понятие *собственности*

\* «Ты помнишь ли? Но здесь я останавливаюсь,  
Здесь кончается всякое благородное воспоминание;  
Старина, приди ко мне в мое убежище  
Ожидать в мире лучшего будущего!  
И когда смерть, витающая над моею хижиною,  
Придет звать меня на заслуженный покой,  
Ты тихонько закроешь мне глаза, сказав:  
Солдат! Ты помнишь ли?» — *фр.*

\*\* Наставник послушников — *фр.*

\*\*\* Бедный молодой человек! бедный молодой человек! — *фр.*

\*\*\*\* Вот все, что осталось после моих трат — *фр.*

вовсе не существовало. Никто даже одежды своей не смел назвать своею, потому что настоятель каждую минуту мог взять ее и отдать другому. Нарочно периодически переводили из кельи в келью для того, чтобы новиций не имел времени привыкнуть к ней и считать ее своею. О деньгах и помину не было. Никакая мысль о корысти, стяжании не была возможна. Все было общее: всякий получал все, что ему нужно, из рук настоятеля. Не это ли идеал сен-симонизма, где верховный отец, Père suprême, держит в руках своих все богатства мира и раздает их каждому, смотря по его нуждам и заслугам?<sup>1265</sup>

В 1844, когда я был уже священником, проезжая из Парижа в Бельгию, я заехал в St.-Acheul<sup>1266</sup> повидаться с Гагариным. Он тогда был свежим и благочестивым новицием. Мне пришлось в его присутствии вынуть кошелек для того, чтобы расплатиться с извозчиком. Он смотрел на это с каким-то священным омерзением: «Ох! уж эти деньги! какая это гадость!» — А теперь он ежегодно получает из России 12000 франков. О, sainte pauvreté!! pauvre homme!!\*

Прими теперь в соображение, что иезуиты вообще стараются заманить в свой орден богатых и знатных, и ты можешь себе составить понятие о том, какие несметные у них накопились богатства и как могущественно их влияние даже в некоатолических странах — вот и Россия платит им ежегодную подать.

О[тец] Отман собственноручно остриг меня под гребенку по-солдатски и ввел меня в общество новициев. Их было 13 — все молодые люди от 18 до 25 лет. Трудно бы где-нибудь найти более благовоспитанных юношей, с лучшими манерами, с более утонченною вежливостью. У нас при мысли о семинарии или монастыре обыкновенно рождается понятие о грубом обращении, о варварских епитимиях<sup>1267</sup>, ругательствах и побоях; а здесь, в этом новициате, не было даже и тени *принуждения*; это было в полном, буквальном смысле *добровольное повиновение* из веры и любви. Из уст начальника новициев, Maître des Novices, я никогда не слышал ни одного грубого слова, а во взаимном обращении новициев никто не осмелился бы сказать чего-либо оскорбительного для чьей-либо личности. Два раза в неделю был *капитул*<sup>1268</sup> (Chapitre), где в присутствии всех собратий каждый обвинял себя в мелких нарушениях устава, причем начальник новициев давал краткое и дружелюбное увещание: все это делалось открыто, публично и, таким образом, был пресечен путь ко всякому шпионству и наущничеству.

Да! Отец Отман был действительно *homme profond*\*\* , по выражению отца Манвисса, он был мастер управлять людьми и, казалось, следовал правилу Жорж Занда: “Régner par l’esprit sur les esprits; par le coeur sur les coeurs”\*\*\* . Он, может быть, потому был так либерален, что сам ни во что не верил, и вот этому доказательство.

25 числа каждого месяца была особенная служба или молебен в новициате в честь младенца Иисуса. Крошечная церковь новициев была разукрашена цветами: в яслях на соломе лежала французская кукла *божественного* младенца; перед нею новиции с большим умилением распевали священные гимны. Однажды в этот день настоятель (Maître des Novices), по-видимому, углубленный в молитву, на коленях перед яслями вдруг громко расхохотался. Новиции нимало этим не смутились, они только шептали друг другу: это исступление! extase! это

\* О, святая бедность! бедный человек!! — *фр.*

\*\* Глубокий человек — *фр.*

\*\*\* Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами — *фр.*

видение! vision! ему богородица привиделась! la Vierge lui a apparu! — Но о[тец] Отман все-таки нашел нужным объясниться: «Любезные братья! — сказал он, — среди ваших священных песнопений мне вдруг пришла на мысль суета и ничтожность всего земного: как мало мы делаем для Бога и как все это примешано самолюбием и тщеславием, так невольно расхохочешься!» Il s'est tiré d'affaire comme un vrai philosophe\*.

Началась однообразная, правильная, законная жизнь новичиата: каждый час, каждая минута имела свое назначение. В половине пятого каждое утро звонили в колокол. Каждый вспрыгивает с постели, как будто бы пожар в доме. Брат-прислужка отворяет дверь со свечою в руках и говорит: “Benedicamus Domino”\*\*, на что отвечают: “Deo gratias!”\*\*\* Наскоро умывшись, все идут в церковь, на хоры, где происходит *утреннее размышление*, méditation du matin. Дежурный монах вслух читает один или два пункта. Вот образчик этих медитаций, взятых из книги иезуита Крассе (Crasset. Méditations). “I-er point. Il n’y a point de penitence qui voit de plus grand mérite, que d’accepter la mort en satisfaction de ses péchés. L’homme ne peut rien donner à Dieu qui égale le sacrifice de sa vie. — Je vous donner, mon Dieu, par amour, la vie, que la mort m’arrachera de force. Je donne à la charité ce que je ne puis refuser à la nécessité”\*\*\*\*. Все в глубоком молчании на коленях обязаны размышлять четверть часа об этом пункте: потом, лишь только часы пробьют четверть, опять читают 3-й пункт, все опять размышляют, и тем кончается медитация. После этого следует обедня и очень легкий завтрак, состоявший из чашки кофе с хлебом и маслом (une tartine), а затем ряд духовных упражнений и ручной работы. Ручная работа состояла в том, чтобы копать что-нибудь в саду, выметать сор и мыть пол в коридорах, мыть посуду на кухне и шелушить разные овощи, помогая повару прислуживать за столом и пр[очее]. Тут все состояния были уравнены, и богат и бедняк одинаково работали. В 12 часу был обед, в продолжение коего чтец на кафедре читал сначала главу из св[ященного] писания, а потом историю церкви. После обеда был целый час роздыха (récréation): новичи со своим Maître de Novices гуляли по саду и забавлялись благочестивыми, а иногда и очень смешными рассказами из жития святых. После этого тот же ряд духовных упражнений и ручных работ (travail manuel) до 7-го часу: тут опять вечерняя медитация (méditation du soir), ужин и роздых (récréation) в том же порядке; в 8-м часу вечерняя молитва, и все, поцеловавши руку настоятеля и получив его благословение, отправлялись в свои кельи. В половине 10-го один удар колокола возвещал ночной покой: каждый спешил потушить свечу и броситься на постель с большим удовольствием после утомительного однообразия этой правильной жизни. Кроме двух часов роздыха (récréation) после обеда и ужина в новичиате господствовало ненарушимое молчание: никто не смел говорить ни слова; случайно встречаясь в коридорах, новичи

\* Он вышел из положения как истинный философ — фр.

\*\* Благословим Господа! — лат.

\*\*\* Господу благодарность! — лат.

\*\*\*\* (Крассе. Размышления). 1-й пункт. Нет раскаявшегося, который не видит большей заслуги, чем принять смерть как воздаяние за грехи. Человек не может отдать Богу большей жертвы, чем его жизнь. — Я тебе отдаю, Господи, из любви — жизнь, которую смерть вырвет у меня силой. Я отдаю милосердию то, в чем я не могу отказать необходимости — фр.

только учтиво раскланивались, не раскрывая рта. Признаюсь, после нескольких лет бродяжной жизни и всякого рода политической и литературной болтовни это молчание было для меня истинным наслаждением. Я понял то, что прежде для меня было непостижимым, т[о] е[сть] как Пифагор заставлял своих учеников хранить молчание в продолжение пяти лет. *Латинские народы*<sup>1269</sup> сгнили до корня и нет надежды на их возрождение, потому что *они слишком много болтают: во многоглаголании несть спасения*<sup>1270</sup>.

Вот как прошел целый год искуса<sup>1271</sup> в новициате до сентября 1841. Я уже готовился в глубоком уединении к произнесению трех обетов — *vœux de pauvreté, chasteté et obéissance\**, как вдруг Maître de Novices входит в мою келью с несколько расстроенным видом: «Один из ваших старых знакомых — какой-то M[onsieu]r Le-cointe — желает вас видеть; но он ужаснейший человек с огромнейшею бородою; хотите вы его принять?» — «Почему же нет? — отвечал я. — Я могу с ним немножко поговорить». Я отправился в приемную. Невозможно вообразить себе большего контраста: Лекуант сделался отчаянным республиканцем и отпустил себе бороду до пояса, а я уже был в монашеской рясе с четками за поясом, обритый наголо и остриженный под гребенку. Я встретил его со сдержанною и холодною вежливостью, как будто никогда не был с ним коротко знаком. Наш разговор превратился в какую-то контроверзу\*\*, к которой после примешался и Maître de Novices. Лекуант уехал, и возвратясь в Льеж, говорил всем знакомым: «Нет! уж непременно редемптористы напоили Печерина каким-то зельем, нельзя же человеку так вдруг перемениться!» А это *зелье* было не что иное, как русская переимчивость, податливость, умение приноровиться ко всем возможным обстоятельствам. Если бы какая-нибудь буря занесла мой челнок на берег Цейлона и я бы нашел там приют в каком-нибудь монастыре буддистов, — я бы также ревностно исполнял все их правила и постановления (*règles de constitution*), потому что выше всех философий и религий у меня стоит *священное чувство долга*, т[о] е[сть] что человек должен свято исполнять обязанности, налагаемые на него тем обществом, в коем судьба привела ему жить, где бы то ни было, в Китае, Японии, Индостане, все равно!

В 1861 я носил белую одежду траппистов, работал с ними на поле в глубоком молчании, питался их гречневою кашею и молоком и ничем больше, и они были от меня в восхищении: «Ведь он, кажется, рожден для этой жизни! Как он легко ко всему приноровился!» Но это продолжалось всего каких-нибудь шесть недель, пока оно имело прелесть новости, и пока я не услышал случайно от одной русской дамы о важных преобразованиях в России. Тут я не мог вытерпеть: «Как же мне живому зарыться в этой могиле и в этакую важную эпоху ничего не слышать о том, что делается в России?»

Итак, 19-е февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня *эмансипировало!*

Не пора ли тут остановиться?

“Te souviens-tu? — mais ici je m’arrete,  
ici finit tout noble souvenir!”\*\*\*

\* Обеты бедности, целомудрия и послушания — *фр.*

\*\* Спор — от *фр. controversé*.

\*\*\* Помнишь ли ты? Но здесь я останавливаюсь,  
Здесь кончается всякое благородное воспоминание — *фр.*



№ 147. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

22 июня 1872

Ну, брат Печерин, давно, давным-давно я не писал к тебе, а ты поди-ка и рад: «Слава тебе, Господи, дали, дескать, и мне каникулы». С первого дня по получении твоего письма я всякий или почти всякий день хотел к тебе писать, да по пословице: на хотенье есть терпенье, не мог написать целый месяц. Письмо твое получил я накануне того дня, когда мне приходилось ехать в Малороссию, именно Полтавской губернии, в Прилуцкий уезд, на свадьбу той самой моей крестницы, с которой я думал было прошедшего года поехать за границу и приехать к тебе. Случилось иначе — встретила она с молодым соседом, вышла замуж и просила меня быть ее посаженным отцом. Я очень ее люблю; мать ее оставила ее 6 месяцев, и с тех пор я постоянно следил за нею. Итак, первые дни ответ на твое письмо был отложен по обстоятельству совершенно законному. Только что я возвратился, проехав всего дней 10 с дорогою, пришлось опять поехать дни на два посмотреть на треснувший мост на дороге. Опять прорыв. Только что возвратился, получаю чрезвычайно тревожную депешу из Вологды, где купечество в страшном беспокойстве о том, что мы не открываем дороги от Ярославля к Вологде. Делать нечего, отправляюсь в Вологду, которая, как ты знаешь, едва не под северным полюсом. Успокаиваю купечество, тем более что на дороге я получил депешу, которою министр путей сообщения разрешает открыть эту дорогу. Вот опять поездка, опять отсрочка ответа. Теперь я снова в Москве и уже непременно положил написать к тебе и отнять у тебя каникулы.

Не заботься, пожалуйста, о цензуре: твой Поярков, может быть, весьма силен в судебной части, но в литературной процедуре весьма не сведущ. Теперь у нас двоякая цензура: одна предупредительная для газет и журналов, не желающих принимать на свою ответственность издаваемых ими периодических изданий, — таких немного; не знаю хорошенько, есть ли. Ей же подчиняются и книги, содержащие в себе менее десяти печатных листов известного формата и шрифта, к которому и подводятся другие форматы и шрифты, то есть по расчету. Потом цензура карательная. Она состоит в том, что все книги более 10 печатных листов печатаются без цензуры, но потом типография не может выпустить в продажу или просто выдать ни одного экземпляра, не получивши билета на выпуск. Билет выдается цензурным ведомством, и оно имеет право в течение трех дней наложить запрещение на выход книги. До сих пор, если я не ошибаюсь, было не более трех случаев такого приостановления продажи. Тут суд решает, уничтожить ли книгу, положить ли наказание на издателя или освободить книгу из-под ареста. До сих пор в твоей автобиографии нет ни строки, могущей подвергнуться запрещению. Следовательно, твои опасения, преувеличенные ленью, совершенно напрасны. Ты хватаешься за соломинку, лишь бы перестать писать, нет, брат, шутишь, ты меня помнишь еще по университету, я, брат, костромской медведь.

Жду не дождусь возможности к тебе ехать. К тому же есть, то есть явилась и необходимость служебная побывать мне в Англии: нужно заказать рельсы для двух дорог Московско-Курской и Московско-Ярославско-Вологодской. Поручить некому, да мне это и кстати.

В нынешнем году выйдет новое издание сказок и песней Афанасьева<sup>1272</sup>, но не ранее декабря. Привезти их поэтотому я к тебе не могу, а прислать пришлю непременно. Авось либо ты еще напишешь мне сюда.

Твой Ф. Чижов.

№ 148. В. С. Печерин — С. Ф. Пояркову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

15 июня н[ового] ст[иля] 1872

Любезнейший племянник Савва Федосеич.

Благодарю вас за поздравление меня с днем Светлого Христова Воскресения и вас взаимно поздравляю, пожелав вам всех благ. Прискорбно мне слышать, что ваша любезная супруга еще не совсем оправилась и снова принуждена расстаться с вами; но надеюсь, что целебные карлсбадские воды совершенно восстановят ее здоровье. Крайне сожалею, что мои обстоятельства не позволяют мне в эту минуту оставить Дублин, а то я непременно съездил бы в Карлсбад повидаться с любезною племянницею. Ф. В. Чижов обещал, наверное, навестить меня этим летом. Посмотрим, сдержит ли он слово. Я предложил ему средство ускользнуть от цензуры: доселе еще существует в Женеве русская типография, заведенная Герценом, да и в Лейпциге тоже превосходно печатают русские книги. Недавно издали там целый том писем Александра Тургенева к его брату Николаю (декабристу)<sup>1273</sup>. Можно бы напечатать выпуск в небольшом числе экземпляров для небольшого кружка, а там после что будет, то будет. Как вам это кажется? А, в конце концов, может быть, придется отдать мои записки на съедение Бартеневу, а он напечатает, что хочет и может.

У нас теперь выставка. Королева послала для открытия ее своего второго сына герцога Эдинбургского (Duke of Edinburgh). Он — прекрасный молодой человек, лихой моряк, объехал вокруг света, высоко образован и чрезвычайно популярен: его называют *our sailor prime*\*. Был обыкновенный праздничный прием: улицы развешаны разноцветными флагами, окна испещрены разряженными дамами, они махали платками

«И в воздух чепчики бросали!»<sup>1274</sup>

В выставке замечательна картинная галерея, заключающая, между прочим, портреты всех знаменитых людей Великобритании, особенно Ирландии.

Очень замечательно у вас распространение *скопчества*. Без сомнения, грамотность, высшее образование были бы наилучшим против этого средством. Но все же так и в грамотной Америке есть бездна подобных сект. Тут есть какой-то таинственный политико-экономический закон природы. Есть два противоположных стремления, два электрических полюса: стремление к распложению человеческой породы и противное стремление, имеющее целью приостановить излишество народонаселения. Так было спокон веку — жрецы Кивелы, индийские аскеты, католические священники-монахи — все это скопцы в разных видах<sup>1275</sup>. Есть два элемента поэзии: *любовь* и *война*. Это те же противоположные полюсы. Любовь гласит: плодитесь и размножайтесь; а война беспощадно косит и жнет целые нивы человеческих голов. К этому природа прибавляет и другие разрушительные средства, как, напр[имер], чуму, холеру, тиф и оспу, которые доселе еще свирепствуют у нас вот уже более года. Надо же как-нибудь уравновесить народонаселение!

У нас только теперь начинается лето: до сих пор стояла холодная и мокрая погода, так что даже в июне иногда по вечерам огонь пылал в моем камине. По мнению

\* Наш главный моряк — *англ.*

профессора *Пальмери*, это находится в связи с бывшим извержением Везувия<sup>1276</sup>. Да, очевидно, что у нашей крошечной планеты желудок расстроен: Везувий изрыгает пламя, реки разливаются в Богемии, Франции и Италии, везде зимний холод среди лета, во Франции доселе еще не могут отыскать надлежащего образа правления, в Германии, в Италии и Ирландии католическое духовенство воюет против предержавших властей; решительно

«Желудок больше не варит  
И радикальные потребности!»<sup>1277</sup>  
(Горе от ума)

а Бисмарк, ей Богу! лихой доктор!

Пожалуйста, уведоьте меня, как долго ваша супруга намерена пробывать в Карлсбаде. Заочно обнимаю ваших милых детей и пребываю

ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### № 149. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

20 июля н[ового] ст[иля] 1872

Нет, любезный Чижов, тебе не следует извиняться передо мною. Мне даже становится стыдно отнимать у тебя драгоценное время, посвященное столь важным и полезным занятиям. Но что ж делать? Тут уж судьбою решено: одним она дала на долю — действовать, а другим — мечтать. *J'ai fait mon pacte définitif avec le diable, et le diable c'est la pensée*\*.

В эти каникулы, как ты их называешь, одна мысль владела и владеет мною: Западной Европе предстоит важный религиозный перелом. Мне кажется, я уже слышу предсмертный бред католицизма. Какая странная перемена! Эта консервативная, аристократическая, придворная церковь — задушевная приятельница всех деспотов, прикрывавшая своею мантией вековые злоупотребления власти — вдруг превратилась в отчаянно-революционную демократическую церковь: ее священники сделались демагогами, вождями невежественной и буйной черни; сам первосвященник с высоты святого престола призывает народы к восстанию против законов и властей. Папа до того забыл, что он некогда был государем, что без малейшей дипломатической сдержанности (*réserve*) он толкует просто как старая баба или — если это оскорбительно — как сельский священник, предающий всех и каждого вечным огням геенны<sup>1278</sup>. Вот христианство, доведенное до *absurdum*! Какое торжество для иудеев! И так они *пережили* своего лютого врага! Вот этот выскочка из их же семьи! вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, — а теперь оно издыхает от старческого изнеможения перед глазами этих же самых иудеев. А у *них* все осталось по-прежнему: они не устарели, они вечно юны и будущее им принадлежит. Они везде блистают умом — в науке, в искусстве, в торговле, половина европейской прессы в их руках. Закон их не изменился ни на одну йоту, они поклоняются тому же единому Богу Авраама,

\* Я подписал свой окончательный договор с дьяволом, и этот дьявол — мысль — *фр.*

Исаака и Иакова<sup>1279</sup>, и на них буквально исполнились слова их пророка: «Вы будете опекунами, отцами-благодетелями, кормильцами властителей мира. Цари вас будут на руках носить» и пр[очее]<sup>1280</sup>. Какое блистательное исполнение пророчества! Какому государю не пришлось сказать *Ротшильду*: «Отец ты мой благодетель! помоги, ради Бога! пришла крайняя нужда; охота смертная, да участь горькая, хочется воевать, да денег нет; сделай Божескую милость, одолжи несколько миллионов!» Даже сам папа, если не ошибаюсь, не раз прибегал к Ротшильду (смотри Второзаконие, гл. 15:8: «Ты будешь давать займы многим народам, а сам ни у кого не будешь занимать; ты будешь господствовать над многими народами, а они не будут господствовать над тобою»<sup>1281</sup>). И даже наш железный Николай должен был преклонить перед ним главу и принужден был выдать ему имение Герцена<sup>1282</sup>. Велик Бог Моисеев! Да воскреснет Бог и расточатся врази его и да бегут от лица его ненавидящие его!<sup>1283</sup>

Я, разумеется, на все это смотрю со стороны равнодушным зрителем: из чего же мне тут хлопотать? Принять деятельное участие в этой суматохе pro или contra\* было бы смешно: это было бы в чужом пиру похмелье. *Le jeu ne vaut pas la chandelle\*\**.

Покойный Филарет на экзамене Бажанова<sup>1284</sup> в нашем университете сказал именно мне, что все события мира сего проходят пред очами господа Бога как будто в зеркале: он равнодушно глядит на них и не мешает им проходить. *C'est le Dieu fainéant d'Épicure\*\*\**. Вот так и я гляжу на события.

«Я согласен с вами, что католическая религия иногда очень полезна правительствам, потому что она помогает им держать народ в узде». — Угадай, кто это сказал в моем присутствии отцу настоятелю де Гельду — в Клапаме, в Лондоне? — Никак не угадаешь! Раз, два, три — не угадал? *Jetez votre langue aux chiens!\*\*\*\** Это был ни больше, ни меньше как генерал (теперь граф или князь) *фон Берг*, тот самый, что после был наместником в Варшаве<sup>1285</sup>... Да как же это? На что ж это похоже? Как же *фон Берг*-то забрел в Лондон, да еще в Клапам, в монастырь редемптористов? А вот как!

В шести милях от Лондона есть прелестнейшая местность — *Ругамптон* (*Rochampton*). Там поселились иезуитские монашенки, сестры пресвятого сердца (*Sacré Coeur!* Какая галиматья!). Они купили виллу или, лучше сказать, дворец какого-то богача с огромным садом, с оранжереями, прудами, фонтанами. «Тут, — как говорит капитан Копейкин, — полуторасаженные зеркала, мраморы, лаки, сударь ты мой ..... словом, ума помраченье! ковры — Персия, сударь мой, такая ..... словом, относительно, так сказать, ногой попирает капиталы»<sup>1286</sup>. Эти сестры *du Sacré Coeur* обыкновенно держат пансион для девиц высшего разряда, *du haut ton*, для богатых и очень богатых людей. Даже католики в Лондоне говорили, что человеку среднего состояния никак невозможно поместить дочери в этом пансионе: привыкнувши к этому дворцу и садам, ей нельзя уж выйти замуж за обыкновенного смертного, ей уж надо в женихи какого-нибудь принца, который один мог бы доставить ей этикие палаты.

В то время я был в большой моде у лондонских католиков, а особенно у французских дам, которых тогда было значительное количество в Лондоне после революции 1848. Настоятеля отца де Гельда пригласили *honoris causa\*\*\*\*\** давать духовные

\* За и против — *лат.*

\*\* Игра не стоит свеч — *фр.*

\*\*\* Это — Бог-лентяй Эпикура — *фр.*

\*\*\*\* Бросьте ваш язык собакам — *фр.*

\*\*\*\*\* Ради почета — *лат.*

упражнения сестрам Св[ятого] сердца в Ругамптоне; но он скоро сам увидел, что это ему не по силам, тем более что его французское произношение немножко пахнуло *немечиною*; итак, он отрядил меня исправляющим его должность. Несмотря на близкое расстояние, он дал мне денег на железную дорогу. Я пришел на станцию, купил себе билет и гляжу — мой поезд стоит в противоположной стороне рельсов и уже готовится к отъезду. Я опрометью бросился через рельсы, ухватился за ручку кареты и силою старался отворить дверцы, и тут мне изнутри кричат: «Назад! Назад! вот экспресс!» Ты, вероятно, знаешь, с какою неимоверною быстротою несется английский экспресс. Я отчаянно бросился назад через рельсы. Смерть на огненных крылах пронеслась мимо меня, едва-едва не задела, жизнь моя висела на волоске... Я *до сих пор* никому об этом ни слова не сказал и хранил это как заветную тайну чудного избавления. Когда экспресс пронесся, у меня отлегло на душе; а между тем мой поезд ушел; я спокойно положил свой билет в карман и отправился пешком. Я прошел эти три мили между зелеными лугами и рощами с чувством неопищенного блаженства. Мне казалось, что я праздновал день моего рождения, что мне снова дарован был неоцененный дар жизни. Бодрым и свежим я пришел в Ругамптон, а там, по монастырскому обычаю, меня прежде всего хорошенько накормили и потом пригласили на конференцию. В большой зале с золотыми карнизами и зеркальными стенами я уселся в комфортабельных креслах, а передо мною полукружием сидели *les dames du sacré soeug*, между коими была и кузина Наполеона III<sup>1287</sup>. Я был, что называется, в духе, и конференция моя отлично удалась. Я говорил очень развязно по-французски и с разными прибаутками *roug plaire à ces dames\**. Они были мною *огончарованы*<sup>1288</sup> и пригласили меня на их публичный экзамен и раздачу премий. Настал великий день: со всех концов Лондона привалили посетители, *la fine fleur de la société catholique\*\**. Тут была выставка всех талантов: и проза, и стихи, и отрывки из разных опер на фортепьяно и на арфе, и вереницы прелестных девушек от 14 до 20 лет. Подле меня сидел молодой иезуит *Padre Ferrara*, убежавший из Сицилии (1849). Когда стали разыгрывать пьесы из “*Norma*”<sup>1289</sup>, я сказал моему соседу: «Как это мне знакомо! Когда я был в Риме, я целый месяц каждый вечер слушал оперу». Мой иезуит ужасно как этим соблазнился — *s'est scandalisé\*\*\** — и, чтобы прикрыть этот скандал и позор, сказал: «Вероятно, вы слышали эту музыку на улице; ведь у нас, вы знаете, народ распевает по улицам оперные арии». — «Нет! нет! извините, — сказал я. — Я слышал эту оперу каждый вечер в самом театре; но только не забудьте, что я тогда не был ни священником, ни даже католиком». — «Ну, так это другое дело!» — отвечал он, и совесть его успокоилась. По окончании экзамена следовало епископу сказать речь, но он сам уступил мне место и просил меня сказать несколько слов этим молодым девицам. Я сказал нечто в этом роде, что с блистательным воспитанием, какое они получили в этом институте, им суждено играть важную роль в обществе, быть царицами салонов в высшем и благороднейшем смысле, т[о] е[сть], как говорит Жорж Занд, властвовать умом над умами, сердцем над сердцами — *régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs* и пр[очее].

После закуски мы все разбрелись по саду, и тут я имел случай познакомиться с любезною соотечественницею m[ademoise]lle von Berg. Она была девушка

\* Чтобы понравиться этим дамам — *фр.*

\*\* Сливки католического общества — *фр.*

\*\*\* Возмущился — *фр.*

лет 18-ти — одно из тех милых существ, которых воспоминание на старости так же отрадно, как ключ свежей воды в пустыне аравийской. Где и что она теперь? — вероятно, давно замужем — почтенная дама лет за сорок. Блестит ли она умом, властвует ли над сердцами в гостиницах? Или, может быть, она сделалась прозаически доброю хозяйкою и *носит стеганный халат*. Скажи ради Бога, носишь ли ты стеганный халат? Всего более меня ужасал в России стеганный халат. Как теперь помню — директор временной комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста *генерал* Метлин встретил меня с важно-глупым видом — в *стеганом халате*.

В 1851 году рара и мата девицы фон Берг приехали в Лондон, кажется, для того, чтобы взять ее из пансиона домой. Она столько наговорила им обо мне, что убедила их приехать в Клапам познакомиться со мною. Они приехали в собственной карете, кучер и лакей были какие-то австрийские поляки. Генерал был очень любезен и с большою деликатностью не вошел ни в какие расспросы о том, как и почему я, русский, попал в этот лондонский монастырь. Но жена его, австрийская католичка — господи, Боже мой! простота хуже воровства! — тотчас взяла меня в сторону и показала мне какое-то письмо генерала, где выражались очень добрые христианские чувства благочестивого лютеранина. «Возьмите его на минуту в сад, так, погулять немножко, да потолкуйте с ним о религии». — Какое ребячество! Такого государственного человека как фон Берг повести в монастырский сад и в каких-нибудь полчаса стараться убедить в истине католической веры — этакой глупости я никогда бы не взял себе на душу. Но настоятель отец де Гельд нашел нужным хоть мимоходом замолвить слово в пользу своей веры, на что и получил в ответ вышеприведенные слова генерала, которые я принял за пощечину.

Еще слово о *Ругамптоне*. Кардинал Вейцман<sup>1290</sup> был чрезвычайно честолюбивый и тщеславный человек, какими обыкновенно бывают люди из низших или средних слоев общества, поднявшиеся на высшие ступени иерархии. Когда он был просто епископом в Лондоне, он был со всеми нами запанибрата, но лишь только он возвратился из Рима кардиналом — фу-фу! сказала бы баба-Яга — тут римским духом пахнет! так за версту несет кардиналом! Prince de l'Eglise!\* Ни на кого смотреть не хочет. В этом самом Ругамптоне я видел кардинала Вейцмана, как он в своей блестящей пурпурной рясе приготовлялся к какому-то священнодействию, а между тем одна из сестер Св[ятого] сердца, сидя за богатым фортепьяно под золотыми карнизами, оперным голосом распевала: О, sainte pauvreté! ma mère!\*\* Возможно ли вообразить себе что-нибудь смешнее этого разлада между словами и действительностью?

В «Русском архиве» напечатано письмо Шевырева из Флоренции (1861)<sup>1291</sup>. Знаешь ли, что всего более поразило меня в этом письме? — *Детский* взгляд на вещи, резко обличающий незрелость русского ума. Хорошо, например, заключение: «На что-нибудь да бережет же нас Бог, когда безбожники гонят долой с лица земли. А сколько их развелось, и как они гуляют из России по Западу под эгидою Герцена!» — Ох! уж как это старо! это напоминает блаженной памяти адмирала А. С. Шишкова и собратью<sup>1292</sup>. Вот еще образчик: «Покойный Костя Аксаков<sup>1293</sup> был бы у нас Гарибальди, если бы не сгубил его Гегель и поняла бы Россия!» Мне

\* Князь церкви — *фр.*

\*\* О, святая бедность! Моя мать! — *фр.*

кажется, это то, что англичане называют Moonshine\*, т[о] е[сть] нечто такое, что мерщится при бледном свете луны. Итак, прощай — скажу ли *до свидания?*

“Viens, camarade, ah! Viens dans ma retraite,  
Attendre en paix un meilleur avenir!”\*\*

Твой Печерин.

В Лейпциге напечатали письма А. Тургенева к брату Николаю (Декабристу). Довольно толстый том — печать отличная.

### № 150. С. Ф. Поярков — В. С. Печерину

Саратов  
3 августа 1872

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Пользуясь вакационным в судах временем, я в отсутствии жены моей провел с детьми полтора месяца в деревне в Тамбовской губернии, и письмо Ваше от 15 июня получено было в мое отсутствие. Душевно благодарю Вас за желание повидаться с моею женою и крайне сожалею, что не мог сообщить Вам своевременно о времени пребывания моей жены в Карлсбаде, Франценсбаде<sup>1294</sup> и Берлине. К 6 августа мы все возвратились в Саратов. Здоровье жены моей, по-видимому, поправилось, но заграничные доктора находят необходимым, чтобы она и в будущем году взяла еще курс вод и ванн. Но при громадности расходов на такую поездку едва ли в силах мы будем осуществить это предположение, и если окажется необходимость, то придется прибегнуть к местному суррогату, к водам и грязям, находящимся у нас в Липецке Тамбовской губернии, подходящих свойств с франценсбадскими<sup>1295</sup>.

Предположения Ваши о печати, по моему мнению, очень осуществимы, и я соборил их Федору Васильевичу<sup>1296</sup>. Едва ли он успеет побывать в этом году за границею. Он так погрузился в чисто практическую деятельность, в особенности теперь, с принятием участия в Московско-Курской железной дороге, что едва ли в состоянии дать себе месячный отдых. Он пользуется громадным реноме\*\*\* в Москве и пользуется большим авторитетом, так что правление дорог едва ли его отпустит, и если он возьмет отпуск, то с бою или для нужд самих же правлений.

Успех займа Франции<sup>1297</sup> смущает даже наши отдаленные умы. Мы в простоте души думали, что одним государством менее в Европе, но агония умирающего оказалась славнее цветущей молодости, и что бы не писали немцы, что это фейерверк и кунштшюк\*\*\*\*, но все же этот фейерверк не того достоинства, которым потешались в прошлом году они.

Душевно целую Вас и прошу Вашего благословения, искренно преданный Вам племянник

С. Поярков.

Покорнейше прошу принять, хоть поздно, поздравление мое и жены моей с днем ангела Вашего.

\* Вздор — *англ.*

\*\* Приди, старина, ах! Приди в мое убежище ожидать с миром лучшего будущего! — *фр.*

\*\*\* От *фр.* *renommée* — слава, известность.

\*\*\*\* Фейерверк (от *нем.* *Feuerwerk*) и фокус, трюк (от *нем.* *Kunststück*).

№ 151. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
23 сентября 1872

Позволь мне еще раз от души поблагодарить тебя за твое посещение. Это событие — это целая эпоха в моей жизни. Оно как-то меня ободряет и подает надежду, что мне как вечному жиду придется дожить еще до какой-нибудь новой эпохи. Да оно так и следует: я прожил более 20 лет в средних веках; для равновесия требуется, чтобы я, по крайней мере, столько же прожил в новейшей истории. Признаюсь тебе откровенно — все, что ты рассказал мне о России, не возбудило у меня особенного желанья в нее возвратиться. По-прежнему везде господствует слепой произвол, а будущее очень-очень ненадежно. По какому-то счастливому исключению тебе удалось устроить себе независимое положение; но ведь и тебе приходилось все это брать с бою. Вот в том-то и беда, что в России нет середины: надобно или вечно сражаться и добывать все с бою, или — покориться безусловно и унизиться до мерзости, а на это я никак согласиться не могу, *понеже дух необузданной свободы* и прочее], как говорил Баршев<sup>1298</sup>. Во вторник утро было прекрасное и надеюсь, что море было спокойно; но зато уж на следующий день поднялась ужасная буря и, слава Богу, что ты не был в то время на море. В четверг я получил Герцена<sup>1299</sup>, и он меня уведомил, что ты благополучно приехал в Лондон. Я к тебе отправил *два* письма, а на остальные, если еще будут, они взяли твой адрес и препроводят их в Венецию. Поклонись от меня Венеции — Venezia la Bella — и Риальто, и Святому Марку, и его голубям<sup>1300</sup>.

По отъезде твоём до меня дошли сведения о неких проделках духовных лиц, да такие, что я в своей комнате расхохотался гомерическим смехом. Эх! вы, господа православные и протестанты, вы и сотой и тысячной доли не знаете того, что у нас делается. Да для этого и не требуется практическое знание: с небольшим знанием физиологии все это можно построить à priori\*.

К нам приехала итальянская опера. Тут и Titiens и Trebelli Bettini и Musska<sup>1301</sup> и tutti quanti\*\*. В театр мне, разумеется, идти нельзя; но 14-го октября в концертной зале выставки будет большой концерт, в коем будут участвовать все члены оперы: туда я непременно пойду.

Я исполняю твою просьбу и буду писать, но писать наобум, так, что в голову взойдет, à bâton rompus\*\*\*, а ты после, как мудрый Лизистрат, соберешь эти гомерические рапсодии и соединишь их в одно целое, и после скажут: «какое удивительное единство»<sup>1302</sup>. Писать историю монаха — нелегкая вещь. Ведь история предполагает *события*, т[о] е[сть] борьбу разума со страстями, а в настоящем монастыре эти оба труженика, т[о] е[сть] разум и воля, давным-давно отпеты и похоронены. История монаха — то же, что история карманных часов. Вот ты их завел, и они идут: стрелка медленно передвигается от секунды до секунды, от минуты до минуты, от часа до часа в продолжение 24 часов. Вот так и жизнь монаха. «Ну, да тут есть разница: у часов нет мозга, нет мысли, а у монаха есть». — Правда, мысль у него есть, но ведь и она тоже *заведена* и медленно движется от утренней молитвы до псалмопения,

\* «Из предыдущего», на основании ранее известного — *лат.*

\*\* И прочие, и прочие — *ит.*

\*\*\* Беспорядочно — *фр.*



от псалмопения до обедни, от обедни до духовного чтения, от обеда до ужина, а потом ее кладут спать, а поутру часу в 4-м или 5-м опять ее заводят. Наконец мысль превращается в какой-то ржавый механизм, как, например, у траппистов, где не позволено ни говорить, ни читать, ни мыслить, где вся жизнь проходит в пении псалмов и земледельческих работах — там мысль улучшается и совершенно исчезает — человек падает ниже скота и живет уже какою-то прозябательною жизнью. Для кого же эта история может быть занимательною?

К счастью, по окончании моего искуса в 1841 меня перевели из Сен-Трона в Maison d'études\*, т[о] е[сть] Виттем. Там, заметя мои *способности*, меня тотчас сделали профессором истории, греческого и латинского языков. Я далеко превзошел их ожидания и желания: даже после жаловались, что я уж слишком многому учил этих молодых людей — вовсе не по их званию. Но это вносило разнообразие в мою жизнь: я имел позволение заниматься светскими предметами. Виттем прежде революции был францисканским монастырем<sup>1303</sup> — кельи были ужасно узкие, едва было довольно места для кровати и маленького столика; да сверх того зимою тут топилась чугунная печка, жар был несносный: мне не раз случалось вздремнуть над духовным чтением. Но зато я нашел приятное развлечение, когда для упражнения в латинском языке я читал письма Цицерона. Теперь еще помню одно письмо, где Цицерон рассказывает, как он неожиданно попал в большое общество, где он встретил одну известную того времени красотку, нечто вроде теперешней кокошки. Старик извиняется тем, что он вовсе не знал, что она там будет<sup>1304</sup>. Я нашел в библиотеке «Беседы» Иоанна Златоуста. Это книга моего детства. Покойная матушка Пелагея Петровна обыкновенно сидела в библиотеке деда моего Петра Ивановича Симоновского и заставляла меня читать себе эти беседы в славяно-русском переводе. С тех пор я всегда их любил, и они меня предохранили от подражания нелепым французским проповедям.

В 1843 по принятии священства в Льеже (о чем будет после) я возвратился в Виттем, и тут меня сделали профессором красноречия и немедленно заставили меня на деле показать мое уменье. Мне назначено было говорить проповедь на немецком языке *о выгодах истинной веры и о несчастьи лишиться оной*, причем мне намекнули, что не худо бы сказать слова два о преследовании католиков в России. Бездна народа собралась слушать нового проповедника. Я нимало не сробел — гляжу в половине проповеди, а уже одна женщина утирает себе глаза. «Дело выиграно!» — сказал я самому себе и — пошел, пошел и кончил среди слез и стенаний моих слушателей! Очень недурно для первой попытки. Ректор отец Гейлиг сказал мне: «Je vous fais mon compliment: vous serez un bon predicateur»\*\*. Некоторые из братьев-прислужников как-то выпрямились от восторга и смотрели на меня с особенным умилением, как будто бы они в первый раз услышали что-то дотоле неслыханное. На другой день весь Ахен<sup>1305</sup> говорил об этой проповеди. И неудивительно: это была новость для народа, привыкшего к правильным, математическим, размеренным, бесчувственным проповедям на французский лад! Тут есть приступ, предложение, разделение и непременно *три пункта* — наполни их, чем хочешь, какою хочешь дрянью, а без *трех пунктов* (trois points) обойтись нельзя, а там следует *убеждение и заключение*. Точь-в-точь как говорят ученые по церквам<sup>1306</sup>!

\* Семинария — фр.

\*\* Поздравляю Вас: Вы будете хорошим проповедником — фр.

На этот раз довольно — хорошенького понемножку. Напиши мне из Венеции, но, прежде всего, уведоь меня, как твое здоровье.

Твой В. Печерин.

### № 152. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Венеция  
28 сент[ября] 1872

Сейчас получил твое письмо, за которое очень и очень благодарю тебя, но пока не остановлюсь на объяснении, почему очень тебе благодарен, а начну с исполнения твоего веления. Здоровье мое все время плоховато; полагаю я оттого, что при слабости желудка мне все приходится менять кухню. Я привык к немногим блюдам, не больше трех, но непременно свежим, здоровым, без соусов, без примеси разной дряни. В гостиницах приходится есть что дадут.

Море я переехал превосходно, — другой пролив из Англии на твердую землю тоже<sup>1307</sup>. Но холод, холод и нездоровье и летучесть путешествия — из Лондона я прямо, не останавливаясь, проехал до Висбадена<sup>1308</sup> — тут остановился на день, как ты думаешь, зачем? Прослушать три главы записок одного Русского, находящегося теперь под опалюю правительства. Я теперь уже знаю четырех пишущих свои записки в разных родах: это будет хорошее приобретение для следующего поколения. Не говоря уже о рассказываемом, самый рассказ доставит много данных для суждения о времени. Без записок История передает только форму жизни, а сама она обыкновенно составляется потомками по своему разумению, — только записки передают живого человека со всеми затеями жизни, часто весьма незатейливой.

Венеция теперь решительно гроб когда-то бывшей венецианской республики и только. Я лет 30 тому назад застал еще многих хорошо помнивших последние годы республики; еще больше застал любви к павшей Венеции, потому что эта любовь поддерживалась ненавистью к австрийцам. Теперь настоящее правительство чуждо Венеции, оно соединено с нею отвлеченной любовью к Италии, сделавшейся не столько соединением народа (ничего не выигравшего от громкого имени), сколько приведением всех когда-то бывших республик под общий уровень покорных подданных толстого жирного короля<sup>1309</sup>, с виду либерального, в действительности, по образу и подобию всех королей, — сильного деспота. У моей хозяйки, очень и очень бедной, муж которой лет 25 тому назад умер у меня на руках, я вижу два флага. Для чего это?

— El Signor mio per la venuta del Re.

— Tanto omor sentite po il vostro re.

— E, gaspero! Che diavolo del omor? — la poizio sa come par omore\*.

Вот тебе единство. Сливать и сковывать в одну массу то, что никогда не было слито ни историею, ни бытовою жизнью, ни законами, ни даже жизнью умственной, значит прямо идти против природы вещей. В химии мы понимаем невозможность слить воедино тела совершенно разнородные; в истории думаем, что человек все вытерпит и что он лично ничего не значит, все дело в государствах. К черту эти государства, когда они дают человека, не дают свободно вздохнуть и только как пивавки

\* Да, сударь, из-за приезда короля.

Так вы любите вашего короля?

Какая к черту любовь! полиция умеет внушить любовь — *ит.*

тянут кровь бедняка, чтобы откармливать тех животных, которых нет не только в вашем небольшом зоологическом саду, а которых не найдешь и в Лондоне. Понятно еще давление по ходу жизни, но жить десятки веков самую блестящую жизнью и выработать себе всевозможные тяготы во имя громкого имени? Бог с ним, с именем.

Вот настоящая Италия. Нет ненависти, зато уже нет ничего. Венеция — трактир путешественников. Я терпеть не могу трактиров, они мне портят желудок и надоедают казенною улыбкою и казенным продажным приветом. Я утешаюсь покупкою книг о старой Венеции. Вдобавок к тому, что у меня есть, а у меня есть большая часть напечатанного о Венеции, купил я еще книг полтора.

Все это не главное; главное для меня то, что ты побаловал меня твоим письмом.

Жизнь формировала нас совершенно иными путями; монашество и священство оставило на тебе резкий отпечаток. Твоя уклончивость, как будто постоянное снисхождение, — говорит же Герцен, что и на Ламене осталась печать того, что он был аббатом<sup>1310</sup>, — все это как-то очень сковывало меня в твоём присутствии. Я никак не приехал в Ирландию, я просто приехал к тебе, видеть тебя, обнять тебя, пробыть с тобою несколько дней, а мне все казалось, что ты со мною несвободен. Я формировался по обстоятельствам, исключительно развитием воли; очень может быть, что выросшие во мне от этого уродливости съживали тебя: у меня тон резкий, как я ни старался смягчить его для тебя, часто нетерпеливость. О многом я не решился говорить с тобою. Например, я не решился спросить тебя: почему ты считаешь, как бы невозможным расстаться с католическим священничеством, когда ты в нем видишь источник зла в настоящее время. Вообще как-то ты был так уклончив, что я боялся оскорбить тебя малейшею нескромностью вопроса. Согласись, что в приезде моем к тебе не было у меня ничего, кроме 42-летней дружбы, — это такая редкость, которую я не мог не беречь как великую драгоценность. Ботанический сад, зоологический сад, это все для меня была обстановка, а сущность всего ты один. Потому, заметивши, что ты был как-то не вполне свободен, я очень струсил — не я ли тому виною. Письмо твое, поэтому, мне было очень приятно получить.

В письмах ко мне в Россию (собственно в письмах, а не в передаче твоих походов) не спрашивай меня только о царе и царевичах — бранить их не позволено, а хвалить особенно не за что<sup>1311</sup>.

Совершенно согласен с тобою, что тебе теперь было бы трудно переехать в Россию, но вовсе не потому, что господствует слепой произвол и что будущее ненадежно — с этим я еще не совсем соглашусь. Не служить же тебе теперь в комиссии для решения дел прежнего времени. Но вот я задавал себе задачу — что бы ты делал в России, направляя себя так всею жизнью, что тебе недоступна деятельность техническая? Ты был бы незаменим на кафедре древней литературы, но 1-е, возьмешь ли ты на себя это занятие? 2-е, возьмут ли тебя на это дело? Второй вопрос при решении первого решить было бы уже легко. Потом жестковатость климата. Наконец необходимо, чтоб ты просто спросил самого себя: насколько ты любишь действительную Россию, а не отвлеченное понятие о России. [Кстати заметь, у Герцена Базиль и Арманс — это действительные люди: Боткин<sup>1312</sup> Василий Петр[ович] и Арманс, а Н.Х.К. — Николай Христианович Кетчер<sup>1313</sup>, тоже действительно и теперь еще живой человек и совершенно точно схваченный, фотографированный Герценом<sup>1314</sup>]. Потом насколько ты можешь ужиться с католичеством при дальнейших его крайностях нелепостей? Тут в том и другом ответе прямота, безусловная честность в отношении к самому себе решат лучше всего. Остальное можно уладить.

Ты совершенно справедливо заметил, что все мы крепостные в России. Что за дело государству, да не только ему, а и обществу, какой кто религии и где ему хочется жить — у нас не то. Русский не должен переменять религии или, по крайней мере, русскому трудно жить в России, переменивши религию. Не позволяет государство? Это не беда: мало ли у него причуд, затей и прихотей, сковывающих людей по рукам и по ногам; им подчиняешься как силе, но никто не защищает от его произвола. Но вот что: не позволяет общество и не позволяет никак не силою, а просто общественным мнением, общественным и личным взглядом каждого. Я тебе говорю о России, а не о Петербурге. Весь Петербург есть государство по преимуществу; он государственнее самого государства и казеннее казны. Нет, я тебе говорю о России. И это оттого, что мы по юности народных сил так сливаемся с Россиею, с ее религиею, так любовь к ней считаем нераздельной частью личности каждого, что не можем представить себе русского иначе, как скованного с Россиею всем существом своим. Я совершенно согласен, что это насилие; но стал бы просто увертываться, если бы не признал его присущим каждому из нас. Согласись, что ни во мне, ни в Аксакове ты не признаешь ни покорных слугителей государства, ни еще того менее лицемеров, поддельывающихся к большинству, а таково не понятие, но сознание всего нашего существа. Как хочешь, мы просто еще молоды не лично, а как народ; не понимаем еще жизни без матери, не отняты от груди — иначе ты этого не объяснишь. Ты видишь, что я не хочу себя оправдывать; очень может быть, что ошибаюсь. Вот почему и предлагаю тебе вопросы для решения искреннего. Твои ответы откроют путь действия моему практическому смыслу.

Но как ты там хочешь, а только, пожалуйста, пиши и пиши без лени. Не согласен я с тобою, что нельзя писать историю монаха как историю карманных часов. История предполагает события — это правда; но это история народов, история государств, потому что они только событиями и высказываются. Записки отдельного человека тем-то и дороги, что они входят внутрь его, а внутри его нет ни минуты, разве кроме сна, без событий. Мысль, чувство, воля то все вместе, то попарно, то отдельно работают без усталости, и есть работа, есть и событие. Если бы с твоим талантом, да ты не поленился бы и не уклонился бы ни к каким соображениям передать историю внутренней монашеской жизни, это было бы великое приобретение для литературы. “Confessions”<sup>\*</sup> твоего патрона Руссо немного заключают событий; сечение розгами и любово-страстное его ощущение — кажется, что за событие? — а оно близко каждому, потому что каждый, читая, чувствует, что ему рассказывают его собственную жизнь, отличную только стечением обстоятельств. Ты узнал монастырь и внутреннюю борьбу не из чужого рассказа, а претвердил их собственными ощущениями, вероятно, иногда собственными страданиями, собственными борениями. Шутка! К этому ты не желаешь представить монашество примером человеческого быта, да еще к этому ты по природе незлобив, следовательно, твой взгляд не будет исключительно желчен. Не знаю, не будет ли моя проповедь гласом вопиющего в пустыне.

Я тебе говорил об одном Савиче, который теперь в Лондоне; ты найдешь о нем несколько строк у Герцена на стр[анице] 144 и следующих<sup>1315</sup>. Он меня так приветливо принял, что я ищу чем-нибудь отблагодарить его. Он, узнав, что я к тебе буду посылать книги, просил пересылать их к нему, а он, прочтя наскоро, будет пересылать тебе. Этот путь удобнее книгопродавческого, а он книг долго не задержит. Это

---

\* Исповедь — фр.

предобрейший господин, честный в высшей степени; Герцен его представил смешным, но верно, очень верно, а он таки смешон действительно. Свободолюбив и трусоват и теперь еще все подозревает шпионство. Ну, да это ничего, был бы честный человек и человечный.

Вот тебе длинейшее письмо. Пожалуйста, еще побывай на почте, нет ли писем по адресу не Tshijoff, а Tschijoff; если есть, то перешли их в Москву на мое имя по всегдашнему моему адресу — в Правление Московско-Ярославской дороги. Обнимаю тебя.

Твой Чижов.

### № 153. В С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
20 октября 1872

Благодарю, благодарю за твое доброе и длинное письмо из Венеции. Мне кажется, любезный Чижов, что когда мы толкуем с тобою о России, мы рассчитываем без хозяина. Всякий знает, что в Россию нельзя приехать без позволения хозяина. Очень хорошо — теперь посуди ты сам: человек исключен из русского подданства за принятие католической веры — как же ему теперь воротиться в Россию? на каких условиях? Неужели же нести повинную голову, просить прощения и пр[очее] и пр[очее]? Это совершенно немыслимо. Я понимаю поступок Джунковского, потому что я уверен, что он действовал по внутреннему убеждению, и Герцен не имел никакого права назвать его *двойным ренегатом* (забавно это выражение в устах человека ни во что не веровавшего!)<sup>1316</sup>; — но как же мне-то вдруг прикинуться ревнителем православия? Это было бы уже чересчур забавно! Вот в том-то и беда, что Николай был прав: православие, самодержавие и народность доселе составляют единую нераздельную трицу русского быта. В России непременно потребуют религиозного заявления, а я на религиозное заявление какого бы то ни было рода ни за какие деньги не соглашусь.

Вот это *первое*, а *второе* то, что у меня в России нет ни кола, ни двора, след[овательно], мне непременно надобно будет попасть в казенную, официальную колею. Джунковскому тотчас предложили войти в государственную службу<sup>1317</sup>, а я уж давным-давно отвык от всякой официальности, подчиненности и опеки, итак, эта *вторая* статья тоже принадлежит к числу невозможных вещей. В-третьих: когда жизнь клонится уже к концу, то мне кажется, поздно уж начинать новое поприще, броситься, зажмуривши глаза, и, может быть, попасть в западню. Это была бы уж решительно последняя глупость моей жизни.

Впрочем, ты не слишком полагайся на будущее. Припомни пословицу: до Бога высоко, а до царя далеко. Припомни-ка еще царствование Александра I — оно началось ужасно как либерально, а кончилось оно чем? Аракчеевым!

Вот если бы я был, как ты, миллионером, ничего не было бы приятнее как прогуляться по России, все осмотреть и *ничему не покориться*. В России, как в папском Риме, очень хорошо быть туристом, но не подданным.

В старые годы я мечтал было об одном — как бы мне стусеваться, исчезнуть где-нибудь в предместьях Лондона или между альпийскими горами, так чтоб и след мой простыл и помину бы не было о моем католичестве и священстве, т[о] е[сть],

так сказать, *относительно говоря*, жить философом вне человеческого общества; но и это тоже несбыточная мечта. Мое имя слишком известно в католическом мире, особенно в англосаксонском племени, да, сверх того, хоть иди на край света, а от духовного шпионства нигде не уйдешь. Если не католический священник, то какой-нибудь протестантский пастор или русский поп придет наведаться о здоровье твоей души. Вот, например, бедный член французского конвента<sup>1318</sup>, умерший в Клапаме в 1848, испытал это на самом себе. Он, вероятно, думал, что в протестантском Лондоне да еще в таком захолустье как Клапам никакие попы его не найдут. А вышло иначе. Действительно, до моего приезда решительно никакого священника в Клапаме не было. Не знаю, какая нелегкая меня понесла, вероятно, какой-нибудь ревностный католик сказал: «Вот француз католик умирает — ему надо священника». Ну, я и пошел. В довольно бедном домике в небольшой комнатке лежал неподвижно на постели дюжий человек высокого роста; он был глух и нем и ужасно распух, левый глаз заплыл и совершенно исчез; остался только правый глаз — большой, серый, сердитый глаз, и в этом глазе сосредоточилась вся его жизнь. Лишь только он увидел меня — в этом глазе вспыхнула невыразимая злоба, ненависть, бешенство, он, казалось, готов был пожрать меня этим взглядом. Он не мог сделать ни малейшего движения, не мог даже пошевелить губами, но в этом взгляде видно было, как он порывался броситься на меня. Я понял, что сделал глупость, и поспешил отретироваться. Это невольно ведет меня к любимому предмету — к Лондону, к Англии. Переезд в Англию составляет важнейшую и решительную эпоху моей жизни: весь склад ума и сердца с тех пор принял окончательную форму и, так сказать, окристаллизовался. Если бы я остался в Бельгии, то случилось бы одно из двух: или я бы невозвратно погряз в идиотизме континентальных монахов, или вырвался бы из него самым отчаянным образом. Но высшее образование Англии влияло даже на католические монастыри и придавало им хоть наружный лоск цивилизации, а господствовавшие в то время идеи Монталамбера<sup>1319</sup> разливали какой-то волшебный свет на католическую церковь, представляя ее защитницею прав и свободы народов (чего я до сих пор Монталамберу простить не могу). Но погоди немножко, надо прежде рассказать тебе здешние новости.

В той самой церкви, где ты слушал обедню, итальянские певцы давали духовный концерт в воскресенье в 3 часа пополудни по случаю открытия нового органа. На этот раз церковь была превращена в *Salle de spectacle*\*: разряженные дамы сидели на самом алтаре; церковь была битком набита. Не странно ли это? Нам запрещается ходить в театр, а ведь тут тоже самое — та же публика, те же дамы, те же лорнеты и те же женские оперные голоса, вливающие соблазн в душу. *Ищи ты толку у зверей*<sup>1320</sup>! Я не люблю концертов по тем же причинам, по каким не люблю читать *избранные места* великих поэтов: мне подавай поэму целиком. Как я завидую тем, кто может каждый вечер слушать хорошую оперу (*sentir de opera*\*\*). Хотелось бы хоть раз перед смертью увидеть — что ты думаешь? — “*Barbiere di Siviglia*” или «Дон Giovanni»\*\*\*.

\* Зрительный зал — *фр.*

\*\* Чувствовать оперу — *фр.*

\*\*\* «Севильский цирюльник» — *ит.*, опера итальянского композитора Джоакимо Россини, премьера состоялась в Риме в 1816 г.

«Дон Жуан» — *ит.*, опера австрийского композитора Вольфганга Моцарта, премьера состоялась в Праге в 1787 г.

О Венеции я замечу, что в истории как и в физической природе один и тот же закон: мертвые не воскресают. Никакой гальванический процесс — ни королевский, ни республиканский — не может возратить Венеции ее прежней жизни. Однако ж что же ей мешает сделаться значительным торговым городом? Ведь море под боком. Вот, напр[имер], Милан удивительно как благоденствует: его теперь не узнаешь.

Переезд в Англию (1844–1845).

To the west! to the west! to the land of the free!\*

Американская песня

«Как вам это покажется, если мы вас перебросим через канал в Англию? Согласны вы?» Так говорил мне, улыбаясь, почтенный отец де Гельд, тогдашний провинциал Бельгии (Père Provincial). Это было за несколько дней до твоего последнего посещения в Виттеме в сентябре 1844<sup>1321</sup>.

Я душевно был этому рад. Новая, более свободная жизнь миссионера, новый край, новые приключения и волшебное обаяние Англии — все меня туда влекло. На другой день после твоего отъезда меня отправили в Брюж<sup>1322</sup> — поближе к морю. Тут был только маленький домик с одним отцом-редемптористом и братом-прислужником. Меня заставили несколько раз проповедовать в Брюже для того, чтобы привлечь внимание живущих там английских католиков. Это значило: «Вишь, какого мы к вам посылаем!»

Тотчас после рождественских праздников меня с молодым товарищем — миссионером отцом Лудвигом — послали в *Остенде*<sup>1323</sup>. После 3 или 4-летнего заключения в монастыре я совершенно отвык от путешествия, и меня как ребенка посадили на пароход, всунув мне в руки 5 фунтов на дорогу до Фальмута<sup>1324</sup>. После 20-часового благополучного плавания мы вошли в Темзу и остановились у пристани — 1-го января 1845 г[ода] в 3 часа пополудни. Незабвенный день и час! Его надо золотыми буквами начертать на скрижалях моей жизни. После небольших (в тогдашних размерах) континентальных городов Берлина, Брюсселя, Льежа — Лондон изумил меня своею огромностью; тут было все колоссально-величаво; это была неизмеримая пустыня, беспредельный океан. Я совершенно растерялся и не знал, как и шагу ступить. У самого парохода встретил нас почтенный г[осподин] Лайма (Lima), будущий учитель маленькой школы, заведенной нами в Фальмуте: он был добрейший человек, но чрезвычайно серьезный и важный и имевший самое высокое понятие о своем звании. Он взял нас с нашими пожитками и повел в небольшую гостиницу на Fleet Street\*\*. Это было очень скромное убежище, но вместе с тем она была удивительно как опрятна и уютна. После шуму и гаму бельгийских и французских трактиров отрадно было найти тут совершенный порядок и тишину, так что я мог спокойно сидеть в общей зале и заниматься чтением, как будто в своей келье. Мы пробыли два или три дня в Лондоне по делам моего будущего спутника г[осподина] Лаймы, но я все время сидел в гостинице и не осмеливался пуститься в лондонский океан. Весь мой старинный дух приключений, казалось, совершенно покинул меня. Только один раз я отправился в сопровождении г[осподина] Лайма

\* На запад! На запад! в страну свободных! — *англ.*

\*\* Флит-стрит — улица в лондонском Сити, сразу к востоку от Стренда.

отыскивать какого-то польского поэта (имени не помню), к которому я имел поручение от *отцов воскресения* (Pères de la résurrection) в Париже. Несколько польских офицеров, покрытых рубцами доблестных ран, добытых на поле сражения за отчизну, вступили в духовное звание и в самый день светлого христового воскресения основали нечто вроде монашеского ордена; но под этим титулом воскресения они скрывали другой таинственный смысл, т[о] е[сть] воскресения Польши. В благодарность за какие-то красноречивые и патриотические слова этого поэта они послали ему через меня письмо с пером в бисерном чехле. Перо я как-то затерял и доставил ему только письмо. Ничего не могу сказать об этой личности: я пробыл с ним всего несколько минут, потому что г[осподин] Лайма ожидал меня в передней. В моей маленькой гостинице все мне казалось как-то знакомым: этот камин с пылающими угольями и четвероугольным зеркалом и даже эта рыжеватая кошка, гревшаяся у огня, — все это я прежде видел на английских эстампах. Поутру часу в одиннадцатом вдруг настала такая египетская тьма<sup>1325</sup>, что принуждены были засветить газ: вот и пресловутый лондонский туман! Я привез с собою большой сундук с разными церковными утварями, за что меня на таможене порядочно обобрали до такой степени, что я принужден был некоторые вещи, напр[имер], картинки оставить там же на таможене. После этого кошелек мой очень истощал: этого не предвидел почтенный отец Провинциал, думавший, что 5 фунтов мне достанет до Фальмута, т[о] е[сть] до самого крайнего юго-западного конца Англии. А тут еще на беду товарищ мой отец Лудвиг тоже оказался без гроша и вымолил у меня несколько денег для того, чтобы доехать до места своего назначения, которое было гораздо ближе, в Worcester-shire\*. В этаких стесненных обстоятельствах с еле-еле дышащим кошельком мы, т[о] е[сть] я с учителем *Лайма*, выехали из Лондона. Нам прежде следовало ехать в Bath (Баф)<sup>1326</sup>, представиться там нашему епископу доктору Бриггсу (Briggs). Мы покатались по железной дороге. Какая прелесть Англия! Несмотря на то, что это было в январе, светлая речка Трент<sup>1327</sup> тихо струилась между зелеными бархатными лугами, и на них паслись *красные* коровы. Опять старое воспоминание! Опять английский пейзаж! О *Бафе* ничего сказать не могу, потому что вовсе его не видел: мы прямо со станции отправились за город в Prior Park. В старые годы тут жил знаменитый поэт Поп (Pope)<sup>1328</sup>, а теперь оно перешло в руки католиков, и в нем помещался епископ с несколькими священниками и семинариею. Это был просто дворец с колоннадами и великолепным парком. Мы приехали к самому обеду, т[о] е[сть] около 4 часа. Епископ садился за стол. В то время духовных лиц, приезжавших с материка, принимали с отверстыми объятиями, и английское духовенство не было, как теперь, проникнуто ультрамонтанскими идеями, а сохраняло большую долю свободного английского духа. Епископ принял меня очень радушно. Я подал ему (вовсе ненужное) рекомендательное письмо от проживавшего в Париже русского француза Ермолова<sup>1329</sup>, знавшего его в Риме. Учитель Лайма ожидал в передней, но епископ и его пригласил с нами за стол, и мы славно пообедали, особенно я помню два отличных английских *пудинга*. Епископ должен был немедленно ехать в Бристоль<sup>1330</sup>, где ему следовало говорить проповедь на следующее утро в день богоявления (Epiphany). Он предложил мне на выбор или тотчас же ехать вместе с ним, или остаться здесь, поотдохнуть и осмотреть заведение. Я предпочел последнее. Мне отвели тихую роскошную спальню с кабинетом, какой я от роду не видывал.

\* Вустершир (редко Ворчестершир) — *англ.*; графство в центральной Англии.



На следующее утро звон колокола призвал нас к торжественной обедне. По английскому обычаю в рождественские праздники церкви и дома украшены зеленью, т[о] е[сть] гирляндами плюща или того, что называется holly. Я нашел тут более простоты и вкуса, чем в бельгийских церквях, где церковные украшения часто сбиваются на кукольную комедию или на вызолоченные пряники. Проповедь была *по-нашему*, т[о] е[сть] просто читана с тетради без декламации и жестов. Англичане терпеть не могут итальянского размахивания руками и поддельного французского энтузиазма: они, может быть, и правы. Кто насколько-нибудь знаком с писаниями святых отцов, напр[имер], Иоанна Златоуста и блаженного Августина, тот должен знать, что их краткие и простые поучения не допускали никакой декламации, а их длинная и широкая одежда не позволяла им разгуливаться по кафедре. В тот же день мы отправились вслед за епископом в Бристоль, где и приютились в скромной гостинице. Вечеру мы имели удовольствие слушать проповедь его преосвященства, в коей он показал свою ученость, рассуждая о наших *русских расколах*. После проповеди епископ пригласил меня с г[осподином] Лайма на обед к себе в гостиницу. Его гостиница находилась в *Клифтоне* (Clifton), т[о] е[сть] в самой модной и великолепной части Бристоля, где дома, выстроенные на террасах, все глядят дворцами. Это был особенный обед для духовенства и других католических лиц. За столом председадал хозяйка, пожилая тучная дама в огненно-красном платье с тюрбаном (turban) на голове. Было еще несколько дам. Разговор был очень приятный и разнообразный, без малейшего клерикального педантизма. После обеда довольно поздно мы встали и, раскланявшись с честной компаниею и испросив благословение епископа на предстоящий нам путь, отправились в свою гостиницу, которую с трудом могли отыскать среди запутанных улиц старого Бристоля. Пришедши в гостиницу, нам вдруг представился вопрос: как нам теперь быть? До самого Фальмута в то время еще не было железной дороги, а часть пути надобно было делать в *coache*\* или дилижансе. Но ни на железную дорогу, ни на дилижанс у нас денег не доставало — что ж тут делать? Чего бы, кажется, проще — обратиться к епископу и попросить у него денег. Ведь я был его подчиненным и ехал по его же делу — ничего не могло быть естественнее. Ан и нет! У меня была самая нелепейшая *деликатность*. Я вовсе не годился быть священником, а всего менее монахом, потому что у меня не было дара — *просить денег*. Г[осподин] Лайма, знавший всю подноготную в этой части Англии, припомнил, что из Бристоля дешевое судно ходит прямо к берегам Корнавалля (Cornwall). Вот оно — и коротко и дешево! *Magnifique et pas cher*\*\*! На следующее утро мы записались в число пассажиров. Это было очень плохое и ненадежное судно, на коем обыкновенно перевозили скот и — бедных людей. В ожидании отплытия мы присели в кабачке выпить стакан пива, и при этом случае я видел английскую кухню, доведенную до самого простого выражения: какой-то путешественник из простого народа схватил на вилку большой кусок сырого мяса и, подержав его несколько минут над огнем в камине, принялся кушать без дальнейших церемоний. Это именно, как ты называешь, *простое блюдо* без малейшей примеси французских или итальянских соусов. Однако ж пора ехать. Для предохранения от морской болезни я запаса

\* Почтовая карета — *англ.*

\*\* Великолепно и недорого! — *фр.*

куском сырого копченого мяса, и оно мне очень помогло — хотя, впрочем, я никогда в моей жизни морской болезни не испытывал. Помещение было не очень *деликатное*: нас закупили в какой-то деревянной коробочке, где едва было можно двигаться. Плыли мы целую ночь и большую часть следующего дня и наконец под вечер благополучно вышли на берег и остановились в так называемом Temperance hotel, т[о] е[сть] в такой гостинице, где не продают никаких крепких напитков, а вместо их дают вам вдоволь чаю и всяких возможных сластей. Все эти маленькие гостиницы удивительно как опрятны и уютны: все дышит порядком, тишиною и удобствами жизни, одним словом, *комфорт*ом. Тут мы отдохнули с большим наслаждением, хорошенько пообедали, напились чаю со сладкими пирожками и потом заснули самым блаженнейшим сном, потому что завтра последний день нашего странствия: мы были каких-нибудь 10 миль от Фальмута. Встаем поутру: погода прекрасная — совершенно весенний день — солнце ярко блистало. «Что ж тут нам дожидаться дилижанса — мы отправим с ним наши пожитки, а сами пойдем пешком. Ведь каких-нибудь 8 или 10 миль не беда. Вишь, какой день!» — Сказано и сделано, и мы отправились в путь. Ландшафт беспрестанно изменялся — мы все поднимались в гору — то холмы, покрытые темным лесом, то глубокие долины с журчащими ручьями, а иногда из-за леса мелькало вечно смеющееся море. Как легкие и сердце расширяются на этом свежем горном воздухе — вот настоящая жизнь! вот свобода! лети, куда хочешь как вольная птица! Дорога делает крутой изгиб у подошвы холма, и вдруг открывается великолепное зрелище — весь длинный фальмутский залив, замкнутый на конце двумя горами, и на одной из них — старый замок Pendennis. А вот и начало Фальмута: терраса с красивыми домиками, нависшая над самым морем — еще несколько шагов, и вот наша каплица\* с крестом и при ней наш скромный домик, обвитый розами и *chèvrefeuille* \*\*, на дворе колодец с колесом, и все это заросло, заглохло вечнозеленым плющом. Стучим у двери: нас приветствует брат-прислужник, *frère Félicien*, француз, а тут является будущий мой начальник большой мой приятель патер de Buggenoms, бельгиец. Теперь мы дома. Подавайте скорее что-нибудь поесть. Г[осподин] Лайма бежит домой свидеться с своим семейством: женою, дочерью и маленьким сыном. Итак, мы в Фальмуте — надолго, надолго — может быть, навеки.

В. Печерин.

1. Не худо бы попытаться напечатать один или два отрывка в более читаемом журнале, для того чтобы пощупать пульс публики. Как тебе кажется?

2. Для здешнего университета выписали «Русский словарь» Даля<sup>1331</sup>. Он теперь в руках переплетчика, а скоро будет и в наших.

3. Так как ты знаком с Савичем, то, может, объяснишь мне следующее: Герцен, с[траница] 144: «Он с какой-то *мездрой* вместо волос на голове». Что это такое? Я отроду не слыхал такого слова<sup>1332</sup>.

4. В газетах пишут, что железная дорога от Тифлиса до Поты окончена, и что она — торжество инженерного искусства. Со временем этот край будет второю Швейцариею.

Да, пожалуйста, расскажи мне что-нибудь о твоих странствиях после Венеции.

\* Каплица — от *фр.* chapelle — католическая часовня.

\*\* Жимолость — *фр.*

№ 154. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

19 окт[ября] 1872

Какой ты милый, Печерин! Сегодня я только что собирался писать к тебе и до-садовал на то, что едва ли найду свободную минуту, как получаю твое письмо. Вероятно, у вас холодно, это я заключаю из странного настроения твоего письма и отрывка из твоей автобиографии. Ну, с чего ты взял, что я тащу тебя в Россию? Совершенно наоборот: спроси ты моего мнения, я непременно отсоветовал бы тебе в 65 лет начать себя переламывать, изменять многолетние привычки, дыша свободой и независимостью подчинять себя нравственному надзору, не говорю полиции — ей до тебя не было бы никакого дела, нет, надзору старых товарищей и новых знакомых; с любовью к отчужденности и полному уединению стать на вид пред всеми и каждым — и все это для чего? По воспоминанию о родине, которую, пожалуй, ты любишь, но никак не более или немного более чем приснопамятные вареники, незабвенный борщ с уткою и тому подобных товарищей твоего детского быта. Так, пожалуй, может придти тебе в голову, что я приезжал к тебе заманить тебя в Москву или куда-нибудь в Россию. Никак, никак и ничуть не бывало. Я люблю тебя просто потому, что люблю. Не получаю я, например, от тебя долго писем, мне просто грустно, меня заботит твое молчание. Почему? Зачем? Я не задаю себе этих вопросов как потому, что не надеюсь решить их, так и потому, что если бы и решил, то это не повело бы ни к чему. В будущий приезд в Англию я охотнее побыл бы с тобою где-нибудь в маленьком ирландском городке, на свободе, не стесняемый твоими урочными отлучками и какою-то необходимостью видеть ботанический сад, университет и все достопримечательности. Признаюсь тебе, прожив большую и весьма большую долю жизни, я как-то всего достопримечательнее нахожу человека не знаменитого, не известного (о знаменитостях и известностях, помни, лучше знать из их биографий), а просто простого человека. С величайшею охотою проехал бы я с тобою по Ирландии, если бы ты захотел по Шотландии — тихо, скромно, чтоб пожить с тобою, с природою в твоём сопутствии и встречаться с простыми людьми в простой их обстановке. Может быть, это чересчур идиллически, не ко времени, но я дорожу моими внутренними наслаждениями далеко более чем исполнением требований времени.

Что касается до попытки напечатать какой-нибудь отрывок в журнале, подожди и, пожалуйста, положишься на мою практичность. Когда-нибудь я тебе это разъясню поподробнее, когда улучу минутку посвободнее. Сегодняшний рассказ — «Переезд в Англию» как-то не похож на тебя.

Пока я был за границую, здесь умер Даль<sup>1333</sup>, составитель лексикона, маленькая его некрология помещена в последней книжке «Русского Архива»<sup>1334</sup>. Его лексикон — труд огромный, хотя в нем и видно немца, изучившего русский язык, но изучившего основательно. Кроме сказок<sup>1335</sup>, он оставил еще собрание пословиц<sup>1336</sup>, издание весьма замечательное, но тоже иногда странное, потому что между поговорками вошли многие места из Библии, например, темна вода во облаце<sup>1337</sup>. Что некоторые пословицы пропущены, это неудивительно, я не нашел, например, превосходной: не найдешь в себе, не ищи на селе. Или: считали за апостола, а вышел хуже кобеля пестрого. Или: бел снег, да собаки ссат.

Герцена выражение стр[аница] 144 «с какой-то мездрой», собственно говоря, неправильно, но схвачено хорошо. Мездра — это кожа животного из-под шерсти.

Например, со шкуры коровьей счищают шерсть на войлок, и останется мездра. Так как счищают неаккуратно, то всегда остаются отдельные, весьма редкие волосы шерсти — также и у Савича на передней стороне головы. Для редкости есть поговорка: колос от колоса, не слышать голоса.

Вот тебе ответы на приписку. Что же тебе написать о моей поездке после Венеции? Вообще моя поездка как-то была грустна — мне чего-то недоставало, и это что-то было, во-первых, здоровье, во-вторых, молодость, в-третьих, живость и энергия. Я поехал после болезни усталый, довольно измученный и вместе с тем привыкший к моим истязаниям, к моему вседневному труду, как собака привыкает к ошейнику. Без обязательного труда мне было как-то не по себе. Слабость желудка тоже много у меня отнимала. В Венеции я почувствовал себя лучше. Надо тебе сказать, что в первое мое пребывание я не скажу сильно, а страстно полюбил Венецию и несколько лет усидчиво занимался ее историей. В ней я еще более к ней пристрастился. Тогда я знал многих стариков, еще хорошо помнивших республику, слушал их рассказы: ненависть к австрийцам была живым чувством республики к подлым ее захватителям. Вполне разделявши эту их ненависть, я втянулся в нее как венецианец, и Венеция стала мне больше, чем родная — я полюбил ее как *la mia bella amogoso*\*. Теперь в ней что-то похожее на свободу: нет притеснителей, но зато нет и ничего живого венецианского. Ненавидеть некого, да и любить некого. Итальянцы, переехавшие в Венецию, почему-то думают, что они тут у себя дома, а простые венецианцы говорят об них: *questi Italiani, quando seno venuti a Venezia*\*\* , то есть совершенно как об иностранцах. Потом есть мелочи, которые невольно оскорбляют страстного поклонника Венеции. На трех древках пред Св[ятым] Марком когда-то развевались три знамени трех венецианских колоний: Кипра, Кандии и Мореи<sup>1338</sup>. Австрийцы водрузили на них своих черных как дух тьмы орлов двуглавых, на это смотрели как на право захватителя власти. Теперь, когда Венеция добровольно слилась с прочими остатками древних итальянских республик в незаконное королевство итальянское, тут водрузили знамя дома Савойского<sup>1339</sup>. Ему ли красоваться в Венеции, считающей свое независимое существование с V века до XIX, именно до 1797 года<sup>1340</sup>? Наконец и то навело на меня грусть, что я не нашел никого из знакомых и приятелей, кроме моей старой хозяйки Regina Vodoer.

Я проехал в гондоле прямо к старой хозяйке Colle dei Arment № 964, вхожу, комнаты заняты, хотя и есть одна, в которой я приютился в первый приезд мой в Венецию в 1841 году. Тогда она была бедна, но после смерти хозяина, умершего на моих руках (в прямом, а не переносном смысле), его семья так обеднела, что моя комната была чуть не обитель нищего. К тому же мой сундучище, то есть мой походный амбар, едва ли мог бы пройти на лестнице, — я поздоровался, то есть поцеловал мою старую хозяйку, ее племянницу, которую я оставил 17 лет и теперь нашел за вторым мужем уже 41 года, и отправился в Albergo Danieli\*\*\*. Тут есть комната под небесами не по моим ногам. Отправляюсь в другую гостиницу, тоже

\* Моя прекрасная возлюбленная — *ит.*

\*\* Эти итальянцы, которые приезжают в Венецию — *ит.*

\*\*\* Один из самых знаменитых отелей Венеции, расположен близ площади Сан-Марко на берегу лагуны во дворце XIV века, некогда принадлежавшего семье дожа Энрико Дандоло.

на Riva dei Schiavoni\*, нахожу комнату невысоко и помещаюсь в ней. Утром рано слышу, на рожке играют кавалерийские сигналы, открываю окно — оно выходит на двор казармы — Боже! а я, начиная от Берлина, бегу от проклятого солдатства и не знаю, куда от него укрыться. Оно меня преследовало и в Лондоне и у тебя в Дублине. Дождался я 8 часов, позвал слугу и потребовал счет. Потом смерил сундук, побежал к хозяйке, нашел, что сундук можно втащить по лестнице, и попросил мужа ее племянницы перевезти мой сундук. Тут я и поселился и жил 12 дней с истинным наслаждением.

Не знаю, говорил ли я тебе, что я сильно любил всегда и неизменно люблю бедность, что богатство мне просто отвратительно. По несчастию плохой желудок, болезненность вообще не позволяет мне вполне отдаться бедности; но когда я могу пожить бедно, я пью наслаждение в моей бедной обстановке. Это именно придало много прелести моей венецианской жизни. Я накупил книг, скупил все, что издано после моего пребывания в Венеции, а до того все напечатанное о ней находится в моей библиотеке. Я жил как у Христа за пазушкой. Хозяйка, ее племянница Ейя, муж этой Ейи (венецианское сокращение Терезы), ее дети — это совершенно была моя семья. Правда, что годы, скверные годы много все портили, но все-таки я отдохнул от цифирной жизни и от путешествия по осолдаченной Европе.

Если бы не плохое здоровье, я пустился бы по разным уголкам Европы или пешком, или в маленьких экипажах, как я ездил в 1844 г[оду]. Сколько неожиданных встреч, потом сколько возможности доставить людям наслаждение или облегчить страдания! Это особенно усладительно, когда делается не богачом, а таким же бедняком, как и ты, которым можешь. Семья моей хозяйки в Венеции таким же образом мне как бы родная. Ты ошибаешься: теперь я нисколько не миллионер, хотя и получаю иногда, то есть в иной год, более 3000 фунтов стерлингов; но по всей вероятности я получу чрез 4 года едва ли меньше миллиона руб[лей]. Проживаю я лично около 6000 рублей, и прочие деньги, слава Богу, расходятся так, что у меня почти ничего не остается или остается очень мало.

Из Венеции я проехал морем в Триест<sup>1341</sup>: море было чудно хорошо; ночью оно забурлило, но не вызвало у меня морской болезни. В Триесте я остался только до вечера, кое-что купил себе, протаскался весь день по городу, даже не брал комнаты в гостинице, а прямо отправил вещи на железную дорогу. Потом гигантски трудною по работе дорогою чрез Зиммеринг<sup>1342</sup> я приехал в Вену. Как преобразилась Вена и как еще она преображается, невозможно себе представить. Улицы дворцов и почти все жидовских. Громадность и богатство их поразительны, но посмотришь: о вкусе, об изяществе размеров нет и помину. Я остановился в Grand Hotel, и тут роскошь до отвратительности меня совершенно уничтожила. Я никогда не любил Вены, несмотря на все ее удобства жизни, а теперь она мне стала отвратительна со своею роскошью, подбитою жидовством. Здание выставки строится громадное<sup>1343</sup>.

В Киеве я прожил 8 дней, туда приехали мои приятели из деревни, и жизнь для меня была чересчур суетна: с утра до вечера на людях, это уже мне не по нутру. Обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижов.

P.S. Скоро пришло кое-какие книги.

Твой Чижов.

\* Славянская набережная — тянется от Дворца дождей до Арсенала.

№ 155. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
29 ноября 1872

Хотелось бы мне знать, какой это русской посылает корреспонденцию в католическую газету “*Tablet*” в Лондоне<sup>1344</sup>. Он на все смотрит с точки самого крайнего ультрамонтанизма и без пощады порицает и правительство и народ. Несколько времени назад он с каким-то остервенением отзывался о Самарине, называя его бешеным социалистом. А теперь он извещает нас о появлении новой очень влиятельной газеты «*Русский мир*»<sup>1345</sup> и о том, что бедный Катков умирает от размягчения мозга.

Как жаль, что Кельсиев<sup>1346</sup> умер! да еще в самом цвете лет. Бог весть из-за чего этот человек пожертвовал жизнью. Герцен очень подробно описал его странствия<sup>1347</sup>, но во всем этом не видно ни цели, ни смысла, что вообще можно сказать о всех наших русских выходцах. Сам Герцен в полноте своего разочарования называет их *Собакевичами* и *Ноздревыми* нигилизма<sup>1348</sup>. Это грустно. Чего же можно ожидать от нашего нового поколения? Из всех русских, фотографированных Герценом, один *Савич* является порядочным и честным человеком, а все прочие — ужасная сволочь! Забавно, что Герцен бьется изо всех сил, чтобы выставить Бакунина<sup>1349</sup> каким-то героем. Помилуйте! какой же он герой! Разве может быть герой вроде Пугачева или Стеньки Разина, а другого геройства я в нем никакого не вижу. Всего лучше обрисовал его Мартыянов: «Это большая Лиза, как же на нее сердиться: дитя!»<sup>1350</sup>. Очень хорошо, но этакие дети опасны и их следовало бы держать под присмотром. Скажи, пожалуйста, где, в каком царстве или государстве Бакунин мог бы играть значительную роль? Решительно нигде. Даже в свободной и архисвободной Америке он остался бы на заднем плане в рядах неугомонных говорунов и забияк, а в государственных людях никогда бы не попал. И тут опять нельзя не оправдать Николая: люди без капли здравого смысла, без плана, без малейших политических понятий очертя голову затевают революции — что же с ними делать? Неужели же по головке погладить? У наших русских, кажется, существует только одна *политическая* идея, т[о] е[сть] *покутить* да *подраться*, точно как у ирландских фениев.

У нас теперь в больнице французский коммунист. Он был взят в полон в Седане и отправлен в Германию, по заключении мира возвратился во Францию и примкнул к Коммуне<sup>1351</sup>. По разбитии Коммуны он был приговорен военным судом к изгнанию из Франции на пять лет и по приказанию г[осподина] Тьера<sup>1352</sup> был выброшен на берег Англии с прочими коммунистами, коих теперь, по его словам, находится в Англии 200.000. Вероятно, это французское преувеличение или хвастовство. Впрочем, он во всех отношениях грубый и невежественный солдат: он стрелял и расстреливал направо и налево, потому что так ему приказывали. *Et vive la commune!*\*

Жорж Занд посвятила свою последнюю повесть нашему *Тургеневу*<sup>1353</sup>. В этом посвящении, упоминая о «Записках охотника», она говорит: “*Quelle peinture de maître! Comme on les voit, comme on les entend et les connaît, tous ces paysans du Nord encore serfs à l’époque au vous les décrivez, et tous ces compagnards bourgeois on gentils-hommes avec lesquels une rencontre de peu d’instant, quelque paroles échangées vous ont suffi pour tracer une image palpable de couleur et de vie! Personne ne peut fuir aussi*

\* И да здравствует коммуна! — *фр.*

bien. Et puis vos paysans et vos gentilshommes ont pour nous une originalité, un relief extra ordinaire. C'est un monde nouveau ou vous nous fuites pénétrer et aucun monument d'histoire ne peut nous révéler la Russie comme ces figures si bien étudiée et ces moeurs si bien vues. Avec cela un sentiments de bienveillance touchante que ne paraissent point aviez eu les autres poètes et romanciers de votre civilization. Ils sont encore barbares, malgré leur génie, ils ont de la cruauté froide et railleuse dans leurs drames. Il n'est point ainsi de vous. Vous avez de la pitié et un profond respect pour la création humaine, de quelques haillons qu'elle se couvre et sous quelque joug qu'elle se traîne. Vous êtes un réaliste pour tout voir, un poète pour tout embellir, un grand coeur pour tout plaindre et tout comprendre”.

*Перевод*

«Какая мастерская живопись! Как их всех видишь, как их всех слышишь и знаешь, всех этих северных крестьян, еще крепостных в то время, когда вы их описывали, и всех этих деревенских помещиков из мещан или дворян, минутная встреча с которыми, несколько сказанных слов были достаточны для вас, чтобы нарисовать животрепещущий и яркий образ! Никто не сделал бы это лучше вас. И к тому же ваши крестьяне и ваши дворяне являются для нас самобытными и чрезвычайно выразительными. Это новый мир, в который вы позволяете нам проникнуть, и никакой исторический памятник не может показать нам Россию так, как эти образы, столь хорошо изученные, и нравы, столь хорошо увиденные. Вместе со всем этим вам присуще чувство трогательной благосклонности, которое вовсе не проявилось ни у каких других поэтов и романистов вашей культуры. Они еще варвары, несмотря на их талант, в их драмах присутствует холодная и насмешливая жестокость. Вы же совсем другой. В вас есть жалость и глубокое уважение к человеческому созданию, в какие бы отрепья оно не было одето и под каким бы игом не находилось. Вы реалист, чтобы все видеть, поэт, чтобы все приукрасить, большое сердце, чтобы все пожалеть и все понять».

А «Записки охотника» теперь нельзя достать ни за какие деньги: они вышли из печати. Жаль!

Твой В. Печерин.

Фальмут (1845–1848).

«Какое торжество для святой церкви! Самодержавный властитель 60 миллионов, верховный вождь многочисленного и победоносного войска смирился как агнец перед кротким величием св[ятого] Петра в лице Григория XVI».

Вот как возглашали католические газеты в 1846 году по случаю свидания императора Николая с папою Григорием XVI<sup>1354</sup>.

Наша благодетельница г[оспо]жа Эдгар была в постоянной переписке с ее духовным отцом шотландским иезуитом *Гловером* в Риме. Он прислал ей подробное описание пребывания государя в Риме. Как евангельская женщина, обретши погибшую драхму, созывает другини и соседы, глаголющи: радуйтесь со мною, яко обретох драхму погибшую<sup>1355</sup>, — так и г[оспо]жа Эдгар на радости пригласила нас к себе на чай для того, чтобы выслушать это апостольское послание из Рима, в коем, между прочим, стояло следующее: «Молодой новообращенный в католичество англичанин

стоял у самой лестницы, по которой императору надо было всходить во внутренние покои Ватикана. Вот первая сцена. Государь выходит из кареты в полном мундире с лентой через плечо, со всеми орденами и звездами, с лучезарным лицом и, благо-склонно улыбаясь направо и налево, он твердым эластическим шагом идет по мраморным ступеням. — Молодец, да и только! «Каждый вершок в нем — царь!» — как говорит Шекспир. Every inch a King!\* — Англичанин остался дожидаться его возвращения. Не знаю, долго ли продолжалась аудиенция — час или больше, или меньше. Вот вторая сцена. Государь появляется на вершине лестницы. Какая странная перемена! Совсем не тот человек! С крайне смущенным и расстроенным видом, с покрасневшимся лицом, с крупными каплями пота на челе, он шел каким-то неровным колеблющимся шагом и до того растерялся, что даже прошел мимо своей кареты, не заметивши ее».

Вот история или, лучше сказать, *дух истории* по иезуитскому толкованию. При этом надобно заметить, что у новообращенных католиков воображение очень живое да и совесть очень эластическая, они не считают грехом иногда немножко прилгнуть для вящей славы святой матери церкви: я готов всему верить и верю, что Николая очень холодно приняли в Риме, что ему никто не ломал шапки, что римская аристократия не отверзла перед ним своих мраморных палат — все это возможно, и всему этому я верю; но что наш Николай струсил и растерялся перед папою, да еще перед таким невзрачным папою как Григорий XVI, — этому я никогда не поверю, даже если бы ангел с неба принес мне об этом известие.

Единственным свидетелем этого свидания двух *nan* (deux papes, как говорили французские либеральные газеты)<sup>1356</sup> был престарелый, выживший из ума, впавший в детство кардинал *Альтон*<sup>1357</sup>. От него, разумеется, ничего выведать было невозможно: на все расспросы он отвечал благочестивым воздыханием и поднятием очей к небу. А сам папа, когда его спрашивали, обыкновенно отделялся следующим ответом: «Я сказал императору то, что господь Бог мне внушил».

Вот тут и все исторические данные, а остальное — игра набожного воображения или просто выдумка отличающихся своею лживостью ультрамонтанских газет.

Эта самая г[оспо]жа Эдгар лишь только увидела меня, тотчас произнесла обо мне суждение по системе Галла: «У него в сильной степени развит орган благоговения» (l'organ de la vénération) — Ohime! pur troppo!\*\* Перед кем и перед чем я не благоговел?

Известный демагог Струве<sup>1358</sup> при самом первом свидании с Герценом тотчас принялся щупать его череп: «Действительно, — сказал он, — Bürger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Vénération — у гражданина Герцена решительно вовсе нет “бугра почтительности”»<sup>1359</sup>. Вот в том-то и дело, что судьбы людей решаются головными шишками или буграми!

Начиная описывать жизнь в Фальмуте, я должен заметить, что наша обитель состояла из трех лиц: настоятель отец *де* Бюггеномс, брат-прислужник *frère* *Félicien* и — я. С моим бугром благоговения нетрудно угадать, какую роль мне пришлось играть!

Я нарочно подчеркнул — *де*: когда он был студентом в Виттеме, он назывался просто *Бюггеномс*; но после, вероятно, заметя его высокие качества, нашли

\* «Король, и до конца ногтей — король» — *англ.*

В. Шекспир. «Король Лир». Акт IV, сцена 6 (пер. Б. Пастернака).

\*\* Увы! К сожалению! — *ит.*



нужным поднять его выше и всякими неправдами прикрепить к нему аристократическую частичку *de. Où l'ambition va-t-elle se nicher?*\* Его другом и покровителем был теперешний архиепископ Мехельнский Monseigneur Deschamps<sup>1360</sup> (тоже редемпторист), самый ярый поборник папской непогрешимости, теперь высоко стоящий в церкви и почти самодержавно управляющий Бельгиею по милости стертого характера короля<sup>1361</sup>. Этому де Бюггеномсу следовало бы быть кардиналом: он всех дипломатов бы за пояс заткнул. Куда твои Меттернихи<sup>1362</sup> и Талейраны? Он человек был вовсе не ученый и далеко не блестящего ума — но хитрость, но лукавство, но терпеливая проницательность, но умение подделываться ко всем характерам для того, чтобы достигнуть своих целей, а выше всего особенный дар подкапываться под своего начальника всеми неправдами и клеветами и, улучив счастливую минуту, сшибить его с ног и сесть на его место — вот в этом он был неподражаемый мастер. Одна католическая церковь может производить таких великих людей. Он был моложе меня, довольно приятной наружности, и в этом отношении имел большой перевес у дам: щеки у него были пухлые и розовые, но впоследствии с полным развитием характера они оселись и повисли, а это именно отличительный признак отъявленных лицемеров — такими изображаются *Тартюф* Мольера и бессмертный *Пексниф* Диккенса<sup>1363</sup>. Но тут я бросаю перо, мне надобно отдохнуть и собраться с мыслями: нельзя же наскоро очертить такой необыкновенный характер.

### № 156. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
27 нояб[ря] 1872

Замечал ли или подметил ли ты в продолжение твоей жизни, что внутри нас есть какой-то своего рода маятник для всех близких отношений. Он сам собою заводится ходом этих отношений: пока они идут правильно, и он идет совершенно правильно; они приостановятся, и он начинает замедляться. Для меня это никак не фантазия, а сущая осязательная истина. Я с некоторого времени, вот уже года три, привык, что ты пишешь ко мне ежемесячно; чуть только ты замедлишь, у меня внутри меня начинается какое-то о тебе беспокойство, растет и усиливается так, что начинает сильно тревожить. Не получи я третьего дня твоего письма, я написал бы к тебе — что с тобою делается? А между тем не забудь, что я занят, не знаю чисел и не могу помнить, от какого числа получил я твое последнее письмо. Право, это такое же единение, какое существует между шелковичным червем и шелковичным деревом: это распускается и тот оживает. Не помню, писал ли я тебе, что в ноябрьской книжке «Вестника Европы» появилось продолжение повести Тургенева «Чертопхаев», начатой в его «Записках охотника»<sup>1364</sup>. Это напомнило прежнего Тургенева — чисто художника, не писавшего еще ни на заданную тему, ни за деньги. И вспомнишь старика Берни<sup>1365</sup>: *Amo di fare per me e non comandato*\*\* . Нет прежней свежести, но много художественности. Жорж Занд чересчур восхваляет Тургенева, а ты тоже получил неверный слух, что нельзя достать «Записки охотника» ни одного экземпляра. Отдельного издания нельзя достать, потому что отдельно они давно

\* Где только не кроется честолюбие? — *фр.*

\*\* Я люблю делать для себя, а не по заказу — *ит.*

не издавались, но в собрании сочинений Тургенева сколько хочешь. Я тебе пришлю это собрание, только, пожалуйста, не сердись, что долго не шлю. Все это время я был адски занят, веришь ли, не имею ни часу, чтоб побывать у книгопродавца. Пишу тебе из Правления Общества Взаимного Кредита, в то время как у нас происходит ревизия членами нашего совета. Правду сказать, я теперь стал страшно скуп на время: ворую у железнодорожных Правлений и у банка для того, чтобы успеть что-нибудь прочесть из венецианского быта. Теперь читаю писателей ее последнего времени: Гольдони когда-то я читал всего, а только не был лично знаком с двумя братьями Гоцци Карлом и Гаспаром<sup>1366</sup>. Записки Карла Гоцци “*Memorie inutile della mio vita*”<sup>\*</sup> довольно скучны, но тут из прямых источников изучаешь угасающую тощую жизнь последних дней республики. Я получил все книги, купленные мною в Венеции, всего книг около 150, и хотелось бы возобновить в памяти историю этой славной средневековой республики.

Ты не ворчи, что я не пробую печатать твоей автобиографии, потом напечатать письма два; но настоящее время самое невыгодное для появления в печати: убеждения, мнения, взгляды до того перепутаны, что не найдешь трех человек, которые сходились бы между собою. Во всем этом нет ни малейшей определенности: сегодня этот кружок таких убеждений, чрез месяц новые явления жизни, и если в течение месяца ты не слышал переходов и оттенков тех же убеждений, ты встречаешь их только что не противоположными. Возмущаться этим нельзя: освобождение крестьян, некоторая самостоятельность суда, некоторое, хотя ничтожное, значение земства, хотел сказать о некоторой (все некоторое и некоторое) свободе печати, но спохватился: теперь цензура хуже, нежели бывала когда-либо, особливо при литературном инквизиторе Лонгинове<sup>1367</sup> (Лонгинов недавно назначен главным начальником по печати. Бывший крепостник теперь стал инквизитором); прежде не бывало, чтобы жгли книги, а теперь жгут целые книжки журналов за одну статью. Вообще же в общем итоге всех этих некоторых освобождений мысль двинулась к самостоятельности, а ни самостоятельного направления, ни даже подготовки к нему она не получила и идет как пьяная. Это не выдержит твоей критики: тебе бы прямо из болота на гору. Ан, нет, так не идет в природе: *natura non habet saltus*<sup>\*\*</sup>.

Не знаю, кто пишет о Самарине; думаю, что или остзейский немец, или кто-либо из бывших крепостников. «Русский мир» не имеет никакого значения; он, как слышно, заменил крепостническую газету «Весть»<sup>1368</sup>, издохшую от недостатка сил. О Каткове и здесь говорили было, что у него размягчение мозга, но оказалось, что это фальшивая тревога. Газета его «Московские Ведомости» из рук вон плоха; думаю я потому, что редакторы устали, и потом еще более потому, что они отдали все свое время новому учрежденному ими частному лицу исключительно классическому<sup>1369</sup>.

Поверь на слово, что пришлю тебе полное собрание сочинений Тургенева в 8 частях; разумеется, тут нет последних его весьма неталантливых произведений. Слышно, что Бартенева делают начальником Московского отдела Государств[енного] архива на место князя Михайла Оболенского<sup>1370</sup>.

\* «Бесполезные записки моей жизни» — *ит.*

\*\* Природа не имеет скачков — *лат.* Не совсем точное цитирование правила К. Линнея, сформулированное им в 1751 г. — *natura non facit saltus* — природа не делает скачков.

№ 157. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street

Dublin

23 декабря 1872 н[ового] ст[иля]

Не знаю, как и благодарить тебя за твое милое письмо, дышащее тою неизменною дружною, которая составляет важнейшую эпоху в моей жизни и утешение моей старости. А о себе скажу, что у нас беспрестанно дождь идет: мы наводнены, мы затоплены, мы превратились в амфибий, да еще хуже амфибий, потому что амфибии, по крайней мере, наполовину живут на суше, а мы вечно по уши в воде — вода сверху, вода снизу, вода кругом, да притом еще очень тепло почти как летом. Говорят, что с солнцем случились какие-то припадочки: появились зловещие пятна; оно, очевидно, объелось магнезии. Не знаю, за что нас Господь Бог карает, добро бы уже тех поганых итальянцев, святотатственно захвативших владения Святого Отца, а нас-то зачем? Ведь мы — самые верные сыны церкви; зломудрие века сего до того дошло, что теперь Святому Престолу нет другой опоры, кроме пустоголовых ирландцев здесь и в Америке. По странному сцеплению понятий это напоминает мне старую песню 1812 года:

Бонапарту не до пляски,  
Растерял свои подвязки,  
Хоть кричи пардон!  
А сарматы пустословы  
Подыграть ему готовы...<sup>1371</sup>

Вместо сарматы читай ирландцы.

Г[осподин] Герон, член парламента, бывший на статистическом конгрессе в Петербурге<sup>1372</sup>, читал в здешнем статистическом обществе отчет о своем путешествии: он в восхищении от России и все видит в розовом цвете. Вот что значит накормить людей хорошенько да напоить их шампанским до положения риз. Г[осподин] Герон из всей России видел только Петербург да великокняжеские обеды да официальную статистику. Уж как у нас умеют бросать пыль в глаза иностранцам, да что тут говорить об иностранцах? Своих министров, да и самого государя надувают на славу.

Ты в немногих строках мастерски обрисовал *хаотическое* состояние общественного мнения в России. На все это я отвечаю тем же — надеюсь, тут нет греха против цензуры — «Припомни царствование Александра I». Мы вечно вертимся в роковом круге.

Знаешь ли ты *Буслаева* «Историю древней русской словесности» и пр[очее]<sup>1373</sup>. Д[октор] Аткинсон ее выписал. Это очень ученое произведение, и в нем действительно многому можно понаучиться.

Я позабыл спросить тебя, знал ли ты Ивана Головина? Ведь я на одном пароходе с ним выехал из Петербурга. Герцен и П[етр] Долгоруков не очень выгодно об нем отзывались. Теперь вижу, что он напечатал свои записки<sup>1374</sup>. Я постараюсь их достать.

Теперь остается только поздравить тебя с праздником Рождества Христова. А дождь все льет да льет. Хотел было послать тебе здешнюю рождественскую карточку (Christmas card), но убоился цензуры. Работайте Господи со страхом, да некогда прогневаются господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость его<sup>1375</sup>. Страшен zelo русский Бог!

А за сим, пожелав вам всех благ при сей верной оказии, имею честь быть ваш смиренный раб и богомолец

В. Печерин.

Замогильные (написал: посмертные) записки (Memoires d'outre-tombe)  
Владимира Сергеева сына Печерина.

Итак, благодаря цензуре мои записки принимают высокий эстетический характер. Они пишутся в истинно артистическом духе, т[о] е[сть] совершенно *бескорыстно*, без малейшей надежды на возмездие в здешней жизни. Никто их не прочтет, никто не похвалит и не осудит их. Как таинственный сверток Спиридиона положен был с ним в гроб и навеки бы там остался, если бы нежная дружба, любознание и отвага его ученика не исхитили этой рукописи из могильной тьмы<sup>1376</sup>, так и моя рукопись будет долго-долго лежать в темном ящичке забвения. Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства; хотя, правду сказать, письма по этому адресу не всегда доходят, — вероятно, по небрежности почты, особенно в России. Через каких-нибудь пятьдесят лет, т[о] е[сть] в 1922 году, русское правительство в припадке перемежающегося либерализма разрешит напечатать эти записки<sup>1377</sup>, но тогда это уже будет ужасная старина — нечто вроде екатерининских и петровских времен, времен очаковских и покоренья Крыма<sup>1378</sup>. Будет только темное предание, что дескать в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и, наконец, оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости. А память о нем сохранил еще больший чудак Федор Васильевич Чижов, питавший к нему неизменную дружбу в продолжение сорока с лишком лет: вышереченный Чижов построил целую сеть железных дорог, открыл дивную жар-птицу на островах Белого моря, дожил до столетнего возраста и оставил по себе несметные богатства и пр[очее] и пр[очее]. Народное воображение все это преувеличит, разукрасит, превратит в легенду, в сказку: чего же лучше? Гораздо приятнее быть героем в сказке, чем в истории: исторические лица часто изнашиваются, теряют цвет и шерсть, а сказочные герои вечно юны и никогда не умирают.

Какой-нибудь русский юноша 20-го столетия (а оно ведь очень недалеко) с любопытством, а может быть и с сердечным участием прочтет историю этой жизни, вечно идеальной, отрешенной от всякой земной корысти, вечно донкихотствующей, и может быть это чтение воспламенит в нем желание совершить какую-нибудь великодушную глупость.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин намекает на автобиографию *Антон Райзера* (Anton Reiser) как на важное психологическое явление: я как-то отыскал этого Антона Рейзера на Щукином дворе<sup>1379</sup> и изучил его от доски до доски. Он был одним из важнейших деятелей моей судьбы и утвердил во мне страсть к бродяжнической жизни<sup>1380</sup>. Может быть, и моя автобиография будет иметь тоже *незавидное* влияние. Но если я пишу для потомства, то к чему же тут торопиться? Ведь потомство не уйдет, да к тому ж оно и подождать может — что с ним церемониться? Важная особа! 20-е столетие! Экая невидальщина! Мы и почище вас видели. Мы жили в пресловутом незабвенном 19-м веке!

Я жил в Москве на Тверском бульваре в трактире «Город Берлин», содержанием каким-то полупьяным швейцарцем<sup>1381</sup>. Я никак не хотел нанимать квартиры, ни обзаводиться хозяйством, а, так сказать, кочевать — сидел у моря и ждал погоды, т[о] е[сть] отъезда за границу. Этот трактир был притоном швейцарских гувернеров. Все они были молодцы и жили в удивительном раздолье: у каждого из них были свои сани и прислуга. Я часто за общим столом расспрашивал их о жиз-

ни в Швейцарии — дорога ли, дешева ли она и можно ли там давать уроки: все это знаешь в виду близкого будущего. Но этот общий стол был прескверный — истинно русская грязная кухня. Да я иногда и совсем не обедал, а так бывало куплю себе фунт олив или, как мы называли в старые годы, масляных ягод, и с куском хлеба кое-как пробиваюсь: все это делалось с преднамеренным скряжничеством для того, чтоб накопить денег для отъезда. Мой номер стоял как-то особняком с особенным крыльцом. Иногда к этому крыльцу подъезжали студенты в каретах (совершенно по-московски) и посещали меня в моей грязной и затхлой комнате. Однажды зашел ко мне молодой учитель для экзамена в греческом языке: он отлично знал свой предмет, и я дал ему наилучшую аттестацию. Он был в восхищении от меня, и с какою-то особенною развязностью русского чиновника быстрым и метким взглядом осмотрев всю комнату, он радостно потер руками и сказал: «Позвольте мне предложить вам чайный сервиз». — «Нет! Покорно благодарю! Я вовсе в нем не нуждаюсь!» Что он обо мне подумал, я не знаю, но на лице его было написано изумление. Это было первое искушение и первый опыт того, как предлагаются и берутся взятки.

Когда-то под вечер и не в самом приятном расположении духа я возвращался домой: вижу, у меня на крыльце сидит старуха нищая с костылем и вся в ужасных лохмотьях. Я хотел было ее прогнать. Она взмолилась: «Помилуй! Отец ты мой родимый! Не погуби меня бедную! Ведь я твоя же крестьянка из сельца Навольново, у меня к тебе есть просьба!»

— Ну, что ж тебе надобно? Говори!

— А вот, видишь ты, батюшка, староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай божескую милость да напиши им приказ, чтоб они выдали мою дочь Акулину за парня такого-то.

Не входя ни в какие дальнейшие расспросы с какою-то жестокой ирониею я взял листок бумаги и написал высочайший приказ: «С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то (имя рек). Быть по сему. Владимир Печерин». В первый и последний раз я совершил самовластный акт помещика и послал старуху к черту. Это меня взбесило и окончательно ожесточило против России.

Но не одни старухи всходили по этому крыльцу... Иногда поздним вечером молоденькая девушка лет 17-ти, накинувши платочек на голову, прытко взбегала по этим ступенькам и осторожно стучалась у двери отшельника. Это было нечто вроде того, что воспевал Ломоносов, коверкая Анакреона:

Внезапно постучался  
У двери Купидон,  
Приятный перервался  
В начале самом сон<sup>1382</sup>.

Ей Богу, не грех иногда среди сумрачной и суровой зимы припомнить весеннее солнце и теплый благорастворенный воздух, и свежую юную жизнь природы, и даже мелкие цветочки, растущие на кайме тропинки...

Но все это ни к селу, ни к городу, а приведено только для следующего.

В 1836 году были ужасные морозы, доходили до 36°. Я сидел у печки и записывал в своем дневнике: *Souffrez, souffrez! C'est une bonne préparation pour votre entrevue*

avec le compte Stroganoff\*, т[о] е[сть] касательно отъезда за границу. А между тем воображение рисовало, как через пять месяцев я буду уже в Швейцарии на берегах зеркальных озер под белоснежными вершинами Альп. В эти трескучие морозы иногда заходил ко мне погреться да потолковать пожилой француз высокого роста с седой головою. Он был большой философ. Однажды он мне сказал: “J’attends tranquillement ma fin: je serai bien partout ou la bonne mère nature voudra me mettre”\*\*. Слушая его, я думал про себя: вот так и я на старости буду философствовать с чужеземцами. Все эти пророчества исполнились до последнего слова: я теперь философствую с доктором Аткинсоном. Все наши предчувствия имеют прочное основание в самой глубине нашего организма. Я никогда не мог забыть этого меткого выражения Бальзака<sup>1383</sup>: Un désir constant est une promesse que nous fait l’avenir\*\*\*. У меня теперь нет никакого *désir constant*, разве может быть только желание совершенной независимости и уединения, но мне и так хорошо.

### № 158. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

20 декаб[ря] 1872 ст[арого] ст[иля]

Благодарю тебя за исправность: ты все ударяешься в крайности — не бело, так черно, а в действительно[сти] больше бывают оттенки промежуточные, то есть серые, сероватые, цвету пепельного, бурые и тому подоб[ное]. Непременно напечатаю отрывки из твоей автобиографии и напечатаю еще до появления на свет Господина потомства. В настоящую минуту цензура в распоряжении великого инквизитора Лонгинова, когда-то бывшего если не ультралибералом, то все-таки либеральчиком, потом крепостником до мозга костей, получиновником, четверть литератором и постоянно библиографом, отыскивающим всякую дрянь в старой и нестарой письменности. В настоящую минуту и журналы до того не установились или сбились с панталыку, что не вдруг решишь, где поместить отрывок. Тебя я целиком бы отдал в «Вестник Европы», да он, как я имел случай убедиться, иногда позволяет себе делать искажения в строках автора, что мне крайне не нравится и чему я уже никак не в состоянии подчиниться, это одно; второе то, что я по моим убеждениям и по моему взгляду на все русское никак не схожусь с мнениями этого журнала более европейского, чем русского. Поместить в «Русском Вестнике» Каткова и Леонтьева, значит засунуть тебя в бесцветное издание чиновно-литературное, то есть чиновников литературы. «Отечественных Записок», грешный человек, я не знаю хорошенько, нет времени читать.

Ивана Головина я знаю, я встречал его несколько раз в бытность мою в Италии еще в сороковых годах; это тогда был пустейший фат со всеми дурными сторонами русского полубарина и без какого-либо из достоинств русского человека. Не советовал бы тебе с ним сходиться. Заметки его тоже, сколько я слышал, не ахти. Пусть-ка это выражение поймет твой Аткинсон.

\* Страдайте, страдайте! Это прекрасно подготовит вас к свиданию с графом Строгановым — *фр.*

\*\* Я спокойно жду своего конца: мне будет хорошо всюду, куда бы ни поместила меня добрая мать-природа — *фр.*

\*\*\* Неизменное желание — это обещание, которое дает нам будущее — *фр.*

Распорядился я, чтоб к тебе, именно к И. И. Савичу (49 Grace church Street City) были высланы, прежде всего «Война и мир» графа Толстого, а потом и пойдут посылки одна за другою. Пожалуйста, не сердись на скучные философствования Толстого, они выкупаются весьма и весьма талантливыми картинами и чудными типами, напр[имер], артиллерийского капитана, князя Петра и других. Решусь послать тебе темные и светлые стороны русской жизни, хотя и скрепя сердце потому, что не люблю, когда сильно цепляются за темные стороны.

Да, Буслаев много работал, хотя его и не ценят так высоко, как ты превозносишь его в отдалении. После пошлю легонькую историйку новейшей литературы. Будет с тебя, если я буду посылать по книге в неделю, и смотри: как только ты долго не ответишь, так тотчас неделя будет без присылки. Посылать буду постоянно на имя Савича, а он уже перешлет к тебе; таким образом, и он будет иметь случай все прочесть. Ты же постоянно извещай, что получил то-то и то-то.

В суждении твоего потомства на мой счет одна есть очень порядочная ошибка: едва ли я сделаюсь когда-либо богатым. Сам не знаю каким образом ухитрюсь, проживая около 6000 руб[лей] в год, что при здешней дороговизне жизни весьма скромно, как я ухитрюсь издерживать в год все, что получаю, то есть около 25 тысяч. И, слава Богу: скверно быть богатым. Небось, ты оттолкнул старуху, да еще не бывши богатым, а богатый отталкивает всех и каждого.

Погода у нас пререстранная: до сих пор нет зимы. В Курске собирали другой раз малину; здесь в ноябре цвела другой раз клубника. До сих пор нет зимнего пути, и так как по этому случаю нет подвоза к железным дорогам, то мы сильно бедствуем. Обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижов.

### № 159. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
21 января 1873

Хочешь, не хочешь, а надо писать! Нельзя же быть неблагодарным, получивши четыре тома «*Войны и мира*». Правду сказать, оно немножко растянуто, размазано, но все ж таки очень занимательно, даже увлекательно как верная картина русского быта. Но, Боже мой! какая ужасная пустота в жизни нашего высшего общества! Неужели оно и до сих пор такое же? У меня на душе отлегло, когда я перебрался за границу в армию: тут все знакомое, родное — и полковой командир, и капитан с красным носом, и офицеры, и солдатушки, а особенно песенники с лихим запевалою, с бубнами и тарелками — так и вижу перед глазами лета моего детства. Но до сих пор не вижу никакой завязки и никак не могу угадать, кому суждено быть героем этой эпопеи. При всем том трудно оторваться от этого чтения. Ты не сетуй на меня, что немного пишу зимою. Ведь я не Кашей Бессмертный. Здоров-то я, слава Богу, здоров, но все ж таки нельзя человеку совершенно укрыться от влияния стихий. При теперешней погоде, когда проливные дожди перемежаются с легкими морозами и снегом, иногда бываешь не в духе: нет охоты сесть порядком за стол да начать писать, а гораздо приятнее сидеть перед камином да смотреть в огонь. В этом мы имеем большое перед вами преимущество. Печка у вас, конечно, хороша в трескучие морозы, но все ж таки печка — глупа, она слова сказать не умеет, у нее нет никакого выражения в лице, на нее только плюнуть, да стать к ней

задом; а камин — молодец, он пылает и сверкает и разливается бесконечными изливами и очень красноречиво говорит о былом, о далеких друзьях, о *текучести* жизни, о том как она, точно как уголь, постепенно сгорает под действием того же кислорода. Вот тебе тот же самый философ, что сидел у печки в городе Берлине на Тверском бульваре.

Фальмут  
(1845–1848)

Все поэтическое, грациозно-милое общество дам — г[оспо]жи Эдгар с ее дочерьми Анною и Каролиною — все это было прежде описано. В то время вышла в английском переводе книга Головина<sup>1384</sup>: “Nicolas I-er et les Russes”<sup>\*</sup>. Он упоминал обо мне с большим почетом (membre distingué de l’institut des professeurs)<sup>\*\*</sup>, но вместе с тем наврал ужасную чепуху (напр[имер], désespoir, tentative de suicidé)<sup>\*\*\* 1385</sup>. Все это придавало мне какой-то цвет романтического героя, всем пожертвовавшего своим убеждениям. А тут еще приехал молодой англичанин из Одессы с письмом от отца и матери и с образом Богоматери. Этому англичанину не позволено было принять католическую веру в Одессе, и так он поспешил возвратиться в Англию и прямо ко мне для того, чтобы я принял его в лоно святой церкви. Это подало повод к некоторому торжеству в нашей маленькой церкви и умножило одним лицом наш маленький кружок.

Но теперь все это в сторону и надо приступать к довольно неприятному предмету, т[о] е[сть] к биографии достопочтенного отца де Бюггеномса. Еще до моего приезда ему удалось выказать всю свою дипломатическую удаль. В два года — не больше — он успел разными подкопами, кознями и наговорами выжить из дома своего начальника отца *Лемфрида* и сесть на его место. Все это делалось хладнокровно, с математической аккуратностью и с удивительной стойкостью. Он начал с того, что всеми силами старался унижить своего начальника, сделать его презренным и смешным в глазах г[оспо]жи Эдгар и ее семейства. А г[оспо]жа Эдгар была важное лицо: самое существование миссии от нее зависело. Он втайне переписывался с девицами Эдгар и заставлял их рисовать карикатуры на о[тца] Лемфрида: каждый шаг, каждое слово его он старался представить в смешном виде. А с другой стороны, он оклеветал его перед высшим начальством в Бельгии, обвиняя его в недозволенных сношениях с г[оспо]жою Эдгар. Отношения католического священника к женскому полу так свободны, фамильярны, задушевы, что легко могут подать повод к клевете. Отцу Лемфриду ставили в вину, что во время его болезни г[оспо]жа Эдгар иногда по целым часам сидела у его постели одна с ним в комнате. Но ведь это случается каждый день: сестры милосердия тоже сидят у изголовья больных день и ночь. А к тому же г[оспо]жа Эдгар была пожилая женщина с двумя дочерьми-невестами. Для лучшего исполнения своих планов о[тец] *де Бюггеномс* вошел в заговор с вышеупомянутым братом-прислужкой frère Félicien. Они так насолили своему настоятелю, что он, наконец, в отчаянии сказал: “Vous avez empoisonné toute ma vie!” — «Вы отравили мою жизнь!» — и просил как милости у начальства перевести его в другой новоосвоенный монастырь в центре Англии в Hanley Castle<sup>\*\*\*\*</sup>, а вскоре потом он и совсем вышел

\* «Николай I и русские» — *фр.*

\*\* Видный член профессорского института — *фр.*

\*\*\* Отчаяние, попытка самоубийства — *фр.*

\*\*\*\* Hanley castle — замок Ганли (*англ.*) в графстве Вустершир на западе Англии.



из ордена редемптористов. Частью и оттого, что он был француз, а бельгийцы французов терпеть не могут и называют их презрительным именем *fransquillons*\*.

Итак, о[тец] Бюгеномс остался полномочным властителем в Фальмуте. Для того чтобы упрочить будущее, он заставил бедную г[оспо]жу Эдгар сделать ему обет безусловного повиновения (*Voeu d'obéissance perpétuelle*), так чтобы она никогда ни в коем случае не могла идти наперекор его планам. Но это еще не все. Ему никак невозможно остаться одному в Фальмуте: ему непременно пришлют помощника. Что тут делать? Ну как попадет коса на камень? Для предупреждения этой невзгоды он умолял начальство в Бельгии прислать к нему не кого-нибудь другого, а именно отца Печерина, так как он имел к нему высокое уважение по его отличным качествам и способностям и надеялся в нем найти доброго и ревностного помощника. *Voilà un coup de diplomate!*\*\*

On connaît le diplomate  
A sa haute cravate.  
A ses longs favoris!\*\*\*

Да! это была высшая дипломатия! Он с самого Виттема знал, с каким ревностным усердием я соблюдал монастырский устав до последней йоты, с каким благоговением повиновался настоятелю, с какою живою верою в каждом *Supérieur*\*\*\*\* я видел лицо самого Иисуса Христа! Пагубная теория! Зловредное учение! Оно было спокон века сильным орудием в руках честолюбивых лицемеров для достижения их очень не идеальных целей. Еще в Виттеме он, как говорится, *заискивал* во мне; но когда я приехал в Фальмут, он рассыпался в заявлениях беспредельной дружбы и привязанности ко мне. Мне даже это показалось немножко странно: монастырским уставом запрещаются подобные нежные излияния, всех братьев должно любить одинаково, без особенной привязанности к частному лицу. Но что ж тут делать? Кто ж откажется от дружбы и любви, когда вам их предлагают и даже навязывают — особенно если у вас такое мягкое сердце, какое было тогда у отца Печерина? «Ведь я *Supérieur* только для формы, — сказал он мне, — мы совершенно равны: мы будем жить как братья». Чего же лучше? «Се что добро или что красно, но еже жити братие вкупе»<sup>1386</sup>. Под этими священными текстами сколько скрывается мошенничества! У нас взяточники тоже освящают свои проделки словами св[ященного] писания: *всякое даяние благо и всяк дар совершен!*

Я и забыл поздравить тебя с Новым годом, который ознаменован неожиданною смертью Наполеона III. Два человека — Наполеон и один достопочтенный каноник здешней церкви — почти одновременно умерли после операции от той самой болезни, от которой ты так счастливо вылезился<sup>1387</sup>; это свидетельствует в пользу твоего железного русского сложения и подает мне надежду, что ты многими летами переживешь меня и увидишь мои записки в печати.

Теперь снова принимаюсь за «*Войну и мир*» и — до свидания! Хоть немного, да чисто! Оно выйдет на одно.

Твой В. Печерин.

\* Французишки — *фр.*

\*\* Вот поступок дипломата! — *фр.*

\*\*\* Дипломата узнают по его высокому галстуку, по его длинным бакенбардам! — *фр.*

\*\*\*\* Настоятель — *фр.*

№ 160. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

21 янв[аря] 1873

Не понимаю, что ты за человек: ты там ленишься, ссылаешься на зиму, на скверное время, на глупый твой камин, который рассказывает тебе небывальщины всякие, а ты и в ус себе не дуешь, даже не хочешь знать, что у нас на Северном Ледовитом океане непременно должно развить: 1) Сельдяной промысел, потому что к нам привозят из Норвегии и Шотландии наших же северных сельдей до 3 миллионов пудов, и мы за них платим своими кровными денежками до 6 милл[ионов] рублей; 2) Тресковый, потому что на мурманском нашем берегу, прилегающему или, скорее, идущему от Норвегии к Белому морю, годовой улов трески простирается до 450.000 пудов, а мы им не пользуемся; 3) Акулий, который дает тебе жиру акул сколько душе угодно, да даже еще и мясом покормит; 4) Китовый, а им теперь пользуются норвежцы, а между тем там попадают киты сажень в 18, весом до 4000 пуд[ов], жиру 1000 пуд[ов]. А потом моржи, тюлени, песцы, лисицы, белые медведи. Тебе все это нипочем, хоть трава не расти. Твой глупый камин подымет тебе рассказы с того света, поет тебе о юности, о детстве; плюнь ему, дураку, в глаза: все он врет — молодости не воскресишь, а набьешь китов да тюленей да моржей, десяткам тысяч людей дашь возможность из четверть людей стать людьми полными. Вон до чего довел тебя твой камин-краснобай, что ты готов обратиться к классическим требованиям *единства* и *тройственности*; что тебе необходима какая-то завязка, положим еще подвязка, это я еще понял бы очень хорошо, а ты не видишь, не видишь беззавязочной любви к народу-гиганту. Эти солдатики, которые не хуже камина напомнили тебе твою молодость, небось не каминным рассказом, а любовью: она так и бьет из каждой строки рассказчика, так ключом и кипит везде, где он передает тебе кого бы то ни было из народа, сохранившего в себе священный огонь народности и русского Бога, бессмысленного, когда его просто будешь ты разбирать логически, с указательным перстом и с аристотелевой логикою<sup>1388</sup>. Русский Бог! Что за бессмыслица! Какой же немецкий Бог? Какой же Бог самоедский? А тот самый Бог, который в глупом артиллерийском капитане Ташинине (кажется так)<sup>1389</sup> заставляет тебя видеть что-то чудно редкое: так бы и обнял по-братски. А если тебе не хочется его обнять ... да ты не слушай твоего безмозглого камина, непременно хочется. А что, небось слеза не навернулась? Что? ты мог продолжать спокойно чтение там, где Наполеону докладывают, что вся артиллерия бьет русских? А что ж они? Стоят. Это черти, а не люди. Тоже было под Севастополем<sup>1390</sup>. Наши солдаты были вооружены палками; военачальников или не было, или были такие, из голов которых, если бы собрать весь мозг, то составил бы или один дурак, или одна свинья. А что же сделали четыре соединившиеся первостепенные державы<sup>1391</sup>? Сожгли Севастополь и вдобавок заставили Россию оглянуться на самое себя и признаться, что сильна она не обществом, а просто народом. Он выносил ее на своих плечах и в 1612, и в 1812<sup>1392</sup>, вынес и из севастопольского погрома. Камин твой заставляет любить все умников да ученых, а ты полюби нас дураками. Полюби нас серенькими, а беленькими-то всякий полюбит<sup>1393</sup>. Беленькими-то полюбит нас и твой милый Аткинсон; пожалуй, еще придаст нам белизны, прелести и достоинств. Нет, брат, полюби-ка ты нас такими, каких заставляет

любить Толстой в своей «Война и мир». Вот тебе завязка и развязка. А там, что женятся или сходят с ума, это уже все жертва таким же классическим требованиям, какие ты изволишь произносить под рассказы твоего камина.

Очень я рад тому, что ты хочешь, не хочешь, а все-таки пишешь понемногу, хоть и лениво. Дело, мой милый Печерин, дело, твое писание — дело; и такое, какого делают немногие. Выйдет ли оно в свет годом раньше или годом позже, это решительно не беда, а выйдет непременно. Проследить жизнь человека, всю жизнь отдавшего за независимость, это не часто встретишь, если и встретишь. Досадно мне одно, что ты очень мало писал из своей монашеской жизни до Фальмута. Может ли быть, чтоб ты никогда ни разу не сделался безрясным, просто человеком, чтоб в твоей отшельнической жизни не заняла твоего воображения и не вызвала к себе сочувствия ни одна женщина? Я этого не понимаю. Особенно еще в твоём положении священника, когда тебе вверялись тайны души и самые заветные тайны. Вообще об этой стороне жизни ты раз как-то заикнулся в домонашеской жизни в Льеже и не захотел войти в ее подробности. Хотя ты эпитафией и обещал дать в страницах своего рассказа соединенные черты и Дон Кихота и Жилблаза, но Дон Кихоту поставлен барьер при переходе в монашество, а о Жилблазе уже нет и помину. Обнимаю тебя, твой Ф. Чижов.

### № 161. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

24 февраля 1873

Изо всех человеческих недугов самый пошлый, самый подлый, самый *бабский* — это насморк. Никакому смертному не удалось избежать его. Даже великие люди подвергались этой позорной болезни: из книги «Война и мир» явствует, что у Наполеона был насморк накануне Бородинской битвы<sup>1394</sup>. У меня одно средство против насморка: сидеть как можно меньше в комнате и бродить на вольном воздухе. Я следую системе: *Similia similibus curantur*\*. Понимаешь? Клин клина выгоняет — холод надо выгонять холодом. Я не могу жить без воздуха. В душной комнате мысль застаивается, воображение цепенеет. Мне кажется, я оттого и убежал из Москвы, что мне предстояло жить взаперти, в духоте. Подражая автору «Войны и мира», я теперь подымаюсь на высоту самых глубоких философских соображений. Мне кажется, что большинство людей именно оттого умирают, что они запираются в душной спальне да ложатся на постель; а если бы они оставались на свежем воздухе, то гораздо бы дольше прожили: это неоспоримая аксиома. С незапамятных времен у меня было желание или, лучше сказать, предчувствие, что я умру где-нибудь на поле, положим, хоть на поле сражения.

О! как странно умирать  
На постели господином!  
То ли дело среди ядр!

(Давыдов)<sup>1395</sup>

\* Подобное излечивается подобным — *лат.* Эпитафия к сочинению основоположника гомеопатии С. Ганемана «Органон врачебного искусства».

Первое желание.

Сцена в Португалии под стенами Сантарема<sup>1396</sup>.

На широком поле битвы  
Огонек горит,  
На широком поле битвы  
Рыцарь мой лежит.  
Капуцин<sup>1397</sup> пришел с дарами –  
«О, святой отец!  
Разреши мне душу! близок,  
Близок мой конец!  
И последнему моленью  
Воина внемли:  
Обо мне на Русь святую  
Весточку пошли!  
Там сидит моя невеста,  
Ждет в слезах меня,  
О! святой отец! скажи ей,  
Как скончался я!  
Ты скажи ей, что до гроба  
Милую любил,  
Умер с верой, и за вольность  
Душу положил!»<sup>1398</sup>

Но это, очевидно, пахнет майским запахом первой юности. А в более зрелых летах то же самое желание выразилось иначе. В 1857 во время индийского восстания<sup>1399</sup> ирландский францисканец сидел где-то на поле сражения да слушал исповедь умирающего солдата; вдруг завизжало ядро и сразу отхватило ему голову. Образ этой внезапной геройской смерти вечно носился перед моим воображением. Как я завидовал этому патеру! как мне хотелось быть на его месте. С каким жадным любопытством я расспрашивал о нем у солдат, его знавших — и как они его любили, обожали! Умереть просто, без церемоний, без всяких гримас под открытым небом в исполнении священного долга — что могло быть лучше! По старой памяти я страстно любил солдат, да они тоже любили меня. Их целый батальон перебивал у меня на исповеди перед Крымской кампаниею. Один из них сказал мне: *you are lion-hearted, sir! У вас львиное сердце*. Это — особенное английское выражение (припомни Richard coeur de lion\*), его бы можно по-русски передать *ретиное, пламенное*, любящее сердце. Молодые ополченцы в крепости *Дунканнон*<sup>1400</sup> плакали, расставаясь со мною.

Теперь у меня не осталось никакого убеждения, за которое стоило бы умереть геройскою смертью; но доселе живет непреодолимое отвращение к пошлой смерти в душной спальне с опущенными шторами, с запахом лекарств и ладана. Знаешь, чего бы мне хотелось? Взобраться на какую-нибудь высокую гору и тихо окончить последние дни моей жизни среди чистой, ясной, утонченной атмосферы. На этой высоте господствует совершенная тишина — все бури и грозы внизу под ногами и не достигают этих ясных высот.

\* Ричард Львиное Сердце — *фр.*, прозвище английского короля (1189–1199) Ричарда I из династии Плантагенетов.

А там внизу, волнуясь, бушует,  
Кипит клокочущий поток страстей,  
По воле рока буйно торжествует  
Секира черни или меч царей!<sup>1401</sup>

Но сбудется ли мое предчувствие или нет, ты все это узнаешь в пору, и тогда, пожалуйста, пришли этак P.S. к моим запискам, т[о] е[сть] что его предчувствие сбылось и он действительно умер на поле под открытым небом. Учитель мой почивший в Бозе преподобный отец Руссо имел те же мысли: «Когда я буду близок к смерти, вынесите меня на свежий воздух, положите под тенью развесистого дуба, дайте мне еще раз взглянуть на голубое небо и сказать: “Que la nature est belle!”»

Последняя фраза чисто французская, т[о] е[сть] театральная. Без театра французам жить нельзя. Очень кстати и совершенно в народном духе французское Народное Собрание заседает или, лучше сказать, дает ежедневные представления в Версальском театре<sup>1402</sup>. Иногда актеры не ладят с режиссером, но все ж таки публика забавляется — а французам больше и не надо!

Душевно благодарю за «*Севастопольские рукописи*»<sup>1403</sup>. Это драгоценные документы, что ни говори, а мне кажется, что лучшие черты нашего народного характера найдутся в военном сословии. Вот поэтому-то я советовал бы Толстому вычеркнуть слово «*Мир*» да поставить в заглавии просто «*Война*». Он мастер описывать военные действия, а домашние сцены у него, все эти Наташи и Дуняши очень пошлы и скучны. Я наравне с тобою восхищаюсь артиллерийским офицером: жаль только, что он так мало вывел его на сцену; мне хотелось покороче с ним познакомиться. А каков крестьянин Каратаев, бывший в плену с Пьером! А сцена французского капитана с Пьером в Москве так мастерски отделана, что лучше быть не может. Скажи, пожалуйста, как вообще публика приняла книгу Толстого? и написал ли он еще что-нибудь? Но я советовал бы ему оставить в стороне *философию истории*: многие из его замечаний очень хороши, но они не у места и замедляют ход поэмы.

Нет ли у вас какой-нибудь *Малороссийской хрестоматии*? Прочитавши «Вечера на Диканьке»<sup>1404</sup>, Аткинсон возымел сильное желание покороче познакомиться с малороссийским наречием. Да не забудь, если возможно, прислать «*Записки охотника*».

Если встретишь где-нибудь закоренелого классика, сделай милость, спроси его, читал ли он *Аристофана*? Это такая *барковщина*<sup>1405</sup> на сцене, какую едва ли позволили бы представлять даже в уланской или драгунской казарме. Но, конечно, классики очень нужны для того, чтобы воспитать юношество в консервативных идеях...

Принимая в соображение и насморк, и мокрый снег, покрывающий землю, мне кажется, что я на этот раз довольно тебе написал. Еще забыл сказать, что у нас в России живут два различных народа, не имеющих между собою ничего общего, т[о] е[сть] 1-е высшее сословие и 2-е простой народ. Не правда ли? По крайней мере, это различие ярко выказывается в книге Толстого.

Но уже весеннее солнце начинает пригревать, этот небольшой снежок удобрит землю и скоро появится зелень и цветы и тогда

\* Как прекрасна природа — *фр.*

Adieu, livres poudreux! Ennuyeuse lecture!  
Du grand livre des champs les trésors sont ouverts!  
Partons! que les beaux lieux nous rendent les beaux vers  
Delille!\*

Эти стихи я читал с милою Александрой Ивановной Барышниковой, дочерью нашего полковника, в местечке Липцах Киевской губернии. Вечная ей память.

Твой В. Печерин.

## № 162. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

21 февр[аля] 1873

Насморковое письмо твое получил я в гораздо худшем состоянии, нежели в каком ты был, когда писал его ко мне. С некоторого времени у меня опять возобновились сильные боли в мочевом канале; не скажу, чтоб они были очень часто, но зато редко, да метко. Вчера именно я страдал сильно, так что мог читать твое письмо по-немногу; принудил себя прочесть его, чтоб отвлечь внимание от болей. Ты мечтаешь умереть под открытым небом на поле, даже еще на поле сражения, а я был бы очень доволен, если бы пришлось окончить дни не при хирургической операции. Смерть как-то нисколько не пугает меня: оставлять некого. Сестры<sup>1406</sup> поплачут, сильно погорюют и найдут в горе источник жизни: начнут служить панихиды, заупокойные обедни, на них сосредоточат свою страшно скучную обыденную жизнь и прекрасно. Тебе сгрустнется, потому что ты опять останешься без живых сношений с Россиею, и еще более потому, что оторвется от сердца сорокалетняя совершенно бескорыстная дружба. Итак, смерть — дело постороннее, а страдания, ослабление сил, вся эта перспектива с прибавкою упадка духа, может быть несмолкаемых жалоб, признаюсь, неохотно смотришь на такую невзрачную перспективу.

Малороссийской хрестоматии я ни одной не знаю, но полагаю, что могу тебе выслать какую-нибудь малороссийскую книжку. Надобно тебе сказать, что одно время пробежала как-то у нас струя мелких народностей, и начали выдумывать особое малороссийское правописание, даже думали, что этим сильно потешат народ в Малороссии. На деле оказалось, что в народе гораздо более здравого смысла, нежели у людей *письменных*. Когда народу предложили малороссийские книжки в школе, родители говорят: «А на каком языке писаны законы и священное писание?» Им говорят: «На великорусском и церковно-славянском». «Ну, так нам то и требо, а свое

\* В подлиннике: “Adieu des paravents l’ennuyeuse clôture,  
Adie livres poudreux, adie froide lecture!  
Du grand livre des champs les trésore sont ouverts:  
Partons, que les beaux lieux me rendent les beaux vers!”  
“L’Homme des champs, ou les géorgiques françoises”, chant I.  
«Прощай, закрытая и скучная ограда!  
Прощайте пыльные книги и унылое чтение!  
Великая книга природы открыла свои сокровища:  
Отправимся искать для себя прекрасные места и прекрасные стихи!»

Строки из поэмы известного французского поэта Жака Делиля (1738–1813) «Сельский житель, или георгики французские», песня I.

наречие мы и так знакомо». Между самими писателями были такие как, например, поэт Шевченко, которые писали просто употребительным в народе говором, были и такие как Гулак-Артемовский<sup>1407</sup>, которые с намерением выбирали местные особенности в словах и оборотах речи, чтобы показать сильное различие между двумя наречиями, но этих часто не понимали и сами малороссияне. Малороссийское наречие и внутреннее его содержание, если только можно так выразиться, дополняет великорусское. В нем преизобилие сердечности; чрезвычайно много грустного настроения в песнях и нежности в обиходном говоре.

Ой, волы ж мои, волы да половые,  
Що же вы не орите?  
Ой, лета ж, мои лета да молодые,  
Що же вы мерно йдете?  
Ой, коли б нам да погоничей,  
Може б мы и поорали.  
Ой, коли б нам весело було,  
Може б мы и погуляли.

Уменьшительные наречия, например, *туточки* вместо тут; *тамочки* вместо там. Мое серденько. Выпуклость изображений, например, *тудою*, *сюдою*, то есть по ту или по сю сторону. Потом множество юмору:

Сидит казак на стерни  
Да штаны латаэ,  
Стерня ему жопу колэ,  
А вин стерню лаэ.

Стерня — остаток соломы с корнем после жатвы. Латаэ — почиивает, заплачивает, кладет заплату (латку). Лаэ — ругает, лает. Собака по-малороссийски не лает, а брешет.

У сосида хата била,  
У сосида жинка мила,  
А у менэ ни хатинки,  
Нема щастия, нема жинки.

Или, пожалуй, вот тебе и моя песенка:

На що менэ женитася?  
На що менэ жинку брать?  
Э у менэ сосидушка,  
Гарна, чернобрива.

Напевы малороссийские чрезвычайно как разнообразны и чрезвычайно гармоничны. Ухо у малороссиян в высшей степени музыкально. Не обещаю тебе на-верное, но постараюсь прислать ноты напевов и малороссийских и великорусских. Твой Аткинсон и его жена будут очень довольны. Разумеется, в нотах не найдешь того, что собственно составляет *шик* выражения, характеристику напева. У нас в Великороссии разгул безграничный и потом удаль молодецкая, несмотря на то, что

Унылый звук — песнь Русского.

От мужика и до поэта, мы все поем уныло, и много у нас песней заунывных.

Коли ты будешь пай-старичок, то я тебе буду присылать от времени до времени и книг и нот; если же (чего Боже сохрани) ты сильно заленишься, то опять соберусь в Лондон и Дублин и не знаю, что с тобою сделаю.

Все это я пишу тебе из Правления Курской дороги в промежутке времени, пока переписываются бумаги и подготавливаются векселя к подписанию.

Думал писать тебе еще; но, увы! еду в Петербург, напишу оттуда.

Твой Ф. Чижов.

### № 163. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Петербург  
5 марта 1873

Продолжаю письмо, начатое в Москве. В тот день, как я послал тебе мое письмо, я должен был поехать в Петербург, теперь это переезд в 15 часов. Здесь я распорядился, чтоб к тебе по одной книжке (издание не довольно удобное, впрочем, in 4°, в два столбца) переслали издание Стелловского новейших русских писателей<sup>1408</sup>. В нем немного талантливых, то есть высоких талантов, но не мешает тебе ознакомиться и с нашим обиходом. Петербург с того времени, как ты его оставил, сильно изменился, хотя улицы остались те же самые. Теперь начиная от Невы, захватывая памятник Петру Великому и кругом всего Адмиралтейства, устраивается сквер огромных размеров. По Невскому и на Васильевский остров идет железно-конная дорога; в том месте, где когда-то за леность и нерадение по службе с тебя снимали сапоги во временной комиссии, теперь стоит дворец Марии Николаевны<sup>1409</sup>. Мне, несмотря на то, что я в Петербурге прожил с 13 лет до 30, он сильно не нравится. В нем страшно развито чиновничество, и тут средоточие всей государственной стороны всей России. Народу приезжает многое множество, потому что всех зовут сюда дела. Общественных удовольствий вволю, и все-таки для нашего брата-домоседа как-то очень неприятно. Я останавливаюсь обыкновенно у Поленова, если ты его помнишь. Теперь у него уже большая семья: пять человек детей, три сына и две дочери<sup>1410</sup>. Сыновья уже вышли из университета. Старший — художник, очень талантливый, теперь находится в Риме. Это тоже для тебя общественный переворот: в наше время было непонятно, чтоб сын тайного советника был художником. Из наших товарищей я не видал никого. Правду сказать, у Никитенки скучно, все хотел побывать у Редкина, да не нашел времени. Проклятая промышленная жизнь так затягивает в свой омут и так бездельница ревнива, что не позволит никому и ничему уделить ни минутки. Сегодня я еду обратно в Москву, опять за свое обычное дело. Думаю скоро начать новое издание Гоголя, от прошедшего в 10 тысяч экземпляров осталось менее тысячи, то есть менее чем на год, теперь опять издам тысяч 10 или 12. Берет раздумье, издавать ли с портретом, даже с портретами (один юного Гоголя, другой автора «Мертвых душ») или без портретов. Тут разница тысячи на полторы или на две рубля, а семейство его, то есть наследники, люди весьма небогатые. Впредь до твоего письма.

Твой Ф. Чижов.

Р. С. Посылает ли тебе Бартенев свой «Русский Архив», прочти записки Шестакова<sup>1411</sup>.



№ 164. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

3 апреля н[ового] ст[иля] 1873

Мне крайне жаль тебя, любезный Чижов! Ты опять страдаешь от последствий твоей старой болезни. Но одного я понять не могу: как при этих болях ты можешь так развезжаться из Москвы в Петербург и обратно, да еще зимою — это непостижимо! Тут одно из двух: или у тебя железное русское сложение, или — геройское терпение! Каково было бедному Наполеону при этой болезни просидеть верхом целых пять часов при Седане — тут поневоле подпишешь капитуляцию. Да зачем ты не последуешь примеру некоторых государственных мужей: потрудившись достаточно на пользу общую в государственной службе, они на старости удаляются на покой куда-нибудь в Ниццу<sup>1412</sup> или в Сорренто; вот так и тебе бы тоже сделать. Каково мне слышать, что в Париже уже настоящий летний жар, а у нас все еще бледное солнце перемежается с апрельскими дождями. Жаль, что ты не написал мне прежде, что остановишься у Поленова, я бы просил тебя отдать ему от меня низкий поклон: я очень хорошо его помню как самого любезного и *солидного* собеседника в кружке Никитенко, он, кажется, был тогда в дипломатической службе. Если газеты не врут, то мы скоро с вами породнимся — ну, что же! с Богом! веселым пирком да и за свадебку! А герцог Эдинбургский лихой малой, очень сведущий, объехал кругом света и во всех отношениях достойный жених царской дочери<sup>1413</sup>. «Русского Архива» за этот год я еще не получал — кто это *Шестаков*? фамилия как-то очень знакомая: не был ли он с нами в университете?

Откуда взялись эти «*Ташкентцы*»<sup>1414</sup>? Это что-то совершенно новое и свежее; но тут одно меня поражает, а именно то, что русское общество в 1873 ни дать ни взять то же самое, что было в 1836: та же поверхностность, та же уверенность в нашей гениальности и в том, что мы все знаем, ничему не учившись, — то же смешение французского с нижегородским<sup>1415</sup> и, наконец, те же каверзы и то же взяточничество, несмотря на гласный суд и сословие *аблакатов*<sup>1416</sup>. Но, впрочем, и то, может быть, что автор уж чересчур рисует все в самых черных красках. Да нет, брат! Видно, природы не изменить: взятки глубоко вкоренились в человеческой натуре; недавно один сенатор в Соед[иненных] Шт[атах] был публично уличен в колоссальном лихоимстве, да им это как с гуся вода. Любопытно бы знать, как долго может существовать республика, составленная из самых бессовестных торгашей?

Аткинсон намерен ехать в Вену на выставку<sup>1417</sup> особенно для того, чтоб поглядеть на русский театр: там дадут «Смерть Грозного» и «Аскольдову могилу»<sup>1418</sup> и пр[очее]. Об одном я сожалею, что мне никогда не случилось слышать оперу Глинки «*Жизнь за царя*»: все единогласно ее хвалят. Какая-то русская примадонна *Лавровская*<sup>1419</sup> недавно отличилась в Лондоне.

Надеюсь написать тебе побольше с наступлением теплой погоды, а теперь покамест скажу до свидания

Твой В. Печерин.

Три женщины.

Не добро быти человеку единому:  
Сотворим ему помощника по нему.  
*Книга Бытия*<sup>1420</sup>

В июле 1849 в туманном и дымном Манчестере, где солнце видеть за редкость, отцы-редемптористы давали миссию в готической церкви св[ятого] Вилфрида<sup>1421</sup>. Каждый вечер церковь была битком набита. Однажды после вечерней проповеди часу в 9-м я сидел в *исповедне* (confessionnal). Подходит ко мне девушка — одна из так называемых *несчастных* — нельзя сказать, чтобы она была очень красива собою; она была, так сказать, средней руки. Вот ее история: «Я шла по улице с двумя подругами; вижу, церковь освещена, я вошла на минуту, а тут проповедь. Священник с большим чувством рассказывал раскаяние и покаяние Марии Египетской — это тронуло мое сердце. Я и прежде давно уж думала оставить этот несчастный образ жизни; но что же мне делать? где приютиться? Я пришла вас попросить, не сможете ли вы сделать что-нибудь для меня — доставить мне средства добывать насущный хлеб честным образом». — «Очень хорошо, — отвечал я, — я постараюсь, приходите ко мне завтра поутру». А на следующий день является ко мне разряженная дама и из ее повести явствует, что она тоже была в старые годы, как говорят здесь, *на улице*, но теперь она замужем за богатым купцом, живет в почете и довольстве. «Ну, вот и прекрасно! Бог дает вам случай сделать доброе дело. Вот так и так — вчера была у меня девушка», — и рассказал ей все. Она тотчас же подхватила: «Тотчас же пришлите ее ко мне: я сделаю для нее все, что могу». — И на следующий день она взяла ее себе в прислуги. Каково! Вот так иногда случается сделать добро украдкой и тихомолком.

Вторая женщина.

Английский лорд или просто богатый джентльмен женился в Париже на балетной фигурантке — *fille de ballet*\*. У него большое поместье в Ирландии, вот они и переселились сюда на житье: они живут в совершенном уединении и никто к ним не ездит. Бестолковые католики объясняют это тем, что она католичка; это сущий вздор! в высших сферах вовсе не обращают внимания на различие вероисповеданий; католические лорды с их семействами приняты везде в высшем обществе и при дворе. Но дело в том, что человек, хоть мало-мальски знакомый с хорошим обществом, с первого взгляда увидит, к какому сословию эта француженка принадлежала. Она высокая, стройная, с полными формами женщина, в полном смысле *belle femme*\*\*! Но манеры ее как-то отзываются рыбным рынком (*marche au poissons*), и хотя она и парижанка, но даже ее произношение как-то грубо и шероховато. Не будучи в состоянии свободно выражаться по-английски, она обратилась ко мне для исполнения христианского долга. Я в то время был еще под влиянием романтических идей: я воображал себе, что подобная женщина должна была быть жертвою несчастной любви, обольщения и пр[очее] и пр[очее] — и предложил ей вопрос в этом смысле. Она отвечала со свойственной француженкам грубостью и цинизмом: “*Quel diable!*

\* Танцовщица из кордебалета — *фр.*

\*\* Прекрасная женщина — *фр.*

quel amour! je n'ai jamais aimé personnes, il me fallait de l'argent et voilà tout!"\* Вот урок сентиментальным Дон Кихотам. Я раз только был у них в доме. Странно! Кажись богатый дом, а все как-то не клеится. Он больше походил на жилище студента с гризеткою в 6-м этаже, чем на семейную обитель джентльмена. Во всем был какой-то беспорядок, распушенность, неряшество. Знаешь, в доме, где есть благовоспитанная умная женщина, добрая мать семейства, тут слышишь какое-то благоухание семейной жизни, везде виден порядок, чистота, изящный вкус; а тут, напротив, везде видна была гризетка. Что ни говори, а эти неровные браки никуда не годятся. Как же женщине жить вне общества? Она поневоле должна сделаться кухаркою. Счастлив этот барон своею женитьбою или нет — этого я не знаю, но я уверен, что жена к нему очень привязана и верна ему, тем более что нет для нее никаких искушений и соблазнов, потому что они никуда не выезжают и никто к ним не ездит.

### Третья женщина.

У женщин этого класса в Ирландии более чувствительности, более сердца. Много их перебывало у меня во время холеры. Сколько я видел миленьких личек, которых ни разврат, ни болезнь не могли исказить! Какие роскошные длинные густые волнистые волосы, такие волосы, что какая-нибудь дама заплатила бы за них весом золота. Одна из этих несчастных жертв умерла на руках у меня. Перед смертью она сказала мне: «Поцелуйте меня в щеку, и я умру счастливою» (Kiss me on my cheek, and I will die happy!). Я в то время (этому 12 лет) был строгим блюстителем *духовных* приличий: мне показалось это неприличным, и я дал ей поцеловать холодное медное распятие... Какое-то облако грусти омрачило ее лицо: она как будто чувствовала себя отверженной, презренной... До сих пор не могу забыть я, и до сих пор мне жаль, что не исполнил ее просьбы. Этот поцелуй был для нее символом прощения, примирения, восстановления здесь на земле и залогом вечного блаженства за гробом. Вот так-то мы крепки задним умом!

## № 165. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

2 апр[еля] 1873

Начинаю писать к тебе и вместе с тем приступаю к совершению преступления, именно навязываю на тебя маленькую сумму в 75 ф[унтов] стерлингов. Ругай меня сколько душе угодно, но не моги и думать отказать твоему истинному другу в возможности избавить тебя хоть сколько-нибудь от холода и от тысячи случайностей, которых число и возможность страшно растут с годами. Может быть, все эти случайности создаются моим воображением; но имеешь ли ты право оставлять близкого тебе человека на мучения? До сих пор я уплачивал мои долги, вызванные моими предприятиями, теперь они почти все уплачены, а тратить деньги на жизнь я не умею и не вижу надобности усиливать траты на то, что никогда не составляло для меня непременной принадлежности жизни. Ты знаешь, мой милый Печерин, что я работаю сильно, много получаю за работу, но верь мне, что никогда, ни на минуту я не работал для того, чтоб получить больше денег: работа сделалась атмосферою моего возможно здорового

\* Кой черт! какая любовь! я никогда не любила людей, мне просто были нужны деньги, вот и все — *фр.*

настроения, без нее я решительно пропал бы. Иногда она меня страшно утомляет, зато в эти минуты так жаждешь отдыха, и отдых так сладок, как трудно и передать. Здоровье как-то скверное; ты пишешь, как я могу ездить при моих болях? Железные дороги мне нисколько не вредны: я сплю дорогой превосходно; вагоны высших классов у нас далеко удобнее ваших английских, с ватерклозетами, топлёные и почти с постелью. Я как директор и даже, если хочешь, председатель двух больших железнодорожных Обществ большею частью пользуюсь особенным отделением, и потому для меня езда по железной дороге полнейший отдых. Быстрота движения придает быстроты полету воображения: ничего не делаешь, часто ничего не думаешь и здоров. В Петербурге я всегда останавливаюсь у Поленова; его семья ко мне очень привязана, дети уже давно взрослые, старший кончил курс в университете кандидатом и получил золотую медаль в Академии искусств. Теперь он как художник-живописец живет в Риме; второй служит в министерстве финансов, очень милый малый, третий кончает курс в университете. Из дочерей — старшая ровесница (близнец) старшего брата давно замужем; вторая — преумная и премилая девушка. Все они зовут меня дядею с детства, и я у них совершенно как в своей семье.

*2 апреля.* Письмо мое начато вчера, но боли были так сильны, что я не мог писать. Скоро поеду в Петербург, дам исследовать себя моему славному Эберману, который так превосходно делал у меня операции литотритии<sup>1422</sup> — раздробления камней. Правду сказать, эти проклятые боли и плохое состояние желудка как-то невольно весьма неприятно действуют на меня.

Твои три женщины, три прекрасные мотива, и если бы не холод, придавший тебе не совсем живое настроение духа, ты не оставил бы их мотивами, а придал бы им всю прелесть инструментовки, которою ты мастерски владеешь, когда бываешь в духе. Поверь мне, Печерин, вся твоя автобиография будет одним из прекрасных явлений в нашей литературе, не будь я так каторжно занят, я напечатал бы какой-нибудь отрывок; но всю печатать пока рано. Я все думаю, авось либо ты снова будешь присылать побольше. Решительно я не могу согласиться с тобою в том, что монашеская жизнь не дает ничего для изображения ее словом; твои исповеди, влияние их на тебя самого; зная тебя, я совершенно убежден, что стоит тебе только немножко овладеть собою, и у тебя явятся картина за картиною. Ты сам, не зная как, сделал доброе дело, поместив одно «погибшее, но милое создание» на хорошее место; думал ли ты, что ты сделаешь вдвое, втрое добра, забросив искру участия твоим рассказом в живую душу читателя. По-моему, не столько добра получает тот, кто пользуется приютом или каким-нибудь делаемым для него добрым делом, как тот, кто сам что-нибудь сделает хорошее. Особенно теперь, в наше время, когда все, даже внутренняя жизнь, вошло в какой-то жизненный механизм без всякого самостоятельного проявления. Сколько я не читал твоих отрывков в разных сферах, везде они пленяли; разумеется, дамы всегда более имеют чутья и потому пленяются более мужчин.

Не знаю, начали ли посылать тебе издания Стелловского — «Новых русских писателей». Я распорядился этим в Петербурге, но не знаю, исполнили. Мне также хочется послать тебе «Жизнь за Царя», положенную на фортепиано. Думаю, что скоро пошлю.

Прости меня за то, что по глупости корреспондента Банка тебя в векселе называли *M. le Pasteur\**, это не то вольный, не то дурацкий перевод написанного мною

---

\* Господин пастор — *фр.*

Rév[éren]d Vlad[imir] Péтч[é]rin]. Только главнее всего для меня: прости за то, что я без твоего позволения решился послать к тебе маленькую сумму. Секунду вексе-ля<sup>1423</sup> я пришло потом чрез неделю.

Я нарочно послал тебе «Ташкентцев» Щедрина (Салтыкова); это человек в высшей степени желчный. У него много было вещей довольно талантливых, но он как-то исписался, и теперь все его достоинство в желчи до озлобления. Никак нельзя отрицать взяточничества, но нельзя не сказать, что гласное судопроизводство сильно его уничтожило.

До 25 марта, то есть до Благовещения<sup>1424</sup>, погода у нас была превосходная — тепло и светло, так что снег давно весь стаял и уже просыхало. Вдруг в Благовещенье вечером снова снег, правда, он в ту же ночь и исчез, но повторяется всякий день с такою метелью, что зги не видно.

Не поленись тотчас же мне ответить. Я буду сильно заботиться о том, что ты на меня вздуешься, хотя это было бы и скверно, потому что мною не руководит ничто, кроме самого живого и горячего чувства дружбы. До скорого письма.

Твой Ф. Чижов.

### № 166. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

9 апр[еля] 1873

Христос Воскресе, мой милый Печерин. Как подсудимый ждет решения своей участи, так я жду твоего решения; если ты только разругаешь меня, то я примусь за то же самое. Сам начну ругать тебя. Получил я письмо от Поленова, который пишет, что купил издание Стелловского, которое уже прекратилось, и посылает тебе, то есть прежде Савичу, а ты получишь уже тогда, когда Савич прочтет.

Недавно я писал к твоему племяннику и получил от него ответ. У них в Саратовском Окружном Суде было дело тещи Поленова Воейковой<sup>1425</sup>, дело совершенно справедливое, и я просил его обратить внимание на справедливость дела. Он отвечал мне, что дело выиграно несмотря на его сильную запутанность и то, что со стороны Воейковой, надеявшейся на правоту своего дела, не было не только адвоката, но даже просто представителя, могущего объяснить запутанности<sup>1426</sup>. Как не ругает все Щедрин (Салтыков), а совестно не сознаться, что гласный суд много дал нам в деле правости суда.

Вчера у нас было Светлое Христово Воскресенье, и я за заутренею издали видел Сергея Баршева со звездами на груди и с выражением станového пристанства науки на лице. Не стало охоты подходить к нему. Не можешь ты себе представить, что теперь наши университеты. Профессора решительно станové приставы или квартальные<sup>1427</sup> науки с тою только разницею, что все они превосходительные, что у многих из них сияют звезды и никак не могут покрыть своим блеском сияния глупости, апатии и тупоумия в их взорах. Попечитель — кусок мяса, добрый, откормленный телец<sup>1428</sup>. Еще-таки в настоящую минуту ректором Соловьев<sup>1429</sup>, профессор русской истории, написавший, кажется, 22 тома «Русской истории от доисторических времен до Екатерины». Человек недаровитый, но, по крайней мере, трудолюбивый, копавшийся в архивах, прочитавший летописи, грамоты и договоры. И то, слава Богу.

Пишу только для того, чтоб тебя сколько-нибудь умилоствить. Я обыкновенно в праздники говорю всем, что еду в Ярославль или в Петербург, запираюсь на ключ

и никого не принимаю. Три дня уединения и даже совершенного отшельничества очень приятны. Обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижов.

P.S. Твоих писем у меня теперь 42, а я не приступлю ранее к печатанию, пока не будет их по меньшей мере 80, иначе выйдет брошюрка. Думаю, что в нынешнем году напечатаю отрывок в журнале.

### № 167. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

1 мая н[ового] ст[илия] 1873

Нечего делать с тобою — это как-то напоминает Цюрих, хотя при совсем других обстоятельствах. Будь я помоложе да еще под влиянием философии Руссо, то, может быть, я, так сказать, относительно говоря, и *взбеленился* бы...

Но в сердце, бурями смиренном,  
Теперь и лень и тишина,  
И, в умиление вдохновенном,  
На камне, дружбой освященном,  
Пишу я наши имена<sup>1430</sup>.

Итак, теперь без всякой философии и даже без поэзии я с благодарностью принимаю твой подарок как залог твоей неизменной дружбы. Но при этом я по совести должен объяснить тебе, что в так называемых потребностях жизни я вовсе не нуждаюсь и даже имею во всем обилие. Но есть предметы роскоши или, лучше сказать, ученые затеи, сделавшиеся первыми потребностями умственной жизни. Вот, например, я недавно купил четыре *in 4°* на арабском языке (1000 и 1-а ночь) да еще большое сочинение Декена “*Système de Botanique*”<sup>1431</sup>. Вот такие бывают у меня издержки, но, впрочем, они никогда не переступают за пределы моих доходов, следовательно, нет ни малейшего опасения, что меня посадят в тюрьму за долги. Единственным последствием твоей посылки будет то, что, может быть, число моих прихотей увеличится, и за это тебе придется отвечать на страшном суде.

Кажись нечего с тобою толковать о Ницце и Сорренто: ты, видно, решил умереть в упряжи, как говорится по-английски (*to die in harness\**); но зачем же страдать понапрасну, когда есть средство под рукою. Поезжай поскорее к твоему чудотворцу Эберману: он пошепчет что-нибудь над тобою и излечит тебя от твоего недуга и будешь здоров и цел с того же часа. (Секунда получена). Как хороша твоя заметка о Баршеве и университете! Как славно я это угадал в 1836 году! Я пророческим взором все это предвидел и даже о звезде на груди Баршева упомянуто мною в письме к графу Строганову<sup>1432</sup>. Добрэ ж я зробив, що утик з университета, а не то скачи враже як пан каже.

Кстати, Луи Виардо мастерски перевел «*Тараса Бульбу*»<sup>1433</sup>. Лучше и вернее перевод быть не может. Он, должно быть, большой знаток русского языка.

Хивинский поход<sup>1434</sup> возбуждает всеобщее внимание. Черт знает откуда “*Daily Telegraph*” берет таких лихих корреспондентов: первое письмо (о Хив[инском]

\* Умереть на своем посту — *англ.*

походе) написано мастерским пером и человеком, совершенно знающим русский язык. Он говорит с большим энтузиазмом о наших солдатах. Вообще англичане любят такие смелые предприятия.

Только русский корреспондент в “Tablet” говорит, что это будет вторая мексиканская экспедиция; тут тотчас видишь католика: эти господа любят ловить рыбу в мутной воде. По ним хоть весь свет перевернись верх дном, лишь бы только спасти своего любезного папу да себе набить карманы.

Герцог Эдинбургский уже проехал через Рим и отправился в Неаполь, а от Неаполя до Сорренто, знаешь, недалеко...

Ты недаром говоришь о холоде: несмотря на 1-е мая, у меня все еще огонь теплится в камине.

Если можешь прислать музыку «Жизнь за Царя», то крайне обяжешь: мне очень хочется познакомиться с этой оперою.

Твой В. Печерин.

Фальмут  
(1845–1848).

Итак, мы опять в Фальмуте,

Там, где море вечно плещет  
На пустынные скалы<sup>1435</sup>.

Благоприятный климат, где лавры растут, переплетаясь с розовыми кустами; море, сверкающее в заливах, бухтах, разных закоулках под навесом черных скал — там и сям почтенные следы древней финикийской промышленности<sup>1436</sup>: все в этом очарованном уголке как будто нарочно устроено было для того, чтобы украсить жилище пустытника. С каким-то странным сладостно-грустным чувством я вспоминаю об этом времени. Мне кажется — это сон, и я спрашиваю себя: неужели это был я? В эти три года я будто напился воды из реки забвения: ни малейшего воспоминания о прошедшем, ни малейшей мысли о России (кроме обязательных официальных писем к родным), ни малейшей заботы о завтрашнем дне, я жил буквально со дня на день (*du jour au jour*) с слепую верою, с неограниченным повиновением, с детскою доверчивостью к людям. Главное то, что у меня недоставало одной из важнейших пружин человеческой деятельности, т[о] е[сть] *честлюбия*. Да! у меня его вовсе не было. Правда, оно являлось по временам, будучи возбуждаемо и подстрекаемо другими; но само по себе оно бы вечно спало непробудным богатырским сном. Если бы меня почти насильно не вызвали в Лондон (1848), я готов был остаться в Фальмуте до скончания века, жить в тесном кружке, делать кое-какое добро, любить и быть любимым — этого для меня было довольно. Я мог бы сказать с театинским кардиналом<sup>1437</sup> (*Cardinal di Teate*): «Я хотел бы преобразовать целый мир, но с тем, чтобы он не знал о моем существовании» (*sans que le monde se doute de mon existence*). Я всегда любил так называемую *скрытную жизнь* (*vie cachée*). Я хотел бы исследовать все глубины науки, но без *шума слов, без битвы прений, без гордости почестей* (*sine strepitu verborum, sine pugnatione argumentorum, sine fassa honoris*). Я не мог быть профессором в России, потому что там требуется не в самом деле наука, а слова, декламация, *пыль и глабро-сание* и отличие по службе. Даже покойный *Грефе* говорил, что в Петербурге ученая жизнь невозможна, потому что там все поглощается официальностью или чиновни-

ческим честолюбием. А в Риме и подавно мне дышать было невозможно: там самое средоточие пошлейшего честолюбия. Вместо святой церкви я нашел там придворную жизнь в ее гнуснейшем виде. Вместо идеальных монахов, погруженных в созерцание вечных истин, изучающих в уединении природу и искусство, я видел безграмотных лентяев, бродящих от безделья по форуму или сидящих по целым часам в передних кардиналов в ожидании каких-либо милостей для их ордена. Самый подлейший русский чиновник, сам Чичиков никогда так не льстил, не подличал, не пресмыкался, как эти монахи перед кардиналами. Из-за этого одного следовало бы давным-давно уничтожить светскую власть папы: она — поругание разума, святотатственное посягательство на достоинство человека, позорное пятно на щите 19-го столетия.

Но довольно! Вместо этих дрязг монашеского честолюбия не лучше ли сидеть в Фальмуте на берегу моря да смотреть, как судно с белым парусом колышется на волнах под самыми окнами нашего скромного домика? Наш домик стоял на террасе позади часовни. У нас было четыре комнаты наверху, т[о] е[сть] четыре спальни или кельи; внизу была приемная, столовая и кухня. Перед часовнею был палисадник, довольно запущенный, но все ж таки были еще кое-какие цветы. С этим палисадником случилась странная история. По каким-то распоряжениям начальства нашего любезного и ловкого француза брата Фелициана перевели в другой дом на севере, а на его место в прислужники прислали к нам очень набожного, но неуклюжего фламандца. Кухня и садик поступили в его ведомство. Первым актом его администрации, его *сoup d'état*\* было то, что он повырвал остальные цветы из палисадника и на место их насадил картофель. «Ведь это, — говорил он, — полезнее для монастыря, а в цветах какой прок?» Боже милосердный! посадить картофель на видном месте на террасе, на большой дороге, среди прелестных вилл и садиков — это было просто варварство! Недаром Жорж Занд сказала, что «монах без картин и без цветов не что иное, как свинья», т[о] е[сть] она не сказала это так грубо, но деликатнее по-французски: *un animal immonde*\*\* . Один только Виктор Гюго осмелился сказать прямо: *cochon*\*\*\*, но ведь ему и не то еще спускают.

Тут мера моего терпения переполнилась, да и сам настоятель был совершенно со мною согласен. «Во что бы то ни стало надобно сбить с рук этого брата», — сказали мы друг другу (*il faut nous débarrasser de ce frère-là*). «Ведь это срам и позор особенно здесь в Англии, где любят все изящное!» Сказано — сделано, и с позволения высшего начальства мы выпроводили нашего фламандца поживу по здорову, и он отправился обрабатывать картофель где-то в глуши в уединенной деревне, где его садоводство не могло оскорбить эстетического чувства людей высшего класса. А нам возвратили нашего милого расторопного *Фелициана*: под его руководством и с помощью садовника наш палисадник превратился в настоящий цветник (*parterre*) с прекрасными дорожками и роскошными цветами. Тут мы обыкновенно прогуливались два раза в день во время *рекреации* (*récréation*), т[о] е[сть] час после обеда и час после ужина, когда позволено было разговаривать, а остальное время мы должны были хранить молчание.

Нас было трое: два священника и один брат-прислужник. И для двух священников немного было дела: число католиков не доходило до ста. Но для лучшего соблю-

\* Государственный переворот — *фр.*

\*\* Грязное животное — *фр.*

\*\*\* Свинья — *фр.*



дения монастырского устава и для благолепия священнослужения нашли нужным присоединить к нам еще одного патера и прислали какого-то полоумного француза — теперь даже имени его не помню. Он не то что был сумасшедший, а так чего-то недоставало, и с ним случались странные припадки. Кажись, английский климат имел очень невыгодное на него влияние. Мы сидели однажды с ним за столом: брат Фелициан и я. Вдруг гляжу: лицо его совершенно изменилось; он посмотрел на меня искоса диким взглядом сумасшедшего и крепко схватился за нож; брат Фелициан остановил его руку. Я немножко струхнул, но на этот раз этим дело и кончилось. Но скоро, однако же, пришел кризис. Однажды после обеда мы совершали краткую молитву перед алтарем в часовне. Вдруг что-то обрушилось на меня: мне казалось, что огромная лампада, висевшая перед алтарем, упала мне на голову, а вместо того это была — огромная пощечина, данная мне сумасшедшим патером со всего размаху со словами: «*«Pourquoi me persécutez-vous?»*»\* — так что я упал почти без чувств... После этого нечего было мешкать: настоятель решился тотчас с первым же дилижансом отправить этого юродивого восвояси, в более сродный ему климат Бельгии. Но накануне его отъезда я нашел нужным запереть свою комнату изнутри — Бог весть, что могло случиться ночью. Но поутру он опять был в здравом уме, и вообще перед чужими он как-то сдерживал себя и не показывал никаких дурных признаков.

На место сумасшедшего к нам прислали человека совсем другого разряда. К нам приехал патер *Лукс*, голландец, молодой человек, живописец, музыкант, певец — все что угодно. Ты, может быть, мельком его видел в Виттеме. Но брат Федор Печерин коротко с ним познакомился и старался всеми силами разведать — какие романтические причины побудили такого красавца пойти в монахи, но ничего не выведал, потому что *ларчик просто отпирался*<sup>1438</sup>. По просьбе брата Лукс написал с меня портрет масляными красками — вовсе не похожий: он сделал меня красавцем и, по крайней мере, десятью годами моложе. А потом брат взял этот портрет с собою в Петербург и там отдал какому-то модному артисту поправить и окончить, *retoucher et donner le dernier coup de pinceau*, а тот уж действительно так его *доконал*, что вышло черт знает что такое до такой степени, что мать моя, увидев портрет, заплакала от досады. «Я ожидала увидеть монаха, а вижу ребенка». Это доказывает, что у простосердечной матери моей был истинный неподдельный вкус. А, напротив, в современной католической церкви везде господствует *мишурный* вкус. Это особенно поражает в церквях господствующей секты, т[о] е[сть] иезуитов: везде видно отсутствие простоты; все как-то натянуто, неестественно, вычурно, везде проглядывает какое-то мелкое тщеславие. Живопись в возобновленной церкви *San Paolo fuori le mura*<sup>1439</sup> — ниже всякой критики. Был у них в Риме знаменитый живописец Овербек<sup>1440</sup>, но и тот же ведь был немец и был вначале протестантом, а после перешел в католичество. Первое его произведение находится в лютеранской церкви в Любеке<sup>1441</sup>. В Риме все носит отпечаток крайнего изнеможения, дряхлости, рыхлости, все как будто разбито параличом; но все ж таки они бодрятся и хотят выставить себя молодцами. Основатель конгрегации редемптористов св[ятой] *Альфонс де Лигвори* доселе обыкновенно представлялся дряхлым стариком небольшого роста с упавшею на грудь головою; но теперь как редемптористы пошли в гору им стало стыдно иметь такого невзрачного патрона. Вот, например, св[ятой] Игнатий у иезуитов: посмотрите, какой молодец! лихой офицер да и только! А у нас-то этакой плюгавый

\* Почему вы меня преследуете? — фр.

старикашка? Нет! этому надобно помочь для чести ордена! Итак, они принялись за дело: выпрямили св[ятого] Альфонса, прибавили ему несколько вершков роста, разбелили и раздумянили его и вышел — отличный кавалергардский полковник! Это напоминает мне польскую графиню, виденную мною в Хмельнике в 1823 г[оду]: ей было лет за 70, но она всегда румянилась самою нежно-розовою краскою и с полуоткрытою грудью была одета точно как девушка лет шестнадцати — вот католическая церковь в ее настоящем виде.

Слышал ли ты когда-нибудь о русском художнике *Габерцеттеле*? В 1851 г[оду] он выставял в Лондоне огромную картину: «*Проповедь Иоанна Крестителя в пустыне*». Ее не одобрили в Петербурге. Государь Николай Павлович, взглянувши на нее, сказал: «Вот опять эта западная живопись!» — и отвернулся прочь. И Николай Павлович был совершенно прав. Не говоря уже о других подробностях, довольно было взглянуть на главную фигуру Иоанна Крестителя: вместо сурового вдохновения пророка тут выражалось какое-то приторно-сладкое изнеможение полупьяного *гандена*\*. В Лондоне тоже она не имела ни малейшего успеха<sup>1442</sup>. Этот же самый Габерцеттель непременно хотел навязать редемптористам им же писанную небольшую икону Спасителя. Настоятель отец де Гельд старался отделаться от него всеми способами, извиняясь тем, что теперь в Англии совсем другой вкус, что любят все старое, готическое и пр[очее]; а в самом деле картина была невыносимо дурна. Лицо Спасителя в терновом венке было просто портрет какого-то итальянского щеголя с завитыми кудрями и любострастными глазами. Одно доброе дело сделал Габерцеттель: он привел меня с братом к хорошему дагерротиписту, а тот снял с меня верный портрет<sup>1443</sup>, доставивший истинное удовольствие моей незабвенной матушке.

В музыке тот же ложный мишурный вкус. В папской капелле в Ватикане поют еще кое-как сносно; но во всех других местах везде оперная музыка: им недостает только пригласить Штрауса<sup>1444</sup> проиграть вальс во время обедни. К чести греческой церкви должно сказать, что она с нерушимою верностью сохранила вместе с древними обрядами и древнее величавое благолепное песнопение. На Западе оно совершенно потеряно. Некоторые из здешних священников слушали обедню в русской церкви в Женеве: они в восхищении от нашего песнопения, никогда ничего подобного в жизни не слышали — да и где же им? С самого детства они слушают только итальянские рулады да вальсы Штрауса.

Итак, патер *Луks* (Lux) приехал к нам с истинно *католическим* вкусом в живописи и музыке, с самым высоким понятием о самом себе, с гордою надеждою, что он обратит всех протестантов в истинную веру своею кистью и своим голосом. По примеру всех великих гениев он начал все преобразовывать, все переделывать по-своему: расписал, размалевал всю нашу крошечную церковь сверху донизу с весьма сомнительным вкусом, и надобно признаться, что живопись его была довольно плоха. Случилось, что сардинский военный корабль остановился в фальмутской пристани: священник (*aumônier de la flotte*\*\*\*) пришел нас навестить. Мы показали ему свою церковь как какое диво. Взглянув на живопись, он с улыбкою сказал: “Non era un Raffaele questo pittore”\*\*\*\*. А когда ему объяснили, что этот non Raffaele именно сто-

\* Франт, щеголь — от *фр.* *gandin*.

\*\* Корабельный священник — *фр.*

\*\*\* Этот художник не был Рафаэлем — *ит.*

явший возле него патер Лукс, то он расхохотался и, размахнувшись руками, сказал: “Eh bien! Je vous en félicite!”\*

В католической церкви нет крылоса<sup>1445</sup>, нет сословия дьячков и певчих, а на хорах поет всякий мирской сброд, особенно молодые люди и девушки, что подает благоприятный случай к волокитству, и это оперное пение как и все театральные пьесы часто оканчиваются счастливым браком. Патер Лукс, приехавший с намерением победить всех протестантов, сам остался побежденным и вместо того чтобы обратить их в католическую веру, сам был соращен в языческую веру известного всем древнего бога Купидона. На хорах у нас была новообращенная католичка — очень хорошенькая девушка и наша лучшая певица. Ей часто приходилось петь дуэты с о[тцом] Луксом. Вообрази себе их поющих вместе:

Ah! per ché non posso allearti  
In fede com'io!  
Ma del tutto ancher non sia  
Cancellato del mio cuore!\*\*

Им случалось часто видеться вне церкви. Надо же поговорить о музыке, выбрать и расположить ноты, надо спеться, сделать репетиции — мало ли каких потребностей не найдется у музыкантов и певчих. Он влюбился в нее по уши, и их взаимная привязанность сделалась слишком очевидною для всей почтенной публики, так что настоятель принужден был запретить о[тцу] Луксу видеться с ней наедине. Из этого вышла ссора. Перехвачено было какое-то письмо. Настоятель не хотел его выдать — Лукс насильно выхватил его и даже поднял руку на своего начальника во время самой молитвы...

Это все та же самая древняя история — и на театральной сцене, и на сцене жизни, в монастыре, в хижине и в царских палатах — везде владествует вечный приносущий непобедимый Бог любви! Ему же царство и сила и слава во веки веков. Аминь<sup>1446</sup>.

Этой драме или комедии или трагедии могла быть одна развязка: в одно прекрасное утро очень рано п[атер] Лукс вышел из нашего дома одетый по-светски, с зонтиком в руках, молча пожал мне руку, кивнул головою и пропал Бог весть куда. Его любезная — очень порядочная девушка, разумеется, не последовала за ним, но говорили, очень великодушно доставила ему средства путешествовать. И этим кончается мой роман.

Теперь, слава Богу, дошли до конца:

За это мне дайте стаканчик винца.

Из древней поэмы<sup>1447</sup>.

## № 168. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

4 мая 1873

Спасибо, брат Печерин, большое спасибо тебе за то, что ты не обидел меня, не приняв дружеского просто братского приношения, происшедшего от заботливости. Музыку «Жизни за Царя» пришлю тебе скоро, вероятно, чрез несколько дней

\* Ну что же! Я вас поздравляю! — *фр.*

\*\* Ах, почему я не могу присоединить тебя к моей вере! Но, во всяком случае, ты неизгладима в моем сердце! — *ит.*

из Петербурга, куда я еду сегодня вечером. Для меня езда по железным дорогам очень здорово: тут я отдыхаю, сплю сколько душе угодно, тогда как дома всегда недосыпаю. Наконец и то хорошо, что на дороге какие-нибудь 16 часов я совершенно один.

Все это время я был особенно усиленно занят, потому что у меня по Обществу Ярославской дороги были Общие Собрания акционеров. Минул срок моего директорства, у нас директоров выбирают на три года, меня выбрали единогласно и прочли мне благодарственный адрес. Я поблагодарил, но, несмотря на все упрасивания принять единогласный выбор, просил поступить, не отступая от буквы закона, произвести скрытную баллотировку. Терпеть я не могу насилия, а открытая баллотировка всегда имеет в себе некоторое нравственное принуждение: не у всякого достанет смелости открыто сказать противу большинства. Делать нечего, меня послушались, баллотировали тайною баллотировкою и выбрали единогласно. Это истинное почтение. И то сказать: при безрыбьи и рак рыба, при безлюдьи и жидок человек. Последняя половина пословицы имеет другой вариант: при безлюдьи и Фома дворянин. Опять в упряжь, как ты говоришь. Не умею я не служить делу или идее пользы точно так, как не умею служить в государственной службе, где половина службы — толчение воды; другая половина — прислуживанье.

Погостил у нас в Петербурге пресловутый немецкий император<sup>1448</sup>, угощали его, угощали, чествовали, чествовали и Бог знает как. Если бы сам Господь Саваоф<sup>1449</sup> вздумал пожаловать, едва ли и Тому было бы больше почестей.

Началось у нас лето, пожалуй, зеленая весна. Началась и грусть по природе. Душно летом в городе. Мне кажется, что если бы ты решился прокатиться со мною по Ирландии и Шотландии, то, пожалуй, я бы соблазнился, приехал бы к тебе и пустился бы с тобою. Италия летом жарка и для меня грустна. Я там не найду никого, не найду и той поэтической Италии, в которой я прожил лет 5, если не больше. Впрочем, еще ничего не знаю, что-то скажет мой доктор. Может быть, он пошлет меня на воды. Напиши-ка мне: можешь ли ты доставить мне вход в картинные галереи в Ирландии. Потом возможность осмотреть джинные заводы в Шотландии. У нас на Севере очень много дикого можжевельнику, и мне все приходит в голову как бы употребить его в пользу. Посмотрел бы я попристальнее на заводы, может быть, нашел бы, что и здесь можно завести такие же. Беда то, что я сильно плохо говорю по-английски, ну да как-нибудь обошелся бы.

Последние твои листики о Фальмуте очень милы. Досадно мне, что ты мало вводишь в монашескую жизнь и не разоблачаешь вполне в монахе человека. Ну да тут ты господин, тебе слава и держава во веки веков, аминь. Устал, брат, я сильно, сильно устал, так что грусть охватывает всего с ног до головы — отдохнуть пора бы мне — да где? с кем?

Еще, еще и еще благодарю тебя.

Твой Ф. Чижов.

## № 169. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
26 июня 1873

Что это такое с тобою делается, мой милый Печерин? Ты совершенно забыл, что у тебя есть Чижов, который ждет твоих писем в урочный день, как ждет он пищи в урочный час. И откуда у тебя взялась такая прыть, что ты ни с того ни с сего не

пишешь ко мне далеко уже более 1 1/2 месяца. Последнее письмо твое было тобою писано 1 мая, а теперь уже наш июнь на исходе. Я был в Царском Селе, мне делали исследование мочевого пузыря, открыли, что камня нет, но что распухла предстательная железа и мочевой пузырь дурит. Исследования я перенес, хотя и сильно страдал; после них сделался у меня нервный припадок, и пролежал я дня три, пожалуй, четыре. Прописали мне ванны из крейцианской соли<sup>1450</sup> и кое-какие гадости, но первые так взбудоражили мои нервы, что начались у меня сильные головокружения. Завтра я опять еду в Царское Село получить медицинские приказания на проведение лета, дни через четыре думаю воротиться, потом прокатиться по дороге к Вологде и после того пуститься куда направятся стопы мои врагами рода человеческого — лекарями.

Пожалуйста, напиши же ты поскорее, да ради Бога помни, что письма твои ожидаются с нетерпением. Я, брат, не стану шутить, чуть ты сильно заленишься, тотчас же начну присылать такие книги, что просто Боже упаси. Знай, что я приступил к новому изданию сочинений Гоголя. Если ты будешь себя вести хорошо, я пришлю его тебе, если будешь ленив, поминай, как звали.

Пишу к тебе единственно для того, чтоб посетовать на тебя за твое молчание. Что? Ты, я думаю, прочел уже в английских газетах о том, что мы взяли Хиву без бою; но зато поход по необмеримым степям то по морозу, то по невыносимому жару, то почти постоянно в безводных пустынях, это такой подвиг наших солдатиков, которому едва ли найдешь что-либо подобное. Теперь вопрос: что мы с Хивою делаем? Все приписывают России честолюбивые, властолюбивые и завоевательные замыслы, а между тем в самой России едва ли найдешь полсотни людей от Царя до крестьянина, которые желали бы какого бы то ни было завоевания. Ваши англичане все боятся, что мы проберемся в Индию, когда нам никак уже не до Индии, а хочется все лучше устроить дома. Давным-давно пропели наши поэты:

Пределов нет твоим владеньям,  
И, прихотей твоих раба,  
Внимает гордым повеленьям  
Тебе покорная судьба<sup>1451</sup>.

Но мы не пленяемся этим беспределом, а просим устами того же поэта:

Нам нужно сердце чище злата  
И воля крепкая в труде.  
Нам нужен брат, любящий брата,  
Нужна нам правда на суде<sup>1452</sup>.

Вот тебе и упрек, и вести, и стихи.

Твой Ф. Чижев.

## № 170. С. Ф. Поярко — В. С. Печерину

Саратов  
2 (14) июля 1873<sup>1453</sup>

Дорогой дядя Владимир Сергеевич.

Поздравляю Вас с днем ангела Вашего и желаю Вам всего лучшего. Давно уже я не писал Вам, но как Вам хорошо известно от Ф. В. Чижова, в настоящее время

не о чем писать. Я до сих пор прозябаю в Саратове, но, с одной стороны, мордва и черемиса<sup>1454</sup> порядочно уже надоела, а, с другой стороны, необходимость дальнейшего воспитания детей, старший сын мой уже в 6-м классе гимназии, заставляет подумывать о новом передвижении. Министр юстиции в бытность свою в Саратове в мае предложил мне принять с начала 1874 г[ода] вновь открываемый Нежинский суд, но как не сильно мое тяготение к Малороссии, я все еще не решился на Нежин<sup>1455</sup>, тем более что, переехав в Нежин, надо семейство поселить в Киеве, а когда еще в Киеве откроются новые суды, Бог весть. Жена моя и в этом году ездила за границу взять дополнительный курс лечения и теперь заехала погостить к сестре своей в Екатеринославскую губернию, так что я еще не знаю ее планов. Если она согласится сразу переехать в Киев, то я, вероятно, приму Нежин, тем более что Нежин связан с Киевом железным путем и всего проезда 4 часа. Как не тяжело жить на два дома, но, с одной стороны, необходимость детям быть в таком городе как Киев, где можно дать порядочное воспитание, а, с другой стороны, мысль и самому не прозевать открытия судебной реформы в Киевском округе заставляет решиться на эту жертву в надежде, что, может быть, со временем удастся приютиться в Киеве и самому. Таким образом, в настоящее время я нахожусь в переходном состоянии, полный тревожных дум и раздумья, собираю всевозможные сведения и справки, чтобы к новому году иметь возможность решиться на что-нибудь положительное.

Все настоящее лето я с детьми оставался в Саратове и благо еще, что погода стоит очень благоприятная, все перепадают дожди, иначе лето здесь невыносимо жаркое, а главное, что в особенности неприятно, так это наносимые с противоположного берега Волги песчаные ураганы, покрывающие город непроницаемым столбом пыли, постоянно идущей столбом, так что часто из-за нее не видно даже ближайших зданий, — удовольствие, о котором в прочих полосах России и понятия не имеют.

Слава Богу, сети железных дорог у нас все растут и растут. В настоящее время частью разрешены, частью уже строятся очень большие линии.

Целую Вас и прошу Вашего благословения, душевно преданный Вам племянник

С. Поярков.

**№ 171. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
3 июля 1873

Любезнейший Чижов!

Не знаю, что и думать. Тут должно быть какое-нибудь недоразумение. Я непременно ожидал от тебя письма из Петербурга. Ты отправился туда для совещания с доктором. Как же мне знать, как он порешил с тобою? Он, может быть, усрал тебя куда-нибудь за тридевять земель в тридесятое царство — в Пятигорск на Кавказские воды, в Ташкент, в Самарканд, в Бухарию, в Хиву или в Ниццу, в Малагу, в Алжир или даже на остров Мадеры<sup>1456</sup>: все это возможно. Где же мне гоняться за тобою? А может быть, ларчик просто открывается: ты благополучно возвратился в Москву и по-прежнему сидишь да подписываешь векселя с утра до вечера. В этом случае

я виноват и несу повинную голову. Савич так добр, что присылает мне «С[анкт] П[етербургские] Ведомости»: он писал ко мне, и мы обменялись с ним карточками. Как славно отделили Куторгу в «С[анкт] П[етербургских] Ведомостях»<sup>1457</sup>! Скажи, пожалуйста, где он профессором — в Петербурге или в Москве? Откуда взялась у него этакая классическая дурь? Странно, что у нас почти все профессора делаются под конец чем-то вроде Тредьяковского<sup>1458</sup>. Недаром у нас ученых держат в черном теле: они как-то живут вне современного общества. Кстати, я совсем позабыл спросить у тебя о Крылове<sup>1459</sup>: как он поживает и ладит ли с женою. Тут невольно припомнишь Пушкина:

Жена и дети, друг, большое зло,  
От них все скверное на свет произошло<sup>1460</sup>.

Я получил соч[инения] Писемского и Достоевского: Писемский у вас, кажется, очень популярный писатель — его слог сбивается немножко на Поль де Кока<sup>1461</sup>, хотя он гораздо *моральнее*.

Ну, что ж? сбылось мое пророчество? не говорил ли я тебе, что французская республика не обойдется без капрала? Был у них мудрый государственный муж, глубокий политик, уважаемый всею Европою, сделавший в два года чудеса для Франции — ну да ведь он штатский! не хотим! подавай нам генерала с усами да в ботфортах со шпорами! У них солдатчина впилась в кровь, проникла до мозга костей *jusqu'à la moelle des os*\*. Недаром *la Grande Duchesse* поет: *Ah! que j'aime les militaires*\*\* . Вот от этого, вероятно, у нас так обожают французов — свой своему поневоле брат, у нас тоже господствует особенная страсть к мундиру и эполетам. А каково это, что 60 членов Народного Собрания пошли на богомолье к какому-то чудовному образу вместе с сотнями и тысячами старых баб обоего пола? Это позорное зрелище резко обличает решительный упадок Франции.

По особенному случаю я получил письмо от Гагарина. Его мысли ни на шаг не выходят из заколдованного религиозного круга. Все один и тот же напев: «Вне католичества нет спасения для России». Какая галиматья! — именно теперь, когда все католические племена приняли революционное направление и когда высшие духовные власти беспрестанно подстрекают народ к восстанию против предрержавших гражданских властей!

Английские журналы очень выгодно отзываются об изданном Ральстоном переводе русских сказок.

Мой сотрудник по русскому слову Аткинсон отправился на вакации — куда, ты думаешь? в Норвегию! Она сделалась для англичан второю Швейцариею.

По дошедшим до меня сведениям наши русские женщины — студентки медицины в Цюрихе — ведут себя так неблагопристойно, что никто их даже в дом к себе не пускает. Кажется, русское правительство заставило их оставить Цюрих. Тамошние газеты радуются этому, потому что их присутствие мешало другим порядочным женщинам посещать университет.

В неизвестности о том, что ты и где ты, я не пишу больше, но вознагражу за это следующий раз по получении от тебя письма.

Твой В. Печерин.

\* До мозга костей — *фр.*

\*\* Великая герцогиня поет: «Ах! Как я люблю военных!» — *фр.*

№ 172. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
19 июля 1973

Виноват! виноват! кругом виноват! несу повинную голову. Но теперь не до того, а дело в том, что здоровье твое очень плохо. Тут нечего хитрить да бранить докторов, а надобно покориться необходимости — *il faut entendre raison\**, как говорят у нас на французско-нижегородском наречии. Ты непременно хочешь соединить две вовсе не сочетаемые вещи, т[о] е[сть] расстроенное здоровье и усиленный труд. Были и здесь люди, работавшие без устали до 90-го года их жизни (покойный судья *Лефрой*), но у них было железное здоровье, и они никогда больны не бывали. А тут как же трудиться с такими болями? Ведь надо же знать и честь. На все есть время: время рождати и время умирати, время садити и время исторгати сажденое, время плакати и время смеяться, время рыдати и время ликовати, время обымати и время удалятися от обымания и, наконец, время подписывать кредитные письма и время отдыхать от подписывания оных<sup>1462</sup>.

Но теперь, возлюбленные братья, обратимся к новому и радостно-многозначительному событию. Скоро наш преподобный отец Евгений в Лондоне<sup>1463</sup> воспоет: «Исаия ликуй! Се дева зачне во чреве и роди сына Эммануила!»<sup>1464</sup> — и белые скалы Альбиона в первый раз узрят лик русской царевны, и волны британского канала радостно всплещут ей навстречу... «Слыши дщи и виждь и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего»<sup>1465</sup>. Мне кажется, я рожден быть придворным поэтом. Да это не шутя: при моем рождении вынули мой *гороскоп* по какому-то старому альманаху, вероятно, Мартына Задеки<sup>1466</sup>, и вышло, что я буду служить при дворе, чему отец мой был чрезвычайно рад. Славно угадали! вышел отличный придворный, такой, что даже при дворе графа Строганова<sup>1467</sup> служить не сумел, не говоря уж о позорном изгнании из *придворной* Комиссии Государственного Контроля.

Везде во всех устах гремит хвала России и ее победоносному воинству. Даже известный *Вамбери*, знающий Среднюю Азию как свои пять пальцев и вовсе не друг России, в письме к *“Times”* говорит, что Хивинский поход затмевает все подвиги Александра Великого и Наполеона<sup>1468</sup>. Да какой тут Наполеон, и где же французам сделать что-либо подобное? Это вовсе не в их характере. Тут нечем пощеголять, тут нет ничего лестного для народного тщеславия, тут нет ни пирамид, ни сорока веков, а просто самые прозаические вещи: зной да холод, жажда и голод, повиновение и терпение — ужасная проза! — а с этою-то прозою люди основывают прочные империи.

Но, впрочем, в этом завоевании есть и поэзия, и глубокое историческое значение: теперь в руках России находится самая колыбель человеческого рода — известно, что благородное арианское племя<sup>1469</sup> вышло именно из Средней Азии. Помнишь ли ты стихи Жуковского по заключении мира с Персией в 1828: их пели в Зимнем дворце

Мы вспомнили прекрасно старину,  
Через Кавказ мы пушки перемчали,  
Одним ударом кончили войну  
И Арарат, и мир, и славу взяли;

\* Надо внять доводам разума — *фр.*



И Русский там, где прежде был  
Утешен мир дугой завета,  
Свои знамена водрузил  
Над древней колыбелью света!<sup>1470</sup>

Надеюсь, что *после свадьбы* русские газеты будут относиться дружелюбнее к Англии. Да, что это такое «Русский мир»? Мне кажется, что ему здесь приписывают больше влияния, чем он заслуживает.

Прилагаю при сем документ — письмо к Генералу Редemptористов в 1861 — это просьба об отставке. Лучше всех возможных описаний оно, верно, изображает все монашеские идеи и рисует мое тогдашнее настроение. Как все теперь изменилось! Очевидно, что монашество и священство было для меня нечто неестественное, привитое: от всего этого осталось только одно — страстная любовь к уединению и к молчаливому созерцанию природы. Гулял я однажды с покойным Прейсом<sup>1471</sup> где-то за городом (в Петербурге), и вдруг неописанная грусть овладела мною. Я упал на траву и зарыдал — это была тоска по чем-то незнакомом, далеком — там, там, за морями...

Твой В. Печерин.

Limerick, Irlande

Révéréndissime Père.

Avec le respect et la confiance qui sont dus à la haute charge que Dieu vous a confiée, je viens déposer aux pieds de Votre Paternité l'exposé fidèle de mes sentiments les plus intimes, afin que vous en disposiez selon la justice et la charité.

J'aurai bientôt 54 ans. J'ai passé 20 années dans la Congrégation. J'ai vécu assez dans le monde et dans la Congrégation pour pouvoir dire avec le Sage: "Vanitas vanitatum et omnia vanitas"! Les événements qui agitent le monde et l'Eglise, la vieillesse qui approche, le besoin impérieux que j'éprouve de mettre un intervalle entre une vie dissipée et la mort; tout cela m'inspire un vif désir de quitter entièrement le monde et de consacrer le peu d'années qui me reste, aux exercices de pénitence dans un ordre austère.

Ce désir n'est pas nouveaux :Je l'ai éprouvé presque dès mon enfance. Nous autres Russes, nous ne comprenons rien à la vie active. A nos yeux un religieux est un solitaire — monachus — entièrement séparé du monde et dont la vie est partagée entre le travail des mains, les veilles, les jeûnes, le silence perpétuel et le chant de l'office. Quand, il y a vingt ans, je me préparais, à Liège, à embrasser la religion catholique, mon plan était tracé d'avance: je voulais aller tout droit à la Grande Chartreuse, y faire mon abjuration et m'y fixer pour le reste de mes jours. Le feu Père Manvuisse, qui m'a reçu dans l'Eglise, m'en a dissuadé. Il croyait que j'avais l'esprit trop vif pour m'enfermer sitôt dans la solitude. Je suis entré dans la Congrégation par obéissance à mon Directeur. Je n'ai jamais songé, ni même rêvé à devenir prêtre, encore moins prédicateur et missionnaire. C'est la Congrégation qui m'a fait tout cela, et je lui en dois une profonde reconnaissance. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire; un temps pour mener une vie active et dissipée et un temps pour faire pénitence dans la solitude. Je sens que ma mort approche et j'éprouve un besoin irrésistible de m'y préparer à mon aise dans le silence du cloître.

Je ne puis plus me faire illusion. Nous ne sommes qu'une Congrégation séculière et notre vie est tout à fait séculière. Nous ne pouvons pas dire avec vérité que nous avons quitté le monde: nous vivons réellement dans le monde et nous sommes intimement mêlés

à tous ses intérêts et à toutes ses passions. La hausse et la baisse des fonds ne nous trouve pas indifférents. Nous avons parmi nous de véritables propriétaires, dont l'esprit doit nécessairement être préoccupé des moyens de concerver et de augmenter leurs revenus. Le désir de nous faire une position dans le monde nous oblige à rechercher la faveur et l'amitié des riches et des grands, contrairement à l'avis de l'Imitation: "Cum divitibus noli blandiri, et coram magnatibus non libenter appareas".

Or, mon attrait à moi est dans une direction tout opposée. Dès mon enfance j'ai éprouvé un amour passionné pour la véritable pauvreté, la pauvreté de St. François d'Assisi, du bienheureux Labre. Je l'ai connue, je l'ai aimée, je l'ai pratiquée avant d'entrer dans la Congrégation. Je ne puis pas supporter de manier l'argent, ni même d'en entendre parler. Jugez donc ce que je dois éprouver tous les jours, quand je reviens du confessionnal les poches chargées d'argent. Dans nos missions nous sommes logés, nourris et payés avec cette généreuse hospitalité qui est le caractère propre de ce pays-ci. Je n'ai rien, à y redire. Cela est, peut-être, dans la nature même des choses. C'est un fait commun à tous les missionnaires que dans les mission on mène une vie assez confortable. Mais, quoiqu'il en soit, j'avoue que je ne pourrais pas me résigner à mourir au milieu de ces festins.

Nos récréations petites et grandes sont pour moi un sujet continuel de plus graves tentations. C'est vraiment un fardeau insupportable que l'obligation de se réunir deux fois par jour uniquement pour causer. Ces réunions n'ont aucun but, ni scientifique, ni religieux: elles ne sont pour la plupart que des paroles vaines et inutiles, dont il faudra rendre compte au jour du jugement. Je ne puis concevoir aucune perfection religieuse possible sans un silence absolu et perpétuel, et c'est après ce silence que je soupire nuit et jour.

J'envisage avec tristesse le genre de vie qui est réservé à un vieux père dans notre Congrégation. C'est une vie comparativement douce et molle. Après avoir satisfait aux obligations de la règle (ce qui est vite fait) — que lui reste-t-il à faire? Dire son chapelet, entendre la confession de quelque dévot et causer politique en récréation. Au contraire, dans un ordre contemplatif je pourrai jusqu'à mon dernier soupir chanter l'office divin, travailler des mains, veiller jeûner et garder le silence, qui est la perle précieuse que je voudrais acheter au prix de tous les sacrifices.

Je ne voudrais pas mourir dans ce pays-ci, où la simplicité et la bonté naturelle du peuple lui fait admirer les qualités les plus médiocres. Je craindrais qu'après ma mort on ne mit mon nom dans le journal et qu'on ne prononçât sur mon cercueil une oraison funèbre — comme cela s'est fait ici tout récemment. Je désire mourir dans un endroit où les bruits du monde n'arrivent plus; mourir inconnu parmi les inconnus, et que personne au monde ne sache si je suis vivant ou mort.

J'ai balancé pendant quelque temps entre deux ordres célèbres: les trappistes et les chartreux. Mais je vois que les trappistes ont encore assez de relations avec le monde: ils envoient des colonies agricoles; on en parle même dans les journaux. Les chartreux sont les seuls dont personne ne parle jamais: ils sont entièrement ensevelis dans l'oubli de leur solitude. C'est pour cela que je leur donne la préférence. Enfin l'Eglise elle-même vient décider mon choix en apposant à cet ordre admirable le sceau de sa haute approbation, l'ordre des chartreux étant le seul où il soit permis à tout religieux d'entrer sans demander la permission préalable de ses Supérieurs.

Voilà, Révérendissime Père, l'exposé sincère des désirs les plus intimes de mon âme. Ces désirs me suivent partout, nuit et jour. Ils sont surtout plus vifs pendant la méditation, la sainte messe et l'action de grâces. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de l'illusion, puisqu'ils sont constants et accompagnés d'une grande paix, d'une grande aversion pour

toute démarche violente et d'une parfaite résignation à la volonté de Dieu, de quelque côté qu'elle veuille se manifester clairement.

Je crois avoir bien calculé toute la dépense qu'il faut pour bâtir cette tour. J'ai considéré mon âge et l'état de ma santé. D'abord il faut croire que Dieu donne des forces à tout ceux qu'il appelle réellement à ce genre de vie. Ensuite, il y a huit ans, j'ai passé une douzaine de jours chez les Trappistes ici en Irlande. J'ai suivie ponctuellement tous leurs exercices. Quelque temps après, l'excellent Abbé, en parlant de moi à un tiers a dit: "que j'étais du petit nombre de ceux qui sont en état d'observer leur règle dans toute sa rigueur". Or, la règle des trappistes est plus rigoureuse que celle des chartreux, et je me sens aujourd'hui plus fort que je n'étais il y a huit ans.

Je remets mon sort entre vos mains, Révérendissime Père. J'ai une confiance pleine et entière que Dieu me parlera par votre bouche et que vous me jugerez non d'après les calculs de la prudence humaine, mais d'après la lumière qui vous sera donnée d'en haut. Je voudrais que cette transition se fit avec le moins de bruit possible, car il n'y a rien que je hais autant que le bruit: du reste, quand on est bien déterminé à rompre avec le monde, on se soucie fort peu du qu'en dira-t-on. Votre prudence et votre charité saura bien m'assister. Si j'avais un prétexte et des moyens pour aller jusqu'en France, je serais content: une fois sur le sol français, j'irais tout droit à la Grande Chartreuse, même à pied, s'il le faut, parce que je suis habitué à cette manière de voyager.

Désidéz mon sort. Dimitte servum tuum in pace, ut requiescam paululum antequam moriar.

Prosterné aux pieds de Votre Paternité et demandant votre bénédiction, je me dis de Votre Paternité lettrè humble serviteur et dévoué confrère

Vladimir Pétchérine  
CSSR

Au Révérendissime Père Nicolas Mauron  
Supérieur Général des Rédemptoriste  
à Rome

*Перевод*

Письмо В. С. Печерина верховному генералу ордена редemptористов  
Н. Морону.

Лимерик, Ирландия. Март, 1861

Ваше Преосвященство!

С благоговением и доверием, которое я к Вам испытываю в силу высокой миссии, возложенной на Вас Богом, я предлагаю Вашему Преосвященству точное изложение моих самых сокровенных чувств, чтобы Вы рассудили их справедливо и милостиво.

Мне скоро 54 года. 20 лет я провел в конгрегации. Я уже достаточно пожил в миру и в конгрегации, чтобы повторить вслед за мудрецом: "Vanitas vanitatum et omnia vanitas". События, которые волнуют мир и церковь, приближающаяся старость, испытываемая мною навязчивая необходимость иметь некоторый временной интервал между неупорядоченной жизнью и смертью — все это внушает мне живую

---

\* Суета сует и все суета — *лат.* Книга Екклесиаста, I, 2.

потребность совсем покинуть мир и посвятить немногие оставшиеся мне годы жизни покаянию в каком-нибудь строгом ордене.

Желание это не ново. Я его испытывал практически с детства. Мы, русские, ничего не смыслим в активной жизни. На наш взгляд, инок — это отшельник, *monachus*, полностью отделенный от мира, жизнь которого поделена между физическим трудом, бдением, постом, постоянным молчанием и церковным песнопением.

20 лет тому назад, когда я готовился в Льеже к принятию католического вероисповедания, мой план был намечен заранее: я хотел попасть прямо в картезианскую обитель, там отречься и там остаться до конца дней своих. Покойный отец Манвисс, который принял меня в церковь, разубедил меня. Он полагал, что у меня слишком живой ум для того, чтобы заточить себя в одиночестве. Я вступил в конгрегацию из чувства послушания своему наставнику. Я никогда не помышлял и не мечтал о том, чтобы стать священником, тем более проповедником и миссионером. Именно конгрегация наставила меня на этот путь, и я за это испытываю к ней глубокую признательность.

Но всемо свое время. Свое время для того, чтобы говорить, и свое время для того, чтобы молчать; свое время для того, чтобы вести жизнь деятельную и рассеянную, и свое время для покаяния в одиночестве. Я чувствую приближение смерти, и я испытываю непреодолимую потребность подготовиться к ней, находясь в мире с самим собою.

Больше я не могу питать себя иллюзиями. Мы являемся лишь светской конгрегацией, и жизнь наша совершенно мирская. Мы не можем со всей достоверностью сказать, что мы покинули мир: на самом деле мы живем в мире, и мы тесно связаны со всеми его заботами, со всеми его страстями. Мы не остаемся безразличными к повышению и понижению денежного курса. Среди нас есть истинные собственники, ум которых неизбежно занят заботой о средствах сохранения и увеличения своих доходов. Стремление завоевать себе положение в свете заставляет нас искать благоволения и дружбу богатых и сильных вопреки мнению «Подражания»<sup>1472</sup>: “*Cum divitibus noli blandiri et coram magnatibus non libenter appareas*”<sup>\*</sup>.

Однако я стремлюсь к совершенно другому. С самого детства я испытывал страстную любовь к истинной бедности, к бедности св[ятого] Франциска Ассизского, блаженного Лабри. Я познал ее, я возлюбил ее, я испытал ее на себе перед вступлением в конгрегацию. Я не выношу ни прикосновения к деньгам, ни разговоров о них. Судите сами, что я должен постоянно испытывать, возвращаясь из исповедальни с карманами, полными денег.

В миссиях нас кормят, дают приют и деньги с тем великодушным гостеприимством, которое свойственно этой местности. Я не могу их в этом упрекать. Это, быть может, в порядке вещей. В миссиях мы живем со всеми удобствами. Но как бы то ни было, я признаюсь, что не могу смириться со смертью среди этой роскоши.

Наши встречи для бесед, малые и большие, являются для меня постоянным предметом серьезных искушений. Обязательство встречаться дважды в день только для беседы является для меня невыносимой тяготой. Эти встречи не имеют никакой цели — ни научной, ни религиозной: в большинстве случаев они представляют собою бесполезные разговоры, за которые нам придется ответить в день страшного суда. Я не мыслю себе возможность религиозного совершенства без абсолютного и постоянного молчания, и именно после такого молчания я вздыхаю день и ночь.

---

<sup>\*</sup> К богатым не ласкайся и знатым по собственной охоте не прислуживай — *лат.*

С печалью представляю я себе образ жизни, предназначенный престарелому отцу в нашей конгрегации. Это жизнь сравнительно спокойная и расслабленная. После того как он выполнит обязанности, предписанные уставом (что делается быстро), что остается ему делать? Помолиться, перебирая четки, выслушать исповедь какой-нибудь богомолки да поговорить о политике во время бесед.

Напротив, в созерцательном ордене я смогу до последнего своего вздоха исполнять божественную службу, заниматься физическим трудом, бодрствовать, поститься и хранить молчание, являющееся той драгоценной жемчужиной, которую я хотел бы купить ценою самопожертвования.

Я не хотел бы умереть в этом крае, где народ по своей простоте и естественной доброте восхищается самыми посредственными качествами. Я не хотел бы, чтобы после моей смерти имя мое попало в газеты и чтобы на моих похоронах произнесли надгробную речь, как это здесь недавно произошло. Я хочу умереть в таком месте, куда не доходит мирской шум, умереть безвестным среди безвестных, чтобы никто в мире не знал, жив я или мертв.

Я колебался некоторое время между двумя известными орденами: траппистов и картезианцев. Но я понимаю, что трапписты имеют еще много связей с миром: они создают земледельческие поселения и об этом даже пишут в газетах. Картезианцы — единственные, о ком никто никогда не говорит: они совершенно погребены в забвении своего одиночества. Именно поэтому я отдаю им предпочтение. Наконец, сама церковь повлияла на мой выбор, возложив на этот достойный преклонения орден печать своего высшего одобрения, поскольку орден картезианцев является единственным, в который разрешается вступать любому монаху, не испрашивая предварительного разрешения у своего настоятеля.

Вот, Ваше Преосвященство, откровенное изложение самых сокровенных желаний моей души. Эти желания преследуют меня день и ночь. Они особенно сильны во время размышлений, литургии<sup>1473</sup>, благодарственных молений. Я не думаю, чтобы это могло быть иллюзией, так как эти желания постоянны и сопровождаются умиротворенностью, отвращением ко всякому грубому поступку, полнейшей покорностью Божьей воле, с какой бы стороны она ни проявилась.

Я полагаю, что рассчитал все возможности для выполнения задуманного. Я принял во внимание свой возраст и состояние здоровья. Во-первых, следует верить, что Господь дает силы всем тем, кого он действительно призывает к подобному образу жизни. Во-вторых, восемь лет назад я провел двенадцать дней у траппистов здесь в Ирландии. Я строго исполнил их устав. Некоторое время спустя преподобный настоятель, говоря обо мне с кем-то третьим, сказал, что я отношусь к небольшому числу тех, кто в состоянии соблюдать их устав во всей его строгости. Однако устав траппистов строже, нежели устав картезианцев, а я чувствую себя сегодня сильнее, чем восемь лет тому назад. Я веряю Вам, Ваше Преосвященство, свою судьбу. Я абсолютно уверен, что Бог ответит мне Вашими устами, и что Вы рассудите меня не по правилам, но по тому озарению, которое будет ниспослано Вам свыше.

Я хотел бы, чтобы этот переход произошел по возможности с наименьшей оглаской, ибо более всего я ненавижу досужие разговоры. Впрочем, когда твердо решишь порвать с миром, мало заботишься о том, что об этом скажут люди. Да поможет мне Ваше милосердие и Ваша любовь к ближнему. Я был бы рад, если бы у меня был повод и средства поехать во Францию. Как только я оказался бы на французской

земле, я отправился бы прямо в картезианскую обитель, если нужно, пешком, потому что я привык так путешествовать.

Решите мою судьбу<sup>1474</sup>. *Dimitte servum tuum in pace, ut requiescam paululum, an-tequam moriar\**.

Повергаясь к стопам Вашего Преосвященства и испрашивая Вашего благосло-вения, остаюсь Вашего Преосвященства нижайший слуга и преданный собрат  
Владимир Печерин<sup>1475</sup>.

### **№ 173. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

23 июля 1873 г[ода] Шелковичные  
плантации, в 50 верстах от Киева

Письмо твое от 19 июля переслано ко мне на мои шелковичные плантации, где я живу вот уже другую неделю. Действительно вижу, что надобно позаботиться о здо-ровье: не лечиться, а просто пожить без дела или, по крайней мере, без той неумол-каемой работы, какая у меня постоянно в Москве. С 9 часов утра я начинаю там при-нимать просителей, отвечать на деловые большею частью глупые бумаги и пр[очее] и пр[очее], распорядиться, сердиться, волноваться и кончаю в 5½ часов Банком. Все это совершенно уничтожает пищеварение и приводит в какое-то одуренное со-стояние! В делах промышленных хорошо быть фонарщиком, то есть засветить дело и поддерживать горение, пока это дело не станет крепко на ноги, станет и довольно. Иначе во всяком промышленном деле чрез несколько лет, особенно если это дело достигнет окончательного правильного хода, непременно образуется рутина, кото-рая убийственна до крайности живому деятелю и вредна для самого дела. Если бы в Московско-Ярославской дороге не было бы Ярославско-Вологодской, которая чуть-чуть не доходит до северного полюса, которая пока еще идет очень скромно или, пра-вильнее, плохо, то хоть бы ее и оставить так впору. В Обществе Московско-Курской я должен оставаться поневоле еще 3 года, если Бог грехам потерпит. В Банке с апреля останусь только номинально. Но зато начинается у нас новое Общество водопроводов в Москве, тут я пока фонарщик. Товарищество промыслов на Ледовитом океане пока еще не может основаться: те, которые хотят начать его, слишком исключительно заботятся о выгодах учредителей, забирая им страшно львиную часть, поэтому тут я учредителем быть не хочу, а сам я стар и пока не могу подыскать себе на подмену человека. У нас все любят сесть на нагретое место, а не охотники устраивать новое, а меня калачами не корми, только дай новое, если можно большое и трудное.

Теперь я отдыхаю там, где лет 25 тому назад было чистое поле и где теперь у меня домик, крытый соломою, и разные постройки для шелководства. Коконь пол-лучаются превосходные, шелк тоже очень и очень порядочный. Окрестные крестья-не в 10 селах и деревнях начали заниматься червеводством и выводкою коконов, и многие получают относительно очень порядочные доходы. Не могу тебе сказать, какое доставляет это мне наслаждение: деревья мною посажены и теперь уже огром-ные; дом и особенно хата на дворе построены не то что под моим надзором, а прямо моею распорядительностью и с участием моей собственной работы. Это мои родные дети, дети моего труда, не могу ими не любоваться тем еще более, что личные мои выгоды были и остаются на самом заднем плане. Прибавь к этому, что у меня такое

---

\* Отпусти раба своего с миром, да успокоюсь немного прежде, чем умру — *лат.*

уединение, такое отшельничество, какого не найдешь ни у траппистов, ни у других самых строгих отшельников. У них молчание соблюдается по форме, у меня потому, что решительно никого нет: ближайший город Киев в 52 верстах, и какая нелегкая понесет сюда кого-нибудь из Киева? В селениях — крестьяне, которые в будни теперь целые дни с 4 часов утра до темного вечера на работе и которым не до разговоров. Ближайшее селение от меня за 3/4 версты. Только говорю, давая наставления шелкомотальщицам и следя за размоткою шелка. Когда-то я был тут первым учителем шелкомотания, теперь без очков не вижу, а очки затемняются паром от кипячей воды. Утро начинается у меня работою на плантации, именно обрезкою, обрубкою и вообще очищением деревьев; с грустью вижу, что нет уже столько сил, сколько было прежде, скоро устаю. Хотя я никогда не отличался силою и сносливостью в труде, требующем мускульного усилия.

Думал, было, я поехать за границу, именно хотел поездить по Ирландии и Шотландии, но доктора посоветовали самую спокойную жизнь, а спокойнее моих плантаций едва ли бы я мог сыскать какое-нибудь место.

Как мне досадно, что ты ленишься продолжать твои записки: они так хороши, что совестно не вести их. Напечатать часть их ни то, ни се; я все надеюсь, что ты будешь присылать их по-прежнему, и составитя книга весьма замечательная в нашей небогатой литературе.

Не знаю я, откуда и с какой стати, по какому поводу приписывают влияние газете «Русский мир». Эта газетка составилаь из когда-то большой газеты крупных землевладельцев, во главе которых был граф Орлов-Давыдов<sup>1476</sup>, заклятых крепостников, отъявленных врагов освобождения крестьян, «Весть». Эта газета скончалась от недостатка подписчиков и переродилась в «Русский мир», тоже газету довольно плохую. Но так как вообще теперь газеты плохи, то по пословице: при безрыбьи и рак рыба, при безлюдьи и сидень человек (или и Фома дворянин). Пиши все по тому же адресу.

Твой Ф. Чижов.

### № 174. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

Miltown Park  
26 авг[уста] 1873

Под предлогом обязательных духовных упражнений я провожу несколько дней (всего 4 дня, за что плачу 1 фунт ст[ерлингов]) за городом в доме езуитов в Мильтоун Парке. Хотя это всего каких-нибудь три или четыре мили от средоточия города, т[о] е[сть] от почтамта, а мне кажется, что я за сто миль от Дублина. Здесь под тенью вековых дубов и вязов господствует нерушимая тишина: никакой городской шум не достигает этой пустыни, а голубые горы как будто нависли над садом, хотя он отсюда каких-нибудь восемь миль. Я сижу в крошечной комнате или келье с двумя окнами; вся мебель состоит из кровати, одного стула и кресел и столика для умывания. Я сижу перед столом в креслах, а подле стола налой (priedieu) с распятием. На столе расположены порядком следующие книги: «Духовные упражнения» св[ятого] Игнатия, «Метода размышления, различия между временем и вечностью»; «Подражание Христу» и *Новый Завет*. Но это только для вида, pour sauver les apparences\*;

\* Для сохранения видимости, приличия — фр.

а в саке у меня лежит роман Вальтера Скотта «*Сен-Ронанский ключ*», тетрадь сочинений Писемского и “*Les phénomènes et les lois de la chaleur*”\*: это так, на всякий случай, ради скуки<sup>1477</sup>.

Но пора, однако же, приняться за духовные упражнения, а наилучшим духовным упражнением я считаю писать к тебе или, лучше сказать, продолжать печально-однообразную историю моей жизни.

Вот что было записано 8 лет назад в этом же самом доме, может быть в той же самой келье и за тем же столом:

Мильтоун Парк  
21 Авг[уста] 1865

Надобно писать. Надо же что-нибудь делать в этом уединении. Мне кажется, я был рожден для какой-то беспредельной деятельности; но судьба заперла меня в тесном круге. Как птица в клетке, я бьюсь о решетки моей темницы... Выйду ли из нее когда-нибудь? Рабом я родился, рабом и умру. Несчастное славянское племя! Мы какою-то непреодолимою силою увлекаемся к рабству. Раболепие в нашей крови.

22 Авг[уста]

В духовных упражнениях св[ятого] Игнатия человеческий ум похож на осла или быка, который ходит кругом и приводит в движение мельницу. Вечно в том же кругу он вертится, не подвигается вперед, нет ничего нового, нет прогресса. Эти упражнения — наилучшее средство для скования человеческого ума. Они имеют целью ошеломить человека, лишить его свободного употребления даров природы, смирить его физически и нравственно, т[о] е[сть] лишить его всякой энергии и сделать его бесчувственным орудием в руках того, кто им управляет. Деспотизм никогда ничего совершеннее не изобретал.

Вот чем кончились все благородные порывы юности! Вот к какому пределу стремилось это ненасытное честолюбие, которое презирало все препоны, брезгало всеми общественными приличиями, не могло терпеть даже и тени снисхождения к людским предрассудкам! А теперь придется же умереть лицемером! Но ведь и Сократ, умирая, приказал резать петуха в честь Эскулапия<sup>1478</sup>.

Если бы я родился в Индии брахманом, я, вероятно, остался бы брахманом, несмотря на просвещение, сообщенное мне Англиею. До сих пор религия была необходимым элементом человеческого общества. Все религии одинаково истинны, пока они живут — “*was eigentlich ist, ist vernünftig*”\*\*. Нет ничего глубже этого вопроса Пилата Понтийского: “*Quid est veritas?*” Что такое истина<sup>1479</sup>? Это — совершенно относительное понятие. Религия обуславливается географическими, климатическими, этнологическими отношениями человека. Впрочем, может быть, мы стремимся теперь к какой-то всеобщей религии, в которой соединятся все умы на востоке и на западе.

*Единая* спасающая церковь есть не что иное, как древний Рим<sup>1480</sup> со своею жаждою всемирного владычества. Пора ему сойти со сцены. Христианская церковь явилась как реакция против римского деспотизма. Но прикосновение с императорским двором растлило ее девственность. Супруга Христа<sup>1481</sup> облеклась в багряницу

\* «Явления и законы теплоты» — *фр.*

\*\* Что подлинно, то разумно — *нем.*



императоров, забыла мечты своей юности и во дворце Цезарей упиалась вином властолюбия. Скромные и бедные пресвитеры\* оделись в пышные одежды, блестящие золотом и драгоценными камнями; перед ними курят фимиам точь-в-точь как перед *божественными* императорами, и народ раболепно упадает на колени и целует землю перед заместником того самого Христа, который жестоко укорял фарисеев за то, что они расширяли свои рясы и самодовольно принимали поклоны и почетные титулы отцов и учителей<sup>1482</sup>.

Révéréndissime Padre! — Admodum Révérende! — Eminènza! — Suse Santità!\*\*

22 Авг[уста] ввечеру  
и 23 Авг[уста] поутру

Начато стихотворение:

Не погиб я средь крушенья!  
Не пришел еще мой час! и пр[очее],

помещенное в сентябрьском номере газеты «*День*»<sup>1483</sup>. Это стихотворение было выражением глубочайшей тоски. Оно вызвало твои сочувственные слезы и твое первое письмо после 20-летнего молчания. Оно сделалось важнейшею эпохою в моей жизни. Смотри, как странно сцепляются атомы событий в человеческой жизни. Петр Долгоруков прислал мне несколько номеров «Дня»: там я увидел два твоих письма из Киева и, вероятно, с тех же плантаций, где ты теперь находишься, — я упомянул о тебе в письме к Аксакову — и все это заключилось или увенчалось твоим приездом в Дублин.

И я опять в этом же самом Мильтоун Парке и передо мною письмо из твоих плантаций, но точка 1865 давно уже прошла, и я теперь совершенно хладнокровно и равнодушно смотрю на обстоятельства, приковывающие меня к распадающемуся трупу католицизма...

Вся жизнь моя — одно желанье!  
Несбывшейся надежды сон!<sup>1484</sup>

Ах! если бы мне как-нибудь исчезнуть, пропасть где-нибудь в предместьях Лондона или в горах Швейцарии так, чтоб и след мой простыл, чтобы и слуху не было о моем священстве и католичестве. Но это тоже мечты, несбыточное дело. Нельзя же человеку совершенно исчезнуть. Надо примкнуть к какой-нибудь партии, к какому-либо верованию. А я ни во что не верю. Я просто верую в постепенное развитие человеческого рода посредством науки и промышленности; я уверен, что со временем постепенно жизнь делается легче, удобнее, будет менее неприятных столкновений, удобства жизни распространятся постепенно на все классы общества, а далее этого я ничего не ожидаю. Но верить в какой-то земной рай, в какую-то *жизнь грядущего века*, где все будут одинаково богаты, одинаково счастливы, одинаково умны, *и де же ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная*, по-моему это тот же фанатизм, только в другом виде, и я это верование представляю поклонникам социализма,

\* Священник — от *греч.* presbyteros — старец, старейший.

\*\* Специальная титулатура церковных сановников: Святой отец! (обращение к любому священнику до настоятеля включительно); Ваше преподобие! (обращение к епископу); Ваше высокопреосвященство! (титул кардинала); Ваше святейшество! (титул папы римского); — *ит.*

коммунизма, нигилизма и пр[очее]. Они действительно без малейших разумных доводов слепо веруют в земной рай, обещанный им их пророками.

Но пора возвратиться к нашим баранам. Revenons à nos moutons\*. Где бишь я остановился? Все еще в Фальмуте! Ах, Боже мой! какая скука! Все одно и то же.

Море вечно плещет  
На пустынные скалы!<sup>1485</sup>  
Książyc błysnie i Wilija bieży,  
A dziewica płacze u pustelniczey wieży!<sup>\*\*</sup>

1-го мая 1846 щегольской французский фрегат с трехцветным флагом вошел в Фальмутскую гавань: все мачты и снасти (кордаж<sup>\*\*\*</sup>) были испещрены разноцветными флагами и флюгерами. Что это такое? что за праздник? Это были именины — *тезоименитство* — Луи-Филиппа<sup>1486</sup>, короля французов, le S[ain]t Philippe<sup>\*\*\*\*</sup>. К нам вышли на берег два езуитских миссионера, отправлявшихся в Китай: один священник, а другой новиций в светском платье. Мы пригласили их обедать с нами. Несмотря на пресловутую езуитскую осторожность и скрытность, эти господа как-то за столом проговорились и рассказали нам о всех их планах на случай, если с Божьей помощью им удастся возвратиться в Россию, как Гагарин будет во главе русских езуитов и пр[очее] и пр[очее]. — Нет, брат! погоди! attendez<sup>\*\*\*\*\*</sup>! У нас на святой Руси еще не спятили с ума до такой степени, чтобы пригласить езуитов. Оно хорошо в Англии при всеобщей веротерпимости; но и тут мне как-то становится жутко: боюсь, чтобы Англии не пришлось поплатиться за излишнюю снисходительность. С фанатиками невозможно входить ни в какие соглашения. Все великие государственные люди: Ришелье, Помбаль, Шуазель, Кавур и, наконец, Бисмарк преследовали езуитов<sup>1487</sup>. Как теперь вижу перед глазами — раннее воспоминание моего детства — как езуитов выпроважали за границу на открытых тележках (в 1819)<sup>1488</sup>.

30 авг[уста]

Я воротился из Мильтоун Парка и теперь не в духе больше писать. Вот тебе, кстати, драгоценный документ. Ради Бога, тщательно сохрани его в каком-нибудь архиве или музее для назидания отдаленного потомства. Пусть наши внуки и правнуки увидят, что делалось в конце 19-го столетия, как взрослые люди играли в куклы и в августе 1873 воображали себе, что живут в августе 1273; да еще и меня туда же приглашают. Нет! покорно благодарю! Я не охотник до анахронизмов, я человек 19-го века и таким надеюсь умереть.

Я с уважением смотрю на русского мужика, идущего на богомолье к святым местам; а во Франции все это подрумянено, все это актерство, театральная обстановка, наглая ложь, политическая интрига, поджигаемая езуитами для их собственных целей. Во время первой революции раздетую донага публичную женщину заставляли представлять Богиню Разума на алтаре Богоматери в Париже; а теперь не менее

\* Возвратимся к нашим баранам — *фр.*

\*\* Светит луна и Вилья течет,  
А девица плачет у башни отшельника — *польск.*

\*\*\* Такелаж — от *фр. cordage.*

\*\*\*\* День св. Филиппа — *фр.*

\*\*\*\*\* Подождите же! — *фр.*

нахальные женщины в разных закоулках Франции разыгрывают роли Богородицы и пророчествуют Бог весть какие блага для Франции, если она обратится на путь правый. Просто срам и позор! Вот тебе и пресловутые начала 1789 и возгласы о свободе и правах человека и пр[очее] и пр[очее]. Теперь эти пламенные республиканцы собираются призвать на престол бездарного и нелепого Генриха V, который о конституции и слышать не хочет. «Я-де помазанник божий, ниспосланный с неба для спасения Франции: кто дерзнет ограничить власть мою? Поклоняйтесь мне безусловно!».

И самовластная порфира  
На галлах скованных лежит!<sup>1489</sup>

Тут поневоле скажешь: *Finis Gallia!*\* Это хуже всякого *Седана!* Добро бы уж подчиниться какому-нибудь удалому солдату, а то подчиниться старой бабе, вышедшей из какого-то монастыря в Фросдорфе<sup>1490</sup> — это будет просто курам на смех (*toutes les cours en giront*\*\*). Если Генрих действительно взойдет на престол, то он будет последним *Крулем*\*\*\* французов, т[о] е[сть] их Станиславом Лещинским<sup>1491</sup>, а после того — *partage de la France*\*\*\*\*, чего я от всего сердца желаю — и припомни мое слово — оно сбудется.

47 Lower Dominick Street  
Dublin

30 авг[уста] н[ового] ст[иля] 1873

Слава Богу, что ты послушался моего и доктора совета и даешь себе немного отдыха. Но надолго ли это? ведь ты опять воротишься в Москву, и опять все пойдет по-прежнему, и опять надобно будет ехать к доктору. Ох, ты головушка удалая! Проектов-то и планов у тебя бездна: для этого тебе следовало бы иметь железное здоровье. Впрочем, делай, как хочешь: у всякого свой дар и свое призвание. Вольному воля, а спасенному рай. Знаешь ли ты пословицу, взятую, кажется, из священного писания: «Живой пес лучше мертвого льва»<sup>1492</sup>? Читая о том, как ты каждое утро занимаешься обрезкою посаженных тобою деревьев, я припомнил басню Крылова «*Старик и трое молодых*»:

«Друзья! — смиренно им отвечает старик,  
И с детства я к трудам привык,  
А если оттого, что делать начинаю,  
Не мне лишь одному я пользы ожидаю,  
То, признаюсь,  
За труд такой еще охотнее берусь.  
Кто добр, не все лишь для себя трудится.  
Сажая деревцо, и тем я веселюсь,  
Что если от него сам тени не дождусь,  
То внук мой некогда сей тенью насладится —  
И это для меня уж плод».

\* Конец Галлии! — лат.

\*\* Всем дворам на смех — фр.

\*\*\* Король — польск.

\*\*\*\* Раздел Франции — фр.

Меня навелит русский путешественник некто Владимир Иванович *Велецкий*, екатеринославский помещик, служащий при министерстве иностранных дел по азиатскому департаменту<sup>1493</sup>. Он никогда обо мне не слышал, а зашел просто как к русскому. Очень хороший человек с небольшим оттенком Малороссии и чиновника. Он, должно быть, какой-нибудь начальник департамента, потому что сказал, что сын Никитенко поступил к нему на службу. Да сверх того я нашел в «Петерб[ургских] Ведомостях», что этот самый Велецкий получил какой-то орден от персидского шаха. Он — большой обожатель Англии, объехал все Соединенное королевство — Англию, Шотландию и Ирландию, и обещал приехать на следующий год и навестить меня. Он подтвердил твоё мнение о «*Русском Мире*». Теперь я понимаю, каким образом эта газетка вошла в такую славу в Англии. Какой-нибудь англичанин попался в общество этих аристократов, а они ему сказали: «вот какой у нас есть важный орган общественного мнения!», а он спроста и поверил.

В Англии с большим сочувствием отзываются к предстоящему браку принца Алфреда с нашею великою княжною. У англичан монархическое чувство так глубоко вкоренилось, что все касающееся королевской фамилии каждый считает своим семейным делом, и ты можешь быть уверен, что русская царевна, выступая на английский берег, встретит радушный и восторженный прием. Говорят, что королева поедет в Петербург: но это едва ли возможно, если свадьба будет в январе<sup>1494</sup>. Какая нелегкая понесет пожилую женщину в этакую даль для того, чтоб познакомиться покороче с нашими крещенскими морозами! Нельзя ли как-нибудь улучшить, изменить петербургский климат? Помнится, что когда-то была речь о перенесении столицы в Киев — нет! уж лучше подождать до Константинополя!

Твой В. Печерин.

### № 175. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

С[ело] Секиринцы  
6 сентяб[ря] 1873

Вчера получил я твоё письмо, начатое в Мильтоун Парке, оконченное в Дублине. Между тем я оставил мои плантации и переехал в Полтавскую губернию, в Прилуцкий уезд, в имение моего самого близкого друга Галагана. Чудо что это за имение. Сад и парк, каких немного и в Англии. Ты не знаешь этого малороссийского имени, поясню тебе, что это за ястица<sup>1495</sup>. Я участвовал в воспитании Галагана еще в тридцатых годах, потом поехал с ним за границу в 1840, и жились мы с ним братски. Он женился на Кочубей<sup>1496</sup>, но не из княжеского рода. С женою его я тоже очень подружился, и теперь они мне как дети. Он моложе меня годами осмью. У них был один сын, славный мальчик, в воспитании которого я тоже принимал участие советами и отысканием ему воспитателя. Все шло превосходно, как вдруг вот уж три года тому назад умер их единственный сын на 16 году<sup>1497</sup>. С его смертью прекратился род Галаганов, унесено в могилу счастье родителей, и они остались как раки на мели. Время уничтожило живость скорби, но сделало из них совершенно разбитых существ. Живут они отшельниками в чудном, решительно волшебном саду. В память сына Галаган построил в Киеве коллегия; для него и для очень умной и образованной его жены теперь это решительно единственное дитя. Могила сына в особого рода оранжерее, вся в цветах и кругом чудный цветник. Там их отдых и услаждение. Мне у них как у родных детей, но не люблю я богатства, оно мне навязанная обстановка; я страстно

люблю бедность. То ли дело на моих плантациях. Небольшой домик, крытый соломою: никакого помину о роскоши. Все только необходимое. Экипаж — тележка и верховая простая лошадка. Там я просто блаженствую. У меня разматывается шелк, а на будущий год, если буду жив и здоров, начну разводить хмельники. Крестьяне верят моему практическому смыслу и очень охотно начинают заниматься тем, что я завожу в своем небольшом хозяйстве. Поэтому собственно я хочу развести и хмельники, чтоб они завели хмель у себя на огородах, это будет им выгодно, а завести я помогу.

Ты ворчишь на свое бездействие, вот бы тебе почтенная деятельность поучать греческому и латинскому языку, не можешь ты себе представить, что у нас за нищета в филологах. Вытащили у черта из-за пазухи классицизм и не позаботились о пустяках, о том, что нет подготовленных профессоров для древних языков. Ну и Бог с ними, пусть бы себе оставались с надеждою на будущих профессоров, да чем же виноваты бедные юноши, которых мучат, а не учат недоученные педагоги.

В последней книжке «Русского Вестника» (журнал, издаваемый в Москве под фирмою Каткова и Леонтьева) помещено начало повести или романа «Бегуны» молодого писателя графа Сальас. Мать его была писательницею очень порядочною под именем Тур<sup>1498</sup>. Теперь я больной, то есть с больными ногами, слушал, как мне читали эту повесть. Много изучения истории прошедшего века. Господи! Господи! как дорого достались нашему народу государственные порядки. Едва ли какое бы то ни было пленение вавилонское соединяло с собою столько бед, неурядицы, притеснений, поборов. Это просто-запросто были не люди с каким-нибудь понятием о человеческом достоинстве, с какою-нибудь тенью понятий о праве, это просто двуногие животные, которых не резали для стола, но резали, душили, казнили, пытали для одного кушанья — правительственного своеволия. И до сих пор вся страна *tabula rasa*\*. Назначут министра с классицизмоманиею, и начнет этот маньяк дурить в хвост и в голову. Потребность учения теперь страшная, но представь себе, что древние языки есть единственное право на вступление в университет. Преподавателей нет, общественное мнение, то есть отцы и матери, против, и является ученье совершенною поголовною повинностью, да еще вдобавок и подготавливать-то к ней некому.

Дай Бог, Печерин, когда бы твоими устами да мед пить, когда бы удобства жизни день ото дня делались бы больше и больше достоянием каждого. Но есть выше удобств жизни — чувство человеческого достоинства: удобства действительно развиваются, железные дороги одинаково возят богатого и бедного, кажется бы и хорошо, а как посмотришь, что эти люди исключимые рабочие, что они у вас в Дублине босоногие все готовы сделать из-за нескольких медных монет — у меня сердце сжимается. Вот тебе и XIX век. При развитии удобств улучшились ли люди? Чего я не могу равнодушно переносить, да не только равнодушно, а с чем не могу помириться нисколько, это с лицемерием, с ипокритством личным и общественным. Может ли Гагарин в душе верить паломничеству? Может ли французское общество хоть сколько-нибудь, хоть полшутя признавать его какое-нибудь религиозное и еще того менее человеческое значение? И это поганое ипокритство проникло в плоть и в кости и заразило мозг костей католичества. Наш поп груб, часто неразвит до самой низшей степени неразвития, но не прикрывает своей грубости ни ханжеством, ни лицемерием. Он погряз в обрядности, которую чтит не по ипокритству, а потому что никогда не переходил мыслию за ее пределы. Он, да не только он, а и большая

---

\* Выскобленная (т. е. чистая) доска — *лат.*

часть нас, верим в необходимость внешней религии, почему? Я этого тебе не решу добросовестно. Думаю, по преданию, думаю, потому что оно дает хоть крошечное убежище от всех людских мерзостей если не в действительности, то в своей мечте, в своем идеале, и это уже не шутка в такой жизненной обстановке, в которой нет ничего чистого, — мечта и идеал тоже действительность:

Но веют тобою Овидия звуки  
И ты мне понятен, о век золотой.

Как и что не говори, а история что-нибудь да значит. При всем бесчисленном многообразии обстановки человечества, при всех самых отвратительных искажениях истины, на пути к ее искажению, как люди ни бились, а не могли выбиться из необходимости религиозных форм. Этого мало. В самый жаркий разгар битвы с религиозными формами и обрядностью эта самая обрядность как назло делает самые нелепейшие попытки овладеть человечеством. Как хочешь, а таких нелепостей как два последних догмата латинской церкви и настоящее паломничество не мог, я думаю, представить самый самодурный ум отчаяннейшего изувера. Если бы мы вздумали перечесать все бесчисленные изменения форм религий, то запутались бы в лабиринте невообразимых, часто диких отступлений от здравого смысла — все это совершенно так; но для меня тут сохраняется одна сущность, потребность иметь что-то внутри, то, что зовется верованием, и другая — дать ей полную логически составленную внешность. Все эти попытки, несмотря на все их личные дикости, имеют бездну общего в содержании по простой причине — по общности человеческой природы. Отбросить все это и по личному моему пониманию сказать себе, что все этот дичь, как ты хочешь, я не в состоянии. Последнее ли это слово в моей жизни? Столько их менялось, что по пословице черт ногу переломит в их хламе, а другой не вытащит. И правду-то говорю: спорить из-за ничтожностей обстановки каждого верования курам на смех. Да нашлись ли бы люди, которые были бы готовы спорить, если бы внутри не лежало иных поводов к спору?

Не знаю я Гагарина и потому не могу себе решить: глупость ли с его стороны такое изуверское поклонение пошлостям или просто-запросто подлость. Если просто глупость, и Бог простит: надобно же непременно глупому чтить какую-нибудь глупость. Судя по всему тому, что он писал, я никак не мог составить порядочного понятия об его личности: что-то баранье, покорность даже без увлечения. Мартынов в моем понятии далеко выше его по чистоте увлечения — влюбленного судить нельзя и разбирать, стоит ли того предмет любви, чтоб быть им ослеплену. Покажется сатана лучше ясного сокола. Это только в молодости и по какой-то ревности (*jalousie* \*) молодости я увлекся и ругал тебя в то время как нашел тебя в монастыре.

Вот, как ты видишь, больше 1 1/2 месяца прожил я на свободе без усиленной работы, а и пусть много времени прохворал. Думаю выговорить себе месяца три в году на отдых, именно на житье на моей плантации. Через годик надобно будет свозить моего немца, хорошего человека впрочем, которому я вручил занятие шелководством, надобно будет свозить его в северную Италию поучиться поэкономнее разматывать коконы на шелк. Шелк у меня получается хороший, но много потери при размотке: я нынче кое-что улучшил, но я, во-первых, слеп, плохо вижу, особчино такую паутинную тонину, как шелковичную нить, во-вторых, мастер третьей руки.

---

\* Зависть, ревность — *фр.*

Велецкого твоего я не знаю; это, впрочем, ничего не значит, потому что я никогда не являлся с чиновничьим миром. Вот тебе тоже мир, едва ли лучше католического, разница в том, что эти господа чиновники не ипокритствуют, а истинно верят в мировое значение чиновничества, в его непогрешимость и страшную всесветскую мудрость. Твой Велецкий не может быть директором департамента, потому что любит Англию, а у истого чиновника все увлечения, все любые свиваются в одну — в чиновничество.

Дни через два я еду на Север, по дороге заеду еще к приятелям, так что к 15 сент[ября] думаю быть в Москве. Исправно ли ты получаешь книги? Прости, я у тебя в сильном долгу, а ты такой милостивый, что ни разу не подумал протестовать векселя, — до сих пор не посылаю тебе «Жизнь за Царя». Веришь ли, что в Москве я только и вспоминаю о чем-нибудь вечером, когда уже все магазины закрыты. Не сердись, пришлю.

Твой Ф. Чижов.

**№ 176. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

19 октября н[ового] ст[иля] 1873

Не знаю, как и благодарить тебя за твое милое письмо из Прилук, наполненное такими интересными подробностями. О Галагане я слышал еще с самого детства, и должно быть это очень известная фамилия в Малороссии. Вот, брат Чижов! видишь, как судьба нас различно наделила: ты богат, я беден; ты любишь бедность платонической любовью и предпочитаешь хату с соломенной крышею великолепным господским хоромам; а я, напротив, бедности вовсе не люблю, и моим идеалом было бы иметь щегольской домик в английском вкусе (cottage) со всевозможными удобствами и с голландскою или английскою прислугою, потому что от ирландцев чистоты и опрятности ожидать нельзя. Я люблю, чтобы в комнате у меня все лоснилось и блистало, чтобы нигде не было ни пятнышка, ни пылинки: в этом отношении Голландия была бы для меня земным раем, да эта земля и во многих других отношениях заслуживает особенное уважение. Ты как-то намекнул на то, что в Дублине люди ходят босиком: в этом все иностранцы ужасно как ошибаются. Это вовсе не от бедности: это такая народная привычка, от которой их никак отучить нельзя. Они с детства привыкли бегать босиком: это предохраняет их от простуды и дает их членам какую-то легкую грациозную гибкость. Ты мог заметить, что даже дети богатых людей зиму и лето ходят с голыми икрами. В деревнях женщины идут к обедне босиком, а сапоги или башмаки несут в руках и надевают их при входе в церковь. Признаюсь, если б я с детства привык ходить босиком, какая нелегкая заставила бы меня заковать себя в эти кожаные кандалы, от которых рождаются мозоли, простуда и многие другие зла? 20 лет назад, во времена моей первой любви, от которой, по твоим словам, сатана покажется лучше ясного сокола, из любви к народу и из желания быть ему подобным я попытался было гулять босиком по саду каждое утро, но от непривычки схватил *рожу* (erysipelas), от которой и пролежал более месяца. Это подало повод к великолепной амплификации. На Мехельнском конгрессе 1863<sup>1499</sup> архиепископ Dechamps (редемпторист) завел как-то речь о России и о надеждах на ее *обращение*, причем упомянул обо мне в следующих словах: “La Père Pétchérine,

zélé missionnaire, parcourut l'Irlande à pieds nus, en prêchant l'Évangile!"\* Вот как пишут историю в некоторых сферах! Вот что французское шарлатанство могло сделать из простого факта: "il se promenait à pieds nus dans son jardin"\*\*\*. Это как-то похоже на: "quarante siècles vous regardent du haut de ces pyramides!"\*\*\*\* Но, впрочем, по русской поговорке — *лежащего не бьют* — теперь даже совестно ругать Францию: она так упала, так опошлела. Чего доброго, мы скоро, может быть, увидим торжественный въезд Его Величества Генриха V в его *верный* град Париж, и парижане с восторженными криками верноподданнической любви встретят возлюбленного монарха, возвращающегося на престол своих праотцев. Они на все способны. В 1814 году они так подличали перед нашим Александром I, что он принужден был признаться, что он *даже в России* ничего подобного не видал. Одним словом, Франция — устарелая, изношенная, средневековая нация: ей нужен Папа, нужен Король, нужен двор с придворными епископами и метрессами, нужно ханжество всякого рода (ведь Тартюф Мольера — чисто французский тип), а завиральные идеи 1789 это — просто обезьяничество Англии и Америки, и они идут к Франции точно также как к корове седло. Мне кажется, я слышу, как куры хохочут над французами.

Ты очень метко оценил Гагарина: «что-то баранье, покорность даже без увлечения». Да, оно действительно так. Но припомни, что я тебе писал о *духовных упражнениях* Св[ятого] Игнатия, по коим воспитываются или *дрессируются* езуиты. Главная их цель состоит в том, чтобы *ошеломить* человека и посредством какого-то химического процесса выгнать из него последние остатки природного здравого смысла и заменить их чем-то искусственным *деревянным*. Вот, напр[имер], Гагарин где-то написал, что для России остается выбор между двумя крайностями: "*ou le catholicisme ou la revolution!*"\*\*\*\*\* Какой русский человек хоть с каплей здравого смысла мог сказать подобную нелепицу? Но Гагарин просто повторяет заученную фразу как попугай, зажмуря глаза, и вовсе не видит, что теперь именно все католические племена в анархическом состоянии и везде бунтуют против предрержащих властей, что и должно ожидать от людей, не признающих никакой власти, кроме непогрешимого римского Первосвященника, царя царей и господя господей, который недавно еще имел наглость сказать германскому императору, что всякий крещеный человек принадлежит Папе, т[о] е[сть] есть его крепостной: итак, все 80 миллионов русских, все вы — крещеная собственность Папы. Признаюсь, это нового рода крепостное состояние, о котором не думали при эмансипации 19-го февраля. Тебя все это приводит в изумление и негодование, а я тут вижу просто отчаянный предсмертный бред издыхающего католицизма.

К чести Ирландии надо сказать, что у нас здесь не приняли никакого участия во французском паломничестве. Только в Англии несколько безмозглых (т[о] е[сть] католических) аристократов затеяли эту поездку. «*Да ведь это все дворяне от жиру бесятся*». Никогда не забуду этого знаменитого изречения. Рано поутру 15-го декабря 1825 мой дворовый человек *Никифор Шипов* вошел ко мне в комнату для того, чтобы дать мне умыться, и начал рассказывать о том, что было накануне, и заключил этим: «*Да ведь это все дворяне от жиру бесятся!*» Вот чисто демократический взгляд

\* Отец Печерин, усердный миссионер, прошел Ирландию босиком, проповедуя евангелие — *фр.*

\*\* Он прогуливался босиком по своему саду — *фр.*

\*\*\* Сорок веков вы взираете с высоты своих пирамид — *фр.*

\*\*\*\* Или католицизм или революция! — *фр.*



на 14-е декабря! Вот истый глас народа! Никифор не от себя это выдумал, а, вероятно, подцепил где-нибудь на площади из уст народа. Он всегда меня помнил и часто посылал мне поклон при жизни отца, а после он приютился в какой-то богадельне в Одессе. Жив ли он еще, не знаю, но на всякий случай — мир его праху!

Бакунин отличился как нельзя лучше, припомни мое слово: «если он герой, то уж, наверное, герой вроде Пугачева или Стеньки Разина». Оно так и вышло. Вот собственные слова Бакунина на *международном* соборе (International):

«Высший идеал революционера — это русский разбойник, тем более что он не вычитал это из книг, а сам развил из своего внутреннего быта. Кто не знает русского разбойничьего быта, тот вовсе не понимает истинных потребностей России»<sup>1500</sup>.

Однако ж последствием этой речи было то, что на следующее утро Бакунин принужден был напечатать в газетах, что он окончательно отрекается впредь от всякой политической деятельности<sup>1501</sup>. И давно бы пора. Бакунин ошибся в своем призвании. Ему бы следовало быть лихим гусарским или уланским офицером, т[о] е[сть] мотом, кутилою, дуэлистом, забиякою и пр[очее]; тут он был бы совершенно в своей сфере; да, вероятно, и большая часть наших доморощенных революционеров принадлежит к тому же разряду.

Из «С[анкт] П[етер] Б[ургских] Ведомостей» вижу, что Погодин выпустил в свет новое произведение<sup>1502</sup>, где он нападает на цивилизацию вообще и проповедует безусловное верование в сновидения, в приведения, в домовых и пр[очее]. Итак, вот чем кончают ученые профессора в России. Куторга тоже впал в какой-то классический бред. Не знаю, где он профессорствует — в Петербурге или в Москве? Кстати, я все забываю спросить: жив ли Крылов? и как он поживает с любезною супругою, и придерживается ли чарочки?

Нельзя не пожалеть об участи учащегося русского юношества. Сколько времени, сколько сил, сколько талантов гибнет при этой вечной перетасовке учебных систем! А в Оксфорде латинский и греческий язык преподают по тем же учебникам, какие были в ходу в 13-м столетии!

С графом Сальясом я знаком. В 1864 печатались в «Голосе» прелестные его письма из Испании<sup>1503</sup>. Да и матушку его тоже знаю: она в то же время была парижским корреспондентом «Голоса» под именем *Евгении Тур*.

После Достоевского и Писемского я больше никаких книг не получал. Спасибо, что ты припомнил «Жизнь за царя»: это не столько для меня, сколько для Аткинсона, который не раз уже об этом справлялся.

У нас стоит прелестнейшая погода, не знаю, как назвать — совершенная весна: не только тепло, но даже иногда жарко.

Надеюсь, что письмо мое застанет тебя в Москве среди твоих обычных трудов, но, ей Богу, пора бы тебе отдохнуть!

Твой В. Печерин.

## № 177. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
19 окт[ября] 1873

Спасибо тебе, что ты опять правильно начал писать ко мне, не спасибо за то, что ничего не присылаешь из своей автобиографии. Ты изменился — не поддерживает тебя уверенность, что я непременно передам тебя потомству. Мало ты меня

знаешь; знал когда-то еще не составившегося, так что мой нравственный склад не остался у тебя в памяти. Ты мне дорог, кажется, это не подлежит сомнению и для тебя; я сказал самому себе, что я познакомлю с тобою наших соотечественников, и распорядился так, что даже если бы и умер, и тогда напечатали бы тебя всего, каким ты находишься в твоих письмах. Все они у меня подобраны, все перенумерованы, все внесены в оглавление. Напечатать для пробы одно, два — не печатаю, во-1-х, потому что затруднился, где бы печатать, в каком журнале; во-2-х, до того я занят, что не могу уделить ни полчаса; наконец, в-3-х, меня вводит в раздумье — напечатать только твои автобиографические письма, там ты не весь; напечатать их с твоими письмами ко мне? Думаю, что можно повредить тебе в глазах твоих сокатоликов. А ты без писем ко мне, в твоих автобиографических листочках, только ты вполнине. Напечатал бы я с самым маленьким предисловийцем. Вот такой-сякой немысленный человек русский конца тридцатых годов, начала сороковых; вот он весь как есть; вот его жизнь, сформировавшаяся так вследствие воспитания того времени, вследствие общественного состава того времени и в силу нравственного ведения и воспитания и жизни. Кое-что в таком роде на двух страничках и того меньше. Не понимаю я, как женщины не играют почти никакой роли в передаче событий твоей исковерканной жизни. Думаю, что этого не может быть. С какими подробностями начал было ты передавать твой поход из Цюриха, твое первое время в Льеже. Правда, что там было очень мало, как-то почти обойдено твое знакомство с твоими друзьями в том же Льеже, теми самыми, к которым я адресовался, когда тебя отыскивал. Не нашел тут я и нашей с тобою встречи в монастыре, где, вероятно, и ты и твоя братия мне прочитали порядочный акафист как истому северному медведю. Одним словом, тут с минуты поступления в монашество ты завернулся как улитка в раковину и начал уже посылать отрывочки. Насиловать тебя я не могу, а дорого было бы прожить с человеком, которого судьба заставила бороться со всем окружающим и с самим собою. Ты ли, другой ли — проверить целую жизнь, не протянутую рутинным путем, а проведенную во внутренних и внешних борениях. Нет, брат Печерин, скверно ты делаешь, что не хочешь дать дорогой вещи твоим соотечественникам — многие ли поставлены в такое исключительное положение и жизни и полной независимости, как поставлен ты? Скверно, брат, скверно.

Здесьнюю нашу обстановку начну с московской новости — выбора московского городского головы<sup>1504</sup>. Впервые с существования городских голов Москвы выбран человек с немецким именем, именно Шумахер<sup>1505</sup>. Как на это смотрят многие? Я отвечаю тебе посылаемую мною выпискою из одной московской газеты «Современные известия»<sup>1506</sup>. Кстати, тыознакомишься и с этою газетою. Другой отрывок из той же газеты посылаю в ответ на твой вопрос о Крылове. Муций Сцевола, подписавший эту статью, выставляет Крылова в профессоре, спрашивающем у студента: «Как звали мою бабушку?» Это не выдумано<sup>1507</sup>. Крылов пьян ежедневно — все, что было в нем, выдохлось, остался старый семинарист, когда-то умный, когда-то весьма усидчиво учившийся и пропивший все — и ум и ученость. Нравственных начал в нем не было никогда ни на грош. Я его давным-давно не вижу и не желаю видеть. Это какой-то труп существа, имевшего возможность быть порядочным. Остатками ума, оживающего единственно из одного источника — адской злобы ко всему живому и демонской зависти ко всему, имеющему успех. Это злоба, ненависть, зависть, в полном олицетворении подкрепляющая себя сивухою и ромом для деятельности на обильном поприще этих высоких добродетелей. Мне просто он гадок.

Погодина «С[анкт] П[етер] Б[ургские] Ведомости» удостоили названия гонителя науки, почтили именем врага просвещения<sup>1508</sup>. И то и другое предполагает силу хотя бы обскурантизма\* ; в том и другом есть размах. Твой наставник, идеал и преподобный чудотворец Руссо тоже писал о вреде наук<sup>1509</sup>; Погодин в своей последней книге (которую не могу послать по ее объемистости) просто шут, медведь, пляшущий на улице, или что-нибудь в этом роде. Ругать его — значит давать какое-нибудь значение его невыносимой дичи. Одну вырезку пошлю теперь, другую пришлю на днях.

Твой Ф. Чижов.

### № 178. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

30 окт[ября] 1873

Хотя я к тебе писал и очень недавно, но, во-1-х, я не послал тебе обещанной мною статьи о профессорах университета, особенно о Крылове и близко подходящем к нему по пьянству, но никак не по уму Бабсте<sup>1510</sup>, профессоре политической экономии. Во-вторых, сегодня я получил прилагаемую при сем сию минуту мною полученную записку М.П. Погодина. Ответственность за последнюю вполне слагаю на автора и прошу на меня не дуться, если она тебе не понравится. Я не видал Погодина лет 6, если не больше, и вот он третьего дня жалуется ко мне. Слово за слово; началась речь о тебе. Я рассказал, как я был у тебя прошедшего года. На вопрос его, как ты относишься к Папе и его новопатентованным догматам, я сказал, что ты только спишь и видишь, как бы приложиться к туфле Святейшего отца и только тогда будешь считать себя счастливым, когда лизнешь эту туфлю и, откусив кусочек ее, пришьешь ее в свою утробу. Весь этот разговор происходил 27 октября, а сегодня я получаю от него прилагаемую записку. Посылая ее, я радуюсь, что могу представить тебе Погодина далеко не врагом науки, даже не врагом классического образования, хотя он несколько не защитник той крайности, в которую ударился наш министр народного просвещения граф Толстой.

Вчера я смотрел нововыставленную картину «Домашний быт императрицы Анны Иоанновны» — очень недурна и сильно эффектна. Множество лиц, и все исторические. Сама Анна Иоанновна с повязанною головою лежит на постели, близ кровати сидит Бирон и чистит ногти; по другую сторону кровати жена Бирона, помнится мне, подает лекарство. Множество лиц того времени сидит близ кровати. На первом же плане играют в чехарду шуты, то есть придворные аристократы того времени. Голицын наклонился, лица его не видно, только во всем величии его плешивая голова, на него вскочил кн[язь] Волконский, на Волконского шут придворный Балакирев в шутовском костюме. На полу лежит упавший в игре гр[аф] Апраксин. Сзади играет на скрипке другой шут Петарди. Одно почтенное лицо в тени при выходе из комнаты — Волинский, и тут же согнувшийся в дугу в самом подлом положении с тетрадь в руке Тредьяковский. Писал ее Якоби<sup>1511</sup>, и, как сказывают, эту картину хотел купить наследник с тем, чтоб ее уничтожить, потому что близкие потомки этих аристократов-шутов и порядочных подлецов теперь еще живы. Художник не согласился дать на уничтожение, и теперь она куплена каким-то частным лицом.

\* От *лат.* *obscurantis* — затемняющий; здесь: враждебно относящийся к науке и просвещению.

Виноват, не посылаю тебе еще «Жизнь за Царя» единственно потому, что решительно не имею времени захватить на Кузнецкий мост. И то сказать, надобно найти какое-нибудь тебе истязание для того, чтоб тебя наказывать за неприсылание листов твоей автобиографии.

Твой Ф. Чижов.

Записка М. П. Погодина.  
Воскр[есенье]

По возобновлении в первый раз[говор]

1. Печерину воротиться очень легко, думаю, профессором классической словесности. Министерство, без всякого сомнения, примет его с распростертыми объятиями. Стоит только растолковать ему, какой Столп приобретет оно для своей системы, — и это так!

2. Попросить г[осподина] Ханенку разузнать стороною правила о правах пожертвований в лице кат[кова].

3. Скажу вам нечто утешительное. Вчера же услышал я о школе Лапшина в Феодосии. Говорят — удивительное влияние, благодетельное, возымел он на всех жителей. Предался всецело делу не учения только, а воспитания, и мальчишки, [нрзб] его обожают.

[нрзб]

Ваш Погодин.

а все-таки на обор[оте]

Решился переверотить страничку.

Печерин в два года приготовит им таких учителей греч[еского] языка, что они облизатся и не будут знать, как благодарить Бога. Приобретение такого человека было бы событием, а ему, судя по всем слухам, сладко было бы воротиться. Напишите-ка ему легонько: «А что если б профессор профессором и воротился... и проч[ее]». Гордость, даже и без этого я не понимаю в 60-лет[нем] человеке [нрзб] и пр[очее].

Лапшину я начал собирать библиотечку и ему ж собрал книг для наград.

Нет, как нам не приходится подчас горько, а добра много на Святой Руси! Помоги ей Бог.

### № 179. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

12 ноября н[ового] ст[илия] 1873

Не сетуй на меня и никак не дерзай посягать на неограниченную свободу моих мыслей и действий. Я точно как граф Шамбор не позволяю себя ограничивать никакими конституционными условиями. Ты жалуешься на то, что я пишу отрывками, но ведь вся жизнь состоит из отрывков, а там, Бог даст, явится какой-нибудь Гомер, который все приведет к великолепному единству. Признаюсь, какая-то дрожь проняла меня, прочитавши твое *описание Крылова*: вот что меня ожидало, если б я остался в России! и сделай милость, не говори нет! это невозможно! Все возможно! Ломоносов спился с кругу, возвратившись в Россию. Да, ради Бога, не ставь себя в

пример: ты никому примером быть не можешь, ты исключение из всех правил, ты феномен на Руси, ты первый и последний, ты альфа и омега! Где же бы мне, например, пришло в голову устроить себе независимое положение посредством какой-нибудь промышленной деятельности? по роковой необходимости я бы остался на веки профессором, да если б еще лукавый попутал жениться, то я бы по уши погряз в той профессорской грязи, которой хотя слабый, но верный очерк представлен мною в письме к графу Строганову. Повторяю свою аксиому: *профессорство в России невозможно*. Да к тому же ты знаешь, что я избрал это поприще поневоле, потому что не было другого исхода.

Теперь утешительно сказать самому себе: *Après tout j'avais raison!*\* Не без гордости гляжу назад: мне не в чем раскаиваться, нечего жалеть; я совершил великий подвиг, я исполнил священный долг самосохранения: оставаться в России было бы равносильно самоубийству. В здешней здоровой физической и нравственной атмосфере я с годами не стареюсь, а, напротив, каждый день обновляюсь приобретением новых познаний, с каждым днем умственный кругозор расширяется и с каждым днем дышится как-то легче и привольнее. Вот где единство!

И когда я сижу перед пылающим камином и вдруг возьмет меня раздумье, и гений былого осенит меня своими крылами, и вижу — в Гороховой улице на пятом этаже бедный студент сидит у окошечка, на коем вьется бедная веточка плюща, сидит и с вечерней зари до утренней читает «*Дон Карлоса*»<sup>1512</sup> нарочно для того, чтобы испытать петербургскую ночь, а на стене его конурки между разными мудрыми изречениями написано крупными буквами:

Pain bis et liberté!

Вот это я! это я сам! тот самый Печерин, что теперь сидит у камина и читает Шекспирова «Царя Лира»<sup>1513</sup>. *Гороховая улица* сошлась с *Lower Dominick Street* и слилась с нею в одно гармоническое целое. Единство восстановлено! Весь этот более чем сорокалетний промежуток между двумя улицами — это был не я, это было что-то наносное, прививное, навязанное мне чуждою мне средою, я все как-то был совсем не свой; но теперь, слава Богу, я завоевал свою свободу и снова водворился в своей собственной сени: и гордо могу сказать богине истины и науки то, что Мирабо писал к Софии<sup>1514</sup>:

Je suis libre, et je t'aime  
A la barbe de nos bourreaux!\*\*

Теперь я спохватился, что я действительно рожден быть *монахом*, но только не в церковном смысле, а в буквальном. Монахос — значит *одинокий* человек, живущий вдалеке от сует и дрязг большого света и занимающийся в уединении каким-либо полезным физическим или умственным трудом. В этом смысле ты сам совершенный монах. Но как странно изменяется значение слов в продолжение веков! Теперь монах вовсе *не одинокий* человек, а, напротив, он член многочисленного и шумного общества, замешенного во всевозможных мирских проделках финансовых и политических и движимого самыми мирскими страстями — ненасытным любостязанием

\* В конце концов я в здравом уме — *фр.*

\*\* Я свободен и я тебя люблю

Под самым носом у наших палачей — *фр.*

и ярым честолюбием. От этих монахов избави нас Боже! Папе следовало бы причислить Виктора-Эммануила к лику святых за то, что он старается избавить Италию и Европу от этой вековой язвы.

Как это странно, что у нас в России молодой человек с малейшими способностями тотчас воображает, что он способен и призван играть политическую роль. Откуда это происходит! Вероятно оттого, что у него нет места для скромной частной деятельности, а все поглощено государственною жизнью. Несчастный Калмыков застрелился — отчего? оттого, что его послали учителем в крепость Бобруйск. Ему казалось позорным быть запертым в такой глуши, хотя у него вовсе не было блистательных дарований. Подобное явление невозможно ни в Англии, ни в Америке, ни в Германии: там никто не брезгает скромною должностью учителя, там всякий знает, что с умом и деятельностью можно подняться выше и выше даже до самых горних ступеней общества. *Гизо*<sup>1515</sup> был просто домашним учителем, прежде чем сделался первым министром. *Линкольн* не стыдился быть дровосеком, а просто работал да работал и своим упорным трудом прорубил себе путь к трону президента Соединенных Штатов. В полуобразованных странах легкая литература играет важную роль. У нас всякий, кто может *подвернуть стишок злодейский*<sup>1516</sup> или написать статейку в журнале, считается уже важным государственным деятелем. А в Англии и Америке, напротив, литераторы составляют какое-то особенное сословие, вовсе непричастное политической деятельности: их дело забавлять публику, их никогда не избирают членами в парламент и не делают министрами, а, напротив, избирают *деловых* людей — землевладельцев, банкиров, больших промышленников, адвокатов и пр[очее]. Только в бестолковой Франции в 1848 избрали в Палату депутатов песенника Беранже<sup>1517</sup>. В Англии или в Америке Герцен считался бы очень приятным писателем, но никакого политического значения никогда бы не имел. Кстати, в моем отеле получается английская газета, издаваемая в *Йокогаме в Японии*. Это очень любопытно, потому что теперешняя Япония очень похожа на Россию. Посылают молодых людей учиться за границу, и они возвращаются с поверхностными познаниями, с франтовскими ухватками Запада и с совершенным презрением ко всему родному.

Все это пишу в виде предисловия к тому, что было со мною

в 1846–48 в Фальмуте.

Политическая дурь испортила лучшие годы моей юности. Откуда она взялась? Это нетрудно объяснить. Главная часть моего воспитания была на границе Польши и в руках двух политических деятелей, подготавливавших 14 декабря и польское восстание. Мой учитель писал ко мне следующую галиматью, т[о] е[сть] «Свободная нация изберет вас своим первым консулом, и я счастливо умру подле вас». Этого было довольно, чтобы вскружить голову 15-летнему мальчику —

Он поэт! он вождь народный!  
Он отечество спасет<sup>1518</sup>!

С тех пор я начал прибавлять к своей подписи: т[о] е[сть] *вольность* и *равенство*! Все это как-то притихло, заснуло и даже умерло в обществе гвардейских подпрапорщиков и шулеров. Еще бы! Но гром июльской революции разбудил всех нас, как ты помнишь, а вместе с тем влияние незабвенной баронессы Розенкампф снова развило во мне революционные идеи. Еще при первом отъезде за границу я решился было уже не возвращаться и броситься *стремглав* в объятия республиканской партии и

жить, и сражаться, и умереть с этими героями и мучениками свободы. У русских бездна честолюбия; но это честолюбие не любит трудиться и терпеливо достигать цели: нам все хочется *подцепить* славу как-нибудь мимоходом при первом благоприятном случае (*escamoter la gloire\**). У подошвы Сен-Готарда я услышал о покушении Алибо на жизнь Луи-Филиппа<sup>1519</sup>. «Вот как это легко, — думал я. — Стоит только выстрелить, и сразу попал в историю!»

Младенчество наших политических понятий видно уж из того, что у нас всякий считает себя способным на все без малейшего приготовления. *Ведь не черти же горшки лепят!* Лишь только Герцен приехал в Париж, тотчас бегут к нему навстречу на Place Vendôme\*\* Бакунин и Сазонов<sup>1520</sup>: «Ну, что нового в России? Ожидают ли перемены министерства? Разумеется, если будет какая-либо перемена, то они непременно должны будут обратиться к нам, т[о] е[сть] выбрать кого-нибудь из нашего кружка!»<sup>1521</sup> Вообразите: это в 1847 — в России да еще при Николае! Экие шалуны! Если бы я был Погодин, я бы сказал, что за этакую блажь следовало бы им дать порядочную припарку розгами. В 1846 году скончался Григорий XVI. На место его выбран кардинал *Giovanni Mastai — Пий IX*. Недаром он упал в обморок при этом известии: он как будто предчувствовал свое бурное поприще. Да и вся Европа и весь мир как будто пошатнулись от изумления. Как! Папа — либерал<sup>1522</sup>! Папа из того самого дома Мастаи, о коем покойный Григорий XVI с ожесточением говорил “*Nella casa di Mastai anche i gatti sono liberali!*”\*\*\*\*. Итак, это правда, воскликнул я, что католическая церковь — истинная мать свободы! Верховный первосвященник с высоты апостольского престола призывает народ к восстанию против тиранов! Во Франции переполошились. Гизо утешал себя тем, что *священник спасет короля* (*le prêtre sauvera le roi*). А езуиты были в то время заклятыми врагами папы. Уж как они забавлялись над ним на своих *рекреациях*. Братья-прислужники сделали паяса из картона и, дергая его нитками, заставляли взмахивать руками и ногами, приговаривая: «Вот это Pio Nonno!\*\*\*\* — вот как им подергивают революционеры!» У кого тут не закружилась бы голова! Все как будто с ума сошли. Одна почтенная дама в Фальмуте с восторгом воскликнула: “*Thanks be to God! the Pope has turned protestant!*” Слава Богу! Папа стал протестантом! В комнату ко мне вбегают, весь запыхавшись, французский учитель Robin de la Trehonnais: “*Vraiment le Pape est un grand homme, il a aboli les jésuites!*”\*\*\*\*\* Этот Robin de la Trehonnais, принадлежавший к какой-то легитимистской фамилии, был сначала отчаянным вольтерьянцем, а после круто повернул и сделался крайним ультрамонтаном и даже напечатал приторно-напыщенное живописное описание своего паломничества к чудесному источнику la Saletta<sup>1523</sup>. Он часто был моим собеседником в Фальмуте, и от нечего делать я рассказал ему историю моей юности, и он так ею был восхищен, что тотчас же решил сделать из нее роман и позже нарочно приезжал ко мне в Лондон для собирания новых материалов, но настоятель положил на это запрет и хорошо сделал, а то бы мне пришлось быть героем нелепо-чувствительного романа. Этот Robin de la Trehonnais после очень разбогател и теперь, кажется, живет в Алжире.

\* Похитить славу — *фр.*

\*\* Вандомская площадь — *фр.*

\*\*\* В доме Мастаи даже кошки являются либералами — *ит.*

\*\*\*\* Пий Девятый — *ит.*

\*\*\*\*\* Действительно, папа — великий человек, он сокрушил иезуитов — *фр.*

А тут неожиданно как бомба лопнула — революция 1848. Какой восторг! Франция — освободительница народов! Франция, открывающая новые блестящие судьбы человечеству. Революция и католичество протягивали друг другу руки. Народ везде сажает деревья свободы (*arbres de la liberté*)<sup>1524</sup> и призывает католических священников — да! священников Пия IX окропить святою водою эти свежие отпрыски свободы. С какою жадностью пожирались газеты. Луи-Филипп бежал, переодевшись, под прозаическим именем М-г Smith — вот он вышел на берег в New Haven — сделайте милость, покажите мне на карте, где это! Одна знакомая дама присылала нам ежедневно “*Times*”, где подробно были описаны все эти европейские революции.

А между тем лукавый лицемер le Père de Buggenoms мотал себе на ус, тщательно записывал все мои восторги и доносил об них высшему начальству. Вследствие этого наш провинциальный настоятель отец де Гельд нашел нужным сам лично навестить нас для того, чтобы выведать мое настроение. При свидании со мною он ничего особенного не заявил, но через месяц после того я был вызван в Лондон, чтобы быть под его личным надзором.

Я так свыкся с этою скромною средою, так привязался к некоторым лицам, что мне горько было расставаться с Фальмутом. Я пошел проститься с Robin de la Trehopnais: он лежал больной в постели; мне надобно было делать героические усилия, чтобы скрыть свои слезы. Я утешал себя и его тем, что еду только на время и возвращусь, может быть, через месяц. Но судьбы иначе решились.

В. Печерин.

P. S. Письмо графа Шамборо<sup>1525</sup> следовало бы поставить в рамки вместе с письмом Гагарина: они одного полету птицы. Но только граф Шамбор более возвышенный и свыше вдохновенный дурак. Он перещеголял и совсем затмил Дон Кихота. И этакого балбеса призывали на престол! Решительно теперь *Finis Gallia!*

## № 180. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

12 нояб[ря] 1873

Ты пишешь, что мы с тобою рождены монахами, просто мы рождены и предначены быть *шутами гороховыми*, да и вообще в мире 99 сотых шутов гороховых. Составят из себя черт знает что, зададут себе жизнь или идею жизни черт знает какую и изломают всю жизнь так уродливо, что ни Богу свечка, ни черту кочерга. Начну с себя. Как будто я живу? Как будто я человек, как все люди? Нисколечко. Я рабочий, поденщик, и так затянулся в работу, что человеком, то есть живущим вне работы, быть уже не в состоянии. Из этой жизни у меня образовалась теория жизни, которая и сделалась моею жизненною программю. Что же выходит? Самая жизнь, то есть практическая деятельность, независимо от меня и без моего ведома усиливает мое убеждение в моей теории, а теория усиливает деятельность по раз избранному направлению, — и выходит та уродливость жизни, которая превратила меня, человека, в живую машину. Думаю, что ты мне поверишь, когда я скажу тебе: деньги для меня решительно последнее дело, но те, что я при жизни или после смерти получу, около двух миллионов, я отдам или завещаю на учебное ремесленное заведение в Костроме (моей родине), на вдовый дом в Костроме, на дом умалишенных или больницу душевных болезней в Костроме и проч[ее] и проч[ее] и все в Костроме — это сильно поддерживает мою деятельность. Ты задал себе Дон Кихотство в жизни и считаешь себя не-



зависимым, хотя в полнейшей зависимости от избранного тобою служения. По этой самой зависимости ты с благоговением преклоняешь колено пред каждым алтарем в церкви; носишь платье, которое ставит тебя в тысячу внешних зависимостей, и в этой адской зависимости, по заданной теме, считаешь себя независимым. Пишешь ты дичь, что ты так же спился бы, как Крылов и другие. Чем бы ты был? Ты спрашиваешь: просто Печериным. Вероятно, не женился бы потому же, почему и теперь не женился.

С сильным нетерпением жду я от тебя ответа на письмо с запискою Погодина. Хочется мне прочесть, как она тебя возмутит. Погодин чудак и чучело — он думает, что все непременно должны так думать, как он думает; так делать, как он делает, и даже так чувствовать, как он чувствует. Решительно он такой же чудак, как и мы с тобою. Ты кажешься свободным и крайне терпимым, а все в России тебе кажется гадким, хотя ты совершенно и решительно не знаешь ее и не имеешь ни малейшего понятия о теперешней России. В Ирландии ходят босиком потому, что они не хотят потерять привычки к босоногости и хотят себя приучить не бояться простуды, а в России та же босоногость — признак нищеты и варварства. А я положительно знаю, что лет 60 тому назад князь Щербатов (сын историографа)<sup>1526</sup> требовал от своих взрослых дочерей, чтоб они ходили босиком. Как там, так и тут девки деревенские идут босиком в церковь и, подойдя к церкви, на паперти надевают башмаки — в Ирландии это прекрасно, в России скверно. Винить я тебя не виню: ты не виноват в том, что на тебя навязан такой уродливый взгляд. Не виноват и потому, что ты — герой независимости, всегда жил и смотрел на вещи и на весь мир в полнейшей зависимости от того, кто овладевал тобою с ног до головы. Теперь ты восхищаешься ежедневным, еще ли не ежеминутным приобретением сведений — да на черта ли они тебе, когда ты как «Скупой рыцарь» Пушкина собираешь их в сундук и прячешь ключ за 12 замков, едва ли не проглатываешь и потом выкапываешь. Ты такой же Гарпагон в знании, как Плюшкин<sup>1527</sup> в имуществе: поднимаешь каждую тряпочку, каждый гвоздик, всякий хлам и все запираешь в сундук. Что же тут хорошего? Ну и накопишь, половина сгниет, половина останется в твоём сундуке и что же кому из этого? Черви в земле тоже скушают твою умную голову, как и мою глупую. У меня едва сил достаёт тащить тебя в бессмертье, а ты упираешься, как козел, — просто, брат, как хочешь, а мы истые шуты гороховые.

Твой Чижов, шут гороховый.

### № 181. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

9 декабря н[ового] ст[иля] 1873

Эпиграф

Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше

Ubi bene, ibi patria\*.

В древние времена мудрые люди никогда не говорили спроста обыкновенным языком, а все выражались притчами, загадками, баснями, пословицами, разными поговорками и прибауточками. Следы этой древней мудрости сохранил для нас Лафонтен<sup>1528</sup> в басне о «Волке и собаке».

\* Где хорошо, там отечество — *лат.* Выражение восходит к комедии Аристофана «Богатство».

Басня.

Дворовая собака из всех сил бьется, чтоб переманить волка из лесу в город на жительство. Ведь у нашего барина всего вдоволь! «Ешь, не хочю! Будешь, как сыр в масле кататься». Волка взяло раздумье: «Оно, конечно, хорошо, — думает он, — однако же постой-ка, брат, скажи пожалуйста приятель отчего у тебя шея так истерта?» — Это так, ничего. — «Как ничего? это что-нибудь да значит» — Ну уж коли хочешь знать, так это от ошейника: нашего брата знаешь, этак для порядка на привязи держат. — «А! понимаю! — сказал волк, почесывая лапою за ухом, — покорно благодарю! покорный слуга!» Волк раскланялся и во всю прыть пустился в лес, et il court encore\*, прибавляет Лафонтен.

*Нравоучение басни.*

Печерин тоже court encore  
И нелегко его пояти.

За сим следуют официальные документы.

*№ 1. Внутренние известия.*

Решение Государственного Совета.

В заседании Государственного Совета 15-го ноября 1873 года положено следующее решение:

Пункт 1. Михаилу Погодину за оказание им к нашей особе усердие и доброжелательство объявить нашу высочайшую благодарность.

Пункт 2. Представленный вышереченным Михаилом Погодиным проект об учреждении кафедры греческого языка в богоспасаемом граде Москве — оный проект занулировать и сдать в государственный архив или препроводить к сведению в Комиссию для решения счетов и счетных дел давно прошедшего времени.

Пункт 3. Предписать кому следует по начальству довести до сведения его же Погодина, что в городе Лейпциге, т[о] е[сть] в Германии, учреждено нарочитое училище классической филологии для образования русских юношей, подготовляемых к должности преподавателей оной же классической филологии, т[о] е[сть] древних языков греческого и латинского.

Пункт 4. Воздавая должную хвалу вышереченному Михаилу Погодину за оказанную им ревность к распространению древних языков, Государственный Совет, согласно мнению большинства его членов, находит нужным заметить, что развитие истинного просвещения в государстве нимало не зависит от развития классической филологии.

Быть по сему.

*№ 2. Иностранные известия.*

Вследствие воцарения капрала Макмагона<sup>1529</sup> некоторые либеральные французы обратились ко мне как к грамотному человеку с просьбою, чтобы от имени их написать челобитную, которая при сем и прилагается.

Его Имп[ераторскому] Величеству Государю Императору  
Самодержцу Всея России и прочая, и прочая, и прочая  
От французского народа

---

\* Дословно: «и он бежит снова». Здесь в значении: «и был таков».

Челобитная.

Великий Государь! Земля наша обширна и богата, но порядку в ней нету: чего ради мы с сокрушенным сердцем прибегаем к подножию престола Вашего Имп[ераторского] Величества с нашею всепокорнейшею просьбою. Благоволите, великодушный Монарх, оказать нам божескую милость и прислать к нам одного из Ваших генералов или, по крайней мере, Полковника Жандармов или, в крайнем случае, хоть донского казака с нагайкою для того, чтобы управлять нами, понеже мы ради крайнего нашего неразумия и буйного ндрава сами собою управлять отнюдь не разумеем. А мы за таковую Высочайше нам оказанную царскую милость не престанем денно и нощно возсылать теплые молитвы к Подателю всех благ за Ваше и всего царского Дома Вашего нерушимое здравие и благоденствие.

Вашего Имп[ераторского] Величества  
Смиренные рабы и богомольцы  
Представители французской нации  
Следуют подписи.

После этих документов ты может быть подумаешь, что я немножко подгулял, т[о] е[сть] этак невеселе à la Krilof: но я тебя уверяю, что

хоть немножко вру,  
Зато уж в рот хмельного не беру  
И был всегда с прекрасным поведением<sup>1530</sup>.

Итак, следует заключить, что я в очень веселом расположении духа и готов плевать на всю поднебесную или, как говорят американцы, отхлестать всю Европу, flog all Europe\*. Ты напрасно думаешь, что я не знаю России: я очень хорошо ее знаю; но только Россия России рознь. *Твоя* Россия, например, очень хороша, нечего сказать, потому что ты с твоими миллионами никому и в ус не дуешь; а *моя* Россия — *чиновничество*, о котором ты сам не очень высокое имеешь понятие. Для меня быть в России значит броситься в *отверстые объятия* министерства народного просвещения и попасть под начало Баршева или Крылова. Нет! покорно благодарю! как сказал волк. Вот уже благодаря Богу более 12 лет как я ни под чьим присмотром не нахожусь и могу завтра же, если захочу, уехать в Японию и дальше никого не спросясь. Мое теперешнее звание нимало не мешает мне заниматься химическими опытами: разлагать воду посредством серной кислоты с помощью гальванизма, жечь содиум и потассиум\*\*, переливать газы из одного сосуда в другой или из пустого в порожнее, а если при этом мне удастся сделать какое-нибудь новое открытие, то будь уверен, что я не замедлю тотчас же уведомить об этом весь обитаемый свет — Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию и все прочие обитаемые страны, и на всех возможных языках — на латинском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском и даже на русском и на всех прочих человеческих языках и наречиях. Ну что, довольно? или еще хочешь?

Беседа о погоде.  
— Fine morning Sir!

\* Высечь всю Европу — *фр.*

\*\* Натрий — от *англ.* и *фр.* Sodium.

Калий — от *англ.* и *фр.* Potassium.

— Yes, thank God, fine morning indeed!\*

— Ну что вы скажете о нашей зиме?

— Какая тут зима? Вот уж 8-е декабря, а о зиме и слуху нет.

— Нет, уж лучше скажите, что у нас стоит настоящая итальянская зима, такая, что в самой Венеции лучше желать нельзя.

— Да вот уж целый месяц термометр стоит на 50° и 55° Фаренгейта<sup>1531</sup>. Ей Богу, даже совестно уголь жечь в камине, тем более что он теперь очень дорог.

— Нет, уж как хотите, а без огня быть нельзя. В комнате все как-то уныло и скучно и чувствуешь себя одиноким, а огонек в камине — добрый и веселый товарищ. Ну, а что вы скажете об этом воздухе?

— Воздух самый чистый и благорастворенный, так что как выйдешь по утру, то это истинное наслаждение дышать им.

— Однако только я боюсь, что за эту прекрасную погоду нам придется поплатиться в феврале.

— Ну, уж там что будет, то будет. *Carpe diem*, сказал Гораций<sup>\*\*</sup>: срывай цветок настоящего дня и не думай о завтра. Довлеет дневи злоба его.

— Милостивый Государь! Благодарю вас за вашу назидательную беседу, позвольте пожелать вам доброго дня.

— Государь мой! Я ваш покорный слуга.

(это из письмовника Курганова<sup>1532</sup>).

В. Печерин.

## № 182. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Петерб[ург]

10 декаб[ря] 1873

Получил я твои басни, сказки, пословицы и прибаутки. Очень благодарен, что могу их прочесть Мих[аилу] Петрову Погодину. Я послал тебе одну его записку, а он бомбардировал меня тремя такими цедулами. Это такой шут гороховый, что на всех шутов шут.

Прежде чем начну я переливать из пустого в порожнее, должен спросить тебя, какие именно томы получил ты из Петербурга из Собрания русских писателей. Сколько я мог понять, ты получил только немногие, тогда как я послал тебе или просил Поленова переслать много. «Жизнь за Царя» мною куплена, только теперь второе горе — как переслать тебе. Под бандеролью не принимает почта, говорит, что слишком тяжелая книга, а иначе страшно дорого. Сегодня поразузнаю, нельзя ли будет послать с отправками Общества Пароходства и Торговли, так как Савич агент этого общества.

Как ты изволишь видеть, я пишу тебе из Петербурга, куда приехал хлопотать по новоучреждаемому мною товариществу ловли и соления сельдей, ловли и соления трески, боя китов, моржей, тюленей и др[угих] северных обитателей-жителей

\* Прекрасное утро, сэръ!

Да, хвала господу, действительно прекрасное утро — англ.

\*\* Лови день — лат., т. е. пользуйся сегодняшним днем, лови мгновение. Девиз эпикурейства. Выражение заимствовано из Горация, Оды, I, 11 (“...carpe diem, quam minimum credula postero...») — «пользуйся днем, меньше всего веря грядущему»).

Новой Земли и еще приготовления гуано. Года два тому назад это было моею промышленною мечтою, теперь она осуществляется и, вероятно, к весне 1874 г[ода] уже будет действовать.

Ярославль  
2 января 1874

Никогда еще не случалось во все время переписки моей с тобою, чтоб проходило такое длинное время от получения твоего письма до моего ответа. Я начал тебе писать в Петербурге, где я был по делам и все прихварывал; по делам и всего более по разорванности времени не успел кончить письмо, приехал в Москву и захворал, все это раздражение мочевого пузыря, потом хлопоты по составлению нового товарищества, множество забот по соображениям к концу года и тому подобное. Так и протянулось полмесяца. Пред самым концом года получил я письмо от Редкина (помнишь твоего спутника в путешествии по Швейцарии) после более чем тридцатилетнего молчания. Он давно женатый, давно отец взрослых дочерей, давно государственный человек, но неизменно хороший человек и один из лучших профессоров в Петербургском университете. Теперь он избран ректором университета, чему я очень рад не столько за него, сколько за университет. Я отвечал ему и в ответе передал от тебя ему несколько слов.

Накануне Нового года я отправился в Ярославль по своей дороге частью для того, чтоб осмотреть дорогу, которая действительно хороша, а более всего для того, чтоб избегнуть людской глупости — новогодних визитов. Я решительно никогда не делаю никаких визитов, не подчиняюсь никаким общественным условиям, а все-таки найдутся дураки, которые непременно побывают и оставят свои визитные карточки. Положим, я не принимаю никого в эти дни визитов, но беспрестанные звонки раздражают нервы именно потому, что ездят и звонят единственно по глупости. В Ярославле я вдали от города на железнодорожной станции, где есть директорские комнаты: тишина невозмутимая, нарушаемая только свистками при прибытии и отправлении поездов, — полагаю, что в твоей обители, когда ты жил в монастыре, было не так безмолвно, как здесь. Приехавши, я прихворнул по обычаю, пользуясь этим, другой день не выхожу из комнаты. А комнаты у меня тут славные — постоянно горит огонь в камине, и треск угля с завыванием ветра составляет такую зимнюю мелодию, что, кажется, не отошел бы от камина и ни за что не принялся бы. У тебя любовь к уединению вынесена из монастыря, у меня из моей ссылочной жизни на моих плантациях. Теперь я только и брежу сельдями, трескою, китами, акулами, моржами, тюленями и приготовлением гуано. Вообще я от рождения сумасшедший, маньяк, всю жизнь прожил маньячествуя, переходил от одного увлечения к другому и теперь дошел до полного помешательства на промышленной деятельности. У меня уже рисуется, как мы оживим весь Север, заведем там города на берегах Ледовитого океана, прочистим Северную Двину, будем возить туда хлеб и все жизненные потребности с Волги, оттуда привозить дешевую рыбную пищу на пропитание бедных. Огромные картины окаймлены ледяными горами Ледовитого океана. На Новой Земле заведем временные жилища — даже когда замечаешься, и тогда начинаешь зябнуть, и мороз по коже подирает.

Напиши же, какие именно книги ты получил; кажется, многие пропали при пересылке.

Хорош я! Написал длинное письмо и забыл поздравить тебя с Новым годом, — именно потому, что сам совершенно забыл о наступлении Нового года, да и что он

даст нам нового в нашем старческом теле? Не вливают вина нового в меха ветхие<sup>1533</sup>. Вот тебе новость: я издаю новое издание Гоголя в числе 12000 экземпляров.

P.S. Погодина я не вижу по целым годам, не почему-нибудь особенному, а просто потому, что веду жизнь совершенно отшельническую. Он издал «Древнюю русскую историю домонгольского ига», — само собою думается, что я не успел ее прочесть, хотя и имею. Читавшие говорят, что это собрание выписок из летописей и всем известных исследований. Хорошо еще и то, что человек за 70 лет трудится и работает.

Что ни пишу, а все вертится в голове одно — это сильнейшее желание повидаться с тобою нынешним летом. До тех пор пока не напишу к тебе, что вот, дескать, тогда-то я выезжаю, ты пиши ко мне постоянно. Вижу, что тебе иногда наскучивает писать свою автобиографию, но смотри, со мною не шути. Пожалуйста, напиши, что было бы тебе приятнее получить из России.

### № 183. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

3 февр[аля] 1874

Что, брат Печерин, ты, кажется, совершенно забыл, что есть у тебя старый друг Чижов, который хочешь не хочешь, а как ты долго не пишешь, невольно и сильно о тебе заботится. Может быть, это и очень глупо. Да в 64 года изменяться несколько поздно: горбатого могила исправит, с чем в колыбельку, с тем и в могилку. Писал я тебе из Ярославля, где захворал и прохворал больше половины января; теперь уже и здоровым живу около половины месяца, а от тебя все ни словечка. Не думаю, чтоб записка Погодина была этому причиною; ему тоже в 75 лет уже не изменяться; он думает по-своему, часто и большею частью довольно уродливо — ну да теперь не столько уже жить, сколько прожилося, дотянется и уродом. Книга его, как говорят, расходится сильно, я думаю потому же, почему тысячами экземпляров расходился и расходится Сонник или снотолкователь и Кургановский письмовник.

Были у нас ваши английские гости — Валлийский, Эдинбургский и младший брат, не знаю уже и какой<sup>1534</sup>. Покутили, покатались на тройках, благо зима при них была превосходная, не сильно морозная, с превосходным снежным путем. Все они с государем ездили в Троицкую лавру по моей дороге; но я как хворый туда не ездил. Балы, гулянья, попойки с цыганами, всего, говорят, было вволю. Прием и иллюминация на славу. Все это я знаю поговору других, потому что веду жизнь отшельника, частью по хворости, а частью потому, что не люблю шума. Теперь еще ждут нового гостя — австрийского императора<sup>1535</sup>.

Огромная книга, опера Глинки «Жизнь за Царя» для четырех рук на фортепиано, давным-давно уже куплена, но так как Савича более нет в Лондоне, то не придумаю, как послать. На почте такую тяжеловесную книгу не берут; делать нечего, надобно будет ждать удобного случая. Жду тоже от тебя перечня книг, полученных тобою из Петербурга: послано было много, не знаю, все ли ты получил. Очень может случиться, что меня в нынешнем году пошлют за границу, на минеральные воды, тогда, по всей вероятности, я опять к тебе приеду, и хотелось бы мне очень поездить по Ирландии. Пожалуйста, имей это в виду и дай мне тогда писем, потому что ездить, не зная ни души и сильно плохо говоря по-английски, не совсем приятно.

Новое у нас одно и весьма важное, это всеобщая военная повинность<sup>1536</sup>. Впрочем, она, по-видимому, более громка по названию, нежели как будет в сущности.

Учебные заведения получили большие льготы — время солдатства для них сокращено до нескольких месяцев; хорошо при этом именно то, что эта новая повинность заставит всех идти в гимназии и училища. Вообще теперь заботы об устройстве училищ весьма усилились: везде в земствах откладываются капиталы, заводят школы и входят в ход самого ученья. В прошедшем месяце дан был высочайший рескрипт на имя министра просвещения графа Толстого<sup>1537</sup>, забившего лбы всему российскому юношеству в воинство классицизма, и этот рескрипт, если он будет иметь действительную силу, пожалуй, может поприостановить ревность к распространению школ. Он ставит все народное образование под стражу дворянства, тогда как земство нисколько не подчиняется дворянству; земство состоит из всех обывателей: крестьян, дворян, купцов, мещан, духовенства и пр[очего]. Бог знает, будет ли оно давать деньги на школы, когда сторожами будут дворяне, ни в чем не оказавшие сильной своей состоятельности. Один мой старый приятель помещик четырех или пяти губерний говорил мне, что при старых дворянских выборах ему случалось бывать во всех этих губерниях на выборах и что же? Куда ни приедет все кажется, что хуже той губернии, в которую он приехал, не может быть.

Видел я Вашу духовную английскую знаменитость Станлея (Stanley)<sup>1538</sup>, приглашали меня на обед с ним, но я не поехал. Больше люблю смотреть на обезьян, чем на знаменитости.

Жду твоих строк — твой Чижов.

#### № 184. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

11 февраля 1874

Насилу дождался от тебя письма. Я уже собирался было писать к тебе в этом тоне:

Чем тебя я огорчила?  
Ты скажи, любезный мой!  
Или тем, что полюбила,  
Потеряла свой покой?<sup>1539</sup>

Но теперь с благоговением преклоняю главу перед твоим *помешательством*. Слыханное ли это дело? Человек в твоих летах да еще с расстроенным мочевым пузырем изволит разъезжать или прогуливаться в январе из Москвы в Петербург и обратно и потом в Ярославль и даже стремится к Белому морю в объятия моржей и тюленей. Всего забавнее то, что мы недавно с Аткинсоном читали в «*Ташкентцах*» именно об этой самой промышленности, и наш сатирик очень над нею подшучивает как над делом несбыточным, а вот оно и в самом деле осуществилось. У вас зима очень подгуляла: 6-го января в Петербурге вместо крещенских морозов была оттепель и гнусная слякоть. Моя газета «Daily Telegraph» каждый вечер подробно уведомляла меня обо всем, что делалось в Петербурге, а теперь корреспондент «Times» превозносит Москву до небес: видно, что иллюминация у вас вышла лучше, чем в Петербурге. Итак, я могу сказать: и я там был, мед пиво пил, по усам текло да в рот не попало. Заблаговременно благодарю тебя за «*Жизнь за Царя*»: это будет высоко оценено Аткинсоном и его женою. С июня прошлого года я никаких книг не получал. Вот все, что я получил:

«Ташкенцы», Соч[инения] Достоевского,  
Соч[инения] Писемского (без конца).

Погодин, как видно, помешался на греческом языке. “Ah! pour l’amour du grec permettez, monsieur, que je vous embrasse!” (Molière)<sup>1540</sup>. Мое помешательство не простирается далее исследования разных явлений электричества и химических разложений. Благодаря относительной дешевизне этих предметов теперь все научные снаряды сделались общедоступными. Я надеюсь со временем составить себе порядочный физический кабинет. При сей верной оказии

С новым годом поздравляю  
И всех благ я вам желаю.

В. Печерин.

Adieu Falmouth!  
Mai 1848.

В одно прекрасное утро (как говорят литераторы) 1835 военный агент генерал Мансуров созвал всех находившихся под его начальством членов профессорского института и предложил им, между прочим, следующий вопрос: «Не знает ли кто из вас, господа, был ли император Павел два раза женат, т[о] е[сть] была ли у него первая жена прежде Марии Федоровны?» На этот вопрос все оказались немогузниками. Я осмелился доложить его превосходительству, что я достоверно знаю, что у Павла Петровича была первая жена Наталья Алексеевна<sup>1541</sup>. — «Да откуда же вы это знаете?» — «Из самого достоверного источника, т[о] е[сть] из придворного календаря такого-то года!» — «Да где же этот календарь? нельзя ли его достать?» — Как бы не так! Ищи ты ветра в поле! Календарь этот находился в библиотеке моего деда, бригадира Петра Ивановича Симоновского, а библиотеку вместе с домом покойная бабушка моя Марфа Семеновна<sup>1542</sup> (это напомнило мне Крылова) еще при жизни словесно завещала моей матери, т[о] е[сть] мне. Но вследствие русской безурядицы мошенник стряпчий Паченко — истый малоросс, смуглый, черноокий, дюжий, дебелый, с плутовскими глазами — просто без малейшей церемонии подписался под руку бабушки и завещал дом со всеми удобствами моему двоюродному брату Николаю Симоновскому<sup>1543</sup>. Вот таким образом отняли у меня последнее убежище на святой Руси — единственное место, что я мог действительно назвать родным кровом. Тут в этой самой библиотеке я почти родился и жил с матерью до третьего или четвертого года. Дед мой был необыкновенный человек для тогдашней России. Он учился в Кенигсбергском университете<sup>1544</sup>, путешествовал по Европе с Разумовским<sup>1545</sup> и до конца дней своих (до 97 года) был каким-то почетным директором училищ в Киевской губернии. В его библиотеке были все важнейшие произведения прошлого столетия в великоленных изданиях: все сочинения Лейбница, Гуго Гроция (“De pace et bello”), огромная еврейская библия с немецким переводом Лютера, Беседы Иоанна Златоуста в греческом подлиннике и то же в славянском переводе, Тассо и Гольдони<sup>1546</sup>, немецкие и французские романы той эпохи, университетские тетради и куча оперных libretto, вывезенных из Италии. Я деда не помню, но мать рассказывала мне, что он очень меня любил, и когда я трепал ручонкою по какому-нибудь фолианту Златоуста, он говорил: «А! он любит священные книги! Он будет

---

\* Ah! За греков, сударь, вас хочу расцеловать я! — *фр.*



архиереем!» В этом одном ошибся почтенный старец: он не знал, что я составлен не из тех материалов, из коих делаются архиереи (*je ne suis pas de bois doute on fait les évêques*). Эта библиотека была для меня заветною святынею, и этой-то святыни меня лишили и вместе с тем отняли у меня все, что называется отечеством. Что такое отечество? Это — земля, семья, родной кров. У меня ничего этого не было. Нельзя же назвать родным кровом какую-нибудь жидовскую квартиру в Новомиргороде или хату, покрытую соломою, в Комисаровке, где нас однажды снегом занесло, или бивуак под открытым небом в бессарабской степи. Да сверх того, я никогда не жил в собственной России, а все шатался по Лифляндии, Белоруссии, Подолии, Вольни, Бессарабии, даже до Ясс мы доходили. Какое же тут отечество? Человек без земли не что иное, как батрак-чиновник, наемник правительства. Если бы я теперь возвратился в Россию, то со мною случилось бы то же, что с Ноевою голубицею<sup>1547</sup>. После страшного потопа ее выпустили из ковчега — чего бы, кажется, лучше? Возвратиться на родную землю, где она родилась и была воспитана — а вышло иначе. Бедная голубка попорхала, поглядела и, *не обретши покоя ногами своими, возвратися в ковчег*<sup>1548</sup>. Вот тоже бы и со мною было. На всем неизмеримом пространстве русской империи нет нигде ни пяди земли, где бы я мог найти покой *ногами своими*, нет ни одной точки, где бы я мог стать твердою стопою. Тут напрасно кричать с Архимедом: *Da mihi punctum ubi consistum!* Дай мне точку опоры!<sup>1549</sup> Этой точки нет и быть не может. Мое появление в России было бы похоже на воскресенье мертвого после сорокалетнего могильного сна. Все бы закричали: «Что это за чудо-юдо? Откуда оно взялось, и кто его знает?» — «Да есть тут старожилы, что знают его, вот, например, Чижов да Погодин». — «Ну да ведь эти люди уже отжили свой век — пусть они его где-нибудь упрячут, а нам какое до него дело». — Это приводит мне на мысль нелепость детских басен о воскресении мертвых. Если бы с начала мироздания хоть один мертвый воскрес, то это произвело такую сумятицу, такое расстройство во всех отношениях общественной жизни, что все единогласно приговорили бы этого воскресенца к смерти и поспешили бы снова заколотить его в гроб. Сушая нелепость.

Какая же тут связь с эпитафиею: *Adieu Falmouth!* Да! прощай, любезный Фальмут! *С тобою* я расставался с истинною грустью! Россию я покидал без горя: мне не о ком и не о чем было жалеть! Я мог сказать с Байроном:

My greatest grief is that I leave  
Nothing that claims a tear.

«Мое величайшее горе есть то, что я не оставляю за собой ничего достойного одной слезы!»\*

Но в Фальмуте в три года (1845–48) я свыкся и сроднился с тесным кружком, где я любил и был любимым. В то время еще не было железной дороги от Фальмута до Экзетера<sup>1550</sup>, а ходил дилижанс с четверкою лихих коней. В конце апреля в 9 часу вечера я, пригорюнившись, сел один одинехонек в углу дилижанса; и кони помчались стрелою. Сердце рвалось назад: я покидал знакомое, родное и несся в неизвест-

\* Мне ничего не жаль в былом,  
Не страшен бурный путь,  
Но жаль, что, бросив отчий дом,  
Мне не о ком вздохнуть.

Дж. Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда», I, 13 (перевод В. Левики).

ную даль — в Лондон. Я исполнял священный долг повиновения высшей воле. После я опытом узнал, что все потери и разлуки для нас очень полезны: они поднимают нас из низменной сферы в высшую и более светлую...

**№ 185. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

Москва

9 февр[аля] 1874

Хорошо, что ты написал мне, а то я уже думал, что Погодина предложение, как все погодинское, заставило тебя смотреть и на меня как на жандарма из III отделения<sup>1551</sup>, придумывающего все возможные новы, чтоб притянуть тебя в Россию. Я давным-давно решил себе, что ни тебе не найти ничего в России, ни России ничего не найти в тебе. Вы можете идти параллельно, нисколько не мешая другу, наблюдая за постепенностью движений каждый один другого и никогда не сходясь. Мы, брат, пришли уже в те года, когда, слава Богу, если еще можем продолжать начатое; но начать новую жизнь при новой обстановке с новыми предметами желаний, когда как самых желаний уже не существует, — куда это старикам, далеко ушедшим на седьмой десяток. Я рад тому, что у меня есть запой работящности; мне только бы делать, не спрашивая себя, для чего это мне лично. Два дни праздника и я уже хвораю. Летом, если доктора не заставят непременно ехать за границу, отправлюсь к себе на плантацию, опять начну опиливать и обрезать деревья, копать землю, ухаживать за хмелем. Жить надобно — хорошо, что ты умеешь жить, не заботясь ни о ком и ни о чем. Я не перенес бы такой муки, изныл бы и, вероятно, заболел бы сильно. Задуманное мною товарищество ледовитых промыслов поневоле должно отложиться до осени, хотя самое дело, то есть начинание промыслов, не откладывается, но ведется частным образом именно потому, что еще многие частности не довольно разъяснены. С ним непременно должно соединиться срочное пароходство по мурманскому берегу, то есть по всему берегу Ледовитого океана от того мыса, которым оканчивается Белое море, — Святого Носа<sup>1552</sup>, до норвежской границы, — другое по Белому морю, наконец, третье до Новой Земли. Так как морские карты тут не совсем точны, то нельзя к этому приступить без исследований и промера бухт. Для этого я теперь отправляю туда морского офицера, а между тем мы с одним купцом<sup>1553</sup> начинаем дело тресковым и сельдяным промыслами. Эх, жалко, что и года поушли и, хуже годов, болезни преследуют; с моими страданиями в мочевом пузыре я уже не способен на сильные лишения, не могу уже жить в землянке, не могу переносить холода. Не будь всех этих мерзостей, тотчас же хватил бы на мурманский берег и на Новую Землю. Теперь делать нечего, подчиняюсь необходимости, сижу сиднем.

Не понимаю я, каким образом ты получил так мало книг, когда тебе послано их множество из Петербурга по адресу на Савича. Сделай милость, напиши к нему и спроси его, получил ли он все книги, именно все издание новых русских писателей Стелловского, оно все переслано. Вот почему и «Жизнь за Царя» ждет возможности отправиться к тебе и не может дожидаться, а куплена она мною давным-давно и лежит в Петербурге, откуда, как я предполагал, было бы удобнее отправить.

Что твой Аткинсон, был ли в Вене, видел ли русских? Слышал ли русские песни?

Наши заморские гости здесь повеселились и многие из них сильно покутили. Кажется, что ваш принц Валлийский парень не промах, выпить любит. Теперь

ждут сюда австрийского императора, но так как он приедет в начале великого поста, поэтому ни балов, ни пиров не будет. Он, как говорят и пишут, поедет на Киев по нашей Московско-Курской дороге. Можешь ли ты представить себе, что некогда далекий Киев теперь рукой подать от Москвы: сегодня сядешь в вагон, а завтра к вечеру в Киеве.

Скажи-ка мне, пожалуйста, можно ли у Вас в Дублине у какого-нибудь букиниста или антиквара или, пожалуй, хоть тряпичника найти запас книг по весьма пониженной цене, или нет ли таких в Лондоне. Честны ли они? Можно ли к ним адресоваться. Каким путем? Реши-ка ты мне все такие вопросы. Я, бывши в Италии, составил себе превосходную библиотеку и все на гроши, урезаемые от обеда, который и без того едва ли стоил 15 копеек. Здесь английские книги страшно дороги, да в Москве и совсем нет исключительно английской книжной лавки. Что мне надобно, я всегда покупаю в Петербурге.

Не забудь же поаккуратнее уведомить об этом, если аккуратности осталось у тебя сколько-нибудь.

Твой Ф. Чижов.

**№ 186. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

11 марта н[ового] ст[иля] 1874

Ирландия — Дублин

(от нашего специального корреспондента).

Хотя в высокообразованном обществе считается неприличным говорить о погоде, но как же не говорить о том, что так близко к нашему сердцу, что окружает нас со всех сторон, в нем же движемся и живем и бытие имеем. Во всю зиму мы ни клочка снега не видали. Вечно безоблачное ясное небо

Ни шуб, ни свеч совсем не надо,  
Не знает век, что есть ночная тень,  
И круглый божий год все видишь майский день<sup>1554</sup>.

Бывают легкие морозцы по утрам. В прошлую ночь — о, ужас! — термометр упал, кажется, до точки замерзания. Но это только предположение, потому что поутру в 6 часов он стоял 3° выше. Природа весеннею улыбкою встретила русскую царевну в Гревсенде<sup>1555</sup>, и сотни маленьких девочек в матросском костюме усыпали ей путь цветами. А в Виндзоре было даже жарко как летом. Но оставим более искусным и опытным перьям описывать торжественное шествие новобрачных и радушное приветствие народа и материнское лобызание королевы, а мы согласно нашему званию обратимся к духовным предметам. Ныне преподобный отец Евгений Попов воспевает со старцем Симеоном: «ныне отпущаеши раба твоего Владыко по глаголу твоему с миром, ако видесте очи мои спасение твое». Мечта его жизни осуществилась. Англиканская церковь в лице знаменитого Станли (Stanley) подала руку греко-российской церкви. Три митрополита присутствовали при англиканском обряде венчания, и теперь говорят, что 225 англиканских священников обратились к Святейшему Синоду с просьбою о присоединении к греко-российской церкви

с тем условием, чтобы им удержать свой обряд. Это очень утешительно и может со временем сделаться важным историческим событием. Главное дело, что Ватикан оставлен совершенно в тени. Порядочные люди знать его не хотят: ему остается одна грубая невежественная чернь. Вот как история повторяется в своем вечном колдовании. Когда господствующая религия — язычество — упала, тогда все образованные классы в городах приняли христианство, но сельские жители — *pagani* *pagus*\* — крепко стояли за старую веру. Положение Папы доведено до абсурда. Он теперь всю свою надежду возлагает на *Старшую дочь* Св[ятой] Римской церкви, т[о] е[сть] на Францию, а что с Франциею будет завтра, никто не знает. Капрал Мак-Магон — скептик Тьер — буйная голова Гамбетта — вот единственная опора Папы! По верным статистическим сметам выходит, что из 38 миллионов во Франции найдется 2–3 миллиона истых католиков, а остальные все люди без всякой религии. Я достоверно знаю, что во Франции есть приходы, где никто не ходит на обедни, кроме попа с дьячком да двух-трех старух, выживших из ума. И вот что называется *Старшею дочерью* Римской церкви. Один молодой французский священник в Лондоне сказал мне наивно сущую правду, истину: “En France masse du peuple considère le religion catholique comme une secte aristocratique alliée aux Bourbons”\*\*. Кстати, с несравненным Генрихом V случился апоплексический удар. Вот и конец всем притязаниям на престол! Нет, брат! Ты уж слишком стар! Для того чтоб быть королем во Франции, надо быть молодцом, лихим ездоком да уметь командовать войском. Но оставив в стороне созерцание духовных предметов, обратимся к светским делам. Да! Принц Валлийский любит погулять, и за это англичане не очень его жалуют. Он, кажется, хочет идти по следам покойного Георгия IV<sup>1556</sup>. Но в последние 50 лет нравы и обычаи совершенно изменились: теперь в Англии вовсе не пьют, как это бывало в старые годы. Но, может быть, он с годами остепенится. Беда в том, что конституционному королю горя мало, не о чем заботиться. Кути, да и только — просто *лафа*, как говорили гвардейские офицеры. На президенте Соединенных Штатов лежит гораздо больше ответственности, и ему надо беспрестанно держать ухо востро. Политическая буря занесла сюда один обломок польского восстания 1863. Третьего дня умер на руках моих бедный польский священник. Когда его привезли в нашу больницу, он был в таком изнеможении, что едва мог говорить. Я начал говорить с ним по-польски. Он покачал головою и сказал: *wszystko zapomniałem*\*\*\*. После этого едва можно было добиться от него одного слова, так он и умер. Прощай, *kochany bratnie*\*\*\*\*!

Тиха твоя могила,  
Над урной, где твой прах лежит,  
Народов ненависть почила  
И луч бессмертия горит<sup>1557</sup>.

Теперь со страхом и трепетом приступаю к самому важному предмету, требующему от меня усиленного внимания и особенной *аккуратности*, итак, начинается

\* Сельские, деревенские жители, поселяне — *лат.*

\*\* Во Франции масса народа рассматривают католическую религию как аристократическую секту, союзницу Бурбонов — *фр.*

\*\*\* Я все забыл — *польск.*

\*\*\*\* Любимый брат — *польск.*

Глава

Об антиквариях, букинистах, тряпчониках и т[ому] п[одобных]

Букинистов здесь бездна, и я всех почти их знаю, и на честность их можно положить, тем более что они большею частью не католики, а жидаы. У них можно купить всякого рода книги *второй руки*, т[о] е[сть] немного подержанные, за полцены. Но какая тебе от этого польза? Тут все ж таки предстоит грозный вопрос: «Как переслать книги в Россию?». Вот, например, с Франциею и Германиею есть постоянные ежедневные сношения: любую книгу можешь выписать и получить ее, наверное, через два-три дня. Да сверх того всякая новая книга, выпущенная в Париже или где-нибудь в Германии, тотчас же будет выставлена в окнах всех книжных лавок. Но когда дело коснется России, то все книгопродавцы как здесь, так и в Лондоне очень затрудняются, потому что у них нет установленных правильных сношений с русскими книгопродавцами: ваши книгопродавцы как-то дичатся и держатся за какую-то китайскую стену. Здесь никто сам себе книг не выписывает, а все делается через книгопродавцев, точно так же как никто сам денег не пересылает, а делает это посредством банкиров. Но вот что я тебе скажу: по случаю приезда Государя в Лондон в мае<sup>1558</sup>, вероятно, бездна русских будет нынешним летом в Англии, то (если ты сам не приедешь) ты можешь найти *верную оказию* и переслать мне «Жизнь за Царя» и получить какие тебе угодно книги. Ты сам в предпоследнем письме сказал, что Савич оставил Лондон, да я в этом тем более уверен, что вот уже 4 месяца не получаю «С[анкт] П[етербургских] Ведомостей», а он бывало мне их очень исправно пересылал. Корреспондент “*Times*” посвятил целое письмо описанию несравненной оперы Глинки. Но только он говорит, что ее непременно надобно видеть в Петербурге, потому что нигде подобной обстановки найти нельзя, особенно в великолепной сцене польского бала с полонезом и мазуркою, от которой все, кажется, без ума. Жена Аткинсона сделалась жертвою своей страсти к музыке: пытаюсь схватить какую-то очень трудную *широкую* ноту, она так распялила и осадила правую руку, что доселе ею владеть не может. Но надеюсь, что она совершенно выздоровеет к тому времени, когда подоспел к нам «Жизнь за Царя». Кстати ты может быть не знаешь, что новый царский зять, герцог Эдинбургский, большой музыкант, т[о] е[сть] артист в полном смысле кажется на виолончели.

*Заключение.*

Ты пишешь, что ты не перенес бы моего рода жизни, изныл бы и вероятно заболел бы сильно; а я скажу обратно, что я не снес бы твоей сидячей жизни и умер бы от нее. Что же из этого следует? Вот в этом именно заключается глубокая тайна нашей почти полувековой дружбы. С тех пор как я изучаю электричество и магнетизм, я нахожу, что во всей природе господствует один непреложный закон, т[о] е[сть] взаимное влечение противоположных полюсов. Север брезгует севером и стремится к югу; положительное электричество «+» стремится к отрицательному «-» и отталкивает себе подобное. Прелестная женщина предпочитает грубого солдата какому-нибудь изнеженному селадону\*. Суровый воин, закаленный в бою и с железною во-

\* От *фр. Céladon* — имя героя романа Оноре д'Юрфе (1567–1625) «Астрей» — символ верного, несколько экзальтированного, охваченного платонической страстью влюбленного.

лею, связывается нежнейшею дружбою с мягким женственным юношею. Прелесть северного сияния происходит именно от столкновения «+» и «-» электричества. Одним словом, вся гармония и красота природы зависит от этой поляризации.

Итак, любезнейший друг, обнимемся снова, поблбызаем друг друга во имя электричества и магнетизма точно так как северный полюс обнимается с южным, и «+» с «-» до скончания века. Аминь.

После этого, кажется, нечего больше прибавить. Одно только плохо, что ты все еще страдаешь от боли в мочевом пузыре. Некоторые люди сказали бы, что тебе следует отдохнуть от трудов, но *на твоём полюсе* думают иначе, и я на это ничего возразить не могу.

Твой В. Печерин.

### № 187. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

12 марта 1874

Ну, брат Печерин, да ты просто молодец хоть куда, письма начал писать исправно, обещаешь покупать книг, даже настолько является у тебя практичности, что ты придумываешь как их переслать ко мне. Это уже как-нибудь я придумаю. Очень кстати для сокращения ожидания присылки (эка чертовщина: три родительных падежа сряду, попиши-ка ты столько официальных бумаг, сколько я их подписываю, пять накопится) г[оспо]жа Аткинсон вытянула жилы или вообще что-то сотворила с своею рукою. По открытии навигации я тебе перешлю, а до того пусть боль в руке пройдет. Совершенно справедливо, что каждую народную оперу надобно слышать в родной стране ее. Не говоря об обстановке, самая мелодия требует того шика, который нотами не передашь, а без него много теряется. Проклятый Савич пересылал к тебе книги весьма и весьма неаккуратно. Он теперь, кажется, понакопив деньжонок, переселился в Италию оканчивать там свой век. Это чудак страшнейший; что бы ты ни спросил его, он на все ответит: не знаю. Не помню, рассказывал ли я тебе, чем я приобрел его сильную приязнь ко мне, это тем, что когда-то лет 30 тому назад я сильно ругнул его и едва не вызвал на дуэль. Вот тебе и путь к приязни.

Какую ты чушь пишешь о пьянстве и, вообще, о вине. К несчастью, болезнь лишила меня удовольствия предаваться попойкам, но я нахожу, что это просто гадко. Человек порядочный, не хворый старичишка, должен считать одним из первых достоинств человека порядочную выпивку. Это именно отличает его от четвероногих животных, а не то, что люди *vitam silentis nec traseunt*\*: лошади, коровы не пьют вина, а пьют одну воду; человек, напротив, возвышался над ними еще во времена Ноя. Разумеется, пить немного. Однажды некто малороссийский помещик Солонина еще во времена пьяной памяти откупов отправился со своими родными и приятелями в Киев на богомолье и, как следует благочестивому хохлу, вдоволь запаса горилкою. В виду златоглавого Киева он и его дружина\*\* пришли в раздумье: как же горилку провезут они в Киев, когда там откуп и вина без акциза не пропустят. Думали, думали, как бы избавиться от откупного акциза, и придумали: разбили шатер да в два дни всю горилку и выпили. Когда они приехали в Киев и рассказали, как

\* Жизнь не проводят в молчании — *лат.*

\*\* «Дружина» по-украински — «жена».

избавились от откупного платежа, их спрашивают: «А что же? Вы поди-ка страшно много пили». Солонина флегматически отвечает: «Ну, чего много? Человек не скотина, больше ведра не выпьет». Это были люди почтенные, а не такая дрянь, как мы с тобой. Выпьешь бутылку портвейну, да и полупьян. А помню, брат, я, как ты в первое время моего с тобою студенческого знакомства, ты был как стелька пьян на похоронах у профессора Лоди<sup>1559</sup>. Помню тоже, как был у тебя в Виттеме и как твои собратья-иноки надудали себя пивом.

Очень хочется мне дождаться, как ты передашь мне, каким чудом ты из страстного католического монаха начал подумывать об обращении в порядочные люди. Только вижу, что тебе надоело напрягать память и входить в подробности прошедшей дури, а подробности-то и составляют всю прелесть. Ну да как захочешь, так и будет. На твоём полюсе не любят себя насиловать нисколючко, пусть и не насилуют.

У нас начинается весеннее солнце, а все еще ночью поддерживают маленькие морозцы. Я жду не дождусь тепла и думаю, Господу Богу вспомоществуящую, все лето провести у себя в Киевской губернии, там у меня есть около 40 десятин, буду опять обрезать деревья да копать землю.

Знаешь ли, если ты любишь возиться с букинистами, то я охотно прислал бы тебе деньжонок и попросил бы покупать у них, что попадется на английском и французском, итальянском и испанском по части истории искусства. На английском у меня немного; есть перевод Куглера «Истории живописи», потом “A History of painting in Italy” by Crowe and Cavalcaselle и еще их же “History of painting in North Italy”<sup>1560</sup>, следовательно, тут что ни найдешь, без спросу можешь купить. Об итальянских и французских нужно спросить меня предварительно; испанские тоже покупай, что попало. Посмотри, возьмешься ли ты за такой многотрудный подвиг.

Твой Ф. Чижов.

### № 188. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
14 апреля н[ового] ст[иля] 1874

ЛОНДОН  
1-го мая 1848

Десять лет назад это число казалось мне так близким, как будто вчерашний день; а теперь оно отодвинулось в такую туманную даль, что уж принадлежит к годам первой юности (хотя мне тогда было за сорок лет). 1-го января 1875 будет ровно 30 лет с тех пор, как я в первый раз вышел на берег Англии. Страшно и подумать! В это время целое поколение людей успело родиться, вырасти и умереть.

Хотя мне и грустно было расставаться с Фальмутом, но все ж таки эластическая упругость юной жизни брала свое. Я ехал в Лондон полный веры, надежды и любви, с беспрекословным повиновением, с неограниченным доверием к людям — я ехал как солдат, идущий в поход по приказанию начальства... куда? зачем? против кого? за кого? — А мне какое дело? Приказано, да и только! Жизнь — копейка, командир — наживное дело! Мною тогда обладал дух самопожертвования. «Величайшая и достойнейшая жертва, какую человек может принести Богу, это — пожертвовать своим разумом и волею». На это можно теперь возразить, что если отнять у человека

разумную свободу, то что же останется? — Хорошо дрессированная скотина, лошадь или собака, выкидывающая разные штуки по мановению хозяина. Но к этому именно и стремится вся система езуитов. По словам св[ятого] Игнатия, езуит в отношении к своему настоятелю должен быть как бездушный труп, как посох в руке старца и пр[очее].

С Паддингтонской станции (Paddington station) я взял извозчицью карету (cab), и меня везли каких-нибудь два часа, пока мы, наконец, достигли отдаленного южного предместья Клапам (Clapham). Лондонские предместья беспрестанно расширяются, открываются новые улицы, дома растут как грибы, те же номера повторяются с прибавкою капитальных букв. Едва-едва мы отыскивали небольшой домик под каким-то № 85 В, где отец де Гельд остановился у нашего приятеля и благодетеля г[осподина] Фильпа (Philp). Он теперь значительный книгопродавец в Лондоне. Отец де Гельд принял меня с отверстыми объятиями, выхваляя мое быстрое повиновение (prompte obéissance). Этой быстроте повиновения много содействовал мой почтенный настоятель в Фальмуте отец де *Бюггеномс*. Он нарочно поспешил отправить меня в пятницу для того, чтобы не дать мне случая сказать прощальное слово народу в воскресенье и получить от него знаки сочувствия. Этот человек (т[о] е[сть] де Бюггеномс) терпеть не мог ни соперника, ни равного. Он, казалось, беспрестанно повторял себе слово Кесаря: лучше быть первым в деревушке, чем вторым в Риме<sup>1561</sup>. В тот же вечер я имел случай видеть начало нашей деятельности. Полдюжины маленьких девочек, составлявших католическую школу, под надзором г[оспо]жи Фильп собрались в маленьком садике, где им раздавали разные премии и потчевали чаем с пирожками. В доме г[осподина] Фильпа не было отдельной комнаты для меня, итак меня отправили на ночлег в другую улицу в дом двух престарелых девиц, составлявших всю католическую аристократию Клапама. Клапам в то время был твердынею самого строгого евангелического протестантизма. Нога католического священника никогда там не бывала. Главное население состояло из богатых купцов, отправлявшихся каждое утро в 9 часов с omnibusом в Сити<sup>1562</sup> в их торговые конторы. Кое-где в закоулках и глухих переулках гнездились кочующие семьи бедных ирландских работников — это была наша будущая паства.

Незадолго до нашего приезда поселилась в Клапаме некая г[оспо]жа *Гобриан* (Goesbriand) из Бретании: она составила какое-то общество светских дам, связанных некоторого рода монастырским уставом и занимающихся разными богоугодными делами. Мы поселились покамест в их доме: нам отвели две комнаты со столовою, и мы жили у них на пансионе. Из двух других комнат сделали довольно обширную залу: тут мы поставили алтарь, и это была наша первобытная церковь. В воскресенье, Бог знает, откуда набралось довольно народа, так что зала была наполнена. Монсиньор *Талбот* (бывший после папским камергером — chambellan, а теперь находящийся в доме сумасшедших) в очень лестных выражениях представил или отрекомендовал *народу* отца де Гельда как опытного миссионера, объехавшего Европу и Америку. При вечерней службе я говорил проповедь, от которой все были в восхищении, и после этого наша маленькая церковь всегда была битком набита, так что люди задыхались от жару. Меня пригласили проповедовать в самом Лондоне в большой католической церкви св[ятого] Георгия, и тут уж были стенографы, записывавшие каждое мое слово. При этом случае я познакомился с директором государственного банка Шемиотом, о коем упомянуто выше. Нас было двое: о[тец] де Гельд и я, и мы по возможности строго соблюдали монастырский устав. Поутру



в половине 5-го я будил моего почтенного настоятеля, и мы вместе преклоняли колена и совершали утреннюю молитву и духовное размышление (*méditation*), потом следовала обедня и пр[очие] праздные сношения с нашею паствою.

О[тец] де Гельд или фон Гельд (*Held*) был очень хорошей австрийской фамилии, и монашеская жизнь нимало не испортила его прямодушно-твердого и благородного характера: он обходился со мною очень деликатно, с какою-то отеческою любовью и вместе с тем с величайшим уважением; у него была поэтическая рыцарская душа, он понимал подобные чувства в других, он умел вполне оценить мои таланты и давал им надлежащее направление, он был моим Моисеем, я был его Аароном<sup>1563</sup>, я доселе храню благодарную память о нем. Когда брат Ф. Печерин прощался со мною в Лондоне в 1851 году, о[тец] де Гельд сказал ему: «Скажите его родителям, что вот уже более 6-ти лет как я его знаю, а он ни разу ни на одну минуту не огорчил меня».

В то время Лондон был убежищем всех беглецов от революции. Меттерних с семейством поселился возле нас. Он как-то захворал, и нашли нужным послать за священником — пригласили о[тца] де Гельда. Его приняла сама графиня и сказала, что муж ее только слегка нездоров и сейчас к нему выйдет. Тут завязался разговор, и слово в слово графиня сказала: «Мой муж очень ревностный католик и, правду сказать, он лучше самого папы!» Каково? Как времена изменились! Тогда Пий IX считался опасным либералом, а теперь — успокойся, возрадуйся и ликуй, о тень Меттерниха! Пий IX человек тебе по сердцу, и ты скоро с отверстыми объятиями встретишь его на полях Елисейских<sup>1564</sup>! Вышел Меттерних в халате или сюртуке, не помню — и оказалось, что он просто старый болтун. У него вечно одна и та же песня, т[о] е[сть] что все зло в мире происходит от *измов*, напр[имер], либерализм, конституционализм, социализм, коммунизм и пр[очее]. Я удивляюсь, что о[тцу] де Гельду не пришло на мысль заметить ему, что к этому же разряду зловредных измов принадлежат: *Catholicisme*, *ultramontanisme* и даже *Catéchisme*\*. Видно, что остроумие Меттерниха далее не простиралось, потому что после, когда известный Велво<sup>1565</sup> навестил его в Вене, он сообщил ему второе издание той же диссертации об измах. Канцлер о[тец] Ксенстирна<sup>1566</sup>, посылая сына путешествовать, сказал: «Ступай, мой сын, и собственным опытом узнай, как мало требуется мудрости, чтобы управлять миром» (*quam minima sapientia gubernatur mundos*).

47 Lower Dominick Street

Dublin

15 апреля н[ового] ст[иля] 1874

*Новейшие известия — телеграммы Рейтера.*

У нас весна во всей прелести. В августе мы будем иметь счастье видеть здесь русскую царевну Марию Александровну. Она с супругом приняла приглашение нового наместника герцога Аберкорна<sup>1567</sup>.

Отчет о твоей дружеской связи с Савичем блистательным образом подтверждает мою теорию о взаимном влечении противоположных полюсов. Если б я был на месте Савича, я бы конечно поехал прогуляться по Италии, но непременно возвратился бы на жительство в Лондон. Венгерцы говорят:

\* Католицизм, ультрамонтанство, катехизис — *фр.*

Extra Hungarum non est vita  
Et se est vita non est ita\*.

Я тоже скажу об Англии: Extra Angliam non est vita и пр[очее]. Я очень рад, что у тебя тоже есть камин с треском и пламенем угля — а в Италии этого нет — вот тут и разница. Как хорошо, что ты мне напомнил Солонину. Ведь это никто иной, как мой двоюродный брат Кирила Иваныч: он служил юнкером у моего отца, вышел в отставку прапорщиком и кончил чем кончают все малороссийские помещики, т[о] е[сть] спился с кругу.

У всякого Барона своя фантазия. Чтобы удовлетворить твоей баронской фантазии, я справлялся у одного букиниста и вот что нашел на первый случай: Bryan's "Dictionary of painters and Engravers"<sup>1568</sup>, "Life of Leonardo da Vinci" in 4<sup>o\*\*</sup>, но особенно прошу заметить: "L'Art au moyen age" par Paul de Lacroix<sup>1569</sup> с великолепно иллюминированными рисунками in 4<sup>o</sup> можно иметь за 30 шилл[ингов]. А о других после.

Твой В. Печерин.

### № 189. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

13 апр[еля] 1874 г[ода]

Как нынче люди ухитрились: ты пишешь ко мне от 14 апреля, а я тебе отвечаю 13 апреля<sup>1570</sup>, просто антихристы. Слава Богу, опять в твоём письме явилось воспоминание прошедшего, я получил его и в ту самую минуту совершенно случайно встретился с приехавшим сюда из Петербурга новым редактором не очень давней газеты «Русский мир». Тут мне блеснула мысль: дай-ка я напечатаю отрывок из твоей автобиографической корреспонденции в этой газете. Она идет очень порядочно, имеет самостоятельность (некоторую), и редактор ее имеет с тобою нечто общее, именно жизнь его тоже исполнилась треволнений, хотя он и не такой праздношатающийся, как люди, живущие на твоём полюсе. Надобно тебя с ним заочно познакомиться. Это Михайло Григорыч Черняев<sup>1571</sup>. Не знаю, читал ли ты и имеешь ли хотя какое-нибудь понятие о том, как был завоеван Ташкент. Завоевал его сначала капитан, потом полковник, наконец по завоевании генерал-майор Генерального штаба вышереченный Михаил Гр[игорьевич] Черняев. Подробностей завоевания я уже не помню. Разумеется, он выступил с отрядом, непременно дрался, непременно побил, взял Ташкент и там водворился. Все это сделалось как-то очень скоро, и этот официальный Ермак Тимофеевич прирезал к России маленький кусочек земли больше всей Франции. Начали его чествовать: то бриллиантовая сабля, разумеется, не клинок бриллиантовый, а рукоятка, то чин за чином, то орден за орденом, превознесли его и превозвеличили. Новозавоеванные его полюбили, он перестал, то есть не то что перестал резать уши, потому что он никогда не резал, а уничтожил резанье ушей и отрубание голов и начал править милостиво и кротко, хотя, вероятно, все-таки не вполне, оставил действовать по присловице: «Царь царствует, как медведь в лесу дуги гнет: гнет не парит, переломит, не тужит». Скажи-ка ты эту штуку твоему Аткинсону, да он поди-ка целую книгу комментарий потребует, а ты на это мастер, я, брат, помню, как ты в сарае казенно-

---

\* Вне Венгрии жизни нет  
Если же есть, то она не движется — *лат.*

\*\* «Жизнь Леонардо да Винчи» — *англ.*

коштных студентов сидел над Титом Ливием<sup>1572</sup> и как меня мучил этими проклятыми комментариями. Черняев был тогда на языке у всех, только о нем и говорили; вдруг начали говорить, что он совершенно распустил войска, что у него нет дисциплины, и пошли и пошли. Послали к нему ревизором какого-то генерала, у которого не только глаза двигались по команде, но и нос повертывался куда следует; он нашел, что солдаты на карауле стоят просто в красных рубашках (по тамошнему ташкентскому жару мундиры тяжелы как латы), — так ли, не так ли, только пошли доносы, недочеты, в которых Черняев совершенно оправдался, и во мнении всех ни на одну минуту не был заподозрен в нечестности, вот, братец ты мой, и позвали Черняева в Петербург. Разумеется, завоевавшие край не умеют или, пожалуй, теряют умение быть низкопоклонниками; Черняев поссорился с одним, поругался с другим, повздорил окончательно с военным министром Милютиным<sup>1573</sup>, человеком уже лет 15 подающим большие надежды и в надеждах почившим, покоящимся на надеждах, как в лоне Авраамове<sup>1574</sup>, — кончилось все тем, что Черняев из Ташкента удален, туда послан другой генерал-губернатор<sup>1575</sup>, и он, оскорбленный, обиженный и проч[ее], и проч[ее], и проч[ее], вышел в отставку с 420 рублей генерал-майорской пенсии. Хоть ты, например, человек очень не прихотливый, испытывавший сухоядение, а все-таки живешь на £ 100, то есть по-нашему рублей на 750 серебром, — ну а Черняев не тебе чета, он завоеватель и в некотором роде герой. Вот он взял да и бросил службу совсем, сказал подлещи вы все, мерзавцы, мошенники, сукины сыны, может быть, сказал и еще что-нибудь, а, может быть, и не говорил, история этого не повествует, да и говорит: «Буду я нотариусом». Выдержал экзамен на нотариуса, внес залог, нанял уже квартиру, подыскал себе помощника, как вдруг его требуют в Петербург (нотариусом он хотел быть в Москве). Узнал государь, стало ему это неприятно, и предложили ему снова вступить в службу с жалованием в 5000 рублей. С тех пор он считается на службе, а занятий никаких ему не дают. Путался, было, он в разные предприятия, но все как-то не удавалось или удавалось слегка, а между тем он женился на довольно красивой женщине, кажется, голландке или шведке, между тем пошли дети, жить надобно, жена, вероятно, как и все жены, щеголиха. Он подумал, подумал да и купил газету и теперь является редактором этой газеты. В ней-то, в газете авантюриста, и хочу я поместить, а, может быть, начать помещать письма авантюриста моего друга задушевного Печерина, о чем тебя, как его близкого родственника, и извещаю, а о себе скажу, что я, слава Богу, здоров, чего и Вам желаю.

### № 190. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

8 мая н[ового] ст[илия] 1874

Письмо твое от 13 апреля застало меня среди густых облаков дыма и разных газовых испарений от сожжения sodium, potassium, chloratum potassi saccharii и пр[очее] и пр[очее] под формулою:  $K.K. + 2HO - H = H.N. + 2K-O-H$ <sup>1576</sup>. Если бы я жил в средних веках, то меня наверное сожгли бы на костре как чернокнижника, тем более что у меня множество книг и рукописей с странными таинственными буквами санскритскими, арабскими, персидскими и пр[очее]. Уже этого одного и за глаза довольно было бы, чтоб попасть под суд инквизиции. Да что тут говорить о средних веках? Не так давно — в сороковых годах — один французский энтомологист<sup>1577</sup>, проживавший в Экуадоре (Южн[ая] Амер[ика]), гражданскими и духовными властями

приговорен был к тюремному заключению. За что? А за то, что у него в комнате в одно прекрасное утро гусеницы вдруг превратились в мотыльков, что в глазах просвещенных властей республики считалось сверхъестественным событием и ясно доказывало близкие сношения французского натуралиста с врагом рода человеческого. И это в пресловутом 19-м веке! Но к чести человечества надобно заметить, что республика Эквадор чисто католическая страна, где ни богословской, ни ученой ереси никогда не бывало.

Итак, растворивши все окна и разогнавши облака дыма и газовых испарений, я принялся за твое письмо. Знаешь ли, что? Если Черняев, в самом деле, напечатает мои записки, то тебе следовало бы в виде предисловия напечатать твое последнее письмо: оно удивительно как оригинально! Жаль только, что цензура не пропустит. Ты говоришь о Черняеве как будто о человеке, мне неизвестном: я давным-давно читал о его подвигах в английских и русских газетах. Его имя принадлежит истории, и никакие современные каверзы не в силах изгладить этого имени с ее бессмертных скрижалей. Вот что значит водиться с великими людьми! Поневоле поднимаешься на тон эпопеи! Но скажи, пожалуйста, эта счастливая мысль, блеснувшая в твоём уме, прошла ли она как молния и опять исчезла, оставивши все в прежнем мраке? или превратилась в постоянный ясный день действительности? Тьфу, пропасть! Какой-то лукавый искушает меня писать высокопарным слогом. А все это от Ташкента! Как подумаешь об этих героях, вождях народа, завоевателях баснословных стран, то невольно воспаришь в горня и деже темна вода в облацах воздушных. Итак, в конце концов, выходит, что нам без Енерала обойтись нельзя. Французы не могут обойтись без Макмагона, а я генералу Черняеву буду обязан моим спасением от мутных вод Леты<sup>1578</sup>. Не можешь ли ты где-нибудь найти тот номер «Дня», 1865, где мои стихи были напечатаны: мой экземпляр затерялся, мне хотелось показать его Аткинсону.

В Лондоне Государю Императору готовят такой прием, какого еще не делали ни одной коронованной главе. В Городской Думе ему поднесут в золотом ларце грамоту на право гражданства, и так Император Всероссийский делается почетным гражданином города Лондона. Да еще слух носится о новом брачном союзе России с Англиею. Ведь у нас есть невеста наготове: ей всего 17 лет. *Felix Russia! Nube!*\* Зачем теперь ехать в Россию? Мы и здесь дома.

По какому-то странному предопределению судьбы здесь в мае всегда очень холодно. Вероятно, это происходит от ледяных гор, плывущих с Северного полюса по Атлантическому океану. Вчера после проливного дождя воздух так охладел, что я должен был зажечь огонь в камине. Нет, брат, что ты не говори, а огонек в камине — суцая роскошь. Что тут твоя Италия! Там преобладает кофейная уличная жизнь, а я люблю домашнюю святыню моих Ларов и Пенатов.

Твой В. Печерин.

Лондон

От мая до августа 1848

Отец де Гельд не имел дара слова для того, чтобы быть проповедником, да сверх того его ограниченное знание английского языка не позволяло ему входить в близкие сношения с народом: итак, вся обуза *пастырского попечения* лежала на

\* Счастливая Россия! Женись! — *лат.*

мне. Я каждый день с утра до вечера рыскал по окрестностям, отыскивая заблудших овец Израиля — и, правду сказать, это было очень паршивое стадо. В разных закоулках и лачужках гнездились бедные ирландцы самого низшего класса, самые *дрожжи* общества, *la lie de la populace*\*. Ирландцы в Ирландии имеют многие любезные качества; но переселившись в Англию, они совершенно перерождаются и делаются ни к чему негодными негодьями.

Много говорят об уважении и привязанности ирландского народа к их духовенству. Это требует объяснения. Если ты воображаешь, что ирландец глядит на священника как на представителя невидимого божества на земле, как на *казначей* сокровищницы небесной благодати, то ты очень ошибаешься: понятия ирландца не поднимаются так высоко. А вот почему он уважает и любит священника:

1) Все ирландские священники вышли из крестьянского сословия, т[о] е[сть] они — сыновья фермеров и несмотря на воспитание, получаемое ими в духовной академии в *Мейнуце* (Maynooth)<sup>1579</sup>, они разделяют все невежественные предрассудки и дикие страсти своего класса; они все демагоги и стоят за народ против правительства, следовательно, свой своему поневоле брат. Священники прикрывают грехи народа, а народ смотрит сквозь пальцы на проказы священников — рука руку моет, и ворон ворону глаз не выклюет. Из этого образовалось два мифа: целомудрие женщин и целомудрие священников; оба они носят на себе печать самого богатого поэтического вымысла.

2) Ирландец смотрит на священника как на опасного колдуна, с которым надо ладить, а не то беда будет. Он, пожалуй, и взглянет, нашепчет что-нибудь, наговорит или наведет какую-нибудь лихоманку. Ну а обмануть колдуна, когда тебе от этого польза, то в этом нет греха. Это объяснится практически впоследствии.

3) Ирландцы буквально и слепо верят в эти евангельские слова: «*на недужные руки возложат, и здрави будут*»<sup>1580</sup>. Они действительно верят, что священник может исцелить всякий недуг одним прикосновением, если только захочет. В Ирландии найдется не одна кровоточивая жена, что скажет про себя: «Если только коснуся ризы священника, то, наверно, исцелюсь»<sup>1581</sup>. Однажды молодая женщина пришла благодарить меня за то, что я излечил сестру ее от слепоты: «Она была слепа, а теперь совершенно видит». Клянусь Богом, что я ни видом не видал, ни слухом не слышал ничего подобного, никакая слепая женщина ко мне не приходила, а все это был просто плод воображения. Это как нельзя лучше объясняет все евангельские чудеса или действительно совершившиеся, или вымышленные (что все одно и то же) в самой невежественной и легковверной среде, в этой римской Ирландии, в Палестине, — в глуши, в бедных деревушках, между дикими горами, на берегу уединенных озер. В этой самой Палестине до сих пор каждый европеец считается чудотворцем, *Хакимом*<sup>1582</sup>, т[о] е[сть] доктором, излечивающим все недуги одним прикосновением. «Вот этак он плюнет на землю, да смешает слюну с песком, да и помажет больное место и тотчас выздоровеешь»<sup>1583</sup>. Известный английский путешественник Палгрев<sup>1584</sup> проникнул в дотолу недоступную среднюю Аравию под личиной сирийского медика. Хотя он ни аза не смыслил в медицине, но с помощью разных безвредных сиропов и мазей производил чудеса, и все от мала до велика — даже самые знатные люди — были от него без ума. Здесь в глуши в Западной Ирландии, где еще кое-где говорят ирландским наречием, некоторые священники набивают себе карманы этим чудотворным ремеслом.

\* Чернь, отребье — *фр.*

Даже в предместьях Дублина, у самых городских ворот, в монастыре пассионистов<sup>1585</sup> явился однажды чудотворец отец Карл (father Charles). К нему из деревень мешками медные деньги носили за чудотворные леченя. Это возбудило зависть белого духовенства, представили дело кардиналу, и он запретил эти чудодейства и приказал отослать отца Карла в другой монастырь. Очевидно, что в Ирландии средние века еще не прошли. После этого предисловия обратимся к делу, т[о] е[сть] reprenons le fil de notre narration\*.

Однажды под вечер в сумерки пришли ко мне молодой парень с молодой женщиною, пали на колени, прося благословения. «Сделайте Божескую милость, батюшка, обвенчайте нас теперь же: мы завтра рано поутру отправляемся через Ливерпуль в Америку». Что тут делать? Ведь Клапам — это африканская пустыня, настоящая Сахара — тут не к кому обратиться, никаких справок взять нельзя; вот так я и поверил им на слово и обвенчал их. А они в Америку вовсе не поехали, а притаились в каком-то закоулке в Клапаве, и после оказалось, что у этой молодой женщины был уже первый муж в Америке. Подобные проделки нередки между благочестивыми ирландцами. Благо под боком Америка, прибежище всех скорбящих и всех негодяев. Николай называл Париж помойною ямой Европы; а Америка уж целый океан всемирных нечистот. Недавно молодой человек лет 18-ти женился на очень порядочной и скромной девушке, пожил с нею два года, покинул ее и уехал в Америку, где и пошел в солдаты в армию Соединенных Штатов и, вероятно, там найдет другую жену без малейшего зазрения совести. Легкомыслие, любовь к приключениям и бродяжнической жизни и отсутствие всякого чувства долга, т[о] е[сть] нравственного чувства вообще (sens moral) — это главные черты ирландского характера! А из этой басни можно вывести следующее нравоучение: «Колдуна обмануть не грех, если этак от него можно чем-нибудь поживиться».

Однажды рано поутру, когда я был занят церковною службою, отца де Гельда вдруг призвали в Ругамптон в монастырь du sacré coeug\*\* для духовных упражнений<sup>1586</sup>. Не имея времени со мною проститься, он оставил на столе кучку серебра для обыденных расходов. Я, даже не считая этих денег, так просто взял и положил себе в карман. А тут на беду получаю письмо из Лондона от молодого бельгийца, которого я знал в Фальмуте: он был в крайней нужде и умолял меня навестить его и помочь сколько возможно. Надобно было ехать в Лондон (5 миль) и дать кое-какое пособие этому молодому человеку (хотя, сказать мимоходом, он вовсе его не заслуживал), и вышло, что по возвращении о[тца] де Гельда через два-три дня у меня из целого им оставленного фунта едва ли осталось 2–3 шиллинга. От этого о[тец] де Гельд возымел очень дурное понятие о моих экономических способностях, и с тех пор у нашей братии утвердилось поверье, что я к администрации вовсе не способен.

Между тем шли переговоры о покупке дома для обители редемптористов. Странная игра судьбы! Нашелся обширный дом с прекрасным садом, тот самый дом, где учреждено было первое библейское общество, где знаменитый *Вильберфорс* собственноручно раздавал библии народу из окна<sup>1587</sup>. В саду был старый трехсотлетний дуб елизаветинских времен. Откуда взялись деньги на эту покупку, это для меня доселе осталось тайною, потому что о финансовых распоряжениях мне

\* Возвратимся к нити нашего повествования — *фр.*

\*\* Святое сердце, т. е. Сердце Христово — *фр.*

ничего не сообщили как человеку, в этих делах ничего не смыслящему. Вероятно, тут содействовали богатые английские католики, особенно отец нынешнего герцога Норфолкского<sup>1588</sup>, да и у самих отцов редемптористов, у этих *христовых бедняков* (rauvres du Christ) порядочные фонды в запасе, так что они везде строят великолепные дома и церкви. После покупки дома тотчас занялись постройкою церкви. Мы с о[тцом] де Гельдом отправились к архитектору и заключили с ним контракт и запили его шампанским. Я тогда был в самом апогее (арогée) моей славы. В каком-то собрании благотворительного общества меня пригласили сказать речь, и она вышла так удачна и метка, что епископ (после кардинал) Вейзман в ответ на нее отозвался обо мне в самых лестных выражениях: все были в восхищении и просили у меня рукописи, чтобы напечатать; но так как я никогда не писал своих речей, а всегда импровизировал под вдохновением минуты, то это оказалось невозможным, и они должны были довольствоваться тем, что записали стенографы. Надобно было видеть остервенение народа в Клапаме, когда рабочие начали ломать решетку и вырывать кусты и цветы перед домом для того, чтобы расчистить место для церкви: им едва ли можно было работать от беспрестанных криков и ругательств проходящих. Без сомнения, это было с нашей стороны наглым посягательством на строго-протестантскую святыню Клапама.

В это же время с помощью лорда Арунделя нам удалось попасть в парламент. Это было еще в старом очень простом и невзрачном здании. Тут я видел Веллингтона и лорда Абердина, тогдашнего первого министра и большого приятеля нашего Николая<sup>1589</sup>. Всего более поразила меня благородная простота этих прений: тут не было ни тени напыщенного красноречия, ни театральных жестов: это было просто собрание деловых людей, серьезно рассуждающих о важных делах без малейшего желания выказать себя. Во Франции, напротив, члены парламента думают не столько о благе народа, сколько о том, как себя показать, как размашисто взлететь на кафедру, произнести напыщенную речь вроде проповеди с самыми бешеными театральными жестами. Французы вечно останутся риториками, и они ни к чему другому не способны, и когда Францию постигнет участь Польши, то они везде (особенно в России) будут славиться как отличные преподаватели риторики: они будут учить русских мальчиков произносить с особенною *эмфазою*<sup>1590</sup> и с невозможными жестами le récit de Théramene:

A peine nous sortions des portes de Trézenè,  
Il était dans son char...\*

Когда я читаю Шекспира, я чувствую, что я у себя дома, так сказать, в халате могу разлечься на диване или на траве под кустом — я у себя дома, так сказать, в объятиях матери природы; но для того, чтоб читать Расина, надобно непременно встать, принарядиться, напудрить голову, надеть придворный кафтан и, взяв шляпу под руку, стать в третью танцевальную позицию.

De deux nations connais la différence!\*\*

\* Рассказ Ферамена:

«Оставив позади ворота городские,

Он колесницею в молчаньи управлял...» — *фр.*

Расин. «Федра». Действие 5. Сцена 6 (пер. М. Донского).

\*\* Двух наций различие познай — *фр.*

№ 191. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

18 мая 1874

Последнее письмо твое я получил, садясь в вагон петербургской дороги, прочел дорогою; мне показалось, что ты пишешь не из Дублина, а из Парижа, так много было французского в том, как ты красовался и дымом и химическими формулами. Нет, брат, никак не мечта то, что я хочу напечатать несколько твоих писем, и ты уже теперь, вероятно, получил будущую квартиру твоих писем, именно «Вестник Европы», по крайней мере, редактор его Стасюлевич<sup>1591</sup> сказал мне, что пошлет его к тебе по данному ему мною твоему адресу. Отчего же Стасюлевич, а не генерал Черняев? Отчего же «Вестник Европы», а не «Русский мир»? Черняеву я хотел отдать только потому, что он ничего, то есть ни слова, не изменил бы, разумеется, настолько, насколько наш великий инквизитор, стоящий во главе управления по части печати, либерал-консерватор и едва ли не бывший взяточник Лонгинов допустил бы оставить неприкосновенным своим церберам-цензорам. В Петербурге мне надобно было войти в переговоры со Стасюлевичем по поводу уступки ему нескольких пьес Гоголя. Слово за слово, тары да бары, да красные товары, я как-то разболтался, вошел в азарт — да что, говорю, такие-сякие, да что у вас за беллетристика, а вот у меня есть штука капитана Кука<sup>1592</sup>, вот бы вам ее достать, был бы неоцененный листок в вашем журнале. Конечно, я этого прямо не сказал и не подумал, но мог сказать и мог подумать. Он и уши распустил. Как? Что такое? Да то такое, что у меня есть порядочная толика писем Печерина. Ах, батюшка, дайте мне? Я, знаешь, как цыган на ярмарке, продающий коняку, отпихиваться да отделяваться, и кончилось тем, что я обещал ему в сентябре прислать несколько писем из твоей автобиографии. По заведенному у нас правилу он мне предложил 100 руб[лей] за печатный лист, я согласился, и вот в сентябре явятся тебе заработанные деньги. Потому я не мог назначить ранее сентября, что я на днях отправляюсь в Виши во Францию, куда ты и изволь писать ко мне Theodore Tchijoff Vichy (poste restante\*) и, пожалуйста, фамилию пиши буквально правильно, оно так трудно для французского почтового чиновника, что если хоть в букве ошибка, он, сличив с карточкою, не решится отдать мне письма. Да, брат, в Виши, потому что здоровье страшно плохо. Если бы был поздоровее, пожалуй, слетал бы и к тебе, но боюсь, а, впрочем, чем черт не шутит?

Потолкуем-ка о письмах. Скажи, пожалуйста: могу ли я печатать все ласкательные имена и все лестные твои отзывы о католиках. Ты знаешь, что у иезуитов есть наша братия в образе довольно глупого Гагарина и фанатика Мартынова и tutti quanti\*\*; что если они вздумают все это перевести для своих подлых отцов иезуитов, и если эти поганые отцы вздумают услужить тебе и препроводить под рукою твои отзывы о католиках, католицизме, Ирландии и ирландцах к вашему высокостепенному кардиналу, и если этот кардинал своим влиянием сделает то, что тебя выгнут из больницы, как ты думаешь, приятны ли будут тебе последствия всех этих *если*? Отвечай-ка мне, подумавши и не очень опрометчиво, потому что мне принять на душу начатие твоих новых бедствий и новых походов никак не хочется.

\* До востребования — *фр.*

\*\* Всякие другие — *ит.*; здесь в смысле «и прочие, и прочие».



Ведь, братец, поганые 66 лет, никак не 30, — тут уже хочешь, не хочешь, является вся погань старости. Изволь же подумать. В первых твоих письмах нет ничего антикатолического, следовательно, там мне с полагоря<sup>1593</sup>, а в дальнейших это чертово семя — монахи являются всегда такими, что когда они как-нибудь прочтут о себе, им поперхнется.

В Петербурге, во имя твое, был я у Редкина, ректора университета. Тот же самый щирый хохол с всею умною простотою и искренностью хохла и с довольно возмужалою дочерью уже младшею, а старшая ныне-то за границую. Видел я у него лорда Радстока<sup>1594</sup> — пропагандиста протестантства, но почти ничего не говорил с ним, потому что заехал на минуточку.

Итак, высокопочтенный Владимир Сергеевич, скоро имеющий быть сотрудником «Вестника Европы», извольте ко мне писать скорее в Виши.

Твой Ф. Чижов.

### № 192. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

10 мая н[ового] ст[иля] 1874

Прежде всего, ради Бога, не печатай ни одной строки, ни одного слова, ни малейшего намека против католичества. Я вовсе не расположен подвергать себя каким бы то ни было бурям. Да из-за чего же? *Le jeu ne vaut pas la chandelle*\*. Это значило бы искать в чужом пиру похмелья и накликать на себя беду ни за что ни про что. Я спокойно занимаюсь науками в уединении, а прочее все вздор. По мне будь ты хоть татарин, буддистом или поклонником лорда Радстока — для меня все равно. Но после химических и электрических опытов вдруг попасть в богословские распри и поповские дразги — это просто было бы отвратительно. Мучеником быть мне невозможно, потому что для этого требуется убеждение. Прекрасно говорят пожертвовать всем и даже жизнью за истину: очень хорошо, но великий государственный муж Пилат очень кстати предложил Христу вопрос: «*Quid est veritas?* Что такое истина? То, что у вас, иудеев, называется истиною, то у нас, римлян, считается пошлым суеверием и ложью. Да вы сами с собою не согласны. У вас одна истина у фарисеев, другая у саддукеев, третья у эссенов<sup>1595</sup> — кто ж вас разберет? Кто у вас прав, кто виноват? У кого из вас хранится настоящая неподдельная истинная истина? Мое дело гражданское: я — палестинский губернатор и мне следует смотреть за общим порядком, а ваши религиозные распри решайте вы сами как знаете, это ваше дело. Я умываю руки от всех этих дразг».

Кроме русских езуитов, есть еще в Петербурге опасный человек, какой-то корреспондент католической газеты “*Tablet*”, тот самый, что называл Самарина бешеным социалистом. Он, как только что пронюхает, то, наверное, отрапортует да еще прибавит три!!! Следовательно, надобно быть очень осторожным, тем более что теперь везде католики в пущем разгаре фанатизма. Мне кажется, что все первобытные, допотопные записки, т[о] е[сть] докатолической эпохи, могут быть напечатаны без малейшего опасения, напр[имер], роман в Хмельнике, бегство из Цюриха и прочие странствия, а остальное надобно сохранить для посмертного издания оевнге

\* Игра не стоит свеч — фр.

posthume\* и предоставить оное на суд беспристрастного потомства. При крайнем желании избавиться от хлопот и обезопасить себя со всех сторон, мне пришла в голову счастливая мысль. Отрывки из моего путешествия по Швейцарии были напечатаны в «Московском наблюдателе» (1836) под заглавием «Путешествие Доктора Фуссгенгера». Не взять ли нам опять этот псевдоним и назвать наши записки «Приключения Доктора Фуссгенгера»? Таким образом, мы свяжем отдаленное прошедшее с животрепещущим настоящим, а я останусь совершенно в стороне: пусть они ломают себе голову, чтоб разгадать, кто это такой Доктор Фуссгенгер! Как тебе это кажется? Но даже и под прикрытием псевдонима ничего антикатолического печатать нельзя, потому что тотчас угадают. (Нельзя ли при этом случае напечатать «Иронию Судьбы»?).

Очень благодарен за то, что ты напомнил меня Редкину: я искренно уважаю и люблю его. Из всех членов Профессорского института он один, как говорится, *удался*. Лорд Радсток, как видно, играет важную роль в Петербурге. Все дамы от него без ума. *C'est bon pour les femmes!*\*\* — говорили в старину наши старые приятели французы, но теперь они покаются и обратились на путь правый, и даже взрослые мужчины не стыдятся идти на богомолье к Notre Dame de Lacordaire<sup>1596</sup>. Твое письмо дышит такою милою веселостью, что я никак не подозревал, что твое здоровье очень плохо: это значит спартанство и стоицизм. Ну, с Богом! поезжай в Виши, авось воды помогут тебе и дадут тебе силы даже и сюда завернуть. Но в таком случае я бы советовал приехать прежде сентября: в сентябре погода ненадежная, а за хорошее поведение августа могу отвечать.

Посещение государя сошло с рук как нельзя лучше. Он везде был торжественно и радушно принят. Одним только мы подгадали, а именно тем, что государева яхта села на мели в Фиессингене: это непростительная оплошность, это старое русское авось! За это капитана корабля следовало бы выпороть розгами, сослать в Сибирь или куда-нибудь подальше, куда Макар телят не гонял, согнуть в бараний рог и пр[очее], и пр[очее], и пр[очее].

Получил 5 книжек «Вестника», за что очень благодарю. Напишу больше, как скоро получу письмо из Виши, а то Бог весть, где ты и что ты.

Твой В. Печерин.

### № 193. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Виши

16/4 июня 1874

Ну, брат Печерин, как я тебе благодарен, что ты так споро мне ответил на мое письмо. Сегодня утром, раным-ранешенько, приехал я в Виши, поправился, как следует неизменному товарищу такого опрятного старичка, как ты; поежился от холода, хоть бы и у нас в матушке Москве было впору, и побежал на почту. Смотрю, три письма на мое имя, одно глупое, другое немного попахивает подлостью, третье нежданное от моего Печерина. За печатанье твоих писем не бойся, из прошедшего моего к тебе письма ты уже убедился в необъятности моего благоразумия и в бездонной глубине моей осторожности. Ты все нападал на меня — печатай, печатай — нет,

\* Посмертное произведение — *фр.*

\*\* Это хорошо для женщин! — *фр.*

брат, взять на себя ответственность в гонении тебя твоими погаными католиками, нет, брат, шутишь. Твои письма теперь со мною, и по всей вероятности я подготовлю часть их к печатанью, именно ту часть, в которой нет и помину о католицизме.

Сегодня я был у доктора Souligoux, завтра он будет ко мне, осмотрит, а кто знает, может быть и попробует мою мочу и, судя по ней или введя ее качества в свои соображения, предпишет мне лечение. По его словам, здесь придется пробыть около 4 недель, никак не более. Я из России ехал так быстро как мог, к несчастью путем далеким: из Москвы по железной дороге на Смоленск, Брест-Литовск и на Варшаву. От Варшавы до Парижа можно было бы ехать многими путями — чрез Вену (далеко), чрез Дрезден и пр[очее], но поезда пригнаны так, чтоб прямо переходить с одного на другой только по пути чрез Берлин. Делать нечего, плетью обуха не перешибешь, как я не чувствую страшнейшее отвращение от самодовольных и нахальных берлинцев, как я ни не терплю самого Берлина, а подчинился, поехал на Берлин, Дюссельдорф, Кельн, чрез Бельгию прямо в Париж. Парижа я тоже не очень жалею, его крайняя пустота, его главное занятие — фланерство\*, все мне не по душе; как ты видишь, я человек преисполненный терпимости, снисхождения и благодушия. Одних не терплю, к другим питаю отвращение, третьих терпеть не могу — так, видно, на роду написано. Почти не останавливаясь, если не считать за остановку трехчасовое ожидание поезда в Берлине, да двухчасовое в Кельне, нигде не ночуя, я употребил до Парижа без 5 часов четверо суток и, что меня очень удивило, не устав нисколько. Как страшно Париж изменился! Не говорю уже о внешности — он совершенно перестроен наново, но парижане поразили меня собою. Куда девалась рысь? O g r r r r r a n d e armée\*\* ни у кого нет и помину. Скромность в одежде, какая-то осунутость, если можно так выразиться, в физиономиях. Собственно говоря, сколько я ни присматривался, я не встретил никакой самобытности в физиономиях; прежде, было, только взглянешь, так-таки француз и лезет тебе в глаза и в понимание, француз всем существом своим — теперь присматриваясь весьма внимательно, я не мог себе определить, к какой нации принадлежит каждый встречный и даже каждая встречаемая. Три дня пробыл я в Париже, хоть бы случайно встретил одну хорошенькую женщину, которая остановила бы на себе сколько-нибудь мое внимание. Все так дюжинно, так бесцветно, даже кокетливость пропала не весть куда. Так, по крайней мере, парижане и парижанки подействовали на меня, — а я должен тебе сказать, положила руку на совесть (если она отыщется), что ехал без всякого предвзятого взгляда. Много встречал вашего брата попикув. Что меня еще поразило, это отсутствие прежней наглости в кофейнях и магазинах и страшное доверие, по крайней мере, к нам иностранцам. Дороговизна страшная, и я нахожу, что теперь цены так сравнялись, что решительно все равно, покупать ли в России или за границую. Скоро пришлю тебе небольшую книжечку; представь себе, я так хворал в Петербурге, что решительно забыл о «Жизни за Царя», — ох, я скверное создание, авось найдут случай послать, я напишу туда. Пиши, не откладывая.

Твой Ф. Чижев.

Пишу из Казино, которое здесь устроено превосходно: бумага, чернила, перья, игра в карты, на бильярде, музыка, театр, журналы, все предлагается в цене абонемента.

\* От *фр.* flâneur — прогуливаться, бродить без цели, праздно прохаживаться.

\*\* Великая армия — *фр.*

№ 194. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

27 июня н[ового] ст[иля] 1874

Письмо твое успокоило меня, но при всем том, обдумав хорошенько, я нахожу, что никак нельзя печатать под моим именем: оно тотчас бросится в глаза езуитам, и они станут следить за каждою строчкою. Оно хорошо было печатать в «Р[усском] Архиве», куда немногие заглядывают, а «Вестник Е[вропы]» слишком на виду, хотя, впрочем, не знаю, читают ли святые отцы эту грешную светскую литературу. Возьми, какой хочешь псевдоним — Фуссгенгера или другой, печатай от своего имени, скажи, что издаешь записки старого товарища, пропавшего без вести, положим, где-нибудь в пустынях Австралии. Но главное, надо все это отодвинуть назад в область истории и легенды, а о современности ни слова. Ради Бога, будь осторожен с моими письмами, чтоб они как-нибудь не попали в чужие недобрые руки. Я теперь почти как Савич начинаю бояться шпионства. И ты этому не удивляйся. Не забудь, любезный друг, что наша жизнь считается десятками. По всем вероятностям я вступил уже в последний десяток. Сегодня 15 (27) июня мне совершилось 67 лет. Это не шутка. Через каких-нибудь 10 лет или меньше драма жизни кончится и занавес опустится. Сам ты посуди, к какой стати мне навлекать на себя какие бы то ни было хлопоты и заботы, когда я могу очень спокойно и приятно провести остальные годы моей жизни в самых благородных занятиях, т[о] е[сть] в изучении законов природы. На старости, говорят, люди впадают во второе младенчество: я впал не в младенчество, а в *студенчество*. Благо у нас есть физический кабинет и химическая лаборатория, я с нашими студентами запанибрата и иногда присутствую при их исследованиях. Вот, напр[имер], на днях мы рассматривали с микроскопом круговращение крови в лапе лягушки (разумеется живой). Что может быть этого приятнее? По милости твоей я в состоянии был купить отличную электрическую машину. Книги иногда наводят на меня сон, а химические и электрические опыты поддерживают свежую, бодрую жизнь. Вообще мне кажется, время книжного учения прошло: теперь везде требуется опыт, практическая свежая живучая жизнь. Недаром Христос нападал на книжников и фарисеев<sup>1597</sup>. Везде теперь новые языки вытесняют древние, а физическое знание далеко оставляет за собою прежнюю философию. Ты помнишь, как в наше время в университете восхищались Шеллингом<sup>1598</sup> и вообще немецкою метафизикою, а теперь все это кажется немного лучше старых богословских прений.

Твой взгляд на Париж очень верен и имеет тем большее значение, что ты там давно не был и ехал туда без предубеждений. Ничто меня столько не поражает, как статья Герцена в «Полярной Звезде» 1869<sup>1599</sup>. За год до своей смерти он совершенно понял Францию и в каком-то пророческом духе предвидел даже 1870. Говоря о писателях (Кине и Гюго<sup>1600</sup>), восхвалявших Францию и Париж, он замечает: «Что сказать, когда блеском прошедшей славы заштукатуривают гнилые раны, и сифилистические пятна на повислых щеках выдают за румянец юноши? Перед падшим Парижем, в самую не жалкую минуту его паденья, когда он, довольный богатой ливреей и щедростью посторонних помещиков, бражничает на всемирном толкуне (1867), повержен в прахе старик поэт» (В. Гюго). — «Пьянить похвалами поколение

измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустых и выродившихся сыновей и внучат, покрывая одобрением гения их жалкое, бессмысленное существование — великий грех»<sup>1601</sup>. В другом месте он замечает то самое, о чем я тебе часто говорил: «Я сомневаюсь в *будущности латинских народов*, сомневаюсь в их *будущей* плодотворности, им нравится процесс переворотов, но тягостен добытый прогресс. Они любят рваться к нему, не достигая»<sup>1602</sup>. Я должен теперь признаться, что, несмотря на совершенное различие направлений, я страстно любил и люблю Герцена. Его отбытие из Англии<sup>1603</sup> оставило какую-то пустоту в моей жизни. Вероятно, это тоже надобно отнести к теории противоположных полюсов.

Сейчас получил *Лермонтова*. Очень благодарен, этого именно мне не доставало. Как забавно, что тут встречается моя фамилия, только с переменою одной гласной — *Печорин*. Впрочем, Забловский обыкновенно звал меня *Печориным*.

Лето у нас стоит такое, какого давно не запомнят. Совершенная засуха — ни капли дождя. Вечно голубое безоблачное небо. Сильный жар, умеряемый прохладным северо-восточным ветерком. Лень ужасная, делать ничего не хочется (исключая, разумеется, электрические опыты). Особенно лень писать что-либо о прошлом монашеском быте; но так и быть, попытаюсь ради этой новой бумаги<sup>1604</sup>. Итак, мы опять в Лондоне и в 1848.

О Лондон! Милый Лондон!  
К тебе душа моя  
Стремится беспрестанно,  
Но тщетно слезы лью<sup>1605</sup>.

Лишь только мы обзавелись домом, как вдруг нахлынула на нас целая эмиграция редемптористов, выгнанных из Вены. Что тут делать? куда их девать? Немногих из них мы кое-как приютили у себя, а остальных отправили на подножный корм в провинцию к кое-каким католическим помещикам, нуждавшимся в домашних капланах\*. Но и там над этими святыми отцами исподтишка смеялись за странные и неуклюжие приемы. Уровень их образования был довольно низок, по крайней мере в сравнении с здешними священниками. Английский, особенно лондонский священник — хочет он, не хочет — должен быть образован: он живет в атмосфере, насыщенной *культурой*, читает газеты, журналы, обозрения и все произведения современной литературы, следит за парламентскими прениями и имеет свои более или менее либеральные политические мнения; а тут вдруг нагрянула полудикая орда со стародавними славяно-германскими, австрийско-меттерниховскими преданиями, с открытою ненавистью ко всякого рода свободе и с подлейшим обожанием деспотизма. С одним из них я очень подружился. Он был мне родич — чех. *Отец Петрак* (Pietrak) — человек с большим талантом и сильным воображением. Когда его арестовали в Вене, целая ватага молодых *чиновников революции* окружила его: «Скажите, пожалуйста, так это вы тот самый фантастический проповедник (phantastischer Prédiger), о котором вся Вена говорила?» С этим Петраком можно было говорить о политике и литературе и даже цитировать Шиллера, что в Риме считалось бы предосудительным. Когда меня в этом самом Риме представили кардиналу Рейзаку (бывшему архиепи-

\* От *лат.* capellanus — священник.

скопу Мюнхенскому), на вопрос его, как мне нравится Рим, я ответил стихами Шиллера:

Prächtiger als wir in unser'm Norden,  
Wohnt der Bettler an den Engelsporten  
Denn er sieht das ewig einz'ge Rom!\*

«Вот, видите ли, — сказал он с улыбкою, обращаясь к сопровождавшему меня патеру, — видно, он читал все эти дурные книги!» Шиллер — дурная книга! О, *Di immortales!*\*\* У Петрака было нечто прямодушное, откровенное, славянски любезное. Был там и другой чех — о[тец] *Гаклик*, но этот уж был совершенный невежа, ужасный добряк и простак, и далее часослова мысли его не простирались. Он в старые годы был женат, т[о] е[сть] прежде, чем пошел в духовное звание, и у него была дочь монашенка в каком-то бельгийском монастыре. К этому же времени прибыло к нам два новообращенных американца, из коих один, о[тец] *Гекер*, теперь известен всему католическому миру как даровитый издатель журнала “Catholic World” в Нью-Йорке. Он заставил папу расплакаться, изображая перед ним восторженным языком распространение католической веры в Америке. Этот Гекер просто дитя, живущее одним воображением, — он только видоизменение старых фанатических американских пуританов<sup>1606</sup>.

Ну что? забавно? ты, чай, зевнул?

## № 195. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Виши

1 июля 1874

Сейчас получил твое письмо; ну, брат, в самом деле, каким ты стал трусом; берегись этого, ради Бога, и как можно более берегись заботы о себе — только поддайся этим мерзостям, конечно, они сейчас же стакнутся со старостью и так искалечат нравственно, что и жизни будешь не рад. Ты с твоею гордостью смотришь иногда очень странно на многое; ну, а я никак не хочу сделать тебе или сказать тебе что-нибудь, что бросило бы хоть тень неприятности. Не будь этого, я поступил бы проще, именно стал бы присылать тебе по несколько фунтов стерлингов. Нас судьба сделала родными братьями: согласишься, что 44 или 45 лет дружбы стоят кровного родства и прибавь еще дружбы, не имеющей и никогда не имевшей не только основы, а даже никаких прицепок к материальным отношениям жизни. Ergo\*\*\* тебе было бы гадко отказать от дружеского предложения иногда послать тебе денег. Ergo пока мои дела идут хорошо, я не забочусь о твоём материальном существовании. Ergo выкинь из головы всякую трусость как подлое поздравление шестьдесят восьмого года жизни с новым годом. Как хочешь, а старость подла сама по себе точно так же, как юность сама по себе благородна.

\* «Северян богаче несравнимо  
Нищий в Ангельских воротах Рима:  
Ибо созерцает вечный Рим...» — *нем.*

Ф. Шиллер. «Друзьям» (пер. Н. Чуковского).

\*\* О, бессмертные боги! — *лат.*

\*\*\* Следовательно, итак — *лат.*

Тут-то и следует порядочному человеку не ударить лицом в грязь, и самое законное его оружие против козней, подлостей, мерзостей, гадостей и, наконец, открытой борьбы старости — это постоянно неумолкаемая деятельность. К черту все раскаяния о прошедшем, к черту заботы, к архидемону все заботы о том, как придется оканчивать последние дни, — ну стоит ли эта погань того, чтобы об них заботиться. Как подумаешь, видишь, что это не логика жизни, а логика старости как преддверия смерти. Ты подивись моей практичности: я все это предвидел и задал тебе такую задачу, что если бы ты захотел послушаться и почаще уходил бы воспоминанием в самые мелкие подробности твоей прошедшей жизни, ты просто купался бы в источнике живой воды. Одна она не годится, непременно сначала надобно раз десяток окунуться в мертвой воде, в книгах, непременно подремать над ними и потом бух в живую воду. Иначе, брат, смотри, начнешь охать, жаловаться на все, начиная с мозолей до настроения настоящего времени и до ничтожности молодого поколения. «Все, батюшка, глупство», — говаривал у нас один инженерный генерал Шуберский<sup>1607</sup>, — и ты знай, что все, батюшка, глупство: мир в нас, а не вне нас; что нам в том мире, который нам недоступен? Вот мои начала жизни. Поддерживай себя живым, непременно деятельным, непременно работником жизни и кончено: ни белые волосы, ни отказ от телесных наслаждений, ничто не собьет с пути.

Теперь именно надобно было бы мне к тебе приехать, но на мою беду мне необходимо быть у себя на плантации в начале июля. Там меня ждет физическая работа, которая начала входить в гигиену моей жизни: я обрезаваю деревья, я копаю землю и не шутя, и все это дает мне силы на зиму. Зимой за работу другую — там надобно будет стараться устроить товарищество промыслов на Ледовитом океане, нужно будет стараться провести ветвь Ярославской дороги в 130 верст, надобно будет, может быть, двинуть общество московских водопроводов, — одним словом, надобно будет работать так и столько, чтобы как ни стучись подлая старость в двери, не тут-то было, дома нет, да и только.

Меня оскорбляет то, что ты не преклоняешь колени перед моею практичностью: когда ты писал мне, чтоб я попробовал напечатать что-либо из твоих писем, ты просто был мальчиком Печериным, а я прежде тебя уже сказал себе, что можно печатать, а чему суждено остаться до будущих времен. Смирись же теперь, посыпь голову пеплом, впрочем, нет, это неопратно, от этого я тебя освобождаю, а преклонить колени постарайся и признай во мне неиссякаемый источник практической мудрости. В знак такого законного с твоей стороны смирения никогда не дерзай возражать против моих решений, да и откуда у тебя взялась такая рысь? Ты знаешь, что в университете, там, где ты ничем, ни предметом занятий, ни жизнью в одной комнате, не был соединен со мною внешне, ты всегда подчинялся моей воле — так уже на роду написано. Знай и теперь, что до 12 июля (то есть я пробуду до 10 июля здешнего стиля) в здешних местах и писать ко мне нужно Paris (poste restante), а после в Киев на Александровскую улицу, дом Брауна, контора чугунно-литейного завода. Обнимаю тебя на шестьдесят осьмом году твоей жизни, а я думал, что тебе 66, да и точно 66, ведь ты родился в 1808, а я в 1810.

Твой Чижов.

№ 196. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
17 июля 1874

Жара! Жара! Ужасная жара!  
*Отрывок из неизданной трагедии*

И кометы вековой  
Хвост виется за тобой,  
Навевая смертный холод.  
*Из «Торжества смерти»<sup>1608</sup>*

У тебя все делается на почтовых. Я полагал, что ты пробудешь, по крайней мере, каких-нибудь два месяца в Виши. А это что такое? какое это лечение? Это нечто à la Cesar\* или, в русском переводе, *по-кесаревски*: *veni, vidi, vici*\*\* — приехал, посмотрел, вылечился да и поминай, как звали! Нет, брат! Настоящее лечение должно производиться с чувством, с толком и расстановкой и должно быть *варишировано* разными водными увеселениями, концертами, балами, театром и пр[очее]. Вот как делают порядочные люди! А хотелось бы мне знать, какой благой совет дал тебе французский доктор, и какого он мнения о Белом море и о ловле моржей и тюленей.

При сей верной оказии спешу поправить твою хронологическую ошибку. Я родился не в 1808, а в 1807 15-го июня, след[овательно], мне действительно минуло или стукнуло, как хочешь, 67 лет. В статистических данных надобно быть очень аккуратным, а не то Зябловский поставит дурную отметку.

18-го

101° Фаренгейта! на солнце. К такой жаре мы здесь не привыкли. Все изнемогает, все иссохло и пожелтело, и в зеленой Ирландии нигде не видно зелени, кроме разве только в ботаническом саду. Одно здесь прекрасно — то, что улицы тщательно поливают несколько раз в день, так что мы вовсе не страдаем от пыли. Я пишу только для того, чтобы заявить о моем существовании. Кое-как мыслить еще могу, а больше ничего. *Cogito ergo sum*\*\*\*. Вот единственное доказательство моего существования в здешнем подлунном мире! Комета прошла, а я ее не видал. Это был такой поздний гость, что с ним нельзя было видаться прежде полуночи. К какой же стати мне выходить из дому тогда, как мне быть пора в постели. Я видал комету почище этой в 1811 — страшную комету, предвещавшую падение Наполеона и необыкновенный урожай вина — *vin de la comète*\*\*\*\*<sup>1609</sup>. А при всем изнеможении все-таки язык чешется, чтобы немножко по-

\* Наподобие государя, кесаря — *фр.*

\*\* Пришел, увидел, победил — *лат.* По свидетельству Плутарха («Сравнительные жизнеописания. Юлий Цезарь»), этой фразой Юлий Цезарь сообщил в письме своему другу Аминтию о победе в сражении при Зеле в августе 47 г. до н. э. над понтийским царем Фарнаком, сыном Митридата. Иносказательно — символ чего-то стремительного, некоего быстрого действия, поступка.

\*\*\* Я мыслю, следовательно, я существую — *лат.* Выражение принадлежит Рене Декарту, «Начала философии», I, 7, 9.

\*\*\*\* Вино кометы — *фр.*



болтать. Ах! как счастье везет Бисмарку! Возможно ли вообразить что-нибудь более кстати как этот выстрел изувера-католика<sup>1610</sup>! Это, как говорит некая пословица, *вода на его мельницу*. Этот выстрел отразится *рикошетом* (как бишь это по-русски?) на самом сердце Рима. А католические газеты с неподражаемою невинностью и руками и ногами барахтаются: мы тут ни при чем! Ни видом не видали, ни слухом не слышали! Да где нам? Боже упаси! А между тем это вещь самая простая. Каждый добрый истый католик вовсе не считает грехом убить протестанта, особенного отъявленного врага церкви; напротив, это достохвальное дело и достойное мученического венца. *Зубы грешника сокрушу!* Несколько лет назад — еще в Лимерике — мне пришлось напутствовать убийцу, которого, разумеется, повесили. Этот полуидиот с крайним простодушием сказал мне: я думал, что тут нет греха, ведь она была протестантка. А он эту протестантку зарезал из-за каких-нибудь 15 шиллингов. Вот тебе ключ к современным событиям! В Ирландии подстреливают помещиков за то, что они протестанты, восстают против Англии по той же причине. Трое ирландцев убили полицейского офицера для того, чтобы освободить подобного им мошенника от тюремного заключения, и за то были казнены, а теперь их считают святыми мучениками и им воздвигнут памятник на кладбище<sup>1611</sup>. Это все объясняет.

На этот раз довольно. Я даже не знаю где, в каких странах обретет тебя мое письмо. А чай ты теперь, почтенный Цинциннат<sup>1612</sup>, обрезываешь деревья на своей даче, а я таю от жару.

Твой В. Печерин.

### № 197. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Киевская губ[ерния],  
шелковичная плантация  
30 июля 1874

Вот я снова пишу к тебе из России и именно из собственных моих владений, с моей шелковичной плантации. Владения мои не огромны, и никак уже нельзя приложить ко мне стихи Хомякова:

Пределов нет твоим владеньям,  
И прихотей твоих раба  
Внимает гордым повеленьям  
Тебе покорная судьба<sup>1613</sup>.

Пределы владений моих весьма необширны, всего на все у меня 42 десятины земли; судьба не только не хочет слушаться моих повелений прихотливых, но даже не исполняет своих обязанностей. Нынешнего года заведывающему моими плантациями вздумалось сократить производство шелку, и его почти что нет ничего. Зато я начал новое хозяйство, начал разводить хмельники, начал весьма благоразумно, именно осторожно, и они оправдывают мои ожидания. Ты, я думаю, решительно ничего в этом отношении не понимаешь, при словах хмельник, хмель начнешь соображать, какого это семейства и тому подобное, узнаешь, что это ползущее растение, что оно вьется около других, около деревьев и разные такие книжные штучки. Мне это ровно все равно. Я соображаю одно то, что это чрезвычайно выгодное растение, что десятина хмеля приносит больше 200 рублей, что, следовательно, если успеть ввести ее в страну, то страна сильно обогатится. Соображаю и то, что заложение хмельника и расходы на

него весьма ценны, рублей до 600 на десятину, что и составляет главное препятствие к его распространению, особенно в такой исключительно земледельческой стране, какова здешняя часть России. Смешно сказать: здесь дикий хмель превосходный, а его не разводят на полях; на моей родине в Костром[ской] губернии и климат весьма не благоприятственный, и почва весьма не богата, а там во многих местах разводят хмельники издавна; в Московской губернии есть урочище Гуслицы<sup>1614</sup>, где им занимаются преимущественно. Отчего же такая несообразность? Оттого, что там великороссийское племя деятельное, живое, промышленное, оборотливое, ты сам лучшее тому доказательство; а здесь как начали испокон века пахать поля, так и продолжают, и лень малороссиянина вошла в поговорку и увековечена песнею народною:

Сидит казак на стерне,  
Да штаны латае;  
Стерня ему жопу коле,  
А он стерню лае.

Все, что не введено в Малороссии в промышленном мире, введено великорусцами. Овцеводство тонкорунных овец развел Румянцев<sup>1615</sup>; табаководство Теплов<sup>1616</sup> и так далее. Я мужикам буду помогать, то есть ссужать корнями, тычинками, по которым хмель вьется, и авось достигну желаемого. До сих пор я не занимался этим по 2-м причинам: 1) не было ни гроша денег (довольно было бы и этой одной); 2) некому было поручить исполнение.

Благодаря Виши и нынешнему жаркому лету, которое, как кажется, тебе не нравится, здоровье мое очень порядочно, только уже деревьев я не обрезаю: у меня есть расширение жилы на правой стороне шеи, и потому всякое сколько-нибудь сильное и энергическое движение мне вредно, оно, видимо, усиливает биение жилы, даже запрещено мне сердиться, это я нахожу уже ни на что не похожим. Ну, ничего, не позволяют обрезать деревьев и копать землю, занимаюсь уходом за хмелем: обвязываю его около тычинок, охорашиваю и разрыхляю землю около корней. Погода у нас чудная; мое уединенное жилище, то есть решительно киновия<sup>1617</sup>, доставляет мне полнейший отдых. Небольшой домик, крытый соломою, пред домом на юге выступ вроде балкона, то есть род малороссийского поддошья, защищаемый от солнца стеною виноградной зелени, небольшой цветничок, и, слава Богу. Своя корова, свои домашние птицы, свои куропатки в лесочке, лесочек на какой-нибудь десятине или немногим больше — много ли человеку надобно? Полцпыленочка да четверть теленочка, он и сыт.

Все это время читаю все более новые итальянские книги; нельзя сказать, чтобы являлись писатели талантливые, они также как и писатели других стран стремятся к фотографии нравов; но нравы юга пленительнее, по крайней мере, для меня, нравов севера, и потому я читаю их новые новеллы с большим удовольствием. Что еще мне в них нравится, это то, что не потеряв у них огонь души, остался лиризм, есть внутреннее требование идеала и видно

Che l'antica valor  
Neg l'italici cor  
Non e amor merta\*.

---

\* Что древние достоинства  
В итальянских сердцах  
Еще не умерли — *ит.*

Что-то ты подделываешь, ворча на жар? Досадно, что мне не удалось к тебе проехать; вероятно, в саду ботаническом у Вас очень хорошо. В прошедший раз я едва успел взглянуть, тем более что меня сильно ломало, и я едва был в состоянии ходить. Да и вообще хорошо первый раз быть вдвоем, а потом походить одному, остановиться над тем, что почему-нибудь у себя остановит, подумать. Так я всегда хожу по галереям. Хотелось бы мне очень немного побывать внутри Ирландии; вероятно, ты можешь дать или достать письма к сельским священникам и в маленькие городки. Я страшно люблю таскаться по стране и присматриваться. Хотелось бы тоже поездить и по Шотландии. Не знаю, удастся ли это на будущее лето. По всей вероятности, мне нужно будет снова побывать в Виши. Только что я намерен попросить заведывающего моими плантациями по окончании червекормления приехать в Богемию и после в Баварию, именно в Нюремберг<sup>1618</sup>, поприсмотреться как разводят хмель и особенно вникнуть в хозяйственный расчет работы и распорядительности ею — это я нахожу важнейшее для успеха дела. Технике можно научиться из книг, а этому научишься только из вникания в опытное хозяйство. После хмеля мне хочется свезти его в Северную Италию поприсмотреться к шелкомотанью. Если ты спросишь, зачем все это, когда мне теперь уже 64 года? Право, не сумею ответить. Я думаю за тем же, зачем червь вьет кокон, тогда как ему не дадут дожить до бабочки, а задушат для того, чтоб этот кокон размотать на шелк, — просто по требованию неугомонной природы. Ну, могу ли, например, я дожидаться полного роста каштановых и ореховых деревьев, а нынешнюю осень я велел посадить деревцев. Пусть достанется другим; но я непременно должен, по моей природе, извлечь из всякой местности все, что только она может дать, хотя на моей плантации все это пойдет не мне, а заведывающему ею. Просто мы все сумасшедшие и дети нашей природы и нашего темперамента — что они прикажут, то и делаем. *Liberum arbitrium*\* больше в нашем самомнении, а в действительности мы самые исключимые рабы нашей природы, пожалуй, после нее нашего воспитания — *consuetudo est altera natura*\*\* . Пожалуйста убедись, что я очень способен был бы быть классиком никак не хуже нашего пресловутого министра графа Толстого, если бы не железные дороги, не Банки, не шелководство и не хмелеводство, да не промыслы на Ледовитом океане.

Обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижов.

## № 198. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

7 октября н[ового] с[тиля] 1874

Ну что ты, брат? что ты? где ты? каково поживаешь? жив ли, здоров ли? Мне хотелось попробовать, кто кого перемолчит, но, наконец, мне стало невмоготу, и я снова берусь за перо, как говорят ученые люди. Впрочем, ты сам тут немножко виноват: в последнем письме твоём из деревни ты ни слова не сказал, долго ли там пробудешь и куда тебе адресовать — вот я так и руки опустил. А к тому же у нас доселе стояло

\* Свобода выбора, свобода воли — *лат.*

\*\* Привычка вторая натура — *лат.*

лето, лето, лето, да и какое еще лето! Какой благословенный климат! Или, лучше сказать, какой благословенный 1874 год! Такого года не было и не будет. А тут на беду еще подъехала итальянская опера. Вход в театр мне запрещен, но я пошел на утренний концерт (в зале выставки, где мы с тобою были). Ах, какое наслаждение! Меня так и обдало воспоминанием давным-давно прошедшего, и я припомнил Пушкина:

Театр уж полон, ложи блещут,  
Партер и кресла все кипит,  
В райке нетерпеливо плещут  
И, взвившись, занавес летит.  
Блистательна, полувоздушна и пр[очее]<sup>1619</sup>.

Какие чудесные голоса! У нас тут и Тициене<sup>1620</sup>, и Требелли Беттина, и S-g Agnesi. Жаль, что они не могут заманить сюда Аделину Патти<sup>1621</sup>: видно, она очень дорога, нам не по карману. Она недавно пела в Ливерпуле. С итальянскою оперою здесь случилось приключение. Давали новую оперу “*Il Talismano*”<sup>1622</sup>. Тут есть великолепная сцена, представляющая внутренность католической церкви: алтарь с зажженными свечами, дым фимиама, и монашенки поют священные гимны. Какая-то старая ханжа донесла об этом кардиналу. Он тотчас же выдал громоносное пастьерское послание, что вот, мол, как лицедеи издеваются над святыею в католической стране. Директор театра как истый католик с искренним раскаянием принес кардиналу повинную голову (хотя и без мозгов), и на следующий раз эту сцену выпустили. Образованная публика (т[о] е[сть] протестанты) роптали, а итальянцы были вне себя от бешенства: *che fanatico! che fanatico!*\* кричали они. И в самом деле, во всей Европе нигде не случалось с ними подобной штуки. Вот, как видишь, и у нас завелась театральная цензура: в этой бестолковой Ирландии миряне находятся в самой подлой зависимости от духовенства — просто отвратительно!

Я должен благодарить тебя как за величайшее благодеяние за присылку «Вестника Европы»: тут есть что почитать. Данилевский<sup>1623</sup> у вас никак недюжинный писатель. Я давно уже ничего не читал с таким увлечением, как его «*Девятый Вал*». План отлично обдуман, и какие тут разнообразные картины русской жизни старой и новой! Это чисто русская повесть. А читал ли ты описание Соловецкого монастыря<sup>1624</sup>? Вот каковы наши мужички! Выписываю слова автора: «На нашем Севере Соловки самое производительное, промышленное и сравнительно с пространством островов самое населенное место. Без всяких пособий от правительства, без субсидий оно создало такую экономическую мощь, которая становится еще значительнее, если подумать о том, что его обитель обязана усилиям нескольких сот простых и неграмотных крестьян. Это наше царство! — говорят крестьяне-поклонники, направляющиеся сюда».

Угадай, что мы теперь читаем с Аткинсоном? Никак не угадаешь, так я тебе скажу: мы читаем летопись Нестора<sup>1625</sup>. Каково? вишь, куда зашли! Если об этом узнает Погодин, то, наверное, его историческая утроба взыграется радощами. На этот раз довольно. Хорошенького понемножку. В ожидании приятных от тебя известий до свидания

Твой Печерин.

\* Каков фанатик — *ит.*

**№ 199. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

Москва

4 окт[ября] 1874

Ну, брат Печерин, хорош ты! чудо как хорош! Просто, братец, мне стыдно за тебя, совестно, стыдно сказать, что вот уже чуть-чуть не полвека как мы с тобою соединены братски. И ты не краснеешь? Тебе не совестно, что твой чуть-чуть не полувековой друг совершенно забыл о времени и счел месяц за неделю? Перестань, братец, все вздор, пустяки, стыдись, да и только, больше тебе ничего не остается. Представь себе, что, приехавши в Москву в конце августа, я мысленно написал тебе письмо, да и был уверен, что действительно написал его, до того был уверен, что даже помню, как я его отправил. Жду, жду от тебя письма и думаю, отчего это он не пишет. Теперь, получа твоё письмо, справляюсь с моею почтовою книжкою, — да, правда, я не писал к тебе. Как же я ругнул тебя при этом открытии; мне стало совестно за то, что ты можешь иметь подобных друзей.

Да, брат, это так было. Причина всего таится в том, что меня встретила здесь бездна работ, так что, право не преувеличивая, я был как в омуте с утра до вечера. Погода у нас до сих пор стояла совершенно летняя, хотя и не было жарко; надобно было воспользоваться и этим и прокатиться до Ярославля и потом до Вологды, осмотреть дорогу. Пожалуй, это и не обязательно, но хозяйский глазок — смотрок (вот тебе и филологическая разность между глядением и смотрением — это для твоего Аткинсона), и не осмотри хозяин, как-то и дороге скучно будет быть хорошо уложенною, и шпалам быть свежими и тому подобное.

Мурманские промыслы начались плохо; купец Смолин, желающий начать со мною предприятие, поторопился, пустился на кораблях незастрахованных, потерпел страшное крушение, потерял весь груз и самые корабли, которые разбились вдребезги; сам он попал на необитаемый остров, питался дни три яйцами диких птиц и потерпел убытку от 70 до 80 тысяч. Это плохо, но зато это самое побуждает меня сильнее напрячь силы для того, чтоб основать, прежде всего, срочное пароходство на Мурманском берегу, авось это удастся сделать нынешнею зимою.

Хотя снова начались мои желудочные страдания, но зато мочевого пузыря, слава Богу, покоен, и то большое приобретение. Дела, благодаря Богу, столько, что с утра до вечера и половины не переделаешь, впереди есть два, три начинания: две, три, а, может быть, и четыре ветви железных дорог. Да будет благословенно имя Аллаха в железных путях, пришли и ты твои грешные молитвы об успехах всех промышленных предприятий. Когда будет посвободнее, напишу поумнее, а если уже выжил из ума, то и глупым письмам будь доволен.

Твой Ф. Чижов.

P.S. Смотри, не ленись, ты уже давно не шлешь ступенек к бессмертию, о чем я сильно забочусь. Чтобы тебе припомнить подробности твоей прошедшей жизни, — бытовые подробности ежедневных проказ — они-то именно и фотографируют прошедшую жизнь каждого.

№ 200. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

9 ноября н[ового] ст[иля] 1874

Аще беззакония назриши Гди Гди кто постоит; псаломъ ркд<sup>1626</sup>.

Прыток чортъ, да и онъ монахоу не попоутчикъ. Из книги Сираха<sup>1627</sup>.

Преподобному отцо нашему Феодору трюженикоу и великомученику промышленности и торговли отъ смиренного раба Владимира Сергеева Печерина земной поклонъ.

Зело смущахомся духомъ, возлюбленный брате, не ведаю, како глаголати или писати къ вашему высокопревелебию, понеже ты еси добрымъ подвигомъ подвизаясь, якоже рече блаженный Апль Павел: добре подвизахся подвигомъ совершихъ веру сохранихъ<sup>1628</sup>.

Теперь гражданскимъ шрифтомъ<sup>1629</sup>.

Я с отчаяния бросился в славянщину. Надо же чем-нибудь добиться бессмертия: коли не мытьем, так катаньем. Я сгораю неутолимою жаждою, да сбудется реченное пророком: ревность дома твоего снеде мя<sup>1630</sup>, т[о] е[сть] я сгораю сильным желанием возвратить русскому слову первобытное оною величие и благолепие и тщательно изгнать из среды его все иноземные нововведения, и такожде оградить оною от нашествия галлов и с ними двадцати язык. Я заказал себе мурмолку и поддевок<sup>1631</sup>, да кабы не запрет начальства, то, наверное, отпустил бы бороду до пояса, да и это с Божию помощью со временем придет. Кроме того, еще следует произвести великое преобразование (не реформу — это гадко) в русском писании, т[о] е[сть] в писании пером на бумаге. Достославные предки наши писали или, лучше сказать, печатали крупными евангельскими буквами: вот, например, покойная моя бабушка Марфа Семеновна (опять Крылов на уме<sup>1632</sup>) печатала буквами с палец толщиной, оно было легко читать и отрадно и назидательно. А теперь к всеобщему соблазну пишут какими-то каракульками, так что едва разобрать можно: это так называемая скоропись обличает поспешность, легкомыслие, упадок нравов и развращение ума.

Вот ты требуешь от меня подробностей моей жизни: чего же лучше? вот они, эти подробности! Вот тут весь человек как он есть, как вылитый, как истукан, изваянный из мрамора, или *статуи*, вылитый из меди, бронзы, золота-серебра и камня честна. Тиверий с острова Кипра писал к римскому Сенату<sup>1633</sup>: что скажу вам о себе, *Patres Conscripti*\*? Пиша из Дублина, что мне сказать тебе, преподобный отче? У нас стоит лето, лето, лето или, лучше сказать, прелестная весна, даже цветы снова распускаются. Я жуирую\*\* как *французский бог* (изречение младшего Польнера по возвращении моем из-за границы). Не удалось нам выписать Аделину Патти, зато у нас будет ее сестра Карлотта Патти<sup>1634</sup>, ни в чем, говорят, ей не уступающая. Непременно пойду на ее концерт. Всего два шиллинга за вход. Это дешевле грибов. Кутить, так кутить. Жизнь копейка, командир наживное дело. А между тем у нас приверженцы Папы ведут отчаянную борьбу, т[о] е[сть] на бумаге. Я на все это смотрю со стороны как на распри каких-нибудь индейских или турецких факиров, фило-

\* Отцы сенаторы — *лат.*

\*\* От *фр.* *jouir* — наслаждаться.

софствую с любезным Аткинсоном, исследываю явления электричества и магнетизма, а земля по-прежнему вращается на своей оси, и солнце сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные, т[о] е[сть] вопреки папскому запрещению, *Errur si muove!*\*

Многа имехъ писати, но не хошу черниломъ и тростию писати тебе. Миръ тебе, целую тя друзи, целую други по имени. Аминь.

Конецъ посланию Владимирову: имать в себе главу един<sup>1635</sup>.

*Les courtes folées sont les meilleures*\*\*.

Твой В. Печерин.

## № 201. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

10 нояб[ря] 1874

Получил я твое письмо и сказал себе: шут он гороховый, и точно ты истинный шут гороховый. Все тебе нравится всего на два дни с половиною. Начал ты писать отрывки из своих походов, писал сначала как порядочный человек, вдруг крючок соскочил и кончено. Мало-помалу все меньше да меньше и перестал совсем. Позволил мне напечатать выдержки из писем, а потом и пошел: того не делай, да так не печатай, да смотри то, да смотри это. И этому я подчинился и если не приготовил к печати, то единственно потому, что летом не в состоянии был порядочно заняться ни на водах, ни после вод. Приехав сюда, скорехонько поехал в Ярославль и Вологду осматривать дорогу, потом немного прихворнул, написал к Стасюлевичу редактору «Вестника Европы» покаянное письмо, прося его простить меня за то, что не исполнил своего слова. Думал вот, дескать, начну с будущей недели и составлю вступление из писем шута горохового, не тут-то было, поехал в Петербург и захворал довольно сильно: как-то успел простудиться. Дух убо бодр, плоть же немощна<sup>1636</sup>. Авось либо теперь примусь.

Мое мурманское предприятие встало и ни взад, ни вперед. Промышленник, с которым я хотел основать товарищество мурманских промыслов, потерпел крушение, потеряв тысяч на 70 товару. Но, слава Богу, это не убило его бодрости духа, и мы не оставляем нашего намерения; но приведение его в исполнение страшно трудно. Авось что-нибудь сделаем наступающею зимою. Тут нужно еще другое товарищество срочного пароходства на мурманском берегу — это тоже дело не шуточное. Оно требует двух пароходов океанского плавания и трех пароходов для Белого моря. Не знаю, читал ли ты в «Вестнике Европы» «Соловки» — это талантливое описание даст тебе понятие о том крае. Край чудный, но приняться за него нелегко.

Они ели, ели, ели,  
Они пили, пили, пили,  
Так что еле, еле, еле  
По домам их развозили.

Это в скобках, как обрисовка многих тамошних деятелей. Задача является сильно трудною. С одной стороны, необходимо все основать на промышленнике бывалом,

\* А все-таки она вертится — *лат.*

\*\* Маленькие безумства есть самые лучшие — *фр.*

знающем край, знающем тамошние промыслы и закаленном в бою промысловом. Такой и находится. Но такого рода люди бывают довольно черствого закала; для них успехи промысла альфа и омега не только их действий и предназначений, а и намерений. Вот тут-то и умей так устроить дело, чтоб промысел был в основе, да шел бы он так, чтобы не посягал на человеческую сторону туземца. Другими словами, не нарушая выгод промысла, необходимо ввести начало или, если тебе отщепенцу, сильно нравятся слова иностранные, элемент образованности. Кажется, мне удастся и это исполнить, а это страшно трудно. Образованность чопорна, брезглива, белоручковата, горделива, заносчива, самомнительна, властолюбива, в ус не дуй-ка, да вместе с тем и хлипка, слабогруда, недоноска — ступай-ка повозись с нею, пока из нее выкуешь работницу, пригодную к Ледовитому океану. Ты ничего этого не знаешь.

Beatus ille qui procul negotiis\*.

Что? Ты думаешь, я уже совсем забыл латынь и твоего патрона Вергилия, — нет, брат, шутишь; дай-ка пожить лет с десятков, пожалуй и Горация припомню и на льдах Ледовитого океана или на Новой Земле произнесу громко:

Exegi monumentum aere perennius  
Regalique situ pyramidum altius\*\*  
et cet. et cet. et cet.

За это тебя обнимаю и тебе с Аткинсоном счастья желаю.

Твой Ф. Чижев.

Слышал ли ты или не знаешь ли из газет, если читаешь, как прежде ты читал русские газеты, слышал ли о деле игуменьи Митрофании<sup>1637</sup>? Прекурьюзное дело.

## № 202. В. С. Печерин — Ф. В. Чижев

47 Lower Dominick Street  
Dublin

6 декабря н[ового] ст[илия] 1874

Болить ли кто въ васъ, да призоветъ пресвутеры  
црковныя, и да молитву сотворятъ надъ ним,  
помазавшее его елеем во имя Гдне.

Послание Иаковле. Гл. Д<sup>1638</sup>

Очень мне жаль, любезный Чижев, что ты простудился, но какая же нелегкая несет тебя разъезжать по большим дорогам в ноябре месяце да еще под благорас-творенным петербургским небом! Надеюсь и предполагаю, что теперь ты совсем оправился. I hope you are well\*\*\*. Очень тебе благодарен за то, что ты не забыл моих записок. Принимая в соображение, какие пошлости иногда печатают, напр[имер],

\* Блажен тот, кто вдали от дел — *лат.* (Гораций, Эподы, II, 1).

\*\* «Воздвиг я памятник вечнее меди прочной  
И зданий царственных превыше пирамид» — *лат.*

Начало знаменитой оды Горация (III, 30), вызвавшей в русской поэзии множество пере-водов и подражаний.

\*\*\* Я надеюсь, что ты здоров — *англ.*



«Грибоедовская Москва»<sup>1639</sup>, я надеюсь, что мои записки покажутся немножко занимательнее для нашей почтеннейшей публики. Я с большим вниманием следил за всем, что написано о Белинском и его кружке<sup>1640</sup>. Престранный это был кружок. Во всем видно какое-то несовершеннолетие, детство: детские восторги над Гегелем, детские распри, детская вражда. Признаюсь, незавидная доля быть литератором в России. Ты со своим практическим умом избрал себе благую часть, я же не отыметься от тебе<sup>1641</sup>. Кстати, не можешь ли ты мне объяснить, что это за личность *А. Курбский*<sup>1642</sup>? Она меня очень озадачивает. Как-то не верится: человек, занимающийся разными промыслами и даже черною работою, пишет никак не хуже записных литераторов. Описание американских степей и пожара в Чикаго превосходны. Да и сам он такой лихой предприимчивый малый и совершенно сошелся с американцами, что и подтверждает мое мнение о сродстве этих двух национальностей. Об ирландцах он одного со мною мнения, т[о] е[сть] что они составляют самую негодную часть населения С[оединенных] Штатов. «В элементах для возмущения нет недостатка между рабочими горевшего города, в числе которого много эмигрантов и особенно *грубых ирландцев*, готовых принять участие во всякого рода бесчинствах».

Ну, что ж! опять приняться за дело? писать записки? ты не можешь себе представить, до какой степени противно и приторно не только писать, но даже и думать о *духовной* жизни. Это такая мертвечина, мерзость запустения, стояще на месте святе<sup>1643</sup>, это воплощенная колоссальная ложь. У меня просто руки опускаются, и я с каким-то отчаянным изумлением и даже благоговением преклоняю главу перед великою иудейскою нацией. С необыкновенным умом и хитростью этим жидам удалось надуть весь образованный мир и древний и новый. Они навязали нам свою пошлую историю и историю кочующей цыганской шайки, исполненную всяких мерзостей и неслыханных жестокостей; навязали нам свою бедную литературу и прозу и стихи, и мы доселе декламируем или читаем нараспев их военные патриотические гимны, а святая церковь с сладостным умилением распевает их похабные песни. *Песнь Песней*: «Да лобжетъ мя от лобзаний оуст своихъ: яко блага сосца твоя паче вина»<sup>1644</sup>. Переложи ты это на обыденное русское наречие и выйдет то же, что у Баркова: «*Цалуй меня, Варюшка!*»<sup>1645</sup> А вот еще почище: «Яко оуязвлена есмь любовию азъ. Шуйца его под главою моею, и десница его обимет мя»<sup>1646</sup>. Что может быть этого яснее? Это оконченная картина. Тут вся обстановка половых сношений. Каждый женатый человек или юноша, посещающий публичные дома, тотчас поймут, что, как и где.

У нас появился здесь беглый священник из Бадена. Послушать его, так уши вянут. Вот как он глаголет: «Бисмарк прав: церковь действительно опасна для государства, потому что церковь никак не может примириться с протестантскою Империей. Борьба неизбежна не только в Германии, но и в других странах, пока церковь не одолеет всех своих противников», дондеже положу враги твоя подножие ног твоих<sup>1647</sup>. Каково это наивное признание? Если они все так думают и говорят, если они сами вызываются на борьбу, то чем скорее их упрячут в тюрьму, тем лучше. Во всех частях света является какой-то разгар изуверства. В Южной Америке в Чили архиепископ отлучил от церкви и предал анафеме и президента, и его министров, и всю палату депутатов. Ведь это курам на смех. Ей Богу, пора проучить этих господ. Впрочем, может быть, это признак приближающейся кончины. Говорят, что зловредные гады перед смертью обыкновенно испускают весь свой яд.

У нас доселе стояла прекрасная погода. Каждый день в 3-м часу наша Piazza di San Marco\*, т[о] е[сть] та улица, где почта, если помнишь, наполнена fashionable\*\* людом: такая толпа, что едва можно пробиться; это точь-в-точь как было в Петербурге в старые годы, когда брат Печерин водил меня с собою на Невский проспект именно в 3 часу, но там это совершалось со страхом и трепетом, что если чего, Боже сохрани, попадется навстречу государь да заметит, что шляпа, т[о] е[сть] [нрзб] надета не по форме — беда! О времена, о нравы! О tempora, o mores!\*\*\* Ты меня очаровал своею латынью. Да сбудется твое желание и да угораздит тебя Господь произнести на льдах Ледовитого океана: *Exegi monumentum aere perennius*. Но скажи ради Бога, где эти мурманские берега? На карте я их не вижу, должно быть, на Белом море или в стране белых медведей, к которым у тебя непреодолимое влечение. О деле игуменьи Митрофании у нас был подробный отчет в “Daily Telegraph”. Это просто дело монашеское. *Прыток черт, да и он монаху не попутчик*. Да что это у вас делается? Неужели, в самом деле, закрыты Киевский и Харьковский университеты?

По здешнему обычаю посылаю тебе Рождественскую карточку (Christmas card). Это зима едет верхом на карете и поздравляет с наступающими праздниками.

Твой В. Печерин.

Карлотта Патти была у нас, пела как голосистый соловей и была осыпана рукоплесканиями и венками. И я там был, мед-пиво пил и пр[очее].

### № 203. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

22 февраля н[ового] ст[илия] 1875

Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетнымъ;  
Псалом В<sup>1648</sup>

Приидите, и сошедши смесимъ тамо языкъ ихъ,  
да не оуслышать кийждо гласа ближняго своего.

Кн. Бытия. Гл. АІ<sup>1649</sup>

Вышло презабавное недоразумение. Ты ждешь меня, я жду тебя. Настоящее вавилонское столпотворение. Я с нетерпением ожидал ответа на письмо от 6 декабря. Жду не дождусь. Бог весть, что я передумал в это время. Я вообразил себе, что ты опасно болен, и бранил тебя за то, что ты не уведомил меня через кого-нибудь, хоть положим через твоего секретаря, если таковой обретается у тебя на лицо. А теперь выходит, что ларчик просто отпирался, и что мы с тобою сыграли в жмурки, кто кого поймает. Ну, и слава Богу! все обстоит благополучно, ваше благородие, нового ничего нет. Ты по-прежнему погружен в ледяные воды Белого моря и беседуешь с китами, моржами и тюленями. А я погружен в глубокие таинства *микроскопа*: вся поднебесная, все, что есть в облацах воздушных,

\* Площадь святого Марка — *ит.*

\*\* Модный — *англ.*

\*\*\* О времена! О нравы! — *лат.* (Цицерон, Речь против Катилины, I, 1).

на земле и под землю, в водах океана, рек и озер — все идет под увеличительное стекло. Вот тут именно видна разность наших стремлений: у тебя все делается гуртом, оптом, ты двигаешь громадными массами, меньше кита ничем тебе угодить нельзя. А я, напротив, занимаюсь бесконечно мелкими предметами: козявками, мошками, пестиками, тычинками и их плодотворною пылью, разрезаю, анализирую ячейки, молекулы, атомы, и чем более какой-либо предмет недоступен обыкновенному глазу, тем более я нахожу в нем артистической красоты. Это так называемое *микробесие*. Но довольно. Мы с тобою так сильно заняты положительными науками, что совсем и позабыли об изящной литературе. Ну что ж? каково поживают мои записки? живы ли, здоровы ли они? и есть ли для них какой-нибудь луч надежды увидеть свет на страницах «Вестника Европы»? или, может быть, это была только мимолетная фантазия, розовый сон летней ночи, радужная игра призматических красок в волнистых отливах брызжущего фонтана перед портиком Св[ятого] Петра в Риме<sup>1650</sup>? и пр[очее], и пр[очее], и пр[очее]. Эта фигура называется *амплификацией*, как явствует из риторики покойного Николая Семеновича Мерзлякова<sup>1651</sup>, ординарного профессора Московского университета. Она фигура вообще употребляется для придания речи большей полноты, круглоты и благолепия.

Ну что же ты ничего не пишешь о России. Ведь не вся же она заключается в пределах Белого моря, и киты, моржи и тюлени не единственные ее обитатели. Вот, напр[имер], кстати, о моржах и тюленях, ты мог бы упомянуть, как живет и благоденствует М. П. Погодин, жив ли здоров Крылов и придерживается ли по-прежнему чарочки? Все это предметы родные, близкие чувствительному сердцу патриота. Зато я тебе расскажу здешние *русские* новости. Сын отца Евгения Попова назначен придворным священником к герцогине Эдинбургской, а к нему диаконом прикомандирован некий Сперанский. Вот видишь, как люди идут в гору. Мы одни с тобою остаемся на низменной почве, но ты, по крайней мере, надворный советник, а я вовсе ничего, даже не подканцелярист.

Мой Аткинсон ездил в Лейден праздновать 300-летнюю годовщину тамошнего университета<sup>1652</sup>. Об этом университете можно сказать то же, что о русской избе: красна изба не углами, а пирогами. Здание очень невзрачное — просто выщекуренный сарай, но зато есть пироги, да еще какие! Впрочем, я собираюсь представить в Государственный Совет проект об уничтожении всех университетов и замене их специальными училищами. В самом деле, университеты ничто иное, как остаток средних веков. Это те же монашеские корпорации с их педантским догматизмом и узким исключительным взглядом на вещи — все эти экзамены и диссертации и степени просто китайско-мандаринское варварство.

Судя по газетам, у всех был страшный холод, даже в Берлине на днях было 6° мороза. А у нас уже наступила весна во всей прелести: чистый благорастворенный воздух и почки на деревьях и цветы распускаются. Яко се зима преиде, дождь отъиде, отъиде себе. Цвети явишася на земли, глас горлицы слышан в земли нашей. Прииде, ближняя моя, добрая моя, голубице моя, и прииди, яви ми зрак твой, и оуслышань сотвори ми гласъ твой, яко гласъ твой сладокъ, и образъ твой красенъ<sup>1653</sup>.

Теперь ты видишь, что я не злопамятен: плачу за зло добром, и за твое коротенькое письмецо оплатил тебе пятью страницами всякой болтовни да еще со славянскими буквами и с киноварью<sup>1654</sup>.

Твой В. Печерин.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Глава а ст. а

Да лобжетъ мя от лобзаний оустъ своихъ  
яко блага сосца твоя паче вина.

*Перевод*

*на русское наречие*

Цалуй меня, Варюша, прямо в губы!  
Какие у тебя славные груди! Ей Богу,  
это слаще шампанского!

Согласись, что это — буквальный и добросовестный перевод с древнего языка на новый.

**№ 204. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

28 марта н[ового] ст[илия] 1875

17-го марта текущего года в день Св[ятого] Патрика<sup>1655</sup>, патрона Ирландии, когда все правоверные носят в петличке или на шляпе зеленые веточки трилистника (*trifolium\**) как символ их народности и веры, в этот самый день поутру в 11-ом часу я сидел, растянувшись у камина, и грел себе ноги у пылающего огня не от холоду, а потому, что было немножко мокро на дворе — вдруг отворяется дверь, вбегает наша белая собачка, называемая snow, т[о] е[сть] снег, и приносит мне в зубах твое письмо. Вишь, какие у нас выкидываются штуки, и как Бог умудряет неразумную тварь. Впрочем, этот способ доставления применяется только к заграничным письмам, т[о] е[сть] к твоим, для большего почету и чтобы показать, что это нечто вроде важного события.

Ну, брат! виноват! я наклепал на тебя всякие недуги, а теперь вижу, что у тебя геркулесовская сила. Меня не только изумляет, но даже пугает твоя неукротимая деятельность. Мог ли я когда-либо вообразить, что буду коротким приятелем человека, измеряющего океаны,двигающего пароходами как пешками, заказывающего рельсы в Англии и пр[очее], и пр[очее], и пр[очее]. Ты скоро сделаешься соперником *Лессенца*<sup>1656</sup>, прорезавшего Суэцкий канал. Он и вам, было, хотел сослужить службу и провести железную дорогу прямо в Индию, но как-то не сошелся с администрациею. Теперь я смело могу пророчествовать тебе, что ты проживешь до ста лет, если не дальше, и не одну тризну справишь за упокой души моей: машину, пущенную в ход с такою неизмеримою быстротою, нелегко будет остановить. Но все ж таки надо знать честь. Ради Бога, сойди хоть на минуту с высоты твоей государственной деятельности и дай себе немножко отдыху: поезжай в Виши, да и сюда заверни хоть ради рельсов.

Прийди в чертог ко мне златой,  
О, рыцарь милый мой!  
Там все богатства обретешь,  
Невесту милую найдешь.

---

\* Клевер — *лат.*

Вообрази себе, что я это помню с десятилетнего возраста. Это из «Русалки»<sup>1657</sup>. Я видел и слышал ее, кажется, в Одессе. А вот еще воспоминание из Киева, из «Кравковяка и Горале»<sup>1658</sup>:

Jestem panna maluchana,  
A nazywam się lubnuchana.  
Wszyscy chłopcy mię kochają  
I z miłości przepadają\*

Вот тебе и автобиография! Когда человек приближается к концу своего поприща, все воспоминания далекого прошедшего становятся как-то ближе, живее и яснее. Как будто природа или большой неведомый «X» хочет связать начало с концом и, поставив человека на очную ставку с самим собою, показать ему целиком все его бытие. Вот каков ты был, Владимир Сергеев Печерин. Каков в колыбельку, таков и в могилку. Посмотри-ка на себя в зеркало в последний раз, а там и баста! Пора тебе возвратиться вспять туда, откуда ты пришел, т[о] е[сть] в лоно нашей общей матери — как, бишь, ее зовут? — а Бог весть! Может быть так же, как и бабушку Крылова<sup>1659</sup>.

Слышал ли ты о книге Кошелева «Наше положение»<sup>1660</sup>. Она напечатана в Берлине по причинам, тебе понятным. Иностранная публика считает ее значительным явлением: так, по крайней мере, отзывается о ней берлинский корреспондент «Таймса». Ее смысл тот, что

Ничто не ново под луною,  
Что есть, то было, будет ввек...

Одно меня озадачивает, как и где исчезнул *Огарев*. Он как в воду канул после смерти Герцена: он был на виду у публики только пока лучи от фигуры Герцена падали на его облик. Презабавно, что мне никогда еще не пришлось спросить тебя: знал ли ты лично Герцена. Все как тени сходят со сцены, и скоро не останется, кроме тебя, ни одного человека, знавшего меня. Мой родственник Поярков давно уже перестал писать ко мне, да и в самом деле по какой стати писать к человеку, которого он никогда в глаза не видал и от кого как от козла ни шерсти, ни молока ожидать нельзя.

За книгами дело не станет. Тут их найдешь по всем предметам от Кедр Ливанского до Иссопа<sup>1661</sup>; но все ж таки тебе бы следовало прислать мне хоть крошечный перечень, каких именно ты хочешь. Впрочем, делай, как знаешь: валяй, присылай, выписывай, заказывай что хочешь, мы рады стараться, ваше Высокородие. Мне самому становится смешно, что здесь решительно никто меня не знает, кроме Аткинсона: с ним одним я меняюсь мыслями, с ним одним живу в умственной сфере выше туманов окружающего меня фанатизма, и после моей смерти он один будет в состоянии оценить меня и, как говорится по-французски, *venger ma mémoire*\*\*.

Не знаю как у вас, а у нас уже *Христос Воскресе смертью смерть поправ и вечный живот нам даровав*<sup>1662</sup>. Итак, поздравляя ваше высокородие с праздником

\* Я девочка-малышечка,  
Зовут меня влюбчивой,  
Все хлопцы меня любят  
И гибнут от любви — польск.

\*\* Отомстить за мою память — фр.

Светлого Христова Воскресения и пожелав вам совершенного здоровья и всех благ, имеем честь быть ваш смиренный раб и богомолец

В. Печерин.

**№ 205. Ф. В. Чижев — В. С. Печерину**

Москва

14 апр[еля] 1875

Христос Воскресе, поздравляю тебя с нашим праздником Светлого Христова Воскресения. Запоздал ответом на твое письмо, потому что оно было получено без меня, когда я был в Петербурге. Только что приехал я оттуда, как вдруг пришлось ехать в Киев, где меня дожидался сильно захворавший мой давнишний приятель. Возвращаюсь оттуда — дела железной дороги и новое дело Архангельско-Мурманского пароходства снова тащат в Петербург. Так я и прошмыгал почти весь март и апрель, то есть начало апреля, а погода между тем вовсе уже не такова, чтоб разъезжать с одного края нашей крошечной России на другой, из Петербурга в Киев. До сих пор о весне еще нет и помину, все холод и холод, даже вчера и сегодня снег, положим на минуту, но все-таки снег, который, пожалуй, на своем месте зимою, а теперь невыносимо гадок.

Ну, брат Печерин, наконец, начинается мое давнишнее предположение двинуть наш крайний Север и оживить его правильностью промыслов и правильностью пароходства. Новоучреждаемое мною Товарищество Архангельско-Мурманского пароходства начинает переходить из намерения в дело и, вероятно, на днях будет уже утверждено Комитетом министров<sup>1663</sup>. Не знаю, каково-то оно пойдет; пока еще находит мало сочувствия в публике, что меня несколько не смущает, потому что и Ярославская дорога была принята страшно холодно, а между тем она идет превосходно. Найдет сочувствие, слава Богу, тогда пойдем работать; не найдет, тогда трудно будет выносить на своих плечах, но зато тогда будет больше забот и работ, следовательно, твой старый Чижев меньше будет спать и не разжиреет. Теперь это дело так меня охватило всего, что я наяву и во сне только его и вижу, только о нем и думаю. Не было печали, да черти накачали.

Не знаю, помнишь ли ты некоего в твоё время московского профессорства молоденького горбатого студента Леонтьева, который после был сам профессором Моск[овского] универ[ситета] и соредактором Каткова как по газете, так и по журналу — «Русскому Вестнику». Это была не то что правая рука Каткова, а его *fac totum*<sup>\*</sup>, человек не усыпающей работящности, он вместе с Катковым основал в Москве лицей на самых безуступчиво строгих основах классицизма. Недавно он умер<sup>1664</sup>, так что Катков совершенно осиротел в газете и в лицее. Я с ним никогда не сходил ни в принципах, ни в подробностях его деятельности, но все-таки должен сказать, что с грустью проводил гроб его, — это была сила. Человек, создавший себе значение сам собою, шедший постоянно путем труда, давший значение газете, положим весьма не сочувственной, — это не умаляет достоинства его силы. Со страшною волею, не уступавшею никакой трудности. Для меня это выше всего, особенно у нас, где именно чувствуется сильнейший недостаток силы воли.

Просил бы я тебя не откладывать писать ко мне, потому что я в первых числах или уже, в крайнем случае, в первой половине мая отправлюсь в Виши. Желудок

\* Дословно: «Сделай все» — *лат.*

сильно плох, да и моча по временам упрямится, авось либо Виши снова освежит меня. Если могу взять отпуск от дел более чем на шесть недель, то посету тебя, если нет, то, увы! опять надобно будет отложить наше свидание.

Твой Чижов.

№ 206. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

6 мая н[ового] ст[иля] 1875

Опять собачонка принесла твое письмо, но на этот раз она застала меня не у камина, а за столом с микроскопом, где я рассматривал круговращение растительного сока (sève) в стволе *Anacharis*\*. Это водяное растение прекуриозный эмигрант. Оно как-то случайно переселилось сюда из Канады лет 25 назад, а теперь так расплодилось, что с трудом могут очистить от него реки и каналы. Вот тебе нечто взамен твоих мурманско-архангельских или архангельско-мурманских сведений. Для того чтобы я мог следить за твоими географическими подвигами, ты должен прислать мне хорошую карту России, разумеется, генеральную<sup>1665</sup>, хоть я и не генерал. Кстати, видел ли ты в Петербурге генерала Никитенко<sup>1666</sup>?

Ты престранный человек: хочешь лечиться, а скупись на время. Тебе не 6 недель, а три месяца следовало бы провести за границею. Надеюсь, что французский доктор в Виши подрежет тебе крылья и умерит немножко твою прыть.

О смерти Леонтьева известили нас здешние газеты. Ведь он с Катковым был европейскою известностью. В старые годы «Моск[овские] Вед[омости]» считались важнейшим авторитетом в русской печати. Теперь как-то больше ссылаются на «Голос». Правда ли, что панславизм снова возрождается как феникс из пепла<sup>1667</sup>? Видишь, что я недаром начал писать славянскими буквами. *Czuję ptaszek wiosnę*\*\*.

В записках моих есть важный пропуск, который теперь спешу пополнить.

Когда я был в Цюрихе в крайней нужде, я решился продать душу свою дьяволу и дать расписку собственной кровью. Ей Богу, я не шутя это говорю: я призывал его с теплою верою и твердым упованием, но, увы! несмотря на все мои призывы, он не явился, и я должен был заложить у жида мой петербургский плащ. С тех пор я перестал в него верить. Этакий он негодящий! Именно когда в нем крайняя нужда — он не является. А ведь ему представлялась славная оказия заявить о своем могуществе, и все ж таки моя душа как члена профессорского института чего-нибудь да стоила. Нет! это просто бабьи сказки: черт не так силен, как его малюют.

Однако ж и теперь иногда мне приходит на ум: как бы я желал быть доктором Фаустом<sup>1668</sup>! Продав бы душу свою дьяволу и вдруг сделался бы молодцом — этак парнем лет 25-ти — бросил бы все пыльные книги в огонь и пустился бы странствовать по свету — вечно под открытым небом, на вольном воздухе, среди великолепных зрелищ природы и искусства, и вместо душной комнаты мне пришлось бы умереть где-нибудь на вершинах Альп, или Шимборазо, или Деванагори<sup>1669</sup>. А, впрочем, как знать? *Chi lo sa? Quien lo sabe*\*\*\*? Все возможно. Драма жизни еще не

\* Элодея, или анахарис — растение семейства лягушниковых (Hydrocharideae).

\*\* Чувствует птичка весну — польск.

\*\*\* Кто знает? — ит. Кто знает? — исп.

кончена. Пятое действие только что началось. Какая будет развязка, никто не знает: может быть, оно кончится каким-нибудь неожиданным *coup de théâtre*\* — к крайнему изумлению зрителей. Как знать? *Chi lo sa? Quien lo sabe?* Может быть, я вдруг сделаюсь миллионером, азиатским принцем, странствующим жидом, все это никак не выходит из пределов возможности.

Легкое подняв ветрило,  
В углу челноке один  
Я плыву, о, друг мой милый,  
Вдоль таинственных пучин.  
Волны плещут предо мною,  
Солнце над головой блестит,  
И, качаемый волною,  
Быстро мой челнок летит.  
В отуманенное море  
Бросил я свою ладью;  
На приволье, на просторе  
Беззаботно я пою<sup>1670</sup>.  
*Eh! Vague ma nacelle!*  
*O doux zéphyr! sois moi fidèle*  
*Espérance!*  
*Confiance!*  
*Le refrain*  
*Du pèlerin!*\*\*

После этого я уверен, что ты тотчас отправишь меня в желтый дом (если он еще существует) и оттуда ты получишь от меня при первой оказии имеющее за сим последовать письмо.

Твой В. Печерин.

### № 207. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Виши

6 июня 1875

Вот уже третий день как я в Виши, третий день собирался писать к тебе и третий день откладываю. Не понимаю, какая скверная муха меня укусила. Действие ли вод, усталость ли от дороги или та скверная болезнь, от которой нет на земле излечения, — старость, что бы то ни было, не берусь решать. Только мне все что-то скверно, не то простуда, не то что другое. Сонливость страшная, вчера мне мешал дождь, сегодня мешает жар, и я все спал бы, все лежал бы.

Письмо твое опять пришло ко мне в Москву, в то время как я поехал на два дни в Петербург, возвратился, пробыл три дни в Москве и снова пустился в путь. Заехал

\* Неожиданная развязка — *фр.*

\*\* О, плыви по воле волн, мой челн!  
О нежный зефир! Будь мне верен!  
Надежда!  
Вера!  
Припев странника! — *фр.*



я в Малороссии к одному приятелю больному на два дни, потом ночевал в Киеве и то единственно потому, что поезд отходил за границу утром, а я приехал вечером. Остановился отдохнуть сутки в Праге и потом чрез Нюремберг в Париж, где пробыл два дни с половиною. Виши был моей обетованною землею, но и тут не нашел обетования, все что-то неможется, все нездоровится. Да, брат, как ни храбрись, а эта проклятая старость дает о себе знать очень вразумительно.

Ты все толкуешь о долголетию, да что в нем в этом глупом долголетию, если придется жить сотою долею человека: потеряешь слух, потеряешь зрение, память, будешь относиться ко всему самым мертвым образом, черт ли тогда в такой долговечной жизни?

Я пишу тебе в казино, подле в большой зале играет оркестр, в другую сторону театр, не хочу идти ни слушать оркестр, ни глазеть на пошлость театра, хочу отвести душу в беседе с тобою. Думаешь ли ты, например, что мне пришлось много говорить о тебе в Париже? Небось тебе не икалось? Иду я в первый день моего приезда подле Palais Regale, смотрю, знакомое лицо — это Михайлов<sup>1671</sup>, наш университетский товарищ. Мы обнялись по-товарищески и пустились в воспоминания, — что старикам делать, как не стараться ожить в воспоминании? Тут и тебе пришел черед появиться на сцену — Михайлов тебе кланяется, если ты его помнишь.

Было время, когда в минуту скуки сколько-нибудь оживит бабенка, теперь и то прошло, и хорошенькая женщина перестала иметь значение. Как хочешь, а это просто гадко. Не знаю как ты, а я измала был поклонником женщин, но и это поклонение отслужило свое время. Ты о нем как-то всегда проходил молчанием, а если я когда-нибудь буду писать записки, то, вероятно, в них главное будет заблуждения сердца или, пожалуй, жизнь сердца.

Наконец преднамерение мое осуществилось, наше товарищество Архангельско-Мурманского пароходства приняло плоть и кровь, которые теперь соединятся воедино в Лондоне и сливаются пока в два парохода. В настоящую минуту и на это я смотрю как-то пасмурно.

Ну, брат, наконец, огромная книжица нот, именно оперы «Жизнь за Царя», прибыла в Париж, как мне о том пишут, и очень скоро я буду иметь невыразимое удовольствие послать ее к тебе просто в Дублин на твое имя. Наконец ты увидишь, что я давно горел желанием отправить ее к тебе, купил ее уже более году, но что хочешь, по пословице — ты за пирог, а черт поперек, все как-то она вырывалась из рук. Если вздумаешь откликнуться, то пиши поскорее Teod[ore] Tchijoff Vichy (en France) Grand Hôtel (Bonnet).

Твой Чижов.

Здесь я пробуду еще дней 16.

## № 208. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

13 июня н[ового] ст[иля] 1875

Твое письмо из Виши немножко потревожило или, лучше сказать, *покоробило* меня. Прошлого года ты приехал в Виши бодрым, свежим, веселым, а теперь у тебя какое-то уныние, и все тебе не по сердцу. Оно, может быть, от дороги; но во всяком случае это тебе первое предостережение, *premier avertissement*<sup>\*</sup>, от высшей

\* Первое предупреждение — фр.

администрации нашего организма, т[о] е[сть] что тебе надо немножко отдохнуть. Ты, может быть, скажешь: хорошо говорить это тебе, лентяю, у тебя нет никакой ответственности на руках. Нет! любезный друг! Я тебя очень хорошо понимаю и не без зависти смотрю на твою деятельность: ты посвятил всю жизнь и в некотором смысле пожертвовал жизнью для общего блага. Я говорю для *общего блага*, потому что никак не могу придумать, какой бы у тебя мог быть частный интерес в твоих предприятиях: ты одинок, без семейства, твои личные нужды очень ограничены, след[овательно] все, что ты приобретешь, пойдет просто на Россию, и ты будешь жить в памяти благодарного потомства. Все это прекрасно, но, однако ж, следовало бы так умудриться, чтобы и дело делать и вместе с тем сохранить здоровье и силы для той же деятельности. Эту трудную задачу как-то сумели разрешить великие государственные деятели в Англии, коих несокрушимое здоровье до самой поздней старости идет наравне с их неутомимой деятельностью. Но это уж как-то сбывается на проповедь, итак, довольно. Надеюсь, что перед отъездом из Виши ты сообщишь мне более утешительные известия о твоём здоровье.

Как мне приятно слышать, что есть еще люди, помнящие меня. Как мне не помнить Михайлова? Я очень хорошо его помню. Что он? где-нибудь на службе? или вольный казак? Сделай милость, если опять встретишься с ним, то, пожалуйста, поблагодари его за память обо мне, и если ему когда-нибудь вздумается посетить Англию, то попроси его завернуть сюда: ведь все туристы ездят смотреть Килларнские озера (Killarney lakes)<sup>1672</sup>.

У нас теперь приготовляются праздновать столетнюю годовщину рождения великого О'Коннеля, называемого *освободителем* (liberator) Ирландии. На этот случай приедет сюда лондонский лорд-мэр во всем своем величии с его пресловутыми громогласными трубочками, от которых парижские зеваки были без ума. Ты не поверишь, до какой степени здесь сыплют деньгами вот на этикие церемонии: это празднество обойдется не менее 3000 ф[унтов] ст[ерлингов]. А когда дело коснется вещей нужных, полезных, как, напр[имер], перестроить мост, очистить реку, тогда они поют Лазаря и прибегают к английскому правительству с всепокорнейшею просьбою: помогите нам, ради Бога, мы бедные люди. А между тем сотни и тысячи фунтов бросают на разные патриотические и религиозные заявления, процессы, обеды и т[ому] п[одобное].

У нас теперь есть официальное доказательство — циркуляр министра внутренних дел — что социализм в России принимает угрожающие размеры и что даже высшие классы им заражены<sup>1673</sup>. Правда ли это? Очень странно! Но, впрочем, Россия молода и ее желудок все перемелет.

В сентябре будет ровно 10 лет с тех пор, как наша переписка возобновилась после моих стихов в «Москве». Как далеко-далеко это время! Тогда еще был какой-то жар юности, были надежды, мечты, а теперь все угасло и остается сказать с Данте:

Lasciate ogni speranza, voi ch'èntrale\*.

Остается одна надежда, что, может быть, со временем мои записки будут напечатаны хоть, напр[имер], в «Русском Архиве» между прочею старою рухлядью.

Ты упоминаешь о женщинах и заблуждениях сердца: при этом случае я тебе припомню стихи Вольтера:

\* Оставьте всякую надежду вы, входящие сюда — *ит.* Данте. Божественная комедия. Ад. III. 9.

“Si vous voulez que j’aime encore,  
Rendez moi l’âge des amours:  
Au déclin de mes tristes jours  
Joignez si vous pouvez l’aurore”<sup>\*</sup>.

Заблаговременно благодарю за «Жизнь за Царя» (которой еще не получил). Я буду иметь удовольствие в первый раз слышать эту оперу, разыгранную искусными перстами г[оспо]жи Аткинсон.

С нетерпеливым ожиданием твоего письма остаюсь

Твой В. Печерин.

### № 209. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Vichy, Grand Hôtel (Bonnet).

16 июня 1875

Вчера вечером получил от тебя письмо и отвечаю не откладывая. Да, что-то здоровье не так свежо, как было прошедшего года, и советы, брат, твои не в пору. Ты нам указываешь на англичан; мой милый Печерин, иное дело работать англичанину, иное нам. Англичанин работает, как челн по воде плывет: плывет по течению, его вода несет, веслом не шевельнет, только сидит да правит. Наш брат работает, как челн против воды плывет: из всех сил веслами взмахивает, кажется, вот уплыл далеко, а остановился, сел отдохнуть, глядь, едва ли не на половину водою вниз снесло. В Англии все работает, все друг другу помогает; у нас доброму работнику ленивый не перечит. Ты совершенно прав, говоря, что частного интереса у меня быть не может, я живу весьма и весьма умеренно и не могу позволить себе жить разгульнее, потому что не могу привыкнуть считать добываемое мною моею собственностью. Всем я обязан стране, все получил от нее, все должен и отдать ей с лихвою. Это сделалось у меня предметом помешательства. Затеял я, например, Товарищество Срочного Архангельско-Мурманского пароходства, все до копейки выгрел, вошел в долги, хотя и небольшие, и отдал 126 тысяч рублей серебром, а искренно говорю тебе, что сознаю и вполне сознаю сильную сомнительность выгод. Но я так поставлен, что другому трудно начать такое трудное дело; по трудности его и по ненадежности выгод и сочувствия к нему мало. Капиталисты с трудом вытаскивают из кошны деньги; правительство тогда помогает, когда видит, что предприниматели верят выгодам дела, а как показать эту веру? Только одним — вложить в него значительный капитал. Меня все считают миллионером именно потому, что задумавши предприятие, я действую решительно как сумасшедший. Никто не поверит, чтоб я отдавал все до последней копейки, да еще и признал. Вот и дело пошло. Независим я не тем, что много имею, а тем, что могу жить весьма немногим. Исповедуясь искренно, думаю, что много работает тут и самолюбие. Ему, как что ни говори, необходим выход: у меня оно не могло быть удовлетворено вялою деятельностью в науке, еще менее пошлым чиновническим толчением воды; мне непременно давай живую работу ума, давай тревоги, заботы, волнения, иначе мне и жизнь не в жизнь, а тихая жизнь?..

<sup>\*</sup> «Если вы хотите, чтобы я любил еще,  
Верните мне возраст любви:  
На закате моих печальных дней  
Соедините, если можете, с зарей» — фр.

Таких две жизни за одну,  
Но только полную тревог,  
Я променял бы, если б мог<sup>1674</sup>.

Вот тебе разгадка моей сумасшедшей деятельности. Пожалуй, я дам тебе еще физиологическое объяснение: когда мать моя была на сносе, именно когда мне предстояло родиться, она доканчивала чулок и непременно хотела кончить до родов и сильно торопилась. А женщина она была живая, полная деятельности. Вот от того и тороплюсь я целую жизнь, и суждено мне все торопиться, чтобы кончить и никогда не оканчивать. Как только дело, начатое мною, принимает правильный ход, так что оно в состоянии уже идти без меня, мне оно начинает постылеть, давай другое. Поэтому я считаю себя фонарщиком: мое дело зажечь фонарь и потом только наблюдать, чтобы не потух от какой-нибудь случайности. Ты не можешь себе представить, как я теперь внутренне занят: начались у меня сношения с поволжскими городами, чтоб давали нам поручение возить муку в Архангельск; нам, т[о] е[сть] нашему срочному товариществу. Мы уплатили за провоз по Вологодской железной дороге<sup>1675</sup>, идущей от Волги при Ярославле до Вологды; уплатили за провоз по Северной Двине и развезем ее в Норвегию, Швецию и Шотландию. Думаю, что это сбудется. Из Англии мы захватим соль, снасти, многое нужное нашим поморянам и таким образом оживим Мурманский берег. На нем наберем рыбы, может быть китового жиру, моржового и акульего, накупим всего, что там найдем, не побрезгуем даже морошкой и привезем все во внутренние наши губернии. Это вначале. Едва только пойдет дело, у меня в голове строится уже план Северного банка в Коле<sup>1676</sup>, где 6 месяцев солнце не заходит, где в это время бывает а *sleepless day*\*, как говорит Байрон в «Шильонском узнике»<sup>1677</sup>, такого банка, чтобы вырвать несчастных поморов из рук кулаков, которым они платят работою и рыбою иногда по 50%, а иногда и по 75%. Банк будет давать, брав с них по 1% в месяц, — в других местах проценты страшные, а там чисто благодеяние. Мысль перелетает с Волги на Ледовитый океан, именно на Рыбачий полуостров, что вблизи норвежской границы, на тот полуостров, где у нас начинается фактория в Ципь-Наволоке<sup>1678</sup>, пока еще становище, но которое, я надеюсь, если Бог грехам потерпит, превратится в городок. Заглядывает эта неугомонная мысль и на Новую Землю. Забегает она и в Кандалашскую губу<sup>1679</sup>, где есть запасы гуано, и такого же гуано ждет от сушки вываренного китового мяса. Это гуано та же мысль на лету несет в наши бесплодные северные губернии, рассыпает его по полям и лугам, собирает обильные жатвы хлеба и покосы на лугах, усиливает там скотоводство, и это гуано и эти травы везет в Москву и Петербург в виде масла и сыров. Скажи, ради Бога, неужели не звучит тебе все это стройным стихом полного вдохновения? И что в ней в жизни, если эта жизнь пробавляется скучною, однообразною, вялою прозою ежедневности? Не знаю как кому, а мне ее не надобно. В настоящую минуту в Англии два парохода обдeldываются для моего товарищества, и 1 июля нашего стиля, а если можно и раньше, они должны обогнуть Шпицберген<sup>1680</sup> и прислать мне депешу. Авось либо на будущий год я явлюсь к тебе и пушусь в Шотландию учиться солить сельдей. Проклятая эта Шотландия, не дает мне она покоя еще одним, это своим *джином*. Ведь и у нас на бесплодном Севере бездна можжевелинику или, если хочешь иначе назвать его, — вереску, отчего же мы

\* День без сна — *англ.*; здесь: полярный день.

не можем делать из него джину? Но это еще впереди, — *sed motos praesiat componere fluctos\**, — нужно еще успокоить волны начатого предприятия. У вас в Англии задумал новое дело, и капитал идет поневоле — он, лежа на боку, не дает в средней цифре более 3 или 3 ½% — а у нас он, подлец, может, оставаясь лежебокою, давать 6%. Вот тебе и противное течение. У Вас в Англии тысячи рук являются на подмогу, потому что предприятие само по себе, не обозначая, какое именно, то есть предприимчивость, есть то же для англичан, что вода для рыбы, воздух для птицы, подлость для немца, легкость для француза и так далее. У нас человеку нужен труд и материально и нравственно, он об этом толкует многие годы, хоть, например, нашему товарищу Владимиру Михайлову, человеку умному, владеющему пером, многоязычному, одним словом, идущему не с старческим батоном, а идущему в броне и во всеоружии; но прежде чем приняться за труд, ему еще нужно 584, 964, 600 раз призадуматься над предполагаемыми им препятствиями труду: да успеет ли он окончить? да кто возьмет его труд? да как он узнает о спросе на труд? да будет ли добросовестно приниматься за не вполне знакомое дело? да не подумать ли еще годков с пятюк? Гласит же латинская поговорка: *bis ad limam semel ad linguam\*\**. Ну, брат, будет с тебя, пора дать кусочек и Михайлову, его строки тебя порадуют, если он соберется написать к тебе сегодня.

«Жизнь за Царя» придется тебе из Парижа, она уже там, а хотелось бы потом послать тебе кое-какие книги. Обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижев.

Здесь я пробуду до 25 июня, знай и пиши.

Ваш отголосок с того берега, бесценный Владимир Сергеевич, несказанно меня обрадовал! Я в сию минуту в Виши, и мог ли не прискакать туда из Парижа, где случайно встретил Фед[ора] Васильевича, который и привлек меня как солнце малейший астероид. Сейчас прочел он мне вышеписанные им обо мне строки. Умно, сильно, энергично, как и все, что он творит; а все-таки я протестую. Только для изложения доводов протеста не хватит места. Но Вы, называющий себя «лентяем», поймете без дальних слов, что люди бывают Деятели или Лентяи не в силу своей воли и выбора. Вас помню не только я, но и все Ваши товарищи, все «молодцы, сходящиеся за синим морем в феврале»<sup>1681</sup>, — так постоянно и живо помним (сужу по крайней мере по себе), как будто мы еще вчера сидели на университетских скамьях. Как завидую я Федору Васильевичу, что он уже не раз бывал у Вас и, надеюсь, еще не раз будет. С величайшею охотою поехал бы тоже в Ирландию не для Килларнских озер, а собственно и единственно, чтобы видеть Вас и вспомнить старые годы.

Вы спрашиваете, на службе ли я или вольный казак. Я — отставной чиновник, вышедший в отставку по болезни и живущий пенсией от казны: вот какое мизерное существо! Но на 64-м году жизни я чувствую, люблю и мыслю также горячо и живо, как в молодости; вот маленькая компенсация, и это мирит меня с жизнью и с самим собою. Пользы я решительно не принес никакой и об этом, конечно, сожалею; но и не навредил никому, чем отчасти и утешаюсь; за сим вот уже 5 лет почти как выехал из России (здоровье жены и мое собств[енное] того требовало) и проживаю то в Бадене, то в Париже, тихо, приятно, но праздно, чем и тягочусь отчасти. Есть у меня

\* И еще предстоит успокоить поднятые волны — *лат.* Вергилий, «Энеида».

\*\* Дословно: «Дважды к отделке, один раз к языку». Здесь: «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — *лат.*

большая радость в жизни — отличный сын 32-х л[ет], уже женатый; он присяжный поверенный<sup>1682</sup> в Петербурге; есть и большое горе — потеря другого сына (26 лет), умершего в Петербурге в 1871 г[оду]. Вот Вам краткая моя биография; по доброму Вашему участию она м[ожет] б[ыть] ненеуместна. Сказать, как я польщен Вашей памятью обо мне, как дорожу ею — право, не в состоянии! На летние месяцы поеду теперь в S[ain]t Aubin (Calvados)<sup>1683</sup> к морю и там буду часто думать о Вас, смотря к стороне Англии. Авось-то (если будут деньги) и приеду.

Влад[имир] Михайлов.

## № 210. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
21 июня 1875

Ну, уж брат, как ты меня одолжил! Давно уж я не получал такого письма. Это точно как сивка-бурка: конь бежит, земля дрожит, пламя пышет от копыт. Твое письмо пышет огнем жизни, кипит неукротимую энергиею твоего бытия; ты как сказочный богатырь напился живой воды и вдруг стал опять молодцом. Но признаюсь, от твоих проектов и планов у меня дух захватывает. Как подумаешь о банке в *Коле!!!* то так и голова пойдет кругом. Господи Царю небесный! Должно быть, скоро будет светопреставление, когда уже в Коле заводятся банки. Все, что ты говоришь об Англии и о характере англичан, очень метко и справедливо, и за это я тебе очень благодарен. Но самый неожиданно-преlestный сюрприз, это приписка Михайлова. Одинокому человеку, живущему как я в совершенном уединении, немудрено уноситься мыслию в давно прошедшие времена, но когда женатый человек и с семейством сохранил такую свежую память о старых товарищах, то это как-то неописано мило и показывает богатую теплоту русского сердца. Он даже припомнил заветный стих:

За синим за морем в далекой земле  
Сошлись молодцы пировать в феврале.

Этот стих многое обещал и ничего не исполнил.

Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана,  
Что изменяли ей всечасно,  
Что обманула нас она.

Жить в памяти старых друзей — вот бессмертие, коим я горжусь. Эта приписка наваяла на меня какую-то сладкую грусть, то же грустное чувство, с каким, стоя на берегу, мы смотрим на широкое отуманенное море, с каким с *другого берега* мы смотрим на темный океан невозвратного недоступного прошедшего.

Ты очень кстати упомянул о чулке твоей матери. Этот чулок — символ нашей общей судьбы. Все зависит от того, как и при какой обстановке образовалась первая ячейка нашего бытия, как потом прильнули к ней новые атомы, молекулы, ячейки и как из всего этого вышел человек — Чижов или Печерин. На высокопарном религиозно-поэтическом языке это называется провидением, судьбою, фатализмом, а мы скромно реальным языком истины назовем это *необходимым сцеплением*

атомов. Оно так необходимо, что понятие о воле человека *liberum arbitrium*\* кажется чем-то детским. Хитри, виляй сколько хочешь, лезь из кожи вон, а все ж таки ты не сделаешь из Печерина Чижова, ни из Чижова Печерина. Чулок матери все решил с самого начала, а *grępsię*\*\* — каков в колыбельку, таков и в могилку.

У нас теперь есть в больнице русско-польский жид. Он был унтер-офицером в Семеновском полку<sup>1684</sup>, потом писарем в конторе Одесской железной дороги, потом примкнул к польским повстанцам в 1863, но тогда это ему как-то с рук сошло. Было опять какое-то восстание в 1868 — тут ему пришлось бежать, и он кое-как пробавлялся здесь ремеслом разносчика. А теперь он, бедняга, в чахотке, его от нас переводят в больницу неизлечимых (*Incurables*). У него удивительная любовь к родине. «Если я на сколько-нибудь выздоровею, то непременно ворочусь в Польшу, пусть меня расстреляют, лучше уж умереть на родине». Он отлично пишет по-русски.

Уж чего мы не перечитали с Аткинсоном. Теперь читаем малороссийские сказки, собранные Рудченком<sup>1685</sup>. Это так мне напоминает первые годы детства, когда я, бывало, гостил у бабушки Марфы Семеновны в Кобыще Козелецкого повета.

Но довольно. Спешу отправить письмо, чтобы оно застало тебя в Виши.

Твой В. Печерин.

### № 211. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Царское Село  
23 июля [1875]

Ну, брат Печерин, частью виноват перед тобою, не писал долго, но виноват не совсем. Как-то Виши подействовали на меня в нынешнем году не совсем хорошо. После того как я оттуда выехал, мочеиспускание пошло как-то хуже. Приезжаю в Москву, чувствую себя превосходно. Тут бездна дела. Всякий день собирался к тебе писать, и всякий день все не было ни минутки свободной. Если хочешь, были и часы, но так утомишься, так не хочется приняться за перо, что никак себя не принудишь. Так и прошло время с 3 июля, когда я приехал в Москву, до 18, когда я выехал в Царское Село. Выехал я по двум причинам. Во-первых, должен был навестить больного приятеля Галагана, который лечится у того же доктора, у которого я лечился, то есть который разбивал у меня камень. Во-вторых, с неделю как начались у меня опять боли в мочевом пузыре. В воскресенье 20 июля он мне сделал исследования тем инструментом, которым разбивают камень, на случай если попадетсЯ камешек, то и разбить бы его. Оттого ли, что я уже три года не впускал этого инструмента, или от временного раздражения, только я не мог вытерпеть — инструмент не вошел в пузырь, и я страшно страдал. Вчера доктор Эберман попробовал исследовать катетером; кажется, что камешка нет, есть только песочек, но опять боли были довольно сильные. Вот тебе и рассказ от демьяновых проказ, от сивка, от бурка, от вещего коурка<sup>1686</sup>.

Веришь ли ты, что вот уже другой год собираюсь приводить первую половину твоих писем до католичества, чтоб их напечатать. Разумеется, нужно сделать предисловие, и я не могу найти времени, чтоб что-нибудь сделать. Не сердись, пожалуйста, непременно исполню, но до сих пор решительно был не в силах. Бесит меня

\* Свобода выбора, свобода воли — *лат.*

\*\* Сначала — *лат.*

самого такой недостаток силы воли, да что же делать? Теперь пишу тебе и между тем в мочеиспускательном канале чувствую сильное щекотание пренеприятное.

Ты я полагаю давно уже получил оперу «Жизнь за Царя», потому что она давно уже отправлена к тебе из Парижа. Дай только поправиться, начну тебе тоже чрез Париж посылать новые книги, пожалуй, и не совсем новые, но чем-нибудь замечательные. Хочу послать «В лесах» рассказ Мельникова, пишущего под псевдонимом Печерского, тут очень замечательное большое изучение старообрядцев. Потом «Соборяне» Лескова<sup>1687</sup>, так себе, но приятно читать, он хорошо передал быстрый переход от нашего патриархального быта к социальным идеям нашего взбалмошного юношества. Теперь все немного поулеглось, зато эти представители социальных сект пустились в гражданскую и политическую область и там устраивают [нрзб] пустоты образования. Грустно, брат, все это. Обнимаю тебя. Пиши по всегдашнему адресу в Москву в Правление Московско-Ярославской железной дороги. Обнимаю тебя.

Твой Ф. Чижов.

Не удивляйся двум крюкам на конверте; я живу у Галагана — это его монограмма Григорий Галаган. Пишу скверно оттого, что сильно больно в стволе.

В июльской книжке «Русской Старины» помещено твое «Стихотворение Печорина»:

«Прочь, о, демон лучезарный,  
Демон счастья и любви!»

И так далее. Последние строки:

«Взгляд прощальный бросив миру,  
Заживо себя отпел»<sup>1688</sup>.

Оно сообщено Н. С. Тихонравовым<sup>1689</sup> и пред ним такое предисловие: «Печорин, ныне миссионер и брат ордена Иисуса, был профессором греческой словесности в Московском университете. Подлинник помещаемого здесь его стихотворения принадлежит профессору Н. С. Тихонравову, которым и сообщена с него копия». Ред[акция].

Если хочешь, то можно будет поместить опровержение неверностей, я это могу сделать от моего имени.

## № 212. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
14 авг[уста] 1875

Жаль мне тебя, мой бедный Чижов! Не удивляюсь, что ты так долго не писал частью от твоих вечных хлопот, а может быть больше от болезни. Да умудрит Господь Бог твоего доктора Эбермана, чтобы он как-нибудь облегчил твои страдания. После твоего отъезда из Виши совершилось целое событие: Михайлов поселился на время в Виши, начал переписку со мною и прислал мне свой перевод «Германии»<sup>1690</sup>, где, по моему мнению, он удачно схватил дух и манеру Гейне. Видно уж так мне на роду написано, это какое-то неизбежное предопределение судьбы, что мне должно быть в сношении с русскими литераторами до конца века. Вот этак Бог даст, и я сам вслед за этими господами доплетусь как-нибудь до храма бессмертия. У златых врат этого храма часовой остано-



вит меня и спросит: «Кто вы такой? откуда вы? есть у вас вид?» — Нет, батюшка, нет, но я, так сказать, относительно говоря, был коротко знаком с Чижовым, с Михайловым, с Никитенко, даже с Герценом немножко, так сделайте милость, нельзя как-нибудь? — «Экой чудак, — скажет часовой, — ну уж так и быть, ступайте! Повысь шлагбаум!»

А теперь вижу из твоего письма, что меня уже постигла участь великих людей, коим часто приписывали такие сочинения, каких они никогда не писали. Клянусь Богом, никак не могу припомнить, чтобы я когда-либо написал что-нибудь вроде стихотворения, напечатанного в «Русской Старине». Кто такой профессор Тихонравов и как моя рукопись могла попасть в его руки? Это загадка. Нельзя ли прислать мне эту книжку? Как же писать опровержение, не выдавши самой пьесы? Это было бы против всех правил судопроизводства. Но впрочем, это пришлось теперь очень кстати. Когда ты напечатаешь мои записки, и если наши езуиты найдут что-нибудь не так, то я тотчас сошлюсь на это стихотворение и скажу, что мало ли чего не печатают в России под моим именем, нельзя же мне за все это отвечать. Да это и не первый раз. В 1861 Герцен напечатал:

«За синим за морем в далекой земле»

под заглавием: «Торжество смерти» совсем без моего ведома, так что я узнал об этом только через два года после. Когда при свидании со мною в 53 г[оду] Герцен упомянул об этой пьесе, то я до такой степени об ней позабыл, что даже не мог понять, о чем он говорил<sup>1691</sup>. Да кроме того мне никогда и в голову не приходило, чтобы она когда-либо удостоилась печати. У Мольера есть “*Médecin malgré lui*”<sup>\*</sup>, обо мне можно сказать, что я *écrivain malgré lui*<sup>\*\*</sup>. Меня непременно хотят вывести в люди. А что еще будет после смерти?

Ветхое, ничтожное,  
Слабое и ложное  
Пред тобой падет.  
Вольное, младое,  
Творчески живое  
Смертью расцветет<sup>1692</sup>.

Тогда я превращусь в легенду, сделаюсь баснословным лицом и может быть, наконец, попаду в народную сказку, что может быть этого лучше? Это верх блаженства. Это — самый утонченный цвет бессмертия. *C'est la fine fleur de l'immortalité*<sup>\*\*\*</sup>. Одно только досадно, что они меня причисляют к ордену Иисуса. Я к этому ордену никогда не принадлежал, да и самого Иисуса знаю только по слуху. Помнишь эпиграфю *Аретино*<sup>1693</sup>?

Qui giace Aretino poeta toscano,  
Che disse mal d'ognum fuorche di Christo,  
Scusandosi col dir: non lo conosco!<sup>\*\*\*\*</sup>

\* «Лекарь поневоле» — *фр.*, название комедии Ж. Б. Мольера.

\*\* Писатель поневоле — *фр.*

\*\*\* Это изысканный цвет бессмертия — *фр.*

\*\*\*\* Здесь лежит Аретино, поэт тосканский,  
Который говорил плохо обо всех, кроме Христа,  
Извиняясь, со словами: «Я его не знаю» — *ит.*

А о себе скажу, что у меня теперь кроме физических инструментов и химических снарядов еще завелась огромная ньюфаундлендская собака черная как смоль с белым пятном на груди и с кудрявым хвостом. Это одна из добродетелей, наследованных мною от моего деда Симоновского: он каждый день сам своеручно кормил всех своих собак, приговаривая — *Блажен человек милуяй скот свой*<sup>1694</sup>.

«Жизнь за Царя» получена исправно и даже В. Поленов<sup>1695</sup> писал ко мне по этому случаю. Кем он приходится нашему петербургскому Поленову?

Надеюсь, что твое здоровье поправится, и ты скоро опять ко мне напишешь.

Твой В. Печерин.

### № 213. Ф. В. Чижев — В. С. Печерину

Москва

10 авг[уста] 1875

Сию минуту получил твое письмо, и так как я теперь кроме железнодорожных правлений решительно никуда не выезжаю, то и имею время ответить тебе безотлагательно. Прежде всего, скажу, что я теперь истязаем с утра до вечера. С утра начинает меня душить, так что едва могу дышать, что не весьма приятно. Потом часам к 8 я ставлю свечку, потому что *prostata* у меня опухла и оттого моча идет плохо. Днем или пью Виши, или принимаю порошок с целью уничтожить красенький песочек в моче; иногда, раза два в неделю, вставляю катетер в мочеиспускательный канал, потому что моча сама по себе идет медленно, да и для того, чтоб избавить канал от излишней раздражительности. Как видишь, плата за жизнь довольно дорогая, а поверь на слово: за эту жизнь я не дал бы и выеденного яйца. Благодаря Богу, она не успела заставить полюбить себя в течение 65 лет моего существования. Довольно о пошлости старческих недугов.

Что ты действительно писал стихи, помещенные Тихонравовым в «Русской Старине», это я знаю наверное, потому что их помню; но когда? к кому? каким образом попались они Тихонравову? Всего этого не ведаю. Вот тебе все стихи:

«Прочь, о, демон лучезарный,  
Демон счастья и любви!  
Искуситель мир коварный!  
Вспять страдальца не зови!

Хитрая сирена младость,  
Давних песен мне не пой,  
Кровных уз святая сладость,  
Мне не внятен голос твой!

За небесные мечтанья  
Я земную жизнь отдал,  
И тяжелый крест изгнанья  
Добровольно я подъял.

Под венком моим терновым  
В поте бледного лица  
Подвиг трудный и суровый  
Совершу я до конца.

И как жертву примиренья  
Я принести себя готов  
На алтарь твой всесожженья  
О, превечная любовь!

Жизни бурной треволенья  
Претерпев, о мой челнок!  
В пристани уединенья  
Приютися одинок.

Слышь! от всех концов вселенной  
Голос тайный вопиет:  
«Все земное — прах! все тленно!  
Все как дым, как тень пройдет!»

Этот вопль, повсюду слышный,  
К нам из рода в род гремит;  
Соломон в чертогах пышных  
«Суета сует!» — гласит.

Карл, властитель величавый,  
Блеском царского венца  
Утомлен, от шума славы  
Скрылся в келье чернеца.

Тяжкую сложив порфиру,  
Саван смерти он надел;  
Взгляд прощальный бросив миру,  
Заживо себя отпел».

Сообщ[ил] *Н. С. Тихонравов*.

О Тихонравове знаю только то, что он профессор; но quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando\* решительно ответить тебе не могу. Наконец дождался ты «Жизни за Царя», и я очень рад, потому что эта книжица куплена мною давным-давно. Поленов, приславший тебе ее, наш русский художник, сын нашего Дмитрия Васильевича Поленова. Другой его сын был послан мною на Мурманский берег и скоро будет ко мне с полным донесением как о берегах Ледовитого океана, так и о плавании двух пароходов моего Товарищества<sup>1696</sup>. Пожалуйста, если тебя не будет пускать страж в храм бессмертья, ты меня не называй между литераторами, — тебя примут за мошенника и отшлепают по мягким частям, особенно в литературном отделе. Как, брат, ты хочешь, а ты очень снисходительно судишь о переводе Михайлова. По мне стих исковеркан искусственною перестановкою слов, острота оригинала притуплена терпугом<sup>1697</sup> перевода, легкость уничтожена — чем все это заменено? Этого отыскать не мог.

Меня только потому не оскорбляет твое опасение, чтоб я не напечатал в твоей автобиографии чего-нибудь не нравящегося иезуитам, только потому, что я знаю тебя как страшнейшего антипрактика, иначе оно могло бы меня обидеть. Вот дело другое, если бы твои письма печатал Михайлов — ну этот поспорит с тобою в антипрактичности.

---

\* Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким образом? Когда? — *лат.*

Я пишу к тебе, а мысль все убегает в сторону; сегодня недалеко от меня выносят тело некоего молодого человека Рукавишникова<sup>1698</sup>, который после выхода из университета посвятил всего себя устроенному им приюту детей или отроков-преступников. Отец его человек богатый; он сам получает от отца довольно; красивый собою; и несмотря ни на свое состояние, ни на возможность успехов в свете, он решительно весь с головою принадлежал своему приюту. Мне так его жалко, что и сказать тебе не умею. На что, например, моя жизнь? Жизнь старикашки дряхлого, больного, потерявшего энергию, и почему бы лучше не лечь мне в гроб, а ему бы жить да жить и красоваться жизнью, в которой, кажется, все минуты были сочтены благодеяниями для бедных, всеми забытых. Грустно так, что просто готов плакать.

Обнимаю тебя, твой Ф. Чижов.

Как я рад, что у тебя есть собака; не стащил ли ты ее у кого-нибудь?

### № 214. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

4 сент[ября] н[ового] ст[иля] 1875

Прошу тебя от имени моего поздравить издателя «Русской Старины» с изобретательным гением г[осподина] Тихонравова. Признаюсь, я не без зависти прочел это стихотворение: мне очень бы хотелось быть его сочинителем или, как говорят, творцом. Но по совести не могу присвоить себе чужого добра. Автор отлично выполнил свою роль, но в одном только он дал промах, а именно в том, что он писал à rîgiô, т[о] е[сть] воображая себе какого-то идеального, романтического, средневекового монаха, каким я никогда не был. В этом отношении совесть моя чиста: подобных чисто религиозных излияний *о суете мира сего и о превечной любви* я никогда не писал. Но главное дело в том, — это исторический факт, — что во все время моего пребывания в монашеской келье у редемптористов, т[о] е[сть] до 1861 г[ода], я *ни одной строки* не писал по-русски, исключая редких писем к родным, и почти позабыл русский язык до такой степени, что когда в 59 г[оду] меня приглашали сказать русскую проповедь в Риме, я под этим благовидным предлогом удачно увернулся от этакой нелепости и не посрамил земли русския. А приглашала меня довольно важная особа — княгиня Витгенштейн. Ей ужасно хотелось “*écraser ces russes sous le poids de votre éloquence, mon Révérend Père*”\*. Вследствие моего отказа она, вероятно, сочла меня дурачком, чему я очень рад, потому что у меня никогда не было большой склонности *de plaire à ces dames*\*\* . Я снова сблизился с русским миром в 1862, когда я начал читать «Колокол» и вошел в сношения с Герценом, Огаревым и П. Долгоруковым. *Первое* стихотворение — после моей эмансипации в 1861 — было напечатано в газете «День» в сент[ябре] 1865, но это стихотворение дышит не монашеским самоотвержением, а напротив полнейшим разочарованием и даже безверием, как тогда же заметил в письме ко мне Гагарин. Из всего вышесказанного явствует, что ни физически, ни нравственно мне невозможно быть автором стихотворения, сообщенного «Русской Старине». Quod

\* Раздавить этих русских под тяжестью вашего красноречия, мой преподобный отец — *фр.*

\*\* Угодить этим дамам — *фр.*

demonstrandum erat\*. Вследствие чего я торжественно, решительно и окончательно отрекаюсь от стихов г[осподина] Тихонравова и от всех дел его.

«Прочь, о, демон лучезарный,  
Искуситель, стих коварный»<sup>1699</sup>.

Если это стихотворение будет напечатано в учебнике русской словесности, то следовало бы сделать оговорку, что это *подражание Печерину*, т[о] е[сть] нечто написанное в предполагаемом духе Печерина точно как пишут, напр[имер], подражание Горацию, о чем Гораций ни думал, ни гадал, а спросить его самого теперь невозможно, потому что он давно уже умер.

Следует еще заметить, что моя фамилия не Печорин, а Печерин.

Но что толковать об этих пустяках, когда ты не на шутку болен. Что это значит, что тебя что-то душит по утрам? Это совершенно новый признак, не имеющий никакой связи с мочевым пузырем. Это должно быть какое-нибудь расстройство дыхательных органов. Ей Богу! тебе следовало бы быть постоянно в руках хорошего доктора. Я вовсе не намерен философствовать с тобою, но все ж таки мне кажется, что надо жить пока живется, а на тебе и подавно лежит обязанность заботиться о сохранении твоей жизни, столь полезной для многих или, лучше сказать, для целого государства. Мне теперь даже совестно, что я обеспокоил тебя, давши рекомендательное письмо к тебе д[окто]ру Крузу, не знаю, был ли он у тебя. Он, вероятно, может дать мне понятие о состоянии твоего здоровья.

Собака моя, слава Богу, здорова, благодарит тебя за память и посылает тебе свой поклон. Ей кличка: *Nero*\*\* , без малейшего исторического намека на императора Нерона<sup>1700</sup>, а просто итальянское *nero*, т[о] е[сть] чернявка или Черняев.

Михайлов переселился в Женеву, а оттуда отправится на зиму в Баден-Баден. Его *переложение* Евангелия никуда не годится, и я это ему откровенно сказал.

У нас доселе стоит прекраснейшее лето, какого давно мы здесь не видали.

Твой В. Печерин.

## № 215. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

3 сент[ября] 1875

Ну, мой любезный, как тебя? Печерин или Печорин? Ну, хорошо, Печерин. Нет, брат, у тебя память плоха, а что стихи, помещенные Тихонравовым, действительно твои, я это очень хорошо знаю. Знаю их даже наизусть, и часто случалось мне в грустные минуты бессознательно повторять:

«Хитрая сирена младость  
Давних песен мне не пой».

Только не понимаю, как они попались Тихонравову, вероятно как-нибудь случайно от Никитенко или от Гебгардта. У меня, сколько мне помнится, их нет. Ты писал их опять, сколько мне помнится, пред вступлением твоим в монашество.

\* Что и требовалось доказать — *лат.* Этой формулой заканчивается каждое математическое рассуждение греческого математика Эвклида (III в. до н. э.).

\*\* Черный — *ит.*

Никакого Д[окто]ра Круза от тебя у меня не было, если только он не приезжал в то время, как я больной был в Царском Селе. Теперь благодаря ваннам и кое-каким каплям я поправился и даже начал чувствовать полноту физического благосостояния — признак старости, которая изволит наступать на меня весьма нагло, — только как-то дней пять при наступлении холодов разболелась нога, и я опять пролежал дни два и сижу дома даже и сегодня. Надобно тебе сказать, что я веду жизнь едва ли не анахоретнее\* тебя, кроме моих служебных, то есть общественных занятий. Утром в половине десятого я еду в Правление Ярославской дороги, где остаюсь до часу пополудни, иногда встречаюсь с десятком людей и вообще в беспрестанном занятии то бумажным, то в живых сношениях; случается и так, что сидишь как купец в лавке, когда у него нет покупателей, ничего не делаешь по пословице: дела не делай, от дела не бегай. В час я переезжаю в Правление Курской дороги и там остаюсь, смотря по требованию дела. Тут тоже бывает множество столкновений с людьми. Дома я никого не принимаю, исключая весьма немногих самых ближних людей. Все это время я брал по вечерам сидячие ванны с крейцнахскою солью и кажется благодаря им чувствую себя лучше.

Само собою разумеется, что надо жить пока живется, но должен тебе признаться, что весьма неприятно жить в разладе с самим собою. Не чувствую я старости внутри себя, что же мне делать? Беспрестанные предприятия внутри меня, — и если бы я имел миллионы, по всей вероятности я задолжал бы вдвое более никак не потому, чтобы я проживал более хотя одною тысячею рублей, а потому, что мое убеждение таково: сколько есть средств собственных и средств кредита необходимо всему давать жизнь в исполнение предприятий. На очень выгодные я не бросаюсь, для них являться аферисты, люди, любящие пожить и, следовательно, любящие деньги. Мне дайте дело, дайте задачи трудные. Мурманское дело, ну кто бы его предпринял? Не знаю, писал ли я тебе, что один наш пароход океанского плавания «Архангельск» сделал уже три рейса от Архангельска до Норвегии и обратно и каждый раз все приобретает более и более грузов. Другой небольшой пароход, но тоже морского плавания, «Онега», близ мыса Норд-Капа<sup>1701</sup> захватил гибнувший шведский пароход «Carls-Crone» и привел его в норвежскую гавань. Начало деятельности весьма приятное. Как всякое начинание, мое тоже встречает множество трудностей, недоброжелательства и ошибок; но испытанный в деле предприятий, я всем им радуюсь. Терпеть не могу, когда все идет как по маслу — такое начинание балует, обессиливает, то ли дело, когда все с препятствиями, да с остановками, да с неудачами, как-то крепнешь и здоровеешь как от свежего мороза. Михайлов добрый малый, но не закаленный нисколько, так себе.

**№ 216. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street

Dublin

27 сент[ября] н[ового] ст[илия] 1875

Quod si me lyricis vatibus incseres,  
Sublimi feriam sidera vertice.  
Horatius. Od. I'ad Maccenamem \*\*

\* От *греч.* anachoretas — отшельник, пустынный.

\*\* Если ж ты сопричнешь к мирным певцам меня,  
Я до звезд вознесу гордую голову (перевод А. Семенова-Тян-Шанского).  
Гораций, «Ода к Мекенату».

Перевод

Увенчанный тобою,  
О, Меценат — Чижов!  
Я гордою главою  
Коснуся облаков.

Против тебя я спорить не стану: чему быть, того не миновать. Пути Божии неисповедимы. Я нахожусь в положении рогатого мужа, которому навязывают детище, а он в подлинности оногo очень-очень сомневается. Но нечего делать, надо покориться необходимости, напрасно противу рожна прати. Но согласись, что после 20-летнего опыта монашеской жизни ужасно как забавно читать

«Под венком моим терновым  
В поте бледного лица»,

тогда как именно в эту минуту перед моим умственным взором носится образ настоящего реального монаха не в терновом венке и не с бледным челом, а, напротив, это толстый краснощекий мужчина с брюшком, он запивает котлетки бокалом шампанского и с полупьяными слезами на глазах приговаривает: “ah! que j’aime mon Jésus!”\* Клянусь Богом, это — фотографический снимок с натуры. Оригинал этого портрета давно уже умер, но недавно вышла его биография, где в заключение сказано: «его прекрасная душа воспарила в небеса, и тысячи душ, им спасенных, с ликом ангелов и святых вышли ему навстречу». Этот самый дивный муж, приглашенный к лику святых, был главным лицом в известной тебе *легенде о монахе и бесе*. И вот как пишутся жития святых! Если я умру прежде тебя, то сделай милость, немедленно после моей смерти напечатай все мои письма, а то, пожалуй, чего Боже сохрани, они и меня причтут к лику святых.

Слава Богу! твое письмо немножко повеселее. Здоровье поправилось, а главное дело в том, что Мурманское дело удалось. Поздравляю тебя с успехом! Ты скоро пойдешь по следам Колумба и Васко де Гамы<sup>1702</sup>. Да что бы уж тебе еще послать корабль для открытия Северного полюса, ты и так недалеко от него.

Бодрись, мужайся, Чижов! Сражайся упорно против лютого врага старости, не уступай ему ни одной пяди. *La garde meurt et ne sa rend pas\*\**. Я последую системе Эпикура и подобно бессмертным богам в небесах, не заботящимся ни о чем земном, я не позволяю никакой заботе гнездиться в моей голове. Да из чего же хлопотать?

«Слышь, от всех концов вселенной  
Голос тайный вопиет:  
Все земное — прах! все тленье!  
Все как дым, как тень пройдет!»

Когда мне наскучит работать с микроскопом или с электрическою машиною, я принимаюсь за романы *Вилки Коллинса*<sup>1703</sup>, где столько же правды, если не больше, как и в любой истории. А в хорошую погоду отправляюсь с телескопом обозревать — *рекогносцировать* — окрестности Дублина, которые действительно очень прелестны. Есть старые башни, оббитые плющом — замки землевладельцев,

\* Ах! Как я люблю моего Иисуса! — *фр.*

\*\* Стража мертва, и она не воскреснет — *фр.*

есть миленькие дачи — белые домики, чуть мелькающие из-за чащи деревьев. Главная забота моя теперь о том, как хорошо воспитать собаку: ей только 8 месяцев, след[овательн]о, ей следует расти еще 6 месяцев. Она в руках очень опытного и ревностного мужа, который во всем руководствуется очень мудрою книгою: *On the management of dogs*\*. Воспитание необходимо. Меня очень неприятно поразило замечание Герцена, что «Голохвастов привез из Англии двух огромных породистых ньюфаундлендских собак с длинной шерстью, с перепонками на лапах и *одаренных невероятной глупостью*»<sup>1704</sup>. Я постараюсь доказать ему, что это неправда. Все зависит от воспитания. В ожидании дальнейших известий и каких-нибудь новостей из России остаюсь

Твой В. Печерин.

### № 217. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
10 окт[ября] 1875

Ну, брат Печерин, виноват: долго не отвечаю на твое последнее письмо. Получил я его накануне поездки моей в Ярославль; хотел писать из Ярославля, но там все был сильно занят. Ко мне туда приехали члены земства из Костромы толковать о железной дороге между Костромою и Ярославлем. Потом по приезде сюда все ноги болят; правда, что боль эта уже лет 35, пора бы с нею и свыкнуться, а все никак не могу к ней привыкнуть.

В моем деле северно-океанском случилась беда. Меньший из пароходов «Онега» беломорского плавания бурей бросило на камень. Поопечалился было я, получивши известие: много лет я бьюсь, чтоб пустить в ход это дело, — начал и стой. Третьего дня получил депешу, что наш директор-распорядитель, не теряя бодрости духа, тотчас же отправился в Соловки, взял там инструменты и народу и снял пароход довольно благополучно. Ничего, авось либо поправимся. К весне закажем еще пароход в Англии, кутить, так кутить. Я задал себе задачу оживить наш Север, и буду биться неуклонно — эх! проклятое здоровье, да еще подлая старость. Как ни молодись, а я уже теперь на Новую Землю поехать не могу, это-то и скверно, а свой глазок — смотрок. Там надобно было бы устроить жилище для промышленников. Думаю, что если Бог грехам потерпит, то будущим летом побываю в Англии, тогда, разумеется, и к тебе приеду, да хорошо было бы увезти тебя в Шотландию.

Что? Переписываешься ли ты с твоим племянником? Я как-то потерял его из виду или, вернее, из слуху.

У нас умер еще не старым лет около 57 или 58 неизвестный тебе поэт граф Алексей Константинович Толстой; потому надобно Толстых называть по именам, что из них много писателей. Этот написал плохой роман «Князь Серебряный», но более известны его стихотворные произведения. Мелкие очень недурны, а из крупных известны особенно две — «Грешница» и «Иоанн Дамаскин»<sup>1705</sup>, я их не читал, не знаю.

Оканчиваю письмо, потому что нога побаливает, убедительно просит, чтоб я ложился спать, спокойной ночи,

Твой Ф. Чижов.

\* Об управлении собаками — *англ.*



№ 218. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

7 ноября н[ового] ст[иля] 1875

Прежде всего, отвечаю на твой вопрос: «переписываешься ли ты с твоим племянником?» Нет! вот уже два года, если не больше, как о нем ни слуху, ни духу: он собирался выехать из Саратова, а где он теперь — Бог весть. Вот видишь, как мало-помалу все исчезает: знакомые и родные *далече от мене сташи*<sup>1706</sup>. Ты один остался у меня, Чижов. Ради Бога, не покидай меня. Ты единственный у меня заступник, отец и благодетель. Ты единственная нить, связывающая меня с Россиею: когда эта нить порвется, тогда мне останется только завернуться в плащ стоического равнодушия и сказать «*Катона гордое прости*» и России и всему, всему, всему. Хорошо тебе: ты живешь одною нераздельною жизнью, т[о] е[сть] русскою жизнью. А у меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей моим человеческим значением. Вот уже 30 лет как я здесь обжился, а все ж таки я здесь чужой. Мой дух, мои мечты витают не здесь — по крайней мере, не в той среде, к которой я прикован железною цепью роковой необходимости. Я нимало не забочусь о том, будет ли кто-нибудь помнить меня *здесь*, когда я умру; но Россия — другое дело. Ах! как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! Хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: *здесь лежит ум и сердце В. Печерина*.

Ты оставишь по себе памятник — железные дороги и беломорское плавание; а мне нечего завещать, кроме мечтаний, дум и слов. Всякому своя доля: один родился и растет кедром ливанским или стройною пальмою, другой — мелкой березкою, третий — подлым репейником, а все они чада одной и той же матери природы, и всех она окончательно приберет в свое лоно. “Je serai bien partout ou la bonne mère nature voudra me mettre”<sup>\*</sup> — незабвенное изречение старого француза, навещавшего меня в «Городе Берлине» в Москве на Тверском бульваре. Хотел бы я знать, существует ли еще «Город Берлин»?

Но оставим астрономам доказывать и обратимся к более обыденным предметам. О смерти Толстого известили нас здешние газеты. Не тот ли это Толстой, что написал трагедию «*Смерть Грозного*»<sup>1707</sup>? У нас теперь почти непрерывная итальянская опера: одна труппа сменяется другою, но главное дело в том, что у нас теперь поет знаменитая *Нильсон*<sup>1708</sup>, не говоря уже о Требелли Беттини и других. Это разумеется для меня запрещенный плод, но добрая душа и в чуже веселится<sup>1709</sup>. В замену оперы мне удалось насладиться особенного рода концертом. На днях у нас была *собачья* выставка. Вообрази себе огромную залу выставки, тебе известную: вся она была наполнена оглушительным лаем этих псов, начиная с густого баса менделеевских собак и оканчивая тончайшим визгливым тенором крошечных мосек<sup>1710</sup>. Это было нечто вроде *музыки будущего* — Вагнера<sup>1711</sup>.

А моя собака преуспевает в возрасте, разуме и всяких добродетелях. Теперь она уже как верный слуга носит зонтик за мною: она это делает с необыкновенно важным

\* Мне будет хорошо всюду, куда бы ни поместила меня добрая мать-природа — *фр.*

видом, с полным сознанием, что исполняет важную должность точно какой-нибудь чиновник.

Какой это у вас банк лопнул в Москве? Этот г[осподин] Шпраусбергер, вероятно, один из судейских царей или князей мира сего. Не надул ли он и тебя?<sup>1712</sup>

Вот я опять целый короб наговорил. Итак, до свидания,

Твой В. Печерин.

### № 219. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Петербург  
5 ноября 1875

Обрати внимание на то, что я пишу к тебе из Петербурга, где воспользовался первой свободною минутою и написал «Несколько слов об автобиографии доктора Фуссенгера и о самом докторе не столько почтенном, сколько милом». Ожидаю ответа редактора «Вестника Европы» и, если он будет доволен, то и начну переписывать письма этого доктора. Тоже обрати внимание и на то, что я сам буду переписывать, потому что отдать переписывать, хотя твой почерк и разборчив, трудно. Ты, может быть, пустишься в восхваление моих добродетелей, тогда как они тут вовсе не у дел: я привык пользоваться каждою минутою и еще более привык непременно исполнять то, что я дал себе слово исполнить, а письма этого проклятого доктора, то есть его автобиографические письма, давно уже я обещал напечатать. Я напечатаю только до того переворота его жизни, когда он более всего по женскости своей природы закабалил себя в каторжную службу, далее не пойду. Авось либо этот лентяй доктор устыдится, увидевши, что я нахожу время переписывать его автобиографию, а он не может себя заставить писать ее теми отрывками, какими он писал было довольно аккуратно.

Нет, брат Печерин, пока будет довольно сил понимать и чувствовать, я тебя не оставлю; наше соединение весьма и весьма редкое явление, скоро будет полвека как мы сошлись в университете. Никогда не соединенные никакими материальными отношениями, ни родственными, ни свойственными, ни денежными, мы держимся крепко, и теперь было бы срамно, если бы что-либо разорвало такую крепкую нить, нас связавшую.

Действительно умер тот гр[аф] Толстой, который написал драму «Иван Грозный», но он плохой, очень плохой драматик, едва ли не едва плоше романист — он написал роман времен Ив[ана] Грозного «Князь Серебряный», зато чудо что за человек и очень мил в своих небольших лирических произведениях.

«Нам тихий свой привет  
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,  
Ни ярких красок нет. Землей пережита  
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;  
Стремленья улеглись; иная красота  
Сменила прежнюю; ликующего лета  
Лучами сильными уж боле не согрета,  
Природа вся полна последней теплоты;  
Еще вдоль влажных меж красуются цветы,  
А на пустых полях засохшие былинны  
Окутывает сеть дрожащей паутины;

Кружась медленно в безветрии лесном,  
На землю желтый лист спадает за листом;  
Невольно я слежу за ними взором думным,  
И слышится мне в их падении бесшумном:  
Всему настал покой, прими ж его и ты,  
Певец, державший стяг во имя красоты;  
Проверь, усердно ли ее святое семя  
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,  
По совести ль тобой задача свершена  
И жатва дней твоих обильна иль скудна?»

Это предсказание своей смерти в конце осени<sup>1713</sup>. У Толстого нельзя было искать мысли, но очень много образности.

Что-то, брат, все здоровьишко плохо. Весною опять думаю ехать в Виши, и очень хочется оттуда пробраться к тебе, взглянуть на Ирландию подальше Дублина и пробраться в Шотландию. Разумеется, если Бог грехам потерпит, потому что теперь, например, пишу к тебе и едва в состоянии сидеть, так сильно мучит геморрой. И то, правда, целую зиму живешь без движения, ходишь только в комнате. Погода отвратительная, мокрый снег, слякоть, гадко, скверно, отвратительно. Петербурга ты не узнал бы, так он сильно переменялся; Москва тоже сильно отстроилась. Здесь я всегда останавливаюсь у Поленова на Васильев[ском] острове, едва ли увижу Никитенку и Гебгардта, оба живут страшно высоко, а мне в шубе трудно втащиться на такую высь.

Ты так пленился собачьим концертом, что и сам не начал ли лаять, тем более, что когда-то ты очень хорошо представлял драму столкновения кошки с собакою.

Твой Чижов.

## № 220. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

15 нояб[ря] 1875

Пишу не в очередь, не дождавшись твоего ответа на мое письмо, ибо совершил великое дело — послал к редактору «Вестника Европы» несколько твоих докатолических писем под именем отрывков из автобиографии доктора Фуссгангера. Вместо предисловия поместил несколько слов об этой автобиографии и о самом не столько почтенном, сколько милом докторе. Вероятно, я с большим нетерпением буду ждать их напечатания и потом отзыва об них. Я не считаю себя судьей, потому что каким-то непонятным для меня образом я тебя так люблю, что не могу совершенно безразлично (неудачный перевод слова индифферентно) смотреть на твои произведения.

Что-то, брат, я все прихварываю. Как-то делаюсь вялым, пропадает энергия, а жизнь без энергии гадка. Мурманское мое предприятие идет довольно отвратительно. Директор-распорядитель вял, у него мало сметки и едва ли из его головы не выпала десятая клепка. В нынешнем году предстоит заказать еще пароход в Англии, а между тем у меня по Курской дороге получено валового дохода на 340 тысяч менее чем прошлого года, и пожар в мастерской доставил больше 150 тысяч убытка. Одним словом, дела распорядились так, что Курская дорога не дает мне ни гроша. Делать нечего, надобно пускаться займы, но нельзя останавливаться на полдороге. Да, я тебе скажу — промышленные и торговые предприятия своего рода запой, своего рода банковая игра. Я никакой любви к деньгам не чувствую, никогда денег

не имею, живу весьма скромно, то есть без малейшей роскоши, и постоянно живу без денег именно потому, что едва оперится одно предприятие, другое уже начинает образовываться. Мурманское дело заставляет выгребать все до копейки. Авось либо настоящая зима и будущая весна решат мне два вопроса, во-1-х, можем ли мы получить с Белого моря сельдей соленых лучше голландских и, следовательно, можем ли мы с нашего Белого моря вывозить сельдей на сотни тысяч рублей; другими словами: можем ли мы в этом промысле найти пропитание тысячам поморов? Другой вопрос еще важнее: найдем ли мы в губе Кандалакше вековой запас гуано. Благоприятное решение последнего вознесло бы меня до небес, потому что это было бы не слепое случайное открытие богатств, а предписанное соображениями, отысканное по решению ума.

Тревоги наших банков немного поутихли. Мой банк не задет почти нисколько. Может быть, потеряется несколько тысяч и то вряд ли. Тут уже просто-запросто мошенничество, а не несчастье и еще вдобавок глупость, и непонимание дела.

Очень хотелось бы мне из Виши приехать к тебе, сколько-нибудь потаскаться по Ирландии и потом, взяв провожатого, поехать по Шотландии, где непременно хочется посмотреть заводы джину. У нас на Севере множество можжевелнику или вереску, и он пропадает ни за грош. Хотелось бы поучиться, да и завести завод на нашем Севере. Не знаю, позволит ли здоровье?

А что, брат, притесняют наших братьев южных славян<sup>1714</sup>, и всего более они терпят за то, что нам русским близкая родня и единоплеменники и единоверцы. Ваша проклятая Англия и думает, что мы хотим их прибрать к рукам. Никто этого не хочет: ни мы, уверенные в том, что тогда из братьев они сделаются врагами, ни они, знающие, что сила солому ломит и что надают им станowych и исправников<sup>1715</sup> и всей этой гадости. Будь здоров.

Твой Ф. Чижов.

## № 221. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

28 ноября н[ового] ст[иля] 1875

Не знаю, как и благодарить, но одно только смущает меня, как же ты это хочешь все сам переписать, это несбыточное дело, на это у тебя не достанет ни времени, ни сил. Не лучше ли нанять какого-нибудь писаря, у нас в писарях, слава Богу, нет недостатка, а после можно будет поправить, если он сделает какие-либо ошибки. Но, впрочем, делай, как сам разумеешь. В руке твои предаю дух мой!

Хорош Петербург, нечего сказать, одним только подгадил, т[о] е[сть] сквернейшим климатом. Да не пора ли уж нам перенести столицу куда-нибудь потеплее? Вот, например, теперь представляется благоприятный случай переселиться в Константинополь и завестись там хозяйством. В таком случае (т[о] е[сть] в случае переселения) я непременно возвращусь в Россию, да и прямо в новую столицу, куда надеюсь въезд мне не будет запрещен. Там мы с тобою построим небольшой домик на берегу Босфора у Золотого Рога<sup>1716</sup>. Под благорастворенным небом Византии ты излечишься от всех твоих недугов, и мы с тобою, отложивши в сторону все мирские заботы, в восточной неге на персидских коврах среди аравийских благоуханий, внимая песням соловьев в розовых кустах, проведем последние годы нашей маститой старости, а когда ангел

смерти с грустной улыбкою потушит факел нашей жизни, тогда наш соединенный прах почует под тенью темных кипарисов, и волны Босфора в тихие летние дни будут слегка плескаться об этот памятник полувековой дружбы, памятник

«Любви, себя забывшей  
И до конца не изменившей».

Каково?

Благодарю за выписку из Толстого. Твое замечание очень метко, что у него нельзя искать мысли: это очевидно из его стихов. Знаешь ли ты Огарева? т[о] е[сть] читал ли что-нибудь. Хотелось бы мне знать, какое мнение русской публики о нем. На днях мне случилось прочесть некоторые его стихотворения: стихи очень плавные, но все как-то сердцу к нему не лежит, словом, нет души. В прозе Герцена в тысячу раз больше поэзии, чем в этих стихах.

Ты помнишь, что я писал тебе о здешней опере и о том, что *Нильсон* у нас пела. Она сыграла презабавную шутку с ее обожателями. В последнее представление — ее бенефис — театр был битком набит, рукоплесканиям и венкам не было конца, но главная овация приготавливалась у выхода из театра. А между тем *Нильсон* ускользнула как-то задними дверьми, взяла извозчика и тихомолком уехала в свой отель. Ее карета ждала у главного подъезда. Толпа юношей, особенно медицинских студентов, с нетерпением ждет, что вот-вот появится prima donna. Французская горничная Нильсон, заметивши, что барыня уехала домой, опрометью бросается в карету — раздаются восторженные крики: Виват Нильсон! Ура! Обожатели Нильсон отпрягают лошадей и сами собственноручно тащат карету с *горничной* в Shelburne Hôtel. А Нильсон сидит спокойно в своей комнате, пьет чай и — помирает со смеху.

Хоть это письмо и коротко, но в нем много смысла. Мал золотник да дорог, велика Федора да дура. В заключение скажу, что если что-нибудь из моих записок напечатается, то это, может быть, послужит мне поощрением для продолжения оных же записок. Имеяй уши слышати да слышит.

Твой В. Печерин.

## № 222. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

18 дек[абря] 1875

Пора же, наконец, и написать к тебе, Печерин. Тебе совершенно все равно, здоров я или болен, жив или умер, а между тем нужно же, чтоб исполнился пятидесятилетний юбилей наших дружеских отношений. Знай же, что я еще не умер, хотя вот уже четвертую неделю лежу больной, пожалуй, даже и не лежу, а не выхожу из комнаты. Наши морозы нынешнею зимою таковы, что едва ли не остаются здоровыми одни медведи, да и то разве белые. С начала ноября началась зима и в течение всего времени не спускала ниже  $-17^{\circ}$  или  $-18^{\circ}$  по Реом[юру], а к концу ноября и во весь декабрь  $-25^{\circ}$ ,  $-27^{\circ}$ ,  $-30^{\circ}$  и  $-33^{\circ}$ . Сегодня, говорят, уже сносно — всего  $-18^{\circ}$ . Что, брат, жутко и слышать о таких страхах и ужасах? В конце ноября я простудился, разболелось горло, вся правая сторона головы, и я только теперь поправляюсь, но еще думаю несколько дней посидеть в комнате.

Не знаю, благодаря ли холодам, хотя в моих комнатах, кажется, никогда не меньше  $+16^{\circ}$  по Р[еомиюру], или благодаря болезни, только я впал в такое апатическое

состояние, что и Боже упаси. Встаю поздно и то с трудом и с неохотою; кое-как промаячусь утро, кое-как без аппетита проглочу несколько ложек супу, пожалуй, с большим удовольствием выпью чаю и рад радехонек, что дотащусь до полуночи, чтоб лечь в постель.

Не думаю, чтоб это уже было навсегда, что-то рано умирать заживо. А вот в начале этого месяца у нас умер заmertво наш почтенный Михаил Петрович Погдин<sup>1717</sup>. Умер или, по крайней мере, заболел с пером в руках. Просидел часов до 4 утра за какою-то статьею, почувствовал нехорошо что-то в правой руке; на другой день хуже, потом пристукнул паралич, и страдал он недолго. Ему было 75 лет, но человек-крепыш. Чего он не писал? В стихах и в прозе, в повестях и в драматических сочинениях, в рассказах и в исследованиях — [нрзб] — на то дан ум, чтоб им работать. Это последний из школы уже отжившей, хотя и не последний из писателей того времени. Остается еще князь Петр Андреич Вяземский, товарищ Жуковского<sup>1718</sup>, 83 лет, если не 85, и все еще пишет и до того сохранил здравый ум и память, что пишет, не подписывая своего имени.

На днях меня известили, что отрывки из автобиографии доктора Фуссгангера будут напечатаны в «Вестнике Европы» в февральской книжке; подождем, это хороший знак, потому что в феврале и марте обыкновенно все журналисты печатают то, что считают лучшим в своем репертуаре.

Ну, мой милый Печерин, будет с тебя, сильно устал, помяни меня в твоих весьма не святых молитвах<sup>1719</sup>.

Твой Чижов.

Слава Богу, кончаю письмо, смотрю на термометр, тропические жары  $-14^{\circ}$  по Р[еомюру], да к этому горло разболелось. Пожалуйста, передай мое почтение твоей собаке, думаю, что она не очень достойна внимания, но из снисхождения к тебе жму ее лапу.

## № 223. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

10 января н[ового] ст[иля] 1876

С новым годом, с новым счастьем поздравляю. Решительно мы с тобой живем на двух противоположных концах Европы. Читая описание вашей ужасной зимы, меня морозом подирало по коже. А у нас, напротив, стоит настоящая итальянская зима такая, что даже и в Риме и в Неаполе не стыдно бы показать. 1-го января, когда наш новый лорд-мэр выехал в золотой карете в сопровождении отряда уланов (lancers) и конной полиции, пожарной команды в красных мундирах и медных касках и несчетной толпы народа, солнце сияло полным весенним блеском, утро было очаровательное, весь город как бы в праздничном наряде, и новый год начался под самыми благоприятными предзнаменованиями. А у вас так хоть волков морозить. Жаль мне тебя, многострадальный Чижов! Но скажи ты мне, ради Бога, из-за каких небесных благ ты возлагаешь на себя добровольные мучения, ведь теперь очевидно, что твои недуги происходят от холода. Кто ж тебе мешает переехать на зиму в Ниццу, в Ментон<sup>1720</sup>, в Канн, в Венецию или куда бы то ни было, где только человеку жить возможно? Гейне выкинул презабавную шутку: он говорит, что чахоточные лапландцы переселяются в Петербург для того, чтобы там пользоваться кротостью южного

климата<sup>1721</sup>. Без сомнения, для белых медведей Петербург и Москва должны быть то же, что для нас Рим и Неаполь. Но ты, насколько мне известно, не белый медведь и, следовательно, тебе нет никакой стати мерзнуть в московской берлоге. Но как бы то ни было, белый ты медведь или нет, я не нахожу слов благодарить тебя за то, что несмотря на твои страдания ты пишешь ко мне и заботишься о *моих делах*.

Итак, почтенный Доктор Фусгангер опять появится перед русской публикой. Первое его появление было в январе или феврале 1836 в «Московском наблюдателе» под редакцией Андросова, т[о] е[сть] ровно сорок лет назад! Какова игра судьбы! 20 лет назад я не думал, не гадал, и на ум мне не могло придти, чтобы хоть одна строка моя могла быть напечатана в России. Меня живо задело замечание Герцена, когда по свидании со мной в 53 г[оду] он написал: «все тут умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах». Нет, брат, не угадал! тут еще кое-что живет и шевелится и трепещет живучей жизнью. Загадка жизни еще не разгадана, узел драмы еще не развязан. Иногда по вечерам, когда я сижу один-одинехонек, вдруг окину глазами всю комнату, освещенную газом, и все эти книги, и электрические и химические снаряды, и пылающий камин, и спрашиваю себя: где я? и уношусь мыслью далеко-далеко на пятый этаж в Гороховую улицу, где бедный восемнадцатилетний мальчик сидел и тосковал по чужбине. Какая странная непостижимая судьба. Есть у Гейне крошечная, но бесценная жемчужина, т[о] е[сть] крошечное стихотворение с глубоким смыслом. Вот оно: «Сосна стоит уединенно на севере на голой вершине. Ей дремлет; лед и снег покрывают ее белым одеялом. И видит она во сне: там далеко на Востоке стоит одинокая пальма и молчаливо грустит на раскаленной скале»<sup>1722</sup>. Вот так и мне под белым саваном петербургских снегов грезилось, что там где-то на далеком Западе стоит одинокая пальма и молчаливо тоскует и как будто зовет меня

«И я слышал глас красы незримой,  
Этот глас меня очаровал,  
Я отца и мать, и край родимый —  
Все на жертву ей отдал!»<sup>1723</sup>

А между тем все наши современники один за другим сходят со сцены. Вечная память доброму Михаилу Петровичу Погодину. Несмотря на его недостатки, он займет почетное место в нашей литературе, а я лично никогда не забуду его доброго ко мне расположения. Он еще в 1863 напечатал очень лестный отзыв обо мне в «Моск[овских] Вед[омостях]»<sup>1724</sup>.

Есть у меня к тебе просьба. Д[окто]р Аткинсон читает теперь лекции о французской литературе в женской гимназии Alexander College. Он, знаешь, изучает все основательно, дотла. Он прочел все, что в Германии написано об этом предмете. Теперь ему хочется знать, есть ли в России какое-нибудь *значительное* сочинение о франц[узской] литературе. Разумеется не пошлый учебник, а что-нибудь оригинальное с новыми взглядами. Если можешь доставить какое-нибудь об этом сведение, то крайне нас обяжешь. Знаешь пословицу: Любишь меня, люби и собаку мою? Очень благодарен за память о ней. Она удивительно как выросла и развилась. Это милое незлобное игривое животное, исполненное нежнейшей привязанности к своему господину. Если б она была христианской веры, то ее бы, наверное, причислили к лику святых.

Твой В. Печерин.

№ 224. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

12 янв[аря] 1876

Получил я твое письмо в первый день, не скажу моего выздоровления, но, по крайней мере, улучшения состояния моего здоровья. Я был так слаб, что не мог прочесть; теперь лучше, а все еще едва ли менее недели придется просидеть в комнате. Что со мной было? Не знаю. Думаю, что первый весьма явственный голос старости. Холод холодом, но холода бывали и прежде, да не было 65 лет, истощенного здоровья и неотразимой близости к могиле. Впрочем, это ее дело; мое дело одно, чтоб до минуты смерти работать столько, сколько есть сил. В этом отношении болезнь моя сильно меня пугнула: какая к черту работа, читать и то не мог. Ты пишешь о Ницце, Ментоне, Канне — дичь, мой любезный Печерин, как будто бы жизнь нужна сама по себе или потому, что будто бы держишь пари непременно прожить столько-то. Черт ли в ней, если она не наполнена? Ты наполняешь ее извне твоими занятиями; мне было бы очень, очень трудно наполнить чем-нибудь не из России и не для России. Ergo\* об этом вперед не будем толковать, предоставим это каждый своему полюсу. А вот потолкуем-ка о следующем: если Бог грехам потерпит, я опять думаю пуститься в мае в Виши и оттуда к моему Печерину. А ты присмотри-ка к моему приезду у ваших букинистов Encyclopedia Britannica<sup>1725</sup> 9 издание (то есть последнее); я ее непременно куплю, да, вероятно, закажу и еще несколько книг. Вот, наприм[ер]: “The history of Italian Revolution. First period. The revolution of the barricades. (1796–1849)” by the Chevalier O’Clery\*\*.

Поручения твоего для Аткинсона я выполнить не могу, то есть прислать книгу русскую о французской литературе. Кажется, отдельного сочинения нет, а собирать из журналов — это крохоборная работа не по моему малому времени.

Вот ты хорошо сделал бы, если бы записал все сочинения о Венеции и о частных предметах, до Венеции относящихся, на английском языке.

Очень было бы мне любопытно послушать, как смотрит Аткинсон на всю школу тридцатых годов: Виктор Гюго, Бальзак, Eugene Sue\*\*\*, и на всю эту школу, особенно на Виктора Гюго. Я знаю статью с довольно мало встречающимся взглядом.

Что если я к тебе телеграфирую из Лондона, когда я к тебе приеду, что? Это не приведет тебя в дурное расположение духа, и ты не ругнешь меня, а выедешь? Скажи искренно.

Твой Чижов.

Наша журналистика с нового года началась весьма пошлыми произведениями. В «Вестнике Европы» помещена повесть Тургенева «Часы»<sup>1726</sup> ниже критики. Я сам читать не мог, мне читала это одна очень образованная девица, моя приятельница; она заметила, что нам нужно было бы вызвать Тургенева на дуэль за такое пренебрежение к нам, то есть к публике. Такая белиберда, что и Боже упаси. В «Русском Вестнике» обещают продолжение «Анны Карениной» графа Льва Толстого<sup>1727</sup>, автора «Войны и мира»; не знаю, читал ли ты его. Между тем по России ездит ко-

\* Следовательно, итак — *лат.*

\*\* «История итальянской революции. Первый период. Революция баррикад (1796–1849)» шеваляе О’Клери — *англ.*

\*\*\* Эжен Сю — *фр.*, известный французский писатель (1804–1857).



миссия от Министерства просвещения по университетам с предложением разных вопросов по предполагаемой реформе университетов<sup>1728</sup>. Какая тут реформа? Кончилось существование университетов, они отслужили свое время и вместе с монастырями поступили в архив истории — свободное чтение науки, не стесненное ни программой, ни экзаменами, ни глупостью официальности профессора, ни казенностью обязательного прочтения от стр[аницы] до стр[аницы]. Было время, когда мысли и знанию нужны были приюты, пора их выпустить на внешний воздух афинской публичности.

**№ 225. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

12 февраля н[ового] ст[иля] 1876

Надеюсь, что у вас немножко отлегло, т[о] е[сть] стало немножко теплее. А у нас погода просто с ума сошла. Зимы вовсе не было. 30 января была такая теплота, что никак невозможно было надеть зимнего сюртука. А теперь уже и подавно весна с легкими морозцами по утрам. Всем этим мы обязаны благодатному Атлантическому океану. От Мексиканского залива к нам течет теплая тропическая струя (golf-stream) и наделяет нас итальянскими зимами, но зато приносит также много мокроты и одевает наш остров вечной зеленью. В Англии тремя градусами холоднее.

У меня теперь завелась новая баронская фантазия. Имеешь ли ты какое-нибудь понятие об *Эоловой арфе*<sup>1729</sup>? Об этой арфе я мечтал еще на пятом этаже в пресловутой Гороховой улице, и вот через 50 лет мечта юности осуществилась. Мне только раз в жизни удалось слышать этот инструмент, а именно в Петергофе. Мы, т[о] е[сть] казенчики (не знаю, был ли ты с нами), отправились в нововведенном омнибусе<sup>1730</sup> (*объбусе* как говорили разъяренные извозчики) на петергофское гулянье. Там в каком-то павильоне с куполом мы вдруг услышали невидимую музыку. Бог весть, где она была — в соседней ли комнате или в воздухе — только после нам объяснили, что это эолова арфа. Это нечто вроде двойной гитары с двумя рядами струн: поставишь ее на окно, и ветер разыгрывает на ней самые разнообразные фантазии. Иногда вдруг поднимется высокая, очень высокая нота и постепенно спускается по всем струнам — ла-ла-ла — и, наконец, замирает вдаль, как будто искусная рука женщины пробежала по всем клавишам фортепьяно. Иногда, кажется, слышишь отдаленные звуки органа с священнопением, воздыхание, плач, молитву и пр[очее]. По вечерам, когда дует сильный ветер, мне кажется, я на каком-нибудь диком острове сижу на голой скале, о которую разбиваются разъяренные волны океана. Видно, мне на роду написано вечно жить в области мечтаний, — dans le pays de rêver. Pas de rêver, messieurs\*, — сказали августейшие уста. Вследствие чего тебе непременно надобно приехать сюда для того, чтобы осмотреть все достопримечательности моей комнаты. Прежде ты видел только книги, а теперь увидишь и электрическую машину, и эолову арфу.

За книгами дело не станет. Британской энциклоп[едии] вышло 3 тома. Но какими судьбами дошло до твоего сведения сочинение Chevalier O'Clery "The history of the Italian revolution"? Это пошлейшее произведение отчаянного ультрамонтана.

\* В стране грез. Никаких грез, господа — *фр.*

Он нечто вроде рыцаря печального образа — был в папской армии и получил там какой-то папский орден, почему и называется *chevalier*, а теперь порет такую чушь о восстановлении светской власти Папы, что уши вянут. Ты можешь себе представить, в каком духе написана эта история. Кроме самых ревностных католиков и абсолютистов, я уверен, что никто не читал этой книги, которая ни по содержанию, ни по слогу не заслуживает ни малейшего внимания. Если приедешь сюда, то я поведу тебя в огромную лавку букиниста, где ты увидишь всевозможные чудеса.

Ты жалуешься на свои 65 лет, а мне в июне будет 69. Как тебе это кажется? а через год будет 70. Иногда самому не верится. Может быть, была какая-нибудь ошибка в метрических книгах, может быть, я десятью годами моложе? Нет, напрасно себя обманывать: *le terme fatal approche\**. Покойная матушка моя в последних годах своей жизни писала: *день прошед благодарю тя Господи*. Вот и мне придется тоже сказать. Впрочем, во всю жизнь мою я жил со дня на день, *le jour au jour\*\**, мало заботясь о будущем. *Никакая вечность не возвратит нам потерянной минуты*, говорит Шиллер.

Аткинсон спрашивает меня, есть ли какие-нибудь перемены в русском слоге с тех пор, как я оставил Россию? Я не вижу никакой, разве только то, что слог сделался как-то легче и ближе к разговорному языку. Как тебе кажется.

Мне следует на стенке зарубить твое оригинальное замечание о реформе университетов. Аткинсон почти одного с тобою мнения.

В конце месяца у нас опять будет выставка собак, певчих и домашних птиц, т[о] е[сть] кур, голубей и пр[очее]. Непременно пойду. Я более и более сближаюсь с животным царством, к которому, без сомнения, принадлежу. На собаку я смотрю как на меньшого брата, менее развитого, получившего менее тщательное воспитание, а мне по прихоти судьбы выпал на долю майорат<sup>1731</sup>, вот и все различие. Но собака имеет то преимущество перед нами, что она не занимается ни богословием, ни политикой, а только в простоте сердца добросовестно исполняет долг, возложенный на нее той средой, в коей она родилась и выросла.

Твой В. Печерин.

## № 226. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

10 февр[аля] 1876

Вчера получил твое письмо все еще если не сильно хворый, то, по крайней мере, такой, что до сего дня не решался выезжать. Все время у нас стояли холода до  $-20^{\circ}$ , иногда менее, теперь другой день полегче, зато ветер так и рвет и мечет.

В февральской книжке «Вестника Европы» нет твоих писем; я полагаю потому, что в январской велено было редактору вырезать внутреннее обозрение, потому что в нем были помещены все оциации во время путешествия по югу России министра просвещения<sup>1732</sup> и представлены в карикатурном виде. Он действительно ехал шутком гороховым. А в крошечном предисловии к твоим письмам есть кое-что против теперешнего *ultra*<sup>\*\*\*</sup> классического направления министерства. А, впрочем, Бог их знает.

\* Неизбежный конец приближается — *фр.*

\*\* Со дня на день — *фр.*

\*\*\* Более, сверх — *лат.*

Ты спрашиваешь, не изменился ли русский язык печатный? Как тебе сказать? Да, он стал ближе к разговорному, пожалуй, слился с разговорным, но не обращает внимания на то, что в разговоре есть жесты, есть изменения в голосе (интонации), есть движения лица, а в печатном слове все это надобно уметь передать одним словом, для чего тут требуется известного рода художественность, а начни валять с плеча, выйдет черт знает что — это частехонько и встречается у наших борзописцев. К тому же наш язык, как и английский, пожалуй, и итальянский, не способен к беспредметной болтовне французских фельетонов, до такой степени выработавшихся у французов, что покойника Жюль Жанена<sup>1733</sup> читаешь, бывало, не замечая, а у нас скука смертная и легкость претяжелая и шутливость принатянута. Есть у нас фельетонист, прежде писавший в «С[анкт] П[етер] Б[ургских] Ведомостях», теперь в «Биржевых» — это Суворин<sup>1734</sup>; у него часто очень талантливые фельетоны. Вот, например, образчик из этой газеты от 8 февраля нынешнего года под заглавием «Наброски о современниках». Тут помещены: Богданович, Богданов, Благовещенский, *Баршевы*, Байков<sup>1735</sup>, *Бартенев* и Буслаев. Я тебе выпишу о твоих знакомых Баршевых и Бартеневе.

«*Баршевы* Сергей и Яков Ивановичи. Два Аякса русского уголовного права<sup>1736</sup> один в Москве, другой в Петербурге. Сергей Ив[анович] начинал обыкновенно свои лекции в Моск[овском] универ[ситете] так: «На голом поле русской криминалистики выросли два цветка. Цветки эти — это сочинения мое и брата моего Як[ова] Ив[ановича]...». Сергей Ив[анович] был ректором Моск[овского] универ[ситета], но так как в это время покойный П.М. Леонтьев был во всей своей силе, то должность ректора в его лице сделалась чем-то вроде должности полицмейстера<sup>1737</sup>, который получал знаки благоволения от особы «Московских Ведомостей». Был свержен еще до смерти Леонтьева С.М. Соловьевым<sup>1738</sup> и перешел в мрак забвения. На этих днях по случаю празднования 50-летнего юбилея второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии братья Баршевы на минуту выступили из темной рощи прошлого благодаря «Исторической записке о содействии второго отделения Собственной Е.И.В. канцелярии развитию юридических наук в России», написанной самим Я. И. Баршевым<sup>1739</sup>. В этой «Записке» между прочим сказано: «На экзамене они (студенты) оказались все способными, а двое из них братья *Баршевы с большими дарованиями*; они оказали успехи отличные перед другими...».

Дела давно минувших дней,  
Преданья старины глубокой<sup>1740</sup>...

*Бартенев* Петр Иванович, «Русский Архив» домохозяйственных добродетелей и справочная адресная книга для сношения с предками. Написал бы «Домострой», если бы поп Сильвестр не учил до него<sup>1741</sup>. Собирал материалы для биографии Пушкина и, найдя рукописную Калифорнию в Чертковской Библиотеке, обогатил нас старым хламом, в котором нашлись превосходные вещи. При этом он мастер сочинять такие примечания, в которых хотя и трудно добиться смысла, но которые спасают кое-что и кое-кого ублажают. Про него надо сказать, что хотя он и на костыле ходит, но умеет обходить и людей и препятствия...»

Очень недурно. Бартенев день ото дня делается подлее и подлее. Он всегда был глуп и пошл, но, кажется, как будто менее подл.

Вот тебе воочию знакомство с нашею обиходною письменностью. Никак уже ты не можешь сказать, что я не передаю тебе новостей нашей литературы. В «Русском

Вестнике» помещены несколько глав продолжения «Анны Карениной» графа Льва Ник[олаевича] Толстого. Талантливая вещь и только. Толстой сделал ошибку, что начал с «Войны и мира» — после них ждешь чего-нибудь громадного. Он задумывал было сначала роман из времен Петра Великого, но нашел, что время так отдалено, так мало красок для его выпуклого изображения, что он бросил. Потом говорили, что он хотел писать или писал «Декабристы»<sup>1742</sup>, тоже нет этого сочинения. Полагаю, что последнее трудно по отношениям: всего, что извлекается из души по их поводу, сказать нельзя; порицать там, где порицание подасуживает грубой силе и безусловному произволу. Об остальном говорить нечего. В первой книжке «Вестнике Европы» помещены «Часы» Тургенева; черт знает что; какая-то шалость писателя, что-то найденное в неоконченных набросках старого альбома. По временам видна замашка художника, видны очень милые этюды, но они схвачены как попало, сшиты на живую нитку. Тургенев все обещает большой роман, я думаю, что это будет или пуф\*, или старческое наставление. Недавно 86-летний кн[язь] Петр Анд[реевич] Вяземский поместил такую подлую пошлость в «Архиве» Бартенева<sup>1743</sup>, что я проклял старость и не хочу доживать до такой дряхлости понимания. Твоей собачке поклон.

Твой Ф. Чижов.

## № 227. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

11 февраля н[ового] ст[иля] 1876<sup>1744</sup>

Но на счастье прочно  
Всяк надежду кинь,  
К розе как нарочно  
Привилась полынь.

Роза — это, положим, «Вестник Европы», а полынь — это цензура и всякого рода кляузы и отговорки. Нет, брат Чижов! Видно, нам придется окончательно отречься от всяких притязаний на внимание современников и с христианским смирением и полным самоотвержением отдать себя на суд беспристрастного потомства, когда ни хула, ни одобрение не тревожит спящих в могиле, когда все страсти животрепещущей действительности давно умолкли и умерли, когда сама критика витает в безоблачной атмосфере классической древности, одним словом, когда мы сделаемся *древними* и когда наши записки будут читать, как читают записки Кесаря<sup>1745</sup>, с указкой в руках. А между тем жизнь летит, летит. *Care diem!*\*\* Лови жизнь на лету! срывай розы, пока они цветут! Священное писание гласит, что «живой пес лучше мертвого льва». Яко пес живой, той благ паче льва мертва. А вот еще полезный совет тебе дает то же Священное писание в той же книге Экклисиаста: «вся, елика аще обрящет рука твоя сотворити, якоже сила твоя, сотвори: зане несть сотворение и помышление и разум и мудрость во аде, аможе ты идиши тамо»<sup>1746</sup>.

Очень благодарен за литературные новости. Видно у вас большая свобода печати, когда позволяют глумиться над такими важными лицами как братья Баршевы.

\* От *фр.* *rouf* — нелепая выдумка, ложное известие.

\*\* «Лови день», т. е. пользуйся сегодняшним днем, лови момент — *лат.*

Я до сих пор думал, что они оба в Москве, а теперь вижу, что один в Петербурге. Не случилось ли тебе где-нибудь встретиться с Куторгою? Его где-то назвали *маститым* профессором. Вот от этого позора Бог меня избавил. Нет ничего жалче как положение старого профессора в России: он необходимо скован закоренелыми предрассудками своей юности и чиновническими отношениями к правительству, да и вообще в большом военном государстве профессор играет очень жалкую роль. Он все как-то сбивается на Третьяковского<sup>1747</sup>. Я, разумеется, исключаю профессоров медицины и естественных наук: они поневоле должны стоять на уровне с веком. «Печерин — профессор?! Нет! невозможно!», — говорил московский англичанин Колли, бывший с нами в Берлине, и действительно угадал.

Пресловутый рыцарь папской власти и абсолютизма соотечественник Дон Кихота Ламанчского Дон Карлос<sup>1748</sup>, окончив свои подвиги в Испании, наконец, благополучно прибыл в Англию. На беду случилось, что в то самое время как он вышел на берег в Фокстоне<sup>1749</sup>, там было какое-то местное празднество — заложение новой гавани что ли, была пушечная пальба, и город был разукрашен разноцветными флагами. А он дурак вообразил себе, что все это делается в честь его прибытия, да и давай ломать шляпу направо и налево и раскланиваться с царской улыбкой. От этого поднялся непомерный хохот, раздались свистки, шиканье, хрюканье и пр[очее], так что он жизни был не рад и поспешил укрыться в приготовленном для него вагоне. А знаешь, кто первый приветствовал его на пароходе? Именно твой *Chevalier O'Clery*. Видно птицы одного полета. *Similis simili gaudet*\*. Свой своему поневоле брат. Теперь, слава Богу, одним претендентом меньше. Графа Шамбора давно бы пора постричь в каком-нибудь монастыре, как это делали в старые годы во Франции с куда негодными королями *gois fainéants*\*\* . Остается один Папа, ну да это, как говорил Герцен, сумасшедшая бабушка, которую держат в семье из уважения к ее старости, да к тому ж не век ей жить, не сегодня завтра умрет<sup>1750</sup>. И этим мы закончим наше политическое обозрение и приступим к не менее важному предмету.

Моя собака зарегистрирована, т[о] е[сть] записана в книге дублинских псов, и таким образом получила право гражданства. Все записано: ее имя и отчество, возраст, порода и у кого находится на службе — полный формулярный список.

У нас теперь есть книга *Венгерова*, нечто вроде обозрения современной русской словесности: первые два выпуска посвящены И. Тургеневу<sup>1751</sup>. Слышал ли ты о ней?

Надеюсь, что с первыми жаворонками ты тоже выпорхнешь из своей клетки и снова будешь гулять на вольном воздухе.

Твой В. Печерин.

## № 228. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва  
20 марта 1876

Кажется, оправляюсь, по крайней мере, езжу в оба мои Правления, то есть в Правление Ярославской железной дороги и в Правление Курской дороги. Оправился и не болен, а между тем в наши старческие годы болезнь налагает такую печать,

\* Подобный подобному радуется — *лат.* (Макробий, «Сатурналии», VII, 7, 12).

\*\* Праздные короли — *фр.*

что как будто 10 лет прожил. Да и ты, брат, что-то, судя по твоим последним письмам, как будто вял, как будто апатичен, хоть и ты молодисься.

Жду не дождусь конца апреля, потому что в самых последних числах или в первых мая думаю отправиться в Виши: воды водами, но главное — совершенное спокойствие, полная безмятежность. И целый месяц жизни без бумаг, без дел, без дрязг, без просьб об определении на службу и все на чистом воздухе. Это для меня решительно рай. Как обыкновенно на водах скучненько, монотонно и все это ничего в сравнении с отдыхом. Окончивши курс в Виши, думаю несколько дней остаться в Париже, не более нескольких дней, потому что как-то не люблю его шума, суеты, шмыганья и фланерства. Из Парижа, отдохнувши денек-другой в Брюсселе и, может быть, в Генте (Gand), где хочется побывать в знаменитом цветочном заведении<sup>1752</sup>, пушусь в Лондон и в Дублин. Хочется с тобою повидаться — только одно, что и привлекает меня в Дублин, да и марш в Голландию посмотреть старую фламандскую школу<sup>1753</sup>. Если выкрою деньков несколько, то заверну в Данию и чрез нее в Швецию, там в Стокгольме хочется повидать техническое учебное заведение, да и восво-яси, то есть в Або<sup>1754</sup> и в Питер. Нынче поневоле мне надобно будет, сколько можно, сократить мою поездку, потому что еще летом надобно будет поспеть в Кострому поисследовать экономическую сторону предполагаемой нами железной дороги от Ярославля до Костромы. Если бы не это, пожил бы в хорошем климате подольше. На твоём полюсе единственная забота как бы только пожить, тебе и горюшка мало, все железные дороги хоть бы они провались, а нашему брату это забота, от которой не убежишь ни под сине-лазоровое небо Неаполя, решительно никуда.

Найду ли я тебя в Дублине, тебе не угодно было ответить на этот вопрос, а мне очень важно знать это, потому что без тебя весь твой Дублин с Лордом Мэром и даже вице-королем Ирландии не стоит выеденного яйца.

Пожалуйста, в письме ко мне напиши имя гостиницы, в которой я останавливался, где думаю и теперь остановиться, тогда мне указала ее какая-то добродетельная англичанка, а может случиться, что и не будет добродетельных во всем поезде. Думаю, что если будут денька три у меня в запасе, то не буду мчаться из Лондона в Дублин за один перегон, а остановлюсь по дороге в Манчестере и еще где-нибудь.

В ожидании обнять тебя не в очень далеком будущем предписываю тебе быть здоровым и прошу пожать лапку твоему песику.

Твой Ф. Чижов.

## № 229. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

17 апреля н[ового] ст[илия] 1876

Христос воскрес! любезнейший Чижов. Как я рад, что ты, наконец, решил-ся опять навестить меня. Ты спрашиваешь, найдешь ли меня в Дублине — какой вопрос! вот уже 14 лет как я никуда не выезжаю кроме разве самых ближайших окрестностей. Если ты заблаговременно уведомишь меня, в какой день и час ты вые-дешь из Лондона, то я встречу тебя в *Kingstown* на пристани у парохода, и мы вместе с тобою отправимся в город в твой прежний *Morison's Hôtel*; если ты непременно хочешь там остановиться. Хотя она теперь и не считается первоклассною, но все ж таки хорошая гостиница. Первого ранга гостиница — *Shelburne Hôtel*, где оста-

навливаются все подобные тебе значительные лица. Ради Бога, не отменяй своего решения. Это важная эпоха в моей жизни. Как знать? может быть это будет наше последнее свидание. Есть в Риме — на дороге к S. Paulo fuori le mura\* — крошечная капличка\*\*. Тут, говорит предание, случайно встретились Св[ятые] Апостолы Петр и Павел, идущие на смертную казнь, они встретились, обнялись, поцеловались и разошлись в разные стороны: один пошел по дороге в Остию<sup>1755</sup>, другой к Ватикану. Вот так и мы сойдемся, может быть в последний раз на берегу Дублинского залива, обнимемся и распростимся и пойдем каждый своим путем, ты — на восток, я — на запад, а оба мы без сомнения обречены на казнь —

Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана!

Какое это странное ощущение, когда видишь, что загадка жизни разгадана, что все ее таинства разоблачены, что ничего нового ожидать нельзя, решительно ничего кроме смерти, да и это не ново. Если б я был миллионером, я бы пустился путешествовать вокруг света для того, чтобы собрать кучу новых сведений и ощущений и с этой богатой жатвою сойти в могилу.

Завидна старость таких людей как Тьер, Дизраели, Гладстон: это старость, озаренная блеском всемирной славы, увенчанная лавровыми и розовыми венками гражданских побед и пиров, старость, видящая сквозь туман будущих столетий свое имя, сияющее бриллиантовой звездой. Но старость темная, одинокая, бессемейная, бесславная и бесплодная — что в ней хорошего? Но с другой стороны, когда подумаешь, что все великие люди и великие события существуют на этой крошечной планете, на этом крошечном островке, потерянном в безмерном океане пространства среди несчетных миров, и что все наши пресловутые столетия ничто в сравнении с миллионами лет геологических переворотов, предшествовавших истории, то так и кажется, что читаешь историю какой-нибудь эскимосской деревушки. Там они тоже воображают, что у них-то средоточие вселенной, что солнце и луна сияют для них одних, что бессмертные боги сходили с неба для их спасения и что им одним суждено наслаждаться вечным блаженством в загробной жизни; о своем деревенском старосте они думают, что он мудрейший из людей, гений, какого и свет не видал. Им никогда и в голову не приходило, что кроме их деревушки есть еще такие центры как Париж и Лондон, а кроме их старосты есть Тьеры, Бисмарки и Горчаковы. Они живут и умирают в этом блаженном незнании и веровании. Итак, любезный эскимосец! нам придется сказать с Соломоном: суета суетств и всяческая суета!<sup>1756</sup>

А между тем у нас (т[о] е[сть] русские) кричат: «Вперед!» Да! «Вперед!» слышал ли ты об этой газете, издаваемой в Лондоне<sup>1757</sup>? Тут есть очень курьезная корреспонденция из Петербурга. Это нечто вроде «Колокола» *tinus* талант Герцена.

А у нас, т[о] е[сть] в Дублине, почти непрерывная итальянская опера: одна труппа сменяется другою, а теперь приехал знаменитый трагик *Салвини*<sup>1758</sup>. Говорят, что это совершенно новое откровение искусства. Никто доселе не понимал в таком совершенстве героев Шекспира. У этого человека все есть: и стан, и взгляд, и голос, одним словом, он герой с головы до ног.

\* Базилика св. Павла за стеной — *ит.* Построена при Константине Великом на месте захоронения апостола Павла за оборонительной стеной Аврелиана (отсюда название).

\*\* От *англ.* chapel — часовня.

Пришло мне в голову спросить: жив ли еще Бардовский, Калмыков<sup>1759</sup>? Чем больше идешь вперед, тем больше теряешь спутников жизни: один за другим падают, пока, наконец, и сам устанешь и приляжешь отдохнуть. *Buona sera, mio Signore! Felicissimo notte!*\*

Твой В. Печерин.

**№ 230. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

Москва

23 апр[еля] 1876

Не писал к тебе несколько дней по получении твоего письма единственно потому, что ожидал решения моей участи на нынешнее лето. Я постоянно болен — чем? Сказать тебе не умею. То была одышка, совершенное уничтожение аппетита и страшный упадок сил, то теперь совершенная бессонница. Ложусь я часу в двенадцатом, не сплю до половины первого (а иногда и всю ночь не сплю) и в 2 ½ за полночь просыпаюсь и уже никак не могу заснуть. Это состояние весьма и весьма мучительно. Не знаешь что делать: и клизопомп пустишь в работу, и горчичник под ложечкою поставишь, и промаешься до утра. Сегодня заснул после 12 и проснулся в 2 ¼. Ходил, сидел, ложился, наконец, в 4 ½ оделся и пошел гулять на бульвар. Еще не вполне рассвело, моросил дождичек понемножку как из мельчайшего сита, я употребил на прогулку 1 ¼ [часа], устал, едва дотащился до квартиры, разделся и заснул часа на 1 ½. Одним словом скверно, гадко и мерзко. Умереть бы лучше всего, да эта подлая смерть прекапризная, именно тогда-то и не приходит, когда, кажется, встретил бы ее с распростертыми объятиями. Что она может мне сделать? Дать успокоение от жизни, которая утомила меня донельзя. Работаю, работаю и работаю только для работы, она и средство и цель. Скажу тебе, положи руку на совесть, работаю честно. Напр[имер], во всех железнодорожных обществах считается превосходным результатом, если расходы составляют 45% валового сбора, у многих они доходят до 60%. У меня на Ярославской дороге 34 руб[ля] 23 коп[ейки] издерживается из 100 рублей валового сбора, по крайней мере в нынешнем году, и 65 р[ублей] 77 коп[ейки] чистой прибыли. От постройки избави Боже, если бы я нажил хоть копейку. Зато при всем том, что мне вверено общественных дел более чем 125 миллионов, я не имею почти ничего. Купил небольшой домик и то потому, что квартиры постоянно растут в цене и что потому трудно и почти невозможно многие годы оставаться на одной и той же квартире, а в 66 лет перемена квартиры является уже событием, особенно у хворого человека. Но я заболтался и позабыл передать тебе решение моей участи на нынешнее лето. Хотели было послать меня в Карлсбад, но решили, что горячие воды при моем биении сердца и при расширении жилы на правой стороне шеи могут подействовать на меня вредно. Между тем хворость моя отняла всякое желание к разъездам, я начал просить оставить меня в России. Доктор, знающий мою природу более 30 лет, начал настаивать, что он положительно не хотел бы для меня никакого усиленного лечения. И, кажется решено, чтоб я ехал на лето в Малороссию на совершенно-покойную беззаботную жизнь, был бы большую часть дня на свежем воздухе, не позволял бы себе никакого усиленного труда и начал бы приучать себя к молоку. Так я и поступаю.

\* Добрый вечер, мой господин! Спокойной ночи! — *ит.*



Итак, мой милый Печерин, этот год мы не увидимся, что мне очень-очень грустно. Как-то я не скрою, упал несколько духом; как-то жизнь моя стала походить более на иноческую чем на мирскую, исключая, однако, именно что я по утрам не в церкви, а в железнодорожных Правлениях, не на устной молитве, а на деловом служении.

Помнишь ли, ты писал мне о рыженьком мальчике, который сиживал на твоих университетских лекциях на первой скамейке. Это Юрий Самарин, он месяц тому назад умер в Берлине. Газеты и журналы всех партий, всех оттенков, даже враждовавшие с ним при его жизни, одним общим воплем оплакали его кончину. Это был деятель, каких у нас едва ли бывало, и Бог знает, скоро ли явится ему равный. Сын очень богатых и аристократических родителей он желал быть профессором — отец не захотел. Один из славнейших дельцов в деле освобождения крестьян, он почти можно сказать не имел ни чина, ни одного ордена. В земстве это был боец, с которым никто не дерзал меряться силами ума, слова, убеждений и нравственной высоты. В городской московской Думе<sup>1760</sup> то же самое. Однажды один аристократ вздумал в земском собрании до небес вознести дворянство русское и унижить крестьян. Самарин богатый и древний дворянин разбил его в пух и прах и изобразил русского крестьянина как человека, искупающего собою грехи других сословий. Это была сама диалектика; с ним можно было не соглашаться, но состязаться с этим богатырем ума и слова было немислимо. Слово у него не было оболочкою мысли, а мысль в ее осязательном явлении. Мы были с ним дружны, но я благоговел пред его благородством, высшею духовною честностью, непоколебимостью русских убеждений и такою неотразимую логикою, которая являлась живым сильным существом в его слове. Обладая огромным образованием с огромною начитанностью, он владел языками и фр[анцузским] и немец[ким] так же, как своим родным русским.

Скоро напишу к тебе и пришлю мой летний адрес.

### № 231. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

7 мая 1876 Секиринцы

Полтав[ской] губ[ернии] Прилуцкого уезда

Наконец я выбрался из Москвы и переехал сюда лечиться водами Виши, содовыми ваннами, но более всего свежим воздухом и невозмутимым спокойствием. Здоровье мое расхлябалось; кажется, я тебе писал, что сон почти совсем меня оставил, стало мало воздуха в груди для дыхания, и желудок чуть только не перестал действовать. Разумеется, от всего этого я похудел страшно, упадок сил сделался такой, что я едва передвигал ноги, а с этим неволью и упадок духа. Одни доктора посылали меня в Виши, другие — на другие воды; но я просил как милости отправиться в деревню в Малороссию к моему приятелю, даже больше, моему истинному другу, чтоб тут восстановить свои силы. Теперь я здесь всего четыре дня и чувствую себя далеко лучше. С утра до вечера я на воздухе; сад превосходный, и в нем-то я и живу. Одышка моя начинает исчезать, сон — восстанавливаться.

Встаю я в пятом часу и тотчас же пью Виши в два приема два полустакана, сопровождая их прогулкою тоже в два приема от 3 до 4 верст. Потом, отдохнув с полчаса, пью кофе и кое-что почитаю, напишу письмо, одним словом пробуду у себя в комнате с открытыми окнами. Одно скверно, это то, что у нас теперь холодно: по утрам всего не больше +6° по Реомюру. Два раза в неделю беру содовые ванны. Остальную часть дня или хожу по саду, или съезжу к соседям и то только для того, чтобы все

быть на воздухе. В Москве я не имел аппетита, здесь начинаю есть как следует, спать почти так как следует. Зато в Москве во весь день я не ходил полуверсты, а здесь большую часть дня все на ногах.

Расхлябавшееся мое здоровье и необходимость поправить его лишили меня возможности пуститься за границу и исполнить сильное желание повидать тебя. Хотелось мне не только побывать в Дублине, но и поездить по внутренности Ирландии. Даже я питал дерзкие надежды, что может быть, и ты решился бы мне сопутствовать. Хотелось тоже побывать и в Шотландии. Ничего не исполнилось. Судя по началу моего здесь пребывания, кажется, здоровье мое должно поправиться. Я думаю здесь непременно остаться до июля, а если потребует здоровье, то, пожалуй, и до августа. Потом хотелось бы в Москве так направить жизнь, чтоб не портить исправленного, и потом что отсрочено, то не уничтожено, и потом собраться к тебе именно не на денек, а пошляться по Ирландии и Шотландии. А теперь пока не можешь ли ты мне прислать кусочек тепла — сегодня особенно холодно.

Твой Чижов.

Мне сказали, что нужно накладывать одну почтовую марку по новым международным почтовым соглашениям. Напиши, пожалуйста, не приходится ли тебе приплачивать?

А что ты скажешь о несчастных наших южных славянах, терпящих страшные тиранства единственно за то, что они единоплеменные и единоверные с нами русскими? Вся Европа думает, что Россия желает воспользоваться их единоплеменностью и единоверием, тогда как этого ни за что в мире не желают ни наш народ, ни наше правительство, ни всего менее те же несчастные славяне.

### № 232. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

26 мая н[ового] ст[иля] 1876

Твое письмо разрушило все мои планы и навеяло на меня какую-то грусть. Нечего делать, надобно покориться воле божьей. Разумеется, с твоим здоровьем путешествовать невозможно. Бессонница — томительная болезнь, но в утешение тебе скажу, что наш кардинал<sup>1761</sup> несколько времени страдал этой же болезнью, но вылечился и теперь совершенно здоров, а он, кажется, 10-ю годами старше тебя, след[овательно], не унывай! Совершенный отдых и свежий малороссийский воздух поставят тебя опять на ноги. Жаль только, что ты не будешь летом в Москве. Д[окто]р Аткинсон отправляется в Россию для того, чтоб участвовать в заседаниях Конгресса ориенталистов, имеющего собраться в Петербурге 1-го сентября<sup>1762</sup>. Он едет представителем здешней Royal Academy, т[о] е[сть] Королевской Академии Наук<sup>1763</sup>. Он выедет отсюда в конце июня, и он будет путешествовать через Швецию в Петербург, Москву (где намерен пробыть несколько недель), в Нижний Новгород и в Киев. Нельзя ли отрекомендовать его кому-нибудь в Москве? Знаком ли ты с Катковым? Жив ли, здоров бывший редактор газеты «*День*» Аксаков? Ему очень хочется коротко познакомиться с Россией и с русскими. Аткинсон привезет мне свежие русские новости и свежие звуки родного языка. Но долгое его отсутствие (почти три месяца) будет для меня очень чувствительно. Я опять впаду в дикое состояние и буду жить один с собакой, точно как жили святые отшель-

ники Фиваиды — все их общество состояло из разных животных: диких ослов, ланей и львов. При нашей развитой цивилизации нам с ними тягаться нельзя, и мы должны довольствоваться одной собакой. А признаюсь, мне очень бы хотелось иметь у себя смиренного ручного льва. Кстати, здесь выставлена (в магазине Лесажа) отличная картина *Жерома*: Св[ятой] Иероним с его львом, оба в глубоком сне, голова Святого покоится на шее льва. Отделка мастерская и все дышит святыею пустыни. Еще одна замечательная картина: *Моисей* на вершине горы *Нево* перед смертью, окидывающий одним взглядом всю обетованную землю<sup>1764</sup> — вид, простирающийся на 125 миль. А сам Моисей — портрет одного из шейхов тамошней местности — благородная фигура в арабском costume.

У нас открыли новый парк для гулянья в самом центре города. Надобно сказать, что Дублин обилует садами и роскошною зеленью. Один из богатейших здешних граждан пивовар *Гиннес*<sup>1765</sup> пожертвовал пять тысяч ф[унтов] ст[ерлингов] на украшение нового парка. Этот же самый *Гиннес* реставрировал на свой счет древнюю церковь Св[ятого] Патрикия (англиканский собор)<sup>1766</sup>, что ему обошлось в 50000 ф[унтов] ст[ерлингов].

О смерти Ю. Самарина нас уведомили здешние газеты, называя его *celebrated Russian publicist*\*. В газете «*Вперед*» есть о нем очень-очень хорошая статья<sup>1767</sup> с некоторыми выдержками из его заграничной брошюрки «*Революционный консерватизм*», Berlin, 1875<sup>1768</sup>. Хотя эта газета и не обилует блестящими остротами Герцена, но мне кажется, она солиднее «Колокола»: передовые статьи отлично обработаны. Она составляет важный орган русского радикализма.

Итак, любезный Чижов, мы с тобой обречены на пустынную жизнь — ты в каком-нибудь захолустье Малороссии, я на берегу Дублинского залива,

Там, где море вечно плещет  
На пустынные скалы,

с единственным спутником жизни — черной собакой. У Байрона тоже была ньюфаундлендская собака, и он ей написал следующую эпитафию:

To mark a friend's remains these stones arise  
I never had but one, and here he ties\*\* ,

т[о] е[сть] у меня был один только друг, и здесь он лежит.

Твой В. Печерин.

### № 233. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Секиринцы  
28 мая 1876

Вчера получил я здесь твое письмо от 26 мая нов[ого] ст[иля]; потому так долго шло оно, что заезжало в Москву и оттуда уже ко мне прислано. Я писал к тебе отсюда 7 мая, очень хотел бы знать, получил ли ты мое письмо; оно послано из Прилук,

\* Знаменитый русский публицист — *англ.*

\*\* «Она останки друга сторожит,  
Один был друг — и тот в земле лежит» (перевод И. Ивановского).  
Дж. Г. Байрон, Надпись на могиле ньюфаундлендской собаки (1808).

а обыкновенно так бывало, что из маленьких городишек письма, особенно заграничные, затеривались.

Слава Богу, здоровье мое видимо поправляется: я приехал сюда с сильною одышкою, которая прошла совершенно; с желудочными болями, весьма уменьшившимися и почти не тревожащими меня; наконец с бессонницею, которая продолжается. Я ложусь обыкновенно часов в 11 или в половине 12-го и сплю часов до 2 ½, даже меньше, потом просыпаюсь на полчаса и засыпаю часов до 3, случается до 3 ½. Тут решительно не могу уснуть, потому встаю, одеваюсь и хожу или на воздухе, или по огромному залу меряных 4 ½ версты, после чего раздеваюсь, ложусь и сплю часа 1 ½ или даже 2 часа. В сложности сплю часов 5, да днем еще досыпаю, и так привык, что смотрю на это как на нормальное состояние. Пред ходьбою и во время ходьбы пью Виши. Жизнь моя тиха, спокойна и безмятежна. Мои хозяева Галаганы муж и жена мне совершенно как бы родные брат и сестра, с ним я соединен дружбою с 1835 г[ода], с нею — с 1840, когда она была еще полудитятею. После завтрака обыкновенно или еду верст за 10 к племяннице Галагана, моей крестнице, или в кабриолете на смирной лошадке без кучера еду в парк. Дом великолепный, сад тоже с двухсотлетними деревьями и превосходными цветниками и превосходный парк. Другими словами: все условия, чтоб поправиться здоровью. Между многими препятствиями путешествию заграничному было плохое состояние моего желудка, теперь и оно поправляется. Одним словом, я скоро буду в буддийской Нирвана<sup>1769</sup> и если в ней не исчезну, то еще побываю у тебя. Если бы не моя хворость, то мне хотелось нынешнего года быть у тебя и вместе с тобою или одному, это зависело бы уже от тебя, поездить по Ирландии и Шотландии. Авось либо это исполнится в будущем году. Нынешнее мое мурманское предприятие тоже сильно посадило меня на мель; не знаю, как-то оно пойдет далее. Все-таки теперь на Ледовитом океане и на Белом море плавают уже три парохода составленного мною товарищества, да ходят два небольших корабля частного моего товарищества с одним купцом. То и другое в сильный убыток, иначе и не может быть для начинающих. Начинают всегда сумасшедшие, пользуются люди благоразумные, а известно и ведомо всем, что подлое благоразумие — отец всех людских мерзостей.

Теперь меня занимает поездка в Россию твоего Аткинсона, потому я и спешу тотчас же отвечать тебе, чтоб мой ответ мог еще найти его в Дублине. Меня не будет в Москве до конца июля, — очень мне досадно, но я обозначу ему места и лиц, к кому везде он может адресоваться от моего имени. Хотя я и не важный человек, а все-таки не последняя спица в колеснице. Заметь, пожалуйста, каждое слово в нижеследующем наставлении и чтить его более, чем магометанин чтит слово Корана.

По словам твоим Аткинсону следует быть на конгрессе в Питере 1 сентября. Приедет он в июле, в первых числах. В Нижнем Новгороде ему лучше всего быть в начале или даже около половины августа, чтоб видеть знаменитую ярмарку. Вот данные. Итак, пусть, приехавши из Швеции на пароходе в Гельсингфорс и оттуда по железной дороге в Петербург, он не остается в нем ни дня как потому, что он успеет быть на обратном пути, так и потому, что едва ли кого найдет; все разъедутся по дачам. Не захочет ли может быть между Гельсингфорсом и Петербургом посетить знаменитый водопад Иматру<sup>1770</sup>. О поездке туда может получить сведения в Гельсингфорсе или в Выборге. Еще и потому он не должен оставаться в Петербурге, что на конгрессе он познакомится с нашим ориенталистом Васильем Васильичем Григорьевым<sup>1771</sup> (теперешним начальником цензуры), человеком весьма умным,

бывшим в мое время в Петерб[ургском] университете студентом. Пусть при встрече с ним сошлется на приятельство с тобою и на знакомство со мною. Полагаю, что то и другое будет хорошою рекомендациею ему в глазах Григорьева. Встретит он там Каэтана Косовича<sup>1772</sup>, которому пусть порасскажет, что слышал о нем много похвал от меня, — Косович, хотя и не так ученый, но очень хороший человек, а Григорьев очень умный, хотя и звездоносный.

Из Петербурга пусть едет в Москву; полагаю, что он не остановится ни в Новгороде, ни в Твери. В Москве, остановясь или у Дюссо (в гостинице), или в Лоскутной гостинице Мамонтова<sup>1773</sup>, пусть, не откладывая, утром между 11 часами и часом пополудни отправляется в Московское Купеч[еское] Общ[ество] Взаимного Кредита (в городе в Юшковом переулке в доме Баранова) и спросит там председателя Ивана Сергеича Аксакова. Председателем там я, но Аксаков за меня председательствует. Если бы не нашел его, что едва ли возможно, то пусть спросит Александра Васильича Штрома (одного из директоров) и скажет, что он англичанин Аткинсон приехал в Россию познакомиться с нею и адресован к Аксакову мною и тобою. Штром ему скажет, когда найти Аксакова тут же в правлении, потому что живет он на даче. Аксаков вероятно покажет ему многое и укажет людей, могущих показать достопримечательно[сти]. Теперь нет никого в Москве, все разъехались по дачам и деревням. Во всяком случае, лучше пребывание в Москве разделить на два раза, и в первый раз, пробыв дней 5, много 6, отправиться в Киев по Московско-Курской дороге *по прямому сообщению* (заметь, это значит, не переменив вагона и не брав другого билета в Курске) в Киев. Так пусть и билет из Москвы берет до Киева. Из Москвы он выедет в 1 1/2 часа пополудни или в 12 с половиною пополудни, в Киев приедет в 9 часов вечера. Правда, что лучше в Киев приехать не вечером, а днем, потому что вид на Киев превосходный, и потому лучше выехать с почтовым поездом. В Киеве следует остановиться в “Hôtel d’Europe” или в “Grande Hôtel”; в последнем лучше номера, в первом лучше обед. Скажи ему, пусть во всех гостиницах по приезде спрашивает цену, это всегда лучше. К кому адресовать в Киеве? Не знаю, потому что не знаю, кто останется в городе и не уедет в деревню. Полагал бы лучше всего к бывшему ректору университета, управляющему государственным Банком, то есть киевскою конторою государственного Банка, Николаю Христиановичу *Бунге*<sup>1774</sup>. Он человек образованный. Пусть скажет, что он слышал от меня весьма много хорошего о нем. Бунге укажет ему на кого-нибудь, знающего Киев. Я забыл сказать, что бывши в Москве ему следует съездить в Троицко-Сергиевскую Лавру. Это он может сделать, коротко поехавши, или поехавши на Волгу, о чем буду говорить после. Если бы я был в Москве, то может быть был бы в состоянии сам съездить с ним по моим двум дорогам: Ярославской и Московско-Курской. Если он желает видеть летнюю деревенскую жизнь в России, то пусть у Аксакова узнает, возвратился ли я из Малороссии, — до половины июля я не возвращусь. Тогда из Киева пусть он доедет по Киевско-Курской дороге до станции *Бахмач*<sup>1775</sup>, так пусть и билет возьмет. В Бахмаче пусть возьмет билет до станции *Дмитровка* на Ландваро-Роменской дороге<sup>1776</sup> и из Дмитровки наймет тележку до *Секиринец*, тут верст 30. Тут иначе трудно, потому что не знаешь когда выслать лошадей за 30 верст. В Дмитровке пусть попросит начальника станции именем моим или именем Трифановской (моей крестницы) помочь ему найти лошадок до Секиринец. В Секиринцах пусть прямо спросит меня, приехавши в дом Григория Павловича Галагана. Если бы случилось, что мы разъехались бы, то пусть спросит самого Григория Павловича, я его предупрежу, он

человек очень образованный и говорит по-английски. Другая возможность есть побывать в подмосковной верстах в 70 от Москвы у Свербеевых, там вся семья говорит по-английски<sup>1777</sup>. Но это лучше тогда, когда я буду в Москве.

Возвратившись в Москву, ему следует отправиться в Нижний Новгород, только не прямо, а следующим образом. Из Москвы он пусть поедет в Троицкий посад и осмотрит Лавру Сергиевскую. Для этого пусть зайдет сначала в Правление Ярослав[ской] дороги не в праздник около 12 часов дня и адресуется прямо от моего имени к директору Петру Николаевичу Баташеву. Пусть передаст ему цель своего путешествия и то, что я ему писал адресоваться к Баташеву (тут я председатель), и попросит записочек на станцию Сергиевскую, в города Александров (Александровская слобода времен Иоанна Васильича Грозного), в город Ростов и в город Ярославль, все к начальникам станций. Может тоже адресоваться в Правление Ярославской дороги (помещается оно в одном здании со станцією Ярослав[ской] дороги в Москве) и к правителю дел Андрееву и к управляющему дорогою Василию Александрычу Шмиту. Они оба с готовностью дадут письма к начальникам станций. Тогда первая остановка будет в Лавре, там надобно будет обратиться, тоже сославшись на мою рекомендацию, или к профессору Академии Субботину, или к инспектору академии профессору Смирнову<sup>1778</sup>, чтобы осмотреть все достопримечательности. В Ростове нужно съездить в город осмотреть Кремль и 4 церкви в Кремле XVI столетия<sup>1779</sup>. В Ярославле адресоваться от моего имени к начальнику станции Глоцкому, он даст провожатого в гостиницу Кокуева<sup>1780</sup>, а для знакомства с городом съездить к великому англomanу директору Лицея демидовского профессору права Капустину<sup>1781</sup>. Из Ярославля отправиться на пароходе по Волге в Кострому, где от моего имени обратиться к вице-губернатору Свербееву<sup>1782</sup>, которого я знаю с детства; он говорит по-английски и будет рад познакомить Аткинсона с Костромою и Ипатьевским монастырем<sup>1783</sup>, где возведен был на престол Михаил Федорович Романов. Из Костромы на пароходе в Нижний; вероятно, Свербеев даст к кому-нибудь письма, а не то пусть обратится к *ярмарочному голове Мошкину*<sup>1784</sup> от моего имени, что он такой, сякой, немазаный. Это купец-фабрикант, говорящий по-французски и, кажется, по-английски. Из Нижнего следует уже возвратиться в Москву по железной дороге. Путешествие небольшое, но такое, что Аткинсон увидит и среднюю Россию, и Киев, и Малороссию, и Волгу. Будь я в Москве, я всюду напутствовал бы его письмами. Пиши мне по тому же адресу, хотя и долго, да верно, не пропадет письмо.

Твой Ф. Чижов.

### № 234. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
23 июня 1876

Любезнейший Чижов!

Это только для формы. Письмо это не будет тебе вручено до 1-го авг[уста]. Аткинсона тебе нечего рекомендовать. Ты уже с ним знаком. Остается только просить тебя показать ему, насколько можешь, Москву белокаменную и весь ее люд православный.

Твой В. Печерин.

№ 235. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

24 июня н[ового] ст[иля] 1876

Оба твои письма из деревни получены исправно. Зачем же этак клеветать и возводить напраслину на вашу провинциальную почту? Она ничем не хуже других. Слава Богу, что здоровье твое поправилось, даже бессонница вошла в нормальное положение. Ей Богу! мне кажется, человек ко всему может привыкнуть, даже к бессоннице! На это ты можешь возразить, что сытый голодного не разумеет, и будешь прав. Для меня бессонница была бы ужаснейшим бичом потому, что по русской половице сон отца родного милее.

Очень благодарен за все указания касательно путешествия Аткинсона. Но он совершенно переменяет свой план. К нему присоединились еще два члена университета, и они через Марсель поедут в Константинополь, а оттуда в Одессу, Киев и Москву, след[овательно], они наверное найдут тебя в Москве. Чего лучше быть не может. Они думают даже побывать в Крыму и на Кавказе, но я очень боюсь, чтоб их там где-нибудь не ограбили или не зарезали. Впрочем, у них есть письма к анг[лийским] посланникам в Петербурге и Константинополе. Я в отсутствие Аткинсона впаду в дикое состояние: совершенно не с кем обменяться мыслями.

Ты как-то случайно упомянул о буддистском *Нирвана*. Знаешь ли ты, что теперь весь образованный мир занимается буддизмом? Везде его изучают и находят, что он никак не хуже христианства, да еще имеет то преимущество, что он шестью столетиями старше его. Как знать? В вечном круговращении земных событий все делается возможным. История беспрестанно повторяется. Может быть, со временем буддизм вытеснит христианство из Европы. Какой-нибудь новый Константин<sup>1785</sup> даст ему официальное значение и все пойдет как по маслу. Вместо Папы у нас будет Далай Лама, вместо Рима мы будем ходить на богомолье в Тибет в Лассу. Тогда уж непременно проложат две железные дороги в Лассу: одну из Западной Европы через Индию, другую из Сибири через Монголию. Две могущественные нации — Россия и Англия — будут состязаться о том, кто окажет большую услугу Святому Отцу Далай Ламе. Вместо покойного римского вопроса возникнет свежий тибетский вопрос: он возникнет необходимо, тем более что китайский император не раз уж пытался отнять у Далай Ламы его светскую власть. Итак, Европа подымет крестовый поход на этого святотатственного императора и покорит Китай, и «эта огромная империя, доселе таившаяся во мраке невежества, теперь озарена благодатными лучами европейской цивилизации, основанной на чистой православной вере буддизма» (смотри газеты того времени). А христианство, согласись, страдает неизлечимую болезнь, т[о] е[сть] последним градусом старческой дряхлости. Некоторые доктора, напр[имер], доктор Пий 9-й, прибегают к самым отчаянным возбудительным средствам, прикладывают испанские мухи, кантарины<sup>1786</sup>, дают больному огромные приемы алкоголя, но все не в прок: больной на минуту пробудится и потом опять впадает в старческую дремоту или еще хуже, он бредит ужаснейший вздор — воображает себе, что он еще в первых годах своей юности, что он молодец хоть куда, что он вот-вот совершит геройские подвиги, а вместо этого он впадает во второе детство и начинает играть в куклы, у него разного рода куклы, все париж-

ского издания — Notre Dame de la Salette\*<sup>1787</sup>, N[otre] D[ame] de Lourder\*\*<sup>1788</sup>, N[otre] D[ame] de Secours perpétuel\*\*\*<sup>1789</sup> и пр[очее]. Кстати о куклах. Когда Пий VII<sup>1790</sup> был в заточении в *Фонтенбло*, французские литераторы заметили, что он вовсе не пользовался тамошней огромной библиотекой, никаких книг не брал и вовсе ничего не читал. «Безумцы! — говорит его биограф кардинал Пакка<sup>1791</sup>, — они не понимают, что этот Святой Муж по целым часам беседовал с распятием: оно было его книгою!» И прекрасно! Мы очень хорошо понимаем, что маленькая девочка может по целым часам и дням беседовать со своей куклой, предлагать ей вопросы и поверять ей тайны своего сердца, но о взрослых людях мы доселе этого не слыхали.

Каких казней я достоин за это кощунство? какими раскаленными клещами следует истязать меня? на каком костре следует сжечь меня и развеять мой прах на все четыре стороны — на север и на юг, на восток и на запад?

Только что вышла книга, долженствующая иметь громадное влияние на весь образованный мир. Это посмертное сочинение лорда Амберли<sup>1792</sup> “Analysis of religious belief”\*\*\*\*. Ты слыхал о сравнительном языкознании? Эта книга — теория *сравнительного верознания*. Это добросовестный, глубоко ученый, всеобъемлющий и все исчерпывающий критический разбор всех религий, а какой из этого надо сделать вывод, ты сам можешь догадаться, *понеже возраст ишаши*.

Угадай, от кого я получил письмо? От Савича! Он опять в Лондоне как ни в чем не бывало, и заявил мне о своем существовании в нескольких строках и прислал мне 1-й том полного собрания соч[инений] Герцена, теперь издаваемого его детьми<sup>1793</sup>. Он прислал еще брошюрку, но о которой здесь упоминать не подобает.

Аткинсон не может быть в Москве прежде первых чисел авг[уста], след[овательно], до этого еще много воды утечет.

Еще один вопрос: есть ли много собак у Галагана?

Твой В. Печерин.

## № 236. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

С[ело] Секиринцы  
11 июля 1876

Все еще пишу тебе из Секиринец, чудного уголка Малороссии, где для меня просто земной рай настолько, сколько в наши годы можно иметь рай на земле. Рай, из которого грехопадение не выгнало, зато умалило прелесть до того, что он является раем только по сравнению с ежедневным чистилищем жизненным. Как кто ни толкуй, а без женщин и рай не в рай, даже и в 66 лет. Здесь прелесть моего пребывания была нарушена смертью сестры моего хозяина Галагана графини Комаровской<sup>1794</sup>; я ее знал с 12-летнего ее возраста, и всегда мы были дружны. Она умерла от чахотки, страдала долго и много и на прошедшей неделе умерла. Кроме приязни как-то вообще грустно терять даже знакомых, с новым поколением так дружно уже не сойдешься, а одному оставаться на земле невыносимо скучно. Кружок моих близких сильно уменьшается; и если мы с тобою проживем подольше, право, наконец, надобно будет тебе переехать

\* Салетская Богоматерь — *фр.*

\*\* Лурдская Богоматерь — *фр.*

\*\*\* Икона Божьей Матери Постоянной Помощи — *фр.*

\*\*\*\* «Анализ религиозных верований» — *англ.*



в Россию, разумеется наперед устроивши жизнь так, чтоб она была возможно приятна. Меня как-то корежит, когда подумаю, что придется тебе жить на совершенно чужих руках. Положим, в больнице, особенно в ваших английских больницах, уход, как говорят, хороший, никому не в тягость, но думаю я, судя по себе, что нашей славянской природе необходима жизнь сердечная, хотя с грехом пополам. Мне часто это приходит в голову, то есть именно приходит в голову о тебе, потому что как-то я о себе не забочусь. Все думаю, что ежели мне удастся в грядущие два года упорядочить дела мои так, чтоб можно было жить беззаботно, тогда просить тебя переселиться сюда. Нечего и говорить о том, что если только ты захочешь, то весьма легко устроить, чтоб тебе разрешили приезд в Россию, где поселиться бы в деревне в довольно порядочном климате. У меня здесь верстах в 10 живет в своем имении моя крестница племянница Галагана премиленькая, которую я привык любить, и должен сказать, что люблю очень сильно. Она и муж ее тоже меня любят и балуют. Это много украшает мою старческую жизнь. Думаю перетащить их в Москву, чтоб они зимою жили в Москве, а на лето уезжали бы в деревню. У них маленький сынишка, очень миленький мальчик.

Приезжал ко мне сюда дни на два Поленов, с ним тоже мы живем очень товарищески и очень дружно. Как на беду он приехал на другой день смерти Комаровской, но это не помешало нам провести два дни в тихом удовольствии товарищеской жизни.

Здесь я *rogul negotiis*\* едва читаю газеты и то одни телеграммы. Мы все заняты одним в политическом мире, это страданием наших братий южных славян, которые терпят все ужасы притеснений и мучений единственно за то, что они нам единоплеменники и единоверные с нами. Вашим подлым англичанам и всей поганой Европе пришло на ум, что Россия непременно хочет расшириться, и из подлого страха они забывают, что это люди, тогда как Россия и ногами и руками готова отбиваться от каждого расширения пределов в Европе. Завладеть славянами значило бы приобрести страшного внутреннего врага, хуже поляков. Они не привыкли ни к какому стеснению со стороны государства, а в России две трети жизни общественной и частной отданы властительству государства — никому не приходит на ум безумная мысль о каком-нибудь присоединении славян. Но помогать сильно страждущим и угнетенным единственно за родство с нами есть наш долг человеческий. Англия действует тут страшно подло — проклятие ей, мерзавке.

Твой Ф. Чижов.

### № 237. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
15 авг[уста] 1876

Мне ль свирепствовать в сраженьи?  
Мне ль решать судьбы царей?  
Я пасла в уединеньи  
Стадо родины моей<sup>1795</sup>.

Никакого толку не добьешься из этих телеграмм. Да к тому ж теперь нестерпимая жара и ужасная лень: нет никакой охоты погружаться в бездну политических

\* Вдали от дел — *лат.* Гораций. «Эподы», II, 1.

соображений, тем более что я в ней ни зги не вижу. Твой Черняев опять выступил на сцену, но, кажется, не очень удачно:

Не отличился в жарком деле  
Непостоянный генерал<sup>1796</sup>.

Тут источник всех зол — религия; не будь этот двойной фанатизм — христианский и мусульманский — дело могло бы уладиться скорее. Возьми, например, Польшу: тут главнейшее затруднение для правительства — Dominus vobiscum\*, т[о] е[сть] католический фанатизм; без него мне кажется с польской народностью не трудно бы сладить. Из всех людских ненавистей самая лютая, непримиримая — это религиозная ненависть. Если бы я был истым ревностным католиком, я бы должен ненавидеть тебя как схизматика, еретика<sup>1797</sup> и пр[очее], а ты православный славянин должен бы смотреть с омерзением на меня как на отступника от правове-рия, приверженца папезства<sup>1798</sup>, как на истое исчадие ада и пр[очее], и пр[очее], и пр[очее]. Но благодаря Богу мы с тобой не очень глубоко религиозны и потому можем жить в мире.

Ты говори, что хочешь, а я стою на своем. Я знаю, я уверен, что у русского народа испокон века есть одна заветная задушевная мысль — пойти на Царьград и водрузить крест на куполе Св[ятой] Софии<sup>1799</sup>. Это согласно со всеми нашими преданиями с тех [пор] как Олег<sup>1800</sup> прибил свой щит к стенам Царьграда. Народы живут не выводами чистого разума, но страстными стремлениями, роковыми увлечениями, которых никакая дипломатия ни предвидеть, ни остановить не может. Qui vivit vegeta\*\*. Одно ясно — симпатия к славянам значит разрушение Оттоманской империи. А кому выпадет на долю наследство больного человека? Как братьям не поссориться при разделе? Мне только жаль государя, который без сомнения ничего столько не желает, как мира и спокойствия. Один из моих приятелей Альфред Тревилиан видел его недавно в Эмсе<sup>1801</sup>: очень задумчивое грустное-грустное лицо как бы изнемогающее под бременем.

Ты говоришь, что не можешь дружно сойтись с новым поколением; а я, напротив, сгораю желанием познакомиться с молодою, т[о] е[сть] с ультрамолодой Россией, со всеми этими нигилистами и нигилистками, студентками медицины, послушать их толков. Вообрази себе, как приятно было бы сидеть в гостиной и любезничать с той милой девицей, которая на днях выстрелила в кн[язя] Горчакова в Берне<sup>1802</sup>. Вероятно она постоянно носит револьвер за своим девичьим поясом. Каковы русские дамы! Настоящие спартанки! Признаюсь, тут есть богатые материалы для революции. Читал ли ты записку министра юстиции графа Палена об успехах революционной пропаганды в России<sup>1803</sup>? Тут невольно призадуматься: тут, в самом деле, увы, не до Константинополя.

Ты, вероятно, уже выехал из земного рая и опять живешь и движешься и имеешь бытие свое в православной Москве. А может быть Аткинсон уже в Москве. Скажи ему, что жена и мальчик здоровы. Она не знает, получил ли он ее письмо, адресованное в Тифлис *poste restante*\*\*\*. Единственная подруга моего уединения — собака:

\* «Господь с вами» — *лат.* Формула благословения в католическом обряде; в общем употреблении — формула прощения.

\*\* Поживем — увидим, время покажет — *лат.*

\*\*\* До востребования — *фр.*

она каждое утро купается в канале близ больницы с величайшим наслаждением и преуспевает в возрасте, разуме и благодати. В 90° жары больше писать нельзя.

Твой В. Печерин.

### **№ 238. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину**

Москва

19 авг[уста] 1876

Получил я от тебя письмо чрез Аткинсона, получил и еще по почте. На беду Аткинсон приехал сюда чрез несколько дней после моего возвращения. Я его видел, передал ему кое-какие билеты и только. Отсутствие мое из Москвы довольно долгое время сделало то, что меня встретила бездна работы, бездна дел и забот. Хотел я ему доставить проводника в Сергиев[скую] Лавру, место весьма замечательное и по истории и по тому значению, какое она имеет у народа. Случай представился превосходный: в день Успения 15 авг[уста] там обед для бедных и в трапезе обед для всего общества — не тут-то было, меня захватили пробовать рельсы, надобно было уехать из Москвы на два дни, потом приехал и по горло в работе. Хотел дать ему письма в Петербург, но уже не нашел его, он уехал без моих писем. Досадно, очень досадно, а делать нечего.

Не ворчи, брат, на балканских славян, они сильно платятся за то, что желают освободиться из-под варварского ига, и бедствуют, страдают, подвергаются истязаниям без малейшего сочувствия к ним [нрзб] образованной Европы только за то, что они единоплеменны с нами русскими. Действительно, народ считает их просто русскими; на нашем веку не было такого воодушевления, каким проникнуты теперь все сословия. Денежные пожертвования приходят ежедневно тысячами рублей и более всего от простого народа; волонтеров являются сотни и только потому идут десятки, что не военных давно перестали принимать. Офицеры идут тоже десятками, а в сумме сотнями, идут без жалования. Генерал Черняев и его сподвижники служат без вознаграждения и дерутся так, как дай Бог драться [нрзб] воинам. Русских офицеров убивают по преимуществу, но это не останавливает остальных. Можно не разделять их русских убеждений, но глумиться над людьми, жертвующими жизнью и сознательно идущими на смерть, вам высокоумным для чего и не поглумиться, присевши за угол своей эгоистической жизни. Смейся сколько угодно, а меня мучит то, что я стар и болезнен, не утерпел бы я и стыдно теперь сидеть дома, когда братья русские идут на явную смерть. Если будет открытая война, то я полагаю, что одних охотников явятся десятки тысяч. А едва ли правительство не будет вынуждено общественным мнением вступить в войну, если подлый европейский эгоизм обидит славян. Для тебя, разумеется, парламентское решение верх мудрости, человечности и образования; мы смеем смотреть иначе: для нас эта подлая торговая политика — мерзость античеловеческая. И все это из боязни увеличения России, — да черт бы их подрал, — к чему, наконец, нам увеличение, и без него целые государства могли бы поселиться на наших необозримых пустырях.

Не вини меня, я русский до мозга костей и никакое франтовство европеизмом не снимет с меня моего естественного цвета, пусть зовут меня диким, но быть бы только русским.

Твой Ф. Чижов.

№ 239. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

8 окт[ября] н[ового] ст[иля] 1876

Наконец Аткинсон возвратился из России. Он совершил блистательное путешествие. Вообрази себе: из Константинополя в Одессу — оттуда через Крым на Кавказ — по Каспийскому морю в Астрахань — семь дней на Волге и, наконец, в Москву. Он не мог налюбоваться Москвою, пробыл там три недели, занимаясь исключительно изучением славянских книг, отслушал обедню у Василия Блаженного<sup>1804</sup> и обозрел всю Москву с колокольни Симонова монастыря<sup>1805</sup>. Он не хотел тебя беспокоить, видя, как ты обременен делами, да и, к сожалению, заметив, что здоровье твое очень плохо. В Петербурге конгресс ориенталистов не очень удался: Академия Наук, кажется, в раздоре с университетом и потому ни один из академиков не присутствовал там. Но лучшая часть конгресса было угощение: их хорошо поили и кормили и возили повсюду — и в Царское Село, и в Петергоф, и в Кронштадт, и Бог весть куда.

Ради Бога, не требуй от меня никаких политических сочувствий! Ты помнишь басню, как один проповедник до того растрогал своих слушателей, что все они рыдали. Один только человек остался равнодушным. «Ну, брат! — сказал ему один из прихожан, — должно быть у тебя очень черствая душа, что ты и слезинки не уронил!» — «Помилуй, братец! — отвечал тот, — с какой же стати мне плакать, ведь я не этого прихода!»<sup>1806</sup> Отец и князь правоверных — не султан, а Папа — открыто, официально взял сторону Турции. Недавно здесь был кардинал Франки, преемник Антонелли<sup>1807</sup>: он хвастался тем, что покойный султан Абдул Азиз<sup>1808</sup> удостоивал его своей особенной благосклонности. Что ж тут нам остается делать? Остается кричать: да здравствует ислам! и к черту христианство! Надо также принять в соображение, что султан — тоже Папа в своем роде и что он также рискует лишиться светской власти, след[овательно], сочувствие *нашего* Папы очень естественно — свой своему поневоле брат. Политика у него вытеснила религию. От России нам ничего доброго ожидать нельзя, от Сербии еще меньше, след[овательно], лучше держаться той стороны, где можно кое-чем поживиться хоть малую толику.

Ты знаешь, что в протестантской Англии были многочисленные митинги для заявления сочувствия к болгарам и пр[очим]. Но в католической Ирландии ничего подобного не было: и духовенство и миряне остались совершенно равнодушными. «Я не этого прихода!» Некоторые простодушные люди с изумлением спрашивают: «да что ж это такое? что это значит, что глава христианства подает руку дружества Магомету?» Это значит, что христианство отжило свой век, и что мы теперь руководствуемся одними земными интересами. Дряхлый римский князек протягивает руку не менее дряхлому монарху Стамбула — авось какая-нибудь помощь там будет. Я уверен, что энтузиазм русского народа истекает из глубокого религиозного чувства, и за это они достойны всякого уважения и сочувствия, но на Западе это невозможно — на нет и суда нет. А как тебе кажутся эти в воздухе носящиеся слухи, что герцог Эдинбургский с русской царевной будут царствовать в Царьграде, будут жить да поживать да добро наживать?

Et tout finit par des chansons\*.

\* И все кончается песнями — *фр.*

Аткинсон привез бездну книг из России, между прочим, новое сочинение Щедрина, презабавная сатира на новые суды<sup>1809</sup>.

У нас доселе стоит прекрасное лето. Уведомь меня о твоём здоровье.

Твой В. Печерин.

### № 240. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Петербург

5 окт[ября] 1876

Скажи, пожалуйста, откуда ты вообразил, что я от тебя требую каких-то политических сочувствий? Вероятно из описания нашего московского энтузиазма в деле частной помощи южным славянам? Это я описывал тебе просто-напросто как факт, как явление жизни, от которого как ни отворачивайся, не отвернешься, потому что охватывает тебя везде: на улице, посреди твоих занятий, за обедом, в гостях, одним словом везде с утра до вечера. Люди так созданы или, по крайней мере, так сформировались с тех пор, как внутри их родилось понятие о счетоводстве, а это родилось едва ли еще не в первобытном рае, когда Ева торговалась со змием<sup>1810</sup>, так выработались люди, что у них приход с расходом сходятся или не сходятся, это иное дело; но всегда стоят на смежных страницах. Где приход жизни, там и расход ее, и кой черт заставит расходовать там, где ничего в приход не заносится. У нас дело другое. Можешь называть наше движение как хочешь, я решительно остался бы равнодушным к твоему названию или, со своей стороны, назвал бы его страшною самоуверенностью, привычкою папизма к непогрешимости, не признающей ничего, чего не могут определить по «Логике» Баумейстера<sup>1811</sup>, если бы ты или кто бы то ни было отвергал бы факт нашего для нас самих невероятного увлечения. Правительство и его ярые сподвижники всеми зависящими от них средствами стараются остановить народное и общественное движение; европейская печать, недавно еще великая владычица умов и суждений нашей high life\*, видит в этом скифскую дикость, а между тем ежедневно волонтеры (их зовут добровольцами) ежедневно едут десятками и сотнями. Газеты передают, что русских офицеров в Сербии на поле битвы бьют 31 из 50; их там не ждет ни отличие, ни чины, ни ордена, ни деньги, потому что у самих сербов нет ни копейки, и все-таки офицеры и нижние чины идут и с восторгом говорят о том, что они положат живот за своих братьев. Ты уверен, что энтузиазм русского народа выходит из религиозного чувства; с тобою вместе уверены многие, знающие Россию не такою, какая она есть, а такою, какою они ее создали в своих понятиях; положим, так: простой народ руководится преимущественно религиозным чувством, особенно с того времени как священники в церквах начали обращаться к этому чувству; но те слои общества, которые никак не уступят тебе в своем совершенном равнодушии к каждому общественному, не только религиозному, чувству, которые точно также самоплеются в упоении своим все равнодушием — они просто поставлены в тупик. Разумеется, большая часть этих господ за неимением другого объяснения приписывают все нам славянофилам и нашему подстреканию, особенно Аксакову. Спасибо им за такую честь. Дело в том, что славянофилы теперь не имеют своего органа, а народ сам стал славянофилом. Бывают, брат, минуты в истории, когда дипломатия становится в тупик и когда все вы умные люди, привыкшие

\* Великосветская жизнь — *англ.*

по первому случайному яркому факту предписывать законы истории, что все вы начинаете переливать из пустого в порожнее. Совершенно таково [содержание] те-перешних длинных-предлинных газетных столбцов.

Жаль мне, что я не мог быть полезен твоему Аткинсону; но действительно в Москве меня встретила такая масса дел и, к тому же, совершенно верно его замечание, что здоровье мое порядочно пошатнулось, — так что я, в конце концов, не мог уделить ни одного полного дня. Может быть и лучше. Москва сильно растет только вверх: надстраиваются этажи, застраиваются пустыри, и ты, ходя по ее улицам, осязаясь, что строится огромный город. Но, слава Богу, все-таки она не делается официальным городом: ни бездны солдат по улицам, ни педантской строгости в уличной жизни. В Петербурге непременно шляпа, непременно пальто, в Москве — как Бог послал. Теперь я около месяца живу в Петербурге по делам железных дорог, почти каждый день простужаюсь, по временам порчу желудок, хотя ем немного более цыпленка и вообще поступил кандидатом на готовящегося к отбытию *ad patres*\*. Пора, брат; жить надое-ло. Очень хотелось бы как-нибудь порешить с делами, если не совсем, так с большею частью. Мурманское мое предприятие идет чрезвычайно как трудно; не знаю, удастся ли мне его переломить. Ледовитый океан страшно непокорен.

Твой Ф. Чижов.

#### № 241. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

8 ноября н[ового] ст[илия] 1876

Любезнейший Чижов.

Из твоего последнего письма я вижу, что ты решился умереть на поле битвы с оружием в руках, потому что, несмотря на твое плохое здоровье, ты едешь в Петербург, беседуешь с министрами, а мурманское дело не выходит у тебя из головы. Нет, брат! ты меня не проведешь. Положим, что твое здоровье плохо, но у тебя медвежья сила и живучести у тебя еще достанет на многие лета. Итак, воспоем же густым басом: Федору Васильевичу Чижову мно-о-о-о мно-гая лета! Кстати, Аткинсон был поражен и изумлен или изумлен и поражен, что все одно и то же, густым несравненным неподражаемым громадным басом московских диаконов. Он купил в Москве «*Записки охотника*», и теперь мы их ежедневно читаем с величайшим наслаждением. Тут есть кое-чему поучиться. Тут видишь настоящий русский народ как он есть в самом деле, очень различный от известного нам официального народа, даже мне кажется, что между этими двумя народами есть бездна непроходимая. Жаль, что мне не удалось короче познакомиться с этим истым русским народом. В наше время мы более занимались парижскими *gamins*\*\* и *peuple français, peuple des braves*\*\*\*, а о русском простолюдине мы думали, что едва ли найдется у него хоть капля здравого смысла. Нечего делать — такова судьба!

У вас отчеканили новое слово — *доброволец*. (Между нами будь сказано, Николай Павлович<sup>1812</sup> никогда бы не допустил его в русский словарь). Позволь мне

\* «К праотцам», «к предкам», т. е. на тот свет — *лат.* Библия, Книга Царств, 4. 22, 20.

\*\* Сорванцы — *фр.*

\*\*\* Французский народ, народ храбрецов — *фр.*

войти в этимологический разбор этого слова. *Доброволец* — значит человек, идущий по *своей доброй воле* сражаться за независимость соседей или собратий. Очень хорошо. Но любовь к независимости, знаешь, очень прилипчива. Человек, проливавший кровь за чужую независимость, непременно подумает и о том, как бы и себе упрочить ту же независимость на родной почве. Понимаешь? Имея уши слышати да слышит. Вот что говорит моя газета, т[о] е[сть] «*Вперед!*» «Для пустой и бесцветной русской жизни борьба славян с турками — героическая эпопея. Единоплеменность, единоверность и т[ак] д[алее] — дело не существенное и только облегчает возбуждение сочувствия. Главное дело — борьба притесненных с притеснителями. Русский человек, принадлежит ли он к интеллигенции или к народу, знает или, по крайней мере, смутно чувствует, что он вечно был задавлен и притеснен. Никогда он не мог ни говорить, ни думать, ни дышать свободно<sup>1813</sup>. И вдруг с *разрешения начальства* он может выказывать свое сочувствие другим подавленным, другим притесненным, которые решились жить политической жизнью, решились бороться против притеснителей. Точно так же как верноподданные Людовика XVI<sup>1814</sup> рады были дозволению сочувствовать Вашингтону и Франклину<sup>1815</sup> и посылали из своей среды людей драться за дело свободы и независимости, которая отсутствовала во Франции старого режима, так в настоящую минуту русские как будто чувствуют себя немножко людьми из-за того, что говорят открыто о своем сочувствии мятежникам против султана, производят публичные и печатные демонстрации в пользу этих возмущившихся подданных, шлют из своих рядов людей на борьбу за свободу, за независимость, которой опять-таки нет, и не предвидится им у себя дома!»<sup>1816</sup> Как это тебе кажется? А ты себе смекай да на ус мотай.

Наши газеты, как я слышу, ужасно храбрятся, дышат каким-то воинственным завоевательным духом, готовы поглотить и Турцию, и Австрию, и всю Европу, если можно. Il ne faut pas péter plus haut que le cul\*, говорит французская поговорка. Откуда у них взялся эдакой задор? и кто их по этому подстрекает? Должно быть, у вас теперь неограниченная свобода печати, а может быть и то правда, что хотели бы приостановить, да не могут. Государю придется сказать с Наполеоном III — la Russie m'écharré!\*\* Турция и Константинополь — все это вздор, а главный вопрос в том, какое влияние эта война будет иметь на *внутренний строй* России, это один Бог знает. Может быть с божьей помощью мы с тобой доживем до чего-нибудь новенького в России res novae\*\*\*. Читаешь ли ты «*Новое Время*»<sup>1817</sup>: это, говорят, у вас самая модная газета.

Твой Печерин.

## № 242. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

10 нояб[ря] 1876

Как, брат, ты там ни рассуждай, великий мудрец многомудрой Европы, а мы здесь рассуждаем по-своему. Знаю я одно только то, что у меня есть внутренний маятник, который мне всегда говорит, когда приходит время получать от тебя письмо.

\* Не следует пукать громче, чем задница — *фр.*

\*\* Россия скрывается! — *фр.*

\*\*\* Нововведения, новые обстоятельства, государственный переворот — *лат.*

Я не справляюсь с числами, не помню, когда было получено твое последнее письмо, и вместе с тем всегда что-то говорит во мне, что Печерин как-то давно не пишет, и в ответ именно в тот день или на другой я получаю твое письмо. Так случилось и теперь. Между тем, в промежуток от отправления к тебе письма до получения твоего я съездил в Севастополь, который был мне знаком еще до войны с подлыми англичанами. Выехал я из Москвы в воскресенье, не останавливаясь нигде, приехал в Севастополь во вторник вечером, взял в свой вагон Поленова с дочерью<sup>1818</sup> и с ними в пятницу уже был в Москве. Поехал туда именно для того, чтоб взять Поленова: он болен, дочь его тоже, и при теперешнем передвижении войска им больным были бы трудны, а может быть и гибельны остановки; вот я и пустился в своем директорском теплом вагоне и привез их. А все-таки, брат, 66 лет, никак их не убавишь, как ни молодись.

Эко когда ты узнал о существовании «Записок охотника». Это лучшее из сочинений Тургенева. Не говоря уже о свежести таланта, обещавшего далеко больше самостоятельности, чем сколько явилось у него впоследствии, он в этих записках был честным благородным русским, а не холопом Европы. Как мы ни дики, как ни неотесаны, но мы в народе живем своею жизнью, а едва только Тургенев уткнул нос в так называемое образованное общество, в интеллигенцию, и понесло от него мертвечину и лакейством. Вот тебе и решение, что такое славянофилы. Ты ровно ничего об них не знал, а привыкши схватывать суждения из двух-трех на лету попавшихся суждений, тоже заклеил их каким-то [нрзб] и черт знает, что взвел на них; я когда-то прочел твое суждение и, признаюсь, не [принял] труда разуверять тебя. Эти люди знают народ не понаслышке; в нем воспитались, с ним сжились и не только любят его, а благоговеют перед ним. Где же вам умникам, самоуслаждающимся собою, низойти до этого грубого народа? Он не носит ни желтых перчаток, ни белых галстуков и никак не подчиняется сотне тысяч китайских или английских вычуров. Слава Богу, в последнее время перестали считать славянофилов десятками, — они были передовые, узнавшие народ со всеми его чудными качествами, а теперь уже и все сознают это. Небось правительство двинуло настоящее сочувствие к сербам, болгарам, боснякам и герцеговинцам. Правительство также лижет зад у Европы, как и русская интеллигенция, — нет, это чисто народ, не только не спрашивая у правительства, а идя часто прямо против желания особ первых четырех классов и всего чиновничества. Вы, европейские умники обыкновенно охотники объяснять факты совершившиеся, а народ глух, он совершает факты без объяснений. Слава тебе Господи, наконец, началось у нас передвижение войска<sup>1819</sup>, и мы надеемся, что если начнется война, то наперекор всем вашим жидам д'Израели, всем Дерби и Эллиотам<sup>1820</sup> у нас составитя миллионное войско. Никто не спорит, война всегда гибельна, но нельзя же склонять главу пред вашими подлыми англичанами-жидами, которые хуже жидов — им только бы деньги, за деньги они готовы отдать все человеческое. Как и что ты ни говори, а подлецы препорядочные. Ты люби их сколько душе угодно, а мы от всей души их ненавидим, и очень-очень хотелось бы пощупать их на континенте. Развалины Севастополя напоминают нам их голубчиков. Чуть не вся Европа, кто явно, кто исподтишка напали на нас во время Крымской войны и много сделали? Разгромили Севастополь — да; но ряды могил говорят, что он достался очень и очень недешево. Страшно горько мне, что уже перевалило за половину седьмого десятка, что я болезнен, что с моими больными ногами мне не перенести всех трудностей похода, а будь лет 20 помоложе, с величайшим наслаждением убил бы хоть двух подлых англичан. Ты, я думаю, отчуряешься от такого приятеля,



когда прочтешь эти свирепые строки, — да, брат, мы диковаты. Нет мирнее русских, когда их не затрагивают; зато им жизнь копейка, когда заденут Россию. Не забудь, что мы в Крыму были не с ружьями, а с палками и в своем отечестве гораздо в дальнейшем расстоянии от поля битвы, чем наши враги, потому что добирались туда по непролазной грязи.

Откуда ты знаешь о газете «Новое время»; действительно, это теперь более живая газета. Редактор ее тот самый Суворин, которого биографические очерки Баршева, Баргенева и других я когда-то переслал тебе.

Если ты, прочтя настоящее мое письмо, сильно вознегодуеть на меня, то вспомни, что не должно нам ссориться, ибо скоро полвека, как мы приятелями, итак, да не зайдет солнце во слове твоём<sup>1821</sup>.

Твой Ф. Чижов.

P.S. Любезный Печерин, сейчас навел справку у Поленова — он давным-давно переслал к тебе «Записки охотника».

### № 243. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

10 декабря н[ового] ст[иля] 1876

Опять скажу: не проведешь ты меня, брат! Какие тут 66 лет! Твое письмо дышит пылом юности. Чего доброго может быть, со следующей почтой я получу известие, что ты пошел в добровольцы. А какова эта поездка в Севастополь? Зимой прокатиться каких-нибудь 800 верст, это тебе нипочем: от этого в старые годы перекрестились бы. Письмо твое для меня важнее всех газет: оно показывает настоящее настроение умов в России. Ты прислал мне формальное объявление войны. Но я не подыму твоей перчатки. Я очень миролюбивого расположения. Моя собака тоже: она никогда не кусается, а если и лает, то лает только для заявления дружбы и семейного счастья. Я более и более с ней сближаюсь и постепенно открываю, что между нами немного разницы. У меня есть некоторые завиральные идеи, зато у нее простота сердца и здравый смысл. Признаюсь, она немного смыслит в славяно-восточном вопросе, да и сам я не далее ее вижу. Но если уж быть войне... Это напоминает мне «Юрия Милославского»: там какой-то русский солдат бог весть какими судьбами попавший в английский парламент так его описывает — «Вдруг встает один и говорит: Быть войне! Врешь, говорит другой, не быть войне» и т[ак] д[алее]<sup>1822</sup>. Душевно желал бы сказать тебе этим парламентским слогом: «Врешь, Чижов, не быть войне!» Но, видно, судьбы иначе решили. Я теперь смотрю на эти события как на физические явления, произведения темных бессознательных сил природы: это то же что землетрясение, повальная болезнь, поветрие и т[ому] п[одобное]. С ними нечего рассуждать. Надобно смиренно преклонить главу и покориться необходимости. Разыскивать кто прав, кто виноват — суцая нелепость. В истории надобно держаться одного основного неизменного принципа или, по-русски, начала, т[о] е[сть] *La raison du plus fort est toujours la meilleure*\*. Вот тебе сущность моей *кинической*\*\* или собачьей философии.

\* Более значимый мотив всегда предпочтительнее — *фр.*

\*\* От *греч.* κυον (кynos) — собака.

У меня в «Русской потаенной литературе» есть славянофильские стихотворения; тогда они были запрещены, а теперь какая перемена и какой скачок!

Тебя призвал на брань святую,  
Тебя Господь наш полюбил,  
Тебе дал силу роковую,  
Да сокрушишь ты волю злую  
Слепых, безумных, буйных сил.  
Вставай, страна моя родная!  
За братьев! Бог тебя зовет  
Чрез волны гневного Дуная  
Туда, где, землю огибая,  
Шумят струи Эгейских вод<sup>1823</sup>.

Вставайте! Оковы распались,  
Проржавела старая цепь!  
Уж Нил и Ливан взволновались,  
Проснулась Сирийская степь.  
Вставайте, славянские братья,  
Болгарин, и Серб, и Хорват,  
Скорее друг другу в объятия  
Скорей за отцовский булат!<sup>1824</sup>

И воды древние Софии  
В возобновленной Византии  
Вновь осенят христов алтарь.  
Пади пред ним, о, царь России,  
И встань как всеславянский царь!<sup>1825</sup>

Моя газета сообщает мне разные анекдоты, которые может быть тебе неизвестны. Вот, напр[имер], я вижу, что Кетчер еще жив. «Этот самый Кетчер, который любил французскую революцию как библейскую легенду, теперь, в 1876 г., на обеде в память Грановского отказался пить за нынешнюю молодежь, называя ее *гнилью*, и пил тост за *Шумахера*»<sup>1826</sup>. А вот еще: «Григорьев, нынешний начальник Главного управления по делам печати, призывал к себе Суворина и заявил, что он очень доволен направлением суворинской газеты, советовал и далее продолжать в том же духе, сообщил, что он рекомендовал Его Величеству «Новое Время». Его Величеству оно так понравилось, что они изволили заказать для себя экземпляр на веленовой бумаге<sup>1827</sup>. На днях запрещена розничная продажа «Голоса». Почему? Трудно догадаться. Зоилы<sup>1828</sup> из других газет уверяют, будто Краевский сам просил запрещения на несколько дней, чтоб после *ходче шел*»<sup>1829</sup>.

Вот видишь, может быть, я лучше тебя знаю, что делается в Петербурге и Москве.

Итак, Чижев, препояши меч твой по бедре твоей сильнее! И налязы и усевай, и наставит тя дивно десница твоя<sup>1830</sup>. Добле подвизайся на благо твоих единоверцев! А у меня никаких единоверцев не имеется, понеже я ни во что не верю за одним только исключением: я верю в неизменную дружбу Федора Васильевича Чижова и с сей единой спасающей верою пребуду до конца.

Твой В. Печерин.

P. S. Я нимало не сомневаюсь, что Поленов переслал мне «Записки охотника», но что я их не получал, это тоже достоверно.

№ 244. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

5 декаб[ря] 1876

Как я рад, мой милый Печерин, что твой пес находится в вожделенном здравии; скажи ему, что он в дальних, очень дальних странах имеет истинного почитателя его высоких достоинств. В каких странах, ты ему не объясняй, да и объяснить ты не сумеешь, потому что сам ты не силен в географии; тебе кажется, что Севастополь от Москвы в 800 верстах, а тут 1500 верст с хвостиком. Хотя ты мне и не пишешь, а я думаю и уверен, что твой почтенный пес преподает тебе если не теорию, то практику благодушия. На мое задорное письмо ты так благодушно отвечаешь, а я побаивался, очень побаивался, что ты, пожалуй, и осерчаешь. Учись, учись прилежнее у твоей собаки; и в твоей религиозности тоже видны следы собачьих наставлений — из безверного ты стал чижововерным — тоже исключительная черта твоей природы. Ты пишешь о Кетчере — это, брат, давным-давно отсталый прогрессист, все они, не исключая и талантливого Герцена, в самое юное время их соединения во имя истины поклялись до того бесплотной правде, что она сама собою улетучилась, когда зрелый возраст потребовал точнейшего или, говоря по-русски, конкретнейшего определения. Герцен был всех задушевнее и не остановился, занеся ногу вперед, он пошел в самую крайнюю и только тогда спохватился, потеряв веру в крайности, когда старость подрезала крылья. А Кетчер вечно хохотал и ругался. Когда-то десятка полтора лет тому назад, если не больше, издавалась газета, едва ли не «Русское слово» под редакцию едва ли не графини Сальянс; захирела и скончалась. Сколько помнится, в «Искре», газете карикатур и подсмеиванья, напечатано было в стихах ее погребение. Между прочим:

Лились слезы из очей  
У бесчисленных Коршей<sup>1831</sup>.

Кажется, ты знал старшего Корша, приятеля покойного Крюкова; и тут же два слова о Кетчере: «А Кетчер идет и хохочет». Вот тут и весь Кетчер. А Зеленый<sup>1832</sup> сидит и тасует. О Григорьеве, кажется, что я тебе писал: он вышел из нашего Петерб[ургского] университета двумя курсами позже меня вместе с Грановским; это достойнейший ученик Сеньковского, барона Брамбеуса<sup>1833</sup>. Умен, весь скован и склепан из самолюбия, очень начитан, со многими звездами. Вот тебе и Григорьев. Кстати к Григорьеву, к университету и к звездам: переписываешься ли ты когда-нибудь с Никитенком? Или написали вы друг другу по писульке, да и надоели друг другу? Помню я вашу юную Россию, которая теперь старше поповой собаки. Никитенко, в жизни весьма реальный, вечно витал в идеалах; Гебгардт, ворчавший на каждом шагу, ругавший чиновников чиновниками, военных офицерами, сблизился с жизнью за стаканом пива и у себя — с еженедельно переменяемою девкою дюжею и толстою, которой прелести он обыкновенно вкушал, окруженный зеркалами по сторонам кровати и под кровлею зеркалов. Теперь он стар, как-то имел первое предостережение от Кондрашки, сиречь паралича, и оставил себе на старость страсть именно тем замечательную, что она провожает человека до гробовой доски — скаредную скупость. Я его всегда любил, что не мешало мне звать его блядским старостою и гарпагоном<sup>1834</sup>; он тем хорош, что до глубокой старости сохранил в себе сильную сердечную теплоту, именно, может быть, оттого, что она постоянно была согреваема голыми женскими телесами.

Да, брат, как ни ершись, а старость берет свое; не будь-ка поганой старости, разумеется, я непременно бы ледунку<sup>1835</sup>, саблю, коня и в поход. Вообще мне страшно досадно, что я не исполнил своего назначения: не служил я в военной службе, куда именно назначен природою. Подраться, это просто мне наслаждение, и если мне бездна задорности сходила с рук, то уже просто по воле Провидения.

Пожалуйста, пожми лапу твоему псу и доложи ему, что я его сильно чту за его наставления тебе и практические указания по части благодушия и верования. Поклонись от меня и Аткинсону.

Твой Чижов.

**№ 245. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

12 января н[ового] ст[илия] 1877

Заря багряною рукою  
От утренних спокойных вод  
Выводит с солнцем за собою  
Твоей державы новый год<sup>1836</sup>.

Под именем твоей державы я разумею мурманские берега и все относящееся к северному полюсу, включая и белых медведей. У нас теперь есть парочка их в зоологическом саду. Они такие милашки, так и хотел бы их поцеловать. Я советовал бы тебе завести у себя ручного белого медведя как символ твоей деятельности и твоих стремлений к северному полюсу. Помнишь ты слона, которого ты сам кормил булками? Он тогда был очень молод, а теперь сделался огромной скотиной и такой упрямой и брюзгливой, что его надзиратели едва могут с ним сладить, но с публикой вообще он обходится довольно вежливо, вероятно, из корыстных видов. Заметь, что все мои близкие знакомые принадлежат к животному царству, т[о] е[сть] к отделению четвероногих.

Но шутки в сторону. У нас новый год начался страшными бурями и наводнением. Море выступило из берегов и затопило железную дорогу между Дублином и Кингстоуном. Волны с невероятной силой нанесли на рельсы огромные камни, целые скалы; стены, построенные для отпора валов, и морские баки снесло как картонный домик. Потери огромные на несколько тысяч ф[унтов] ст[ерлингов]. Вдоль набережной во всех домах подвалы и кухни были затоплены, вода стояла выше 2 футов. А теперь солнце сияет уже весенним блеском, и зимы доселе вовсе не было.

Третьего дня был торжественный въезд нового вице-короля герцога Мальборо, т[о] е[сть] по-французски *Мальбрук*<sup>1837</sup>.

Malbrouk s'en va-t-en guerre,  
Mironton, Mironton\*<sup>1838</sup>

Но он привез с собою из Лондона такой густой туман, что все разноцветные флаги и знамена, коими улицы были испещрены, едва были видимы. При всем том народа была бездна и энтузиазм как нельзя больше. Все окна были наполнены раз-

\* Мальбрук в поход собрался.  
Миронтон, Миронтон — *фр.*

ряженными дамами, махавшими платками, отличная военная музыка играла народные арии. Чего же больше для ирландцев?

Жаль Гебгардта. С этим именем связаны приятные воспоминания. Он был любезный молодой человек. Мне очень бы хотелось как-нибудь довести до его сведения, что я живо его помню и живо ему сочувствую. К несчастью в России, особенно в Петербурге, люди как он преждевременно стареются или, как говорится, опускаются. Вот, говорят, и Никитенко тоже очень опустился. Ты один составляешь исключение из общего правила, вероятно, оттого, что у тебя белые медведи вечно на уме.

Моя переписка с Никитенко длилась от 1865 до 1869, а тут она волей божей скоростно скончалась. Вероятно, ему надоело получать письма с бесцеремонным адресом: Alexandre Nikitenko. С последним письмом он прислал мне свои брошюры в огромном пакете с пятью печатями. Но на этом пакете уже было отмечено: «От генерала Никитенко!» Значит, *avis au lecteur*\*! Чин чина почитай. Какой это генерал — от кавалерии или от инфантерии — Бог один знает. Но, во всяком случае, следовало адресовать: *Его Превосходительству Действительному Статскому Советнику и разных орденов кавалеру и пр[очее] и пр[очее]*.

Слышал ли ты, что священник Евгений Попов умер в Петербурге год тому назад<sup>1839</sup>? Об этом меня уведомляет — кто ты думаешь? — Савич из Лозанны. Вот как мало-помалу сходят со сцены все старые знакомые. Скоро погасят кенкеты<sup>1840</sup> и занавес опустится.

Твой В. Печерин.

Не знаком ли ты с Худяковым<sup>1841</sup>?

## № 246. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

16 янв[аря] 1877

Вот уже дни четыре как получил я твое письмо и все как-то не успел ответить. Начну с того, что я только что возвратился из Малороссии, именно из Полтавской губернии, где я провел все праздники и несколько первых дней Нового года. Мне хотелось отдохнуть от скучного однообразия моей официальной жизни, хотелось дать успокоиться глазам от форменных бумаг, наконец, хотелось пожить сколько-нибудь по-человечески. Здешняя моя жизнь — совершенное иночество, только без молитвы. Только что встаю в 8 часов и напьюсь кофе, иногда что-нибудь почитаю с полчаса, как лошадь уже готова, и я отправляюсь сначала в Правление одной железной дороги, потом в Правление другой, там весьма скромно завтракаю и возвращаюсь домой часов около 4. Иногда заезжаю в Правление Банка, но редко, потому что там вместо меня Ив[ан] Серг[еевич] Аксаков. Тут я чувствую себя уже довольно утомленным, потому что все утро в какой-то судорожной деятельности: просмотреть все поступившие требования, жалобы, заявления, предписания, на все ответить, просмотреть и подписать все счета, потолковать иногда с десятком людей о рельсах, о шпалах, о песке, о станциях — одним словом, о всей железнодорожной дряни; — все это необходимо, все это занимает столько же, сколько занимает хлебопечение, то, что надобно готовить к столу, где что купить и тому подобное. Все это к концу концов сильно утомляет, пожалуй, самым своим бессодержанием; тем

\* (Обращение) к читателю, предисловие — *фр.*

более что ни на что невозможно ответить, не сообразивши, и все в общем итоге отзывается миллионами рублей издержек и удобствами или неудобствами для миллионов пассажиров. Приедешь часа в 4 или в 4 ½ домой и невольно продремлешь, сидя в креслах, часов до 5; спать я никогда не ложусь в продолжение дня и никогда, кроме того когда болен, не надеваю халата. В 5 или в 5 с чем-нибудь я обедаю; большею частью один; иногда одна или две дамы приятельницы. Обед весьма умеренный. После обеда часов до 8 я ни к чему не способен. По вторникам я всегда обедаю в купеческом клубе, в английском был членом<sup>1842</sup>, но никогда там не бываю. Во вторник после обеда играю в карты; играю я очень порядочно, даже хорошо, но играю не с сильною охотою потому, что не могу сосредоточить внимание и потому не люблю вводить в проигрыш моих партнеров. От этой-то единообразной жизни и уехал я на праздники, которые тем еще хуже в городе, что дела нет, а начнутся визиты. Я решительно никогда ни к кому не езжу, но сколько отыскивается дураков, завозящих ко мне визитные карточки. В деревню я поехал к моей крестнице, премиленькой прехорошенькой и умной бабёночке, мать которой умерла чрез 5 месяцев после родов и сильно просила меня следить за ее развитием. Я ее люблю сильно, она меня тоже любит, хотя, разумеется, не так горячо; она замужем, муж предобрый помещик, у них сынок 3 лет. Я люблю всех их, а ее так, как, казалось бы, и не простительно в мои года: смотреть на нее мне наслаждение, а целовать ее, особенно когда она придет и поцелует меня, — я делаюсь счастлив на весь день. Они оба приняли меня с детскою любовью, и мальчишка их всякий день приходил ко мне первый, играл у меня и вообще был истинным внуком. В таком тихом, покойном, преисполненном любви уголке прожил я дней 10 и совершенно ожил. Это верстах в 800 от Москвы, но заметь, что я приехал в своем вагоне и к отъезду вагон за мною прибыл, так что я ехал как бы в движущемся домике. Приезжаю и здесь получаю твое письмо; не понимаю, отчего ты начал писать на розовой бумаге, отчего на старости лет порозовел твой взгляд на мир.

Эх, брат! как ты плохо понимаешь наши чины: Никитенко, по-твоему, Действительный ст[атский] сов[етник]; нет, брат, давным-давно Тайный со сколькими звездами? Этого не знаю. Бывши в Петербурге, я очень хотел побывать у него; он остался хорошим товарищем, несмотря на свою чопорность; но вот беда, он так высоко живет, что трудно мне взбираться. К тому же, увы! Его жена, когда-то чудная римская головка, теперь состарилась, а я остался вечным поклонником красоты и до сих пор от красоты опьяневаю. Нужно было бы тебе написать о только что вышедшей чудной главе романа гр[афа] Толстого «Анна Каренина» и о пошлейшем романе Тургенева «Новь»<sup>1843</sup>. До будущего письма.

Чижов.

**№ 247. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
17 февраля 1877

Огонек пылает в камине,  
Эолова арфа звучит,  
Как ветерок играет в пустыне,  
Как ручеек в долине журчит.

*Зимний вечер.*

Твое письмо тоже на розовой бумаге. Оно меня очень порадовало. Оно дышит каким-то свежим веселым здоровым духом. Тебе следовало бы чаще ездить в Маллороссию на отдых. К тому же ты обожатель красоты. Ты седовласый Анакреон, увенчанный розами, или лучше увенчанный розами седовласый Анакреон, или еще лучше седовласый увенчанный розами Анакреон, это как-то более классически. В ожидании известий о новом романе Тургенева у меня завелся свой доморощенный роман, т[о] е[сть] чисто русский с эпиграфом: «Седина в бороду, а черт в ребро». Герой этого романа — *Савич!* У меня завелась с ним переписка вот по какому случаю. Он чуть было не попал впросак, т[о] е[сть] чуть не женился. Заметь — ему 60 лет. Встретился он где-то в Швейцарии с ирландской девицей (из Дублина) лет 35 и очень недурной собой, влюбился по уши и, как говорится, предложил ей руку и сердце, а она как сметливая женщина тотчас же потребовала, чтобы он прежде свадьбы закрепил за ней 20000 ф[унтов] ст[ерлингов]. На это он не мог согласиться, и тут у них начался торг, как у жидов на ярмарке. Он предложил сначала 4 т[ысячи], потом 6 т[ысяч] и, наконец, обещал оставить ей все свое имущество при смерти. Нет! она, посоветовавшись с какими-то стряпчими<sup>1844</sup> в Лондоне, непременно требовала, чтобы он закрепил за ней весь, какой у него есть капитал, и таким образом, чтоб он не мог располагать ни одной копейкой без согласия будущей жены. За этим последовал окончательный разрыв, и теперь он проливает слезы, что лишился своей прелестной перезрелой 35-летней невесты.

«Зачем, зачем вы разорвали  
Союз сердец!  
„Вам розно быть“, вы им сказали,  
Всему конец.  
Что пользы в платье золотое  
Себя рядить?  
Блаженство на земле прямое  
Одно — любить!»<sup>1845</sup>

И вместе с тем он трусит: боится, что она притянет его к суду за неисполнение обещания. Все это сущий вздор и существует только в его воображении. Он должен быть ужасный простак. Недаром Герцен подтрунивал над ним.

С этим романом связан еще эпизод. Младшая сестра этой невесты недавно вышла замуж за какого-то иностранца в Париже, а он как-то очень кстати божьей волей скончался несколько месяцев спустя после свадьбы и оставил ей ежегодного дохода 500 ф[унтов] ст[ерлингов]. Вот, может быть, и старшая сестра тоже рассчитывала, что как-нибудь черт приберет к себе этого русского старика, а она останется с деньгою в мошне. Но это уже сбывается на злословие, впрочем, в романе это неизбежно.

Блажен ты еси, Чижов, иже ты лепотой женской не прельщаешься; ты обожал красоту, но ей не покоряешься; ты хранишь как зеницу ока твою неоцененную свободу и не позволяешь связать себя даже тончайшей из благоуханнейших роз свитой цепью.

«Блажен, кто мог, уставя ноги  
В пылающий камин,  
Сказать, смеясь, “хвала вам, боги!  
Я мира гражданин!”»

Как грустно-грустно слышать об Огареве: он, говорят, живет где-то в Англии — Newcastle on Tyne\* — и пьет запоем! Вот истинно русский конец всех высоких миро-созерцаний<sup>1846</sup>!

Суета суетствий, рече Экклезиаст, суета суетствий и всяческая суета.

При сем прилагается карточка на память рождественских праздников. Аткинсон уехал в Англию на похороны: у него отец умер.

Твой В. Печерин.

## № 248. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

24 февр[аля] 1877

Сегодня только возвратился из Петербурга, где пробыл две недели и все две недели проболел: успел как-то простудиться и прохворал. Очень хотелось мне отсюда писать к тебе после того, как я видел Гебгардта. Он поразил меня: хворый старичишка с измятым лицом, ни одного волоска на голове, как-то он съежился, ходит как-то постариковски, семеня ногами, говорит немного суконным языком, одним словом, это развалина, стоило ли жить, чтобы так развалиться. Говорил он мне, что Никитенко болен, но я не мог побывать у Никитенко, потому что он живет страшно высоко, взбираться в шубе тяжело, снять шубу — простудишься, а я и без того был уже недужен. Поленов, у которого я жил, хворает, сильно кашляет и задыхается, одним словом,

И идет все к концу  
Как угодно Творцу,  
И все будет так,  
Как угадывал всяк<sup>1847</sup>.

Что это почтенный Савич на старости лет повихнулся! Жениться в 60 лет, да какой же тут муж, особенно приятная женитьба, когда вступление в брак предшествуемо акционным торгам, нет, брат, у меня одна жена впереди — сырая земля-матушка.

В Петерб[ург] я ездил по моему Мурманскому предприятию, то есть пароходству по Белому морю и по берегам Ледовитого океана. Оно идет из рук вон плохо, и если бы при теперешней поездке я не успел уговорить правительство поддержать его, хоть ликвидируй дело. Теперь оно снова обеспечено лет на 5, а там, Бог даст, и поразовьется. Вот не было печали, да черти накачали. Вся беда в том, что не могу я жить своею личною жизнью, мне непременно давай предприятие. Выгода, барыш меня не занимают нисколько, а только добиться бы, чтоб они пошли хорошо, — встанут на собственные ноги, тогда я их предоставляю самим себе. Слава Богу, теперешний министр финансов Рейтерн<sup>1848</sup> сильно сочувствует всем предприятиям, имеющим целью расширить промышленность и торговлю России.

Грустно мне было прочесть в твоём письме об Огареве; он всегда любил выпить, и к этому у него никогда не было ни на полушку характера. Что, брат, делать? Не бросай в русских грязью, поищи, найдешь и в них порядочное; полюби нас серенькими, а беленькими всякий полюбит. Злорадство не в твоей мягкой природе, не порти ее.

\* Ньюкасл, город в Англии, в графстве Тайн — *англ.*



Да, в последнее время у нас появилось два романа: «Новь» Тургенева и продолжение «Анны Карениной» графа Льва Толстого. Что сказать тебе о Тургеневе? Самое свежее произведение Тургенева — это то, с которого он начал, — «Записки охотника». Талант свежий, сильный, изучение природы внешней и изучение русского человека, которого он любит братски, относится к нему братски, с любовью, без презрения и без бросания грязи в того, кто не устоял, — в падении у него, то есть в падении наблюдаемых им личностей, он не видит слабости падения, а несдержимую силу природы, возросшую без узды образования, без ограждения законом, без воспитания нравственного чувства. Перечти всех действующих лиц, все это братья, все это если и кутилы, то кутилы, которых ты не осудишь, не осквернишь себя осуждением. Правда, что в «Записках охотника» талант Тургенева был еще юн, не зрел, более любви и свежести, нежели полноты жизни. Зато его «Песенники», его «Смерти», это такие перлы простой русской жизни, какие могли достаться только существу чисто любящему. Потом он пошел развиваться, и на пути развития на свою беду попался он *своим* в жизнь европейскую, гладкую, изящную, выработанную, вымытую, приглаженную, причесанную, напомаженную, надушенную, где все с чисто вычищенными ногтями одеты по последней моде. Не устоял Тургенев, пленился он ею до того, что своя жизнь-замухрышка ему опротивела. Вместо того чтоб вступить в европейскую жизнь, хотя и пленяясь ею, но с чувством собственного достоинства, но с любовью к своим братьям, он просто сделался ее лакеем и все, что нашел в ней, принял как непогрешительные предписания, указы султана — Европы. На беду явилась его встреча с Madame Виардо<sup>1849</sup>, он стал ее любовником, мужем, и чрез него уже истым, самым покорным и вместе самым подлым лакеем Европы и европейского лоска жизни — никак не более:

Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песен не поют.

Высота Европы ему не далась, ее он не нашел в дыре Виардо, и вот начало полного презрения к России и ко всему русскому. Но закон возмездия строг и непреклонен: нет никого презреннее презирающего. Что шаг, то Тургенев стал хуже и хуже, ниже и ниже, и, наконец, теперь упал до балаганного паяса. Такая пошлая вещь его «Новь», что и сказать трудно. Он думает следить за современным движением общественности и вместо того дает нам донесение судебного следователя или станového пристава в форме драматического рассказа и то такого, где говорят и действуют никак не живые лица, а просто чучелы, да и то не вырезанные из дерева, хоть бы вырубленные топором, нет, связанные из кудели, обвязанные тряпками, на которых на местах глаз и носа назначены чернилами черточки. Это такая гадость, которую никто не прочел бы без имени Тургенева; но можешь себе представить, как отраднo приобретенным именем давать значение своей настоящей пошлости. И поделом — стал лакеем европейского лоска, продал за него русскую душу и неси позор своего бездушия.

Зато, брат, что за страшная сила таланта в последних главах романа графа Льва Толстого «Анна Каренина»! У Тургенева — чучелы, а здесь, я не могу даже сказать изящно изваянные люди, здесь не подмеченные и верно переданные положения, здесь истинно живые люди с всею силою жизни, живущие всею силою страстей, с полною живою житейскою обстановкою. До чего не коснется Толстой, все у него оживает, живет и живет на полной художественной высоте, не изменяя ни на минуту

своей естественности. Некоторые места приводят в такой восторг, что просто зады-хаешься от восторга. Что за сила рисунка, живого изображения живых лиц, что за мастерство освещения, наконец, какая яркость и при этом гармония колорита! В ри-сунке я мысленно переносился к Микель-Анджело Буонаротти, но только без его резкости и часто грубости, пожалуй, это скорее всегда верный, всегда отчетливый, но зато более мягкий рисунок Леонардо да Винчи. В освещении, сколько Бог дал миру света, столько, не потеряв ни атома и умев собрать все в известном фокусе, и собрал его Толстой — Корреджо<sup>1850</sup> в своем великом произведении. С наслаждени-ем, с высоким наслаждением читал я его последние напечатанные главы; что мне за дело до содержания, содержание — современная жизнь с всею ее драмою, со всею ее жизненной обстановкою старых накопившихся общественных дрязг и предрассуд-ков, и тут же новая невыдержанность — какое-то признание нравственного чувства и неуменье охранить его от искушений жизни.

Твой Чижов.

**№ 249. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

9 апреля н[ового] ст[иля] 1877

Христос воскрес из мертвых,  
Смертию смерть поправ  
И нам вечный живот даровав.

Итак, ты стоял один и недвижим между двух развалин: Гебгардта и Никитенки, точно так Марий сидел, одинок и недвижим на развалинах Карфагена<sup>1851</sup>. Не правда ли, это очень хорошо сказано? Это образчик высокого слога, а следующее будет на-писано средним или даже низким слогом.

Очень-очень жаль, что у вас люди так скоро опускаются. Гебгардт и Никитенко слишком рано опочили на своих служебных лаврах. Всему виною казенная служба. Человек вышел в отставку с пенсионом и думает, что дело жизни кончено: нечего делать, остается только лежать на боку да ждать конца. А мне напротив, кажется, что чем более человек стареет, тем более он должен стараться удвоить, утроить свою деятельность для того, чтоб не заснуть. Старость — зима жизни. Путешествовать зи-мою в трескучие морозы очень опасно: сплосал, задремал немножко — ну так и про-пал. Надобно непременно быть в постоянном движении, чтобы спастись от смерти. Покойный *Сюард*<sup>1852</sup>, американский министр, тот самый, что едва был не убит вме-сте с Линкольном, оправившись после этого приключения, несмотря на свои 75 лет, он совершил путешествие вокруг света. Вот как умные люди противодействуют зимнему холоду старости. Отчего ты, например, бодрее всех их? Именно оттого, что у тебя беспрестанно в голове новые проекты, мурманские и другие дела, тебе не-когда опуститься и заснуть. Одна только беда, что у вас в проклятом петербургском климате так легко простудиться. Ради Бога, поезжай опять в Малороссию для того, чтобы насладиться благорастворенным климатом и созерцанием красоты.

«Блажен, кто смолоду был молод,  
Кто в пору медленно созрел,

Кто постепенно жизни холод  
С летами вытерпеть умел»<sup>1853</sup>.

Чтобы противодействовать этому холоду, я беспрестанно выдумываю новые занятия или развлечения, как хочешь их назвать — изучаю всю природу от кедра ливанского до клопа, от слона до моей собаки и ниже, и мне как-то не верится, что в следующем июне мне будет 70 лет. Может быть, случился какой-нибудь промах в метрических книгах.

Знаешь ли ты фон Дервиза, владельца большей части Московско-Рязанской железной дороги и имеющего до 2 миллионов рублей доходу? Он живет в Ницце и в своем *château Valrose*\* дает блистательные концерты и балы<sup>1854</sup>. Все эти сведения я получил от Савича. Ты не можешь себе вообразить, какое множество русских живет в Ницце — это целая колония. А у Савича опять поползновение к женитьбе. Какая-то русская дама, урожденная Демидова, советует ему жениться, и он собирается ухаживать за ее племянницей, тоже девою лет 35. Он решительно свихнул с ума. А все это от нечего делать. Рано поутру 15 декабря 1825 г[ода] мой дворовый человек Никифор Шипов пришел дать мне умыться и сделал следующее демократическое заявление касательно 14 декабря: «Ведь это все дворяне с жиру бесятся».

Очень благодарен тебе за твой мастерский разбор романа Льва Толстого, а о Тургеневе замечу, что даже в “*Athenaeum*”, где к нему относятся очень благосклонно, замечено, что он описывает такое состояние русского общества, о котором не может иметь ясного понятия, живучи за границей. Да и в самом деле, он чай 20 лет уж живет в Париже.

Английские романисты особенно отличаются живыми картинами современного общества. О романах Anthony Trollope<sup>1855</sup> справедливо сказано, что они послужат важными материалами для будущих историков Англии. Но все эти писатели живут и движутся и имеют свое бытие в Англии: они каждый день наглядно собирают материалы для своих романов. Вообрази себе англичанина, описывающего английские нравы из Парижа! Это немислимо. Всего замечательнее то, что все русские, с коими мне случалось встретиться, одного с тобой мнения о Тургеневе.

Наконец мне удалось в первый раз прочесть «*Герой нашего времени*» Лермонтова. Признаюсь, не очень разборчива была наша публика сороковых годов. Это бледное подражание Онегину или, лучше сказать, пошлые приключения пошлого армейского офицера, хвастунишки и забияки, без малейшего развития характеров.

Итак, бодрись, Чижов, стой прямо и бойко между развалин старого поколения и сохраняй свежесть ума и сердца, а я тоже останусь неподвижно и непреклонно

Твой В. Печерин.

## № 250. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

4 апр[еля] 1877

Христос воскрес — так начинаю к тебе письмо по старинному нашему обычаю. Но прежде обычая скажи, пожалуйста, что это с тобою делается, что ты давным-давно

---

\* Замок Вальроз — фр.

ко мне не пишешь?.. О чудо! в эту самую минуту, как я написал эти строки, получаю твое письмо, сейчас прочту его.

Прочел и отвечаю. Как же мне не знать фон Дервиза? Он был сначала правителем дел, потом директором начинавшейся в восемьсот пятидесятых годах Саратовской железной дороги. Я был тогда редактором журнала «Вестник Промышленности» и страшно преследовал все железнодорожные мошенничества по постройке дорог, потому что в эксплуатации была только одна дорога между Петербургом и Москвою (кроме крошечной Царско-Сельской). Преследовал я и Дервиза с его дорогою. Между тем открылась моя дорога от Москвы до Сергиевской Лавры; всего 66 верст. Она с первого разу отличилась, во-первых, дешевизною и хорошим качеством постройки, во-вторых, честностью эксплуатации, которая с тех самых пор и по сие время остается образцовою. Самая дешевая эксплуатация считалась в 50% расхода со всего валового дохода, и когда я при продолжении дороги до Ярославля поставил в проект, что мы будем издерживать 40%, тогда бывший министр путей сообщения, человек весьма честный и хороший инженер, Мельников говорил мне: «Да-с (он всегда прибавлял «с»), хорошо-с это Вам-с считать в кабинете-с, а на деле-то и 50% не обойдетесь». Вышло иначе, мы никогда на Ярослав[ской] дороге не переходили за 37%, а доходили и до 33% расхода в отношении ко всему валовому доходу. Меня как-то с самого первого года стали очень ценить как директора дороги (ты это заметь и уважай меня). Поэтому ли, то есть чтоб возвысить свое правление, только Дервиз явился ко мне просить меня директорство[вать] в тогдашней Саратовской дороге, строившейся только до Коломны. Я, было, не хотел, сильно упирался, но меня уговорили, и все думали, что таким образом правление будет честно вести свои дела. Не тут-то было: мы с Дервизом сильно поругались, и я вышел из правления. Дервиз начал строить продолжение Коломенской дороги, из Саратовской превратившееся в Рязанскую дорогу, и тут нажил, говорят, милл[ионов] около 10. Двух миллионов он не получает, разве 2 милл[иона] франков, но и то немало. Я остаюсь без ничего с незапятнанным именем, не прибавляя, тебе говоря, вошедшим в синоним честности. Дервиз, уже богатый, как-то публично протянул мне руку, я положил руку в карман и сказал, что я подаю руку только честным людям. Дуэли не было. Ты знаешь, что я всегда был порядочным буяном — годы очень мало исправил. Вот тебе Дервиз. Человек очень неглупый, не весьма высоко образованный, окончивший свое образование училищем Правоведения<sup>1856</sup> и далее не продолжавший своего развития, кроме музыки и мошенничества; в обеих областях успел весьма сильно.

«Анна Каренина» Толстого что дальше, то лучше. Это громаднейший талант — нет у него художественного построения: главное действующее лицо — *жизнь*, зато она схвачена во всех общественных положениях, во всех возрастах, во всех ее физических явлениях, даже в животных, так схвачена, что она живет действительности, а что она художественнее самой жизни, об этом и говорить нечего. Если бы он, т[о] е[сть] Толстой, побыл с твоею собакою, как она ни обиходна, он непременно нашел бы в ней какую-нибудь черту собачьей гениальности и заставил бы тебя невольно благоговеть пред твоим псом.

Твой Чижев.

Очень хотелось бы у тебя побывать летом, да, может быть, остановит неимение денег: мое Мурманское предприятие идет из рук вон плохо, несчастье за несчастьем. Постараюсь прислать тебе издаваемый Достоевским «Дневник писателя» — очень оригинален.

№ 251. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

1 мая н[ового] ст[иля] 1877

“O civis, civis! Quaerenda pecunia primum est,  
Virtus post nummos”\*.

Вот что значит быть честным человеком! Даже Чижов начинает жаловаться на недостаток в деньгах! А между тем Дервиз как евангельский богач облачается в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло<sup>1857</sup>. Да, кстати говоря, о честных людях — не слыхал ли ты о некоем *Панаеве*<sup>1858</sup>? Он живет в Париже и имеет у себя на содержании какую-то радикальную газету и вместе с тем находится в близких сношениях с русским правительством. Что это за личность? Но все это вздор! Перейдем к более занимательному предмету.

Я теперь читаю неоцененную книгу “*Russia*” by D. Mackenzie Wallace<sup>1859</sup>. Этот Валлас прожил шесть лет в России. Сначала он поселился в селе *Ивановке* близ Новгорода в пустом помещичьем доме, где его постоянным собеседником был приходской священник. Он у него выучился говорить по-русски, а потом уж беседовал с людьми всех классов: с крестьянами, мещанами, купцами, помещиками, чиновниками и пр[очее]. Он имел доступ к архиву земской управы и не раз присутствовал при заседаниях земского собрания, одним словом, он изучил всю подноготную, и плодом этих шестилетних трудов вышло добросовестно-отчетливое и благородно-беспристрастное произведение, какого мы доселе еще не видали. Россия должна быть очень ему благодарна, да она уже и заявила свою благодарность, сделавши его членом Императорского географического общества. Я прочел только первый том. Тут есть очень интересное описание сельского быта общины со всеми ее выгодами и недостатками. Есть несколько портретов разных помещиков, живо схваченных с природы, но без малейшей желчи и сатиры. Для тебя я выпишу только одну фразу: «Русская администрация вообще более доверяет своей бюрократической мудрости, чем врожденным инстинктам и здравому смыслу народа»<sup>1860</sup>. Это одно стоит целых томов нашей истории со времен Петра.

Мы с Аткинсоном трудимся теперь над «*Словом о полку Игореве*». У нас львовское (Лембергское издание) с малороссийским предисловием<sup>1861</sup>. Как-то забавно читать ученую диссертацию на малороссийском наречии. Аткинсон собирается писать какую-то монографию об этом слове.

Не случалось ли тебе когда-нибудь быть проездом в Кобыще? С этим местечком связаны единственные приятные воспоминания моего детства. Но никогда я не мечтал, и даже во сне мне не снилось, чтобы ее можно было найти на карте. Каково же было мое изумление, когда в немецком Атласе в Черниговской губернии на дороге в Киев я нашел *Kobyschtsha!* Да не только Кобыща, даже ничтожная деревушка *Димерка*, где я, как говорится по-французски, в первый раз увидел свет. Должно быть, все эти места ужасно как разрослись в эти 60 или 70 лет.

Чай Аксаков теперь ликует, теперь на его улице праздник. Заварили вы кашу, а чем это кончится, это Бог один знает. Вся Европа в тревоге, и даже ультрамонтаны

\* «Граждане, граждане! Прежде всего, надо деньги нажить,  
Доблесть уж после» — *лат.* (Гораций, Послания, I, 1, 53–55).

собираются ловить рыбу в мутной воде. Впрочем, война — это естественное состояние человека. Ему все приходится брать с бою. Даже мурманские промыслы надо отстаивать и сражаться за них хоть на словах. Когда мой черный пес встречает на улице чужую собаку, у них тотчас начинается драка: это, вероятно, происходит от столкновения противоположных интересов. Это тоже две державы в своем роде. Таков закон природы.

У нас май во всей своей красоте. Солнце ярко блещет на безоблачном небе, но вместе с тем дует с востока холодный ледяной ветер, так что пронимает до костей. *Nihil ab omni parte beatum*\*. Везде враждебные силы, везде надобно отстаивать жизнь упорным боем.

Твой В. Печерин.

## № 252. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

8 мая 1877

Не говори, брат, «чай Аксаков ликует», ликуем мы все, побьем ли? будем ли побиты? Это нам неизвестно, известно только то, что мы изныли в нерешимости. Подлые твои англичане — подлецы, каких нам доселе встречать не случалась; им, подлым торгашам, лишь бы купить себе дешево, а там, как ни мучь людей, сдирай с живых кожу<sup>1862</sup>, им, мерзавцам, все равно, все едино. Нам, брат, куда как не до войны<sup>1863</sup>: от царя до крестьянина никто не желает завоеваний, куда нам с ними? Взять Константинополь? Другими словами, нажать себе врагов внутренних и внешних, — не было печали, да черти накачали. Славяне нам братья, когда мы друг от друга независимы, но это будут первейшие наши враги, если мы примем их под наше подданство. Это тоже известно у нас всем, от царя до крестьянина. Ты послушай ваших английских газет, они тебе наговорят турысы на колесах — просто подлые. Вот *Wallace* дело иное, этот человек изучил Россию, да и он может, верно, описать ее внешнюю сторону, ее учреждения, ее обычаи, а понять характер народа, отличить то, что ему присуще по природе от того, чторосло от обстоятельств, это и для такого усидчивого и умного исследователя, как *Wallace*, довольно трудно. А ваши государственные люди получили сведения от посланника английского при нашем дворе Лофтуса<sup>1864</sup>, человека, как говорят, хорошего, но любящего пожить, поесть, попить, а никак не вникать в тот народ, в котором привелось ему жить. У него секретарь *Wellesley*<sup>1865</sup>, тоже изучающий Россию в салонах петербургских дам и в сборищах петербургской молодежи. Эти два общественных наслоения издавна все одни и те же: не зная России ни на грош, они подводят итоги своих суждений по салонной мерке и для них прислужиться англичанину выше всего, лишь бы не показаться варваром, любящим свое отечество, да еще какое — Россию, которую везде в Европе считают варварскою странюю. Собирая из таких источников, Лофтус в последнее время писал о России как о государстве, стоящем на краю разрушения: войско плохое, оружия нет или им не умеют владеть, финансы в крайнем расстройстве, всеобщее недовольство, так что не сегодня-завтра непременно все вспыхнет внутри России. Самое лучшее доказательство — революционная демонстрация на площади Казанского собора<sup>1866</sup>, где человек 50 провозгласили: «*Земля и Воля*» и даже всунули в руки знамя с этою надписью в руки крестьянскому мальчиш-

\* Нет ничего благополучного во всех отношениях — *лат.* (здесь: нет полного благополучия). Гораций, Оды, II, 16, 27–28.

ке. Ну, прямо революция. А о том умолчали, что этих безбородых революционеров перехватал народ даже до появления полиции. В то время как Лофтус напичкивал лондонское министерство такими известиями, французский посланник старый генерал Лёфло<sup>1867</sup> имел совершенно иные донесения от своего военного агента полковника Гальярда. Это человек степенный, воспитанный на горьком унижении своей страны, воин в душе, переживший у себя в Париже ужасы Коммуны, в суде над которою он был председателем, он изучал особенно армию не по слухам, а по личным наблюдениям — жил в лагере и познакомился со всем самолично. Его известия были совершенно противоположны. Деказ<sup>1868</sup>, министр иностр[анных] дел, получивши из Лондона известия о России совершенно иные, чем какие сообщал ему его посланник, спрашивает его, что это значит? Вот как-то Лёфло обедал у Лофтуса и начал упрекать его, как он делает его лжецом. Слово за слово, и старый весьма резкий Лёфло не утерпел и высказал, что Wellesley собирает сведения chez les pisseuse et dans les cabarets\*. Чуть не вышло у них очень не бескровной истории. Никто из нас не рад войне, несмотря на действительно отличное наше войско, превосходно вооруженное; нам война хуже, чем кому-нибудь. У всех народу много, а недостает земли; у нас наоборот: земли бери, сколько хочешь, да рук мало для обработки. Никто не ликует при известии о войне, но ликуют при разрешении неопределенного, томительного ожидания. Такого воодушевления давно не бывало. Москва в два дни пожертвовала два миллиона рублей, и с тех пор только и читаешь, что перечень пожертвований. Бог не попустит, свинья не съест. Мы с тобой не доживем, и дети наши тоже по самой простой причине, что детей у нас нет, а кто будет жить после нас, скоро ли, долго ли, услышат, что ваша торгашная Англия перевернется вверх ногами. Ты рано начал делить Францию — Франция, брат, живуча; ее побили, сильно поколотили, а все-таки ее и побитой побаиваются. Англию не побьют, она околеет и издохнет от ожирения сердца.

Твой Ф. Чижов.

### № 253. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

С[ело] Секиринцы  
12 июня 1877 г[ода]

Пишу к тебе [из] Полтавской губернии, Прилукского уезда, из села Секиринец, куда я приехал в начале июня и где думаю остаться до конца июля. По всей вероятности в Москве уже получено от тебя ко мне письмо, если только ты не поленился и не рассердился за твоих англичан. Тебе невозможно не быть благодарным Англии, она тебе дала приют и возможность покойно проводить дни твои после множества треволнений. Мне другое дело, если бы не вмешательство Англии, очень может быть, что не было бы и настоящей войны, которая как ни хорошо идет, а все-таки сильно дорого стоит, и все-таки многое у нас приостанавливает. Но зато, брат, сильно поубавили спесь у английских броненосцев наши отважные сорвиголова — моряки. Пусть еще взорвание на воздух первого броненосца могло быть приписано случайной меткости выстрела, а взорвание второго было сделано в назначенный день и час, и теперь портреты Шестакова и Дубасова<sup>1869</sup> наполняют все наши иллюстрированные газеты. Другие моряки ждут не дождутся, чтоб сделать третью попытку взять броненосец на бордаж и привести его живым в нашу пристань.

\* В сортирах и кабаках — фр.

Проклятая война страшно понизила курс нашего ассигнационного рубля и приостановила наше торговое движение. От этого мы все несколько терпим, но не тужим. Эта война пользуется у нас такою популярностью, какою едва ли пользовалась война 1812 года. Все охотно идут на войну, лишь бы приняли; дамы и девицы идут сестрами милосердия и сильно работают в мастерских, приготавливая все на помощь раненым; железные дороги жертвуют целые санитарные поезда; одним словом, все сносят не только без ропота трудности лишений, но даже сами охотно идут на лишения.

Лето у нас по сие время довольно плохое, далеко не жаркое, особенно для меня сильного любителя теплоты. Хотелось было мне собраться в Виши, оттуда проехать в Англию и к тебе в Дублин, да многое помешало. Впрочем, это намерение только отложено до другого времени, а никак не покинуто. Старость сильно притесняет, и теперь будет уже довольно трудновато ехать одному, без кого-нибудь. Мне хотелось побыть подольше в Ирландии и поездить по ней. Скажи, пожалуйста, довольно ли удобны такие поездки, принимая во внимание то, что я имею прескверный желудок и поэтому поневоле должен быть разборчив в пище? Хотелось бы тоже поездить и по Шотландии. Почему-то у меня составилось понятие, что в Шотландии больше удобств. Что если бы ты захотел со мною проехаться? Это было бы уже к концу моих дней высшая степень роскоши. Досадно одно, что я прескверно говорю по-английски и вообще весьма неспособен к языкам, что ты и понять не можешь. Вот если бы ты захотел поехать в Москву, то тебе было бы помещение полное — потому что в небольшом моем домишке есть совершенно отдельные свободные комнаты. Не знаю как тебе, а мне теперь спокойствие составляет высшее блаженство жизни.

«Погулял я на просторе,  
Отдохнуть пора бы мне»<sup>1870</sup>.

Я живу в превосходном саду в настоящую минуту.

Твой Ф. Чижов.

## № 254. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

18 июня н[ового] ст[иля] 1877

Наконец, любезный Чижов, я кое-как собрался писать к тебе. Сказать, что я был болен, это была бы бесстыдная ложь, потому что я ни на одну минуту не прерывал своих обычных занятий и движений. Но все ж таки я не совсем был здоров. Всею виной восточный вопрос. В мае постоянно веял злокачественный восточный ветер и навевал нам всякой дряни. Накопившиеся у меня дурные соки выступили наружу в виде огромного нарыва на шее — *anthrax*<sup>\*</sup>. Это едва ли можно назвать недугом, но только оно очень неприятно и не дает разгуляться мысли и воображению. Но теперь все это прошло и принадлежит к призракам прошедшего. Вероятно тот же восточный ветер навевал дурь на капрала Мак-Магона. Он просто корчит Людовика XIV<sup>1871</sup>. “La France c’est moi”<sup>\*\*</sup>, — говорит он. — Какое мне дело до парламента, ведь не парламента, а я буду отвечать перед Богом за спасение Франции”. Точно Нико-

\* Карбункул — фр.

\*\* Франция — это я — фр.



лай Павлович, но тот, по крайней мере, был человек с умом и характером, а этот Мак-Магон, как говорят, не что иное, как добродушный осел, на коем разъезжает M[ada]me la Maréchale с епископом Дюпанлу<sup>1872</sup>. Вот что делается у нас на Западе в узкой колее здешней политики. А Восток? Это как-то очень далеко и кроется в какой-то туманной мгле. Оно как-то напоминает поход аргонавтов и золотое руно<sup>1873</sup>. Да сподобит вас Господь обрести золотое руно и наделит славянские племена несчетными благами русской администрации, столь выгодно известной у себя дома. О, вы, великодушные Донкихоты панславизма! Я нимало не сомневаюсь в *вашем* бескорыстно-платоническом славянолюбии. Вам не надо ни золота, ни серебра, ни камене честна<sup>1874</sup>, и Царьград вам нипочем. Вы готовы душу положить за ваших братьев во Христе. Освободивши их от ига басурманов, вы им скажете: «Ну, братцы, наше дело кончено, вы свободны, распоряжайтесь сами как знаете лучше, мы в ваши дела не мешаемся. Хотите поставить над собой князьков, ну с Богом! мы не прочь! Хотите быть сами по себе маленькими республиками, ну и это хорошо, мы ни слова против этого не скажем. Мы только будем молить Бога о вашем благосостоянии. Теперь же мы возвращаемся восвояси, не взявши ни копейки с вас за труды наши. Прощайте, братцы, и не поминайте нас лихом!» Очень хорошо! Но так ли думают усачи, гремящие саблями и шпорами на берегу Дуная? Вот вопрос! Ты что ни говори, а у них одно на уме: похитить золотое руно и схватить за золотой рог Босфорского быка во что бы то ни стало. Аминь! Не удивляйся моему кинизму или цинизму. Qui couche avec les chiens se leve avec les paux\*. Собака моя, слава Богу, здорова. Она теперь выучилась подавать лапу в знак приветствия и дружбы, т[о] е[сть] она как будто говорит: je vous serre affectueusement la main\*\*.

Теперь attention\*\*\*! Следующие строки написаны без чернил химическим пером, омоченным в воду. Это перо пишет разными цветами: вот, как видишь, это похоже на фиолетовый цвет. Вот как люди умудряются. Химия есть наука наук, она-то есть настоящая метафизика, потому что она одна проникает в самую крайнюю глубь бытия.

Аткинсон желает знать, можно ли достать в Москве или в Петербурге полное собрание сочинений Тургенева, и какая ему цена.

А теперь вместе с моей собакой je vous serre affectueusement la main и в ожидании будущей французской революции пребываю

Твой В. Печерин.

Вот что Валлас пишет об Аксакове: «Я давно знаком с Ив[аном] Аксаковым и нигде ни в какой стране не нашел более честного и правдивого человека»<sup>1875</sup>.

## № 255. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Секиринцы.  
6 июля 1877

Очень недавно я писал к тебе, что же за беда, если и еще напишу? В этот небольшой промежуток времени я успел получить твое киническое письмо, нельзя же не поругать тебя, тем более что поругать всегда хорошо или, как говорил кучер Чичикова в «Мертвых душах» Гоголя: «Отчего же и не посечь, посечь всегда хорошо»<sup>1876</sup>.

\* Кто спит с собаками, тот встает с блохами — *фр.*

\*\* Я нежно пожимаю вам руку — *фр.*

\*\*\* Внимание — *фр.*

Ты мне напомнил итальянских ссыльных Пеппе и Дурандо. Не помню, кто-то из них говорил, что ссыльные чрез несколько лет после ссылки составляют особый народ ссыльных, непохожий ни на тот, которому они принадлежали, ни на тот, к которому приютились. Недовольство порядком вещей, вражда к правительству делает то, что они всё в своей стране видят сквозь призму этих приятных отношений к своему народу, а в чужом, давшем им приют, они — гости, со всем безучастием гостей к хозяевам. Тебе все Россия мерещится твоего времени; читаешь ты и Валласа, а только переносишься в нее мысленно, забывши всех Валласов, и все видишь Брута, университетского субъинспектора<sup>1877</sup>.

Скажи твоему Аткинсону, что издание полных сочинений Тургенева вышло уже довольно давно, стоит оно 8 руб[лей], не помню хорошенько в 6 или 8 томах. Только в нем нет последних его дребеденей, не только отвратительной «Новь», но и «Весенние воды» и даже «Дым», и «Стук, стук» не вошел в них<sup>1878</sup>, отчего, разумеется, собрание его сочинений много выиграло.

Что? Имеешь ли ты известия об Иване Ивановиче Савиче? Женился он или нет? По рассказам, которые на днях пришлось мне о нем слышать от одной моей приятельницы, познакомившейся с ним в Ницце, я заключил, что у него начинается размягчение мозжечка. И молодым-то жениться — и то такая лотерея, в которой выигрыш приходится на одного из 100 тысяч, а жениться на старости? Черт знает что. Недавно я прочел в «Русском Архиве» заметку одного какого-то женатого, что русский язык очень похож на итальянский. Итальянцы говорят женам *mia cara*\*, и русские мужья частенько говорят о своих женах *моя кара*<sup>1879</sup>. К старости Савича присоединяется еще, как я узнал, страшная скупость, да при нем же остается и прежняя его добродетель — трусость, благодаря которой он и остался за границею навсегда.

Ну, брат Печерин, наконец-то, кажется, что мое мурманское дело начинает оживать. Я переменял директора-распорядителя, и авось либо оно пойдет вперед. Если точно оно поправится, тогда, пожалуйста, напьемся пьяны с радости. Я помню тебя пьяного на похоронах Лоди. Я уже и не помню, когда был *под шофе*\*\* — вот ты разбери это выражение твоему Аткинсону. Авось Бог даст, я доберусь к тебе в Дублин на будущий год, если, разумеется, кончится война и поправится курс и если твои англичане не наделают нам каких-нибудь пакостей. До свидания.

Твой Чижов.

Перьями, обмакиваемыми в воду вместо чернил, я давно пишу, особенно в дорожке, тоже и карандашом с чернилами. Все это глупство, как говорил один наш инженерный генерал Шуберский.

Получил ли ты вырезанную мною статью из газеты о нашем гарнизоне, оставленном в Баязиде<sup>1880</sup>? Со всех сторон слышишь о храбрости наших солдат и об отважности офицеров. Не знаю, что нас ждет впереди, но в войске и в новобранцах нет ни тени ропота; старики, подобные мне, ропщут на одно, что они не могут идти в действующее войско, потому что кроме хворости, требующей постороннего ухода, ничего принести не могут. Как хотелось бы мне еще свидеться с тобою! А что ты пишешь об Аткинсоне и ни полслова о жене его? Поправилась ли ее рука? Играла ли она тебе что-нибудь из «Жизни за царя»? Попроси сыграть песню «Вет, вет вете-

\* Милая — *um*.

\*\* От *фр. chauffer* — «нагрев», «накалывание», находиться под парами, в подпитии, быть на веселе.

рок» или, может быть, я перепутал, это не из «Жизни за Царя», а из оперы «Аскольдова могила»<sup>1881</sup>.

На днях думаю поехать в Петербург по одному большому делу нашей Московско-Курской дороги. Хотелось бы мало-помалу оставлять все дела, только боюсь, пожалуй, сделаешься таким же сумасшедшим, как Савич, и начнешь волочиться за девчонками. Правду сказать, он никогда не переходил за пределы много-много прапорщика, но дело, работа не давала места пошлостям его личности; остался он свободным и явился сам собою. Думал я, что займет меня мой домик; разумеется, жить удобнее и просторнее, но нисколько не занимает. Нынешнего года провели в него воду, так что я могу иметь ванны, никого не тревожа, это мне очень приятно. Подчас выпил бы, да желудочные боли не позволяют выпить, так и тащи бремя жизни. Занимает меня еще устроенное мною железнодорожное училище, да досадно, что здоровье плохо.

Да хранит тебя твоя собака; передай ей мой привет и дружеское пожатие лапы.

Твой Ф. Чижов.

### № 256. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street

Dublin

10 июля н[ового] ст[иля] 1877

Волшебное перо

пишет разными красками без чернил

Позволь мне погладить тебя по головке: ты очень добрый мальчик. Я собирался было дать тебе родительское увещание, т[о] е[сть] советовать ехать в деревню, а ты сам меня предупредил. Это очень похвально. Это прибавит тебе несколько лет жизни и, может быть, на сколько-нибудь смягчит твой суровый взгляд на Англию. Если ты когда-либо исполнишь свое намерение снова посетить Британские острова, то можешь быть уверен, что здесь, в Ирландии, в первоклассных отелях найдешь все те же удобства, как и в Англии и Шотландии. Ведь у нас каждое лето бездна туристов, особенно американцев: здесь их главная пристань на юге Ирландии, в Queenstown, тут их первый шаг в Европу. Да такие ли еще гости у нас бывают! Вот, например, на днях у нас гостил император бразильский с супругой<sup>1882</sup> и свитой. Это император особенной породы: он никак не принадлежит к классу животных, носящих мундиры, он умный человек и даже глубокий ученый, особенно по части естественных наук, физики и астрономии, и путешествует для приобретения новых сведений. Ничто не ускользает от его внимания, начиная с кедра ливанского до мелкого иссопа<sup>1883</sup>, растущего на кровле. Зато уж и времени-то он не теряет. В пять часов утра он уж на ногах, погулял по городу, зашел в ботанический сад, где пробыл целый час, завернул на кладбище, где покоится прах О'Коннеля, потом взошел на колонну Нельсона<sup>1884</sup> (напротив почтамта), откуда обширный вид на весь город и окрестности, и все это прежде завтрака. Потом он осмотрел все закоулки университета и рылся в библиотеке в неких древних рукописях, послал в обсерваторию за астрономом Баллом, с коим он в частых сношениях по астрономии, прокатился по парку и завернул в зоологический сад, где пожал руку твоему приятелю слону. В один день он осмотрел все, что для менее деятельного человека потребовало бы целой недели, и в тот же

вечер отправился к Килларнским озерам, а завтра опять будет в Дублине. Вот тебе целая придворная хроника!

Я решил непременно уяснить и упростить ваш восточный вопрос. Присматриваясь ближе, я вижу, что тут дело не в славянской народности, а исключительно в *православии*. Вот пример: поляки — славяне, славяне чистейшей славянской крови без малейшей примеси монгольства, и у вас к ним никакого нет сочувствия, вы даже их ненавидите. Отчего? оттого, что они не православные. В Боснии и Герцеговине католики и знать вас не хотят и скорее жмутся к Австрии. Отчего? опять оттого, что они не православные. Следовательно, это просто дело религии, дело духовенства. Много ли найдется в России образованных людей, преисполненных пламенным рвением к православной церкви, об этом я теперь судить не могу, но знаю, что и образованное общество невольно увлекается народным порывом тем более, что тут вопрос о чести и славе России и об открытии новых путей для торговли. Покойный Герцен думал, что без религии легко можно обойтись и что ее вовсе не следует принимать в соображение в государственных делах, и он жестоко ошибался. Спросите Бисмарка, Горчакова и государственных людей Италии, и все они скажут вам, что религия очень важный и задорный элемент, с которым иногда очень трудно сладить, тем более что он опирается на невежественные массы, движимые не разумом, а страстями. Итак, восточный вопрос решен: это просто исключительно вопрос *православия* и, след[овательно], вопрос о том, как бы водрузить крест на купол Св[ятой] Софии. *Quod erat demonstrandum* \*.

У нас тоже везде виден портрет Дубасова: честь и слава ему, он действительно молодец! Но правда ли, что Верещагин<sup>1885</sup> убит? Как жалко! Вот истинный герой! артист и воин! Война — источник высокой поэзии в народной жизни, жаль только, что она понижает курс ассигнационного рубля!

Старайся пробыть как можно дольше в твоём малороссийском приюте, наслаждайся благорастворенным воздухом, благоуханием цветов, пеньем соловьев и пр[очее] и пр[очее]. А я, признаюсь, завидую бразильскому императору: если бы я был миллионером, я бы, кажется, пустился путешествовать по свету. Теперь каждая минута дорога — срывай розы, пока они цветут.

Окончим тем же, чем начали — красным цветом. Желая тебе розовых дней и благоуханных ночей, пребываю со всеми цветами радуги

Твой В. Печерин.

## № 257. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Секиринцы  
13 июля 1877

Не беда, мой милый Печерин, что я напишу тебе лишний раз; как-то мне хочется писать тебе, да и, кстати, следует поздравить тебя с наступающим днем твоего Ангела. Пусть он, совершенно сбившийся с толку, какого числа праздновать твои именины, наставит тебя на путь правый и больше всего пусть даст тебе хорошую гонку за чересчур скорые решения вопросов. Сколько я припоминаю, твои решения мировых вопросов вообще были не очень удачны. Впечатлительность твоя, прости, пожалуйста, если вздумаешь оскорбиться за эпитет, твоей женской природы

\* Что и требовалось доказать — *лат.*

спешит всегда произнести решение по одному много двум обстоятельствам вопросного пункта, тогда как в нем их тысячи. Несколько лет тому назад ты раздавал уже Францию и только немного остановился на том, кому отдать какую долю. Теперь по твоему шемякинскому суду<sup>1886</sup> восточный вопрос есть вопрос православия. Очень хотелось бы мне, чтоб и эта твоя галлюцинация поскорее исчезла — с нею сильно сопряжен упадок нашего курса ассигнационного или вексельного рубля, а с этим свидание мое с тобою. Ты только теперь догадался, что религия вовсе не так ничтожна, чтоб можно было ее стереть с лица земли одним размахом пера покойного Герцена. Нет, брат, как твой Папик ни выжил из ума, а все дурится. Как было бы хорошо, если бы тебя выбрали Папою, надеюсь, ты был бы столько любезен, что разрешил бы мне побывать решительно во всех комнатах Ватикана. А как было бы хорошо, если бы тебя сделали Папою! Ты человек весьма образованный, как немногие Папы; знающий бездну языков, так что можешь в пропаганде хоть кому пустить пыль в глаза; человек беспрестанно увлекающийся, рожденный с увлечением и, вероятно, увлечение и зароев тебя в мать сыру землю, следовательно, ты способен ко всем безобразиям как все папы, не исключая и готовящегося в Бозе почтить Пия IX<sup>1887</sup>. Ты человек, не признающий никакой религии, как и большинство Пап, опять, следовательно, способный созидать всевозможные религии со всеми нелепыми догматами. Пожалуйста, сделайся Папою.

Ты вот решил, что все славянство зашито в православие и что в него попало, то только и славянство, — пожалуй, почему и не так. Ты думаешь, что у нас нет таких же скороспелок мышления и решения вопросов. Решительно ошибаешься. У нас сплошь да рядом ты это услышишь от многих разумников, особенно от дам, имеющих притязание на решение мировых вопросов. Они, брат, решают еще скорее тебя, стоит только им хоть из телеграмм или из детских книжек, источник почти один и тот же в деле мышления, — стоит им узнать то, что было известно если не Адаму, то непременно Каину, — он был сметливее Авеля<sup>1888</sup>, который как дурак попался ему прямо в ловушку. Только что узнают, не успеют бантика поправить, уже решены и указаны судьбы мира. Вот поучись у кого прыткости. Так и протестантство зашило все германское племя. И разница-то небольшая: не протестантство работало для выработки германского племени, а германское племя выразилось в области религии в протестантстве. Правда, что выводы тут являются совершенно иные, но что за беда: протестант так и немец, немец так и протестант, и довольно.

Ты и теперь позволяешь иметь религии значение только потому, что «это очень важный и задорный элемент, тем более что он опирается на невежественные массы, движимые не разумом, а страстями». Эва! Куда ты отодвинулся под старость! Разум! Да это, брат, Бог покойной французской революции, от которой в сущности то только и осталось, что горькая насмешка над этим эфемерным богом, да невольное глубокое уважение «к невежественным массам, движимым не разумом, а страстями». Никогда ты не был таким моим милым Печериным как в твоём последнем письме. Ты так искусно прикидывался рассудительным человеком, что я чуть, было, не поверил. Дай, брат, обнять тебя по-прежнему.

«Был в Фуле царь. Ему друг милый  
Вручила при смерти бокал,  
И непременно до могилы  
Он этот кубок сохранял»<sup>1889</sup>.

Верь, брат, что кубок увлечения или, пожалуй, безумия (что немного одно на другое похоже) дороже всех кубков, особенно же тупоумной рассудительности и горделивого умствования. Да, конечно, невежественная масса, а что же твоя химия с ее волшебными перьями как не поклонница невежественной массы? А что мои железные дороги, мои банки как не великие жрецы невежественной массы? Зажиточные умные и рассудительные люди всегда наворуют столько, что в состоянии будут иметь превосходные чернила, а твоя химия заботится о тех, которые могли бы писать водою. Не поднимай, брат, носа пред невежественной массой, а по нашей песне: скинь-ка шапку, скинь-ка шапку, да понижее поклонись<sup>1890</sup>.

Да, мой милый разумопоклонник, мы с тобою не доживем до того истинного периода человечества, когда невежественная толпа не будет *profanum vulgus\**, славянскому племени это понятно: в его природе до того нет жилки аристократии, что ни кожаная палка Петра, ни беспредельный произвол твоего любимца Николая не могли вырастить майората на русской почве. А что поют и читают в церквях славяне, это то древнехранилище, в котором хранится первобытность христианства не скажу в полной, а в допустимой изменением веков чистоте, — настанет время, пробьет час славянства, разовьются в своеобразной форме и его заветные верования, как в католичестве развились верования романских племен, в протестантстве германских и т[ак] д[алее]. Вот вы, господа мудрые великие разумопоклонники, не нашли ничего у наших старообрядцев как только обрядность, двуперстное сложение, сугубое аллилуйя, Исус вместо Иисус и подняли все на смех. *Rira celui qui gira le dernier\*\**. Сила солому ломит, говорит русская пословица, сила и взяла свое и засчитали всех старообрядцев в дураки неграмотные, хотя почти все они грамотны. А между тем, если бы у вашего пресловутого разума достало столько ума, чтоб сообразить: неужели, дескать, из двуперстного сложения люди будут терпеть все мучения, подвергаться всем притеснениям? Нет ли тут чего-нибудь посущественнее? Где вам быть настолько снисходительны к мужику, вы еще со времен Августа<sup>1891</sup> заучили *Odio profanum vulgus\*\*\** ... А много ли старообрядцы просят у вашего брата-разумника? Всего-то свободы совести, которую ваши папы жгли в лице Галилея и Гусса<sup>1892</sup> и сотни тысяч мучеников; Бисмарк заковывает в железо в лице всех познанских епископов<sup>1893</sup>, и наша полиция вытаскивает по кусочкам в виде целковых, полуимпериалов и кредитных билетов<sup>1894</sup> у наших старообрядцев и раскольников всех возможных толков и согласий. Вот, кстати, о толках и согласиях, читал ли ты «На горах» или «В лесах» Андрея Печерского (псевдоним Мельникова)<sup>1895</sup>, где удивительно как изучен быт старообрядцев, тоже, разумеется, с его формальной стороны.

Скажи-ка ты мне, что наш Ив[ан] Ив[анович] Савич? Женился ли он, наконец, или и другая его невеста, подобно первой ирландке, увезла его подарки, впрочем, не чересчур дорогие? Что его мозжечок — размякает постепенно или уже в нем такое размягчение, что его посадили в дом умалишенных?

\* Непосвященная толпа — *лат.*

\*\* Смеется тот, кто смеется последним. — *фр.*

\*\*\* *Odi profanum fulgus et arceo (лат.)* — презираю и прочь гоню невежественную толпу. Гораций, Оды, III, I, 1–4. Этой строфой он начинает первое из шести стихотворений, объединенных общим идейным замыслом — показать гражданские идеалы, которые должна воплотить в жизнь эпоха Августа.

Здоровье мое что-то очень плохо, то есть я не болен, а все как-то сильно нездоровится, да что-то сильно грустно. Та же великолепная усадьба, что и прошедшего года; тот же чудный сад, да не так в них живется. Авось Бог даст, на будущий год побываю я у тебя в Дублине, но эта речь впереди.

Твой Чижов.

**№ 258. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin

12 авг[уста] н[ового] ст[иля] 1877

Не знаю, как твое здоровье, но твой дух удивительно как разыгрался в деревне. Очень-очень благодарен тебе за твои два письма. Это единственное развлечение в моем уединении, тем более что Аткинсон уехал куда-то на вакацию, а бразильский император и другие подобные чудеса не каждый день у нас бывают. Ты даже вздумал поздравить меня с днем Ангела, о коем я совсем почти позабыл. Да! действительно, 15-го июля день Св[ятого] равноапостольного князя Владимира. Св[ятые] мощи его почивают в Киеве, т[о] е[сть] одна голова; туловище не удостоилось нетления по причине многих его прелюбодействий. Так, по крайней мере, я слышал с самого детства. А он чуть-чуть не принял магометанской веры: одно только помешало — *русским веселие питеие* (смотри Карамзина)<sup>1896</sup>.

Но постой! На первом плане теперь стоит важный вопрос: скажи, ради Бога, что такое Славянский комитет<sup>1897</sup>, о коем так много толкуют в газетах? Я теперь вижу, что его председателем Аксаков. Следовательно, и ты, вероятно, занимаешь там какое-нибудь важное место. Так уведоь, пожалуйста. А то может быть, я бессознательно нахожусь в корреспонденции с важным политическим деятелем. Оно не худо знать с кем имеешь дело в виду грядущих событий, как явствует из книги Бытия: Помяни мя тобою, егда благо ти будет; и сотвориши надо мною милость, и да помянеши о мне фараону, и изведеши мя от твердыни сея<sup>1898</sup>.

Ты заставил меня расхохотаться. Знаешь от чего? Ты напомнил мне субинспектора Брута. Какое живое воспоминание! Точно вижу его перед глазами, так бы, кажется, и снял его портрет. Жаль, что Гоголь не знал его! Это один из тех бессмертных типов, который следовало бы сохранить для истории государства российского. А тут вдруг по роковому сочетанию идей (*associatio idearum*\*) возникает другое воспоминание: жив ли еще Бардовский? Мы с ним очень были дружны полстолетия назад, именно под начальством пресловутого Брута. Тогда тоже была турецкая война<sup>1899</sup>, и с какой детской простотой мы следили за военными действиями без малейшего понятия о европейской политике, а о славянах и помину не было.

Еще слово о религии. Никто, никакой Бисмарк не вздумает преследовать честных пресвитерианцев, методистов, баптистов, меннонитов, квакеров<sup>1900</sup> и других протестантских сект, потому что они держатся исключительно в сфере религии без малейшего притязания на политическое преобладание; но всякого преследования достойно наглое честолюбие католического духовенства, стремящегося поставить себя выше всех законов. Государство имеет такое же право на самохранение, как и частное лицо. Если человек посягает на мою жизнь, я не стану расспрашивать,

\* Ассоциация идей — *лат.*

духовное лицо он или мирянин, мне все равно, я должен защищаться и убить его, если это нужно для спасения моей жизни. Католическая церковь теперь ничто иное, как политическая партия со своим претендентом, которого непременно хотят восстановить на престоле, хотя бы это стоило всемирной войны и потоков крови. Сверх того, она, в самом деле, тайное революционное общество, подкапывающее самые основы конституционных государств. Следовательно, с ней и должно обращаться как со зловредной и опасной политической партией. Тут религия совершенно в стороне: от доброго католика теперь требуется одна неограниченная преданность к особе Папы, точно как у нас при Николае — будь ты каким хочешь мошенником, но только оказывай усердие и преданность к престолу, т[о] е[сть] к августейшей особе Его Имп[ераторского] Величества, и все твои грехи отпустятся тебе и в сем веке и в будущем.

Переписка с Савичем, слава Богу, прекратилась. Он начал писать такие пошлости, рассказывать о своих волокитствах, за какую именно дамою он намерен ухаживать, словом нечто вроде разговора гвардейских подпрапорщиков 25-го года. Тут очевидно размягчение мозга, и ему пора в желтый дом.

Московские дамы любезничают с германским императором и посылают подарки Бисмарку. *A la bonne heure!*\*

Тебе становится грустно даже в великолепной усадьбе и чудных садах — ах! любезный друг! мы все более или менее чувствуем *бремя жизни*: как отделаться от него? или как облегчить его? Одни ищут это в крепких напитках, другие — на балах и обедах, третьи — в книгах и в изучении природы, а истинные философы ищут и находят это облегчение в терпеливой и безмолвной покорности неизбежной судьбе! Чему быть, тому не миновать.

И с сим глубоким изречением древней мудрости остаюсь

Твой В. Печерин.

## № 259. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Солнышково  
14 авг[уста] 1877

Пишу тебе не из Москвы, а из подмосковного имения моих приятелей верстах в 70 от Москвы, куда я уехал по железной дороге на два праздника. Приехал я вчера, было светло и тепло, сегодня же так скверно, что и в городе было бы гадко, не только что в деревне: ветер, чуть-чуть не буря, холод; с утра дождь, одним словом все стихийные мерзости. Я терпеть не могу холода.

Ты спрашиваешь о славянском благотворительном комитете. Он начался сочувствием нескольких лиц к нашим западным, особенно южным славянам, начался потихоньку, весьма малыми средствами. В нем председателем и главным двигателем был прежде Погодин. Он посылал в Сербию и Болгарию, особенно Болгарию, тоже и в Боснию и в Черногорье и даже к чехам книги, содержал на свой счет нескольких южных славян в здешних учебных заведениях (митрополит сербский Михаил<sup>1901</sup> учился в Киев[ской] духо[вной] академии) и так тащился себе понемножку. Война прошедшего года или, вернее, не война, а страшные зверства турок с восставшими босняками и герцеговинцами вызвали сочувствие в русском обществе, жертвы

\* Отлично! В добрый час! Пусть так! — *фр.*



и приношения в комитет усилились. Председателем был тогда Аксаков; его живое горячее слово на собраниях комитета расшевелило равнодушных, средства комитета усилились. Тут явилось решение Черняева отправиться в Сербию; несколько купцов, людей богатых, приняли это к сердцу, и вот тут собственно началась живая деятельность комитета. Приношения явились со всех сторон: отовсюду присылали в него, так что набиралось в день от 6 до 7 тысяч рублей; бывали дни, когда присылали и до 13 т[ысяч]. Кроме денег, присылали вещи: кольца, браслеты, серьги, домашнюю ценную посуду; платье, холст, корпию, белье — поверишь ли ты, что иногда груды приношений от людей всех сословий сносились в Моск[овское] Куп[еческое] Общ[ество] Взаимного Кредита, где я был председателем, но за моим нездоровьем председательствовал Аксаков. Петербургские сановники сильно вооружились противу учреждения, не имевшего никакого официального утверждения. Между тем общественное мнение и та поддержка, какую оказал комитет сербской войне и добровольцам, с одной стороны, сошлись с внутренним желанием государя, а может быть и способствовали усилиться в нем этому желанию, с другой — вызвало такие восторженные манифестации, что народ тысячами собирался провожать добровольцев. Имя Аксакова получило современное историческое значение и совершенно справедливо. Такой чистоты, такого горячего, искреннего и истинного патриотизма, такого полного отсутствия самолюбия и тем менее тщеславия, одним словом такой искренней преданности делу едва ли возможно найти. Может быть много увлечения, может быть чересчур много впечатлительности, может быть в таком важном деле нужно было бы побольше обдуманности — но, слава Богу, на земле нет ангелов, а как человек Аксаков — *esse homo*\*. Твой полувековой друг был только свидетелем всего этого; я хворый был в деревне, и никогда не мог бы я послужить делу и в половину. У меня пошло бы в ход и самолюбие, пожалуй, и тщеславие, одним словом я плох. После сербской войны, когда все поутихло, когда по реакции все напали на Черняева и на добровольцев, высокие сановники у нас, как почти везде черт знает что, вздумали преобразовать самосозданный комитет, существовавший без устава и без письменных правил, облечь в некоторого рода официальность, надеть на него мундир славянского общества и заковать его в цепи устава. Аксакова выбрали единогласно председателем, один только голос назвал меня и то был голос Аксакова, то есть шар, потому что баллотировали шарами; но и тут я объявил громко незаконность такого наименования, потому что голос избираемого по правилам всех выборов считается на его стороне. Ты видишь, что я тут ни при чем. Я — смиренный железнодорожный и промышленный деятель и то теперь хворый и старый. Хотя должен тебе поведать, что мое мурманское дело начинает двигаться и, если Бог грехам потерпит, пожалуй, может пойти хорошо. Что-то энергия исчезает; чувствую, что слабею телом и духом. Мучит бессонница; по утрам просыпаюсь часу в 5-м, много в 5, одеваюсь и иду ходить; хожу час, потом раздеваюсь и снова ложусь спать часа на 1 ½.

«Погулял я на просторе,  
Отдохнуть пора бы мне».

\* Вот, человек — лат. Эти слова, согласно Евангелию от Иоанна (XIX, 5), произнес прокуратор Иудеи Понтий Пилат, увидев Иисуса Христа в терновом венке: «Тогда вышел Иисус в терновом венке и в багрянице. И сказал им Пилат: вот, человек!». В живописи «*Esse homo*» называют изображение Христа перед казнью.

Бардовского нет уже года три, отправился *ad patres*\*. Месяц или полтора отправился и Никитенко<sup>1902</sup> — все наши товарищи переселяются восвояси и нас с тобою зовут туда же. Гебгардт, не помню, писал ли я тебе, какие-то развалины человека: ходит плохо, говорит суконным языком, только и думает, что о поддержании своего поганенького здоровья, на что такое существование?

**№ 260. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову**

47 Lower Dominick Street  
Dublin  
17 сентября 1877

Ах, как грустно, грустно слышать — и Бардовский, и Никитенко, оба умерли, исчезли как тени! Мы одни остались с тобою. Крылов и Баршевы не идут в счет: они не из наших. Но есть еще одна личность, о которой мне хотелось бы осведомиться: существует ли Калмыков? Судя по его характеру должно предполагать, что он достиг высших степеней чиновной иерархии.

Ты жалуешься на холод, но кто ж тебе мешает переехать на зиму в Ниццу: там встретишь Савича, там, может быть, какая-нибудь нимфа воспоет тебе

«Приди в чертог ко мне златой,  
О, рыцарь милый мой!  
Там все богатства обретешь,  
Невесту милую найдешь».

Есть еще другое средство против холода старости. Оно находится в священном писании, в 3-й книге царств, гл[аве] 1-й и подтверждается примером Св[ятого] царя Давида. Вот оно: «И царь Давид бысть старъ прешедъ дни, и одеваху его ризами многими, и не согревашися. И реша отроцы его ему: да поищут господину нашему царю девицы юныя и предстоить цареви, и будетъ греючи его, и да лежитъ с нимъ, и согреется господинъ нашъ царь. И искаша отроковицы добрыя от всего предела Израилева и обретоша Ависагу Сумантяньню, и приведоша ю къ царю. И бе отроковица добра видениемъ зело, и бысть греючи царя, и служаще ему: царь же не позна ея»<sup>1903</sup> (т[о] е[сть] не в состоянии был *познать* ее).

Се зри, возлюбленный брате, каковыя обретаются в священных книгах благие и душеспасительные примеры, достойные нашего подражания. Се твори и жив будешь, и благо ти будет на земле.

Но ради Бога, не покидай твоих обычных занятий: бездействие совершенно расстроило бы твою систему. Лучше, тысячу раз лучше умереть под ярмом или на поле битвы.

Рука г[оспо]жи Аткинсон поправляется мало-помалу, но все она еще не в состоянии разыгрывать трудных пьес, как, напр[имер], сонат Бетховена. Какое наслаждение было слышать эти сонаты, когда муж аккомпанировал ей на виолончели. Мальчик ее (лет 12) уже отлично играет на фортепьяно. Его воспитание чисто английское, т[о] е[сть] у него тело развивается вместе с умом: он и плотник, и столяр, и корабли строит и все, что угодно; кроме латинского, он уже знает немецкий и фран-

\* К праотцам, к предкам, т. е. на тот свет — *лат.*

цузский языки. Я надеюсь услышать кое-что из «Жизнь за царя» по возвращении их в город: они теперь, как у нас говорится, *на даче*.

Очень благодарен за отрывок из «Тифлис[ского] вестника» и особенно за интересное описание Славянского комитета. Жаль только, что его одели в официальный мундир, но в одном я уверен, что Аксаков никогда не будет официальным человеком, и за это ему честь и слава на русской земле во веки веков.

А во Франции теперь мерзость запустения. Хуже, чем у нас при Николае. Никто и пискнуть не смеет против августейшей особы Капрала Макмагона. Тотчас на гауптвахту\*! Я давно уже предсказал тебе, что во Франции все кончится капральством. Они никак не могут понять спокойного законного конституционного порядка, у них все руби с плеча. Этакая солдатчина! Дался им трех сажень удалец!<sup>1904</sup> А шпионство такое, что даже 3-е отделение собственной канцелярии Е[го] И[мператорского] В[еличества] перещегооляет.

Плохи известия с театра войны: кровь наших солдат льется рекою, а военачальники? — но как бы мне гусей не раздражить!<sup>1905</sup>

Я где-то отрыл старые стихи Пушкина:

«Мы ждем с томленьем упованья  
Минуты вольности святой,  
Как ждет любовник молодой  
Минуты верного свиданья.  
Товарищ! верь! взойдет она,  
Заря пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Запишет наши имена»<sup>1906</sup>.

Твой В. Печерин.

## № 261. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва

12 сент[ября] 1877

Спасибо тебе, мой милый Печерин, что ты исправно пишешь. Так много бед, так много неприятностей, что невыразимо приятно отдохнуть на строках друга, даже и ничего особенно не говорящих. В Ниццу, брат, мне не ехать: не могу или, по крайней мере, трудно мне жить без дела, такова природа, такова привычка, таковы убеждения, да и не теперь, когда России нужен каждый честный работник. Уменья, может быть, у меня немного, а настойчивости и честности запас неистощимый, зачем же мне оставлять исполнение долга, позябну — не беда. В комнатах у меня никогда не менее +16° по Реомюру. Следовать примеру праотца Давида не могу, как-то совестно. Авось согреюсь как-нибудь и без того; у царя Давида печей не было, а у меня они очень хорошо устроены.

Ты спрашиваешь о Калмыкове, какой тебе Калмыков, его уже нет чуть-чуть не от сотворения мира и непременно раньше всемирного потопа. Он прежде смерти сошел с ума и страдал недолго. Причины его сумасшествия не знаю; у него всегда была

\* От нем. *hauptwache* — главный караул, главная сторожка; специально оборудованное помещение для содержания военных чинов под арестом.

развита только формальная сторона умственных способностей, а содержание было очень бедно, совершенно противное тому, что было у его покойного младшего брата, моего товарища по гимназии и по университетскому выпуску; не знаю, помнишь ли ты, что он в первый же или во второй год выпуска из университета застрелился в Бобруйске, не быв в состоянии переносить ни своего положения, ни звука цепей политических преступников, заключенных в Бобруйской крепости<sup>1907</sup>.

Да, брат, мы с тобою едва ли не последние из могиكانов, теперь за нами очередь.

«И идет все к концу,  
Как угодно Творцу,  
И все будет так,  
Как угадывал всяк».

Пожалуй, и еще из «Гамлета» в переводе Вронченки:

«Могила, гроб, да заступ, заступ,  
Да черное сукно, сукно,  
Да три шага земли, земли  
Нам нужны всем равно»<sup>1908</sup>.

Слава Богу, меня это нисколько не заботит; как-то устал жить, устал работать, а между тем чувствуешь, что работа, одна работа есть истинно законное проведение времени, особенно при том страшно несправедливом разделении труда, при котором миллионы народа не знают отдыха, и то такого отдыха, который тяжелее нашей работы.

Не знаю, писал ли я тебе, что мне давно уже, лет 5 тому назад, удалось устроить, именно собрать капитал до 180.000 руб[лей] (160 т[ысяч] неприкос[новенного] капит[ала] и 22 т[ысячи] на постройки) и устроить железнодорожное Дельвиговское училище имени барона Дельвига двоюродного брата покойного поэта; он был у нас инспектором железных дорог, человек честнейший, образованный и умный. Нынешнего года был 1-й выпуск: 14 мальчиков, чуть-чуть не нищих, вышли и получили места помощников машинистов с 300 руб[лями] жалованья и с недалекою перспективою быть машинистами и получать до 800 руб[лей] в год. Теперь меня занимает сильно то, чтоб построить удобный дом, потому что старый страшно сыр, так что я с моими большими ногами почти не могу бывать в нем. Нашел источник, авось устрою и тогда сильно думаю заняться его программю, до сих пор весьма хромоющею. Вот тебе и сказка. Сегодня погода хороша и смотрится более оптимистически. Почему тебя обнимаю и счастья желаю, а сам пребываю Ф. Чижов.

## № 262. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

11 октября н[ового] ст[иля] 1877

### I. Метеорологические наблюдения.

Прекрасная, почти летняя погода. — Ветер W. N. W. — Барометр 30. — Термометр по Фаренгейту 55° — Англия единственная страна, где можно круглый божий год жить на открытом воздухе. Быть взаперти хоть на один день было бы для меня

нестерпимым мучением. Вот почему я не мог быть дежурным в Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени. Сижу один в грязной комнате и гляжу в окно, а там на улице несутся экипажи, кареты, коляски, летят лихие дрожки, гуляет честной народ, мужчины во фраках, сюртуках и мундирах, прелестные дамы в шляпках; эх! какое раздолье! а я сижу тут как пленник, как птица в клетке — нет! Я не рожден для неволи, мне надо простор и вольный воздух. К черту служба! Я не боюсь ни директора Метлина, ни дяди Ильина. *Pain bis et liberté\**. И в ту же ночь, несмотря на угрозу снять с меня сапоги, я ночевал у себя дома и на следующее утро подал в отставку. Заметь, что я был на службе у Константина Павловича<sup>1909</sup>. Просьба о поступлении в Комиссию, поданное в самое утро 14-го декабря, начиналась так: Его Имп[ераторскому] Величеству Государю Императору Константину Павловичу, Самодержцу всея России и пр[очая] и пр[очая].

Уже это одно должно бы доставить мне значительное место в Истории государства российского. Я единственный русский чиновник подканцелярист, бывший на службе у Константина Павловича. *L'homme de l'interrègne!\*\**

По подании вышереченной просьбы я возвращался домой этак в часу в 10-м утра и слышу на улице два-три человека говорят между собою: «Да что ж это значит! раз присягнули одному, а теперь опять надо присягать другому». Это был маленький *прелюд\*\*\** к большой опере, разыгранной в тот же день в час пополудни на петровской площади.

Я более и более погружаюсь в историю. Слышал ли ты, что Гагарин напечатал какие-то документы, доказывающие, что имп[ератор] Александр I принял католичество на смертном одре<sup>1910</sup>, даже упоминается имя какого-то генерала, которого он нарочно посылал к Папе<sup>1911</sup>. Все это возможно, но отчего ж это доселе не было известно и никто ни слова об этом не говорил? Неужели же это хранилось нерушимой тайной в продолжение 50 лет? Хотелось бы мне знать, что об этом думают в России.

## II. Вопросы.

1-й. Есть ли какая возможность выписать книги из России? К какому книгопродавцу в Петербурге или Москве должно адресоваться для того, чтобы получить полные сочинения Тургенева? и можно ли надеяться, что он доставит их исправно? По части книжной торговли здесь никаких сношений с Россией не имеется.

2-й вопрос покажется тебе довольно странным.

Есть ли какая-нибудь возможность переслать мою библиотеку в Россию, т[о] е[сть] в случае моей смерти. У меня очень хорошее собрание книг по восточным языкам (еврейский, санскритский, персидский и арабский), полное собрание греческих классиков и множество английских книг по разным отраслям науки<sup>1912</sup>. Здесь их некому оставить, а в России, в Москве православной, они могут понадобиться какому-нибудь любознательному юноше. Спрашивается по сему предмету мнение Государственного Совета.

Все, что теперь делается во Франции, так живо напоминает царствование Николая, что едва можно удержаться от смеху. Вот, напр[имер], на днях запрещены все

\* Черный хлеб и свобода — *фр.*

\*\* Человек междуцарствия — *фр.*

\*\*\* От *лат.* *praeludium* — перед игрой — короткое музыкальное введение, вступление.

английские газеты. Вероятно, то же будет и с другими европейскими газетами, потому что ни одна из них не оправдывает капральских замашек Макмагона. Но впрочем, как-то совестно взваливать всю вину на спину этого бедного осла; он не что иное как кукла, игрушка в руках монархических партий, особенно бонапартистов, а они из всех сил бьются, чтобы возвести на престол маленького Наполеона с его благочестивой матушкой<sup>1913</sup>. Вот-то где уж действительно будет раздолье для попов и для всех друзей *морального порядка*, а для Франции откроется неисчерпаемый источник новых зол. Послезавтра, 14 окт[ября], судьба Франции будет решена<sup>1914</sup>.

Аткинсон кончил свою монографию о «Слове о полку Игореве» и пошлет несколько экземпляров в Россию.

И за сим прощай, любезнейший друг, и, пожелав здравия вашему Высокоблагородию, пребываем

ваш искренно преданный  
В. Печерин.

### № 263. Ф. В. Чижов — В. С. Печерину

Москва, 1877 г[ода] окт[ября] 10.

Садовая, Собственный дом, №№ 437 и 10.

Начинаю писать к тебе в 3 часа ночи, время вовсе не для писания писем, но вот уже несколько недель у меня бессонница. Пока было хорошо на воздухе, я вставал в часа 3 или в 4, одевался и шел гулять, теперь погода отвратительная, особенно для меня, страшно боящегося простуды. Не знаю, что будет далее, но настоящее положение весьма и весьма неприятно.

Сегодня я получил твое письмо; Гагарин может себе печатать, что хочет из своих иезуитских галлюцинаций, а то, что император Александр принял католичество на смертном одре, это такая дичь, что не стоит и опровержения. Теперь отвечаю на твой вопрос: не думаю, чтобы можно было выписать из России русские книги чрез книгопродавца, и тут причина очень простая. До сих пор такие выписывания так редки, что едва ли твое не будет первым, а для выписывания необходимо, чтобы были постоянные сношения. Я почти ежегодно выписываю себе несколько новых итальянских книг; это всегда по случаю, то есть обыкновенно я пользуюсь поездкою какого-нибудь приятеля или знакомого, а выписать прямо, во-первых, страшно дорого, потом вдвое страшнее — невыносимо долго, и, в-третьих, всегда неверно. Думаю, что лучше всего обратиться тебе к весьма верному корреспонденту твоему приятелю Ф. В. Чижову, он тебя любит и сделает по возможности аккуратно. Я ему скажу, но знаю по опыту, что он года два искал случая послать тебе оперу «Жизнь за Царя» и едва, наконец, нашел. Сочинения Тургенева, последнее издание, вышедшее в Моск[ве] и сделанное книгопродавцем Салаевым, уже довольно старо, если не изменяет мне память лет 10 тому назад<sup>1915</sup>, после того много Тургенев прибавил, правда, лучше было бы для его славы, если бы он вовсе не писал этого. Но вероятно, ты захочешь иметь уже полное издание. В следующем моем письме постараюсь сказать тебе пообстоятельнее, теперь потому не могу, что хвораю и не выхожу из комнаты.

Переслать книги в Россию, я полагаю, можно. Думаю, что самый удобный путь, это написать духовное завещание и в нем сделать душеприказчиком, то есть исполнителем воли завещателя, истинного и добросовестного человека, а тот адресуется к посольству или к герцогине Эдинбургской. Завещать всего лучше или библиотеке

Московского университета, или библиотеке Румянцевского музея в Москве, она помещается в доме Пашкова и всем доступна и довольно посещается читающими. Я свою библиотеку и три картины завещаю тоже в Румянцевский музей или в ту городскую библиотеку, какая будет существовать во время моей смерти. Да скажи, ради Бога, как это ты мог накопить так много книг, получая весьма скудное содержание? У меня всех книг, полагаю, едва ли не больше 5000, только весьма различного содержания. Если мое Мурманское, то есть Архангельско-Мурманское товарищество срочного пароходства пойдет сколько-нибудь порядочно, тогда я тебе укажу в Лондоне одного г[осподина] Алеманни, нашего корреспондента, чрез которого вероятно можно будет посылать и получать из России книги гораздо аккуратнее и правильнее, нежели чрез полоумного Савича. Это решится к концу нынешнего года. А ты, пожалуйста, не пренебрегай Чижовым, он очень порядочный старичок, одна беда — сильно хворый. Ему очень хочется еще разик съездить в Дублин более всего для того, чтоб повидать тебя. Теперь курс ужасный и трудно ждать лучшего до конца войны. Ну, брат, хочется спать, до свидания.

Твой Чижов.

Разумеется, если мне можно будет поехать к тебе, то я тебя предупрежу, и тогда ты подготовь мне книг, которых названия тоже тебе сообщу, чтобы я мог купить. Энциклопедию Британскую последнего издания очень хотелось бы мне иметь. Авось Бог милостив, мое Архангельско-Мурманское дело поправится, мною теперь оно оживилось, тогда мои сношения с Англиею будут живее. Бьюсь как рыба об лед, беда одна — стар, сам уже не могу всюду поспеть.

#### № 264. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

15 ноября н[ового] ст[иля] 1877

Если ты еще страдаешь от бессонницы, то, может быть, следующие строки могут тебе заснуть.

Петербургский корреспондент газеты “Times” передал нам целиком пресловутую речь Аксакова<sup>1916</sup>, переведенную с рукописи. Я нашел в ней *один* слабый пункт. Вот он. Может быть, нам возразят, что народные массы ничего не смыслят в исторических призваниях (миссиях) и идеалах. В некоторых смыслах это правда. Спросите каждого крестьянина отдельно или целую группу крестьян, в чем состоит историческое призвание (миссия). Вы, разумеется, найдете, что они ничего об этом не знают. Но тут надобно припомнить, что ни отдельные лица, ни группы отдельных лиц не могут быть полными представителями народа. Народ есть особенный целый организм, управляемый внутренними историческими законами, имеющий силу развития, память, стремления, миссию и цели — все это не может в совершенстве отразиться в частных лицах. Процессы этой органической народной жизни могут быть подмечены и поняты только немногими, т[о] е[сть] людьми, которые мыслью и воспитанием поднялись выше обыденного уровня. Это как-то сбивается на философию Гегеля, но из всего этого следует, что историческое призвание (миссия) России известно только одному господину Аксакову с небольшим кружком его единомышленников. Впрочем, я согласен со следующим: «простой русский народ мало знаком с историей и не имеет никаких отвлеченных понятий о миссии России в славянском мире; но у него есть исторический

инстинкт и для него ясно одно, что война была предпринята не вследствие прихотей самодержавного царя, но по непостижимым политическим соображениям. Непричастный никакому честолюбию, ни жажде военной славы, русский народ предпринял войну как нравственный долг, возложенный на него провидением, войну за веру, за православных единомышленников, угнетенных злыми врагами христианства».

Вышереченный корреспондент отправился с этой речью к некоторым из важнейших петербургских консерваторов. Все они нашли ее очень умеренною и удивлялись, что правительство ее запретило. Вот их мнение об Аксакове: «Подобно всем фанатикам, Аксаков построил себе отвлеченную теорию справедливости и следует принципу *fiat justitia et pereat coelum*\*. Для него политические соображения, финансовые затруднения, благоразумие и опытность не существуют. Одушевленный тем неукротимым духом, который так ярко высказался перед Плевной<sup>1917</sup>, он готов пожертвовать миллионами людей и довести Россию до банкротства для того, чтобы достигнуть желанной им цели. Ему ни на минуту не приходит в голову, что может быть его теория русской и всемирной истории не имеет никакого основания в действительности. Он проповедует освобождение славян точно, как Петр Пустынный<sup>1918</sup> проповедовал освобождение Иерусалима от власти неверных. В самом деле, он принадлежит к средним векам, а не к современной жизни, и ему хотелось бы преобразить русскую империю в московское царство».

Не забудь, что эти слова петербургских консерваторов буквально переведенные с корреспонденции «Таймса».

А знаешь, какая у нас с Аткинсоном завелась книга? «*Заветные сказки русского народа*»<sup>1919</sup>. Вот если хочешь выучиться настоящему коренастому русскому языку, так милости просим к нам: тут такие есть слова, каких ты никогда еще в печати не видывал.

Уведоми, пожалуйста, о твоём здоровье. Бессонница ужасная вещь. Тут потребны радикальные средства. Покойный *Диккенс* иногда бродил целую ночь — делал 30 миль сразу. Разумеется, против этого никакая бессонница устоять не может. Но правду сказать, он тогда был очень молод.

Твой В. Печерин.

## № 265. В. С. Печерин — Ф. В. Чижову

47 Lower Dominick Street  
Dublin

23 января н[ового] ст[илия] 1878

Наконец всякому терпению есть конец. Скажи ради Бога, что случилось с тобою, любезный Чижов? Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10 октября, а теперь, по-вашему, 11 января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без ответа. Что же это значит? Если ты так сильно болен, что писать не можешь, то ты мог бы уведомить меня через какое-нибудь третье лицо. Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россией — если она порвется, то все прощай. В крайнем недоумении, не зная ни как, ни что, я больше писать не могу и с нетерпением буду ожидать ответа.

Твой В. Печерин.

---

\* Да свершится правосудие и да погибнет небо — *лат.*